М. ГОРЬКИЙ

М. Горький

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

16

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

М. ГОРЬКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

М. ГОРЬКИЙ

ТОМ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

ПОВЕСТЬ
РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ
СТИХИ

1917—1924

МОСКВА • 1973

7-3-1
Подписное

А. М. ГОРЬКИЙ

Петроград, 1915—1917 г.

I

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Итак — я еду учиться в Казанский университет, не менее этого.

Мысль об университете внушил мне гимназист Н. Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною, он часто видел меня с книгой в руке, это заинтересовало его, мы познакомились, и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я обладаю «исключительными способностями к науке».

— Вы созданы природой для служения науке,— говорил он, красиво встряхивая гривой длинных волос.

Я тогда еще не знал, что науке можно служить в роли кролика, а Евреинов так хорошо доказывал мне: университеты нуждаются именно в таких парнях, каков я. Разумеется, была потревожена тень Михаила Ломоносова. Евреинов говорил, что в Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам «кое-какие» экзамены — он так и говорил: «кое-какие»,— в университете мне дадут казенную стипендию, и лет через пять я буду «ученым». Всё — очень просто, потому что Евреинову было девятнадцать лет и он обладал добрым сердцем.

Сдав свои экзамены, он уехал, а недели через две и я отправился вслед за ним.

Провожая меня, бабушка советовала:

— Ты — не сердись на людей, ты сердишься всё, строг и заносчив стал! Это — от деда у тебя, а — что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел, горький старик. Ты — одно помни: не бог людей судит, это — чёрту лестно! Прощай, ну...

И, отирая с бурых, дряблых щек скупые слезы, она сказала:

— Уж не увидимся больше, заедешь ты, непоседа, далеко, а я — помру...

За последнее время я отошел от милой старухи и даже редко видел ее, а тут вдруг с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека, так плотно, так сердечно близкого мне.

Стоял на корме парохода и смотрел, как она там, у борта пристани, крестится одной рукою, а другой — концом старенькой шали — отирает лицо свое, темные глаза, полные сияния неистребимой любви к людям.

И вот я в полутатарском городе, в тесной квартирке одноэтажного дома. Домик одиноко торчал на пригорке, в конце узкой, бедной улицы, одна из его стен выходила на пустырь пожарища, на пустыре густо разрослись сорные травы; в зарослях полыни, репейника и конского щавеля, в кустах бузины возвышались развалины кирпичного здания, под развалинами — обширный подвал, в нем жили и умирали бездомные собаки. Очень памятен мне этот подвал, один из моих университетов.

Евреиновы — мать и два сына — жили на нищенскую пенсию. В первые же дни я увидал, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе кухни, решала трудную задачу: как сделать из небольших кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для трех здоровых парней, не считая себя саму?

Была она молчалива; в ее серых глазах застыло безнадежное, кроткое упрямство лошади, изработавшей все силы свои: тащит лошадка воз в гору и знает — не вывезу,— а все-таки везет!

Дня через три после моего приезда, утром, когда дети еще спали, а я помогал ей в кухне чистить овощи, она тихонько и осторожно спросила меня:

— Вы зачем приехали?

— Учиться, в университет.

Ее брови поползли вверх вместе с желтой кожей лба, она порезала ножом палец себе и, высасывая кровь, опустилась на стул, но, тотчас же вскочив, сказала:

— О, чёрт...

Обернув носовым платком порезанный палец, она похвалила меня:

— Вы хорошо умеете чистить картофель.

Ну, еще бы не уметь! И я рассказал ей о моей службе на пароходе. Она спросила:

— Вы думаете — этого достаточно, чтоб поступить в университет?

В ту пору я плохо понимал юмор. Я отнесся к ее вопросу серьезно и рассказал ей порядок действий, в конце которого предо мною должны открыться двери храма науки.

Она вздохнула:

— Ах, Николай, Николай...

А он в эту минуту вошел в кухню мыться, заспанный, взлохмаченный и, как всегда, веселый.

— Мама, хорошо бы пельмени сделать!

— Да, хорошо,— согласилась мать.

Желая блеснуть знанием кулинарного искусства, я сказал, что для пельменей мясо — плохо, да и мало его.

Тут Варвара Ивановна рассердилась и произнесла по моему адресу несколько слов настолько сильных, что уши мои налились кровью и стали расти вверх. Она ушла из кухни, бросив на стол пучок моркови, а Николай, подмигнув мне, объяснил ее поведение словами:

— Не в духе...

Уселся на скамье и сообщил мне, что женщины вообще нервнее мужчин, таково свойство их природы, это неоспоримо доказано одним солидным ученым, кажется — швейцарцем. Джон Стюарт Милль, англичанин, тоже говорил кое-что по этому поводу.

Николаю очень нравилось учить меня, и он пользовался каждым удобным случаем, чтобы втиснуть в мой мозг что-нибудь необходимое, без чего невозможно жить. Я слушал его жадно, затем Фуко, Ларошфуко и Ларошжаклен сливались у меня в одно лицо, и я не мог вспомнить, кто кому отрубил голову: Лавуазье — Дюмурье или — наоборот? Славный юноша искренно желал «сделать меня человеком», он уверенно обещал мне это, но — у него не было времени и всех остальных условий для того, чтоб серьезно заняться мною. Эгоизм и легкомыслие юности не позволяли ему видеть, с

каким напряжением сил, с какой хитростью мать вела хозяйство, еще менее чувствовал это его брат, тяжелый, молчаливый гимназист. А мне уже давно и тонко были известны сложные фокусы химии и экономии кухни, я хорошо видел изворотливость женщины, принужденной ежедневно обманывать желудки своих детей и кормить приблудного парня неприятной наружности, дурных манер. Естественно, что каждый кусок хлеба, падавший на мою долю, ложился камнем на душу мне. Я начал искать какой-либо работы. С утра уходил из дома, чтоб не обедать, а в дурную погоду — отсиживался на пустыре, в подвале. Там, обоняя запах трупов кошек и собак, под шум ливня и вздохи ветра, я скоро догадался, что университет — фантазия и что я поступил бы умнее, уехав в Персию. А уж я видел себя седобородым волшебником, который нашел способ выращивать хлебные зерна объемом в яблоко, картофель по пуду весом и вообще успел придумать немало благодеяний для земли, по которой так дьявольски трудно ходить не только мне одному.

Я уже научился мечтать о необыкновенных приключениях и великих подвигах. Это очень помогало мне в трудные дни жизни, а так как дней этих было много,— я всё более изощрялся в мечтаниях. Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай, но во мне постепенно развивалось волевое упрямство, и чем труднее слагались условия жизни — тем крепче и даже умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека создает его сопротивление окружающей среде.

Чтобы не голодать, я ходил на Волгу, к пристаням, где легко можно было заработать пятнадцать — двадцать копеек. Там, среди грузчиков, босяков, жуликов, я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскаленные угли,— каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там предо мною вихрем кружились люди оголенно жадные, люди грубых инстинктов,— мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Всё, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в их едкую среду. Брет-

Гарт и огромное количество «бульварных» романов, прочитанных мною, еще более возбуждали мои симпатии к этой среде.

Профессиональный вор Башкин, бывший ученик учительского института, жестоко битый, чахоточный человек, красноречиво внушал мне:

— Что ты, как девушка, ёжишься, али честь потерять боязно? Девке честь — всё ее достояние, а тебе — только хомут. Честен бык, так он — сеном сыт!

Рыженький, бритый, точно актер, ловкими, мягкими движениями маленького тела Башкин напоминал котенка. Он относился ко мне учительно, покровительственно, и я видел, что он от души желает мне удачи, счастья. Очень умный, он прочитал немало хороших книг, более всех ему нравился «Граф Монте-Кристо».

— В этой книге есть и цель и сердце,— говорил он.

Любил женщин и рассказывал о них, вкусно чмокая, с восторгом, с какой-то судорогой в разбитом теле; в этой судороге было что-то болезненное, она возбуждала у меня брезгливое чувство, но речи его я слушал внимательно, чувствуя их красоту.

— Баба, баба! — выпевал он, и желтая кожа его лица разгоралась румянцем, темные глаза сияли восхищением.— Ради бабы я — на всё пойду. Для нее, как для чёрта,— нет греха! Живи влюблен, лучше этого ничего не придумано!

Он был талантливый рассказчик и легко сочинял для проституток трогательные песенки о печалях несчастной любви, его песни распевались во всех городах Волги, и — между прочими — ему принадлежит широко распространенная песня:

Некрасива я, бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берет
Девушку за это...

Хорошо относился ко мне темный человек Трусов, благообразный, щеголевато одетый, с тонкими пальцами музыканта. Он имел в Адмиралтейской слободе лавочку с вывеской «Часовых дел мастер», но занимался сбытом краденого.

— Ты, Максим‹ыч›, к воровским шалостям не приучайся! — говорил он мне, солидно поглаживая седоватую свою бороду, прищурив хитрые и дерзкие глаза.— Я вижу: у тебя иной путь, ты человечек духовный.

— Что значит — духовный?

— А — в котором зависти нет ни к чему, только любопытство...

Это было неверно по отношению ко мне, завидовал я много и многому; между прочим, зависть мою возбуждала способность Башкина говорить каким-то особенным, стихоподобным ладом с неожиданными уподоблениями и оборотами слов. Вспоминаю начало его повести об одном любовном приключении:

«Мутноокой ночью сижу я — как сыч в дупле — в номерах, в нищем городе Свияжске, а — осень, октябрь, ленивенько дождь идет, ветер дышит, точно обиженный татарин песню тянет; без конца песня: о-о-о-у-у-у...

...И вот пришла она, легкая, розовая, как облако на восходе солнца, а в глазах — обманная чистота души. „Милый,— говорит честным голосом,— не виновата я против тебя“. Знаю — врет, а верю — правда! Умом — твердо знаю, сердцем — не верю, никак!»

Рассказывая, он ритмически покачивался, прикрывал глаза и часто мягким жестом касался груди своей против сердца.

Голос у него был глухой, тусклый, а слова — яркие, и что-то соловьиное пело в них.

Завидовал я Трусову,— этот человек удивительно интересно говорил о Сибири, Хиве, Бухаре, смешно и очень зло о жизни архиереев, а однажды таинственно сказал о царе Александре III:

— Этот царь в своем деле мастер!

Трусов казался мне одним из тех «злодеев», которые в конце романа — неожиданно для читателя — становятся великодушными героями.

Иногда, в душные ночи, эти люди переправлялись через речку Казанку, в луга, в кусты, и там пили, ели, беседуя о своих делах, но чаще — о сложности жизни, о странной путанице человеческих отношений, особенно

много о женщинах. О них говорилось с озлоблением, с грустью, иногда — трогательно и почти всегда с таким чувством, как будто заглядывая во тьму, полную жутких неожиданностей. Я прожил с ними две, три ночи под темным небом с тусклыми звездами, в душном тепле ложбины, густо заросшей кустами тальника. Во тьме, влажной от близости Волги, ползли во все стороны золотыми пауками огни мачтовых фонарей, в черную массу горного берега вкраплены огненные комья и жилы — это светятся окна трактиров и домов богатого села Услон. Глухо бьют по воде плицы колес пароходов, надсадно, волками воют матросы на караване барж, где-то бьет молот по железу, заунывно тянется песня,— тихонько тлеет чья-то душа,— от песни на сердце пеплом ложится грусть.

И еще грустнее слушать тихо скользящие речи людей,— люди задумались о жизни и говорят каждый о своем, почти не слушая друг друга. Сидя или лежа под кустами, они курят папиросы, изредка — не жадно — пьют водку, пиво и идут куда-то назад, по пути воспоминаний.

— А вот со мной был случай,— говорит кто-то, придавленный к земле ночною тьмой.

Выслушав рассказ, люди соглашаются:

— Бывает и так,— всё бывает...

«Было», «бывает», «бывало» — слышу я, и мне кажется, что в эту ночь люди пришли к последним часам своей жизни,— всё уже было, больше ничего не будет!

Это отводило меня в сторону от Башкина и Трусова, но все-таки — нравились мне они, и по всей логике испытанного мною было бы вполне естественно, если б я пошел с ними. Оскорбленная надежда подняться вверх, начать учиться — тоже толкала меня к ним. В часы голода, злости и тоски я чувствовал себя вполне способным на преступление не только против «священного института собственности». Однако романтизм юности помешал мне свернуть с дороги, идти по которой я был обречен. Кроме гуманного Брет-Гарта и бульварных романов, я уже прочитал немало серьезных книг,— они возбудили у меня стремление к чему-то неясному, но более значительному, чем всё, что я видел.

И в то же время у меня зародились новые знакомства, новые впечатления. На пустырь, рядом с квартирой Евреинова, собирались гимназисты играть в городки, и меня очаровал один из них — Гурий Плетнев. Смуглый, синеволосый, как японец, с лицом в мелких черных точках, точно натертым порохом, неугасимо веселый, ловкий в играх, остроумный в беседе, он был насыщен зародышами разнообразных талантов. И, как почти все талантливые русские люди, он жил на средства, данные ему природой, не стремясь усилить и развить их. Обладая тонким слухом и великолепным чутьем музыки, любя ее, он артистически играл на гуслях, балалайке, гармонике, не пытаясь овладеть инструментом более благородным и трудным. Был он беден, одевался плохо, но его удальству, бойким движениям жилистого тела, широким жестам очень отвечали: измятая, рваная рубаха, штаны в заплатах и дырявые, стоптанные сапоги.

Он был похож на человека, который после длительной и тяжкой болезни только что встал на ноги, или похож был на узника, вчера выпущенного из тюрьмы,— всё в жизни было для него ново, приятно, всё возбуждало в нем шумное веселье — он прыгал по земле, как ракета-шутиха.

Узнав, как мне трудно и опасно жить, он предложил поселиться с ним и готовиться в сельские учителя. И вот я живу в странной, веселой трущобе — «Марусовке», вероятно, знакомой не одному поколению казанских студентов. Это был большой полуразрушенный дом на Рыбнорядской улице, как будто завоеванный у владельцев его голодными студентами, проститутками и какими-то призраками людей, изживших себя. Плетнев помещался в коридоре под лестницей на чердак, там стояла его койка, а в конце коридора у окна: стол, стул, и это — всё. Три двери выходили в коридор, за двумя жили проститутки, за третьей — чахоточный математик из семинаристов, длинный, тощий, почти страшный человек, обросший жесткой рыжеватой шерстью, едва прикрытый грязным тряпьем; сквозь дыры тряпок жутко светилась синеватая кожа и ребра скелета.

Он питался, кажется, только собственными ногтями, объедая их до крови, день и ночь что-то чертил, вычислял и непрерывно кашлял глухо бухающими звуками. Проститутки боялись его, считая безумным, но, из жалости, подкладывали к его двери хлеб, чай и сахар, он поднимал с пола свертки и уносил к себе, всхрапывая, как усталая лошадь. Если же они забывали или не могли почему-либо принести ему свои дары, он, открывая дверь, хрипел в коридор:

— Хлеба!

В его глазах, провалившихся в темные ямы, сверкала гордость маниака, счастливого сознанием своего величия. Изредка к нему приходил маленький горбатый уродец, с вывернутой ногою, в сильных очках на распухшем носу, седоволосый, с хитрой улыбкой на желтом лице скопца. Они плотно прикрывали дверь и часами сидели молча, в странной тишине. Только однажды, поздно ночью, меня разбудил хриплый яростный крик математика:

— А я говорю — тюрьма! Геометрия — клетка, да! Мышеловка, да! Тюрьма!

Горбатый уродец визгливо хихикал, многократно повторял какое-то странное слово, а математик вдруг заревел:

— К чёрту! Вон!

Когда его гость выкатился в коридор, шипя, повизгивая, кутаясь в широкую разлетайку,—математик, стоя на пороге двери, длинный, страшный, запустив пальцы руки своей в спутанные волосы на голове, хрипел:

— Эвклид — дурак! Дур-рак... Я докажу, что бог умнее грека!

И хлопнул дверью настолько сильно, что в его комнате что-то с грохотом упало.

Вскоре я узнал, что человек этот хочет — исходя от математики — доказать бытие бога, но он умер раньше, чем успел сделать это.

Плетнев работал в типографии ночным корректором газеты, зарабатывая одиннадцать копеек в ночь, и, если я не успевал заработать, мы жили, потребляя в сутки четыре фунта хлеба, на две копейки чая и на три сахара. А у меня не хватало времени для рабо-

ты,— нужно было учиться. Я преодолевал науки с величайшим трудом, особенно угнетала меня грамматика уродливо узкими, окостенелыми формами, я совершенно не умел втискивать в них живой и трудный, капризно-гибкий русский язык. Но скоро, к удовольствию моему, оказалось, что я начал учиться «слишком рано» и что, даже сдав экзамены на сельского учителя, не получил бы места — по возрасту.

Плетнев и я спали на одной и той же койке, я — ночами, он — днем. Измятый бессонной ночью, с лицом еще более потемневшим и воспаленными глазами, он приходил рано утром, я тотчас бежал в трактир за кипятком, самовара у нас, конечно, не было. Потом, сидя у окна, мы пили чай с хлебом. Гурий рассказывал мне газетные новости, читал забавные стихи алкоголика-фельетониста Красное Домино и удивлял меня шутливым отношением к жизни, — мне казалось, что он относится к ней так же, как к толстомордой бабе Галкиной, торговке старыми дамскими нарядами и сводне.

У этой бабы он нанимал угол под лестницей, но платить за «квартиру» ему было нечем, и он платил веселыми шутками, игрою на гармонике, трогательными песнями; когда он, тенорком, напевал их, в глазах его сияла усмешка. Баба Галкина в молодости была хористкой оперы, она понимала толк в песнях, и нередко из ее нахальных глаз на пухлые сизые щеки пьяницы и обжоры обильно катились мелкие слезинки, она сгоняла их с кожи щек жирными пальцами и потом тщательно вытирала пальцы грязным платочком.

— Ах, Гурочка,— вздыхая, говорила она,— артист вы! И будь вы чуточку покрасивше — устроила бы я вам судьбу! Уж сколько я молодых юношев пристроила к женщинам, у которых сердце скучает в одинокой жизни!

Один из таких «юношев» жил тут же, над нами. Это был студент, сын рабочего-скорняка, парень среднего роста, широкогрудый, с уродливо узкими бедрами, похожий на треугольник острым углом вниз, угол этот немного отломлен,— ступни ног студента маленькие, точно у женщины. И голова его, глубоко всаженная в плечи, тоже мала, украшена щетиной рыжих волос,

а на белом, бескровном лице угрюмо таращились выпуклые зеленоватые глаза.

С великим трудом, голодая, как бездомная собака, он, вопреки воле отца, исхитрился кончить гимназию и поступить в университет, но у него обнаружился глубокий, мягкий бас, и ему захотелось учиться пению.

Галкина поймала его на этом и пристроила к богатой купчихе лет сорока, сын ее был уже студент на третьем курсе, дочь — кончала учиться в гимназии. Купчиха была женщина тощая, плоская, прямая, как солдат, сухое лицо монахини-аскетки, большие серые глаза, скрытые в темных ямах, одета она в черное платье, в шёлковую старомодную головку, в ее ушах дрожат серьги с камнями ядовито-зеленого цвета.

Иногда, вечерами или рано по утрам, она приходила к своему студенту, и я не раз наблюдал, как эта женщина, точно прыгнув в ворота, шла по двору решительным шагом. Лицо ее казалось страшным, губы так плотно сжаты, что почти не видны, глаза широко открыты, обреченно, тоскливо смотрят вперед, но — кажется, что она слепая. Нельзя было сказать, что она уродлива, но в ней ясно чувствовалось напряжение, уродующее ее, как бы растягивая ее тело и до боли сжимая лицо.

— Смотри,— сказал Плетнев,— точно безумная!

Студент ненавидел купчиху, прятался от нее, а она преследовала его, точно безжалостный кредитор или шпион.

— Сконфуженный человек я,— каялся он, выпивши.— И — зачем надо мне петь? С такой рожей и фигурой — не пустят меня на сцену, не пустят!

— Прекрати эту канитель! — советовал Плетнев.

— Да. Но жалко мне ее! Не выношу, а — жалко! Если бы ты знал, как она — эх...

Мы — знали, потому что слышали, как эта женщина, стоя на лестнице, ночью, умоляла глухим, вздрагивающим голосом:

— Христа ради... голубчик, ну — Христа ради!

Она была хозяйкой большого завода, имела дома, лошадей, давала тысячи денег на акушерские курсы и, как нищая, просила милостыню ласки.

После чая Плетнев ложился спать, а я уходил на поиски работы и возвращался домой поздно вечером, когда Гурию нужно было отправляться в типографию. Если я приносил хлеба, колбасы или вареной «требухи», мы делили добычу пополам, и он брал свою часть с собой.

Оставаясь один, я бродил по коридорам и закоулкам «Марусовки», присматриваясь, как живут новые для меня люди. Дом был очень набит ими и похож на муравьиную кучу. В нем стояли какие-то кислые, едкие запахи и всюду по углам прятались густые, враждебные людям тени. С утра до поздней ночи он гудел; непрерывно трещали машины швеек, хористки оперетки пробовали голоса, басовито ворковал гаммы студент, громко декламировал спившийся, полубезумный актер, истерически орали похмелевшие проститутки, и — возникал у меня естественный, но неразрешимый вопрос: «Зачем всё это?»

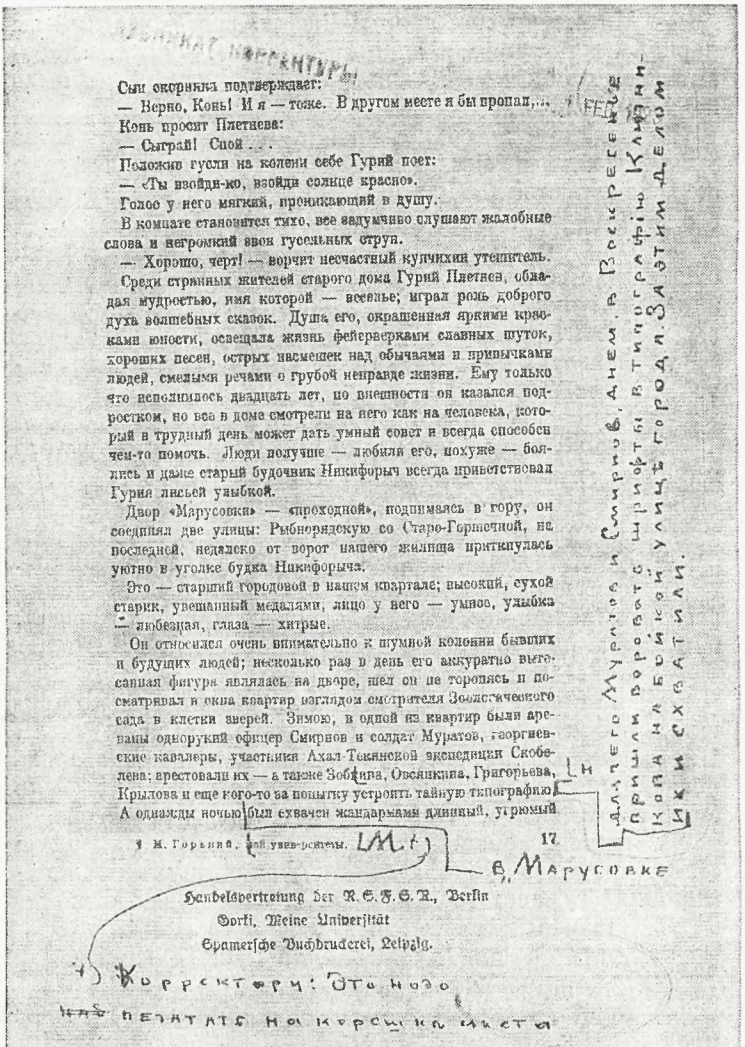
Среди голодной молодежи бестолково болтался рыжий, плешивый, скуластый человек, с большим животом на тонких ногах, с огромным ртом и зубами лошади,— за эти зубы прозвали его Рыжий Конь. Он третий год судился с какими-то родственниками, симбирскими купцами, и заявлял всем и каждому:

— Жив быть не хочу, а — разорю их вдребезг! Нищими по миру пойдут, три года будут милостыней жить,— после того я им ворочу всё, что отсужу у них, всё отдам и спрошу: «Что, черти? То-то!»

— Это — цель твоей жизни, Конь? — спрашивали его.

— Весь я, всей душой нацелился на это и больше ничего делать не могу!

Он целые дни торчал в окружном суде, в палате, у своего адвоката, часто, вечерами, привозил на извозчике множество кульков, свертков, бутылок и устраивал у себя, в грязной комнате с провисшим потолком и кривым полом, шумные пиры, приглашая студентов, швеек — всех, кто хотел сытно поесть и немножко выпить. Сам Рыжий Конь пил только ром, напиток, от которого на скатерти, платье и даже на полу оставались несмываемые темно-рыжие пятна,— выпив, он завывал:



Сын окончил подтверждает:
— Верно, Конь! И я — тоже. В другом месте я бы пропал...
Конь просит Плетнева:
— Сыграй! Спой...
Положив гусли на колени себе Гурий поет:
— «Ты взойди-ко, взойди солнце красно».
Голос у него мягкий, проникающий в душу.
В комнате становится тихо, все задумчиво слушают жалобные слова и негромкий звон гусиных струн.
— Хорошо, черт! — ворчит несчастный кулачихин утешитель.
Среди странных жителей старого дома Гурий Плетнев, обладая мудростью, имя которой — всеведь, играл роль доброго духа волшебных сказок. Душа его, окрашенная яркими красками юности, освещала жизнь фейерверками славных шуток, хороших песен, острых насмешек над обычаями и привычками людей, смелыми речами о грубой неправде жизни. Ему только что исполнилось двадцать лет, по внешности он казался подростком, но все в доме смотрели на него как на человека, который в трудный день может дать умный совет и всегда способен чем-то помочь. Люди получше — любили его, похуже — боялись и даже старый будочник Никифорыч всегда приветствовал Гурия лисьей улыбкой.
Двор «Марусовки» — «проходной», поднимаясь в гору, он соединял две улицы: Рыбнорядскую со Старо-Горшечной, на последней, недалеко от ворот нашего жилища притулясь уютно в уголке будка Никифорыча.
Это — старший городовой в нашем квартале; высокий, сухой старик, увешанный медалями, лицо у него — умное, улыбка — любезная, глаза — хитрые.
Он относился очень внимательно к шумной колонии бывших и будущих людей; несколько раз в день его аккуратно выгоспанная фигура являлась на дворе, шел он не торопясь и посматривал в окна квартир взглядом смотрителя Зоологического сада в клетки зверей. Зимою, в одной из квартир были арестованы однорукий офицер Смирнов и солдат Муратов, георгиевские кавалеры, участники Ахал-Текинской экспедиции Скобелева; арестовали их — а также Зобнина, Овсянкина, Григорьева, Крылова и еще кого-то за попытку устроить тайную типографию. А однажды ночью был схвачен жандармами длинный, угрюмый

1 М. Горький. Мои университеты. LM.t)

17

В Марусовке

Buchdruckerei-Besitzer-Verein, Berlin
Gorki, Meine Universität
Spamersche Buchdruckerei, Leipzig.

Корректуры! Это надо напечатать на корешках книг

«МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ».
Страница корректуры с правкой М. Горького

— Милые вы мои птицы! Люблю вас — честный вы народ! А я — злой подлец и кр-рокодил,— желаю погубить родственников и — погублю! Ей-богу! Жив быть не хочу, а...

Глаза Коня жалобно мигали, и нелепое скуластое лицо орошалось пьяными слезами, он стирал их со щек ладонью и размазывал по коленям,— шаровары его всегда были в масляных пятнах.

— Как вы живете? — кричал он.— Голод, холод, одежа плохая,— разве это — закон? Чему в такой жизни научиться можно? Эх, кабы государь знал, как вы живете...

И, выхватив из кармана пачку разноцветных кредиток, предлагал:

— Кому денег надо? Берите, братцы!

Хористки и швейки жадно вырывали деньги из его мохнатой руки, он хохотал, говоря:

— Да это — не вам! Это — студентам.

Но студенты денег не брали.

— К чёрту деньги! — сердито кричал сын скорняка.

Он сам однажды, пьяный, принес Плетневу пачку десятирублевок, смятых в твердый ком, и сказал, бросив их на стол:

— Вот — надо? Мне — не надо...

Лег на койку нашу и зарычал, зарыдал, так что пришлось отпаивать и отливать его водою. Когда он уснул, Плетнев попытался разгладить деньги, но это оказалось невозможно — они были так туго сжаты, что надо было смочить их водою, чтоб отделить одну от другой.

В дымной, грязной комнате, с окнами в каменную стену соседнего дома, тесно и душно, шумно и кошмарно. Конь орет всех громче. Я спрашиваю его:

— Зачем вы живете здесь, а не в гостинице?

— Милый — для души! Тепло душе с вами...

Сын скорняка подтверждает:

— Верно, Конь! И я — тоже. В другом месте я бы пропал...

Конь просит Плетнева:

— Сыграй! Спой...

Положив гусли на колени себе, Гурий поет:

Ты взойди-ко, взойди, солнце красное...

Голос у него мягкий, проникающий в душу.

В комнате становится тихо, все задумчиво слушают жалобные слова и негромкий звон гусельных струн.

— Хорошо, чёрт! — ворчит несчастный купчихин утешитель.

Среди странных жителей старого дома Гурий Плетнев, обладая мудростью, имя которой — веселье, играл роль доброго духа волшебных сказок. Душа его, окрашенная яркими красками юности, освещала жизнь фейерверками славных шуток, хороших песен, острых насмешек над обычаями и привычками людей, смелыми речами о грубой неправде жизни. Ему только что исполнилось двадцать лет, по внешности он казался подростком, но все в доме смотрели на него как на человека, который в трудный день может дать умный совет и всегда способен чем-то помочь. Люди получше — любили его, похуже — боялись, и даже старый будочник Никифорыч всегда приветствовал Гурия лисьей улыбкой.

Двор «Марусовки» — «проходной», поднимаясь в гору, он соединял две улицы: Рыбнорядскую со Старо-Горшечной; на последней, недалеко от ворот нашего жилища, приткнулась уютно в уголке будка Никифорыча.

Это — старший городовой в нашем квартале; высокий, сухой старик, увешанный медалями, лицо у него — умное, улыбка — любезная, глаза — хитрые.

Он относился очень внимательно к шумной колонии бывших и будущих людей; несколько раз в день его аккуратно вытесанная фигура являлась на дворе, шел он не торопясь и посматривал в окна квартир взглядом смотрителя зоологического сада в клетки зверей. Зимою в одной из квартир были арестованы однорукий офицер Смирнов и солдат Муратов, георгиевские кавалеры, участники Ахал-Текинской экспедиции Скобелева; арестовали их — а также Зобнина, Овсянкина, Григорьева, Крылова и еще кого-то — за попытку устроить тайную типографию, для чего Муратов и Смирнов, днем, в воскресенье, пришли воровать шрифты в типографию Ключникова на бойкой улице города. За этим делом их и схватили. А однажды ночью в «Ма-

русовке» был схвачен жандармами длинный угрюмый житель, которого я прозвал Блуждающей Колокольней. Утром, узнав об этом, Гурий возбужденно растрепал свои черные волосы и сказал мне:

— Вот что, Максимыч, тридцать семь чертей, беги, брат, скорее...

Объяснив, куда нужно бежать, он добавил:

— Смотри — осторожнее! Может быть, там сыщики...

Таинственное поручение страшно обрадовало меня, и я полетел в Адмиралтейскую слободу с быстротой стрижа. Там, в темной мастерской медника, я увидал молодого кудрявого человека с необыкновенно синими глазами; он лудил кастрюлю, но — был не похож на рабочего. А в углу, у тисков, возился, притирая кран, маленький старичок с ремешком на белых волосах.

Я спросил медника:

— Нет ли работы у вас?

Старичок сердито ответил:

— У нас — есть, а для тебя — нет!

Молодой, мельком взглянув на меня, снова опустил голову над кастрюлей. Я тихонько толкнул ногою его ногу,— он изумленно и гневно уставился на меня синими глазами, держа кастрюлю за ручку и как бы собираясь швырнуть ею в меня. Но увидав, что я подмигиваю ему, сказал спокойно:

— Ступай, ступай...

Еще раз подмигнув ему, я вышел за дверь, остановился на улице; кудрявый, потягиваясь, тоже вышел и молча уставился на меня, закуривая папиросу.

— Вы — Тихон?

— Ну да!

— Петра арестовали.

Он нахмурился сердито, щупая меня глазами.

— Какого это Петра?

— Длинный, похож на дьякона.

— Ну?

— Больше ничего.

— А какое мне дело до Петра, дьякона и всего прочего? — спросил медник, и характер его вопроса окончательно убедил меня: это не рабочий. Я побежал до-

мой, гордясь тем, что сумел исполнить поручение. Таково было мое первое участие в делах «конспиративных».

Гурий Плетнев был близок к ним, но в ответ на мои просьбы ввести меня в круг этих дел говорил:

— Тебе, брат, рано! Ты — поучись...

Евреинов познакомил меня с одним таинственным человеком. Знакомство это было осложнено предосторожностями, которые внушили мне предчувствие чего-то очень серьезного. Евреинов повел меня за город, на Арское поле, предупреждая по дороге, что знакомство это требует от меня величайшей осторожности, его надо сохранить в тайне. Потом, указав мне вдали небольшую серую фигурку, медленно шагавшую по пустынному полю, Евреинов оглянулся, тихо говоря:

— Вот он! Идите за ним и, когда он остановится, подойдите к нему, сказав: «Я приезжий...»

Таинственное — всегда приятно, но здесь оно показалось мне смешным: знойный, яркий день, в поле серою былинкой качается одинокий человечек,— вот и всё. Догнав его у ворот кладбища, я увидал пред собою юношу с маленьким, сухим личиком и строгим взглядом глаз, круглых, как у птицы. Он был одет в серое пальто гимназиста, но светлые пуговицы отпороты и заменены черными, костяными, на изношенной фуражке заметен след герба, и вообще в нем было что-то преждевременно ощипанное,— как будто он торопился показаться самому себе человеком вполне созревшим.

Мы сидели среди могил, в тени густых кустов. Человек говорил сухо, деловито и весь, насквозь, не понравился мне. Строго расспросив меня, что я читал, он предложил мне заниматься в кружке, организованном им, я согласился, и мы расстались,— он ушел первый, осторожно оглядывая пустынное поле.

В кружке, куда входили еще трое или четверо юношей, я был моложе всех и совершенно не подготовлен к изучению книги Дж. Ст. Милля с примечаниями Чернышевского. Мы собирались в квартире ученика учительского института Миловского,— впоследствии он писал рассказы под псевдонимом Елеонский и, написав томов пять, кончил самоубийством,— как много

людей, встреченных мною, ушло самовольно из жизни!

Это был молчаливый человек, робкий в мыслях, осторожный в словах. Жил он в подвале грязного дома и занимался столярной работой для «равновесия тела и души». С ним было скучно. Чтение книги Милля не увлекало меня, скоро основные положения экономики показались очень знакомыми мне, я усвоил их непосредственно, они были написаны на коже моей, и мне показалось, что не стоило писать толстую книгу трудными словами о том, что совершенно ясно для всякого, кто тратит силы свои ради благополучия и уюта «чужого дяди». С великим напряжением высиживал я два, три часа в яме, насыщенной запахом клея, рассматривая, как по грязной стене ползают мокрицы.

Однажды вероучитель опоздал прийти в обычный час, и мы, думая, что он уже не придет, устроили маленький пир, купив бутылку водки, хлеба и огурцов. Вдруг мимо окна быстро мелькнули серые ноги нашего учителя; едва успели мы спрятать водку под стол, как он явился среди нас, и началось толкование мудрых выводов Чернышевского. Мы все сидели неподвижно, как истуканы, со страхом ожидая, что кто-нибудь из нас опрокинет бутылку ногою. Опрокинул ее наставник, опрокинул и, взглянув под стол, не сказал ни слова. Ох, уж лучше бы он крепко выругался!

Его молчание, суровое лицо и обиженно прищуренные глаза страшно смутили меня. Поглядывая исподлобья на багровые от стыда лица моих товарищей, я чувствовал себя преступником против вероучителя и сердечно жалел его, хотя водка была куплена не по моей инициативе.

На чтениях было скучно, хотелось уйти в Татарскую слободу, где живут какой-то особенной, чистоплотной жизнью добродушные, ласковые люди; они говорят смешно искаженным русским языком; по вечерам с высоких минаретов их зовут в мечети странные голоса муэдзинов,— мне думалось, что у татар вся жизнь построена иначе, незнакомо мне, не похоже на то, что я знаю и что не радует меня.

Меня влекло на Волгу к музыке трудовой жизни; эта музыка и до сего дня приятно охмеляет сердце мое;

мне хорошо памятен день, когда я впервые почувствовал героическую поэзию труда.

Под Казанью села на камень, проломив днище, большая баржа с персидским товаром; артель грузчиков взяла меня перегружать баржу. Был сентябрь, дул верховый ветер, по серой реке сердито прыгали волны, ветер, бешено срывая их гребни, кропил реку холодным дождем. Артель, человек полсотни, угрюмо расположилась на палубе пустой баржи, кутаясь рогожами и брезентом; баржу тащил маленький буксирный пароход, задыхаясь, выбрасывая в дождь красные снопы искр.

Вечерело. Свинцовое, мокрое небо, темнея, опускалось над рекою. Грузчики ворчали и ругались, проклиная дождь, ветер, жизнь, лениво ползали по палубе, пытаясь спрятаться от холода и сырости. Мне казалось, что эти полусонные люди не способны к работе, не спасут погибающий груз.

К полуночи доплыли до переката, причалили пустую баржу борт о борт к сидевшей на камнях; артельный староста, ядовитый старичишка, рябой хитрец и сквернослов, с глазами и носом коршуна, сорвав с лысого черепа мокрый картуз, крикнул высоким, бабьим голосом:

— Молись, ребята!

В темноте, на палубе баржи, грузчики сбились в черную кучу и заворчали, как медведи, а староста, кончив молиться раньше всех, завизжал:

— Фонарей! Ну, молодчики, покажи работу! Честно, детки! С богом — начинай!

И тяжелые, ленивые, мокрые люди начали «показывать работу». Они, точно в бой, бросились на палубу и в трюмы затонувшей баржи,— с гиком, ревом, с прибаутками. Вокруг меня с легкостью пуховых подушек летали мешки риса, тюки изюма, кож, каракуля, бегали коренастые фигуры, ободряя друг друга воем, свистом, крепкой руганью. Трудно было поверить, что так весело, легко и споро работают те самые тяжелые, угрюмые люди, которые только что уныло жаловались на жизнь, на дождь и холод. Дождь стал гуще, холоднее, ветер усилился, рвал рубахи, закидывая подолы на

головы, обнажая животы. В мокрой тьме при слабом свете шести фонарей метались черные люди, глухо топая ногами о палубы барж. Работали так, как будто изголодались о труде, как будто давно ожидали удовольствия швырять с рук на руки четырехпудовые мешки, бегом носиться с тюками на спине. Работали играя, с веселым увлечением детей, с той пьяной радостью делать, слаще которой только объятие женщины.

Большой бородатый человек в поддевке, мокрый, скользкий,— должно быть, хозяин груза или доверенный его,— вдруг заорал возбужденно:

— Молодчики — ведерко ставлю! Разбойнички — два идет! Делай!

Несколько голосов сразу со всех сторон тьмы густо рявкнули:

— Три ведра!

— Три пошло! Делай знай!

И вихрь работы еще усилился.

Я тоже хватал мешки, тащил, бросал, снова бежал и хватал, и казалось мне, что и сам я и всё вокруг завертелось в бурной пляске, что эти люди могут так страшно и весело работать без устатка, не щадя себя,— месяца́, года́, что они могут, ухватясь за колокольни и минареты города, стащить его с места куда захотят.

Я жил эту ночь в радости, не испытанной мною, душу озаряло желание прожить всю жизнь в этом полубезумном восторге делания. За бортами плясали волны, хлестал по палубам дождь, свистел над рекою ветер, в серой мгле рассвета стремительно и неустанно бегали полуголые мокрые люди и кричали, смеялись, любуясь своей силой, своим трудом. А тут еще ветер разодрал тяжелую массу облаков, и на синем, ярком пятне небес сверкнул розоватый луч солнца — его встретили дружным ревом веселые звери, встряхивая мокрой шерстью милых морд. Обнимать и целовать хотелось этих двуногих зверей, столь умных и ловких в работе, так самозабвенно увлеченных ею.

Казалось, что такому напряжению радостно разъяренной силы ничто не может противостоять, она способна содеять чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и городами, как об

этом говорят вещие сказки. Посмотрев минуту, две на труд людей, солнечный луч не одолел тяжкой толщи облаков и утонул среди них, как ребенок в море, а дождь превратился в ливень.

— Шабаш! — крикнул кто-то, но ему свирепо ответили:

— Я те пошабашу!

И до двух часов дня, пока не перегрузили весь товар, полуголые люди работали без отдыха, под проливным дождем и резким ветром, заставив меня благоговейно понять, какими могучими силами богата человеческая земля.

Потом перешли на пароход и там все уснули, как пьяные, а приехав в Казань, вывалились на песок берега потоком серой грязи и пошли в трактир пить три ведра водки.

Там ко мне подошел вор Башкин, осмотрел меня и спросил:

— Чего тобой делали?

Я с восторгом рассказал ему о работе, он выслушал меня и, вздохнув, сказал презрительно:

— Дурак. И — хуже того — идиёт!

Посвистывая, виляя телом, как рыба, он уплыл среди тесно составленных столов,— за ними шумно пировали грузчики, в углу кто-то, тенором, запевал похабную песню:

Эх, было это дельце ночною порой,—
Вышла прогуляться в садик барыня — эй!

Десяток голосов оглушительно заревел, прихлопывая ладонями по столам:

Сторож город сторожит,
Видит — барыня лежит...

Хохот, свист, и гремят слова, которым по отчаянному цинизму, вероятно, нет равных на земле.

Кто-то познакомил меня с Андреем Деренковым, владельцем маленькой бакалейной лавки, спрятанной

в конце бедной, узенькой улицы, над оврагом, заваленным мусором.

Деренков, сухорукий человечек, с добрым лицом в светлой бородке и умными глазами, обладал лучшей в городе библиотекой запрещенных и редких книг, ими пользовались студенты многочисленных учебных заведений Казани и различные революционно настроенные люди.

Лавка Деренкова помещалась в низенькой пристройке к дому скопца-менялы, дверь из лавки вела в большую комнату, ее слабо освещало окно во двор, за этой комнатой, продолжая ее, помещалась тесная кухня, за кухней, в темных сенях между пристройкой и домом, в углу прятался чулан, и в нем скрывалась злокозненная библиотека. Часть ее книг была переписана пером в толстые тетради,— таковы были «Исторические письма» Лаврова, «Что делать?» Чернышевского, некоторые статьи Писарева, «Царь-Голод», «Хитрая механика»,— все эти рукописи были очень зачитаны, измяты.

Когда я, впервые, пришел в лавку, Деренков, занятый с покупателями, кивнул мне на дверь в комнату; я вошел туда и вижу: в сумраке, в углу, стоит на коленях, умиленно молясь, маленький старичок, похожий на портрет Серафима Саровского. Что-то неладное, противоречивое почувствовал я, глядя на старичка.

О Деренкове мне говорили как о «народнике»; в моем представлении народник — революционер, а революционер не должен веровать в бога, богомольный старичок показался мне лишним в этом доме.

Кончив молиться, он аккуратно пригладил белые волосы головы и бороды, присмотрелся ко мне и сказал:

— Отец Андрея. А вы кто будете? Вот как? А я думал — переодетый студент.

— Зачем же студенту переодеваться? — спросил я.

— Ну да,— тихо отозвался старик,— ведь как ни переоденься — бог узнает!

Он ушел в кухню, а я, сидя у окна, задумался и вдруг услыхал возглас:

— Вот он какой!

У косяка двери в кухню стояла девушка, одетая

в белое, ее светлые волосы были коротко острижены, на бледном пухлом лице сияли, улыбаясь, синие глаза. Она была очень похожа на ангела, как их изображают дешевые олеографии.

— Отчего вы испугались? Разве я такая страшная?— говорила она тонким вздрагивающим голосом и осторожно, медленно подвигалась ко мне, держась за стену, точно она шла не по твердому полу, а по зыбкому канату, натянутому в воздухе. Это неумение ходить еще больше уподобляло ее существу иного мира. Она вся вздрагивала, как будто в ноги ей впивались иглы, а стена жгла ее детски пухлые руки. И пальцы рук были странно неподвижны.

Я стоял пред нею молча, испытывая чувство странного смятения и острой жалости. Всё необычно в этой темной комнате!

Девушка села на стул так осторожно, точно боялась, что стул улетит из-под нее. Просто, как никто этого не делает, она рассказала мне, что только пятый день начала ходить, а до того почти три месяца лежала в постели — у нее отнялись руки и ноги.

— Это — нервная болезнь такая,— сказала она, улыбаясь.

Помню, мне хотелось, чтоб ее состояние было объяснено как-то иначе; нервная болезнь — это слишком просто для такой девушки и в такой странной комнате, где все вещи робко прижались к стенам, а в углу, пред иконами, слишком ярко горит огонек лампады и по белой скатерти большого обеденного стола беспричинно ползает тень ее медных цепей.

— Мне много говорили о вас,— вот я и захотела посмотреть, какой вы,— слышал я детски тонкий голос.

Эта девушка разглядывала меня каким-то невыносимым взглядом, что-то проницательно читающее видел я в синих глазах. С такой девушкой я не мог — не умел — говорить. И молчал, рассматривая портреты Герцена, Дарвина, Гарибальди.

Из лавки выскочил подросток одних лет со мною, белобрысый, с наглыми глазами, он исчез в кухне, крикнув ломким голосом:

— Ты зачем вылезла, Марья?

— Это мой младший брат, Алексей,— сказала девушка.— А я — учусь на акушерских курсах, да вот, захворала. Почему вы молчите? Вы — застенчивый?

Пришел Андрей Деренков, сунув за пазуху свою сухую руку; молча погладил сестру по мягким волосам, растрепал их и стал спрашивать — какую работу я ищу?

Потом явилась рыжекудрая стройная девица с зеленоватыми глазами, строго посмотрела на меня и, взяв белую девушку под руки, увела ее, сказав:

— Довольно, Марья!

Имя не шло девушке, было грубо для нее.

Я тоже ушел, странно взволнованный, а через день, вечером, снова сидел в этой комнате, пытаясь понять — как и чем живут в ней? Жили — странно.

Милый, кроткий старик Степан Иванович, беленький и как бы прозрачный, сидел в уголке и смотрел оттуда, шевеля темными губами, тихо улыбаясь, как будто просил:

«Не трогайте меня!»

В нем жил заячий испуг, тревожное предчувствие несчастия — это было ясно мне.

Сухорукий Андрей, одетый в серую куртку, замазанную на груди маслом и мукою до твердости древесной коры, ходил по комнате как-то боком, виновато улыбаясь, точно ребенок, которому только что простили какую-то шалость. Ему помогал торговать Алексей — ленивый, грубый парень. Третий брат, Иван, учился в учительском институте и, живя там в интернате, бывал дома только по праздникам; это был маленький, чисто одетый, гладко причесанный человечек, похожий на старого чиновника. Больная Марья жила где-то на чердаке и редко спускалась вниз, а когда она приходила, я чувствовал себя неловко, точно меня связывало невидимыми путами.

Хозяйство Деренковых вела сожительница домохозяина-скопца, высокая худощавая женщина с лицом деревянной куклы и строгими глазами злой монахини. Тут же вертелась ее дочь, рыжая Настя; когда она смотрела зелеными глазами на мужчин — ноздри ее острого носа вздрагивали.

Но действительными хозяевами в квартире Деренковых были студенты университета, духовной академии, ветеринарного института,— шумное сборище людей, которые жили в настроении забот о русском народе, в непрерывной тревоге о будущем России. Всегда возбужденные статьями газет, выводами только что прочитанных книг, событиями в жизни города и университета, они по вечерам сбегались в лавочку Деренкова со всех улиц Казани для яростных споров и тихого шёпота по углам. Приносили с собою толстые книги и, тыкая пальцами в страницы их, кричали друг на друга, утверждая истины, кому какая нравилась.

Разумеется, я плохо понимал эти споры, истины терялись для меня в обилии слов, как звездочки жира в жидком супе бедных. Некоторые студенты напоминали мне стариков-начетчиков сектантского Поволжья, но я понимал, что вижу людей, которые готовятся изменить жизнь к лучшему, и хотя искренность их захлебывалась в бурном потоке слов, но — не тонула в нем. Задачи, которые они пытались решать, были ясны мне, и я чувствовал себя лично заинтересованным в удачном решении этих задач. Часто мне казалось, что в словах студентов звучат мои немые думы, и я относился к этим людям почти восторженно, как пленник, которому обещают свободу.

Они же смотрели на меня, точно столяры на кусок дерева, из которого можно сделать не совсем обыкновенную вещь.

— Самородок! — рекомендовали они меня друг другу, с такой же гордостью, с какой уличные мальчишки показывают один другому медный пятак, найденный на мостовой. Мне не нравилось, когда меня именовали — «самородком» и «сыном народа»,— я чувствовал себя пасынком жизни и, порою, очень испытывал тяжесть силы, руководившей развитием моего ума. Так, увидав в окне книжного магазина книгу, озаглавленную неведомыми мне словами «Афоризмы и максимы», я воспылал желанием прочитать ее и попросил студента духовной академии дать мне эту книгу.

— Здравствуйте! — иронически воскликнул будущий архиерей, человек с головою негра,— курчавый,

толстогубый, зубастый.— Это, брат, ерунда. Ты читай, что дают, а в область, тебе не подобающую, — не лезь!

Грубый тон учителя очень задел меня. Книгу я, конечно, купил, заработав часть денег на пристанях, а часть заняв у Андрея Деренкова. Это была первая серьезная книга, купленная мною, она до сей поры сохранилась у меня.

Вообще — со мною обращались довольно строго: когда я прочитал «Азбуку социальных наук», мне показалось, что роль пастушеских племен в организации культурной жизни преувеличена автором, а предприимчивые бродяги, охотники — обижены им. Я сообщил мои сомнения одному филологу,— а он, стараясь придать бабьему лицу своему выражение внушительное, целый час говорил мне о «праве критики».

— Чтоб иметь право критиковать — надо верить в какую-то истину,— во что верите вы? — спросил он меня.

Он читал книги даже на улице,— идет по панели, закрыв лицо книгой, и толкает людей. Валяясь у себя на чердаке в голодном тифе, он кричал:

— Мораль должна гармонически совмещать в себе элементы свободы и принуждения,— гармонически, гаргар-гарм...

Нежный человек, полубольной от хронического недоедания, изнуренный упорными поисками прочной истины, он не знал никаких радостей, кроме чтения книг, и, когда ему казалось, что он примирил противоречия двух сильных умов, его милые темные глаза детски счастливо улыбались. Лет через десять после жизни в Казани я снова встретил его в Харькове, он отбыл пять лет ссылки в Кемь и снова учился в университете. Он показался мне живущим в муравьиной куче противоречивых мыслей; погибая от туберкулеза, он старался примирить Ницше с Марксом, харкал кровью и хрипел, хватая мои руки холодными липкими пальцами:

— Без синтеза — невозможно жить!

Он умер на пути в университет в вагоне трамвая.

Не мало видел я таких великомучеников разума ради,— память о них священна для меня.

Десятка два подобных людей собиралось в кварти-

ре Деренкова,— среди них был даже японец, студент духовной академии Пантелеймон Сато. Порою являлся большой, широкогрудый человек, с густой окладистой бородищей и по-татарски бритой головою. Он казался туго зашитым в серый казакин, застегнутый на крючки до подбородка. Обыкновенно он сидел где-нибудь в углу, покуривая коротенькую трубку и глядя на всех серыми, спокойно читающими глазами. Его взгляд часто и пристально останавливался на моем лице, я чувствовал, что серьезный этот человек мысленно взвешивает меня, и почему-то опасался его. Его молчаливость удивляла меня; все вокруг говорили громко, много, решительно, и чем более резко звучали слова, тем больше, конечно, они нравились мне; я очень долго не догадывался, как часто в резких словах прячутся мысли жалкие и лицемерные. О чем молчит этот бородатый богатырь?

Его звали Хохол, и, кажется, никто, кроме Андрея, не знал его имени. Вскоре мне стало известно, что человек этот недавно вернулся из ссылки, из Якутской области, где он прожил десять лет. Это усилило мой интерес к нему, но не внушило мне смелости познакомиться с ним, хотя я не страдал ни застенчивостью, ни робостью, а, напротив, болел каким-то тревожным любопытством, жаждой всё знать и как можно скорее. Это качество всю жизнь мешало мне серьезно заняться чем-либо одним.

Когда говорили о народе, я с изумлением и недоверием к себе чувствовал, что на эту тему не могу думать так, как думают эти люди. Для них народ являлся воплощением мудрости, духовной красоты и добросердечия, существом почти богоподобным и единосущным, вместилищем начал всего прекрасного, справедливого, величественного. Я не знал такого народа. Я видел плотников, грузчиков, каменщиков, знал Якова, Осипа, Григория, а тут говорили именно о единосущном народе и ставили себя куда-то ниже его, в зависимость от его воли. Мне же казалось, что именно эти люди воплощают в себе красоту и силу мысли, в них сосредоточена и горит добрая, человеколюбивая воля к жизни, к свободе строительства ее по каким-то новым канонам человеколюбия.

Именно человеколюбия не наблюдал я в человечках, среди которых жил до той поры, а здесь оно звучало в каждом слове, горело в каждом взгляде.

Освежающим дождем падали на сердце мое речи народопоклонников, и очень помогла мне наивная литература о мрачном житии деревни, о великомученике-мужике. Я почувствовал, что, только очень крепко, очень страстно любя человека, можно почерпнуть в этой любви необходимую силу для того, чтоб найти и понять смысл жизни. Я перестал думать о себе и начал внимательнее относиться к людям.

Андрей Деренков доверчиво сообщил мне, что скромные доходы его торговли целиком идут на помощь людям, которые верят: «Счастье народа — прежде всего». Он вертелся среди них, точно искренно верующий дьячок за архиерейской службой, не скрывая восторга пред бойкой мудростью книгочеев; счастливо улыбаясь, засунув сухую руку за пазуху, дергая другою рукой во все стороны мягкую бородку свою, он спрашивал меня:

— Хорошо? То-то же!

И когда против народников еретически возражал ветеринар Лавров — обладатель странного голоса, подобного гоготу гуся,— Деренков, испуганно закрывая глаза, шептал:

— Какой смутьян!

Его отношение к народникам было сродно моему, но отношение студенчества к Деренкову казалось мне грубоватым и небрежным отношением господ к работнику, трактирному лакею. Сам он этого не замечал. Часто, проводив гостей, он оставлял меня ночевать, мы чистили комнату и потом, лежа на полу, на войлоках, долго дружеским шёпотом беседовали во тьме, едва освещенной огоньком лампады. С тихой радостью верующего он говорил мне:

— Накопятся сотни, тысячи таких хороших людей, займут в России все видные места и сразу переменят всю жизнь!

Он был лет на десять старше меня, и я видел, что рыжеволосая Настя очень нравится ему, он старался не смотреть в ее задорные глаза, при людях говорил

с нею суховато, командующим голосом хозяина, но провожал ее тоскующим взглядом, а говоря наедине с нею, смущенно и робко улыбался, дергая бородку.

Его маленькая сестренка наблюдала словесные битвы тоже из уголка; детское лицо ее смешно надувалось напряжением внимания, глаза широко открывались, а когда звучали особенно резкие слова,—она шумно вздыхала, точно на нее брызнули ледяной водой. Около нее солидным петухом расхаживал рыжеватый медик, он говорил с нею таинственным полушёпотом и внушительно хмурил брови. Всё это было удивительно интересно.

Но — наступила осень, жизнь без постоянной работы стала невозможна для меня. Увлеченный всем, что творилось вокруг, я работал всё меньше и питался чужим хлебом, а он всегда очень туго идет в горло. Нужно было искать на зиму «место», и я нашел его в крендельной пекарне Василия Семенова.

Этот период жизни очерчен мною в рассказах «Хозяин», «Коновалов», «Двадцать шесть и одна» — тяжелое время! Однако — поучительное.

Тяжело было физически, еще тяжелее — морально.

Когда я опустился в подвал мастерской, между мною и людьми, видеть и слушать которых стало уже необходимо для меня, выросла «стена забвения». Никто из них не ходил ко мне в мастерскую, а я, работая четырнадцать часов в сутки, не мог ходить к Деренкову в будни; в праздничные дни или спал, или же оставался с товарищами по работе. Часть их с первых же дней стала смотреть на меня как на забавного шута, некоторые отнеслись с наивной любовью детей к человеку, который умеет рассказывать интересные сказки. Чёрт знает что я говорил этим людям, но, разумеется, всё, что могло внушить им надежду на возможность иной, более легкой и осмысленной жизни. Иногда это удавалось мне, и, видя, как опухшие лица освещаются человеческой печалью, а глаза вспыхивают обидой и гневом,— я чувствовал себя празднично и с гордостью думал, что «работаю в народе», «просвещаю» его.

Но, разумеется, чаще приходилось мне испытывать мое бессилие, недостаток знаний, неумение ответить

даже на простейшие вопросы жизни, быта. Тогда я чувствовал себя сброшенным в темную яму, где люди копошатся, как слепые черви, стремясь только забыть действительность и находя это забвение в кабаках да в холодных объятиях проституток.

Посещение публичных домов было обязательно каждый месяц в день получки заработка; об этом удовольствии мечтали вслух за неделю до счастливого дня, а прожив его — долго рассказывали друг другу об испытанных наслаждениях. В этих беседах цинически хвастались половой энергией, жестоко глумились над женщинами, говорили о них, брезгливо отплевываясь.

Но — странно! — за всем этим я слышал — мне чудилось — печаль и стыд. Я видел, что в «домах утешения», где за рубль можно было купить женщину на всю ночь, мои товарищи вели себя смущенно, виновато,— это казалось мне естественным. А некоторые из них держались слишком развязно, с удальством, в котором я чувствовал нарочитость и фальшь. Меня жутко интересовало отношение полов, и я наблюдал за этим с особенной остротою. Сам я еще не пользовался ласками женщины, и это ставило меня в неприятную позицию: надо мною зло издевались и женщины и товарищи. Скоро меня перестали приглашать в «дома утешения», заявив откровенно:

— Ты, брат, с нами не ходи.

— Почему?

— Так уж! Нехорошо с тобой.

Я цепко ухватился за эти слова, чувствуя в них что-то важное для меня, но не получил объяснения более толкового.

— Экой ты! Сказано тебе — не ходи! Скушно с тобой...

И только Артем сказал, усмехаясь:

— Вроде как при попе али при отце.

Девицы сначала высмеивали мою сдержанность, потом стали спрашивать с обидой:

— Брезгуешь?

Сорокалетняя «девушка», пышная и красивая полька Тереза Борута, «экономка», глядя на меня умными глазами породистой собаки, сказала:

— Оставимте ж его, подруги,— у него обязательно невеста есть — да? Такой силач обязательно невестой держится, больше ничем!

Алкоголичка, она пила запоем и пьяная была неописуемо отвратительна, а в трезвом состоянии удивляла меня вдумчивым отношением к людям и спокойным исканием смысла в их деяниях.

— Самый же непонятный народ — это обязательно студенты академии, да,— рассказывала она моим товарищам.— Они такое делают с девушками: велят помазать пол мылом, поставят голую девушку на четвереньки, руками-ногами на тарелки и толкают ее в зад — далеко ли уедет по полу? Так — одну, так и другую. Вот. Зачем это?

— Ты врешь! — сказал я.

— Ой, нет! — воскликнула Тереза, не обижаясь, спокойно, в спокойствии этом было что-то подавляющее.

— Ты выдумала это!

— Как же такое можно выдумать девушке? Разве я — сумасшедшая? — спросила она, вытаращив глаза.

Люди прислушивались к нашему спору с жадным вниманием, а Тереза всё рассказывала об играх гостей бесстрастным тоном человека, которому нужно только одно: понять — зачем это?

Слушатели с отвращением плевались, дико ругали студентов, а я, видя, что Тереза возбуждает вражду к людям, уже излюбленным мною, говорил, что студенты любят народ, желают ему добра.

— Так то́ — студенты с Воскресенской улицы, штатские, с университета, я ж говорю о духовных, с Арского поля! Они, духовные, сироты все, а сирота растет, обязательно, вором или озорником, плохим человеком растет, он же ни к чему не привязан, сирота!

Спокойные рассказы «экономки» и злые жалобы девушек на студентов, чиновников и вообще на «чистую публику» вызывали в товарищах моих не только отвращение и вражду, но почти радость, она выражалась словами:

— Значит — образованный-то хуже нас!

Мне тяжело и горько было слышать эти слова. Я видел, что в полутемные маленькие комнаты стекается,

точно в ямы, вся грязь города, вскипает на чадном огне и, насыщенная враждою, злобой, снова изливается в город. Я наблюдал, как в этих щелях, куда инстинкт и скука жизни забивают людей, создаются из нелепых слов трогательные песни о тревогах и муках любви, как возникают уродливые легенды о жизни «образованных людей», зарождается насмешливое и враждебное отношение к непонятному, и видел, что «дома утешения» являются университетами, откуда мои товарищи выносят знания весьма ядовитого характера.

Смотрел я, как по грязному полу двигаются, лениво шаркая ногами, «девушки для радости», как отвратительно трясутся их дряблые тела под назойливый визг гармоники или под раздражающий треск струн разбитого пианино, смотрел — и у меня зарождались какие-то неясные, но тревожные мысли. От всего вокруг истекала скука, отравляя душу бессильным желанием куда-то уйти.

Когда, в мастерской, я начинал рассказывать о том, что есть люди, которые бескорыстно ищут путей к свободе, к счастью народа,— мне возражали:

— А вот девки не то говорят про них!

И нещадно, с цинической злостью высмеивали меня, а я был задорным кутенком, чувствовал себя не глупее и смелее взрослых собак,— я тоже злился. Начиная понимать, что думы о жизни не менее тяжелы, чем сама жизнь, я порою ощущал в душе вспышки ненависти к упрямо терпеливым людям, с которыми работал. Меня особенно возмущала их способность терпеть, покорная безнадежность, с которой они подчинялись полубезумным издевательствам пьяного хозяина.

И — как нарочно! — именно в эти тяжелые дни мне довелось познакомиться с идеей совершенно новой и хотя органически враждебной мне, но все-таки очень смутившей меня.

В одну из тех вьюжных ночей, когда кажется, что злобно воющий ветер изорвал серое небо в мельчайшие клочья и они сыплются на землю, хороня ее под сугробами ледяной пыли, и кажется, что кончилась жизнь земли, солнце погашено, не взойдет больше,— в такую ночь, на масленой неделе я возвращался в мастерскую

от Деренковых. Шагал, закрыв глаза, против ветра, сквозь мутное кипение серого хаоса и вдруг — упал, наскочив на человека, лежавшего поперек панели. Мы оба выругались, я — по-русски, он — на французском языке:

— О дьявол...

Это возбудило мое любопытство, я поднял его, поставил на ноги,— он был маленького роста, легкий. Толкая меня, он гневно кричал:

— Моя шапка, чёрт вас возьми! Отдайте шапку! Я — замерзну!

Найдя в снегу шапку, я встряхнул ее, надел на его ершистую голову, но он сорвал шапку и, махая ею, ругался на двух языках, гнал меня:

— Прочь!

Вдруг бросился вперед и утонул в кипящей кашице. Идя дальше, я снова увидал его — он стоял, обняв руками деревянный столб погашенного фонаря, и убедительно говорил:

— Лена, я погибаю... о Лена...

Видимо, он был пьян и, пожалуй, замерз бы, оставь я его на улице. Я спросил, где он живет.

— Какая это улица? — закричал он со слезами в голосе.— Я не знаю, куда идти.

Я обнял его за талию и повел, допрашивая, где он живет.

— На Булаке,— бормотал он, вздрагивая.— На Булаке... там — бани, дом...

Шагал он неверно, сбивчиво и мешал мне идти; я слышал, как стучали его зубы:

— Си тю савэ,— бормотал он, толкая меня.

— Что вы говорите?

Он остановился, поднял руку и сказал внятно — с гордостью, как показалось мне:

— Си тю савэ у же те мен...[1]

И сунул пальцы руки в рот себе, качаясь, почти падая. Присев, я взял его на спину себе и понес, а он, упираясь подбородком в череп мой, ворчал:

---

[1] Если бы ты знал, куда я тебя веду... (*Франц.*: Si tu savais où je te mène...).

— Си тю савэ... Но я замерзаю, о боже...

На Булаке я с трудом добился у него, в каком доме он живет, наконец мы влезли в сени маленького флигеля, спрятанного в глубине двора и вихрях снега. Он нащупал дверь, осторожно постучал и зашипел:

— Шш! Тише...

Дверь открыла женщина в красном капоте, с зажженной свечой в руке; уступив нам дорогу, она молча отошла в сторону и, вынув откуда-то лорнет, стала рассматривать меня.

Я сказал ей, что у человека, кажется, застыли руки и его необходимо раздеть, уложить в постель.

— Да? — спросила она звучно и молодо.

— Руки нужно опустить в холодную воду...

Она молча указала лорнетом в угол,— там, на мольберте, стояла картина — река, деревья. Я удивленно взглянул в лицо женщины, странно неподвижное, а она отошла в угол комнаты, к столу, на котором горела лампа под розовым абажуром, села там и, взяв со стола валета червей, стала рассматривать его.

— У вас нет водки? — громко спросил я. Она не ответила, раскладывая по столу карты. Человек, которого я привел, сидел на стуле, низко наклонив голову, свесив вдоль туловища красные руки. Я положил его на диван и стал раздевать, ничего не понимая, живя, как во сне. Стена предо мною над диваном была сплошь покрыта фотографиями, среди них тускло светился золотой венок в белых бантах ленты, на конце ее золотыми буквами было напечатано:

«Несравненной Джильде».

— Чёрт побери — тише! — застонал человек, когда я начал растирать его руки.

Женщина озабоченно и молча раскладывала карты. Лицо у нее остроносое, птичье, его освещают большие неподвижные глаза. Вот она руками девочки-подростка взбила седые свои волосы, пышные, точно парик, и спросила тихо, но звучно:

— Ты видел Мишу, Жорж?

Жорж оттолкнул меня, быстро сел и торопливо сказал:

— Но ведь он уехал в Киев...

— Да, в Киев,— повторила женщина, не отводя глаз от карт, и я заметил, что голос ее звучит однотонно, невыразительно.

— Он скоро приедет...

— Да?

— О да! Скоро.

— Да? — повторила женщина.

Полураздетый Жорж соскочил на пол и в два прыжка встал на колени у ног женщины, говоря ей что-то по-французски.

— Я спокойна,— по-русски ответила она.

— Я — заплутался, знаешь? Метель, страшный ветер, я думал — замерзну,— торопливо рассказывал Жорж, гладя ее руку, лежавшую на колене. Ему было лет сорок, красное толстогубое лицо его с черными усами казалось испуганным, тревожным, он крепко потирал седую щетину волос на своем круглом черепе и говорил всё более трезво.

— Мы завтра едем в Киев, — сказала женщина, не то — спрашивая, не то — утверждая.

— Да, завтра! И тебе нужно отдохнуть. Почему ты не ляжешь? Уже очень поздно...

— Он не приедет сегодня, Миша?

— О нет! Такая метель... Идем, ляг...

Он увел ее в маленькую дверь за шкафом книг, взяв лампу со стола. Я долго сидел один, ни о чем не думая, слушая его тихий, сиповатый голос. Мохнатые лапы шаркали по стеклам окна. В луже растаявшего снега робко отражалось пламя свечи. Комната была тесно заставлена вещами, теплый странный запах наполнял ее, усыпляя мысль.

Вот Жорж явился, пошатываясь, держа в руках лампу, абажур ее дробно стучал о стекло.

— Легла.

Поставил лампу на стол, задумчиво остановился среди комнаты и заговорил, не глядя на меня:

— Ну, что же? Без тебя, вероятно, я бы погиб... Спасибо! Ты кто?

Он склонил голову набок, прислушиваясь к шороху в соседней комнате и вздрагивая.

— Это ваша жена? — тихонько спросил я.

— Жена. Всё. Вся жизнь! — раздельно, негромко, глядя в пол, сказал этот человек и снова начал крепко растирать голову ладонями.

— Чаю выпить,— а?

Он рассеянно пошел к двери, но остановился, вспомнив, что прислуга объелась рыбой и ее отправили в больницу.

Я предложил поставить самовар, он согласно кивнул головой и, видимо, забыв, что полураздет, шлепая босыми ногами по мокрому полу,отвел меня в маленькую кухню. Там, прислонясь спиной к печке, он повторил:

— Без тебя — я бы замерз,— спасибо!

И вдруг, вздрогнув, уставился на меня испуганно расширенными глазами.

— Что же было бы с нею тогда? О господи...

Быстро, шёпотом, глядя в темную дыру двери, он сказал:

— Ты видишь,— она больная. У нее застрелился сын, музыкант, в Москве, а она всё ждет его, вот уже два года почти...

Потом, когда мы пили чай, он бессвязно, необычными словами рассказал, что женщина — помещица, он — учитель истории, был репетитором ее сына, влюбился в нее, она ушла от мужа-немца, барона, пела в опере, они жили очень хорошо, хотя первый муж ее всячески старался испортить ей жизнь.

Рассказывал он, прищурив глаза, напряженно присматриваясь к чему-то в полутьме грязной кухни, с прогнившим у печки полом. Обжигался, прихлебывая чай, лицо его морщилось, круглые глаза пугливо мигали.

— Ты — кто? — еще раз спросил он.— Да, крендельщик, рабочий. Странно. Непохоже. Что это значит?

Слова его звучали беспокойно, он смотрел на меня недоверчиво, взглядом затравленного.

Я кратко рассказал о себе.

— Вот как? — тихо воскликнул он.— Да, вот как...

И вдруг оживился, спрашивая:

— Ты знаешь сказку о «Гадком утенке»? Читал?

Лицо его исказилось, он начал говорить с гневом,

изумляя меня неестественными — до визга — повышениями сиповатого голоса.

— Эта сказка — соблазняет! В твои годы я тоже подумал — не лебедь ли я? И — вот... Должен был идти в академию — пошел в университет. Отец — священник — отказался от меня. Изучал — в Париже — историю несчастий человечества — историю прогресса. Писал, да. О, как всё это...

Он подскочил на стуле, прислушался и затем сказал мне:

— Прогресс — это выдумано для самоутешения! Жизнь — неразумна, лишена смысла. Без рабства — нет прогресса, без подчинения большинства меньшинству — человечество остановится на путях своих. Желая облегчить нашу жизнь, наш труд, мы только усложняем ее, увеличиваем труд. Фабрики и машины для того, чтоб делать еще и еще машины, это — глупо! Всё больше становится рабочих, а необходим только крестьянин, производитель хлеба. Хлеб — это всё, что надо взять трудом у природы. Чем меньше нужно человеку — тем более он счастлив, чем больше желаний — тем меньше свободы.

Быть может — не в этих словах, но именно эти оглушающие мысли впервые слышал я, да еще в такой резкой, оголенной форме. Человек, взвизгнув от возбуждения, боязливо останавливал взгляд на двери, открытой во внутренние комнаты, минуту слушал тишину и снова шептал почти с яростью:

— Пойми,— каждому нужно не много: кусок хлеба и женщину...

Заговорив о женщине таинственным шёпотом, словами, которых я не знал, стихами, которых не читал,— он вдруг стал похож на вора Башкина.

— Беатриче, Фиаметта, Лаура, Нинон,— шептал он имена, незнакомые мне, и рассказывал о каких-то влюбленных королях, поэтах, читал французские стихи, отсекая ритмы тонкой, голой до локтя рукою.

— Любовь и голод правят миром,— слышал я горячий шёпот и вспомнил, что эти слова напечатаны под заголовком революционной брошюры «Царь-Голод», это придавало им в моих мыслях особенно веское значение.

— Люди ищут забвения, утешения, а не — знания!

Эта мысль окончательно поразила меня.

Я ушел из кухни утром,— маленькие часы на стене показывали шесть с минутами. Шагал в серой мгле по сугробам, слушая вой метели, и, вспоминая яростные взвизгивания разбитого человека, чувствовал, что его слова остановились где-то в горле у меня, душат. Не хотелось идти в мастерскую, видеть людей, и, таская на себе кучу снега, я шатался по улицам Татарской слободы до поры, когда стало светло и среди волн снега начали пырять фигуры жителей города.

Больше я никогда не встречал учителя и не хотел встретить его. Но впоследствии я неоднократно слышал речи о бессмыслии жизни и бесполезности труда,— их говорили безграмотные странники, бездомные бродяги, «толстовцы» и высококультурные люди. Говорил об этом иеромонах, магистр богословия, химик, работавший по взрывчатым веществам, биолог-неовиталист и многие еще. Но эти идеи уже не влияли на меня так ошеломляюще, как тогда, когда я впервые познакомился с ними.

И только вот года два тому назад — спустя более тридцати лет после первой беседы на эту тему — я неожиданно услышал те же мысли и почти в тех же словах от старого знакомого моего, рабочего.

Однажды у меня с ним завязалась беседа «по душе», и этот человек — «политический воротило», как он, невесело усмехаясь, называл себя,— сказал мне с тою бесстрашной искренностью, которой обладают, кажется, только русские люди:

— А. М., милый, ничего мне не надо, никуда всё это — академии, науки, аэропланы,— лишнее! Надобно только угол тихий и — бабу, чтоб я ее целовал, когда хочу, а она мне честно — душой и телом — отвечала,— вот! Вы — по-интеллигентски рассуждаете, вы уж не наш, а — отравленный человек, для вас идея выше людишек, вы по-жидовски думаете: человек — для субботы?

— Евреи не думают так...

— Чёрт их знает, как они думают,— народишко темный,— отвстил он, бросив окурок папиросы в реку и следя за ним.

Мы сидели на набережной Невы, на гранитной скамье, лунной ночью осени, оба истерзанные днем бесполезных волнений, упрямого, но безуспешного желания сделать что-то доброе, полезное.

— Вы с нами, а — не наш, вот что я говорю,— продолжал он вдумчиво, тихо.— Интеллигентам приятно беспокоиться, они издаля веков присовокупились к бунтам. Как Христос был идеалистом и бунтовал для надземных целей,— так и вся интеллигенция бунтует для утопии. Бунтует — идеалист, а с ним никчемность, негодяйство, сволочь, и всё — со зла, видят они, что места в жизни нет для них. Рабочий восстает для революции, ему нужно добиться правильного распределения орудий и продуктов труда. Захватив власть окончательно,— думаете, согласится он на государство? Ни за что! Все разойдутся, и каждый, за свой страх, устроит себе спокойный уголок...

— Техника, говорите? Так она еще туже затягивает петлю на шее нашей, еще крепче вяжет нас. Нет, надо освободиться от лишнего труда. Человек покоя хочет. Фабрики да науки покоя не дадут. Одному — немного надо. Зачем я буду город громоздить, когда мне только маленький домик нужен? Где кучей живут — там и водопроводы, и канализация, и электричество. А — попробуйте без этого жить — как легко будет! Нет, много лишнего у нас, и всё это — от интеллигенции, потому я и говорю: интеллигенция — вредная категория.

Я сказал, что никто не умеет так глубоко и решительно обессмысливать жизнь, как это делаем мы, русские.

— Самый свободный народ по духу,— усмехнулся мой собеседник.— Только — вы не сердитесь, я правильно рассуждаю, так миллионы наши думают, да — сказать не умеют... Жизнь надо устроить проще, тогда она будет милосерднее к людям...

Человек этот никогда не был «толстовцем», не обнаруживал склонности к анархизму,— я хорошо знаю историю его духовного развития.

После беседы с ним я невольно подумал: а что, если действительно миллионы русских людей только

потому терпят тягостные муки революции, что лелеют в глубине души надежду освободиться от труда? Минимум труда — максимум наслаждения, это очень заманчиво и увлекает, как всё неосуществимое, как всякая утопия.

И мне вспомнились стихи Генриха Ибсена:

Я консерватор? О нет!
Я всё тот же, кем был всю жизнь,—
Не люблю перемещать фигуры,
Но — хотел бы смешать всю игру.

Помню только одну революцию,—
Она была умнее последующих
И могла бы всё разрушить —
Разумею, конечно, Всемирный потоп.

Но — и тогда Дьявола надули!
Вы знаете — Ной стал диктатором.

О, если это можно сделать честнее,
Я не откажусь помочь вам,—
Вы хлопочите о Всемирном потопе,
Я же, с радостью, суну торпеду под ковчег!

Лавка Деренкова давала ничтожный доход, а количество людей и «делишек», нуждавшихся в материальной помощи,— всё возрастало.

— Надо придумать что-нибудь,— озабоченно пощупывая бородку, говорил Андрей и виновато улыбался, тяжко вздыхал.

Мне казалось, что этот человек считает себя осужденным на бессрочную каторгу помощи людям и хотя примирился с наказанием, но все-таки порою оно тяготит его.

Не однажды, разными словами, я спрашивал:

— Почему вы делаете это?

Он, видимо, не понимая моих вопросов, отвечал на вопрос — для чего? — говорил книжно и невразумительно о тяжелой жизни народа, о необходимости просвещения, знания.

— А — хотят, ищут люди знания?

— Ну, как же! Конечно! Ведь вы — хотите?

Да, я — хотел. Но — я помнил слова учителя истории:

«Люди ищут забвения, утешения, а не — знания».

Для таких острых идей — вредна встреча с людьми семнадцати лет от роду, идеи притупляются от этих встреч, люди тоже не выигрывают.

Мне стало казаться, что я всегда замечал одно и то же: людям нравятся интересные рассказы только потому, что позволяют им забыть на час времени тяжелую, но привычную жизнь. Чем больше «выдумки» в рассказе, тем жаднее слушают его. Наиболее интересна та книга, в которой много красивой «выдумки». Кратко говоря — я плавал в чадном тумане.

Деренков придумал открыть булочную. Помню — было совершенно точно высчитано, что это предприятие должно давать не менее тридцати пяти процентов на каждый оборот рубля. Я должен был работать «подручным» пекаря и, как «свой человек», следить, чтоб оный пекарь не воровал муку, яйца, масло и выпеченный товар.

И вот я переселился из большого грязного подвала в маленький, почище,— забота о чистоте его лежала на моей обязанности. Вместо артели в сорок человек предо мною был один. У него седые виски, острая бородка, сухое, копченое лицо, темные задумчивые глаза и странный рот: маленький, точно у окуня, губы пухлые, толстые и сложены так, как будто он мысленно целуется. И что-то насмешливое светится в глубине глаз.

Он, конечно, воровал,— в первую же ночь работы он отложил в сторону десяток яиц, фунта три муки и солидный кусок масла.

— Это — куда пойдет?

— А это пойдет одной девчоночке,— дружески сказал он и, сморщив переносье, добавил: — Ха-арошая девчонка!

Я попробовал убедить его, что воровство считается преступлением. Но — или у меня не хватило красноречия, или я сам был недостаточно крепко убежден в том, что пытался доказать,— речь моя не имела успеха.

Лежа на ларе теста и глядя в окно на звезды, пекарь удивленно забормотал:

— Он меня — учит! Первый раз видит и — готово— учит! А сам втрое моложе меня. Смешно...

Осмотрел звезды и спросил:

— Будто видел я тебя где-то,— ты у кого работал? У Семенова? Это где бунтовали? Так. Ну, значит, я тебя во сне видел...

Через несколько дней я заметил, что человек этот может спать сколько угодно и в любом положении, даже стоя, опершись на лопату. Засыпая, он приподнимал брови, и лицо его странно изменялось, принимая иронически удивленное выражение. А любимой темой его были рассказы о кладах и снах. Он убежденно говорил:

— Землю я вижу насквозь, и вся она, как пирог, кладами начинена: котлы денег, сундуки, чугуны везде зарыты. Не раз бывало: вижу во сне знакомое место, скажем, баню,— под углом у ней сундук серебряной посуды зарыт. Проснулся и пошел ночью рыть, аршина полтора вырыл, гляжу — угли и собачий череп. Вот оно,— нашел!.. Вдруг — трах! — окно вдребезги, и баба какая-то орет неистово: «Караул, воры!» Конечно— убежал, а то бы — избили. Смешно.

Я часто слышу это слово: смешно! — но Иван Козьмич Лутонин не смеется, а только, улыбчиво прищурив глаза, морщит переносицу, расширяя ноздри.

Сны его — незатейливы, они так же скучны и нелепы, как действительность, и я не понимаю: почему он сны свои рассказывал с увлечением, а о том, что живет вокруг его,— не любит говорить? *

Весь город взволнован: застрелилась, приехав из-под венца, насильно выданная замуж дочь богатого торговца чаем. За гробом ее шла толпа молодежи, несколько тысяч человек, над могилой студенты говорили речи, полиция разгоняла их. В маленьком магазине рядом с пекарней все кричат об этой драме, комната

---

* В конце 90-х годов я прочитал в одном археологическом журнале, что Лутонин-Коровяков нашел где-то в Чистопольском уезде клад: котелок арабских денег.

за магазином набита студентами, к нам, в подвал, доносятся возбужденные голоса, резкие слова.

— Косы ей драли мало, девице этой,— говорит Лутонин и вслед за этим сообщает мне:

— Ловлю будто я карасей в пруде, вдруг — полицейский: «Стой, как ты смеешь?» Бежать некуда, нырнул я в воду и — проснулся...

Но, хотя действительность протекала где-то за пределами его внимания,— он скоро почувствовал: в булочной есть что-то необычайное, в магазине торгуют девицы, неспособные к этому делу, читающие книжки,—сестра хозяина и подруга ее, большая, розовощекая, с ласковыми глазами. Приходят студенты, долго сидят в комнате за магазином и кричат или шепчутся о чем-то. Хозяин бывает редко, а я, «подручный», являюсь как будто управляющим булочной.

— Родственник ты хозяину? — спрашивает Лутонин.— А может, он тебя в зятья прочит? Нет? Смешно. А — зачем студенты шляются? Для барышень... Н-да. Ну, это может быть... Хотя барышни незначительно вкусно-красивы... Студентишки-то, наверно, больше едят булки, чем для барышень стараются...

Почти ежедневно в пять, шесть часов утра на улице, у окна пекарни, является коротконогая девушка; сложенная из полушарий различных размеров, она похожа на мешок арбузов. Спустив голые ноги в яму перед окном, она, позевывая, зовет:

— Ваня!

На голове у нее пестрый платок, из-под него выбиваются курчавые светлые волосы, осыпая мелкими колечками ее красные, мячами надутые щеки, низенький лоб, щекоча полусонные глаза. Она лениво отмахивает волосы с лица маленькими руками, пальцы их забавно растопырены, точно у новорожденного ребенка. Интересно — о чем можно говорить с такой девицей? Я бужу пекаря, он спрашивает ее:

— Пришла?

— Видишь.

— Спала?

— Ну, а как же?

— Что видела во сне?

— Не помню...

Тихо в городе. Впрочем — где-то шаркает метла дворника, чирикают только что проснувшиеся воробьи. В стекла окон упираются тепленькие лучи восходящего солнца. Очень приятны мне эти задумчивые начала дней. Вытянув в окно волосатую руку, пекарь щупает ноги девицы, она подчиняется исследованию равнодушно, без улыбки, мигая овечьими глазами.

— Пешков, вынимай сдобное, пора!

Я вынимаю из печи железные листы, пекарь хватает с них десяток плюшек, слоек, саек, бросая их в подол девушке, а она, перебрасывая горячую плюшку с ладони на ладонь, кусает ее желтыми зубами овцы, обжигается и сердито стонет, мычит.

Любуясь ею, пекарь говорит:

— Опусти подол, бесстыдница...

А когда она уходит, он хвастается предо мною:

— Видал? Как ярочка, вся в кудряшках. Я, брат, чистоплотный, с бабами не живу, только с девицами. Это у меня — тринадцатая! Никифорычу — крестная дочь.

Слушая его восторги, я думаю:

«И мне — так жить?»

Вынув из печи весовой белый хлеб, я кладу на длинную доску десять, двенадцать караваев и поспешно несу их в лавочку Деренкова, а возвратясь назад, набиваю двухпудовую корзину булками и сдобным и бегу в духовную академию, чтоб поспеть к утреннему чаю студентов. Там, в обширной столовой, стою у двери, снабжая студентов булками «на книжку» и «за наличный расчет»,— стою и слушаю их споры о Толстом; один из профессоров академии, Гусев,— яростный враг Льва Толстого. Иногда у меня в корзине под булками лежат книжки, я должен незаметно сунуть их в руки того или другого студента, иногда — студенты прячут книги и записки в корзину мне.

Раз в неделю я бегаю еще дальше — в «Сумасшедший дом», где читал лекции психиатр Бехтерев, демонстрируя больных. Однажды он показывал студентам больного манией величия: когда в дверях аудитории явился этот длинный человек, в белом одеянии,

в колпаке, похожем на чулок, я невольно усмехнулся, но он, остановясь на секунду рядом со мною, взглянул в лицо мне, и я отскочил,— как будто он ударил в сердце мое черным, но огненным острием своего взгляда. И всё время, пока Бехтерев, дергая себя за бороду, почтительно беседовал с больным, я тихонько ладонью гладил лицо свое, как будто обожженное горячей пылью.

Больной говорил глухим басом, он чего-то требовал, грозно вытягивая из рукава халата длинную руку с длинными пальцами, мне казалось, что всё его тело неестественно вытягивается, бесконечно растет, что этой темной рукою он, не сходя с места, достигнет меня и схватит за горло. Угрожающе и властно блестел из темных ям костлявого лица пронизывающий взгляд черных глаз. Десятка два студентов рассматривают человека в нелепом колпаке, немногие — улыбаясь, большинство — сосредоточенно и печально, их глаза подчеркнуто обыкновенны в сравнении с его обжигающими глазами. Он страшен, и что-то величественное есть в нем,— есть!

В рыбьем молчании студентов отчетливо звучит голос профессора, каждый вопрос его вызывает грозные окрики глухого голоса, он исходит как будто из-под пола, из мертвых, белых стен, движения тела больного архиерейски медленны и важны.

Ночью я писал стихи о маниаке, называя его «владыкой всех владык, другом и советником бога», и долго образ его жил со мною, мешая мне жить.

Работая от шести часов вечера почти до полудня, днем я спал и мог читать только между работой, замесив тесто, ожидая, когда закиснет другое, и посадив хлеб в печь. По мере того как я постигал тайны ремесла, пекарь работал всё меньше, он меня «учил», говоря с ласковым удивлением:

— Ты — способный к работе, через год, два — будешь пекарем. Смешно. Молодой ты, не будут слушать тебя, уважать не будут...

К моему увлечению книгами он относился неодобрительно:

— Ты бы не читал, а спал,— заботливо советовал он, но никогда не спрашивал: какие книги читаю я?

Сны, мечты о кладах и круглая, коротенькая девица совершенно поглощали его. Девица нередко приходила ночью, и тогда он или уводил ее в сени на мешки муки или — если было холодно — говорил мне, сморщив переносье:

— Выдь на полчасика!

Я уходил, думая: «Как страшно не похожа эта любовь на ту, о которой пишут в книгах...»

В маленькой комнатке за магазином жила сестра хозяина, я кипятил для нее самовары, но старался возможно реже видеть ее — неловко было мне с нею. Ее детские глаза смотрели па меня всё тем же невыносимым взглядом, как при первых встречах, в глубине этих глаз я подозревал улыбку, и мне казалось, что это насмешливая улыбка.

От избытка сил я был очень неуклюж, пекарь, наблюдая, как я ворочаю и таскаю пятипудовые мешки, говорил, сожалея:

— Силы у тебя — на троих, а ловкости нет! И хоша ты длинный, а все-таки — бык...

Несмотря на то, что я уже немало прочитал книг, любил читать стихи и сам начинал писать их,— говорил я «своими словами». Я чувствовал, что они тяжелы, резки, но мпе казалось, что только ими я могу выразить глубочайшую путаницу моих мыслей. А иногда я грубил нарочито, из протеста против чего-то чуждого мне и раздражавшего меня.

Один из учителей моих, студент-математик, упрекал меня:

— Чёрт вас знает, как говорите вы. Не словами, а — гирями!..

Вообще — я не нравился себе, как это часто бывает у подростков; видел себя смешным, грубым. Лицо у меня — скуластое, калмыцкое, голос — не послушен мне.

А сестра хозяина двигалась быстро, ловко, как ласточка в воздухе, и мне казалось, что легкость ее движений разноречит с круглой, мягкой фигуркой ее. Что-то неверное есть в ее жестах и походке, что-то нарочное. Голос ее звучит весело, она часто смеется, и, слыша этот звонкий смех, я думаю: ей хочется, чтоб я забыл

о том, какою я видел ее первый раз. А я не хотел забыть об этом, мне было дорого необыкновенное, мне нужно было знать, что оно возможно, существует.

Иногда она спрашивала меня:

— Что вы читаете?

Я отвечал кратко, и мне хотелось спросить ее:

«А вам зачем знать это?»

Однажды пекарь, лаская коротконогую, сказал мне хмельным голосом:

— Выдь на минутку. Эх, шел бы ты к хозяйской сестре, чего зеваешь? Ведь студенты...

Я обещал разбить ему голову гирей, если он скажет еще что-нибудь такое же, и ушел в сени, на мешки. В щель неплотно прикрытой двери слышу голос Лутонина:

— Зачем я буду сердиться на него? Он насосался книг и — вроде сумасшедшего живет...

В сенях пищат и возятся крысы, в пекарне мычит и стонет девица. Я вышел на двор, там лениво, почти бесшумно сыплется мелкий дождь, но все-таки душно, воздух насыщен запахом гари — горят леса. Уже далеко за полночь. В доме напротив булочной открыты окна; в комнатах, неярко освещенных, поют:

Сам Варламий святой
С золотой головой,
Сверху глядя на них,
Улыбается...

Я пытаюсь представить себе Марию Деренкову лежащей на коленях у меня,— как лежит на коленях пекаря его девица,— и всем существом моим чувствую, что это невозможно, даже страшно.

И всю ночь, напролет,
Он и пьет и поет,
И еще — о!.. кое-чем
Занимается...

Задорно выделяется из хора густое, басовое — о. Сгнувшись, упираясь руками в колени, я смотрю в окно; сквозь кружево занавески мне видно квадратную яму, серые стены ее освещает маленькая лампа под голубым

абажуром, перед нею, лицом к окну, сидит девушка и пишет. Вот — подняла голову и красной вставкой для пера поправила прядь волос на виске. Глаза ее прищурены, лицо улыбается. Она медленно складывает письмо, заклеивает конверт, проводя языком по краям его, и, бросив конверт на стол, грозит ему маленьким пальцем,— меньше моего мизинца. Но — снова берет письмо, хмурясь, разрывает конверт, читает, заклеивает в другой конверт, пишет адрес, согнувшись над столом, и размахивает письмом в воздухе, как белым флагом. Кружась, всплескивая руками, идет в угол, где ее постель, потом выходит оттуда, сняв кофточку,— плечи у нее круглые, как пышки,— берет лампу со стола и скрывается в углу. Когда наблюдаешь, как ведет себя человек наедине сам с собою,— он кажется безумным. Я хожу по двору, думая о том, как странно живет эта девушка, когда она одна в своей норе.

А когда к ней приходил рыжеватый студент и пониженным голосом, почти шёпотом, говорил ей что-то, она вся сжималась, становясь еще меньше, смотрела на него робко и прятала руки за спину или под стол. Не нравился мне этот рыжий. Очень не нравился.

Пошатываясь, кутаясь в платок, идет коротконогая и урчит:

— Иди в пекарню...

Пекарь, выкидывая тесто из ларя, рассказывает мне, как утешительна и неутомима его возлюбленная, а я — соображаю:

«Что же будет со мною дальше?»

И мне кажется, что где-то близко, за углом, меня ожидает несчастие.

Дела булочной идут так хорошо, что Деренков ищет уже другую, более обширную пекарню и решил нанять еще подручного. Это — хорошо, у меня слишком много работы, я устаю до отупения.

— В новой пекарне ты будешь старшим подручным,— обещает мне пекарь.— Скажу, чтоб положили тебе десять рублей в месяц. Да.

Я понимаю, что ему выгодно иметь меня старшим, он — не любит работать, а я работаю охотно, усталость полезна мне, она гасит тревоги души, сдерживает на-

стойчивые требования инстинкта пола. Но — не позволяет читать.

— Хорошо, что ты бросил книжки,— крысы бы съели их! — говорит пекарь.— А — неужто ты снов не видишь? Наверно — видишь, только — скрытен ты! Смешно. Ведь сны рассказывать — самое безвредное дело, тут опасаться нечего...

Он очень ласков со мною, кажется — даже уважает меня. Или — боится, как хозяйского ставленника, хотя это не мешает ему аккуратно воровать товар.

Умерла бабушка. Я узнал о смерти ее через семь недель после похорон, из письма, присланного двоюродным братом моим. В кратком письме — без запятых — было сказано, что бабушка, собирая милостыню на паперти церкви и упав, сломала себе ногу. На восьмой день «прикинулся антонов огонь». Позднее я узнал, что оба брата и сестра с детьми — здоровые, молодые люди — сидели на шее старухи, питаясь милостыней, собранной ею. У них не хватило разума позвать доктора.

В письме было сказано:

«Схоронили ее на Петропавловском где все наши провожали мы и нищие они ее любили и плакали. Дедушка тоже плакал нас прогнал а сам остался на могиле мы смотрели из кустов как он плакал он тоже скоро помрет».

Я — не плакал, только — помню — точно ледяным ветром охватило меня. Ночью, сидя на дворе, на поленнице дров, я почувствовал настойчивое желание рассказать кому-нибудь о бабушке, о том, какая она была сердечно-умная, мать всем людям. Долго носил я в душе это тяжелое желание, но рассказать было некому, так оно, невысказанное, и перегорело.

Я вспомнил эти дни много лет спустя, когда прочитал удивительно правдивый рассказ А. П. Чехова про извозчика, который беседовал с лошадью о смерти сына своего. И пожалел, что в те дни острой тоски не было около меня ни лошади, ни собаки и что я не догадался поделиться горем с крысами,— их было много в пекарне, и я жил с ними в отношениях доброй дружбы.

Около меня начал коршуном кружиться городовой Никифорыч. Статный, крепкий, в серебряной щетине

на голове, с окладистой, заботливо подстриженной бородкой, он, вкусно причмокивая, смотрел на меня, точно на битого гуся перед Рождеством.

— Читать любишь, слышал я? — спрашивал он.— Какие же книги, например? Скажем — жития святых али Библию?

И Библию читал я и четьи-минеи,— это удивляло Никифорыча, видимо, сбивая его с толка.

— М-да? Чтение — закопно полезное! А — графа Толстого сочинений не случалось читывать?

Читал я и Толстого, но — оказалось — не те сочинения, которые интересовали полицейского.

— Это, скажем так, обыкновенные сочинения, которые все пишут, а, говорят, в некоторых он против попов вооружился,— их бы почитать!

«Некоторые», напечатанные на гектографе, я тоже читал, но они мне показались скучными, и я знал, что о них не следует рассуждать с полицией.

После нескольких бесед на ходу, на улице, старик стал приглашать меня:

— Заходи ко мне на будку, чайку попить.

Я, конечно, понимал, чего он хочет от меня, но — мне хотелось идти к нему. Посоветовался с умными людьми, и было решено, что если я уклонюсь от любезности будочника,— это может усилить его подозрения против пекарни.

И вот — я в гостях у Никифорыча. Треть маленькой конуры занимает русская печь, треть — двуспальная кровать за ситцевым пологом, со множеством подушек в кумачовых наволоках, остальное пространство украшает шкаф для посуды, стол, два стула и скамья под окном. Никифорыч, расстегнув мундир, сидит на скамье, закрывая телом своим единственное маленькое окно, рядом со мною — его жена, пышногрудая бабенка лет двадцати, румяноликая, с лукавыми и злыми глазами странного, сизого цвета; яркокрасные губы ее капризно надуты, голосок сердито суховат.

— Известно мне,— говорит полицейский,— что в пекарню к вам ходит крестница моя Секлетея, девка распутная и подлая. И все бабы — подлые.

— Все? — спрашивает его жена.

— До одной! — решительно подтверждает Никифорыч, брякая медалями, точно конь сбруей. И, выхлебнув с блюдца чай, смачно повторяет:

— Подлые и распутные от последней уличной... и даже до цариц! Савская царица к царю Соломону пустыней ездила за две тысячи верст для распутства. А также царица Екатерина, хоша и прозвана Великой...

Он подробно рассказывает историю какого-то истопника, который в одну ночь с царицей получил все чины от сержанта до генерала. Его жена, внимательно слушая, облизывает губы и толкает ногою под столом мою ногу. Никифорыч говорит очень плавно, вкусными словами и, как-то незаметно для меня, переходит на другую тему:

— Например: есть тут студент первого курса Плетнев.

Супруга его, вздохнув, вставила:

— Некрасивый, а — хорош!

— Кто?

— Господин Плетнев.

— Во-первых — не господин, господином он будет, когда выучится, а покамест просто студент, каких у нас тысячи. Во-вторых — что значит — хорош?

— Веселый. Молодой.

— Во-первых — паяц в балагане тоже веселый...

— Паяц — за деньги веселится.

— Цыц! Во-вторых — и кобель кутенком бывает...

— Паяц — вроде обезьяны...

— Цыц, сказал я, между прочим! Слышала?

— Ну, слышала.

— То-то...

И Никифорыч, укротив жену, советует мне:

— Вот — познакомься-ко с Плетневым,— очень интересный!

Так как он видел меня с Плетневым на улице, вероятно, не один раз, я говорю:

— Мы знакомы.

— Да? Так...

В его словах звучит досада, он порывисто двигается, брякают медали. А я — насторожился: мне было извест-

но, что Плетнев печатает на гектографе некие листочки.

Женщина, толкая меня ногою, лукаво подзадоривает старика, а он, надуваясь павлином, распускает пышный хвост своей речи. Шалости супруги его мешают мне слушать, и я снова не замечаю, когда изменился его голос, стал тише, внушительнее.

— Незримая нить — понимаешь? — спрашивает он меня и смотрит в лицо мое округленными глазами, точно испугавшись чего-то.— Прими государь-императора за паука...

— Ой, что ты! — воскликнула женщина.

— Тебе — молчать! Дура,— это говорится для ясности, а не в поношение, кобыла! Убирай самовар...

Сдвинув брови, прищурив глаза, он продолжает внушительно:

— Незримая нить — как бы паутинка — исходит из сердца его императорского величества государя-императора Александра Третьего и прочая,— проходит она сквозь господ министров, сквозь его высокопревосходительство губернатора и все чины вплоть до меня и даже до последнего солдата. Этой нитью всё связано, всё оплетено, незримой крепостью ее и держится на веки вечные государево царство. А — полячишки, жиды и русские подкуплены хитрой английской королевой, стараются эту нить порвать где можно, будто бы они — за народ!

Грозным шёпотом он спрашивает, наклоняясь ко мне через стол:

— Понял? То-то. Я тебе почему говорю? Пекарь твой хвалит гебя, ты, дескать, парень умный, честный и живешь — один. А к вам, в булочную, студенты шляются, сидят у Деренковой по ночам. Ежели — один, понятно. Но — когда много? А? Я против студентов не говорю — сегодня он студент, а завтра — товарищ прокурора. Студенты — хороший народ, только они торопятся роли играть, а враги царя — подзуживают их! Понимаешь? И еще скажу...

Но он не успел сказать — дверь широко распахнулась, вошел красноносый маленький старичок с ремешком на кудрявой голове, с бутылкой водки в руке и уже выпивший.

— Шашки двигать будем? — весело спросил он и тотчас весь заблестел огоньками прибауток.

— Тесть мой, жене отец,— с досадой, угрюмо сказал Никифорыч.

Через несколько минут я простился и ушел, лукавая баба, притворяя за мною дверь будки, ущипнула меня, говоря:

— Облака-то какие красные — огонь!

В небе таяло одно маленькое золотистое облако.

Не желая обижать учителей моих, я скажу все-таки, что будочник решительнее и нагляднее, чем они, объяснил мне устройство государственного механизма. Где-то сидит паук, и от него исходит, скрепляя, опутывая всю жизнь, «незримая нить». Я скоро научился всюду ощущать крепкие петельки этой нити.

Поздно вечером, заперев магазин, хозяйка позвала меня к себе и деловито сообщила, что ей поручено узнать — о чем говорил со мною будочник?

— Ах, боже мой! — тревожно воскликнула она, выслушав подробный доклад, и забегала, как мышь, из угла в угол комнаты, встряхивая головою.— Что,— пекарь не выспрашивает вас ни о чем? Ведь его любовница — родня Никифорыча, да? Его надо прогнать.

Я стоял, прислонясь у косяка двери, глядя на нее исподлобья. Она как-то слишком просто произнесла слово «любовница» — это не понравилось мне. И не понравилось ее решение прогнать пекаря.

— Будьте очень осторожны,— говорила она, и, как всегда, меня смущал цепкий взгляд ее глаз, казалось — он спрашивает меня о чем-то, чего я не могу понять. Вот она остановилась предо мною, спрятав руки за спину.

— Почему вы всегда такой угрюмый?

— У меня недавно бабушка умерла.

Это показалось ей забавным, улыбаясь она спросила:

— Вы очень любили ее?

— Да. Больше вам ничего не нужно?

— Нет.

Я ушел и ночью написал стихи, в которых, помню, была упрямая строка:

«Вы — не то, чем хотите казаться».

Было решено, чтоб студенты посещали булочную возможно реже. Не видя их, я почти потерял возможность спрашивать о непонятном мне в прочитанных книгах и стал записывать вопросы, интересовавшие меня, в тетрадь. Но однажды, усталый, заснул над нею, а пекарь прочитал мои записки. Разбудив меня, он спросил:

— Что это ты пишешь? «Почему Гарибальди не прогнал короля?» Что такое Гарибальди? И — разве можно гонять королей?

Сердито бросил тетрадь на ларь, залез в приямок и ворчал там:

— Скажи пожалуйста — королей гонять надобно ему! Смешно. Ты эти затеи — брось. Читатель! Лет пять тому назад в Саратове таких читателей жандармы ловили, как мышей, да. Тобой и без этого Никифорыч интересуется. Ты — оставь королей гонять, это тебе не голуби!

Он говорил с добрым чувством ко мне, а я не мог ответить ему так, как хотелось бы,— мне запретили говорить с пекарем на «опасные темы».

В городе ходила по рукам какая-то волнующая книжка, ее читали и — ссорились. Я попросил ветеринара Лаврова достать мне ее, но он безнадежно сказал:

— Э, нет, батя, не ждите! Впрочем — кажется, ее на днях будут читать в одном месте, может быть, я сведу вас туда...

В полночь Успеньева дня я шагаю Арским полем, следя, сквозь тьму, за фигурой Лаврова, он идет сажен на пятьдесят впереди. Поле — пустынно, а все-таки я иду «с предосторожностями», так советовал Лавров, насвистываю, напеваю, изображая «мастерового под хмельком». Надо мною лениво плывут черные клочья облаков, между ними золотым мячом катится луна, тени кроют землю, лужи блестят серебром и сталью. За спиною сердито гудит город.

Путеводитель мой останавливается у забора какого-то сада за духовной академией, я торопливо догоняю его. Молча перелезаем через забор, идем густо заросшим садом, задевая ветви деревьев, крупные капли воды падают на нас. Остановясь у стены дома, тихо стучим в

ставень наглухо закрытого окна,— окно открывает кто-то бородатый, за ним я вижу тьму и не слышу ни звука.

— Кто?

— От Якова.

— Влезайте.

В кромешной тьме чувствуется присутствие многих людей, слышен шорох одежд и ног, тихий кашель, шёпот. Вспыхивает спичка, освещая мое лицо, я вижу у стен на полу несколько темных фигур.

— Все?

— Да.

— Занавесьте окна, чтобы не видно было свет сквозь щели ставен.

Сердитый голос громко говорит:

— Какой это умник придумал собрать нас в нежилом доме?

— Тише!

В углу зажгли маленькую лампу. Комната — пустая, без мебели, только — два ящика, на них положена доска, а на доске — как галки на заборе — сидят пятеро людей. Лампа стоит тоже на ящике, поставленном «попом». На полу у стен еще трое и на подоконнике один, юноша с длинными волосами, очень тонкий и бледный. Кроме его и бородача, я знаю всех. Бородатый басом говорит, что он будет читать брошюру «Наши разногласия», ее написал Георгий Плеханов, «бывший народоволец».

Во тьме на полу кто-то рычит:

— Знаем!

Таинственность обстановки приятно волнует меня; поэзия тайны — высшая поэзия. Чувствую себя верующим за утренней службой во храме и вспоминаю катакомбы, первых христиан. Комнату наполняет глуховатый бас, отчетливо произнося слова.

— Ер-рунда,— снова рычит кто-то из угла.

Там в темноте загадочно и тускло блестит какая-то медь, напоминая о шлеме римского воина. Догадываюсь, что это отдушник печи.

В комнате гудят пониженные голоса, они сцепились в темный хаос горячих слов, и нельзя понять, кто что

говорит. С подоконника, над моей головой, насмешливо и громко спрашивают:

— Будем читать или нет?

Это говорит длинноволосый бледный юноша. Все замолчали, слышен только бас чтеца. Вспыхивают спички, сверкают красные огоньки папирос, освещая задумавшихся людей, прищуренные или широко раскрытые глаза.

Чтение длится утомительно долго, я устаю слушать, хотя мне нравятся острые и задорные слова, легко и просто они укладываются в убедительные мысли.

Как-то сразу, неожиданно пресекается голос чтеца, и тотчас же комната наполнилась возгласами возмущения:

— Ренегат!

— Медь звенящая...

— Это — плевок в кровь, пролитую героями.

— После казни Генералова, Ульянова...

И снова с подоконника раздается голос юноши:

— Господа,— нельзя ли заменить ругательства серьезными возражениями, по существу?

Я не люблю споров, не умею слушать их, мне трудно следить за капризными прыжками возбужденной мысли, и меня всегда раздражает обнаженное самолюбие спорящих.

Юноша, наклонясь с подоконника, спрашивает меня:

— Вы — Пешков, булочник? Я — Федосеев. Нам надо бы познакомиться. Собственно — здесь делать нечего, шум этот — надолго, а пользы в нем мало. Идемте?

О Федосееве я уже слышал как об организаторе очень серьезного кружка молодежи, и мне понравилось его бледное, нервное лицо с глубокими глазами.

Идя со мною полем, он спрашивал, есть ли у меня знакомства среди рабочих, что я читаю, много ли имею свободного времени, и, между прочим, сказал:

— Слышал я об этой булочной вашей,— странно, что вы занимаетесь чепухой. Зачем это вам?

С некоторой поры я и сам чувствовал, что мне это не нужно, о чем и сказал ему. Его обрадовали мои слова, крепко пожав мне руку, ясно улыбаясь, он сооб-

щил, что через день уезжает недели на три, а возвратясь, даст мне знать, как и где мы встретимся.

Дела булочной шли весьма хорошо, лично мои — всё хуже. Переехали в новую пекарню, и количество обязанностей моих возросло еще более. Мне приходилось работать в пекарне, носить булки по квартирам, в академию и в «институт благородных девиц». Девицы, выбирая из корзины моей сдобные булки, подсовывали мне записочки, и нередко на красивых листочках бумаги я с изумлением читал циничные слова, написанные полудетским почерком. Странно чувствовал я себя, когда веселая толпа чистеньких ясноглазых барышень окружала корзину и, забавно гримасничая, перебирала маленькими розовыми лапками кучу булок,— смотрел я на них и старался угадать — которые пишут мне бесстыдные записки, может быть, не понимая их зазорного смысла? И, вспоминая грязные «дома утешения», думал:

«Неужели из этих домов и сюда простирается „незримая нить“?»

Одна из девиц, полногрудая брюнетка, с толстой косою, остановив меня в коридоре, сказала торопливо и тихо:

— Дам тебе десять копеек, если ты отнесешь эту записку по адресу.

Ее темные ласковые глаза налились слезами, она смотрела на меня, крепко прикусив губы, а щеки и уши у нее густо покраснели. Принять десять копеек я благородно отказался, а записку взял и вручил сыну одного из членов судебной палаты, длинному студенту с чахоточным румянцем на щеках. Он предложил мне полтинник, молча и задумчиво отсчитав деньги мелкой медью, а когда я сказал, что это мне не нужно,— сунул медь в карман своих брюк, но — не попал, и деньги рассыпались по полу.

Растерянно глядя, как пятаки и семишники катятся во все стороны, он потирал руки так крепко, что трещали суставы пальцев, и бормотал, трудно вздыхая:

— Что же теперь делать? Ну, прощай! Мне нужно подумать...

Не знаю, что он выдумал, но я очень пожалел барышню. Скоро она исчезла из института, а лет через

пятнадцать я встретил ее учительницей в одной крымской гимназии, она страдала туберкулезом и говорила обо всем в мире с беспощадной злобой человека, оскорбленного жизнью.

Кончив разносить булки, я ложился спать, вечерком работал в пекарне, чтоб к полуночи выпустить в магазин сдобное,— булочная помещалась около городского театра, и после спектакля публика заходила к нам истреблять горячие слойки. Затем шел месить тесто для весового хлеба и французских булок, а замесить руками пятнадцать, двадцать пудов — это не игрушка.

Снова спал часа два, три и снова шел разносить булки.

Так — изо дня в день.

А мною овладел нестерпимый зуд сеять «разумное, доброе, вечное». Человек общительный, я умел живо рассказывать, фантазия моя была возбуждена пережитым и прочитанным. Очень немного нужно было мне для того, чтоб из обыденного факта создать интересную историю, в основе которой капризно извивалась «незримая нить». У меня были знакомства с рабочими фабрик Крестовникова и Алафузова; особенно близок был мне старик ткач Никита Рубцов, человек, работавший почти на всех ткацких фабриках России, беспокойная, умная душа.

— Пятьдесят и семь лет хожу я по земле, Лексей ты мой Максимыч, молодой ты мой шиш, новый челночок! — говорил он придушенным голосом, улыбаясь больными серыми глазами в темных очках, самодельно связанных медной проволокой, от которой у него на переносице и за ушами являлись зеленые пятна окиси. Ткачи звали его Немцем за то, что он брил бороду, оставляя тугие усы и густой клок седых волос под нижней губой. Среднего роста, широкогрудый, он был исполнен скорбной веселостью.

— Люблю в цирк ходить,— говорил он, склоняя на левое плечо лысый шишковатый череп.— Лошадей — скотов — как выучивают, а? Утешительно. Гляжу на скот с почтением,— думаю: ну, значит, и людей можно научить пользоваться разумом. Скота — сахаром подкупают циркачи, ну, мы, конечно, сахар в лавочке

купить способны. Нам — для души сахар нужно, а это будет — ласка! Значит, парень, лаской надо действовать, а не поленом, как установлено промежду нас,— верно?

Сам он был не ласков с людьми, говорил с ними полупрезрительно и насмешливо, в спорах возражал односложными восклицаниями, явно стараясь обидеть собопросника. Я познакомился с ним в пивной, когда его собирались бить и уже дважды ударили, я вступился и увел его.

— Больно ударили вас? — спросил я, идя с ним во тьме, под мелким дождем осени.

— Ну,— так ли бьют? — равнодушно сказал он.— Постой-ка,— почему это ты со мной на «вы» говоришь?

С этого и началось наше знакомство. Вначале он высмеивал меня остроумно и ловко, но когда я рассказал ему, какую роль в жизни нашей играет «незримая нить», он задумчиво воскликнул:

— А ты — не глуп, нет! Ишь ты?..— И стал относиться ко мне отечески ласково, даже именуя меня по имени и отчеству.

— Мысли твои, Лексей ты мой Максимыч, шило мое милое,— правильные мысли, только никто тебе не поверит, невыгодно...

— Вы верите?

— Я — пес бездомный, короткохвостый, а народ состоит из цепных собак, на хвосте каждого репья много: жены, дети, гармошки, калошки. И каждая собачка обожает свою конуру. Не поверят. У нас — у Морозова на фабрике — было дело! Кто впереди идет, того по лбу бьют, а лоб — не задница, долго саднится.

Он стал говорить несколько иначе, когда познакомился со слесарем Шапошниковым, рабочим Крестовникова,— чахоточный Яков, гитарист, знаток Библии, поразил его яростным отрицанием бога. Расплевывая во все стороны кровавые шматки изгнивших легких, Яков крепко и страстно доказывал:

— Первое: создан я вовсе не «по образу и подобию божию»,— я ничего не знаю, ничего не могу и, притом, не добрый человек, нет, не добрый! Второе: бог не знает, как мне трудно, или знает, да не в силе помочь, или мо-

жет помочь, да — не хочет. Третье: бог не всезнающий, не всемогущий, не милостив, а — проще — нет его! Это — выдумано, всё выдумано, вся жизнь выдумана, однако — меня не обманешь.

Рубцов изумился до немоты, потом посерел от злости и стал дико ругаться, но Яков торжественным языком цитат из Библии обезоружил его, заставил умолкнуть и вдумчиво съёжиться.

Говоря, Шапошников становился почти страшен. Лицо у него было смуглое, тонкое, волосы курчавые и черные, как у цыгана, из-за синеватых губ сверкали волчьи зубы. Темные глаза его неподвижно упирались прямо в лицо противника, и трудно было выдержать этот тяжелый, сгибающий взгляд — он напоминал мне глаза больного манией величия.

Идя со мною от Якова, Рубцов говорил угрюмо:

— Против бога предо мной не выступали. Этого я никогда не слыхал. Всякое слышал, а такого — нет. Конечно, человек этот не жилец на земле. Ну,— жалко! Раскалился добела... Интересно, брат, очень интересно.

Он быстро и дружески сошелся с Яковом и весь как-то закипел, заволновался, то и дело отирая пальцами больные глаза.

— Та-ак,— ухмыляясь, говорил он,— бога, значит, в отставку? Хм! Насчет царя у меня, шпигорь ты мой, свои слова: мне царь не помеха. Не в царях дело — в хозяевах. Я с каким хошь царем помирюсь, хошь с Иван Грозным: на, сиди, царствуй, коли любо, только — дай ты мне управу на хозяина,— во-от! Дашь — золотыми цепями к престолу прикую, молиться буду на тебя...

Прочитав «Царь-Голод», он сказал:

— Всё — обыкновенно правильно!

Впервые видя литографированную брошюру, он спрашивал меня:

— Кто это тебе написал? Четко пишет. Ты скажи ему — спасибо *.

Рубцов обладал ненасытной жадностью знать. С величайшим напряжением внимания он слушал сокру-

---

* Спасибо, Алексей Николаевич Бах!

шительные богохульства Шапошникова, часами слушал мои рассказы о книгах и радостно хохотал, закинув голову, выгибая кадык, восхищаясь:

— Ловкая штучка умишко человечий, ой, ловкая!

Сам он читал с трудом,— мешали больные глаза, но он тоже много знал и нередко удивлял меня этим:

— Есть у немцев плотник необыкновенного ума,— его сам король на советы приглашает.

Из расспросов моих выяснилось, что речь идет о Бебеле.

— Как вы это знаете?

— Знаю,— кратко отвечал он, почесывая мизинцем шишковатый череп свой.

Шапошникова не занимала тяжкая сумятица жизни, он был весь поглощен уничтожением бога, осмеянием духовенства, особенно ненавидя монахов.

Однажды Рубцов миролюбиво спросил его:

— Что ты, Яков, всё только против бога кричишь?

Он завыл еще более озлобленно:

— А что еще мешает мне, ну? Я почти два десятка лет веровал, в страхе жил пред ним. Терпел. Спорить — нельзя. Установлено сверху. Жил связан. Вчитался в Библию — вижу: выдумано! Выдумано, Никита!

И, размахивая рукою, точно разрывая «незримую нить», он почти плакал:

— Вот — умираю через это раньше время!

Было у меня еще несколько интересных знакомств, нередко забегал я в пекарню Семенова к старым товарищам, они принимали меня радостно, слушали охотно. Но — Рубцов жил в Адмиралтейской слободе, Шапошников — в Татарской, далеко за Кабаном, верстах в пяти друг от друга, я очень редко мог видеть их. А ко мне ходить — невозможно, негде было принять гостей, к тому же новый пекарь, отставной солдат, вел знакомство с жандармами; задворки жандармского управления соприкасались с нашим двором, и солидные «синие мундиры» лазили к нам через забор — за булками для полковника Гангардта и хлебом для себя. И еще: мне было рекомендовано не очень «высовываться в люди», дабы не привлекать к булочной излишнего внимания.

Я видел, что работа моя теряет смысл. Всё чаще случалось, что люди, не считаясь с ходом дела, выбирали из кассы деньги так неосторожно, что иногда нечем было платить за муку. Деренков, теребя бородку, упило усмехался:

— Обанкротимся.

Ему жилось тоже плохо: рыжекудрая Настя ходила «не порожней» и фыркала злой кошкой, глядя на всё и на всех зеленым, обиженным взглядом.

Она шагала прямо на Андрея, как будто не видя его; он, виновато ухмыляясь, уступал ей дорогу и вздыхал.

Иногда он жаловался мне:

— Несерьезно всё. Все всё берут,— без толку. Купил себе полдюжины носков — сразу исчезли!

Это было смешно — о носках,— но я не смеялся, видя, как бьется скромный, бескорыстный человек, стараясь наладить полезное дело, а все вокруг относятся к этому делу легкомысленно и беззаботно, разрушая его. Деренков не рассчитывал на благодарность людей, которым служил, но — он имел право на отношение к нему более внимательное, дружеское и не встречал этого отношения. А семья его быстро разрушилась, отец заболевал тихим помешательством на религиозной почве, младший брат начинал пить и гулять с девицами, сестра вела себя, как чужая, и у нее, видимо, разыгрывался невеселый роман с рыжим студентом, я часто замечал, что глаза ее опухли от слез, и студент стал ненавистен мне.

Мне казалось что я влюблен в Марию Деренкову. Я был влюблен также в продавщицу из нашего магазина Надежду Щербатову, дородную, краснощекую девицу, с неизменно ласковой улыбкой алых губ. Я вообще был влюблен. Возраст, характер и запутанность моей жизни требовали общения с женщиной, и это было скорее поздно, чем преждевременно. Мне необходима была женская ласка или хотя бы дружеское внимание женщины, нужно было говорить откровенно о себе, разобраться в путанице бессвязных мыслей, в хаосе впечатлений.

Друзей у меня — не было. Люди, которые смотрели на меня как на «материал, подлежащий обработке», не возбуждали моих симпатий, не вызывали на откро-

венность. Когда я начинал говорить им не о том, что интересовало их,— они советовали мне:

— Бросьте это!

Гурия Плетнева арестовали и отвезли в Петербург, в «Кресты». Первый сказал мне об этом Никифорыч, встретив меня рано утром на улице. Шагая навстречу мне задумчиво и торжественно, при всех медалях,— как будто возвращаясь с парада,— он поднял руку к фуражке и молча разминулся со мной, но, тотчас остановясь, сердитым голосом сказал в затылок мне:

— Гурия Александровича арестовали сегодня ночью...

И, махнув рукою, добавил потише, оглядываясь:

— Пропал юноша!

Мне показалось, что на его хитрых глазах блестят слезы.

Я знал, что Плетнев ожидал ареста, он сам предупредил меня об этом и советовал не встречаться с ним ни мне, ни Рубцову, с которым он так же дружески сошелся, как и я.

Никифорыч, глядя под ноги себе, скучно спросил:

— Что не приходишь ко мне?..

Вечером я пришел к нему, он только что проснулся и, сидя на постели, пил квас, жена его, согнувшись у окошка, чинила штаны.

— Так-то вот,— заговорил будочник, почесывая грудь, обросшую енотовой шерстью, и глядя на меня задумчиво.— Арестовали. Нашли у него кастрюлю,— он в ней краску варил для листков против государя.

И, плюнув на пол, он сердито крикнул жене:

— Давай штаны!

— Сейчас,— ответила она, не поднимая головы.

— Жалеет, плачет,— говорил старик, показав глазами на жену.— И мне — жаль. Однако — что может сделать студент против государя?

Он стал одеваться, говоря:

— Я, на минуту, выйду... Ставь самовар, ты.

Жена его неподвижно смотрела в окно, но когда он скрылся за дверью будки, она, быстро повернувшись, протянула к двери туго сжатый кулак, сказав, с великой злобой, сквозь оскаленные зубы:

— У, стерво старое!

Лицо у нее опухло от слез, левый глаз почти закрыт большим синяком. Вскочила, подошла к печи и, наклоняясь над самоваром, зашипела:

— Обману я его, так обману — завоет! Волком завоет. Ты — не верь ему, ни единому слову не верь! Он тебя ловит. Врет он,— никого ему не жаль. Рыбак. Он — всё знает про вас. Этим живет. Это охота его — людей ловить...

Она подошла вплоть ко мне и голосом нищенки сказала:

— Приласкал бы ты меня, а?

Мне была неприятна эта женщина, но ее глаз смотрел на меня с такою злой, острой тоской, что я обнял ее и стал гладить жестковатые волосы, растрепанные и жирные.

— За кем он теперь следит?

— На Рыбнорядской, в номерах за какими-то.

— Не знаешь фамилию?..

Улыбаясь, она ответила:

— Вот я скажу ему, про что ты спрашиваешь меня! Идет... Гурочку-то он выследил...

И отскочила к печке.

Никифорыч принес бутылку водки, варенья, хлеба. Сели пить чай. Марина, сидя рядом со мною, подчеркнуто ласково угощала меня, заглядывая в лицо мое здоровым глазом, а супруг ее внушал мне:

— Незримая эта нить — в сердцах, в костях, нуко — вытрави, выдери ее? Царь — народу — бог!

И неожиданно спросил:

— Ты вот начитан в книгах, Евангелие читал? Ну, как, по-твоему, всё верно там?

— Не знаю.

— По-моему — приписано лишнее. И — не мало. Например — насчет нищих: блаженны нищие,— чем же это блаженны они? Зря немножко сказано. И вообще — насчет бедных — много непонятного. Надо различать: бедного от обедневшего. Беден — значит — плох! А кто обеднел —он несчастлив, может быть. Так надо рассуждать. Это — лучше.

— Почему?

Он, пытливо глядя на меня, помолчал, а потом заговорил отчетливо и веско, видимо — очень продуманные мысли.

— Жалости много в Евангелии, а жалость — вещь вредная. Так я думаю. Жалость требует громадных расходов на ненужных и вредных даже людей. Богадельни, тюрьмы, сумасшедшие дома. Помогать надо людям крепким, здоровым, чтоб они зря силу не тратили. А мы помогаем слабым,— слабого разве сделаешь сильным? От этой канители крепкие слабеют, а слабые — на шее у них сидят. Вот чем заняться надо — этим! Передумать надо многое. Надо понять — жизнь давно отвернулась от Евангелия, у нее — свой ход. Вот видишь — из чего Плетнев пропал? Из-за жалости. Нищим подаем, а студенты пропадают. Где здесь разум, а?

Впервые слышал я эти мысли в такой резкой форме, хотя и раньше сталкивался с ними,— они более живучи и шире распространены, чем принято думать. Лет через семь, читая о Ницше, я очень ярко вспомнил философию казанского городового. Скажу кстати: редко встречались мне в книгах мысли, которых я не слышал раньше, в жизни.

А старый «ловец человеков» всё говорил, постукивая в такт словам пальцами по краю подноса. Сухое лицо его строго нахмурилось, но смотрел он не на меня, а в медное зеркало ярко вычищенного самовара.

— Идти пора тебе,— дважды напоминала ему жена; он не отвечал ей, нанизывал слово за словом на стержень своей мысли, и — вдруг она, неуловимо для меня, потекла по новому пути.

— Ты — парень неглупый, грамотен, разве пристало тебе булочником быть? Ты мог бы не меньше деньги заработать и другой службой государеву царству...

Слушая его, я думал — как предупредить незнакомых мне людей на Рыбнорядской улице о том, что Никифорыч следит за ними? Там, в номерах, жил недавно возвратившийся из ссылки, из Ялуторовска, Сергей Сомов, человек, о котором мне рассказывали много интересного.

— Умные люди должны жить кучей, как, примерно, пчелы в улье или осы в гнездах. Государево царство...

— Гляди — девять часов,— сказала женщина.

— Чёрт!

Никифорыч встал, застегивая мундир.

— Ну, ничего, на извозчике поеду. Прощай, брат! Заходи, не стесняйся...

Уходя из будки, я твердо сказал себе, что уже никогда больше не приду в «гости» к Никифорычу,— отталкивал меня старик, хотя и был интересен. Его слова о вреде жалости очень взволновали и крепко въелись мне в память. Я чувствовал в них какую-то правду, но было досадно, что источник ее — полицейский.

Споры на эту тему были нередки, один из них особенно жестоко взволновал меня.

В городе явился «толстовец»,— первый, которого я встретил,— высокий, жилистый человек, смуглолицый, с черной бородой козла и толстыми губами негра. Сутулясь, он смотрел в землю, но порою резким движением вскидывал лысоватую голову и обжигал страстным блеском темных влажных глаз,— что-то ненавидящее горело в его остром взгляде. Беседовали в квартире одного из профессоров, было много молодежи и между нею — тоненький, изящный попик, магистр богословия, в черной шелковой рясе; она очень выгодно оттеняла его бледное красивое лицо, освещенное сухонькой улыбкой серых холодных глаз.

Толстовец долго говорил о вечной непоколебимости великих истин Евангелия; голос у него был глуховатый, фразы коротки, но слова звучали резко, в них чувствовалась сила искренней веры, он сопровождал их однообразным, как бы подсекающим жестом волосатой левой руки, а правую держал в кармане.

— Актер,— шептали в углу, рядом со мною.

— Очень театрален, да...

А я незадолго перед этим прочитал книгу — кажется, Дрепера — о борьбе католицизма против науки, и мне казалось, что это говорит один из тех яростно верующих во спасение мира силою любви, которые готовы, из милосердия к людям, резать их и жечь на кострах.

Он был одет в белую рубаху с широкими рукавами и какой-то серенький старый халатик поверх ее,— это

тоже отделяло его от всех. В конце проповеди своей он вскричал:

— Итак — со Христом вы или с Дарвином?

Он бросил этот вопрос, точно камень, в угол, где тесно сидела молодежь и откуда на него со страхом и восторгом смотрели глаза юношей и девушек. Речь его, видимо, очень поразила всех, люди молчали, задумчиво опустив головы. Он обвел всех горящим взглядом и строго добавил:

— Только фарисеи могут пытаться соединить эти два непримиримых начала и, соединяя их, постыдно лгут сами себе, развращают ложью людей...

Встал попик, аккуратно откинул рукава рясы и заговорил плавно, с ядовитой вежливостью и снисходительной усмешкой:

— Вы, очевидно, придерживаетесь вульгарного мнения о фарисеях, оно же суть не токмо грубо, но и насквозь ошибочно...

К великому изумлению моему, он стал доказывать, что фарисеи были подлинными и честными хранителями заветов иудейского народа и что народ всегда шел с ними против его врагов.

— Читайте, например, Иосифа Флавия...

Вскочив на ноги и подсекая Флавия широким, уничтожающим жестом, толстовец закричал:

— Народы и ныне идут с врагами своими против друзей, народы не по своей воле идут, их гонят, насилуют. Что мне ваш Флавий?

Попик и другие разодрали основную тему спора на мельчайшие частицы, и она исчезла.

— Истина — это любовь,— восклицал толстовец, а глаза его сверкали ненавистью и презрением.

Я чувствовал себя опьяненным словами, не улавливал мысли в них, земля подо мною качалась в словесном вихре, и часто я с отчаянием думал, что нет на земле человека глупее и бездарнее меня.

А толстовец, отирая пот с багрового лица, свирепо закричал:

— Выбросьте Евангелие, забудьте о нем, чтоб не лгать! Распните Христа вторично, это — честнее!

Предо мною стеной встал вопрос: как же? Если

жизнь — непрерывная борьба за счастье на земле,— милосердие и любовь должны только мешать успеху борьбы?

Я узнал фамилию толстовца — Клопский, узнал, где он живет, и на другой день вечером явился к нему. Жил он в доме двух девушек-помещиц, с ними он и сидел в саду за столом, в тени огромной старой липы. Одетый в белые штаны и такую же рубаху, расстегнутую на темной волосатой груди, длинный, угловатый, сухой,— он очень хорошо отвечал моему представлению о бездомном апостоле, проповеднике истины.

Он черпал серебряною ложкой из тарелки малину с молоком, вкусно глотал, чмокал толстыми губами и, после каждого глотка, сдувал белые капельки с редких усов кота. Прислуживая ему, одна девушка стояла у стола, другая — прислонилась к стволу липы, сложив руки на груди, мечтательно глядя в пыльное, жаркое небо. Обе они были одеты в легкие платья сиреневого цвета и почти неразличимо похожи одна на другую.

Он говорил со мною ласково и охотно о творческой силе любви, о том, что надо развивать в своей душе это чувство, единственно способное «связать человека с духом мира» — с любовью, распыленной повсюду в жизни.

— Только этим можно связать человека! Не любя — невозможно понять жизнь. Те же, которые говорят: закон жизни — борьба, это — слепые души, обреченные на гибель. Огонь непобедим огнем, так и зло непобедимо силою зла!

Но когда девушки ушли, обняв друг друга, в глубину сада, к дому, человек этот, глядя вслед им прищуренными глазами, спросил:

— А ты — кто?

И, выслушав меня, начал, постукивая пальцами по столу, говорить о том, что человек — везде человек и нужно стремиться не к перемене места в жизни, а к воспитанию духа в любви к людям.

— Чем ниже стоит человек, тем ближе он к настоящей правде жизни, к ее святой мудрости...

Я несколько усомнился в его знакомстве с этой «святой мудростью», но промолчал, чувствуя, что ему скучно

со мной; он посмотрел на меня отталкивающим взглядом, зевнул, закинул руки за шею себе, вытянул ноги и, устало прикрыв глаза, пробормотал, как бы сквозь дрему:

— Покорность любви... закон жизни...

Вздрогнув, взмахнул руками, хватаясь за что-то в воздухе, уставился на меня испуганно:

— Что? Устал я, прости!

Снова закрыл глаза и, как от боли, крепко сжал зубы, обнажив их; нижняя губа его опустилась, верхняя— приподнялась, и синеватые волосы редких усов ощетинились.

Я ушел с неприязненным чувством к нему и смутным сомнением в его искренности.

Через несколько дней я принес рано утром булки знакомому доценту, холостяку, пьянице, и еще раз увидал Клопского. Он, должно быть, не спал ночь, лицо у него было бурое, глаза красны и опухли,— мне показалось, что он пьян. Толстенький доцент, пьяный до слез, сидел, в нижнем белье и с гитарой в руках, на полу среди хаоса сдвинутой мебели, пивных бутылок, сброшенной верхней одежды,— сидел, раскачиваясь, и рычал:

— Милосер-рдия...

Клопский резко и сердито кричал:

— Нет милосердия! Мы сгинем от любви или будем раздавлены в борьбе за любовь,— всё едино: нам суждена гибель...

Схватив меня за плечо, ввел в комнату и сказал доценту.

— Вот —спроси его — чего он хочет? Спроси: нужна ему любовь к людям?

Тот посмотрел на меня слезящимися глазами и засмеялся:

— Это — булочник! Я ему должен.

Покачнулся, сунув руку в карман, вынул ключ и протянул мне:

— На, бери всё!

Но толстовец, взяв у него ключ, махнул на меня рукою.

— Ступай! После получишь.

И швырнул булки, взятые у меня, на диван в углу.

Он не узнал меня, и это было приятно мне. Уходя, я унес в памяти его слова о гибели от любви и отвращение к нему в сердце.

Скоро мне сказали, что он признался в любви одной из девушек, у которых жил, и, в тот же день,— другой. Сестры поделились между собою радостью, и она обратилась в злобу против влюбленного; они велели дворнику сказать, чтоб проповедник любви немедля убрался из их дома. Он исчез из города.

Вопрос о значении в жизни людей любви и милосердия — страшный и сложный вопрос — возник предо мною рано, сначала — в форме неопределенного, но острого ощущения разлада в моей душе, затем — в четкой форме определенно ясных слов:

«Какова роль любви?»

Всё, что я читал, было насыщено идеями христианства, гуманизма, воплями о сострадании к людям,— об этом же красноречиво и пламенно говорили лучшие люди, которых я знал в ту пору.

Всё, что непосредственно наблюдалось мною, было почти совершенно чуждо сострадания к людям. Жизнь развертывалась предо мною как бесконечная цепь вражды и жестокости, как непрерывная грязная борьба за обладание пустяками. Лично мне нужны были только книги, всё остальное не имело значения в моих глазах.

Стоило выйти на улицу и посидеть час у ворот, чтоб понять: все эти извозчики, дворники, рабочие, чиновники, купцы — живут не так, как я и люди, излюбленные мною, не того хотят, не туда идут. Те же, кого я уважал, кому верил,— странно одиноки, чужды и — лишние среди большинства, в грязненькой и хитрой работе муравьев, кропотливо строящих кучу жизни; эта жизнь казалась мне насквозь глупой, убийственно скучной. И нередко я видел, что люди милосердны и любвеобильны только на словах, на деле же незаметно для себя подчиняются общему порядку жизни.

Очень трудно было мне.

Однажды ветеринар Лавров, желтый и опухший от водянки, сказал мне, задыхаясь:

— Жестокость нужно усилить до того, чтоб все люди устали от нее, чтоб она опротивела всем и каждому, как вот эта треклятая осень!

Осень была ранняя, дождлива, холодна, богата болезнями и самоубийствами. Лавров тоже отравился цианистым кали, не желая дожидаться, когда его задушит водянка.

— Скотов лечил — скотом и подох! — проводил труп ветеринара его квартирохозяин, портной Медников, тощенький благочестивый человечек, знавший на память все акафисты божией матери. Он порол детей своих — девочку семи лет и гимназиста одиннадцати — ременной плеткой о трех хвостах, а жену бил бамбуковой тростью по икрам ног и жаловался:

— Мировой судья осудил меня за то, что я будто у китайца перенял эту системочку, а я никогда в жизни китайца не видал, кроме как на вывесках да на картинах.

Один из его рабочих, унылый кривоногий человек, по прозвищу Дунькин Муж, говорил о своем хозяине:

— Боюсь я кротких людей, которые благочестивые! Буйный человек сразу виден, и всегда есть время спрятаться от него, а кроткий ползет на тебя невидимый, подобный коварному змею в траве, и вдруг ужалит в самое открытое место души. Боюсь кротких...

В словах Дунькина Мужа, кроткого, хитрого наушника, любимого Медниковым,— была правда.

Иногда мне казалось, что кроткие, разрыхляя, как лишаи, каменное сердце жизни, делают его более мягким и плодотворным, но чаще, наблюдая обилие кротких, их ловкую приспособляемость к подлому, неуловимую изменчивость и гибкость душ, комариное их нытье,— я чувствовал себя, как стреноженная лошадь в туче оводов.

Об этом я и думал, идя от полицейского.

Вздыхал ветер, и дрожали огни фонарей, а казалось — дрожит темно-серое небо, засевая землю мелким, как пыль, октябрьским дождем. Мокрая проститутка тащила вверх по улице пьяного, держа его под руку, толкая, он что-то бормотал, всхлипывал. Женщина утомленно и глухо сказала:

— Такая твоя судьба...

«Вот,— подумал я,— и меня кто-то тащит, толкает в неприятные углы, показывая мне грязное, грустное и странно пестрых людей. Устал я от этого».

Может быть, не в этих словах было подумано, но именно эта мысль вспыхнула в мозгу, именно в тот печальный вечер я впервые ощутил усталость души, едкую плесень в сердце. С этого часа я стал чувствовать себя хуже, начал смотреть на себя самого как-то со стороны, холодно, чужими и враждебными глазами.

Я видел, что почти в каждом человеке угловато и несложенно совмещаются противоречия не только слова и деяния, но и чувствований, их капризная игра особенно тяжко угнетала меня. Эту игру я наблюдал и в самом себе, что было еще хуже. Меня тянуло во все стороны — к женщинам и книгам, к рабочим и веселому студенчеству, но я никуда не поспевал и жил «ни в тех ни в сех», вертясь, точно кубарь, а чья-то невидимая, но сильная рука жарко подхлестывала меня невидимой плеткой.

Узнав, что Яков Шапошников лег в больницу, я пошел навестить его, но там криворотая толстая женщина в очках и белом платочке, из-под которого свисали красные, вареные уши, сухо сказала:

— Помер.

И, видя, что я не ухожу, а молча торчу пред нею,— рассердилась, крикнула:

— Ну? Что еще?

Я тоже рассердился и сказал:

— Вы — дура.

— Николай,— гони его!

Николай вытирал тряпкой какие-то медные прутья, он крякнул и хлестнул меня прутом по спине. Тогда я взял его в охапку, вынес на улицу и посадил в лужу воды у крыльца больницы. Он отнесся к этому спокойно, посидел минуту молча, вытаращив на меня глаза, а потом встал, говоря:

— Эх ты, собака!

Я ушел в Державинский сад, сел там на скамью у памятника поэту, чувствуя острое желание сделать что-нибудь злое, безобразное, чтоб на меня бросилась куча людей и этим дала мне право бить их. Но, несмотря

на праздничный день, в саду было пустынно и вокруг сада — ни души, только ветер метался, гоняя сухие листья, шурша отклеившейся афишей на столбе фонаря.

Прозрачно-синие, холодные сумерки сгущались над садом. Огромный бронзовый идолище возвышался предо мною, я смотрел на него и думал: жил на земле одинокий человек Яков, уничтожал, всей силой души, бога и умер обыкновенной смертью. Обыкновенной. В этом было что-то тяжелое, очень обидное.

«А Николай идиот; он должен был драться со мною или позвать полицию и отправить меня в участок...»

Пошел к Рубцову, он сидел в своей конуре у стола, пред маленькой лампой и чинил пиджак.

— Яков помер.

Старик поднял руку с иглой, видимо, желая перекреститься, но только отмахнулся рукою и, зацепив за что-то нитку, тихо матерно выругался.

Потом — заворчал:

— Между прочим — все помрем, такое у нас глупое обыкновение,— да, брат! Он вот помер, а тут медник был один, так его тоже — долой со счета. В то воскресенье, с жандармами. Меня с ним Гурка свел. Умный медник! Со студентами несколько путался. Ты слышал, бунтуются студенты,— верно? На-ко, зашей пиджак мне, не вижу я ни чёрта...

Он передал мне свои лохмотья, иглу с ниткой, а сам, заложив руки за спину, стал шагать по комнате, кашляя и ворча:

— То — здесь, то — инде вспыхнет огонек, а чёрт дунет, и — опять скука! Несчастливый этот город. Уеду отсюда, пока еще пароходы ходят.

Остановился и, почесывая череп, спросил:

— А — куда поедешь? Везде бывал. Да. Везде ездил, а только себя изъездил.

Плюнув, он добавил:

— Ну — и жизнь, сволочь! Жил, жил, а — ничего не нажил, ни душе, ни телу...

Он замолчал, стоя в углу у двери и как будто прислушиваясь к чему-то, потом решительно подошел ко мне, присел на край стола.

— Я тебе скажу, Лексей ты мой Максимыч,— зря Яков большое сердце свое на бога истратил. Ни бог, ни царь лучше не будут, коли я их отрекусь, а надо, чтоб люди сами на себя рассердились, опровергли бы свою подлую жизнь,— во-от! Эх, стар я, опоздал, скоро совсем слеп стану — горе, брат! Ушил? Спасибо... Пойдем в трактир, чай пить...

По дороге в трактир, спотыкаясь во тьме, хватая меня за плечи, он бормотал:

— Помяни мое слово: не дотерпят люди, разозлятся когда-нибудь и начнут всё крушить — в пыль сокрушат пустяки свои! Не дотерпят...

В трактир мы не попали, наткнувшись на осаду матросами публичного дома,— ворота его защищали алафузовские рабочие.

— Каждый праздник здесь драка! — одобрительно сказал Рубцов, снимая очки, и, опознав среди защитников дома своих товарищей, немедленно ввязался в битву, подзадоривая, науськивая:

— Держись, фабрика! Дави лягушек! Глуши плотву! И — эхма-а!

Странно и забавно было видеть, с каким увлечением и ловкостью действовал умный старик, пробиваясь сквозь толпу матросов-речников, отражая их кулаки, сбивая с ног толчками плеча. Дрались беззлобно, весело, ради удальства, от избытка сил; темная куча тел сбилась у ворот, прижав к ним фабричных; потрескивали доски, раздавались задорные крики:

— Бей плешивого воеводу!

На крышу дома забрались двое и складно, бойко пели:

Мы не воры, мы не плуты, не разбойники,
Судовые мы ребята, рыболовники!

Свистел полицейский, в темноте блестели медные пуговицы, под ногами хлюпала грязь, а с крыши неслось:

Мы закидываем сети по сухим берегам,
По купеческим домам, по амбарам, по клетям...

— Стой! Лежачего не бьют...

— Дедушка — держи скулу крепче!

Потом Рубцова, меня и еще человек пять, врагов или друзей, повели в участок, и успокоенная тьма осенней ночи провожала нас бойкой песней:

Эх, мы поймали сорок щук,
Из которых шубы шьют!

— До чего же хорош народ на Волге! — с восхищением говорил Рубцов, часто сморкаясь, сплевывая, и шептал мне: — Ты — беги! Выбери минуту и — беги! Зачем тебе в участок лезть?

Я и какой-то длинный матрос, следом за мною, бросились в проулок, перескочили через забор, другой, и— с этой ночи я больше не встречал милейшего умницу Никиту Рубцова.

Вокруг меня становилось пусто. Начинались студенческие волнения,— смысл их был не понятен мне, мотивы — не ясны. Я видел веселую суету, не чувствуя в ней драмы, и думал, что ради счастья учиться в университете можно претерпеть даже истязания. Если б мне предложили: «Иди, учись, но за это, по воскресеньям, на Николаевской площади мы будем бить тебя палками!» — я, наверное, принял бы это условие.

Зайдя в крендельную Семенова, я узнал, что крендельщики собираются идти к университету избивать студентов:

— Гирями будем бить! — говорили они с веселой злобой.

Я стал спорить, ругаться с ними, но вдруг почти с ужасом почувствовал, что у меня нет желания, нет слов защищать студентов.

Помню, я ушел из подвала, как изувеченный, с какой-то необоримой, насмерть уничтожающей тоскою в сердце.

Ночью сидел на берегу Кабана, швыряя камни в черную воду, и думал тремя словами, бесконечно повторяя их:

«Что мне делать?»

С тоски начал учиться играть на скрипке, пилил по ночам в магазине, смущая ночного сторожа и мышей. Музыку я любил и стал заниматься ею с великим увлечением, но мой учитель, скрипач театрального оркестра,

во время урока, — когда я вышел из магазина,— открыл не запертый мною ящик кассы, и, возвратясь, я застал его набивающим карманы свои деньгами. Увидав меня в дверях, он вытянул шею, подставил скучное бритое лицо и тихо сказал:

— Ну — бей!

Губы у него дрожали, из бесцветных глаз катились какие-то масленые слезы, странно крупные.

Мне хотелось ударить скрипача; чтоб не сделать этого, я сел на пол, подложив под себя кулаки, и велел ему положить деньги в кассу. Он разгрузил карманы, пошел к двери, но, остановясь, сказал идиотски высоким и страшным голосом:

— Дай десять рублей!

Деньги я ему дал, но учиться на скрипке бросил.

В декабре я решил убить себя. Я пробовал описать мотив этого решения в рассказе «Случай из жизни Макара». Но это не удалось мне — рассказ вышел неуклюжим, неприятным и лишенным внутренней правды. К его достоинствам следует отнести — как мне кажется — именно то, что в нем совершенно отсутствует эта правда. Факты — правдивы, а освещение их сделано как будто не мною, и рассказ идет не обо мне. Если не говорить о литературной ценности рассказа — в нем для меня есть нечто приятное,— как будто я перешагнул через себя.

Купив на базаре револьвер барабанщика, заряженный четырьмя патронами, я выстрелил себе в грудь, рассчитывая попасть в сердце, но только пробил легкое, и через месяц, очень сконфуженный, чувствуя себя донельзя глупым, снова работал в булочной.

Однако — недолго. В конце марта, вечером, придя в магазин из пекарни, я увидал в комнате продавщицы Хохла. Он сидел на стуле у окна, задумчиво покуривая толстую папиросу и смотря внимательно в облака дыма.

— Вы свободны? — спросил он, не здороваясь.

— На двадцать минут.

— Садитесь, поговорим.

Как всегда, он был туго зашит в казакин из «чёртовой

кожи», на его широкой груди расстилалась светлая борода, над упрямым лбом торчит щетина жестких, коротко остриженных волос, на ногах у него тяжелые, мужицкие сапоги, от них крепко пахнет дегтем.

— Нуте-с,— заговорил он спокойно и негромко,— не хотите ли вы приехать ко мне? Я живу в селе Красновидове, сорок пять верст вниз по Волге, у меня там лавка, вы будете помогать мне в торговле, это отнимет у вас не много времени, я имею хорошие книги, помогу вам учиться — согласны?

— Да.

— В пятницу приходите в шесть утра к пристани Курбатова, спросите дощаник из Красновидова,— хозяин Василий Панков. Впрочем,— я уже буду там и увижу вас. До свидания!

Встал, протянув мне широкую ладонь, а другой рукой вынул из-за пазухи тяжелую серебряную луковицу-часы и сказал:

— Кончили в шесть минут! Да — мое имя — Михайло Антонов, а фамилия — Ромась. Так.

Он ушел не оглядываясь, твердо ставя ноги, легко неся тяжелое, богатырски литое тело.

Через два дня я поплыл в Красновидово.

Волга только что вскрылась, сверху, по мутной воде, тянутся, покачиваясь, серые, рыхлые льдины, дощаник перегоняет их, и они трутся о борта, поскрипывая, рассыпаясь от ударов острыми кристаллами. Играет «верховой» ветер, загоняя на берег волну, ослепительно сверкает солнце, отражаясь ярко-белыми пучками от синевато-стеклянных боков льдин. Дощаник, тяжело нагруженный бочками, мешками, ящиками, идет под парусом,— на руле молодой мужик Панков, щеголевато одетый в пиджак дубленой овчины, вышитый на груди разноцветным шнурком.

Лицо у него — спокойное, глаза холодные, он молчалив и мало похож на мужика. На носу дощаника, растопырив ноги, стоит с багром в руках батрак Панкова, Кукушкин, растрепанный мужичонко в рваном армяке, подпоясанном веревкой, в измятой поповской шляпе, лицо у него в синяках и ссадинах. Расталкивая льдины длинным багром, он презрительно ругается:

— Сторонись... Куда лезешь...

Я сижу рядом с Ромасем под парусом на ящиках, он тихо говорит мне:

— Мужики меня не любят, особенно — богатые! Нелюбовь эту придется и вам испытать на себе.

Кукушкин положил багор поперек бортов, под ноги себе, говорит с восхищением, обратив к нам изувеченное лицо:

— Особо тебя, Антоныч, поп не любит...

— Это верно,— подтверждает Панков.

— Ты ему, псу рябому, кость в горле!

— Но есть и друзья у меня,— будут и у вас, — слышу я голос Хохла.

Холодно. Мартовское солнце еще плохо греет. На берегу качаются темные ьетви голых деревьев, кое-где в щелях и под кустами горного берега лежит спег кусками бархата. Всюду на реке — льдины, точно пасется стадо овец. Я чувствую себя, как во сне.

Кукушкин, затискивая в трубку табак, философствует:

— Положим, ты попу не жена, однако, по должности своей, он обязался любить всякую тварь, как написано в книгах.

— Кто это тебя избил? — спрашивает Ромась, усмехаясь.

— Так, какие-то темных должностей люди, наверно — жулики,— презрительно говорит Кукушкин. И— с гордостью: — Нет, меня однова антиллеристы били, это — действительно! Даже и понять нельзя — как я жив остался.

— За что били? — спрашивает Панков.

— Вчера? Али — антиллеристы?

— Ну — вчера?

— Да — разве можно понять, за что бьют? Народ у нас вроде козла, чуть что — сейчас и бодается! Должностью своей считают это — драку!

— Я думаю,— говорит Ромась,— за язык бьют тебя, говоришь ты неосторожно...

— Пожалуй, так! Человек я любопытного характера, навык обо всем спрашивать. Для меня — радость, коли новенькое что услышу.

Нос дощаника сильно ткнулся о льдину, по борту злобно шаркнуло, Кукушкин, покачнувшись, схватил багор, Панков с упреком говорит:

— А ты гляди на дело, Степан!

— А ты меня не разговаривай! — отпихивая льдины, бормочет Кукушкин.— Не могу я за один раз и должность мою исполнять и беседу вести с тобой...

Они беззлобно спорят, а Ромась говорит мне:

— Земля здесь хуже, чем у нас, на Украине, а люди — лучше. Очень способный народ!

Я слушаю его внимательно и верю ему. Мне нравится его спокойствие и ровная речь, простая, веская. Чувствуется, что этот человек знает много и что у него есть своя мера людей. Мне особенно приятно, что он не спрашивает — почему я стрелялся? Всякий другой, на его месте, давно бы уже спросил, а мне так надоел этот вопрос. И — трудно ответить. Чёрт знает, почему я решил убить себя. Хохлу я, наверное, отвечал бы длинно и глупо. Да мне и вообще не хочется вспоминать об этом,— на Волге так хорошо, свободно, светло.

Дощаник плывет под берегом, влево широко размахнулась река, вторгаясь на песчаный берег луговой стороны. Видишь, как прибывает вода, заплескивая и качая прибрежные кусты, а встречу ей по ложбинам и щелям земли шумно катятся светлые потоки вешних вод. Улыбается солнце, желтоносые грачи блестят в его лучах черной сталью оперения, хлопотливо каркают, строя гнезда. На припеке трогательно пробивается из земли к солнцу ярко-зеленая щетинка травы. Телу — холодно, а в душе — тихая радость и тоже возникают нежные ростки светлых надежд. Очень уютно весною на земле.

К полудню доплыли до Красновидова; на высокой, круто срезанной горе стоит голубоглавая церковь, от нее, гуськом, тянутся по краю горы хорошие, крепкие избы, блестя желтым тесом крыш и парчовыми покровами соломы. Просто и красиво.

Сколько раз любовался я этим селом, проезжая мимо его на пароходах.

Когда, вместе с Кукушкиным, я начал разгружать дощаник, Ромась, подавая мне с борта мешки, сказал:

— Однако — сила у вас есть!

И, не глядя на меня, спросил:

— А грудь — не болит?

— Нимало.

Я был очень тронут деликатностью его вопроса,— мне особенно не хотелось, чтоб мужики знали о моей попытке убить себя.

— Силенка — имеется, можно сказать — свыше должности,— болтал Кукушкин.— Какой губернии, молодчик? Нижегородской? Водохлебами дразнят вас. А еще — «Чай, примечай, отколе чайки летят» — это тоже про вас сложено.

С горы, по съезду, по размякшей глине, среди множества серебром сверкающих ручьев, широко шагал, скользя и покачиваясь, длинный сухощавый мужик, босый, в одной рубахе и портах, с курчавой бородою, в густой шапке рыжеватых волос.

Подойдя к берегу, он сказал звучно и ласково:

— С приездом.

Оглянулся, поднял толстую жердь, другую, положил их концами на борта и, легко прыгнув в дощаник, скомандовал:

— Упрись ногами в концы жердей, чтоб не съехали с борта, и принимай бочки. Парень, иди сюда, помогай.

Он был картинно красив и, видимо, очень силен. На румяном лице его, с прямым большим носом, строго сияли голубоватые глаза.

— Простудишься, Изот,— сказал Ромась.

— Я-то? Не бойся.

Выкатили бочку керосина на берег, Изот, смерив меня глазами, спросил:

— Приказчик?

— Поборись с ним,— предложил Кукушкин.

— А тебе опять рожу испортили?

— Что с ними сделаешь?

— С кем это?

— А — которые бьют...

— Эх ты! — сказал Изот, вздохнув, и обратился к Ромасю: — Телеги сейчас спустятся. Я вас издали увидал,— плывут. Хорошо плыли. Ты — иди, Антоныч, я послежу тут.

Было видно, что человек этот относился к Ромасю дружески и заботливо, даже — покровительственно, хотя Ромась был старше его лет на десять.

Через полчаса я сидел в чистой и уютной комнате новенькой избы, стены ее еще не утратили запаха смолы и пакли. Бойкая, остроглазая баба накрывала стол для обеда, Хохол выбирал книги из чемодана, ставя их на полку у печки.

— Ваша комната на чердаке,— сказал он.

Из окна чердака видна часть села, овраг против нашей избы, в нем — крыши бань, среди кустов. За оврагом — сады и черные поля; мягкими увалами они уходили к синему гребню леса, на горизонте. Верхом на коньке крыши бани сидел синий мужик, держа в руке топор, а другую руку прислонил ко лбу, глядя на Волгу, вниз. Скрипела телега, надсадно мычала корова, шумели ручьи. Из ворот избы вышла старуха, вся в черном, и, оборотясь к воротам, сказала крепко:

— Издохнуть бы вам!

Двое мальчишек, деловито заграждавшие путь ручью камнями и грязью, услыхав голос старухи, стремглав бросились прочь от нее, а она, подняв с земли щепку, плюнула на нее и бросила в ручей. Потом, ногою в мужицком сапоге, разрушила постройку детей и пошла вниз, к реке.

Как-то я буду жить здесь?

Позвали обедать. Внизу за столом сидел Изот, вытянув длинные ноги с багровыми ступнями, и что-то говорил, но — замолчал, увидя меня.

— Что ж ты? — хмуро спросил Ромась. — Говори.

— Да уж и нечего, всё сказал. Значит — так решили: сами, дескать, управимся. Ты ходи с пистолетом, а то— с палкой потолще. При Баринове — не всё говорить можно, у него да у Кукушкина — языки бабьи. Ты, парень, рыбу ловить любишь?

— Нет.

Ромась заговорил о необходимости организовать мужиков, мелких садовладельцев, вырвать их из рук скупщиков. Изот внимательно выслушал его, сказал:

— Окончательно мироеды житья не дадут тебе.

— Увидим.

— Да уж — так!

Я смотрел на Изота и думал:

«Наверное,— вот с таких мужиков пишут рассказы Каронин и Златовратский...»

Неужели удалось мне подойти к чему-то серьезному и теперь я буду работать с людьми настоящего дела?

Изот, пообедав, говорил:

— Ты, Михайло Антонов, не торопись, хорошо — скоро не бывает. Легонько надо!

Когда он ушел, Ромась сказал задумчиво:

— Умный человек, честный. Жаль — малограмотен, едва читает. Но — упрямо учится. Вот — помогите ему в этом!

Вплоть до вечера он знакомил меня с ценами товаров в лавке, рассказывая:

— Я продаю дешевле, чем двое других лавочников села, конечно — это им не нравится. Делают мне пакости, собираются избить. Живу я здесь не потому, что мне приятно или выгодно торговать, а — по другим причинам. Это — затея вроде вашей булочной...

Я сказал, что догадываюсь об этом.

— Ну да... Надо же учить людей уму-разуму,— так?

Лавка была заперта, мы ходили по ней с лампою в руках, и на улице кто-то тоже ходил, осторожно шлепая по грязи, иногда тяжко влезая на ступени крыльца.

— Вот — слышите? — ходит! Это — Мигун, бобыль, злое животное, он любит делать зло, точно красивая девка кокетничать. Вы будьте осторожны в словах с ним да и — вообще...

Потом, в комнате, закурив трубку, прислонясь широкой спиною к печке и прищурив глаза, он пускал струйки дыма в бороду себе и, медленно составляя слова в простую, ясную речь, говорил, что давно уже заметил, как бесполезно трачу я годы юности.

— Вы человек способный, по природе — упрямый и, видимо, с хорошими желаниями. Вам надо учиться, да — так, чтоб книга не закрывала людей. Один сектант, старичок, очень верно сказал: «Всякое научение — от человека исходит». Люди учат больнее,— грубо они учат,— но наука их крепче въедается.

Говорил он знакомое мне, о том, что прежде всего надо будить разум деревни. Но и в знакомых словах я улавливал более глубокий, новый для меня смысл.

— Там у вас студенты много балакают о любви к народу, так я говорю им на это: народ любить нельзя. Это — слова, любовь к народу...

Усмехнулся в бороду, пытливо глядя на меня, и начал шагать по комнате, продолжая крепко, внушительно:

— Любить — значит: соглашаться, снисходить, не замечать, прощать. С этим нужно идти к женщине. А — разве можно не замечать невежества народа, соглашаться с заблуждениями его ума, снисходить ко всякой его подлости, прощать ему зверство? Нет?

— Нет.

— Вот видите! У вас там все Некрасова читают и поют, ну, знаете, с Некрасовым далеко не уедешь! Мужику надо внушать: «Ты, брат, хоть и не плох человек сам по себе, а живешь плохо и ничего не умеешь делать, чтоб жизнь твоя стала легче, лучше. Зверь, пожалуй, разумнее заботится о себе, чем ты, зверь защищает себя лучше. А из тебя, мужика, разрослось всё,— дворянство, духовенство, ученые, цари — всё это бывшие мужики. Видишь? Понял? Ну — учись жить, чтоб тебя не мордовали...»

Уйдя в кухню, он велел кухарке вскипятить самовар, а потом стал показывать мне свои книги,— почти все научного характера: Бокль, Ляйель, Гартполь Лекки, Леббок, Тэйлор, Милль, Спенсер, Дарвин, а из русских — Писарев, Добролюбов, Чернышевский, Пушкин, «Фрегат „Паллада“» Гончарова, Некрасов.

Он гладил их широкой ладонью, ласково, точно котят, и ворчал почти умиленно:

— Хорошие книги! А это — редчайшая: ее сожгла цензура. Хотите знать, что́ есть государство,— читайте эту!

Он подал мне книгу Гоббса «Левиафан».

— Эта — тоже о государстве, но легче, веселее!

Веселая книга оказалась «Государем» Макиавелли.

За чаем он кратко рассказал о себе: сын черниговского кузнеца, он был смазчиком поездов на станции Киев, познакомился там с революционерами, организовал

кружок самообразования рабочих, его арестовали, года два он сидел в тюрьме, а потом — сослали в Якутскую область на десять лет.

— Вначале — жил там с якутами, в улусе, думал — пропаду. Зима там, чёрт побери, такая, знаете, что в человеке застывает мозг. Да и лишний разум там. Потом вижу: то — здесь, то — тут торчит русский, натыкано их не густо, а все-таки — есть! И, чтоб не скучали, новых к ним заботливо добавляют. Хорошие люди были. Был студент Владимир Короленко,— он теперь тоже воротился. Я с ним хорошо жил, потом — разошлись. Мы оказались во многом похожи один на другого, а на сходстве дружба не ладится. Но это серьезный, упрямый человек, способен ко всякой работе. Даже иконы писал, это мне не нравилось. Теперь, говорят, хорошо пишет в журналах.

Долго, до полуночи, беседовал он, видимо, желая сразу прочно поставить меня рядом с собою. Впервые мне было так серьезно хорошо с человеком. После попытки самоубийства мое отношение к себе сильно понизилось, я чувствовал себя ничтожным, виноватым пред кем-то, и мне было стыдно жить. Ромась, должно быть, понимал это и, человечно, просто открыв предо мною дверь в свою жизнь,— выпрямил меня. Незабвенный день.

В воскресенье мы открыли лавку после обедни, и тотчас же к нашему крыльцу стали собираться мужики. Первым явился Матвей Баринов, грязный, растрепанный человек, с длинными руками обезьяны и рассеянным взглядом красивых бабьих глаз.

— Что слышно в городе? — спросил он, поздоровавшись, и, не ожидая ответа, закричал встречу Кукушкину:

— Степан! Твои кошки опять петуха сожрали!

И тотчас рассказал, что губернатор поехал из Казани в Петербург к царю хлопотать, чтоб всех татар выселили на Кавказ и в Туркестан. Похвалил губернатора:

— Умный! Понимает свое дело...

— Ты сам выдумал всё это,— спокойно заметил Ромась.

— Я? Когда?

— Не знаю...

— До чего ты мало веришь людям, Антоныч,— сказал Баринов с упреком, сожалительно качая головою.— А я — жалею татар. Кавказ требует привычки.

Осторожно подошел маленький сухощавый человек, в рваной поддевке с чужого плеча; серое лицо его искажала судорога, раздергивая темные губы в болезненную улыбку; острый левый глаз непрерывно мигал, над ним вздрагивала седая бровь, разорванная шрамами.

— Почет Мигуну! — насмешливо сказал Баринов.— Чего ночью украл?

— Твои деньги,— звучным тенором ответил Мигун, сняв шапку пред Ромасем.

Вышел со двора хозяин нашей избы и сосед наш Панков, в пиджаке, с красным платочком на шее, в резиновых галошах и с длинной, как вожжи, серебряной цепочкой на груди. Он смерил Мигуна сердитым взглядом:

— Если ты, старый чёрт, будешь в огород ко мне лазить, я тебя — колом по ногам!

— Начинается обыкновенный разговор,— спокойно заметил Мигун и, вздыхая, добавил: — Как жить, коли — не бить?

Панков стал ругать его, а он прибавил:

— Какой же старый я? Сорок шесть годов...

— А на святках тебе пятьдесят три было,— вскричал Баринов.— Сам говорил — пятьдесят три! Зачем врешь?

Пришел солидный, бородатый старик Суслов * и рыбак Изот, так собралось человек десять. Хохол сидел на крыльце, у двери лавки, покуривая трубку, молча слушая беседу мужиков; они уселись на ступенях крыльца и на лавочках, по обе стороны его.

День был холодный, пестрый, по синему, вымороженному зимою небу быстро плыли облака, пятна света и теней купались в ручьях и лужах, то ослепляя глаза ярким блеском, то лаская взгляд бархатной мягкостью. Нарядно одетые девицы павами плыли вниз по улице, к Волге, шагали через лужи, поднимая подолы юбок и показывая чугунные башмаки. Бежали мальчишки с длинными удилищами на плечах, шли солидные

* Плохо помню фамилии мужиков и, вероятно, перепутал или исказил их.

мужики, искоса оглядывая группу у нашей лавки, молча приподнимая картузы и войлочные шляпы.

Мигун с Кукушкиным миролюбиво разбирались в неясном вопросе: кто больнее дерется — купец или барин? Кукушкин доказывал — купец, Мигун защищал помещика, и его звучный тенорок одолевал растрепанную речь Кукушкина.

— Господина Фингерова папаша Наполеон Бонапарта за бороду драл. А господин Фингеров, бывало, ухватит двоих за овчину на затылках, разведет ручки свои да и треснет лбами — готово! Оба лежат недвижимы.

— Эдак — ляжешь! — согласился Кукушкин, но добавил: — Ну, зато купец ест больше барина...

Благообразный Суслов, сидя на верхней ступени крыльца, жаловался:

— Не крепок становится мужик на земле, Михайло Антонов! При господах не дозволялось зря жить, каждый человек был к делу прикреплен...

— А ты подай прошение, чтобы крепостное право опять завели,— ответил ему Изот.

Ромась молча взглянул на него и стал выколачивать трубку о перила крыльца.

Я ждал: когда же он заговорит? И, внимательно слушая несвязную беседу мужиков, пытался представить — что именно скажет Хохол? Мне казалось, что он уже пропустил целый ряд удобных моментов вмешаться в беседу мужиков. Но он равнодушно молчал и сидел идольски неподвижно, следя, как ветер морщит воду в лужах и гонит облака, стискивая их в густо-серую тучу. На реке гудел пароход, снизу возносилась визгливая песня девиц, подыгрывала гармоника. Икая и рыча, вниз по улице шагал пьяный, размахивая руками, ноги его неестественно сгибались, попадая в лужи. Мужики говорили всё медленнее, уныние звучало в их словах, и меня тоже тихонько трогала печаль, потому что холодное небо грозило дождем, и вспоминался мне непрерывный шум города, разнообразие его звуков, быстрое мелькание людей на улицах, бойкость их речи, обилие слов, раздражающих ум.

Вечером, за чаем, я спросил Хохла: когда же он говорит с мужиками?

— О чем?

— Ага,— сказал он, внимательно выслушав меня,— ну, знаете, если бы я говорил с ними об этом, да еще на улице,— меня бы снова отправили к якутам...

Он натискал табака в трубку, раскурил ее, сразу окутался дымом и спокойно, памятно заговорил о том, что мужик — человек осторожный, недоверчивый. Он — сам себя боится, соседа боится, а особенно — всякого чужого. Еще не прошло тридцати лет, как ему дали волю, каждый сорокалетний крестьянин родился рабом и помнит это. Что такое воля — трудно понять. Рассуждая просто — воля, это значит: живу как хочу. Но — везде начальство, и все мешают жить. У помещиков отнял крестьянство царь, стало быть, теперь царь единый господин надо всем крестьянством. И снова: а что ж такое воля? Вдруг придет день, когда царь объяснит, что она значит. Мужик очень верит в царя, единого господина всей земли и всех богатств. Он отнял крестьян у помещиков,— может отнять пароходы и лавки у купцов. Мужик — царист, он понимает: много господ — плохо, один — лучше. Он ждет, что наступит день, когда царь объявит ему смысл воли. Тогда — хватай кто что может. Этого дня все хотят и каждый — боится, каждый живет настороже внутри себя: не прозевать бы решительный день всеобщей дележки. И — сам себя боится: хочет много, и есть что взять, а — как возьмешь? Все точат зубы на одно и то же. К тому же везде — неисчислимое количество начальства, явно враждебного мужику да и царю. Но — и без начальства нельзя, все передерутся, перебьют друг друга.

Ветер сердито плескал в стекла окон обильным вешним дождем. Серая мгла изливалась по улице; в душе у меня тоже стало серовато и скучно. Спокойный, негромкий голос раздумчиво говорил:

— Внушайте мужику, чтобы он постепенно научался отбирать у царя власть в свои руки, говорите ему, что народ должен иметь право выбирать начальство из своей среды — и станового, и губернатора, и царя...

— Это — на сто лет!

— А вы думали всё сделать к Троицыну дню? — серьезно спросил Хохол.

Вечером он ушел куда-то, а часов в одиннадцать я услышал на улице выстрел,— он хлопнул где-то близко. Выскочив во тьму, под дождь, я увидал, что Михаил Антонович идет к воротам, обходя потоки воды неторопливо и тщательно, большой, черный.

— Вы — что? Это я выпалил...

— В кого?

— А тут какие-то с кольями наскочили на меня. Я говорю: «Отстаньте, стрелять буду»,— не слушают. Ну, тогда я выстрелил в небо,— ему не повредишь...

Он стоял в сенях, раздеваясь, отжимая рукой мокрую бороду, и фыркал, как лошадь.

— А сапоги чёртовы, оказывается, худые у меня! Надо переобуться. Вы умеете револьвер чистить? Пожалуйста, а то заржавеет. Смажьте керосином...

Восхищало меня его непоколебимое спокойствие, тихое упрямство взгляда его серых глаз. В комнате, расчесывая бороду перед зеркалом, он предупредил меня:

— Вы ходите по селу осторожней, особенно — в праздники, вечерами, вас, наверное, тоже захотят бить. Но палку с собой не носите, это раздражает драчунов и может внушить им мысль, что вы — боитесь. А бояться — не надо! Они сами народ трусоватый...

Я начал жить очень хорошо, каждый день приносил мне новое и важное. С жадностью стал читать книги по естествознанию, Ромась учил меня:

— Это, Максимыч, прежде всего и всего лучше надо знать, в эту науку вложен лучший разум человечий.

Вечерами, трижды в неделю, приходил Изот, я учил его грамоте. Сначала он отнесся ко мне недоверчиво, с легонькой усмешкой, но после нескольких уроков добродушно сказал:

— Хорошо объясняешь! Тебе бы, парень, учителем быть...

И — вдруг предложил:

— Ты будто сильный, ну-ка, давай на палке потянемся?

Взяли из кухни палку, сели на пол и, упершись друг

другу ступнями в ступни ног, долго старались поднять друг друга с пола, а Хохол, ухмыляясь, подзадоривал нас:

— А — ну? Уть!

Изот поднял меня, и это, кажется, еще более расположило его в мою пользу.

— Ничего, ты — здоров! — утешил он меня.— Жаль, рыбу не любишь ловить, а то ходил бы со мною на Волгу. Ночью на Волге — царствие небесное!

Учился он усердно, довольно успешно и — очень хорошо удивлялся; бывало, во время урока, вдруг встанет, возьмет с полки книгу, высоко подняв брови, с натугой прочитает две-три строки и, покраснев, смотрит на меня, изумленно говоря:

— Читаю ведь, мать его курицу!

И повторяет, закрыв глаза:

Словно как мать над сыновней могилой,
Стонет кулик над равниной унылой...

— Видал?

Несколько раз он, вполголоса, осторожно спрашивал:

— Объясни ты мне, брат, как же это выходит все-таки? Глядит человек на эти черточки, а они складываются в слова, и я знаю их — слова живые, наши! Как я это знаю? Никто мне их не шепчет. Ежели бы это картинки были, ну, тогда понятно. А здесь как будто самые мысли напечатаны,— как это?

Что я мог ответить ему? И мое «не знаю» огорчало человека.

— Колдовство! — говорил он, вздыхая, и рассматривал страницы книги на свет.

Была в нем приятная и трогательная наивность, что-то прозрачное, детское; он всё более напоминал мне славного мужика из тех, о которых пишут в книжках. Как почти все рыбаки, он был поэт, любил Волгу, тихие ночи, одиночество, созерцательную жизнь.

Смотрел на звезды и спрашивал:

— Хохол говорит — и там, может, кое-какие жители есть, в роде нашем, — как думаешь, верно это?

Знак бы им подать, спросить — как живут? Поди-ка — лучше нас, веселее...

В сущности, он был доволен своей жизнью, он сирота, бобыль и ни от кого не зависим в своем тихом, любимом деле рыбака. Но к мужикам относился неприязненно и предупреждал меня:

— Ты не гляди, что они ласковы, это — хитряга народ, фальшивый, ты им не верь! Сейчас они с тобою — так, а завтра — иначе. Каждому только сам он виден, а общественное дело — каторгой считают.

И с ненавистью, странной в человеке такой мягкой души, он говорил о «мироедах»:

— Они — почему богаче других? Потому что — умнее. Так ты, сволочь, помни, если умный: крестьянство должно жить стадом, дружно, тогда оно — сила! А они расщепляют деревню, как полено на лучину, ведь вот что! Сами себе враги. Это — злодейский народ. Вот как Хохол мается с ними...

Красивый, сильный, он очень нравился женщинам, и они одолевали его.

— Конечно, в этом я избалован,— добродушно каялся он.— Для мужьев — обидно это, я сам бы обижался на ихом месте. Однако баб нельзя не пожалеть, баба — она вроде как вторая твоя душа. Живет она — без праздников, без ласки; работает, как лошадь, и больше ничего. Мужьям любить некогда, а я — свободный человек. Многих, в первый же год после свадьбы, мужья кулаками кормят. Да, я в этом — грешен, балуюсь с ними. Об одном прошу: вы, бабы, только не сердитесь друг на друга, меня хватит на всех! Не завидуйте одна другой, все вы мне одинаковы, всех жалею...

И, конфузливо усмехаясь в бороду, он рассказал:

— Я даже чуть-чуть с барыней одной не пошалил,— на дачу приехала из города барыня. Красавица, белая, как молоко, а волосья — лен. И глазенки синеваты, добрые. Я ей рыбу продавал и всё, бывало, гляжу на нее. «Ты — что?» — спрашивает. «Сами знаете»,— говорю. «Ну, хорошо, говорит, я к тебе ночью приду, жди!» И — верно! Пришла. Только — комаров она стеснялась, закусали ее комары, ну, и не вышло у нас ни-

чего. «Не могу, говорит, кусают очень», а сама чуть не плачет. Через сутки к ней муж прибыл, судья какой-то. Да, вот они какие, барыни-то,— с грустью и упреком кончил он.— Комары им жить мешают...

Изот очень хвалил Кукушкина:

— Вот, приглядись к мужику,— хорошей души этот! Не любят его, ну — напрасно! Болтун, конечно, так ведь — у всякого скота своя пестрота.

Кукушкин был безземелен, женат на пьяной бабе-батрачке, маленькой, но очень ловкой, сильной и злой. Избу свою он сдал кузнецу, а сам жил в бане, работая у Панкова. Он очень любил новости, а когда их не было — сам выдумывал разные истории, нанизывая их всегда на одну нить.

— Михайло Антонов — слыхал ты? Тиньковский урядник в монахи идет, от своей должности,— не желаю, бает, мужиков мордовать,— шабаш!

Хохол серьезно говорил:

— Вот так всё начальство и разбежится от вас.

Вытаскивая из нечесанных русых волос на голове соломинки, сено, куриный пух, Кукушкин соображает:

— Все — не убегут, а которые совесть имеют — им, конечно, тяжко на своих должностях. Не веришь ты, Антоныч, в совесть, вижу я. А ведь без совести и при большом уме не проживешь! Вот, послушай случай...

И рассказывает о какой-то «умнейшей» помещице:

— Такая злодейка была, что даже губернатор, невзирая на высокую свою должность, в гости к ней приехал. «Сударыня, говорит, будьте осторожнее на всякий случай, слухи, говорит, о вашей подлости злодейской даже в Петербург достигли!» Она, конечно, наливкой угостила его, а сама говорит: «Поезжайте с богом, не могу я переломить характер мой!» Прошло три года с месяцем, и вдруг она собирает мужиков: «Вот, говорит, вам вся моя земля и прощайте, и простите меня, а я...»

— В монастырь,— подсказывает Хохол.

Кукушкин, внимательно глядя на него, подтверждает:

— Верно, в игуменьи! Значит — и ты слыхал про нее?

— Никогда не слыхал.

— А — откуда же знаешь?

— Я — тебя знаю.

Фантазер бормочет, покачивая головой:

— До чего ты не верующий людям...

И так — всегда: плохие, злые люди его рассказов устают делать зло и «пропадают без вести», но чаще Кукушкин отправляет их в монастыри, как мусор на «свалку».

У него являются неожиданные и странные мысли,— он вдруг нахмурится и заявляет:

— Напрасно мы татар победили,— татары лучше нас!

А о татарах никто не говорил, говорили в это время об организации артели садовладельцев.

Ромась рассказывает о Сибири, о богатом сибирском крестьянине, но вдруг Кукушкин задумчиво бормочет:

— Если селедку года два, три не ловить, она может до того разродиться, что море выступит из берегов и будет потоп людям. Замечательно плодущая рыба!

Село считает Кукушкина пустым человеком, а рассказы и странные мысли его раздражают мужиков, вызывая у них ругань и насмешки, но слушают они его всегда с интересом, внимательно, как бы ожидая встретить правду среди его выдумок.

— Пустобрех,— зовут его солидные люди, и только щеголь Панков говорит серьезно:

— Степан — человек с загадкой...

Кукушкин очень способный работник, он бондарь, печник, знает пчел, учит баб разводить птицу, ловко плотничает, и всё ему удается, хотя работает он копотливо, неохотно. Любит кошек, у него в бане штук десять сытых зверей и зверят, он кормит их воронами, галками и, приучив кошек есть птицу, усилил этим отрицательное отношение к себе: его кошки душат цыплят, кур, а бабы охотятся за зверьем Степана, нещадно избивают их. У бани Кукушкина часто слышен яростный визг огорченных хозяек, но это не смущает его.

— Дуры, кошка — охотничий зверь, она ловчее собаки. Вот я их приучу к охоте на птицу, разведем сотни кошек — продавать будем, доход вам, дурехи!

Он знал грамоту, но — забыл, а вспомнить — не

хочет. Умный по природе своей, он быстрее всех схватывает существенное в рассказах Хохла.

— Так, так,— говорит он, жмурясь, как ребенок, глотающий горькое лекарство.— Значит — Иван-то Грозный мелкому народу не вреден был...

Он, Изот и Панков приходят к нам вечерами и нередко сидят до полуночи, слушая рассказы Хохла о строении мира, о жизни иностранных государств, о революционных судорогах народов. Панкову нравится французская революция.

— Вот это — настоящий поворот жизни,— одобряет он.

Он два года тому назад отделился от отца, богатого мужика с огромным зобом и страшно вытаращенными глазами, взял — «по любви» — замуж сироту, племянницу Изота, держит ее строго, но одевает в городское платье. Отец проклял его за строптивость и, проходя мимо новенькой избы сына, ожесточенно плюет на нее. Панков сдал Ромасю в аренду избу и пристроил к ней лавку против желания богатеев села, и они ненавидят его за это, он же относится к ним внешне равнодушно, говорит о них пренебрежительно, а с ними — грубо и насмешливо. Деревенская жизнь тяготит его:

— Знай я ремесло — жил бы в городе...

Складный, всегда чисто одетый, он держится солидно и очень самолюбив; ум его осторожен, недоверчив.

— Ты от сердца али по расчету за такое дело взялся? — спрашивает он Ромася.

— А — как думаешь?

— Нет — ты скажи.

— По-твоему — как лучше?

— Не знаю! А — по-твоему?

Хохол упрям и в конце концов заставляет мужика высказаться.

— Лучше — от ума, конечно! Ум без пользы не живет, а где польза — там дело прочное. Сердце — плохой советчик нам. По сердцу я бы такого наделал — беда! Попа обязательно поджег бы,— не суйся куда не надо!

Поп, злой старичок, с мордочкой крота, очень насолил Панкову, вмешавшись в его ссору с отцом.

Сначала Панков относился ко мне неприязненно и почти враждебно, даже хозяйски покрикивал на меня, но скоро это исчезло у него, хотя, я чувствовал, осталось скрытое недоверие ко мне, да и мне Панков был неприятен.

Очень памятны мне вечера в маленькой чистой комнатке с бревенчатыми стенами. Окна плотно закрыты ставнями, на столе, в углу, горит лампа, перед нею крутолобый, гладко остриженный человек с большой бородою, он говорит:

— Суть жизни в том, чтобы человек всё дальше отходил от скота...

Трое мужиков слушают внимательно, у всех хорошие глаза, умные лица. Изот сидит всегда неподвижно, как бы прислушиваясь к чему-то отдаленному, что слышит только он один. Кукушкин вертится, точно его комары кусают, а Панков, пощипывая светлые усики, соображает тихо:

— Значит,— все-таки была нужда народу разбиться на сословия.

Мне очень нравится, что Панков никогда не говорит грубо с Кукушкиным, батраком своим, и внимательно слушает забавные выдумки мечтателя.

Кончится беседа,— я иду к себе, на чердак, и сижу там, у открытого окна, глядя на уснувшее село и в поля, где непоколебимо властвует молчание. Ночная мгла пронизана блеском звезд, тем более близких земле, чем дальше они от меня. Безмолвие внушительно сжимает сердце, а мысль растекается в безграничии пространства, и я вижу тысячи деревень, так же молча прижавшихся к плоской земле, как притиснуто к ней наше село. Неподвижность, тишина.

Мглистая пустота, тепло обняв меня, присасывается тысячами невидимых пиявок к душе моей, и постепенно я чувствую сонную слабость, смутная тревога волнует меня. Мал и ничтожен я на земле...

Жизнь села встает предо мною безрадостно. Я многократно слышал и читал, что в деревне люди живут более здорово и сердечно, чем в городе. Но — я вижу мужиков в непрерывном, каторжном труде, среди них много нездоровых, надорвавшихся в работе и почти совсем нет

веселых людей. Мастеровые и рабочие города, работая не меньше, живут веселее и не так нудно, надоедливо жалуются на жизнь, как эти угрюмые люди. Жизнь крестьянина не кажется мне простой, она требует напряженного внимания к земле и много чуткой хитрости в отношении к людям. И не сердечна эта бедная разумом жизнь, заметно, что все люди села живут ощупью, как слепые, все чего-то боятся, не верят друг другу, что-то волчье есть в них.

Мне трудно понять, за что они так упрямо не любят Хохла, Панкова и всех «наших», людей, которые хотят жить разумно.

Я отчетливо вижу преимущества города, его жажду счастья, дерзкую пытливость разума, разнообразие его целей и задач. И всегда, в такие ночи, мне вспоминаются двое горожан:

«Ф. Калугин и З. Небой

Часовых дел мастера, а также принимают в починку разные аппараты, хирургические инструменты, швейные машины, музыкальные ящики всех систем и прочее».

Эта вывеска помещается над узенькой дверью маленького магазина, по сторонам двери пыльные окна, у одного сидит Ф. Калугин, лысый, с шишкой на желтом черепе и с лупой в глазу; круглолицый, плотный, он почти непрерывно улыбается, ковыряя тонкими щипчиками в механизме часов, или что-то распевает, открыв круглый рот, спрятанный под седою щеткой усов. У другого окна — З. Небей, курчавый, черный, с большим кривым носом, с большими, как сливы, глазами и остренькой бородкой; сухой, тощий, он похож на дьявола. Он тоже разбирает и слаживает какие-то тоненькие штучки и, порою, неожиданно кричит басом:

— Тра-та-там, там, там!

За спинами у них хаотически нагромождены ящики, машины, какие-то колеса, аристоны, глобусы, всюду на полках металлические вещи разных форм, и множество часов качают маятниками на стенах. Я готов целый день смотреть, как работают эти люди, но мое длинное тело закрывает им свет, они строят мне страшные рожи,

машут руками — гонят прочь. Уходя, я с завистью думаю:

«Какое счастье уметь всё делать!»

Уважаю этих людей и верю, что они знают тайны всех машин, инструментов и могут починить всё на свете. Это — люди!

А деревня не нравится мне, мужики — непонятны. Бабы особенно часто жалуются на болезни, у них что-то «подкатывает к сердцу», «спирает в грудях» и постоянно «резь в животе»,— об этом они больше и охотнее всего говорят, сидя по праздникам у своих изб или на берегу Волги. Все они страшно легко раздражаются, неистово ругая друг друга. Из-за разбитой глиняной корчаги, ценою в двенадцать копеек, три семьи дрались кольями, переломили руку старухе и разбили череп парню. Такие драки почти каждую неделю.

Парни относятся к девицам откровенно цинично и озорничают над ними: поймают девок в поле, завернут им юбки и крепко свяжут подолы мочалом над головами. Это называется «пустить девку цветком». По пояс обнаженные снизу девицы визжат, ругаются, но, кажется, им приятна эта игра, заметно, что они развязывают юбки свои медленнее, чем могли бы. В церкви за всенощной парни щиплют девицам ягодицы, кажется, только для этого они и ходят в церковь. В воскресенье поп с амвона говорил:

— Скоты! Нет разве иного места для безобразия вашего?

— На Украине народ, пожалуй, более поэт в религии, — рассказывает Ромась,— а здесь, под верою в бога, я вижу только грубейшие инстинкты страха и жадности. Такой, знаете, искренней любви к богу, восхищения красотою и силой его — у здешних нет. Это, может быть, хорошо: легче освободятся от религии, она же — вреднейший предрассудок, скажу вам!

Парни хвастливы, но — трусы. Уже раза три они пробовали побить меня, застигая ночью на улице, но это не удалось им, и только однажды меня ударили палкой по ноге. Конечно, я не говорил Ромасю о таких стычках, но, заметив, что я прихрамываю, он сам догадался, в чем дело.

— Эге, все-таки — получили подарок? Я ж говорил вам!

Хотя он и не советует мне гулять по ночам, но всё же иногда я выхожу огородами на берег Волги и сижу там, под ветлами, глядя сквозь прозрачную завесу ночи вниз, за реку, в луга. Величественно медленное течение Волги, богато позолоченное лучами невидимого солнца, отраженными мертвой луною. Я не люблю луну, в ней есть что-то зловещее, и, как у собаки, она возбуждает у меня печаль, желание уныло завыть. Меня очень обрадовало, когда я узнал, что она светит не своим светом, что она мертва и нет и не может быть жизни на ней. До этого я представлял ее населенной медными людьми, они сложены из треугольников, двигаются, как циркули, и уничтожающе, великопостно звонят. На ней всё — медное; растения, животные — всё непрерывно, приглушенно звенит враждебно земле, замышляет злое против нее. Мне было приятно узнать, что она — пустое место в небесах, но все-таки хотелось бы, чтоб на луну упал большой метеор с силою, достаточной для того, чтоб она, вспыхнув от удара, засияла над землей собственным светом.

Глядя, как течение Волги колеблет парчовую полосу света и, зарожденное где-то далеко во тьме, исчезает в черной тени горного берега,— я чувствую, что мысль моя становится бодрее и острей. Легко думается о чем-то неуловимом словами, чуждом всему, что пережито днем. Владычное движение водной массы почти безмолвно. По темной широкой дороге скользит пароход чудовищной птицей в огненном оперении, мягкий шум течет вслед за ним, как трепет тяжелых крыльев. Под луговым берегом плавает огонек, от него, по воде, простирается острый красный луч — это рыбак лучит рыбу, а можно думать, что на реку опустилась с неба одна из его бесприютных звезд и носится над водою огненным цветком.

Вычитанное из книг развивается в странные фантазии, воображение неустанно ткет картины бесподобной красоты, и точно плывешь в мягком воздухе ночи вслед за рекою.

Меня находит Изот, ночью он кажется еще крупнее, еще более приятен.

— Ты опять тут? — спрашивает он и, садясь рядом, долго, сосредоточенно молчит, глядя на реку и в небо, поглаживая тонкий шёлк золотистой бороды.

Потом — мечтает:

— Выучусь, начитаюсь — пойду вдоль всех рек и буду всё понимать! Буду учить людей! Да. Хорошо, брат, поделиться душой с человеком! Даже бабы — некоторые — если с ними говорить по душе — и они понимают. Недавно одна сидит в лодке у меня и спрашивает: «Что с нами будет, когда помрем? Не верю, говорит, ни в ад, ни в тот свет». Видал? Они, брат, тоже...

Не найдя слова, он помолчал и наконец добавил:

— Живые души...

Изот был ночной человек. Он хорошо чувствовал красоту, хорошо говорил о ней тихими словами мечтающего ребенка. В бога он веровал без страха, хотя и церковно, представляя его себе большим благообразным стариком, добрым и умным хозяином мира, который не может побороть зла только потому, что «не поспевает он, больно много человека разродилось. Ну — ничего, он — поспеет, увидишь! А вот Христа я не могу понять — никак! Ни к чему он для меня. Есть бог, ну и — ладно. А тут — еще один! Сын, говорят. Мало ли что — сын? Чай бог-то не помер...»

Но чаще Изот сидит молча, думая о чем-то, и лишь порою говорит, вздохнув:

— Да, вот оно как...

— Что?

— Это я про себя...

И снова вздыхает, глядя в мутные дали.

— Хорошо это — жизнь!

Я соглашаюсь:

— Да, хорошо!

Могуче движется бархатная полоса темной воды, над нею изогнуто простерлась серебряная полоса Млечного Пути, сверкают золотыми жаворонками большие звезды, и сердце тихо поет свои неразумные думы о тайнах жизни.

Далеко над лугами из красноватых облаков выры-

ваются лучи солнца, и — вот оно распустило в небесах свой павлиний хвост.

— Удивительно это — солнце! — бормочет Изот, счастливо улыбаясь.

Яблони цветут, село окутано розоватыми сугробами и горьким запахом, он проникает всюду, заглушая запахи дегтя и навоза. Сотни цветущих деревьев, празднично одетые в розоватый атлас лепестков, правильными рядами уходят от села в поле. В лунные ночи, при легком ветре, мотыльки цветов колебались, шелестели едва слышно, и казалось, что село заливают золотисто-голубые тяжелые волны. Неустанно и страстно пели соловьи, а днем задорно дразнились скворцы и невидимые жаворонки изливали на землю непрерывный нежный звон свой.

По праздникам, вечерами, девки и молодухи ходили по улице, распевая песни, открыв рты, как птенцы, и томно улыбались хмельными улыбками. Изот тоже улыбался, точно пьяный, он похудел, глаза его провалились в темные ямы, лицо стало еще строже, красивей и — святей. Он целые дни спал, являясь на улице только под вечер, озабоченный, тихо задумчивый. Кукушкин грубо, но ласково издевался над ним, а он, смущенно ухмыляясь, говорил:

— Молчи знай. Что поделаешь?

И восхищался:

— Ой, сладко жить! И ведь как ласково жить можно, какие слова есть для сердца! Иное — до смерти не забудешь, воскреснешь — первым вспомнишь!

— Смотри — побьют тебя мужья,— предупреждал его Хохол, тоже ласково усмехаясь.

— И — есть за что, — соглашался Изот.

Почти каждую ночь, вместе с песнями соловьев, разливался в садах, в поле, на берегу реки высокий, волнующий голос Мигуна, он изумительно красиво пел хорошие песни, за них даже мужики многое прощали ему.

Вечерами, по субботам, у нашей лавки собиралось всё больше народа и — неизбежно — старик Суслов, Баринов, кузнец Кротов, Мигун. Сидят и задумчиво беседуют. Уйдут одни, являются другие, и так — почти

до полуночи. Иногда скандалят пьяные, чаще других солдат Костин, человек одноглазый и без двух пальцев на левой руке. Засучив рукава, размахивая кулаками, он подходит к лавке шагом бойцового петуха и орет натужно, хрипло:

— Хохол, вредная нация, турецкая вера! Отвечай— почему в церковь не ходишь, а? Еретицкая душа! Смутьян человечий! Отвечай — кто ты таков есть?

Его дразнят:

— Мишка,— ты зачем пальцы себе отстрелил? Турка испугался?

Он лезет драться, но его хватают и со смехом, с криками сталкивают в овраг,— катясь кубарем по откосу, он визжит нестерпимо:

— Караул! Убили...

Потом вылезает, весь в пыли, и просит у Хохла на шкалик водки.

— За что?

— За потеху,— отвечает Костин. Мужики дружно хохочут.

Однажды утром, в праздник, когда кухарка подожгла дрова в печи и вышла на двор, а я был в лавке,— в кухне раздался сильный вздох, лавка вздрогнула, с полок повалились жестянки карамели, зазвенели выбитые стекла, забарабанило по полу. Я бросился в кухню, из двери ее в комнату лезли черные облака дыма, за ним что-то шипело и трещало,— Хохол схватил меня за плечо:

— Стойте...

В сенях завыла кухарка.

— Э, дура...

Ромась сунулся в дым, загремел чем-то, крепко выругался и закричал:

— Перестань! Воды!

На полу кухни дымились поленья дров, горела лучина, лежали кирпичи, в черном жерле печи было пусто, как выметено. Нащупав в дыму ведро воды, я залил огонь на полу и стал швырять поленья обратно в печь.

— Осторожней! — сказал Хохол, ведя за руку кухарку, и, втолкнув ее в комнату, скомандовал:

— Запри лавку! Осторожнее, Максимыч, может, еще взорвет...— И, присев на корточки, он стал рассматривать круглые еловые поленья, потом начал вытаскивать из печи брошенные мною туда.

— Что вы делаете?

— А — вот!

Он протянул мне странно разорванный кругляш, и я увидал, что внутренность его была высверлена коловоротом и странно закоптела.

— Понимаете? Они, черти, начинили полено порохом. Дурачье! Ну,— что можно сделать фунтом пороха?

И, отложив полено в сторону, он начал мыть руки, говоря:

— Хорошо, что Аксинья ушла, а то ушибло бы ее...

Кисловатый дым разошелся, стало видно, что на полке перебита посуда, из рамы окна выдавлены все стекла, а в устье печи — вырваны кирпичи.

В этот час спокойствие Хохла не понравилось мне,— он вел себя так, как будто глупая затея нимало не возмущает его. А по улице бегали мальчишки, звенели голоса:

— У Хохла пожар! Горим!

Причитая, выла баба, а из комнаты тревожно кричала Аксинья:

— В лавку ломятся, Михайло Антоныч!

— Ну, ну, тихо! — говорил он, вытирая полотенцем мокрую бороду.

В открытые окна комнаты смотрели искаженные страхом и гневом волосатые рожи, щурились глаза, разъедаемые дымом, и кто-то возбужденно, визгливо кричал:

— Выгнать их из села! Скандалы у них бесперечь! Что такое, господи?

Маленький рыжий мужичок, крестясь и шевеля губами, пытался влезть в окно и — не мог; в правой руке у него был топор, а левая, судорожно хватаясь за подоконник, срывалась.

Держа в руке полено, Ромась спросил его:

— Куда ты?

— Тушить, батюшка...

— Так нигде же не горит...

Мужик, испуганно открыв рот, исчез, а Ромась вышел на крыльцо лавки и, показывая полено, говорил толпе людей:

— Кто-то из вас начинил этот кругляш порохом и сунул его в наши дрова. Но пороха оказалось мало, и вреда никакого не вышло...

Я стоял сзади Хохла, смотрел на толпу и слышал, как мужик с топором пугливо рассказывает:

— Как он размахнется на меня поленом...

А солдат Костин, уже выпивший, кричал:

— Выгнать его, изувера! Под суд...

Но большинство людей молчало, пристально глядя на Ромася, недоверчиво слушая его слова:

— Для того, чтоб взорвать избу, надо много пороха, пожалуй — пуд! Ну, идите же...

Кто-то спрашивал:

— Где староста?

— Урядника надо!

Люди разошлись не торопясь, неохотно, как будто сожалея о чем-то.

Мы сели пить чай, Аксинья разливала, ласковая и добрая как никогда, и, сочувственно поглядывая на Ромася, говорила:

— Не жалуетесь вы на них, вот они и озорничают.

— Не сердит вас это?— спросил я.

— Времени не хватит сердиться на каждую глупость.

Я подумал: «Если б все люди так спокойно делали свое дело!»

А он уже говорил, что скоро поедет в Казань, спрашивая, какие книги привезти.

Иногда мне казалось, что у этого человека на месте души действует — как в часах — некий механизм, заведенный сразу на всю жизнь. Я любил Хохла, очень уважал его, но мне хотелось, чтоб однажды он рассердился на меня или на кого-нибудь другого, кричал бы и топал ногами. Однако он не мог или не хотел сердиться. Когда его раздражали глупостью или подлостью,

он только насмешливо прищуривал серые глаза и говорил короткими, холодными словами что-то, всегда очень простое, безжалостное.

Так, он спросил Суслова:

— Зачем же вы, старый человек, кривите душой, а?

Желтые щеки и лоб старика медленно окрасились в багровый цвет, казалось, что и белая борода его тоже порозовела у корней волос.

— Ведь — нет для вас пользы в этом, а уважение вы потеряете.

Суслов, опустив голову, согласился:

— Верно — нет пользы!

И потом говорил Изоту:

— Это — душеводитель! Вот эдаких бы подобрать в начальство...

...Кратко, толково Ромась внушает, что и как я должен делать без него, и мне кажется, что он уже забыл о попытке попугать его взрывом, как забывают об укусе мухи.

Пришел Панков, осмотрел печь и хмуро спросил:

— Не испугались?

— Ну, чего же?

— Война!

— Садись чай пить.

— Жена ждет.

— Где был?

— На рыбалке. С Изотом.

Он ушел и в кухне еще раз задумчиво повторил:

— Война.

Он говорил с Хохлом всегда кратко, как будто давно уже переговорив обо всем важном и сложном. Помню, выслушав историю царствования Ивана Грозного, рассказанную Ромасем, Изот сказал:

— Скушный царь!

— Мясник,— добавил Кукушкин, а Панков решительно заявил:

— Ума особого не видно в нем. Ну, перебил он князей, так на их место расплодил мелких дворянишек. Да еще чужих навез, иноземцев. В этом — нет ума. Мелкий помещик хуже крупного. Муха — не волк, из ружья не убьешь, а надоедает она хуже волка.

Явился Кукушкин с ведром разведенной глины и, вмазывая кирпичи в печь, говорил:

— Удумали, черти! Вошь свою перевести — не могут, а человека извести — пожалуйста! Ты, Антоныч, много товару сразу не вози, лучше — поменьше да почаще, а то, гляди, подожгут тебя. Теперь, когда ты эту штуку устроишь, — жди беды!

«Эта штука», очень неприятная богатеям села,— артель садовладельцев. Хохол почти уже наладил ее при помощи Панкова, Суслова и еще двух-трех разумных мужиков. Большинство домохозяев начало относиться к Ромасю благосклонней, в лавке заметно увеличивалось количество покупателей, и даже «никчемные» мужики — Баринов, Мигун — всячески старались помочь всем, чем могли, делу Хохла.

Мне очень нравился Мигун, я любил его красивые печальные песни. Когда он пел, то закрывал глаза, и его страдальческое лицо не дергалось судорогами. Жил он темными ночами, когда нет луны или небо занавешено плотной тканью облаков. Бывало, с вечера зовет меня тихонько:

— Приходи на Волгу.

Там, налаживая на стерлядей запрещенную снасть, сидя верхом на корме своего челнока, опустив кривые темные ноги в темную воду, он говорит вполголоса:

— Измывается надо мной барин,— ну, ладно, могу терпеть, пес его возьми, он — лицо, он знает неизвестное мне. А — когда свой брат, мужик, теснит меня— как я могу принять это? Где между нами разница? Он — рублями считает, я — копейками, только и всего!

Лицо Мигуна болезненно дергается, прыгает бровь, быстро шевелятся пальцы рук, разбирая и подтачивая напильником крючки снасти, тихо звучит сердечный голос:

— Считаюсь я вором, верно — грешен! Так ведь и все грабежом живут, все друг дружку сосут да грызут. Да. Бог нас — не любит, а чёрт — балу́ет!

Черная река ползет мимо нас, черные тучи двигаются над нею, лугового берега не видно во тьме. Осторожно шаркают волны о песок берега и замывают ноги мои, точно увлекая меня за собою в безбрежную, куда-то плывущую тьму.

— Жить-то надо? — вздыхая, спрашивает Мигун.

Вверху, на горе, уныло воет собака. Как сквозь сон, я думаю:

«А зачем надо жить таким и так, как ты?»

Очень тихо на реке, очень черно и жутко. И нет конца этой теплой тьме.

— Убьют Хохла. И тебя, гляди, убьют,— бормочет Мигун, потом неожиданно и тихо запевает песню:

Меня-а мамонька любила-а,—
Говорила:
— Эх-ма, Яша, эх ты, милая душа,
Живи тихо-о...

Он закрывает глаза, голос его звучит сильнее и печальней, пальцы, разбирая бечевку снасти, шевелятся медленнее.

Не послушал я родимой,
Эх,— не послушал...

У меня странное ощущение: как будто земля, подмытая тяжелым движением темной жидкой массы, опрокидывается в нее, а я — съезжаю, соскальзываю с земли во тьму, где навсегда утонуло солнце.

Кончив петь так же неожиданно, как начал, Мигун молча стаскивает челнок в воду, садится в него и почти бесшумно исчезает в черноте. Смотрю вслед ему и думаю:

«Зачем живут такие люди?»

В друзьях у меня и Баринов, безалаберный человек, хвастун, лентяй, сплетник и непоседливый бродяга. Он жил в Москве и говорит о ней, отплевываясь:

— Адов город! Бестолочь. Церквей — четырнадцать тысяч и шесть штук, а народ — сплошь жулик! И все— в чесотке, как лошади, ей-богу! Купцы, военные, мещане — все, как есть, ходят и чешутся. Действительно,— царь-пушка есть там, струмент громадный! Петр Великий сам ее отливал, чтобы по бунтарям стрелять; баба одна, дворянка, бунт подняла против него, за любовь к нему. Жил он с ней ровно семь лет, изо дня в день, потом бросил с троими ребятами. Разгневалась

она и — бунт! Так, братец ты мой, как он бабахнет из этой пушки по бунту — девять тысяч триста восемь человек сразу уложил! Даже — сам испугался: «Нет,— говорит Филарет-митрополиту,— надо ее, сволочь, заклепать от соблазну!» Заклепали...

Я говорю ему, что всё это ерунда, он — сердится:

— Гос-споди боже мой! Какой у тебя характер скверный! Мне эту историю подробно ученый человек сказывал, а ты...

Ходил он в Киев «ко святым» и рассказывал:

— Город этот — вроде нашего села, тоже на горе стоит, и — река, забыл, однако, какая. Против Волги— лужица! Город путаный, надо прямо сказать. Все улицы — кривые и в гору лезут. Народ — хохол, не такой крови, как Михайло Антонов, а — полупольской, полутатарской. Балакает,— не говорит. Нечесаный народ, грязный. Лягушек ест,— лягушки у них фунтов по десяти. Ездит на быках и даже пашет на них. Быки у них — замечательные, самый маленький — вчетверо больше нашего. Восемьдесят три пуда весом. Монахов там — пятьдесят семь тысяч и двести семьдесят три архиерея... Ну, чудак! Как же ты можешь спорить? Я — сам всё видел, своими глазами, а ты — был там? Не был. Ну, то-то же! Я, брат, точность больше всего люблю...

Он любил цифры, выучился у меня складывать и умножать их, но терпеть не мог деления. Увлеченно умножал многозначные числа, храбро ошибался при этом и, написав длинную линию цифр палкой на песке, смотрел на них пораженно, вытаращив детские глаза, восклицая:

— Такую штуку никто и выговорить не может!

Он — человек нескладный, растрепанный, оборванный, а лицо у него почти красивое, в курчавой, веселой бородке, голубые глаза улыбаются детской улыбкой. В нем и Кукушкине есть что-то общее, и, должно быть, поэтому они сторонятся друг от друга.

Баринов дважды ездил на Каспий ловить рыбу и — бредит:

— Море, братец мой, ни на что не похоже. Ты перед ним — мошка! Глядишь ты на него, и — нет тебя!

И жизнь там сладкая. Туда сбегается всякий народ, даже архимандрит один был: ничего — работал! Кухарка тоже была одна, жила она у прокурора в любовницах— ну, чего бы еще надо? Однако — не стерпела: «Очень ты мне, прокурор, любезен, а все-таки — прощай!» Потому — кто хоть раз видел море, его снова туда тянет. Простор там. Как в небе — никакой толкотни! Я тоже уйду туда навеки. Не люблю я народ, вот что! Мне бы отшельником жить, в пустынях, ну — не знаю я пустынь порядочных...

Он болтался в селе, как бездомная собака, его презирали, но слушали рассказы его с таким же удовольствием, как песни Мигуна.

— Ловко врет! Занятно!

Его фантазии иногда смущали разум даже таких положительных людей, как Панков,— однажды этот недоверчивый мужик сказал Хохлу:

— Баринов доказывает, что про Грозного не всё в книгах написано, многое скрыто. Он будто оборотень был, Грозный, орлом оборачивался,— с его времени орлов на деньгах и чеканят — в честь ему.

Я замечал — который раз? — что всё необычное, фантастическое, явно, а иногда и плохо выдуманное, нравится людям гораздо больше, чем серьезные рассказы о правде жизни.

Но когда я говорил об этом Хохлу, он, усмехаясь, говорил:

— Это пройдет! Лишь бы люди научились думать, а до правды они додумаются. И чудаков этих — Баринова, Кукушкина — вам надо понять. Это, знаете,— художники, сочинители. Таким же, наверное, чудаком Христос был. А — согласитесь, что ведь он кое-что не плохо выдумал...

Удивляло меня, что все эти люди мало и неохотно говорят о боге,— только старик Суслов часто и с убеждением замечал:

— Всё — от бога!

И всегда я слышал в этих словах что-то безнадежное. Очень хорошо жилось с этими людьми, и многому научился я от них в ночи бесед. Мне казалось, что каждый вопрос, поставленный Ромасем, пустил, как мощное де-

рево, корни свои в плоть жизни, а там, в недрах ее, эти корни сплелись с корнями другого, такого же векового дерева, и на каждой ветви их ярко цветут мысли, пышно распускаются листья звучных слов. Я чувствовал свой рост, насосавшись возбуждающего меда книг, увереннее говорил, и уже не раз Хохол, усмехаясь, похваливал меня:

— Хорошо действуете, Максимыч!

Как я был благодарен ему за эти слова!

Панков иногда приводил жену свою, маленькую женщину с кротким лицом и умным взглядом синих глаз, одетую «по-городскому». Она тихонько садилась в угол, скромно поджав губы, но через некоторое время рот ее удивленно открывался и глаза расширялись пугливо. А иногда она, слыша меткое словцо, смущенно смеялась, закрывая лицо руками, Панков же, подмигнув Ромасю, говорил:

— Понимает!

К Хохлу приезжали осторожные люди, он уходил с ними на чердак ко мне и часами сидел там.

Туда Аксинья подавала им есть и пить, там они спали, невидимые никому, кроме меня и кухарки, пособачьи преданной Ромасю, почти молившейся на него. По ночам Изот и Панков отвозили этих гостей в лодке на мимо идущий пароход или на пристань в Лобышки. Я смотрел с горы, как на черной — или посеребренной луною — реке мелькает чечевица лодки, летает над нею огонек фонаря, привлекая внимание капитана парохода,— смотрел и чувствовал себя участником великого, тайного дела.

Приезжала из города Мария Деренкова, но я уже не нашел в ее взгляде того, что смущало меня,— глаза ее показались мне глазами девушки, которая счастлива сознанием своей миловидности и рада, что за нею ухаживает большой бородатый человек. Он говорил с нею так же спокойно и немножко насмешливо, как со всеми, только бороду поглаживал чаще, да глаза его сияли теплее. А ее тонкий голосок звучал весело, она была одета в голубое платье, голубая лента на светлых волосах. Детские руки ее были странно беспокойны — как будто искали, за что бы схватиться? Она почти непрерывно на-

певала что-то, не открывая рта, и обмахивала платочком розоватое, тающее лицо. Было в ней что-то волновавшее меня по-новому, неприязненно и сердито. Я старался возможно меньше видеть ее.

В средине июля пропал Изот. Заговорили, что он утонул, и дня через два подтвердилось: верстах в семи ниже села к луговому берегу прибило его лодку с проломленным дном и разбитым бортом. Несчастие объяснили тем, что Изот, вероятно, заснул на реке и лодку его снесло на пыжи трех барж, стоявших на якорях, верстах в пяти ниже села.

Ромась был в Казани, когда случилось это. Вечером ко мне в лавку пришел Кукушкин, уныло сел на мешки, помолчал, глядя на ноги себе, потом, закуривая, спросил:

— Когда Хохол воротится?

— Не знаю.

Он начал крепко растирать ладонью битое свое лицо, тихонько ругаясь матерными словами, рыча, как подавившийся костью.

— Что ты?

Он взглянул на меня, кусая губы. Глаза его покраснели, челюсть дрожала. Видя, что он не может говорить, я тревожно ждал чего-то печального. Наконец, выглянув на улицу, он с трудом выговорил, заикаясь:

— Ездил я с Мигуном. Лодку смотрели Изотову. Топором дно-то прорублено — понял? Значит — убит Изотушка! Не иначе...

Встряхивая головою, он стал нанизывать матерные слова одно на другое, всхлипывал сухим горячим звуком, а потом, замолчав, начал креститься. Нестерпимо было видеть, как этот мужик хочет заплакать и — не может, не умеет, дрожит весь, задыхаясь в злобе и печали. Вскочил и ушел, встряхивая головою.

На другой день вечером мальчишки, купаясь, увидали Изота под разбитой баржею, обсохшей на берегу немного выше села. Половина днища баржи была на камнях берега, половина — в воде, и под нею, у кормы, зацепившись за изломанные полости руля, распласталось, вниз лицом, длинное тело Изота с разбитым, пустым черепом,— вода вымыла мозг из него. Рыбака ударили сзади, затылок его был точно стесан топором.

Течение колебало Изота, забрасывая ноги его к берегу, двигая руками рыбака, казалось, что он напрягает силы свои, пытаясь выкарабкаться на берег.

Угрюмо, сосредоточенно на берегу стояло десятка два мужиков-богачей, бедняки еще не воротились с поля. Суетился, размахивая посошком, вороватый, трусливый староста, шмыгал носом и отирал его рукавом розовой рубахи. Широко расставив ноги, выпятив живот, стоял кряжистый лавочник Кузьмин, глядя — по очереди — на меня и Кукушкина. Он грозно нахмурил брови, но его бесцветные глаза слезились и рябое лицо показалось мне жалким.

— Ой, озорство! — причитал староста, семеня кривыми ногами.— Ох, мужики, нехорошо!

Дородная молодуха, сноха его, сидя на камне, тупо смотрела в воду и крестилась дрожащей рукой, губы ее шевелились, и нижняя, толстая, красная, как-то неприятно, точно у собаки, отвисала, обнажая желтые зубы овцы. С горы цветными комьями катились девки, ребятишки, поспешно шагали пыльные мужики. Толпа осторожно и негромко гудела:

— Занозистый был мужик.

— Чем это?

— Это вон Кукушкин занозист...

— Зря извели человека...

— Изот — смирно жил...

— Смирно-о? — завыл Кукушкин, бросаясь к мужикам.— Так за что же вы его убили, а? Сволочь! А?

Вдруг истерически захохотала какая-то баба, и хохот кликуши точно плетью ударил толпу, мужики заорали, налезая друг на друга, ругаясь, рыча, а Кукушкин, подскочив к лавочнику, с размаха ударил его ладонью по шероховатой щеке:

— На, животный!

Размахивая кулаками, он тотчас же выскочил из свалки и почти весело крикнул мне:

— Уходи, драться будут!

Его уже ударили, он плевал кровью из разбитой губы, но лицо его сияло удовольствием...

— Видал, как я Кузьмина шарахнул?

К нам подбежал Баринов, пугливо оглядываясь на

толпу у барки, она сбилась тесной кучей, из нее вырывался тонкий голос старосты:

— Нет, ты докажи — кому я мирволю? Ты — докажи!

— Уходить надо отсюда мне,— ворчал Баринов, поднимаясь в гору. Вечер был зноен, тягостная духота мешала дышать. Багровое солнце опускалось в плотные синеватые тучи, красные отблески сверкали на листве кустов; где-то ворчал гром.

Предо мною шевелилось тело Изота, и на разбитом черепе волоса, выпрямленные течением, как будто встали дыбом. Я вспоминал его глуховатый голос, хорошие слова:

«В каждом человеке детское есть,— на него и надо упирать, на детское это! Возьми Хохла: он будто железный, а душа в нем — детская!»

Кукушкин, шагая рядом со мною, говорил сердито:

— Всех нас вот эдак... Господи, глупость какая!

Хохол приехал дня через два, поздно ночью, видимо, очень довольный чем-то, необычно ласковый. Когда я впустил его в избу, он хлопнул меня по плечу.

— Мало спите, Максимыч!

— Изота убили.

— Что-о?

Скулы у него вздулись желваками и борода задрожала, точно струясь, стекая на грудь. Не снимая фуражку, он остановился среди комнаты, прищурив глаза, мотая головой.

— Так. Неизвестно — кто? Ну да...

Медленно прошел к окну и сел там, вытянув ноги.

— Я же говорил ему... Начальство было?

— Вчера. Становой.

— Ну, что же? — спросил он и сам себе ответил: — Конечно — ничего!

Я сказал ему, что становой, как всегда, остановился у Кузьмина и велел посадить в холодную Кукушкина за пощечину лавочнику.

— Так. Ну, что же тут скажешь?

Я ушел в кухню кипятить самовар.

За чаем Ромась говорил:

— Жалко этот народ,— лучших своих убивает он!

Можно думать — боится их. «Не ко двору» они ему, как здесь говорят. Когда шел я этапом в Сибирь эту,— каторжанин один рассказал мне: занимался он воровством, была у него целая шайка, пятеро. И вот один начал говорить: «Бросимте, братцы, воровство, всё равно— толку нет, живем плохо!» И за это они его удушили, когда он пьяный спал. Рассказчик очень хвалил мне убитого: «Троих, говорит, прикончил я после того — не жалко, а товарища до сего дня жалею, хороший был товарищ, умный, веселый, чистая душа».— «Что же вы убили его, спрашиваю, боялись — выдаст?» Даже обиделся: «Нет, говорит, он бы ни за какие деньги не выдал, ни за что! А — так как-то, неладно стало дружить с ним, все мы — грешны, а он будто праведник. Нехорошо».

Хохол встал и начал шагать по комнате, заложив руки на спину, держа в зубах трубку, белый весь, в длинной татарской рубахе до пят. Крепко топая босыми подошвами, он говорил тихо и задумчиво:

— Много раз натыкался я на эту боязнь праведника, на изгнание из жизни хорошего человека. Два отношения к таким людям: либо их всячески уничтожают, сначала затравив хорошенько, или — как собаки — смотрят им в глаза, ползают пред ними на брюхе. Это — реже. А учиться жить у них, подражать им — не могут, не умеют. Может быть — не хотят?

Взяв стакан остывшего чая, он сказал:

— Могут и не хотеть! Подумайте,— люди с великим трудом наладили для себя какую-то жизнь, привыкли к ней, а кто-то один — бунтует: не так живете! Не так? Да мы же лучшие силы наши вложили в эту жизнь, дьявол тебя возьми! И — бац его, учителя, праведника. Не мешай! А всё же таки живая правда с теми, которые говорят: не так живете! С ними правда. И это они двигают жизнь к лучшему.

Махнув рукою на полку книг, он добавил:

— Особенно — эти! Эх, если б я мог написать книгу! Но — не гожусь на это,— мысли у меня тяжелые, нескладные.

Он сел за стол, облокотился и, сжав голову руками, сказал:

— Как жалко Изота...

И долго молчал.

— Ну, давайте ляжем спать...

Я ушел к себе, на чердак, сел у окна. Над полями вспыхивали зарницы, обнимая половину небес; казалось, что луна испуганно вздрагивает, когда по небу разольется прозрачный красноватый свет. Надрывно лаяли и выли собаки, и, если б не этот вой, можно было бы вообразить себя живущим на необитаемом острове. Рокотал отдаленный гром, в окно вливался тяжелый поток душного тепла.

Предо мною лежало тело Изота, на берегу, под кустами ивняка. Синее лицо его было обращено к небу, а остеклевшие глаза строго смотрели внутрь себя. Золотистая борода слиплась острыми комьями, в ней прятался изумленно открытый рот.

«Главное, Максимыч, доброта, ласка! Я Пасху люблю за то, что она — самый ласковый праздник!»

К синим его ногам, чисто вымытым Волгой, прилипли синие штаны, высохнув на знойном солнце. Мухи гудели над лицом рыбака, от его тела исходил одуряющий, тошнотворный запах.

Тяжелые шаги на лестнице; согнувшись в двери, вошел Ромась и сел на мою койку, собрав бороду в горсть.

— А я, знаете, женюсь! Да.

— Трудно будет здесь женщине...

Он пристально посмотрел на меня, как будто ожидая: что еще скажу я? Но я не находил, что сказать. Отблески зарниц вторгались в комнату, заливая ее призрачным светом.

— Женюсь на Маше Деренковой...

Я невольно улыбнулся: до этой минуты мне не приходило в голову, что эту девушку можно назвать — Маша. Забавно. Не помню, чтоб отец или братья называли ее так — Маша.

— Вы что смеетесь?

— Так.

— Думаете — стар я для нее?

— О нет!

— Она сказала мне, что вы были влюблены в нее.

— Кажется — да.

— А теперь? Прошло?

— Да, я думаю.

Он выпустил бороду из пальцев, тихо говоря:

— В ваши годы это часто кажется, а в мои — это уж не кажется, но просто охватывает всего, и ни о чем нельзя больше думать, нет сил!

И, оскалив крепкие зубы усмешкой, он продолжал:

— Антоний проиграл цезарю Октавиану битву при Акциуме потому, что, бросив свой флот и командование, побежал на своем корабле вслед за Клеопатрой, когда она испугалась и отплыла из боя,— вот что бывает!

Встал Ромась, выпрямился и повторил, как поступающий против своей воли:

— Так вот как — женюсь!

— Скоро?

— Осенью. Когда кончим с яблоками.

Он ушел, наклонив голову в дверп ниже, чем это было необходимо, а я лег спать, думая, что, пожалуй, лучше будет, если я осенью уйду отсюда. Зачем он сказал про Антония? Не понравилось это мне.

Уже наступала пора снимать скороспелые сорта яблок. Урожай был обилен, ветви яблонь гнулись до земли под тяжестью плодов. Острый запах окутал сады, там гомонили дети, собирая червобоину и сбитые ветром желтые и розовые яблоки.

В первых числах августа Ромась приплыл из Казани с дощаником товара и другим, груженным коробами. Было утро, часов восемь буднего дня. Хохол только что переоделся, вымылся и, собираясь пить чай, весело говорил:

— А хорошо плыть ночью по реке...

И вдруг, потянув носом, спросил озабоченно:

— Как будто — гарью пахнет?

В ту же минуту на дворе раздался вопль Аксиньи:

— Горим!

Мы бросились на двор,— горела стена сарая со стороны огорода, в сарае мы держали керосин, деготь, масло. Несколько секунд мы оторопело смотрели, как деловито желтые языки огня, обесцвеченные ярким солнцем, лижут стену, загибаются на крышу. Аксинья прита-

щила ведро воды, Хохол выплеснул его на цветущую стену, бросил ведро и сказал:

— К чёрту! Выкатывайте бочки, Максимыч! Аксинья — в лавку!

Я быстро выкатил на двор и на улицу бочку дегтя и взялся за бочку керосина, но когда я повернул ее,— оказалось, что втулка бочки открыта, и керосин потек на землю. Пока я искал втулку, огонь — не ждал, сквозь дощатые сени сарая просунулись острые его клинья, потрескивала крыша, и что-то насмешливо пело. Выкатив неполную бочку, я увидал, что по улице отовсюду с воем и визгом бегут бабы, дети. Хохол и Аксинья выносят из лавки товар, спуская его в овраг, а среди улицы стоит черная седая старуха и, грозя кулаком, кричит пронзительно:

— А-а-а, дьяволы!..

Снова вбежав в сарай, я нашел его полным густейшего дыма, в дыму гудело, трещало, с крыши свешивались, извиваясь, красные ленты, а стена уже превратилась в раскаленную решетку. Дым душил меня и ослеплял, у меня едва хватило сил подкатить бочку к двери сарая, в дверях она застряла и дальше не шла, а с крыши на меня сыпались искры, жаля кожу. Я закричал о помощи, прибежал Хохол, схватил меня за руку и вытолкнул на двор.

— Бегите прочь! Сейчас взорвет...

Он бросился в сени, а я за ним и — на чердак, там у меня лежало много книг. Вышвырнув их в окно, я захотел отправить вслед за ними ящик шапок, окно было узко для него, тогда я начал выбивать косяки полупудовой гирей, но — глухо бухнуло, на крышу сильно плеснуло, я понял, что это взорвалась бочка керосина, крыша надо мною запылала, затрещала, мимо окна лилась, заглядывая в него, рыжая струя огня, и мне стало нестерпимо жарко. Бросился к лестнице,— густые облака дыма поднимались навстречу мне, по ступенькам вползали багровые змеи, а внизу, в сенях, так трещало, точно чьи-то железные зубы грызли дерево. Я — растерялся. Ослепленный дымом, задыхаясь, я стоял неподвижно какие-то бесконечные секунды. В слуховое окно над лестницей заглянула рыжебородая, желтая

рожа, судорожно искривилась, исчезла, и тотчас же крышу пронзили кровавые копья пламени.

Помню, мне казалось, что волосы на голове моей трещат, и, кроме этого, я не слышал иных звуков. Понимал, что — погиб, отяжелели ноги, и было больно глазам, хотя я закрыл их руками.

Мудрый инстинкт жизни подсказал мне единственный путь спасения — я схватил в охапку мой тюфяк, подушку, связку мочала, окутал голову овчинным тулупом Ромася и выпрыгнул в окно.

Очнулся я на краю оврага, предо мною сидел на корточках Ромась и кричал:

— Что-о?

Я встал на ноги, очумело глядя, как таяла наша изба, вся в красных стружках, черную землю пред нею лизали алые, собачьи языки. Окна дышали черным дымом, на крыше росли, качаясь, желтые цветы.

— Ну, что? — кричал Хохол. Его лицо, облитое потом, выпачканное сажей, плакало грязными слезами, глаза испуганно мигали, в мокрой бороде запуталось мочало. Меня облила освежающая волна радости — такое огромное, мощное чувство!— потом ожгла боль в левой ноге, я лег и сказал Хохлу:

— Ногу вывихнул.

Ощупав ногу, он вдруг дернул ее — меня хлестнуло острой болью, и через несколько минут, пьяный от радости, прихрамывая, я сносил к нашей бане спасенные вещи, а Ромась, с трубкой в зубах, весело говорил:

— Был уверен, что сгорите вы, когда взорвало бочку и керосин хлынул на крышу. Огонь столбом поднялся, очень высоко, а потом в небе вырос эдакий гриб и вся изба сразу окунулась в огонь. Ну, думаю, пропал Максимыч!

Он был уже спокоен, как всегда, аккуратно укладывал вещи в кучу и говорил чумазой, растрепанной Аксинье:

— Сидите тут, стерегите, чтоб не воровали, а я пойду гасить...

В дыму под оврагом летали белые куски бумаги.

— Эх, — сказал Ромась, — жалко книг! Родные книжки были...

Горело уже четыре избы. День был тихий, огонь не торопился, растекаясь направо и налево, гибкие крючья его цеплялись за плетни и крыши как бы неохотно. Раскаленный гребень чесал солому крыш, кривые огненные пальцы перебирали плетни, играя на них, как на гуслях, в дымном воздухе разносилось злорадно ноющее, жаркое пение пламени и тихий, почти нежно звучавший треск тающего дерева. Из облака дыма падали на улицу и во дворы золотые «галки», бестолково суетились мужики и бабы, заботясь каждый о своем, и непрерывно звучал воющий крик:

— Воды-ы!

Вода была далеко, под горой, в Волге. Ромась быстро сбил мужиков в кучу, хватая их за плечи, толкая, потом разделил на две группы и приказал ломать плетни и службы по обе стороны пожарища. Его покорно слушались, и началась более разумная борьба с уверенным стремлением огня пожрать весь «порядок», всю улицу. Но работали все-таки боязливо и как-то безнадежно, точно делая чужое дело.

Я был настроен радостно, чувствовал себя сильным, как никогда. В конце улицы я заметил кучку богатеев со старостой и Кузьминым во главе, они стояли, ничего не делая, как зрители, кричали, размахивая руками и палками. С поля, верхами, скакали мужики, взмахивая локтями до ушей, вопили бабы встречу им, бегали мальчишки.

Загорались службы еще одного двора, нужно было как можно скорее разобрать стену хлева, она была сплетена из толстых сучьев и уже украшена алыми лентами пламени. Мужики начали подрубать колья плетня, на них посыпались искры, угли, и они отскочили прочь, затирая ладонями тлеющие рубахи.

— Не трусь! — кричал Хохол.

Это не помогло. Тогда он сорвал шапку с кого-то, нахлобучил ее на мою голову:

— Рубите с того конца, а я — здесь!

Я подрубил один, два кола,— стена закачалась, тогда я влез на нее, ухватился за верх, а Хохол протянул меня за ноги на себя, и вся полоса плетня упала,

покрыв меня почти до головы. Мужики дружно выволокли плетень на улицу.

— Обожглись? — спросил Ромась.

Его заботливость увеличивала мои силы и ловкость. Хотелось отличиться пред этим, дорогим для меня, человеком, и я неистовствовал, лишь бы заслужить его похвалу. А в туче дыма всё еще летали, точно голуби, страницы наших книг.

С правой стороны удалось прервать распространение пожара, а влево он распространялся всё шире, захватывая уже десятый двор. Оставив часть мужиков следить за хитростями красных змей, Ромась погнал большинство работников в левую; пробегая мимо богатеев, я услыхал чье-то злое восклицание:

— Поджог!

А лавочник сказал:

— В бане у него поглядеть надо!

Эти слова неприятно засели мне в память.

Известно, что возбуждение, радостное — особенно, увеличивает силы; я был возбужден, работал самозабвенно и наконец «выбился из сил». Помню, что сидел на земле, прислоняясь спиною к чему-то горячему. Ромась поливал меня водою из ведра, а мужики, окружив нас, почтительно бормотали:

— Силенка у робенка!

— Этот — не выдаст...

Я прижался головою к ноге Ромася и постыднейше заплакал, а он гладил меня по мокрой голове, говоря:

— Отдохните! Довольно.

Кукушкин и Баринов, оба закоптевшие, как черти, повели меня в овраг, утешая:

— Ничего, брат! Кончилось.

— Испугался?

Я не успел еще отлежаться и прийти в себя, когда увидал, что в овраг, к нашей бане, спускается человек десять «богачей», впереди их — староста, а сзади его двое сотских ведут под руки Ромася. Он — без шапки, рукав мокрой рубахи оторван, в зубах стиснута трубка, лицо его сурово нахмурено и страшно. Солдат Костин, размахивая палкой, неистово орет:

— В огонь еретицкую душу!

— Отпирай баню...

— Ломайте замок — ключ потерян,— громко сказал Ромась.

Я вскочил на ноги, схватил с земли кол и встал рядом с ним. Сотские отодвинулись, а староста визгливо, испуганно сказал:

— Православные,— ломать замки не позволено!

Указывая на меня, Кузьмин кричал:

— Вот этот еще... Кто таков?

— Спокойно, Максимыч,— говорил Ромась.— Они думают, что я спрятал товар в бане и сам поджег лавку.

— Оба вы!

— Ломай!

— Православные...

— Отвечаем!

— Наш ответ...

Ромась шепнул:

— Встаньте спиной к моей спине! Чтобы сзади не ударили...

Замок бани сломали, несколько человек сразу втиснулось в дверь и почти тотчас же вылезли оттуда, а я, тем временем, сунул кол в руку Ромася и поднял с земли другой.

— Ничего нет...

— Ничего?

— Ах, дьяволы!

Кто-то робко сказал:

— Напрасно, мужики...

И в ответ несколько голосов буйно, как пьяные:

— Чего — напрасно?

— В огонь!

— Смутьяны...

— Артели затевают!

— Воры! И компания у них — воры!

— Цыц! — громко крикнул Ромась.— Ну,— видели вы, что в бане у меня товар не спрятан,— чего еще надо вам? Всё сгорело, осталось — вот: видите? Какая же польза была мне поджигать свое добро?

— Застраховано!

И снова десять глоток яростно заорали:

— Чего глядеть на них?

— Будет! Натерпелись...

У меня ноги тряслись и потемнело в глазах. Сквозь красноватый туман я видел свирепые рожи, волосатые дыры ртов на них и едва сдерживал злое желание бить этих людей. А они орали, прыгая вокруг нас.

— Ага-а, колья взяли!

— С кольями?!

— Оторвут они бороду мне,— говорил Хохол, и я чувствовал, что он усмехается.— И вам попадет, Максимыч,— эх! Но — спокойно — спокойно...

— Глядите, у молодого топор!

У меня за поясом штанов действительно торчал плотничный топор, я забыл о нем.

— Как будто — трусят,— соображал Ромась.— Однако вы топором не действуйте, если что...

Незнакомый, маленький и хромой мужичонко, смешно приплясывая, неистово визжал:

— Кирпичами их издаля! Бей в мою голову!

Он действительно схватил обломок кирпича, размахнулся и бросил его мне в живот, но раньше, чем я успел ответить ему, сверху, ястребом, свалился на него Кукушкин, и они, обнявшись, покатились в овраг. За Кукушкиным прибежал Панков, Баринов, кузнец, еще человек десять, и тотчас же Кузьмин солидно заговорил:

— Ты, Михайло Антонов, человек умный, тебе известно: пожар мужика с ума сводит...

— Идемте, Максимыч, на берег, в трактир,— сказал Ромась и, вынув трубку изо рта, резким движеньем сунул ее в карман штанов. Подпираясь колом, он устало полез из оврага, и когда Кузьмин, идя рядом с ним, сказал что-то, он, не взглянув на него, ответил:

— Пошел прочь, дурак!

На месте нашей избы тлела золотая груда углей, в середине ее стояла печь, из уцелевшей трубы поднимался в горячий воздух голубой дымок. Торчали докрасна раскаленные прутья койки, точно ноги паука. Обугленные вереи ворот стояли у костра черными сторожами, одна верея в красной шапке углей и в огоньках, похожих на перья петуха.

— Сгорели книги,— сказал Хохол, вздохнув.— Это досадно!

Мальчишки загоняли палками в грязь улицы большие головни, точно поросят, они шипели и гасли, наполняя воздух едким беловатым дымом. Человек, лет пяти от роду, беловолосый, голубоглазый, сидя в теплой черной луже, бил палкой по измятому ведру, сосредоточенно наслаждаясь звуками ударов по железу. Мрачно шагали погорельцы, стаскивая в кучи уцелевшую домашнюю утварь. Плакали и ругались бабы, ссорясь из-за обгоревших кусков дерева. В садах за пожарищем недвижимо стояли деревья, листва многих порыжела от жары, и обилие румяных яблок стало виднее.

Мы сошли к реке, выкупались и потом молча пили чай в трактире на берегу.

— А с яблоками мироеды проиграли дело,— сказал Ромась.

Пришел Панков, задумчивый и более мягкий, чем всегда.

— Что, брат? — спросил Хохол.

Панков пожал плечами:

— У меня изба застрахована была.

Помолчали, странно, как незнакомые, присматриваясь друг к другу щупающими глазами.

— Что теперь будешь делать, Михаил Антоныч?

— Подумаю.

— Уехать надо тебе отсюда.

— Посмотрю.

— У меня план есть,— сказал Панков,— пойдем на волю, поговорим.

Пошли. В дверях Панков обернулся и сказал мне:

— А — не робок ты! Тебе здесь — можно жить, тебя бояться будут...

Я тоже вышел на берег, лег под кустами, глядя на реку.

Жарко, хотя солнце уже опускалось к западу. Широким свитком развернулось предо мною всё пережитое в этом селе — как будто красками написано на полосе реки. Грустно было мне. Но скоро одолела усталость, и я крепко заснул.

— Эй,— слышал я сквозь сон, чувствуя, что меня трясут и тащат куда-то.— Помер ты, что ли? Очнись!

За рекой над лугами светилась багровая луна, боль-

шая, точно колесо. Надо мною наклонился Баринов, раскачивая меня.

— Иди, Хохол тебя ищет, беспокоится!

Идя сзади меня, он ворчал:

— Тебе нельзя спать где попало! Пройдет по горе человек, оступится — спустит на тебя камень. А то и нарочно спустит. У нас — не шутят. Народ, братец ты мой, зло помнит. Окроме зла, ему и помнить нечего.

В кустах на берегу кто-то тихонько возился,— шевелились ветви.

— Нашел? — спросил звучный голос Мигуна.

— Веду,— ответил Баринов.

И, отойдя шагов десять, сказал, вздохнув:

— Рыбу воровать собирается. Тоже и Мигуну — не легка жизнь.

Ромась встретил меня сердитым упреком:

— Вы что же гуляете? Хотите, чтоб вздули вас?

А когда мы остались одни, он сказал хмуро и тихо:

— Панков предлагает вам остаться у него. Он хочет лавку открыть. Я вам не советую. А вот что: я продал ему всё, что осталось, уеду в Вятку и через некоторое время выпишу вас к себе. Идет?

— Подумаю.

— Думайте.

Он лег на пол, повозился немного и замолчал. Сидя у окна, я смотрел на Волгу. Отражения луны напоминали мне огни пожара. Под луговым берегом тяжко шлепал плицами колес буксирный пароход, три мачтовых огня плыли во тьме, касаясь звезд и порою закрывая их.

— Сердитесь на мужиков? — сонно спросил Ромась. — Не надо. Они только глупы. Злоба — это глупость.

Слова его не утешали, не могли смягчить мое ожесточение и остроту обиды моей. Я видел пред собою звериные, волосатые пасти, извергавшие злой визг:

«Кирпичами издаля!»

В это время я еще не умел забывать то, что не нужно мне. Да, я видел, что в каждом из этих людей, взятом отдельно, не много злобы, а часто и совсем нет ее. Это, в сущности, добрые звери,— любого из них нетрудно заставить улыбнуться детской улыбкой, любой будет слушать с доверием ребенка рассказы о поисках разума и

счастья, о подвигах великодушия. Странной душе этих людей дорого всё, что возбуждает мечту о возможности легкой жизни по законам личной воли.

Но когда на сельских сходах или в трактире на берегу эти люди соберутся серой кучей, они прячут куда-то всё свое хорошее и облачаются, как попы, в ризы лжи и лицемерия; в них начинает играть собачья угодливость пред сильными, и тогда на них противно смотреть. Или— неожиданно их охватывает волчья злоба, ощетинясь, оскалив зубы, они дико воют друг на друга, готовы драться — и дерутся — из-за пустяка. В эти минуты они страшны и могут разрушить церковь, куда еще вчера вечером шли кротко и покорно, как овцы в хлев. У них есть поэты и сказочники,— никем не любимые, они живут на смех селу, без помощи, в презрении.

Не умею, не могу жить среди этих людей. И я изложил все мои горькие думы Ромасю в тот день, когда мы расставались с ним.

— Преждевременный вывод,— заметил он с упреком.

— Но — что же делать, если он сложился?

— Неверный вывод! Неосновательно.

Он долго убеждал меня хорошими словами в том, что я не прав, ошибаюсь.

— Не торопитесь осуждать! Осудить — всего проще, не увлекайтесь этим. Смотрите на всё спокойно, памятуя об одном: всё проходит, всё изменяется к лучшему. Медленно? Зато — прочно! Заглядывайте всюду, ощупывайте всё, будьте бесстрашны, но — не торопитесь осудить. До свидания, дружище!

Это свидание состоялось через пятнадцать лет в Седлеце, после того, как Ромась отбыл по делу «народоправцев» еще одну десятигодовую ссылку в Якутской области.

Меня свинцом облила тоска, когда он уехал из Красновидова, я заметался по селу, точно кутенок, потерявший хозяина. Я ходил с Бариновым по деревням, работали у богатых мужиков, молотили, рыли картофель, чистили сады. Жил я у него в бане.

— Лексей Максимыч, воевода без народа,—как же, а? — спросил он меня дождливой ночью. — Едем, что ли, на море завтра? Ей-богу! Чего тут? Не любят здесь

нашего брата, эдаких. Еще — того, как-нибудь, под пьяную руку...

Не впервые говорил это Баринов. Он тоже почему-то затосковал, его обезьяньи руки бессильно повисли, он уныло оглядывался, точно заплутавшийся в лесу.

В окно бани хлестал дождь, угол ее подмывал поток воды, бурно стекая на дно оврага. Немощно вспыхивали бледные молнии последней грозы. Баринов тихо спрашивал:

— Едем, а? Завтра?

Поехали.

...Неизъяснимо хорошо плыть по Волге осенней ночью, сидя на корме баржи, у руля, которым водит мохнатое чудовище с огромной головою,— водит, топая по палубе тяжелыми ногами, и густо вздыхает:

— О-уп!.. О-рро-у...

За кормой шёлково струится, тихо плещет вода, смолисто-густая, безбрежная. Над рекою клубятся черные тучи осени. Всё вокруг — только медленное движение тьмы, она стерла берега, кажется, что вся земля растаяла в ней, превращена в дымное и жидкое, непрерывно, бесконечно, всею массой текущее куда-то вниз, в пустынное, немое пространство, где нет ни солнца, ни луны, ни звезд.

Впереди, в темноте сырой, тяжело возится и дышит невидимый буксирный пароход, как бы сопротивляясь упругой силе, влекущей его. Три огонька — два над водою и один высоко над ними — провожают его; ближе ко мне под тучами плывут, точно золотые караси, еще четыре, один из них — огонь фонаря на мачте нашей баржи.

Я чувствую себя заключенным внутри холодного, масляного пузыря, он тихо скользит по наклонной плоскости, а я влеплен в него, как мошка. Мне кажется, что движение постепенно замирает и близок момент, когда оно совсем остановится,— пароход перестанет ворчать и бить плицами колес по густой воде, все звуки облетят, как листья с дерева, сотрутся, как надписи мелом, и владычно обнимет меня неподвижность, тишина.

И большой человек в рваном овчинном тулупе, в лохматой бараньей шапке, шагающий у руля, остановится недвижимо, заколдованный навеки, не будет рычать:

— Орр-оп! О-урр...

Я спросил его:

— Как тебя звать?

— А зачем тебе знать? — глухо ответил он.

На закате солнца, отплывая из Казани, я заметил, что у этого человека, неуклюжего, как медведь, лицо волосатое, безглазое. Становясь к рулю, он вылил в деревянный ковш бутылку водки, выпил ее в два приема, как воду, и закусил яблоком. А когда буксир дернул баржу, человек, вцепившись в рычаг руля, взглянул на красный круг солнца и, тряхнув башкой, сказал строго:

— Благослови осподь!

Пароход ведет из Нижнего, с ярмарки, в Астрахань четыре баржи, груженные штучным железом, бочками сахара и какими-то тяжелыми ящиками,— всё это для Персии. Баринов постучал по ящикам ногою, понюхал, подумал и сказал:

— Не иначе — ружья, с Ижевского завода...

Но рулевой ткнул его кулаком в живот и спросил:

— Тебе какое дело?

— В мыслях моих...

— А — в морду — хочешь?

За проезд на пассажирском пароходе нам нечем платить, мы взяты на баржу «из милости», и, хотя мы «держим вахту», как матросы, все на барже смотрят на нас, точно на нищих.

— А ты говоришь — народ,— упрекает меня Баринов.— Тут — просто: кто на ком сел верхом...

Тьма так плотна, что барж не видно, видишь только освещенные огнями фонарей острия мачт на фоне дымных туч. Тучи пахнут нефтью.

Меня раздражает угрюмое молчание рулевого. Я назначен боцманом «вахтить» на руле в помощь этому зверю. Следя за движением огней, на поворотах, он тихо говорит мне:

— Эй, берись!

Вскакиваю на ноги и ворочаю рычаг руля.

— Ладно,— ворчит он.

Я снова сажусь на палубу. Разговориться с этим человеком — не удается, он отвечает вопросами:

— А тебе что за дело?

О чем он думает? Когда проходили место, где желтые воды Камы вливаются в стальную полосу Волги, он, посмотрев на север, проворчал:

— Сволочь.

— Кто?

Не ответил.

Где-то далеко, в пропастях тьмы, воют и лают собаки. Это напоминает о каких-то остатках жизни, еще не раздавленных тьмою. Это кажется недосягаемо далеким и ненужным.

— Собаки тут плохие,— неожиданно говорит человек у руля.

— Где — тут?

— Везде. У нас собака — настоящий зверь...

— Ты — откуда?

— Вологодской.

И, точно картофель из прорванного мешка, покатились серые, тяжелые слова:

— Это — кто с тобой — дядя? Дурак он, по-моему. А у меня дядя умный. Лихой. Богач. В Симбирском пристань держит. Трактир. На берегу.

Выговорив всё это медленно и как бы с трудом, человек уставился невидимыми глазами на мачтовый фонарь парохода, следя, как он ползет в сетях тьмы золотым пауком.

— Берись, ну... Грамотный? Не знаешь — кто законы пишет?

Не дождавшись ответа, он продолжает:

— Разно говорят: одни — царь, другие — митрополит, Сенат. Кабы я наверно знал — кто, сходил бы к нему. Сказал бы: ты пиши законы так, чтобы я замахнуться не мог, а не то что ударить! Закон должен быть железный. Как ключ. Заперли мне сердце, и шабаш! Тогда я — отвечаю! А так — не отвечаю! Нет.

Он бормотал для себя, всё более тихо и бессвязно, пристукивая кулаком по дереву рычага.

С парохода кричали в рупор, и глухой голос человека был так же излишен, как лай и вой собак, уже всосан-

ный жирной ночью. У бортов парохода по черной воде желтыми маслеными пятнами плывут отсветы огней и тают, бессильные осветить что-либо. А над нами точно ил течет, так вязки и густы темные сочные облака. Мы всё глубже скользим в безмолвные недра тьмы.

Человек угрюмо жаловался:

— К чему довели меня? Сердце не дышит...

Безразличие овладело мною, безразличие и холодная тоска. Захотелось спать.

Осторожно, с трудом продираясь сквозь тучи, подкрался рассвет без солнца, немощный и серый. Окрасил воду в цвет свинца, показал на берегах желтые кусты, железные, ржавчиной покрытые сосны, темные лапы их ветвей, вереницу изб деревни, фигуру мужика, точно вырубленную из камня. Над баржой пролетела чайка, свистнув кривыми крыльями.

Меня и рулевого сменили с вахты, я залез под брезент и уснул, но вскоре — так показалось мне — меня разбудил топот ног и крики. Высунув голову из-под брезента, я увидал, что трое матросов, прижав рулевого к стенке «конторки», разноголосно кричат:

— Брось, Петруха!

— Господь с тобой,— ничего!

— А ты — полно!

Скрестив руки, вцепившись пальцами в плечи себе, он стоял спокойно, прижимая ногою к палубе какой-то узел, смотрел на всех по очереди и хрипло уговаривал:

— Дайте от греха уйти!

Он был бос, без шапки, в одной рубахе и портах, темная куча нечесанных волос торчала на его голове, они спускались на упрямый, выпуклый лоб, под ним видно было маленькие глаза крота, налитые кровью, они смотрели умоляюще, тревожно.

— Утонешь! — говорили ему.

— Я? Никак. Пустите, братцы! Не пустите — убью его! Как приплывем в Симбирской, так и...

— Да перестань!

— Эх, братцы...

Он медленно, широко развел руки, опустился на колени и, касаясь руками «конторки», точно распятый, повторил:

— Дайте от греха бежать!

В голосе его, странно глубоком, было что-то потрясающее, раскинутые руки, длинные, как весла, дрожали, обращены ладонями к людям. Дрожало и его медвежье лицо в косматой бороде, кротовые, слепые глаза темными шариками выкатились из орбит. Казалось, что невидимая рука вцепилась в горло ему и душит.

Мужики молча расступились пред ним, он неуклюже встал на ноги, поднял узел, сказал:

— Вот — спасибо!

Подошел к борту и с неожиданной легкостью прыгнул в реку. Я тоже бросился к борту и увидал, как Петруха, болтая головою, надел на нее — шапкой — свой узел и поплыл, наискось течения, к песчаному берегу, где, встречу ему, нагибались под ветром кусты, сбрасывая в воду желтые листья.

Мужики говорили:

— Одолел себя все-таки!

Я спросил:

— Он — сошел с ума?

— Зачем? Нет, это он — души спасенья ради...

Петруха уже выплыл на мелкое место, встал по грудь в воде и взмахнул над головою узлом.

Матросы закричали:

— Проща-ай!

Кто-то спросил:

— А как же без пачпорта он?

Рыжий кривоногий матрос рассказывал мне с удовольствием:

— У него, в Симбирске, дядя живет, злодей ему и разоритель, вот он и затеял убить дядю, да, однако, пожалел сам себя, отскочил от греха. Зверь мужик, а — добрый! Он — хороший...

А хороший мужик уже шагал по узкой полосе песка, против течения реки, и — вот он исчез в кустах.

Матросы оказались добрыми ребятами, все они были земляки мне, исконные волгари; к вечеру я чувствовал себя своим человеком среди них. Но на другой день заметил, что они смотрят на меня угрюмо, недоверчиво. Я тотчас догадался, что чёрт дернул Баринова за язык и этот фантазер что-то рассказал матросам.

— Рассказал?

Улыбаясь бабьими глазами, смущенно почесывая за ухом, он сознался:

— Рассказал немножко!

— Да — я ж тебя просил молчать?

— Ведь я и молчал, да уж больно история интересна. Хотели в карты играть, а рулевой захватил карты,— скушно! Я и того...

Из расспросов моих оказалось, что Баринов, скуки ради, сплел весьма забавную историю, в конце которой Хохол и я, как древние викинги, рубились топорами с толпой мужиков.

Бесполезно было сердиться на него,— он видел правду только вне действительности. Однажды, когда я с ним, по пути на поиски работы, сидел на краю оврага в поле, он убежденно и ласково внушал мне:

— Правду надобно выбирать по душе! Вон, за оврагом, стадо пасется, собака бегает, пастух ходит. Ну, так что? Чем мы с тобой от этого попользуемся для души? Милый, ты взгляни просто: злой человек — правда, а добрый — где? Доброго-то еще не выдумали, да-а!

В Симбирске матросы очень нелюбезно предложили нам сойти с баржи на берег.

— Вы нам люди неподходящие,— сказали они.

Свезли нас в лодке к пристаням Симбирска, и мы обсохли на берегу, имея в карманах тридцать семь копеек.

Пошли в трактир пить чай.

— Что будем делать?

Баринов уверенно сказал:

— Как — что? Надо ехать дальше.

До Самары доехали «зайцами» на пассажирском, в Самаре нанялись на баржу, через семь дней почти благополучно доплыли до берегов Каспия и там пристроились к небольшой артели рыболовов на калмыцком грязном промысле Кабанкул-бай.

СТОРОЖ

Я — ночной сторож станции Добринка; от шести часов вечера до шести утра хожу с палкой в руке вокруг пакгаузов; со степи тысячью пастей дует ветер, несутся тучи снега, в его серой массе медленно плывут туда и сюда локомотивы, тяжко вздыхая, влача за собою черные звенья вагонов, как будто кто-то, не спеша, опутывает землю бесконечной цепью и тащит ее сквозь небо, раздробленное в холодную белую пыль. Визг железа, лязг сцеплений, странный скрип, тихий вой носится вместе со снегом.

У крайнего пакгауза, в мутных вихрях снега, возятся две черные фигуры — это пришли казаки воровать муку. Видя меня, они, отскочив в сторону, прячутся за сугроб, и потом, сквозь вой и шорох вьюги, я слышу нищенски жалобные слова просьбы, обещания дать полтинник, ругань.

— Бросьте это, ребята,— говорю я.

Мне лень слушать их, не хочется говорить с ними, я знаю, что они — не бедняки, воруют не по нужде, а на продажу, для пьянства, для женщин.

Иногда они подсылают красивую жолнерку Лёску Графову; расстегнув тулупчик и кофту, она показывает сторожам груди; упругие, точно хрящ, они стоят у нее горизонтально.

— Глядите-тко — как пушки,— задорит и хвастается она.— Ну, хотите за мешок пшеничной второго сорта? Ну — третьего?

С нею деловито торгуется молодой религиозный тамбовский парень Байков и усманский татарин, хромой Ибрагим.

Она стоит перед ними, открыв грудь, снег тает на

коже у нее; встряхнув плечами, как цыганка, она ругается:

— Кацапы, ну скорее! Болотное племя, али вы найдете где эдакую сласть, как у меня, падаль пёсья!

Она презирает русских мужиков. Голос у нее грудной, сильный, красивое лицо освещено глазами кошки. Ибрагим ведет ее под крышу пакгауза, а ее товарищи, бросив на салазки мешок или куль,— уезжают.

Мне противно бесстыдство этой женщины и до тоски жалко ее прекрасное, сильное тело. Ибрагим называл Лёску собакой и плевался, вспоминая ее ласки, а Байков тихо и задумчиво говорил:

— Таких убивать надо бы...

По праздникам, нарядно одетая, в скрипучих козловых башмаках, в алом платочке на густых каштанового цвета волосах, она, приходя в город, обслуживает телом своим «интеллигенцию», относясь ко всем покупателям одинаково дерзко и презрительно.

Иногда она привязывалась ко мне, я ее прогонял с моего участка, но как-то, теплой светлой ночью, сидя на лесенке пакгауза, я задремал и, открыв глаза, увидел пред собой Лёску; она стояла, сунув руки в карманы тулупчика, нахмуря брови, статную фигуру ее внимательно освещала луна.

— Не бойсь,— не воровать пришла — гуляю.

По звездам — было уже далеко за полночь.

— Поздновато гуляешь.

— Баба — ночью живет,— ответила Лёска, садясь рядом со мной.— Ты чего же спишь? Али за сон деньги платят?

Достала из кармана горсть семян подсолнуха и, грызя их, спросила:

— Ты будто грамотей? Скажи-ка, где Оболак-город?

— Не знаю.

— Матерь божия новоявилась там, кверху ручки пишется, а младенец Христос — в подоле у ней...

— Абалацк...

— Где он?

— На Урале где-то или в Сибири.

Облизав губы, она сказала:

— Пойти, что ли, туда? Далеко оно. А пожалуй, надо идти.

— Зачем?

— Молиться, грешна больно. Всё через вас, кобелей. Покурить есть?

Закурив — предупредила:

— Казакам — не говори, гляди, что курю, у нас не любят, когда баба дымит.

Очень красиво было ее строгое лицо, нарумяненное зимним воздухом, ярко блестели темные зрачки в опаловых овалах белков.

Золотая полоска сверкнула в небе — женщина перекрестилась, говоря:

— Упокой господь душу! Вот и моя душа так же падет. Тебе когда скушнее, — в светлые ночи али в темные? Мне — в светлые.

Заплевала огонек окурка папиросы, бросила его и, зевнув, предложила:

— Давай — побалуемся?

А когда я отказался — добавила равнодушно:

— Со мной хорошо, все хвалят...

Я сказал несколько слов о ее отталкивающем бесстыдстве — ласково и мягко сказал. Не глядя на меня, она ответила спокойным ровным голосом:

— Это — от скуки потеряла я стыд. Скушно, человек...

Странно мне было слышать из уст ее слово «человек» — оно прозвучало необычно, незнакомо. А женщина, закинув голову, глядя в небо, говорила медленно:

— Я не виноватая; говорится: так сделал бог, ценят бабу с ног. Не виноватая я в этом...

Посидев молча еще минуту, две, она встала, оглянулась.

— Пойду к начальнику...

И, не спеша, ушла по нитям путей, по рельсам, высеребренным луною, а я остался, подавленный словами: «Скушно, человек...»

Мне в ту пору была непонятна «скука» людей, чья жизнь рождается и проходит на широких плоскостях,

в пустоте, ярко освещаемой то солнцем, то луною, на равнинах, где человек ясно видит свое ничтожество, где почти нет ничего, что укрепляло бы волю к жизни.

Вокруг меня мелькали люди, для которых всё, чем я жил, было чуждо, каждый из них отбрасывал свое отражение в душу мне, и в непрерывной смене этих отражений я чувствовал себя осужденным на муку понимать непонятное.

Вот предо мною буйно кружится Африкан Петровский, начальник станции, широкогрудый, длиннорукий богатырь, у него выпуклые — рачьи — темные глаза, черная бородища, он весь, как зверь, оброс шерстью, а говорит — чужим голосом, тенором, и когда сердится, то свистит носом, широко раздувая калмыцкие ноздри. Он — вор, заставляет весовщиков вскрывать вагоны с грузом портов Каспийского моря, весовщики таскают ему шёлк, сласти, он продает краденое и устраивает по ночам на квартире у себя «монашью жизнь». Он жесток, бьет по ушам и по зубам станционных сторожей, говорят — до смерти забил свою жену.

Вне службы он наряжается в алую шёлковую рубаху, бархатные шаровары, в татарские сапоги зеленого сафьяна, носит лиловую, шитую золотом тюбетейку на черной шапке курчавых волос; таков — он похож на трактирного певца, одетого в «боярский костюм».

К нему приходит помощник исправника Маслов, лысый, круглый, бритый, точно ксендз, с носом хищной птицы и лисьими глазками распутной женщины; это очень злой, хитрый, лживый человек, в городе его прозвали—Актриса; является мыловар Тихон Степахин, рыжий благообразный мужик, тяжелый, как вол, полусонный; на его заводе рабочие отравляются чем-то и заживо гниют; его несколько раз судили и штрафовали за увечья рабочих; приходит кривой дьякон Ворошилов, пьяница, грязный, засаленный человечишко, превосходный гитарист и гармонист, рябое скуластое лицо его в серых волосах, толстых, как иглы ежа; у дьякона маленькие холеные руки женщины и красивый ярко-синий глаз; дьякона так и зовут — Краденый Глаз.

Приходят бойкие девицы из села и казачки из станицы, иногда с ними — Лёска. В небольшой комнате, тесно заставленной диванами, садятся за тяжелый круглый стол, нагруженный копченой птицей, окороками, множеством всяких солений, моченными яблоками и арбузами, квашеной вилковой капустой,— среди всей этой благостыни блестит четверть водки; Петровский и друзья его почти молча долго жуют, чавкают, сосут водку из серебряной «братской» стопки,— в нее входит четверть бутылки.

Наелись. Степахин рыгает, как башкир, крестится; дьякон, нежно улыбаясь, настраивает гитару; переходят в большую комнату, где нет мебели, кроме полдюжины стульев, и начинают петь.

Поют — дивно. Петровский — тенором, Степахин — густейшим, мягким басом, у дьякона — хороший баритон, Маслов умело вторит хозяину. Женщины тоже обладают хорошими голосами, особенно выдается чистотою звука контральто казачки Кубасовой, голос Лёски криклив,— дьякон часто грозит ей пальцем. Поют благоговейно, как пели бы во храме, и все строго смотрят друг на друга, только Степахин, широко расставив ноги, опустил глаза, и лицо у него удивленное, точно он не верит, что это из его горла бесконечно льется бархатная струя звука. Песни мучительно грустные, иногда торжественно поется что-либо церковное, чаще всего «Покаяние».

Белки рачьих глаз Петровского налиты кровью, он вытягивается всем телом, как солдат в строю, и орет:

— Дьякон — плясу! Тихон — делай! Живем!

— Начали! — отзывается дьякон, взмахивая гитарой, и хитрейшим перебором струн, с ловкостью фокусника начинает играть трепака, а Степахин — пляшет. Деревянное лицо мыловара освещено мечтательной усмешкой, грузное тело его исполнено гибкой, звериной грации, он плавает по комнате легко, как сом в омуте, весь в красивых, ритмических судорогах и, бесшумно выписывая ногами затейливые фигуры, смотрит на всех взглядом счастливого человека. Пляшет он чарующе хорошо, и хотя казачка Кубасова, подвизгивая, заман-

чиво и ловко ходит вокруг него, Степахин затмевает ее невыразимой красотой ритмических движений мощного тела,— его пляска опьяняет всех.

Африкан Петровский озверел от радости, орет, свистит, взмахивает башкой, вытряхивая из глаз слезы, дьякон, перестав играть, обнимает Степахина, целует и, задыхаясь, бормочет:

— Тихон! Богослужебно... Голубчик! Всё... всё... простится!..

А Маслов кружится около них и кричит:

— Тихон! Царь! Талант! Убийца!

Эти люди выпили две четверти водки, но только теперь они хмелеют, и мне кажется, что это — опьянение от радости, от взаимных ласк и похвал. Женщины тоже охмелели, глаза их жадно горят, на щеках жаркий румянец, они обмахиваются платочками и возбуждены, как застоявшиеся лошади, которых вывели из темной конюшни на широкий двор, на свет и тепло весеннего дня. Лёска, полуоткрыв рот, дышит тяжело, смотрит на Степахина сердито, влажными глазами и, покачиваясь на стуле, шаркает по полу подошвами башмаков.

За окнами свистит и воет ветер, в трубе печи гудит, белые крылья шаркают по стеклам окон,— Степахин, отирая пестрым платком потное лицо, говорит тихо и виновато:

— Из-за плясок этих в хороших людях никакого уважения нету ко мне...

Петровский яростно обкладывает хороших людей многословной, затейливой матерщиной. Женщины фальшиво взвизгивают, желая показать, что им стыдно, а сочетания зазорных слов победно обнаруживают прелестную гибкость русского языка.

Снова играет дьякон, а Петровский пляшет, бурно, удало, с треском, с грохотом и криками, как будто разрывая и ломая что-то невидимо стесняющее его; пляшет Лёска; как безумный, неумело прыгает Маслов. Топот, свист, визг, непрерывное мелькание пестрых юбок, и, отчеканивая каблуками дробь, Петровский свирепо, мстительно орет:

— Эхма! Пропадаю-у!

Слышно, как он скрипит зубами. В этом исступленном веселье нет смеха, нет легкой, окрыленной радости, поднимающей человека над землей, это — почти религиозный восторг; он напоминает радения хлыстов, пляски дервишей в Закавказье. В этом вихре тел — сокрушительная силища, и безысходнее метание ее кажется мне близким отчаянию. Все эти люди — талантливы, каждый по-своему, жутко талантливы; они опьяняют друг друга исступленной любовью к песне, пляске, к телу женщины, к победоносной красоте движения и звука; всё, что они делают, похоже на богослужение дикарей.

Петровский снимает меня с дежурства для участия в «монашьем житье», потому что я много знаю хороших песен, неплохо умею «сказывать» их и могу, не пьянея, глотать множество неприятной мне водки.

— Пешков,— валяй!— орет он. Он орет, даже когда обнимает женщин, реветь зверем — это его потребность.

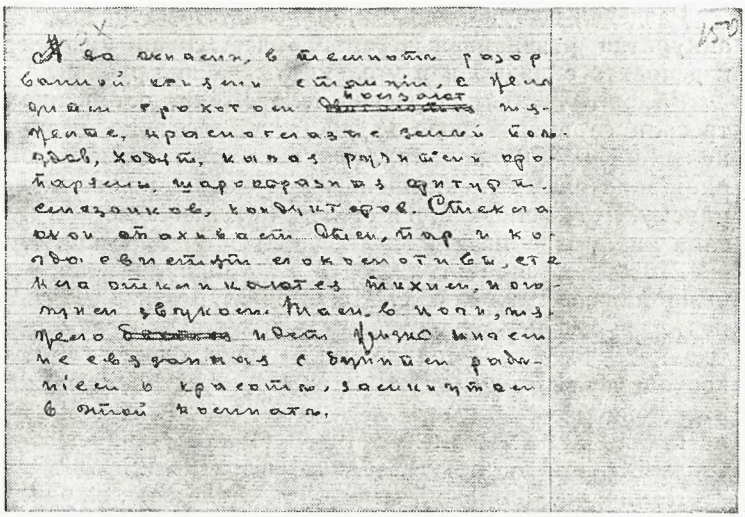
Становлюсь к стене и «валяю». Нарочито выбирая трогательные и красивые, я «сказываю» песни, стараясь обнажить красоту слова и чувства, скрытую в них. И подчиняюсь силе их неизбывной тоски, близкой моей душе, враждебно отрицаемой разумом.

— Господи! — взывает дьякон, хватаясь за голову; его маленькие нежные ладони совершенно тонут в космах полуседых волос. Степахин смотрит на меня изумленно и, кажется, с завистью, лицо его вздрагивает неприятно. Петровский так стиснул зубы, что скулы его выступили желваками. А Маслов, посадив Кубасову на колени себе, забыл о ней и глядит в пол, как больная собака.

Не понимаю, чего мне надо от этих людей, но иногда думалось, что если насытить их песнями до полноты душ,— тогда они как-то изменятся, обнаружат себя более понятными мне. Вот они, восхищаясь, обнимают, целуют меня, дьякон плачет.

— Разбойник,— говорит мне Маслов, гладя руку мою, Степахин молча целует меня.

— Пей, всё равно пропадаешь! — ревет Петровский, а Лёска, размахивая руками, говорит:



«СТОРОЖ».
Рукописная вставка в текст машинописи.

— Влюбилася я в него, при всех говорю — влюбилася, даже ноги трясутся...

А через минуту они ненасытно требуют еще чего-то.

За окнами, в темноте, разорванной огнями станции, с железным грохотом ползают тяжелые красноглазые змеи поездов, ходят, качая ручными фонарями, шарообразные фигуры смазчиков, кондукторов. Стекла окон опахивает дым, пар, и, когда свистят локомотивы, стекла откликаются тихим, ноющим звуком. Там, в ночи, тяжело идет жизнь, ничем не связанная с буйным радением о красоте, замкнутым в этой комнате.

Знаю я, что они люди негодные, но — они религиозно поклоняются красоте, служат ей до самозабвения, упиваются ядом ее и способны убить себя ради ее.

Из этого противоречия возникает облако мутной тоски и душит меня, а у них исступление восторга восходит до высшей точки своей, но — все песни уже спеты, пляски сплясаны.

— Раздевай баб! — орет Петровский.

Раздевал всегда Степахин, он делал это не торопясь, аккуратно развязывая тесемки, расстегивая крючки и деловито складывая в угол кофты, юбки, рубахи.

Рассматривали прекрасное тело Лёски, осторожно трогали ее вызывающие груди, стройные ноги, великолепный живот, ходили вокруг женщин, изумленно охая, и хвалили тело их так же восторженно, как песню, пляску. Потом снова шли к столу в маленькую комнату, ели, пили, и — начиналось неописуемое, кошмарное.

Животная сила этих людей не удивляла меня,— быки и жеребцы сильнее. Но было жутко наблюдать нечто враждебное в их отношении к женщинам, красотою которых они — только что — почти благоговейно восхищались. В их сладострастии я чувствовал примесь изощренной мести, и казалось, что эта месть возникает из отчаяния, из невозможности опустошить себя, освободить от чего-то, что угнетало и уродовало их.

Помню ошеломивший меня крик Степахина: он увидал отражение свое в зеркале, его красное лицо побурело, посинело, глаза исступленно выкатились, он забормотал:

— Братцы,— глядите-ка,— господи!

И — взревел:

— У меня — не человечья рожа — глядите! Не человечья же,— братцы!

Схватил бутылку и швырнул в зеркало.

— Вот тебе, дьяволово рыло, на!

Он был не пьян, хотя и много выпил,— когда дьякон стал успокаивать его, он разумно говорил:

— Отстань, отец... Я же знаю,— не человечьей жизнью живу. Али я человек? У меня вместо души чёрт медвежий, ну, отстань! Ничего не сделать с этим...

В каждом из них жило, ворочалось что-то темное, страшное. Женщины взвизгивали от боли их укусов и щипков, но принимали жестокость как неизбежное, даже как приятное, а Лёска нарочно раздражала Петровского задорными возгласами:

— Ну, еще! Ну-ка, ущипни, ну?

Кошачьи зрачки ее расширялись, и в эти минуты было в ней что-то похожее на мученицу с картинки. Я боялся, что Петровский убьет ее.

Однажды, на рассвете, идя с нею от начальника, я

спросил: зачем она позволяет мучить себя, издеваться над собою?

— Так он же сам себя мучает. Они все так. Дьякон-то кусается, а сам плачет.

— Отчего это?

— Дьякон — от старости, сил нет. А другие — Африкан со Степахиным — тебе не понять отчего. А я и знаю, да сказать не умею. Знаю я — много, а говорить не могу, покамест слова соберу — мысли разбегутся, а когда мысли дома — нету слов.

Она, должно быть, действительно что-то понимала в этом буйстве сил,— помню, весенней ночью она горько плакала, говоря:

— Жалко мне тебя, пропадешь, как птица на пожаре, в дыму. Ушел бы лучше куда в другое место. Ой, всех жалко мне...

И нежными словами матери, с бесстрашной мудростью человека, который заглянул глубоко в тьму души и печально испугался тьмы, она долго рассказывала мне страшное и бесстыдное.

Теперь мне кажется, что предо мною разыгрывалась тяжелая драма борьбы двух начал — животного и человеческого: человек пытается сразу и навсегда удовлетворить животное в себе, освободиться от его ненасытных требований, а оно, разрастаясь в нем, всё более порабощает его.

А в ту пору эти буйные праздники плоти возбуждали во мне отвращение и тоску, смешанные с жалостью к людям, особенно жалко было женщин. Но, изнывая в тоске, я не хотел отказаться от участия в безумствах «монашьей жизни»,— говоря высоким стилем, я страдал тогда «фанатизмом знания», меня пленил и вел за собою «фанатик знания — Сатана».

«Всё надо знать, всё надо понять»,— сурово, сквозь зубы, говорил мне М. А. Ромась, посасывая трубку, дымно плевал и следил, как голубые струйки дыма путаются в серых волосах его бороды.

«Не подобает жить без оправдания, это значило бы — живете бессмысленно. Так что — привыкайте заглядывать во все щели и ямы, может, там где-то и затискана потребная вам истина. Живите безбоязненно,

не бегая от неприятного и страшного,— неприятно и страшно, потому что непонятно. Вот что!»

Я и заглядывал всюду, не щадя себя, и так узнал многое, чего мне лично лучше бы не знать, но о чем рассказать людям — необходимо, ибо это — их жизнь, трудная, грязная драма борьбы животного в человеке, который стремится к победе над стихиею в себе и вне себя.

Если в мире существует нечто поистине священное и великое, так это только непрерывно растущий человек,— ценный даже тогда, когда он ненавистен мне.

Впрочем — внимательно вникнув в игру жизни, я разучился ненавидеть, и не потому, что это трудно,— ненависть очень легко дается,— а потому, что это бесполезно и даже унизительно, ибо — в конце концов ненавидишь нечто свое собственное.

Да, философия, особенно же моральная,— скучное дело, но когда душа намозолена жизнью до крови и горько плачет от неисчерпаемой любви к «великолепному пустяку» — человеку, невольно начинаешь философствовать, ибо — хочется утешить себя.

Прожив на станции Добринка три или четыре месяца, я почувствовал, что больше — не могу, потому что, кроме исступленных радений у Петровского, меня начала деспотически угнетать кухарка его, Маремьяна, женщина сорока шести лет и ростом два аршина десять вершков; взвешенная в багажной на весах «Фербэнкс», она показала шесть пудов тринадцать фунтов. На ее медном луноподобном лице сердито сверкали круглые зелененькие глазки, напоминая окись меди, под левым помещалась бородавка, он всегда подозрительно хмурился. Была она грамотна, с наслаждением читала жития великомучеников и всею силой обширнейшего сердца своего ненавидела императоров Диоклетиана и Деция.

— Нарвались бы они на меня, я б им зенки-то выдрала!

Но свирепость, обращенная в далекое прошлое, не мешала ей рабски трепетать пред Актрисой — Масловым. В часы пьяных ужинов она служила ему особенно благоговейно, заглядывая в его лживые глаза взглядом

счастливой собаки. Иногда он, притворяясь пьяным, ложился на пол, бил себя в грудь и стонал:

— Плохо мне, плохо-о...

Она испуганно хватала его на руки и, как ребенка, уносила куда-то в кухню к себе.

Его звали — Мартын, но она часто, должно быть, со страха пред ним, путала имя его с именем хозяина и называла:

— Мартыкан.

Тогда он, вскакивая с пола, безобразно визжал:

— Что-о? Как?

Прижав руки к животу, Маремьяна кланялась ему в пояс и просила хриплым от испуга голосом:

— Прости, Христа ради...

Он еще более пугал ее свистящим, тонким визгом,— тогда огромная баба молча, виновато мигала глазами, из них выскакивали мутно-зеленые слезинки. Все хохотали, а Маслов, бодая ее головою в живот, ласково говорил:

— Ну,— иди, чучело! Иди, нянька...

И, когда она осторожно уходила, рассказывал, не без гордости:

— Буйвол, а сердце — необыкновенной нежности...

В начале дней нашего знакомства Маремьяна и ко мне относилась добродушно и ласково, как мать, но однажды я сказал ей что-то, порицающее ее рабью покорность Актрисе. Она даже отшатнулась от меня, точно я ее кипятком ошпарил. Зеленые шарики ее глаз налились кровью, побурели; грузно присев на скамью, задыхаясь в злом возмущении, качаясь всем телом, она бормотала:

— Ма-мальчишко,— да ты что это? Это — про него, ты? Эдаким-то словом? Да — я тебя... он тебя... тебя надо на мельнице смолоть! Ты — с ума ли сошел? Он — святе святого, а ты... ты — кто?

И крикнула, неожиданно густо:

— Отравить тебя, волчья душа! Уйди!

Я был опрокинут этим взрывом изумленной злобы и, несмотря на юность мою, почувствовал, что грубо коснулся чего-то поистине священного или очень наболевшего. Но — как я мог догадаться, что эта масса жира и мяса, размещенная на огромных костях, носит

в себе нечто неприкосновенное и столь дорогое для нее? Так учила меня жизнь понимать равноценность людей, уважать тайно живущее в них, учила осторожней, бережливее относиться к ним.

После этого Маремьяна, люто возненавидев меня, возложила на плечи мои множество обязанностей по хозяйству начальника станции. Сменяясь с дежурства, после бессонной ночи, я должен был колоть и таскать дрова на кухню и в комнаты, чистить медную посуду, топить печи, ухаживать за лошадью Петровского и делать еще многое, что поглощало почти половину моего дня, не оставляя времени для книг и для сна. Женщина откровенно грозила мне:

— Затираю до того, что на Кавказ сбежишь!

«Кавказ требует привычки»,— вспоминал я изречение Баринова и написал начальству в Борисоглебск прошение, в котором — стихами — изобразил Маремьянино тиранство. Прошение имело успех: вскоре меня перевели на товарную станцию Борисоглебска, поручив мне хранение брезентов, мешков и починку их.

Там я познакомился с обширной группой интеллигентов. Почти все они были «неблагонадежны», изведали тюрьму и ссылку, они много читали, знали иностранные языки, всё это — исключенные студенты, семинаристы, статистики, офицер флота, двое офицеров армии.

Эту группу — человек шестьдесят — собрал в городах Волги некто М. Е. Ададуров, делец, предложивший правлению Грязе-Царицынской дороги искоренить силами таких людей невероятное воровство грузов. Они горячо взялись за это дело, разоблачали плутни начальников станций, весовщиков, кондукторов, рабочих и хвастались друг перед другом удачной ловлей воров. Мне казалось, что все они могли бы и должны делать что-то иное, более отвечающее их достоинству, способностям, прошлому,— я тогда еще неясно понимал, что в России запрещено «сеять разумное, доброе, вечное».

Я шел посередине между первобытными людьми города и «культуртрегерами» своеобразного типа, и мне было хорошо видно несоединимое различие этих групп.

Весь город, конечно, знал, что «ададуровцы» —

«политики, из тех, которых вешают», и, зорко следя за работой этих людей, ненавидел, боялся их. Жутко было подмечать злые, трусливо-мстительные взгляды обывателей; они ненавидели «ададуровцев» и за страх, как личных врагов своих, и за совесть, как врагов «веры и царя».

Мой знакомый токарь Павел Крюков, сидя со мною в кабаке за бутылкою пива, громко рассуждал:

— Как можно допускать к делу этаких людей? Их надо гнать на необитаемые острова, в Робинзоны их отдать! А — того лучше — перевешать! Два года тому назад вешали их в Питере.

Крюков был человек весьма начитанный, увлекался географией и стихами Жуковского, имел штук двадцать хороших книг и среди них «Процесс 1-го марта». Таинственно давая мне эту книгу, он сказал:

— Вот почитай — каковы они! Берегись, гляди,— ни за грош погубят.

Так рассуждал не один он, разумеется.

Я познакомился с литератором Старостиным-Маненковым — он служил в канцелярии товарного отдела Грязе-Царицынской дороги.

Среднего роста, полный, Старостин напоминал скопца безволосым пухлым лицом и бесцветными мертвыми глазами; тяжелая походка, неуверенные движения усиливали это сходство. Его дряблое тело являлось вместилищем разнообразных болезней, мнительность усиливала и обостряла их. Он непрерывно охал, кряхтел, кашлял и плевал по всем направлениям, в ящик из-под макарон, служивший ему для рваной бумаги, в горшки цветов на подоконниках, в пепельницу и просто на пол, к двери. Понатужится, плюнет, посмотрит на результат и, сокрушенно покачивая лысоватой головой, скажет:

— Плохо!

Вечерами, в своей маленькой комнатке, с кумачными занавесками на окнах, горшками фуксий и гераней на подоконниках, с иконой мучеников Кирика и Улиты в углу, он, сидя за столом, тяжело нагруженным ворохами исписанной бумаги, пил маленькими рюмочками водку, закусывал репчатым луком и жаловался, тонко взвизгивая:

— Глеб Успенский глумится над мужиком, а я пишу кровью сердца! Ты,— читающий человек,— ну скажи мне: где, в чем, какая разница между Успенским и Лейкиным? Однако — его печатают в лучших журналах, а — я...

Рассказы Старостина печатались в провинциальных газетах, но один или два были помещены, кажется, в журнале «Дело»; Старостин любил, чтоб ему напоминали об этом.

Я — напоминал.

— Много ли? — печально, но уже не так жалобно восклицал он.— Много ли это, когда я...

Он сполз со стула на пол, полез на четвереньках под широкую кровать и, вытащив оттуда большой узел, завязанный в серую шаль, хлопнул по узлу ладонью, поднял облако пыли, закричал, задыхаясь:

— Вот — всё готово! Соком сердца написано! Да-да! Кр-ровью...

Лицо его багровело, глаза наливались пьяной слезой.

Но однажды, трезвый, он прочитал мне только что написанный им рассказ о мужике, который во время пожара спас от гибели в огне любимую лошадь станового пристава, а пристав, за час до этого подвига, выбил герою мужику два зуба за кражу шкворня. Мужик сильно ожегся, геройствуя, его отправили в больницу.

Прочитал Старостин эту трогательную историю и радостно заплакал, забормотал восхищенно:

— Как это хорошо, как задушевно написано! Д-да, брат, д-да! Учись, вникай в душу...

Рассказ очень не понравился мне, но — я тоже едва не заплакал, видя радость автора; его искреннее чувство так же искренно волновало и меня.

Но — отчего же плакал этот неприятно смешной человек? Я попросил его дать мне рукопись и дома еще раз прочитал ее. Нет,— рассказ был написан слащаво и нарочито жалобно, как пишутся фальшивые прошения «несчастных страдальцев» добрым и богатым вдовам. А все-таки — чем же вызваны искренние слезы автора и эта детская радость его?

— Не нравится мне рассказ,—сознался я Старостину. Любовно складывая страницы рукописи, он вздохнул:

— Груб ты! И — непонятлив.

— Что вас трогает в нем?

— Душа! — сердито крикнул он.— Душа в нем сияет!

Покричав на меня, сколько ему нравилось, он выпил водки и внушительно заговорил:

— Учись! Вот — стихи пишешь ты, это глупо. Этого — не надо. Надсоном ты не будешь, у тебя не та закваска, у тебя — сердца нет, ты человек грубый. Помни: на стихах Пушкин погубил свой недюжинный талант. Проза — вот настоящая литература, святая, честная проза!

Он сам служил для меня олицетворением этой святой прозы, а густой чад ее уже и тогда душил меня.

У Старостина была любовница, его квартирная хозяйка, женщина с полупудовыми грудями и задом, который не помещался на стуле. В день ее именин Старостин торжественно поднес ей широкое плетеное кресло, это очень тронуло женщину. Трижды поцеловав возлюбленного в губы, она сказала, обращаясь ко мне:

— Вот, молодой юноша, учитесь у старших, как надо ублажать даму!

Старостин стоял рядом с нею, счастливо улыбался и дергал пальцами свои серые уши, мягкие, как у собаки.

Был яркий день конца марта, на окнах обильно цвели фуксии, в комнату вливался веселый лепет вешних вод,— в комнате стоял густой запах горячего пирога, мыла и табаку.

Юность и малограмотность не мешали мне тревожно чувствовать скрытые в «святой, честной прозе» возможности тяжких и пошлых драм.

Мечтая о каких-то великих подвигах, о ярких радостях жизни, я охранял мешки, брезенты, щиты, шпалы и дрова от расхищения казаками ближайшей станицы. Я читал Гейне и Шекспира, а по ночам, бывало, вдруг вспомнив о действительности, тихонько гниющей вокруг, часами сидел или лежал, ничего не понимая, точно оглушенный ударом палки по голове.

В городе, насквозь пропитанном запахами сала, мыла, гнилого мяса, городской голова приглашал

духовенство служить молебны о изгнании чертей из колодца, на дворе у него.

Учитель городского училища порол по субботам в бане свою жену; иногда она вырывалась от него и, нагая, толстая, бегала по саду, он же гонялся за нею с прутьями в руках.

Соседи учителя приглашали знакомых смотреть на этот спектакль сквозь щели забора.

Я тоже ходил смотреть — на публику; подрался с кем-то и едва не попал в полицию. Один из обывателей уговаривал меня:

— Ну, чего ты разгорячился? Ведь на этакую штуку всякому интересно взглянуть! Такой случай и в Москве не покажут.

Железнодорожный конторщик, у которого я нанимал угол за рубль в месяц, искренно убеждал меня, что все евреи не только мошенники, но еще и двуполые. Я спорил с ним, и вот ночью он, в сопровождении жены и ее брата подошел к моей койке, желая освидетельствовать: не еврей ли я? Нужно было вывихнуть ему руку и разбить лицо брату, чтобы отвязаться от них.

Кухарка исправника подмешивала в лепешки свою менструальную кровь и кормила ими своего знакомого машиниста, чтобы возбудить у него нежное к ней чувство. Подруга кухарки рассказала машинисту о страшном колдовстве,— бедняга испугался, пришел к доктору и заявил, что у него в животе что-то возится, хрюкает. Доктор высмеял его, а он, придя домой, залез в погреб и там повесился.

Я рассказывал о всех этих и подобных им событиях «ададуровцам»,— они относились к ним как к забавным анекдотам и весело хохотали, к моему удивлению.

Рассказывая, я искал объяснения фактов, но не находил объяснения. Повести мои оценивались как смешные или скверные анекдоты, и чаще всего слушатели утешительно говорили мне:

— Не обращайте внимания на этих людей, просто — они с жиру бесятся!

Но я видел, что хотя они живут только для того, чтоб есть, и любовнее всего занимаются накоплением запасов разнообразной пищи, как будто ожидая все-

мирного голода, однако — это они командуют жизнью, они грязно и тесно лепят ее.

После всего, что я видел, жизнь хороших, умных интеллигентов казалась мне скучной, бесцветной, она тянулась как бы в стороне от полуумной темной суеты, которая создавала липкий быт бесконечных буден. Чем более внимательно наблюдал я, тем более неловко и тревожно чувствовал себя. Мне казалось, что интеллигенты не сознают своего одиночества в маленьком грязном городе, где все люди чужды, враждебны им, не хотят ничего знать о Михайловском, Спенсере и нимало не интересуются вопросом о том, насколько значительна роль личности в историческом процессе.

На вечеринках интеллигенты осторожно ухаживали за какими-то серенькими женщинами, две из них — сестры — были удивительно похожи на летучих мышей. Коренастый колченогий Мазин, бывший офицер флота, увлекаясь Шопенгауэром, красноречиво и восторженно говорил о «метафизике любви», «инстинкте рода»,— когда он немножко картаво произносил эти слова, летучие мыши, поджимая ноги, опускали черненькие глазки, плотно кутались в свои крылатые серенькие тальмочки, как будто опасаясь, что слова философа могут обнажить их тела.

И вскоре Мазин получил от брата летучих мышей, крупного чиновника правления дороги, такую записку:

«Если Вы, сударь, не перестанете в присутствии моих сестер разговаривать о метафизиках любви, то я вам, во-первых — морду побью, а во-вторых — подам жалобу на вас Начальнику дороги».

Присматривался я ко всему этому, прислушивался и вспоминал ночи у Петровского, где, обнаженно до глубины своей, разыгрывалась буйная и темная драма инстинкта и, ослепляя разум, показывала безумные, отчаянные игры любви. Полудикие люди, воры и пьяницы возвышались до экстаза, великолепно и умело распевая красивые, сердечные песни своего народа, а «философы», «радикалы», «народники» нескладно пели ноющие, пошленькие стишки: «Не осенний, мелкий дождичек», «Там, где тинный Булак» или:

Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать земли вращенье,
Дурак!..

У меня не хватало ни разума, ни воображения, никаких сил, чтоб соединить эти два мира, разъединенные глубокой трещиной взаимного отчуждения.

Вот и в этот час, когда я пишу о том, что было более тридцати лет тому назад,— пишу и ясно вижу пред собою тех и этих людей,— я чувствую полное бессилие нарисовать словами фигуры близоруких книжников в очках и пенсне, в брюках «навыпуск», в разнообразных пиджаках и однообразно пестрых мантиях книжных слов. И это не потому, что одни грубы, угловаты, их легко взять, а другие гладко вылощены утюгами книг,— нет, здесь, на мой взгляд, дана глубокая, почти племенная, во всяком случае — внутренняя разобщенность *.

На одной стороне бессмысленно и безысходно мечется сила инстинкта, на другой — бьется обескрыленной птицей разум, запертый в грязной клетке быта. Я думаю, что ни в одной стране земли творческие силы жизни не оторваны так далеко друг от друга, как это случилось у нас на Руси. Когда я, почти со страхом, рассказывал о ночных радениях у Петровского, я порою чувствовал скрытую зависть людей «культуры» к радостям жизни дикарей, и нередко мне казалось, что утехи Петровского осуждаются не по существу, а — внешне, формально, из чувства «приличия».

Только П. Е. Баженов сказал, глубоко вздыхая:

— Ф-фа! Как это жутко!

И, подумав, покусав бороду, добавил:

— Я бы среди них пропал, как бык в трясине. Чем

---

* Тревожное ощущение духовной оторванности интеллигенции — как разумного начала — от народной стихии всю жизнь более или менее настойчиво преследовало меня. В литературной работе моей я неоднократно касался этой темы, ею вызваны рассказы «Мой спутник» и другие. Постепенно это ощущение перерождалось в предчувствие катастрофы. В 1905 году, сидя в Петропавловской крепости, я пытался разработать эту же тему в неудачной пьесе «Дети солнца». Если разрыв воли и разума является тяжкой драмой жизни индивидуума,— в жизни народа этот разрыв — трагедия.

сильнее движения — тем скорее засасывает трясина. Да. Я понимаю, что́ влечет к ним таких, как вы,— мы живем пресной жизнью, не празднично и мелко. А там — почти эпос, эпическая жизнь. Знаете — этот Петровский давно уже под судом, но — у него есть «сильная рука» в правлении. Недавно у него был обыск по новому делу: кража чая из вагона. Он вынул из стола бумагу и сказал, подавая ее следователю: «Здесь честно записано всё, что я украл».

Нахмурясь, Баженов задумчиво прикрыл глаза, закинул руки свои за шею, помолчал, потом усмехнулся, говоря:

— Честно — украл. Только русский человек может сказать так, уверяю вас! Мы, кажется, и в самом деле призваны соединять несоединимое. Страшно веселимся, жестоко любим... И так далее, в этом духе...

Встав со стула, он потянулся, широко развел руки и заключил:

— А все-таки — хороший народ мы, русские! Оттого, должно быть, и несчастны сверх меры...

Баженов был один из немногих людей, которые вызывали у меня чувство глубокой симпатии и сердечного уважения. Томский семинарист, он, после долгих хлопот, поступил в Киевский университет, но со второго курса его исключили за «неблагонадежность», и несколько месяцев он сидел в тюрьме. Волосатый, похожий на переодетого священника, он двигался с осторожностью силача, и это придавало его крепкой высокой фигуре барственную важность, необычную в семинаристе. Обладал необыкновенно мягким голосом, но не имел слуха и относился к музыке почти враждебно, говоря:

— Она зовет в хаос.

С его широкого рябого лица в темной окладистой бороде смотрели ласково прищуренные серые глаза. Что-то снисходительно умное чувствовал я в его отношении ко мне и ко всем людям. Он хорошо рассказывал мне историю развития христианства, увлекательно говорил о сектах первых веков, помогал мне читать «Историю индуктивных наук» Уэвелля. Беседуя, он бесшумно и легко расхаживал по комнате, засунув

руки в карманы брюк, и, подняв брови, резко кивал головою,— единственный жест, которым он подчеркивал наиболее значительные места своей речи. Но порою, среди фразы, не кончив ее, он задумывался, прикусив губами волосы бороды, почесывая мизинцем высокий, изрытый оспой лоб, и долго стоял безмолвно. Эти моменты всегда почему-то смутно тревожили меня. Однажды я спросил: о чем он думает?

— Страшно много разума истрачено бесполезно, страшно много! — тихо сказал он.— И — какого разума!

Он часто и убедительно говорил о красоте и силе мысли:

— В конце концов, батя мой, всё решает разум,— он именно и есть тот рычаг, который, со временем, перевернет весь мир.

— А — точка опоры? — спросил я.

— Народ,— убежденно ответил он, тряхнув головою.— В частности — вы, ваш мозг!

Я очень любил его, сердечно верил ему.

Тихим вечером, лежа с ним в степи, я рассказал ему, как говорил полицейский Никифорыч о жалости и толстовец о Евангелии и Дарвине.

Внимательно и молча выслушав меня, он ответил:

— Дарвин — это та истина, которую я не люблю, как не любил бы ад, будь он истиной. Но, видите ли, батя мой,— чем меньше трения в частях машины, тем лучше она работает. В жизни — наоборот: чем сильнее трение, тем быстрее идет жизнь к своей цели, к большей разумности. Разумность же — это и есть справедливость, гармония интересов. Рассуждая последовательно — необходимо признать борьбу благим законом жизни. И тут ваш полицейский прав: если жизнь — борьба, жалость — неуместна.

Он задумался, лежа на спине, глядя в небо широко открытыми глазами.

Солнце, опустясь в облако, раскалило его и расплавилось в нем, превратясь в огромный костер красного огня, красные лучи легли на степь; на седые стебли прошлогодних былинок брызнуло розоватой росою. Запахи весенних трав и цветов стали сильнее, пьяней.

Баженов вдруг сел, закурил папиросу, но тотчас же отбросил ее, хмуро говоря:

— Я думаю, что гуманизм уже опоздал войти в жизнь,— опоздал тысячи на две лет. Ну, мне надо идти в город,— идете?

В конце мая меня перевели весовщиком на станцию Крутую Волго-Донской ветки, а в июне я получил из Борисоглебска от приятеля-переплетчика письмо, в котором переплетчик извещал меня, что Баженов застрелился в поле, у кладбища. В письме была вложена записка Баженова:

«Миша, продай мои вещи и заплати хозяевам квартиры 7 р. 30 к. Акниги Уэвелля переплети и пошли на Крутую, Пешкову, Максимычу, «башке». Спенсера — тоже ему. Остальные — тебе. Пачку книг на латинском и греческом пошли в Киев, адрес вложен в них. Прощай, друг. Б.».

Прочитав записку, я испытал оглушающий удар в сердце. Трудно было помириться с уходом из жизни такого, казалось, крепкого духом, трезвого человека.

Что убило его?

Мне вспоминалось, что однажды, в трактире, угощая меня пивом и немного захмелев, он вдруг сказал мне:

— Знаете, Максимыч, какая самая лучшая песня в этом мире?

Наклонился через стол и, глядя в глаза мне глазами доброго медведя, тихонько, мягким баском, пропел печально:

Quand j'étais petit —
Je n'étais pas grand,
J'allais à l'école
Comme les petits enfants... [1]

Пропел, и — глаза его стали влажными.

— Прелестная песенка, честное слово! Такая простота в ней и, знаете, такая смешная печаль...

---

[1] Когда я был маленьким —
Я не был большим,
Я ходил в школу,
Как маленькие дети... (*Франц.*).

Он перевел слова песни на русский язык, я не понял, чем восхищается в ней, почти до слез, этот волосатый, большой, умный человек...

После — я видел немало людей, убитых «смешной печалью».

...Через несколько месяцев жизнь, сурово, но заботливо воспитывая меня, напомнила мне о Петровском, заставив испытать одно из наиболее тяжких впечатлений бытия моего.

В Москве, в грязном трактире, где-то около Сухаревой башни, за стол против меня сел длинный, тощий человек в очках; его костлявое лицо, остренькая бородка, жидкие — в стрелку — усы напомнили мне Дон-Кихота рисунков Доре. На нем висел синий пиджак, явно чужой; нанковые серые штаны с заплатами на коленях были смешно коротки; на одной ноге — резиновая галоша, на другой — кожаный опорок сапога. Покручивая кончики усов, острые, как шилья, он голодно осмотрел меня мутными глазами, встал, прилепив очки к седым бровям, и, пошатываясь, разводя руками как слепой, подошел ко мне:

— Присяжный поверенный Гладков!

Грязными пальцами расписался с росчерком в воздухе и повторил внушительно:

— Алексей Гладков!

Говоря хрипло, он вертел шеей, точно его душила петля, невидимая мне.

Конечно, он оказался человеком благороднейшего сердца, пострадал за бескорыстное служение правде и низвергнут врагами ее «на дно жизни». Ныне он стоит во главе ордена «Преподобной Аквавиты», занимается перепиской ролей для театров, защитою угнетенных невинностей, а также «стрельбою по сердцам и карманам нищелюбивых купчих».

— Россиянин — а баба его особенно! — любит страдать: страдание — или рассказ о нем — суть духовная горчица, без коей ничто не лезет в сердце, ожиревшее от разнообразной и обильной пищи телесной.

Я уже немало наблюдал людей этого типа, привык относиться к ним недоверчиво, но — всегда с напряженным интересом; в человеке, который упрямо лезет

куда-то вверх, вполне разумен интерес к людям, свалившимся оттуда. А затем так называемые «павшие люди», темные грешники, часто бывают духовно богаче и даже красивее признанных праведников, у которых я еще в юности моей замечал нечто общее с восковыми фигурами паноптикумов.

Часа через два я лежал рядом с Гладковым на нарах мрачной ночлежки. Закинув руки под голову, вытянув жерделоподобное тело свое, адвокат утешал меня афоризмами волчьей злости, бородка его торчала чёртовым хвостиком, вздрагивая, когда он кашлял; был он трогательно жалок в бессильной злобе своей и весь, как ёж, украсился иглами едких слов.

Над нами висел сводчатый потолок подвала, по стене текла рыжая пахучая мокреть, с пола вздымался кислый запах гниющей земли, в сумраке бредили и храпели тела, окутанные лохмотьями. Окно, с толстой железной решеткой, смотрело в яму, выложенную кирпичом, в яме сидел кот; должно быть, больной, он страдальчески мяукал. На нарах, под окном, сидел по-турецки уродливо толстый волосатый человечище, чинил штаны при свете огарка и хрипуче гудел:

Взбранной воеводе победительная,
Но яко избавльшеся от бед,
Благодарственная восписуем ти
Раби твои, богородице!

Споет, звучно шлепнет толстыми губами и — начинает тянуть сначала тот же гимн.

— Пимен Маслов — химик, гениальный человек,— сказал о нем Гладков.

В этой яме валялось еще несколько гениальных людей, между ними «знаменитейший» пианист Брагин, маленький и ловкий, точно юноша, а в густой шапке волнистых его волос — седые пряди и под глазами — синие мешки. Меня поразила двойственность его лица: печальной красоте женских глаз непримиримо противоречила кривая усмешка, губы у него были тонкие, злая усмешка эта казалась приклеенной к ним неподвижно, навсегда.

Утром Гладков сказал мне:

— Сейчас мы будем посвящать в кавалеры «Аквавиты» новообращенного, вот — этого! Погляди, церемония замечательная.

Он указал мне молодого кудрявого человека в одной рубахе без штанов; человек был давно и дóсиня пьян, голубые зрачки его глаз бессмысленно застыли в кровавой сетке белков. Он сидел на нарах, перед ним стоял толстый химик, раскрашивая щеки его фуксином, брови и усы — жженой пробкой.

— Не надо,— бормотал кудрявый, болтая голыми ногами, а Гладков говорил мне, закручивая усы:

— Купеческий сын, студиозус, пятую неделю пьет с нами. Всё пропил — деньги, одежду...

Явилась круглая, жирная баба с провалившейся или перебитой переносицей и наглыми глазами; она принесла сверток рогож и бросила его на нары, сказав:

— Облачение — готово.

— Одеваться! — крикнул Гладков.

Пятеро угрюмых людей призрачно двигались в темноте подвала, серые, лохматые; «пианист» старательно раздувал угли в кастрюле. Люди изредка ворчливо перекидывались краткими словами:

— Двигай...

— Тише!

— Стой, куда?

Выдвинули нару на середину подвала. Маслов напялил на себя ризу из рогожи, надел картонную камилавку, а Гладков облачился дьяконом.

Четверо людей схватили кудрявого студента за ноги и за руки.

— Не надо — пожалуйста! — вздохнул он, когда его уложили на нару.

— Хор готов? — крикнул адвокат, размахивая кастрюлей и окуривая лежащего; в ней трещали угли, из нее поднимался синий дым тлеющих листьев веника, человек, лежа на нарах, морщился, кашлял, закрыв глаза, сучил ногами, как муха, стуча пятками по доскам.

— Вонме-ем! — возгласил Гладков; одетый в рогожи, он стал карикатурно страшен; как-то особенно резко крутил шеей, вздергивал голову и кривил лицо.

Маслов, стоя в ногах студента, гнусовато, нараспев заговорил:

— Братие! Возопиим ко диаволу о упокоении свежепогибшего во пьянстве и распутстве вавилонстем болярина Иакова, да приимет его сатана с честию и радостию и да погрузит в мерзость адову во веки веко-ов!

Пятеро лохматых оборванцев, тесной грудой стоя с правой стороны нар, мрачно запели кощунственную песнь; хриплые голоса звучали в каменной яме глухо, подземно. Роль регента исполнял Брагин, красиво дирижируя правой рукой, предостерегающе подняв левую.

Трудно было удивить меня бесстыдством,— слишком много видел я его в разных формах. Но эти люди пели нечто невыразимо мерзкое, обнаружив сочетанием бесстыдных слов и образов поистине дьяволову фантазию, безграничную извращенность. Ни прежде, ни после этого, до сего дня, я не слышал ничего извращенного более утонченно и отчаянно. Пять глоток изливали на человека поток ядовитой грязи, они делали это без увлечения, а как нечто обязательное, они не забавлялись, а — служили, и ясно было: служат не впервые, церемония уничтожения человека развивалась гладко, связно, торжественно, как в церкви.

Подавленный, я слушал всё более затейливо гнусные возгласы Гладкова, циническое чтение «химика», глухой рев хора и смотрел на человека, которого заживо отпевали, служа над ним кощунственную литургию.

Сложив руки на груди, он шевелил губами, неслышно бормотал и кричал что-то, моргал вытаращенными глазами, глупо улыбался и вдруг испуганно вздрагивал, пытаясь соскочить с нар,— хористы молча прижимали его к доскам.

Вероятно, «церемония» показалась бы менее отвратительной, если бы грязные призраки смотрели на нее как на забаву, игру, если бы они смеялись, хотя бы смехом циников, смехом отчаяния «бывших людей», изуродованных жизнью, горько обиженных ею. Но они относились к своему делу с угрюмой напряженностью

убийц, они вели себя, как жрецы, принося жертву духу болезненно и мстительно разнузданного воображения.

Обессиленный, онемев, я чувствовал, что страшная тяжесть давит меня, погружая в невылазную трясину, что эти призрачные люди отпевают, хоронят и меня. Помню, что я глупо и растерянно улыбался, и был момент, когда я хотел просить:

«Перестаньте, это нехорошо, это — страшно и вовсе не шутка!»

Особенно резал ухо и сердце тонкий голос «пианиста»; пианист надорванно выл, закрыв глаза, закинув голову, выгнув кадык; его вой, покрывая хриплые голоса других певцов, плавал в дымном сумраке и как-то особенно сладострастно обнажал мерзость слов. Меня мучило звериное желание завыть, зарычать.

— Могила! — крикнул Гладков, взмахивая кадилом-кастрюлей.

Хор во всю силу грянул:

Гряди, гряди,
Гроб, гроб...

и — вошла баба с перебитым носом, совершенно голая, она шла приплясывая, ее дряблое тело вздрагивало, груди кошелями опускались на живот, живот свисал жирным мешком на толстые ноги в лиловых пятнах шрамов и язв, в синих узлах вен.

Маслов встретил ее непристойным жестом, дьякон Гладков повторил этот жест, баба, взвизгивая гадости, приложилась к ним поочередно; хористы подняли ее за руки, за ноги и положили на нару рядом с отпетым.

— О-о, не надо! — крикнул он визгливо, попытался спустить ноги с нар, но его прижали к доскам, и под новый, почти плясовой, а все-таки мрачный мотив отвратительной песенки, баба, наклонясь над ним, встряхивая грязно-серыми кошелями грудей, начала мастурбировать его.

Тут я вспомнил Королеву Марго — лучшее видение всей жизни моей,— в груди жарко взорвалось что-то, я бросился на эти остатки людей и стал бить их по мордам.

...К вечеру я нашел себя под насыпью железнодорожного пути, на груде шпал, пальцы рук моих были разбиты, сочились кровью, левый глаз закрыла опухоль. С неба, грязного, как земля, сыпался осенний дождь, я срывал пучки мокрой жухлой травы и, вытирая ею лицо, руки, думал о том, что было показано мне.

Я был здоров, обладал недюжинной силой, мог девять раз, не спеша, истово перекреститься двухпудовой гирей, легко носил по два пятипудовых мешка муки, но — в этот час я чувствовал себя совершенно обездушенным, бессильным, как больной ребенок. Мне хотелось плакать от горькой обиды. Я жадно искал причаститься той красоте жизни, которой так соблазнительно дышат книги, хотел радостно полюбоваться чем-то, что укрепило бы меня. Уже наступило для меня время испытать радости жизни, ибо всё чаще я ощущал приливы и толчки злобы,— темной, жаркой волною она поднималась в груди, ослепляя разум, сила ее превращала острое мое внимание к людям в брезгливое, тяжелое презрение к ним.

Было мучительно обидно,— почему я встречаю так много грязного и жалкого, тяжко глупого или странного?

Было страшно вспоминать «церемонию» в ночлежке, сверлил ухо крик Гладкова:

«Могила!»

И расплывалось перед глазами отвратительное тело бабы,— куча злой и похотливой мерзости, в которую хотели зарыть живого человека.

И тут, вспомнив разнузданность «монашьей жизни» Петровского, я почувствовал, как невинно бешенство плоти здоровых людей сравнительно с безумием гнили, не утратившей внешний облик человека.

Там было некое идолопоклонство красоте; там полудикие люди молились от избытка сил, считая этот избыток грехом и карою, может быть, бунтуя, в призрачной надежде на свободу, боясь «погубить душу» в ненасытной жажде тела.

Здесь — бессилие поникло до мрачного отчаяния, до гнуснейшего, мстительного осмеяния того инстинкта, который непрерывно, победоносно засевает опусто-

шаемые смертью поля жизни и является возбудителем всей красоты мира; здесь свински подрывали самый корень жизни, отравляя гноем больного воображения таинственно прекрасные истоки ее.

Но — что же это за жизнь там, наверху, откуда люди падают так страшно низко?

«ВРЕМЯ КОРОЛЕНКО»

...Вышел я из Царицына в мае, на заре ветреного, тусклого дня, рассчитывая быть в Нижнем к сентябрю.

Часть пути, по ночам, ехал с кондукторами товарных на площадках тормозных вагонов, большую часть шагал пешком, зарабатывая на хлеб по станицам, деревням, по монастырям. Гулял в Донской области, в Тамбовской и Рязанской губерниях, из Рязани, по Оке, свернул на Москву, зашел в Хамовники к Л. Н. Толстому. София Андреевна сказала мне, что он ушел в Троице-Сергиевскую лавру. Я встретил ее на дворе, у дверей сарая, тесно набитого пачками книг, она отвела меня в кухню, ласково угостила стаканом кофе с булкой и, между прочим, сообщила мне, что к Льву Николаевичу шляется очень много «темных бездельников» и что Россия вообще изобилует бездельниками. Я уже сам видел это и, не кривя душою, вежливо признал наблюдение умной женщины совершенно правильным.

Был конец сентября, землю щедро кропили осенние дожди, по щетинистым полям гулял холодный ветерок, леса были ярко раскрашены; очень красивое время года, но несколько неудобное для путешествия пешком, а особенно — в худых сапогах.

На станции Москва-товарная я уговорил проводника пустить меня в скотский вагон, в нем восемь черкасских быков ехали в Нижний, на бойню. Пятеро из них вели себя вполне солидно, но остальным я почему-то не поправился, и они всю дорогу старались причинять мне различные неприятности; когда это удавалось им, быки удовлетворенно сопели и мычали.

А проводник, человечишко на кривых ногах, маленький, пьяный, с обкусанными усами, возложил на

меня обязанность кормить спутников моих; на остановках он совал в дверь вагона охапки сена, приказывая мне:

— Угощай!

Тридцать четыре часа провел я с быками, наивно думая, что никогда уже не встречу в жизни моей скотов более грубых, чем эти.

В котомке у меня лежала тетрадь стихов и превосходная поэма в прозе и стихах «Песнь старого дуба».

Я никогда не болел самонадеянностью, да еще в то время чувствовал себя малограмотным, но я искренно верил, что мною написана замечательная вещь: я затискал в нее всё, о чем думал на протяжении десяти лет пестрой, нелегкой жизни. И был убежден, что, прочитав мою поэму, грамотное человечество благотворно изумится пред новизною всего, что я поведал ему, правда повести моей сотрясет сердца всех живущих на земле, и тотчас же после этого взыграет честная, чистая, веселая жизнь,— кроме и больше этого я ничего не желал.

В Нижнем жил Н. Е. Каронин; я изредка заходил к нему, но не решался показать мой философический труд. Больной Николай Ельпидифорович вызывал у меня острое чувство сострадания, и я всем существом моим ощущал, что этот человек мучительно, упорно задумался над чем-то.

— Может быть и так,— говорил он, выдувая из ноздрей густейшие струи дыма папиросы, снова глубоко вдыхал дым и, усмехаясь, оканчивал:

— А может быть и не так...

Речи его вызывали у меня тягостное недоумение, мне казалось, что этот полузамученный человек имел право и должен был говорить как-то иначе, более определенно. Всё это и моя сердечная симпатия к нему — внушали мне некую осторожность в отношении к Петропавловскому, как будто я опасался что-то задеть в нем, сделать ему больно.

Я видел его в Казани, где он остановился на несколько дней, возвращаясь из ссылки. Он вызвал у меня памятное впечатление человека, который всю свою жизнь попадал не туда, куда ему хотелось.

— В сущности, напрасно я сюда приехал!

Эти слова встретили меня, когда я вошел в сумрачную комнату одноэтажного флигеля на грязном дворе трактира ломовых извозчиков. Среди комнаты стоял высокий сутулый человек, задумчиво глядя на циферблат больших карманных часов. В пальцах другой руки густо дымилась папироса. Потом он начал шагать длинными ногами из угла в угол, кратко отвечая на вопросы хозяина квартиры С. Г. Сомова.

Его близорукие, детски ясные глаза смотрели утомленно и озабоченно. На скулах и подбородке — светлые шерстинки разной длины; на угловатом черепе — прямые, давно не мытые волосы дьякона. Засунув левую руку в карман измятых брюк, он звенел там медью, а в правой руке держал папиросу, помахивая ею, как дирижер палочкою. Дышал дымом. Сухо покашливал и всё смотрел на часы, уныло причмокивая. Движения плохо слаженного костлявого тела показывали, что человек этот мучительно устал. Постепенно в комнату влезло десятка полтора мрачных гимназистов, студентов, булочник и стекольщик.

Каронин приглушенным голосом чахоточного рассказывал о жизни в ссылке, о настроении политических ссыльных. Говорил он ни на кого не глядя, словно беседуя с самим собою, часто делал короткие паузы и, сидя на подоконнике, беспомощно оглядывался. Над головою его была открыта форточка, в комнату врывался холодный воздух, насыщенный запахом навоза и лошадиной мочи. Волосы на голове Каронина шевелились, он приглаживал их длинными пальцами сухой костистой руки и отвечал на вопросы:

— Допустимо, но я не уверен, что это именно так! Не знаю. Не умею сказать.

Каронин не понравился юношам. Они уже привыкли слушать людей, которые всё знали и всё умели сказать. И осторожность его повести вызвала у них ироническую оценку:

— Пуганая ворона.

Но товарищу моему, стекольщику Анатолию, показалось, что честную вдумчивость взгляда детских глаз Каронина и его частое «не знаю» можно объяснить

иной боязнью: человек, знающий жизнь, боится ввести в заблуждение мрачных кутят, сказав им больше, чем может искренно сказать. Люди непосредственного опыта, я и Анатолий, отнеслись к людям книг несколько недоверчиво; мы хорошо знали гимназистов и видели, что в этот час они притворяются серьезными больше, чем всегда.

Около полуночи Каронин вдруг замолчал, вышел на середину комнаты и, стоя в облаке дыма, крепко погладил лицо свое ладонями рук, точно умываясь невидимой водой. Потом вытащил часы откуда-то из-за пояса, поднес их к носу и торопливо сказал:

— Так — вот. Я должен идти. У меня дочь больна. Очень. Прощайте!

Крепко пожав горячими пальцами протянутые ему руки, он, покачиваясь, ушел, а мы начали «междоусобную брань» — обязательное и неизбежное последствие всех таких бесед.

В Нижнем Каронин трепетно наблюдал за толстовским движением среди интеллигенции, помогал устраивать колонию в Симбирской губернии; быструю гибель этой затеи он описал в рассказе «Борская колония».

— Попробуйте и вы «сесть на землю»,— советовал он мне.— Может быть, это подойдет вам?

Но — убийственные опыты любителей самоистязания не привлекали меня, к тому же в Москве я видел одного из главных основоположников «толстовства» М. Новоселова, организатора тверской и смоленской артелей, а затем — сотрудника «Православного обозрения» и яростного врага Л. Н. Толстого.

Это был человек большого роста, видимо, значительной физической силы, он явно рисовался крайней упрощенностью, даже грубостью мысли и поведения, за этой грубостью я почувствовал плохо скрытую злость честолюбца. Он резко отрицал «культуру»; это мне очень не понравилось; культура — та область, куда я подвигался с великим трудом, сквозь множество препятствий.

Я встретил его в квартире нечаевца Орлова, переводчика Леопарди и Флобера, одного из организаторов прекрасного издания «Пантеон литературы»; умный,

~~-досадной абстракцией - хотя двухногие, бородатые отмеченности в лице прасковидовских мужиков всячески старались сжить его со света, что не поменяло его отношения к людям, - за редкими исключениями они [illegible] будто лишними на земле.~~

Однажды, в дождливый день, знакомый, с которым я шел по улице, сказал, скосив глаза в сторону:

- Короленко!

По панели твердо шагал коренастый, широкоплечий человек в мохнатом пальто, из под мокрого зонтика я видел курчавую бороду. Человек этот напомнил мне тамбовских прасолов, а у меня были солидные основания относиться враждебно к людям этого племени и я не ощутил желания познакомиться с Короленко. Не возникло это желание и после совета, данного мне жандармским генералом, - одна из забавных шуток странной русской жизни.

Через несколько времени меня арестовали и посадили в одну из четырех башень нижегородской тюрьмы. В круглой моей камере не было ничего интересного, кроме надписи, выцарапанной на двери, окованной железом. Надпись гласила:

" Все живое - из клетки."

Я долго соображал, что [illegible] хотел сказать человек этими словами? И не зная, что это аксиома биологий, решил принять ее как [illegible] изречение юмориста.

Меня отвели на допрос к самому генералу Познанскому и, вот он хлопая багровой, опухшей рукою по бумагам, отобранным у меня, говорит, всхрапывая:

- Вы тут пишете стихи и вообще...

Ну, и пишите! Хорошие стихи - приятно читать...

Мне тоже стало приятно знать, что генералу доступны некоторые истины. Я не думал, что эпитет "хорошие" относится именно к моим стихам. Но в то время далеко не все интеллигенты могли бы согласиться с афоризмом жандарма о стихах.

И.И.Сведенцов, литератор, гвардейский офицер, бывший ссыльный прекрасно рассказывал о народовольцах, особенно (восторженно) о Вере Фигнер, печатал мрачные повести в "толстых" журналах, но когда я прочитал ему стихи Фофанова:

«ВРЕМЯ КОРОЛЕНКО».
Машинописная страница с правкой М. Горького.

широко образованный старик целый вечер сокрушительно высмеивал «толстовство», которым я в ту пору несколько увлекался, видя в нем, однако, не что иное, как только возможность для меня временно отойти в тихий угол жизни и там продумать пережитое мною.

...Я знал, конечно, что в Нижнем живет В. Г. Короленко, читал его «Сон Макара»; рассказ этот почему-то не понравился мне.

Однажды, в дождливый день, знакомый, с которым я шел по улице, сказал, скосив глаза в сторону:

— Короленко!

По панели твердо шагал коренастый, широкоплечий человек в мохнатом пальто, из-под мокрого зонтика я видел курчавую бороду. Человек этот напомнил мне тамбовских прасолов, а у меня были солидные основания относиться враждебно к людям этого племени, и я не ощутил желания познакомиться с Короленко. Не возникло это желание и после совета, данного мне жандармским генералом,— одна из забавных шуток странной русской жизни.

Меня арестовали и посадили в одну из четырех башен нижегородской тюрьмы. В круглой моей камере не было ничего интересного, кроме надписи, выцарапанной на двери, окованной железом. Надпись гласила:

Всё живое — из клетки.

Я долго соображал — что хотел сказать человек этими словами? И, не зная, что это аксиома биологии, решил принять ее как изречение юмориста.

Меня отвели на допрос к самому генералу Познанскому, и вот он, хлопая багровой, опухшей рукою по бумагам, отобранным у меня, говорит, всхрапывая:

— Вы тут пишете стихи и вообще... Ну, и пишите! Хорошие стихи — приятно читать...

Мне тоже стало приятно знать, что генералу доступны некоторые истины. Я не думал, что эпитет «хорошие» относится именно к моим стихам. Но в то время далеко не все интеллигенты могли бы согласиться с афоризмом жандарма о стихах.

И. И. Сведенцов, литератор, гвардейский офицер, бывший ссыльный, прекрасно рассказывал о народо-

вольцах, особенно восторженно о Вере Фигнер, печатал мрачные повести в «толстых» журналах, но, когда я прочитал ему стихи Фофанова:

Что ты сказала мне — я не расслышал,
Только сказала ты нежное что-то...

— он сердито зафыркал:

— Болтовня! Она, может быть, спросила его: который час? А он, дубина, обрадовался...

Генерал — грузный, в серой тужурке с оторванными пуговицами, в серых, замызганных штанах с лампасами. Его опухшее лицо, в седых волосах, густо расписано багровыми жилками, мокрые, мутные глаза смотрят печально, устало. Он показался мне заброшенным, жалким, но симпатичным, напомнив породистого пса, которому от старости тяжело и скучно лаять.

Из книги речей А. Ф. Кони я знал тяжелую драму, пережитую этим генералом, знал, что дочь его — талантливая пианистка, а сам он — морфинист. Он был организатором и председателем «Технического общества» в Нижнем, оспаривал на заседаниях этого общества значение кустарных промыслов и — открыл на главной улице города магазин для продажи кустарных изделий губернии; он посылал в Петербург доносы на земцев, Короленко и на губернатора Баранова, который сам любил писать доносы.

Всё вокруг генерала было неряшливо: на кожаном диване, за спиною его, валялось измятое постельное белье, из-под дивана выглядывал грязный сапог и кусок алебастра весом пуда в два. На косяках окон, в клетках, прыгали чижи, щеглята, снегири, большой стол в углу кабинета загроможден физическими аппаратами, предо мной на столе лежала толстая книга на французском языке «Теория электричества» и томик Сеченова «Рефлексы головного мозга».

Старик непрерывно курил коротенькие толстые папиросы, и обильный дым их неприятно тревожил меня, внушая смешную мысль, что табак напитан морфием.

— Какой вы революционер? — брюзгливо говорил

он.— Вы — не еврей, не поляк. Вот — вы пишете, ну, что же? Вот когда я выпущу вас — покажите ваши рукописи Короленко,— знакомы с ним? Нет? Это — серьезный писатель, не хуже Тургенева...

От генерала истекал какой-то тяжелый, душный запах. Говорить ему не хотелось, он вытягивал слово за словом лениво, с напряжением. Было скучно. Я рассматривал небольшую витрину рядом со столом, в ней были разложены рядами металлические кружки.

Генерал, заметив мои косые взгляды, тяжело приподнялся, спросил:

— Интересно?

Подвинул кресло свое к витрине, и, открыв ее, он заговорил:

— Это — медали в память исторических событий и лиц. Вот — взятие Бастилии, а это — в память победы Нельсона под Абукиром,— историю Франции знаете? Это — объединение швейцарских союзов, а это знаменитый Гальвани — смотрите, как прекрасно сделано. Это — Кювье,— значительно хуже!

На его багровом носу дрожало пенсне, влажные глаза оживились, он брал медали толстыми пальцами так осторожно, как будто это была не бронза, а стекло.

— Прекрасное искусство! — ворчал он и, смешно оттопыривая губы, сдувал пыль с медалей.

Я искренно восхищался красотой кружочков металла и видел, что старик нежно любит их.

Закрыв — со вздохом — витрину, он спросил меня, люблю ли я певчих птиц. Ну, в этой области я знал, вероятно, больше, чем три генерала. И между нами завязалась оживленнейшая беседа о птицах.

Старик уже вызвал жандарма, чтобы отправить меня в тюрьму, у косяка двери вытянулся солидный вахмистр, а его начальник всё еще говорил, сожалительно чмокая:

— Вот, знаете, не могу достать щура! Замечательная птица! И — вообще — птицы прекрасный народ, правда? Ну, отправляйтесь с богом... Да,— вспомнил он,— вам учиться надо, ну, там — писать, а не это...

Через несколько дней я снова сидел перед генералом, он сердито бормотал:

— Конечно, вы знали, куда уехал Сомов, и надо было сказать это мне, я бы сразу выпустил вас. И — не надо было издеваться над офицером, который делал обыск у вас... И — вообще...

Но вдруг, наклоняясь ко мне, он добродушно спросил:

— А теперь вы не ловите птиц?

...Лет через десять после забавного знакомства с генералом я, арестованный, сидел в нижегородском жандармском управлении, ожидая допроса. Ко мне подошел молодой адъютант и спросил:

— Вы помните генерала Познанского? — Это мой отец. Он умер, в Томске. Он очень интересовался вашей судьбой, следил за вашими успехами в литературе и нередко говорил, что он первый почувствовал ваш талант. Незадолго до смерти он просил меня передать вам медали, которые нравились вам,— конечно, если вы пожелаете взять их...

Я был искренно тронут. Выйдя из тюрьмы, взял медали и отдал их в нижегородский музей.

...В солдаты меня не взяли; толстый веселый доктор, несколько похожий на мясника, распоряжаясь, точно боец быков на бойне, сказал, осмотрев меня:

— Дырявый, пробито легкое насквозь! Притом — расширена вена на ноге. Не годен!

Это крайне огорчило меня.

Незадолго до призыва я познакомился с офицером-топографом — Пасхиным или Пасхаловым, не помню.

Участник боя под Кушкой, он интересно рисовал жизнь на границе Афганистана и весною должен был отправиться на Памир работать по определению границ России. Высокий, жилистый, нервозный, он очень искусно писал маслом маленькие забавные картинки военного быта в духе Федотова. Я чувствовал в нем что-то неслаженное, противоречивое, то, что именуют «ненормальным». Он уговаривал меня:

— Поступайте в топографическую команду, я возьму вас на Памиры! Вы увидите самое прекрасное на земле — пустыню! Горы — это хаос, пустыня — гармония!

И, прищурив большие, серые, странно блуждающие глаза, понижая до шёпота мягкий, ласкающий голос, он таинственно жужжал о красоте пустыни, а я слушал, и меня, до немоты, изумляло: как можно столь обаятельно говорить о пустоте, о бескрайных песках, непоколебимом молчании, о зное и мучениях жажды?

— Ничего не значит,— сказал он, узнав, что меня не взяли в солдаты.— Пишите заявление, что желаете поступить добровольцем в команду топографов и обязуетесь сдать требуемые экзамены,— я вам всё устрою!

Заявление написано, подано; с трепетом жду результата. Через несколько дней Пасхалов смущенно сказал мне:

— Оказывается — вы политически неблагонадежны, тут ничего нельзя сделать!

И, опустив глаза, он тихо добавил:

— Жаль, что вы скрыли от меня это обстоятельство.

Я сказал, что для меня это «обстоятельство» тоже новость, но он, кажется, не поверил мне. Скоро он уехал из города, а на святках я прочитал в московской газете, что этот человек зарезался бритвой в бане.

...Жизнь моя шла путано и трудно. Я работал в складе пива, перекатывал в сыром подвале бочки с места на место, мыл и купорил бутылки. Это занимало весь мой день. Поступил в контору водочного завода, но в первый же день службы на меня бросилась борзая собака жены управляющего завода,— я убил собаку ударом кулака по длинному черепу, и меня тотчас прогнали.

Однажды, в тяжелый день, я решил наконец показать мою поэму В. Г. Короленко. Трое суток играла снежная буря, улицы были загромождены сугробами, крыши домов — в пышных шапках снега, скворешни — в серебряных чепчиках, стекла окон затянуты кружевами, а в белесом небе сияло, ослепляя, жгуче холодное солнце.

Владимир Галактионович жил на окраине города во втором этаже деревянного дома. На панели, перед крыльцом, умело работал широкой лопатой коренастый человек в меховой шапке странной формы, с наушни-

ками, в коротком, по колени, плохо сшитом тулупчике, в тяжелых вятских валенках.

Я полез сквозь сугроб на крыльцо.

— Вам кого?

— Короленко.

— Это я.

Из густой курчавой бороды, богато украшенной инеем, на меня смотрели карие хорошие глаза. Я не узнал его; встретив на улице, я не видел его лица. Опираясь на лопату, он молча выслушал мои объяснения причин визита, потом прищурился, вспоминая.

— Знакомая фамилия. Это не о вас ли писал мне, года два тому назад, некто Ромась, Михайло Антонов? Так!

Входя на лестницу, он спросил:

— Не холодно вам? Очень легко одеты.

И — негромко, как будто беседуя сам с собою:

— Упрямый мужик Ромась! Умный хохол. Где он теперь?

В маленькой угловой комнатке, окнами в сад, тесно заставленной двумя рабочими конторками, шкафами книг и тремя стульями, он, отирая платком мокрую бороду и перелистывая мою толстую рукопись, говорил:

— Почитаем! Странный у вас почерк, с виду — простой, четкий, а читается трудно.

Рукопись лежала на коленях у него, он искоса поглядывал на ее страницы, на меня — мне было неловко.

— Тут у вас написано — «зизгаг», это... очевидно, описка, такого слова нет, есть — зигзаг...

Маленькая пауза перед словом «описка» дала мне понять, что В. Г. Короленко — человек, умеющий щадить самолюбие ближнего.

— Ромась писал мне, что мужики пытались порохом взорвать его, а потом подожгли,— да?

Он говорил и перелистывал рукопись.

— Иностранные слова надо употреблять только в случаях совершенной неизбежности, вообще же лучше избегать их. Русский язык достаточно богат, он обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли.

Это он говорил между прочим, всё расспрашивая о Ромасе, о деревне.

— Какое суровое лицо у вас! — неожиданно сказал он и, улыбаясь, спросил: — Трудно живется?

Его мягкая речь значительно отличалась от грубовато окающего волжского говора, но я видел в нем странное сходство с волжским лоцманом,— оно было не только в его плотной, широкогрудой фигуре и зорком взгляде умных глаз, но и в благодушном спокойствии, которое так свойственно людям, наблюдающим жизнь как движение по извилистому руслу реки среди скрытых мелей и камней.

— Вы часто допускаете грубые слова,— должно быть потому, что они кажутся вам сильными? Это — бывает.

Я сказал, что — знаю: грубость свойственна мне, но у меня не было ни времени обогатить себя мягкими словами и чувствами, ни места, где бы я мог сделать это.

Внимательно взглянув на меня, он продолжал ласково:

— Вы пишете: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться. Раз это так»... Раз — так,— не годится! Это — неловкий, некрасивый оборот речи. Раз так, раз этак,— вы слышите?

Я впервые слышал всё это и хорошо чувствовал правду его замечаний.

Далее оказалось, что в моей поэме кто-то сидит «орлом» на развалинах храма.

— Место мало подходящее для такой позы, и она не столько величественна, как неприлична,— сказал Короленко, улыбаясь.

Вот он нашел еще «описку», еще и еще. Я был раздавлен обилием их и, должно быть, покраснел, как раскаленный уголь. Заметив мое состояние, Короленко, смеясь, рассказал мне о каких-то ошибках Глеба Успенского, это было великодушно, а я уже ничего не слушал и не понимал, желая только одного — бежать от срама. Известно, что литераторы и актеры самолюбивы, как пуделя.

Я ушел и несколько дней прожил в мрачном угнетении духа.

Я видел какого-то особенного писателя: он ничем

не похож на расшатанного и сердечно милого Каронина, не говоря о смешном Старостине. В нем нет ничего общего с угрюмым Сведенцовым-Ивановичем, который говорил мне:

— Рассказ должен ударить читателя по душе, как палкой, чтобы читатель чувствовал, какой он скот!

В этих словах было нечто сродное моему настроению. Короленко первый сказал мне веские человечьи слова о значении формы, о красоте фразы, я был удивлен простой, понятной правдой этих слов и, слушая его, жутко почувствовал, что писательство — не легкое дело. Я сидел у него более двух часов, он много сказал мне, но — ни одного слова о сущности, о содержании моей поэмы. И я уже чувствовал, что ничего хорошего не услышу о ней.

Недели через две рыженький статистик Н. И. Дрягин, милый и умный, принес мне рукопись и сообщил:

— Короленко думает, что слишком запугал вас. Он говорит, что у вас есть способности, но надо писать с натуры, не философствуя. Потом — у вас есть юмор, хотя и грубоватый, но — это хорошо! А о стихах он сказал — это бред!

На обложке рукописи, карандашом, острым почерком написано:

«По „Песне“ трудно судить о ваших способностях, но, кажется, они у вас есть. Напишите о чем-либо пережитом вами и покажите мне. Я не ценитель стихов, ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие. Вл. Кор.».

О содержании рукописи — ни слова. Что же читал в ней этот странный человек?

Из рукописи вылетели два листка стихов. Одно стихотворение было озаглавлено «Голос из горы идущему вверх», другое «Беседа Чёрта с колесом». Не помню, о чем именно беседовали чёрт и колесо,— кажется, о «круговращении» жизни,— не помню, что именно говорил «голос из горы». Я разорвал стихи и рукопись, сунул их в топившуюся печь-голландку и, сидя на полу, размышлял: что значит писать о «пережитом»?

Всё, написанное в поэме, я пережил...

И — стихи! Они случайно попали в рукопись. Они были маленькой тайной моей, я никому не показывал их, да и сам плохо понимал. Среди моих знакомых кожаные переводы Барыковой и Лихачева из Коппэ, Ришпэна, Т. Гуда и подобных поэтов ценились выше Пушкина, не говоря уже о мелодиях Фофанова. Королем поэзии считался Некрасов, молодежь восхищалась Надсоном, но зрелые люди и Надсона принимали — в лучшем случае — только снисходительно.

Меня считали серьезным человеком солидные люди, которых я искренно уважал, дважды в неделю беседовали со мною о значении кустарных промыслов, о «запросах народа и обязанностях интеллигенции», о гнилой заразе капитализма, который никогда — никогда!— не проникнет в мужицкую, социалистическую Русь.

И — вот, все теперь узнают, что я пишу какие-то бредовые стихи! Стало жалко людей, которые принуждены будут изменить свое доброе и серьезное отношение ко мне.

Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы и действительно всё время жизни в Нижнем — почти два года — ничего не писал. А иногда очень хотелось.

С великим огорчением принес я мудрость мою в жертву всё очищающему огню.

...В. Г. Короленко стоял в стороне от группы интеллигентов-«радикалов», среди которых я чувствовал себя, как чиж в семье мудрых воронов.

Писателем наиболее любезным для этой среды был Н. Н. Златовратский,— о нем говорили: «Златовратский очищает душу и возвышает ее».

А один из наставников молодежи рекомендовал этого писателя так:

— Читайте Златовратского, я его лично знаю, это честный человек!

Глеба Успенского читали внимательно, хотя он подозревался в скептицизме, недопустимом по отношению к деревне. Читали Каронина, Мачтета, Засодимского, присматривались к Потапенко:

— Этот, кажется, ничего...

В почете был Мамин-Сибиряк, но говорили, что у него «неопределенная тенденция».

Тургенев, Достоевский, Л. Толстой были где-то далеко за пределами внимания. Религиозная проповедь Л. Н. Толстого оценивалась так:

— Дурит барин!

Короленко смущал моих знакомых; он был в ссылке, написал «Сон Макара» — это, разумеется, очень выдвигало его. Но — в рассказах Короленко было нечто подозрительное, непривычное чувству и уму людей, плененных чтением житийной литературы о деревне и мужике.

— От ума пишет,— говорили о нем,— от ума, а народ можно понять только душой.

Особенно возмутил прекрасный рассказ «Ночью», в нем заметили уклон автора в сторону «метафизики», а это было преступно. Даже кто-то из кружка В. Г.— кажется, А. И. Богданович — написал довольно злую и остроумную пародию на этот рассказ.

— Ч-чепуха!— немножко заикаясь, говорил С. Г. Сомов, человек не совсем нормальный, но, однако, довольно влиятельный среди молодежи.— Оп-писание физиологического акта рождения — дело специальной литер-ратуры, и тараканы тут ни при чем! Он п-подражает Толстому, этот К-короленко.

Но имя Короленко уже звучало во всех кружках города. Он становился центральной фигурой культурной жизни и, как магнит, притягивал к себе внимание, симпатии и вражду людей.

— Ищет популярности,— говорили люди, неспособные сказать ничего иного.

В то время было открыто серьезное воровство в местном дворянском банке; эта весьма обычная история имела весьма драматические последствия: главный виновник, провинциальный «лев и пожиратель сердец», умер в тюрьме, его жена отравилась соляной кислотой, растворив в ней медь; тотчас после похорон на ее могиле застрелился человек, любивший ее, один за другим умерли еще двое привлеченных к следствию по делу банка,— был слух, что оба они тоже кончили самоубийством.

В. Г. печатал в «Волжском вестнике» статьи о делах банка, и его статьи совпали во времени с этими драмами. Чувствительные люди стали говорить, что Короленко «убивает людей корреспонденциями», а мой патрон А. И. Ланин горячо доказывал, что «в мире нет явлений, которые чужды художнику».

Известно, что клевета всего проще, поэтому люди, нищие духом, довольно щедро награждали Короленко разнообразной клеветой.

В эти застойные годы жизнь кружилась медленно, восходя по невидимой спирали к неведомой цели своей, и всё заметнее становилась в этом кружении коренастая фигура человека, похожего на лоцмана. В суде слушается дело скопцов,— В. Г. сидит среди публики, зарисовывая в книжку полумертвые лица изуверов, его видишь в зале земского собрания, за крестным ходом, всюду; нет ни одного заметного события, которое не привлекало бы спокойного внимания Короленко.

Около него крепко сплотилась значительная группа разнообразно недюжинных людей: Н. Ф. Анненский, человек острого и живого ума; С. Я. Елпатьевский, врач и беллетрист, обладатель неисчерпаемого сокровища любви к людям, добродушный и веселый; Ангел И. Богданович, вдумчивый и едкий; «барин от революции» А. И. Иванчин-Писарев; А. А. Савельев, председатель земской управы; Аполлон Карелин, автор самой краткой и красноречивой прокламации из всех мне известных; после 1-го марта 81-го года он расклеил по заборам Нижнего бумажку, содержавшую всего два слова: «Требуйте конституцию».

Кружок Короленко шутливо наименовался «Обществом трезвых философов»; иногда члены кружка читали интересные рефераты; я помню блестящий реферат Карелина о Сен-Жюсте и Елпатьевского о «новой поэзии»,— таковой в то время считалась поэзия Фофанова, Фруга, Коринфского, Медведского, Минского, Мережковского. К «трезвым» философам примыкали земские статистики Н. И. Дрягин, Кисляков, М. А. Плотников, Константинов, Шмидт и еще несколько таких же серьезных исследователей русской деревни; каждый из них оставил глубокий след в деле изучения путаной жизни

крестьянства. И каждый являлся центром небольшого кружка людей, которых эта таинственная жизнь глубоко интересовала, у каждого можно было кое-чему научиться. Лично для меня было очень полезно серьезное, лишенное всяческих прикрас, отношение к деревне. Таким образом влияние кружка Короленко распространялось очень широко, проникая даже в среду, почти недоступную культурным влияниям.

У меня был приятель, дворник крупного каспийского рыбопромышленника Маркова, Пимен Власьев,— обыкновенный, наскоро и незатейливо построенный, курносый русский мужик. Однажды, рассказывая мне о каких-то незаконных намерениях своего хозяина, он, таинственно понизив голос, сообщил:

— Он бы это дело сварганил, да — Короленки боится! Тут, знаешь, прислали из Петербурга тайного человека, Короленкой зовется, иностранному королю племяш, за границей наняли, чтобы он, значит, присматривал за делами,— на губернатора-то не надеются. Короленка этот уж подсек дворян — слыхал? *

Пимен был человек безграмотный и великий мечтатель; он обладал какой-то необыкновенно радостной верой в бога и уверенно ожидал в близком будущем конца «всякой лже».

— Ты, мил друг, не тоскуй, скоро лже конец. Она сама себя топит, сама себя ест!

Когда он говорил это, его мутновато-серые глаза, странно синея, горели и сияли великой радостью, казалось, что вот сейчас расплавятся они, изольются потоками синих лучей.

Как-то в субботу помылись мы с ним в бане и пошли в трактир пить чай. Вдруг Пимен, глядя на меня милыми глазами, говорит:

— Постой-ка?

---

* Литератор С. Елеонский утверждал в печати, что легенда о В. Г. Короленко, как «аглицком королевиче», суть «интеллигентская легенда». В свое время я писал ему, что он не прав в этом; легенда возникла в Нижнем Новгороде, создателем ее я считаю Пимена Власьева. Легенда эта была очень распространена в пижегородском краю. В 1903 г. я слышал ее во Владикавказе от балахнинского плотника.

Рука его, державшая блюдечко чая, задрожала, он поставил блюдечко на стол и, к чему-то прислушиваясь, перекрестился.

— Что ты, Пимен?

— А видишь, мил друг,— сей минут божья думка душе моей коснулась,— скоро, значит, господь позовет меня на его работу...

— Полно-ка, ты такой здоровяга!

— Молчок! — сказал он важно и радостно.— Не говори — знаю!

В четверг его убила лошадь.

...Не преувеличивая, можно сказать, что десятилетие 86—96 было для Нижнего «эпохой Короленко»; впрочем, это уже не однажды сказано в печати.

Один из оригиналов города, водочный заводчик А. А. Зарубин, «неосторожный» банкрот, а в конце дней — убежденный толстовец и проповедник трезвости, говорил мне в 1901 году:

— Еще во время Короленки догадался я, что неладно живу...

Он несколько опоздал наладить свою жизнь; «во время Короленки» ему было уже за пятьдесят лет, но все-таки он перестроил или, вернее, разрушил ее сразу, по-русски.

— Хворал я, лежу,— рассказывал он мне,— приходит племянник Семен, тот — знаешь? — в ссылке который, он тогда студент был. «Желаете,— говорит,— книжку почитаю?» И вот, братец ты мой, прочитал он «Сон Макаров», я даже заплакал, до того хорошо! Ведь как человек человека пожалеть может! С этого часа и повернуло меня. Позвал кума, приятеля, вот, говорю, сукин ты сын,— прочитай-ко! Тот прочитал,— богохульство, говорит. Рассердился я, сказал ему, подлецу, всю правду, разругались навсегда. А у него векселя мои были, и начал он меня подсиживать, ну, мне уж всё равно, дела я свои забросил, душа отказалась от них. Объявили меня банкротом, почти три года в остроге сидел. Сижу, думаю: будет дурить! Выпустили из острога, я сейчас к нему, Короленке,— учи! А его

в городе нету. Ну, я ко Льву нашему, к Толстому. «Вот как»,— говорю. «Очень хорошо,— говорит,— вполне правильно!» Так-то, брат! А Горинов откуда ума достал? Тоже у Короленки; и много других знаю, которые его душой жили. Хоть мы, купечество, и за высокими заборами живем, а и до нас правда доходит!

Я высоко ценю рассказы такого рода, они объясняют, какими иногда путями проникает дух культуры в быт и нравы диких племен.

Зарубин был седобородый грузный старик, с маленькими мутными глазами на пухлом розовом лице; зрачки — темные и казались странно выпуклыми, точно бусины. Было что-то упрямое в его глазах. Он создал себе репутацию «защитника законности» копейкой; с какого-то обывателя полиция неправильно взыскала копейку, Зарубин обжаловал действие полиции; в двух судебных инстанциях жалобу признали «неосновательной», тогда старик поехал в Петербург, в сенат, добился указа о запрещении взимать с обывателей копейку, торжествуя, возвратился в Нижний и принес указ в редакцию «Нижегородского листка», предлагая опубликовать. Но по распоряжению губернатора цензор вычеркнул указ из гранок. Зарубин отправился к губернатору и спросил его:

— Ты,— он всем говорил «ты»,— ты что же, друг, законы не признаешь?

Указ напечатали.

Он ходил по улицам города в длинной черной поддевке, в нелепой шляпе на серебряных волосах и в кожаных сапогах с бархатными голенищами. Таскал под мышкой толстый портфель с уставом «Общества трезвости», с массой обывательских жалоб и прошений, уговаривал извозчиков не ругаться математическими словами, вмешивался во все уличные скандалы, особенно наблюдал за поведением городовых и называл свою деятельность «преследованием правды».

Приехал в Нижний знаменитый тогда священник Иоанн Кронштадтский; у Архиерейской церкви собралась огромная толпа почитателей отца Иоанна,— Зарубин подошел и спросил:

— Что случилось?

— Ивана Кронштадтского ждут.

— Артиста императорских церквей? Дураки...

Его не обидели; какой-то верующий мещанин взял его за рукав, отвел в сторону и внушительно попросил:

— Уйди скорее, Христа ради, Александр Александрович!

Мелкие обыватели относились к нему с почтительным любопытством, и хотя некоторые называли «фокусником», но — большинство, считая старика своим защитником, ожидало от него каких-то чудес, всё равно каких, только бы неприятных городским властям.

В 1901 году меня посадили в тюрьму. Зарубин, тогда еще не знакомый со мною, пришел к прокурору Утину и потребовал свидания.

— Вы — родственник арестованного? — спросил прокурор.

— И не видал никогда, не знаю — каков.

— Вы не имеете права на свидание.

— А — ты Евангелие читал? Там что сказано? Как же это, любезный, людьми вы правите, а Евангелие не знаете?

Но у прокурора было свое евангелие и, опираясь на него, он отказал старику в его странной просьбе.

Разумеется, Зарубин был одним из тех — нередких — русских людей, которые, пройдя путаную жизнь, под конец ее, когда терять уже нечего, становятся «праволюбами», являясь, в сущности, только чудаками.

И, конечно, гораздо значительнее по смыслу — да и по результатам — слова другого нижегородского купца, Н. А. Бугрова. Миллионер, филантроп, старообрядец и очень умный человек, он играл в Нижнем роль удельного князя. Однажды в лирическую минуту пожаловался:

— Не умен, не силен, не догадлив народ — мы, купечество! Еще не стряхнули с себя дворян, а уж другие на шею нам садятся, земщики эти ваши, земцы, Короленки — пастыри! Короленко — особо неприятный господин; с виду — простец, а везде его знают, везде проникает...

Этот отзыв я слышал уже весною 93-го года, возвратясь в Нижний после длительной прогулки по России и Кавказу. За это время — почти три года — значение В. Г. Короленко как общественного деятеля и художника еще более возросло. Его участие в борьбе с голодом, стойкая и успешная оппозиция взбалмошному губернатору Баранову, «влияние на деятельность земства» — всё это было широко известно. Кажется, уже вышла его книга «Голодный год».

Помню суждение о Короленко одного нижегородца, очень оригинального человека:

— Этот губернский предводитель оппозиции властям в культурной стране организовал бы что-нибудь подобное «Армии спасения» или «Красному кресту»,— вообще нечто значительное, международное и культурное в истинном смысле этого понятия. А в милейших условиях русской жизни он наверняка израсходует свою энергию по мелочам. Жаль, это очень ценный подарок судьбы нам, нищим. Оригинальнейшая, совершенно новая фигура, в прошлом нашем я не вижу подобной, точнее — равной!

— А что вы думаете о его литературном таланте?

— Думаю, что он не уверен в его силе, и — напрасно! Он — типичный реформатор по всем качествам ума и чувства, но, кажется, это и мешает ему правильно оценить себя как художника, хотя именно его качества реформатора должны были — в соединении с талантом — дать ему больше уверенности и смелости в самооценке. Я боюсь, что он сочтет себя литератором «между прочим», а не «прежде всего»...

Это говорил один из героев романа Боборыкина «На ущербе» — человек распутный, пьяный, прекрасно образованный и очень умный. Мизантроп, он совершенно не умел говорить о людях хорошо или даже только снисходительно — тем ценнее было для меня его мнение о Короленко.

Но возвращаюсь к 89—90 годам.

Я не ходил к Владимиру Галактионовичу, ибо — как уже сказано — решительно отказался от попыток писать. Встречал я его только изредка мельком на улицах или в собраниях у знакомых, где он держался молча-

ливо, спокойно прислушиваясь к спорам. Его спокойствие волновало меня. Подо мною всё колебалось, вокруг меня — я хорошо видел это — начиналось некоторое брожение. Все волновались, спорили,— на чем же стоит этот человек? Но я не решался подойти к нему и спросить:

— «Почему вы спокойны?»

У моих знакомых явились новые книги: толстые тома Редкина, еще более толстая «История социальных систем» Щеглова, «Капитал», книга Лохвицкого о конституциях, литографированные лекции В. О. Ключевского, Коркунова, Сергеевича.

Часть молодежи увлекалась железной логикой Маркса, большинство ее жадно читало романы Бурже «Ученик», Сенкевича «Без догмата», повесть Дедлова «Сашенька» и рассказы о «новых людях»,— новым в этих людях было резко выраженное устремление к индивидуализму. Эта новенькая тенденция очень нравилась, и юношество стремительно вносило ее в практику жизни, высмеивая и жарко критикуя «обязанности интеллигенции» решать вопросы социального бытия.

Некоторые из новорожденных индивидуалистов находили опору для себя в детерминизме системы Маркса.

Ярославский семинарист А. Ф. Троицкий — впоследствии врач во Франции, в Орлеане — человек красноречивый, страстный спорщик, говорил:

— Историческая необходимость такая же мистика, как и учение церкви о предопределении, такая же угнетающая чепуха, как народная вера в судьбу. Материализм — банкротство разума, который не может обнять всего разнообразия явлений жизни и уродливо сводит их к одной, наиболее простой причине. Природе чуждо и враждебно упрощение, закон ее развития — от простого к сложному и сложнейшему. Потребность упрощать — наша детская болезнь, она свидетельствует только о том, что разум пока еще бессилен, не может гармонизировать всю сумму, весь хаос явлений.

Некоторые с удовольствием опирались на догматику эгоизма А. Смита, она вполне удовлетворяла их, и они становились «материалистами» в обыденном, вульгар-

ном смысле понятия. Большинство их рассуждало приблизительно так просто:

— Если существует историческая необходимость, ведущая силою своей человечество по пути прогресса,— значит, дело обойдется и без нас!

И, сунув руки в карманы, они равнодушно посвистывали. Присутствуя на словесных битвах в качестве зрителей, они наблюдали, как вороны, сидя на заборе, наблюдают яростный бой петухов. Порою — и всё чаще — молодежь грубовато высмеивала «хранителей заветов героической эпохи». Мои симпатии были на стороне именно этих «хранителей», людей чудаковатых, но удивительно чистых. Они казались мне почти святыми в увлечении «народом» — объектом их любви, забот и подвигов. В них я видел нечто героикомическое, но меня увлекал их романтизм, точнее — социальный идеализм. Я видел, что они раскрашивают «народ» слишком нежными красками, я знал, что «народа», о котором они говорят,— нет на земле; на ней терпеливо живет близоруко хитрый, своекорыстный мужичок, подозрительно и враждебно поглядывая на всё, что не касается его интересов; живет тупой, жуликоватый мещанин, насыщенный суевериями и предрассудками еще более ядовитыми, чем предрассудки мужика, работает на земле волосатый крепкий купец, неторопливо налаживая сытую, законно-зверячью жизнь.

В хаосе мнений противоречивых и всё более остро враждебных, следя за борьбою чувства с разумом, в этих битвах, из которых истина, казалось мне, должна была стремглав убегать или удаляться изувеченной,— в этом кипении идей я не находил ничего «по душе» для меня.

Возвращаясь домой после этих бурь, я записывал мысли и афоризмы, наиболее поражавшие меня формой или содержанием, вспоминая жесты и позы ораторов, выражение лиц, блеск глаз, и всегда меня несколько смущала и смешила радость, которую испытывал тот или другой из них, когда им удавалось нанести совопроснику хороший словесный удар, «закатить» ему «под душу». Было странно видеть, что о добре и красоте, о гуманизме и справедливости говорят, прибегая к хи-

тростям эристики, не щадя самолюбия друг друга, часто с явным желанием оскорбить, с грубым раздражением, со злобою.

У меня не было той дисциплины или, вернее, техники мышления, которую дает школа, я накопил много материала, требовавшего серьезной работы над ним, а для этой работы нужно было свободное время, чего я тоже не имел. Меня мучили противоречия между книгами, которым я почти непоколебимо верил, и жизнью, которую я уже достаточно хорошо знал. Я понимал, что умнею, но чувствовал, что именно это чем-то портит меня; как небрежно груженное судно, я получил сильный крен на один борт. Чтобы не нарушать гармонии хора, я, обладая веселым тенором, старался — как многие — говорить суровым басом; это было тяжело и ставило меня в ложную позицию человека, который, желая отнестись ко всем окружающим любовно и бережно,— относится неискренно к себе самому.

Так же, как в Казани, Борисоглебске, Царицыне, здесь я тоже испытывал недоумение и тревогу, наблюдая жизнь интеллигенции. Множество образованных людей жило трудной, полуголодной, унизительной жизнью, тратило ценные силы на добычу куска хлеба, а — жизнь вокруг так ужасающе бедна разумом. Это особенно смущало меня. Я видел, что все эти разнообразно хорошие люди — чужие в своей родной стране, они окружены средою, которая враждебна им, относится к ним подозрительно, насмешливо. А сама эта среда изгнивала в липком болоте окаянных, «идиотических» мелочей жизни.

Мне было снова неясно, почему интеллигенция не делает более энергичных усилий пробиться в массу людей, пустая жизнь которых казалась мне совершенно бесполезной, возмущала меня своею духовной нищетой, диковинной скукой, а особенно — равнодушной жестокостью в отношении людей друг к другу.

Я тщательно собирал мелкие редкие крохи всего, что можно назвать необычным — добрым, бескорыстным, красивым,— до сего дня в моей памяти ярко вспыхивают эти искры счастья видеть человека — человеком. Но все-таки я был душевно голоден, и одуряющий яд

книг уж не насыщал меня. Мне хотелось какой-то разумной работы, подвига, бунта, и порою я кричал:

— Шире бери!

— Держи карман шире! — иронически ответил мне Н. Ф. Анненский, у которого всегда было в запасе меткое словечко.

К этому времени относится очень памятная мне беседа с В. Г. Короленко.

Летней ночью я сидел на Откосе, высоком берегу Волги, откуда хорошо видно пустынные луга Заволжья и сквозь ветви деревьев — реку. Незаметно и неслышно на скамье, рядом со мною, очутился В. Г., я почувствовал его только тогда, когда он толкнул меня плечом, говоря:

— Однако как вы замечтались! Я хотел шляпу снять с вас, да подумал — испугаю.

Он жил далеко, на противоположном конце города. Было уже более двух часов ночи. Он, видимо, устал, сидел, обнажив курчавую голову и отирая лицо платком.

— Поздно гуляете,— сказал он.

— И вы тоже.

— Да. Следовало сказать: гуляем! Как живете, что делаете?

После нескольких незначительных фраз он спросил:

— Вы, говорят, занимаетесь в кружке Скворцова? Что это за человек?

П. Н. Скворцов был в то время одним из лучших знатоков теории Маркса, он не читал никаких книг, кроме «Капитала», и гордился этим. Года за два до издания «Критических заметок» П. Б. Струве он читал в гостиной адвоката Щеглова статью, основные положения которой были те же, что и у Струве, но — хорошо помню — более резки по форме. Эта статья поставила Скворцова в положение еретика, что не помешало ему сгруппировать кружок молодежи; позднее многие из членов этого кружка играли весьма видную роль в строении с.-д. партии. Он был поистине человек «не от мира сего». Аскет, он зиму и лето гулял в легком пальто, в худых башмаках, жил впроголодь и при этом еще заботился о «сокращении потребностей» — питался в течение нескольких недель одним сахаром, съедая его по три осьмых фунта в день —

не больше и не меньше. Этот опыт «рационального питания» вызвал у него общее истощение организма и серьезную болезнь почек.

Небольшого роста, он был весь какой-то серый, а светло-голубые глаза улыбались улыбкой счастливца, познавшего истину в полноте, недоступной никому, кроме него. Ко всем инаковерующим он относился с легким пренебрежением, жалостливым, но не обидным. Курил толстые папиросы из дешевого табака, вставляя их в длинный, вершков десяти, бамбуковый мундштук,— он носил его за поясом брюк, точно кинжал.

Я наблюдал Павла Николаевича в табуне студентов, которые коллективно ухаживали за приезжей барышней, существом редкой красоты. Скворцов, соревнуя юным франтам, тоже кружился около барышни и был величественно нелеп со своим мундштуком, серый, в облаке душного серого дыма. Стоя в углу, четко выделяясь на белом фоне изразцовой печи, он методически спокойно, тоном старообрядческого начетчика изрекал тяжелые слова отрицания поэзии, музыки, театра, танцев и непрерывно дымил на красавицу.

— Еще Сократ говорил, что развлечения — вредны! — неопровержимо доказывал он.

Его слушала изящная шатенка, в белой газовой кофточке, и, кокетливо покачивая красивой ножкой, натянуто любезно смотрела на мудреца темными чудесными глазами,— вероятно, тем взглядом, которым красавицы Афин смотрели на курносого Сократа; взгляд этот немо, но красноречиво спрашивал:

«Скоро ты перестанешь, скоро уйдешь?»

Он доказал ей, что Короленко вреднейший идеалист и метафизик, что вся литература — он ее не читал — «пытается гальванизировать гнилой труп народничества». Доказал и наконец, сунув мундштук за пояс, торжественно ушел, а барышня, проводив его, в изнеможении — и, конечно, красиво — бросилась на диван, возгласив жалобно:

— Господи, это же не человек, а — дурная погода!

В. Г., смеясь, выслушал мой рассказ, помолчал, посмотрел на реку, прищурив глаза, и негромко, дружески заговорил:

— Не спешите выбрать верования, я говорю — выбрать, потому что, мне кажется, теперь их не вырабатывают, а именно — выбирают. Вот быстро входит в моду материализм, соблазняя своей простотой. Он особенно привлекает тех, кому лень самостоятельно думать. Его охотно принима́ют франты, которым нравится всё новое, хотя бы оно и не отвечало их натурам, вкусам, стремлениям...

Он говорил задумчиво, точно беседуя сам с собою, порою прерывал речь и слушал, как где-то внизу, на берегу, фыркает пароотводная трубка, гудят сигналы на реке.

Говорил он о том, что всякая разумная попытка объяснить явления жизни заслуживает внимания и уважения, но следует помнить, что «жизнь слагается из бесчисленных, странно спутанных кривых» и что «крайне трудно заключить ее в квадраты логических построений».

— Трудно привести даже в относительный порядок эти кривые, взаимно пересекающиеся линии человеческих действий и отношений,— сказал он, вздохнув и махая шляпой в лицо себе.

Мне нравилась простота его речи и мягкий, вдумчивый тон. Но по существу всё, что он говорил о марксизме, было уже — в других словах — знакомо мне. Когда он прервал речь, я торопливо спросил его: почему он такой ровный, спокойный?

Он надел шляпу, взглянул в лицо мне и, улыбаясь, ответил:

— Я знаю, что мне нужно делать, и убежден в полезности того, что делаю. А — почему вы спросили об этом?

Тогда я начал рассказывать ему о моих недоумениях и тревогах. Он отодвинулся от меня, наклонился — так ему было удобнее смотреть в лицо мне — и молча, внимательно слушал.

Потом тихо сказал:

— В этом немало верного! Вы наблюдаете хорошо...

И — усмехнулся, положив руку на плечо мне.

— Не ожидал, что вас волнуют эти вопросы. Мне го-

ворили о вас как о человеке иного характера... веселом, грубоватом и враждебном интеллигенции...

И как-то особенно крепко он стал говорить об интеллигенции: она всегда и везде была оторвана от народа, но это потому, что она идет впереди, таково ее историческое назначение.

— Это — дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте каждого нового строительства. Сократ, Джордано Бруно, Галилей, Робеспьер, наши декабристы, Перовская и Желябов, все, кто сейчас голодают в ссылке,— с теми, кто в эту ночь сидит за книгой, готовя себя к борьбе за справедливость, а прежде всего, конечно, в тюрьму,— всё это — самая живая сила жизни, самое чуткое и острое орудие ее.

Он взволнованно поднялся на ноги и, шагая перед скамьей взад и вперед, продолжал:

— Человечество начало творить свою историю с того дня, когда появился первый интеллигент; миф о Прометее — это рассказ о человеке, который нашел способ добывать огонь и тем сразу отделил людей от зверей. Вы правильно заметили недостатки интеллигенции, книжность, отрыв от жизни,— но еще вопрос: недостатки ли это? Иногда для того, чтобы хорошо видеть, необходимо именно отойти, а не приблизиться. А главное, что я вам дружески советую, считая себя более опытным, чем вы,— обращайте больше внимания на достоинства! Подсчет недостатков увлекает всех нас — это очень простое и не безвыгодное дело для каждого. Но — Вольтер, несмотря на его гениальность, был плохой человек, однако он сделал великое дело, выступив защитником несправедливо осужденного. Я не говорю о том, сколько мрачных предрассудков разрушено им, но вот эта его упрямая защита безнадежного, казалось, дела — это великий подвиг! Он понимал, что человек прежде всего должен быть гуманным человеком. Необходима — справедливость! Когда она, накопляясь понемногу, маленькими искорками, образует большой огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли, и только тогда жизнь изменит свои тяжелые, печальные формы. Упрямо, не щадя себя, никого и ничего не щадя, вносите в жизнь справедливость,— вот как я думаю.

Он, видимо, устал,— он говорил очень долго,— сел на скамью, но, взглянув в небо, сказал:

— А ведь уже поздно, или — рано, светло! И, кажется, будет дождь. Пора домой!

Я жил в двух шагах, он — версты за две. Я вызвался проводить его, и мы пошли по улицам сонного города, под небом в темных тучах.

— Что же — пишете вы?

— Нет.

— Почему?

— Времени не имею...

— Жаль и напрасно. Если б вы хотели, время нашлось бы. Я серьезно думаю — кажется, у вас есть способности. Плохо вы настроены, сударь...

Он стал рассказывать о непоседливом Глебе Успенском, но — вдруг хлынул обильный летний дождь, покрыв город серой сетью. Мы постояли под воротами несколько минут и, видя, что дождь надолго,— разошлись...

О ВРЕДЕ ФИЛОСОФИИ

...Я давно уже чувствовал необходимость понять — как возник мир, в котором я живу, и каким образом я постигаю его? Это естественное и — в сущности — очень скромное желание незаметно выросло у меня в неодолимую потребность, и, со всей энергией юности, я стал настойчиво обременять знакомых «детскими» вопросами. Одни искренно не понимали меня, предлагая книги Ляйеля и Лёббока, другие, тяжело высмеивая, находили, что я занимаюсь «ерундой»; кто-то дал «Историю философии» Льюиса, эта книга показалась мне скучной,— я не стал читать ее.

Среди знакомых моих появился странного вида студент в изношенной шинели, в короткой синей рубахе, которую ему приходилось часто одергивать сзади, дабы скрыть некоторый пробел в нижней части костюма. Близорукий, в очках, с маленькой раздвоенной бородкой, он носил длинные волосы «нигилиста»; удивительно густые, рыжеватого цвета, они опускались до плеч его прямыми, жесткими прядями. В лице этого человека было что-то общее с иконой Нерукотворенного Спаса. Двигался он медленно, неохотно, как бы против воли; на вопросы, обращенные к нему, отвечал кратко и не то — угрюмо, не то — насмешливо. Я заметил, что он, как Сократ, говорит вопросами. К нему относились неприязненно.

Я познакомился с ним, и, хотя он был старше меня года на четыре, мы быстро, дружески сошлись. Звали его Николай Захарович Васильев, по специальности он был химик.

Прекрасный человек, великолепно образованный, он, как почти все талантливые русские люди, имел стран-

ности: ел ломти ржаного хлеба, посыпая их толстым слоем хинина, смачно чмокал и убеждал меня, что хинин — весьма вкусное лакомство. А главное — полезен: укрощает буйство «инстинкта рода». Он вообще проделывал над собою какие-то небезопасные опыты: принимал бромистый кали и вслед за тем курил опиум, отчего едва не умер в судорогах; принял сильный раствор какой-то металлической соли и тоже едва не погиб. Доктор, суровый старик, исследовав остатки раствора, сказал:

— Лошадь от этого издохла бы. Даже, пожалуй, пара лошадей! Вам эта штука тоже не пройдет даром, будьте уверены.

Этими опытами Николай испортил себе все зубы, они у него позеленели и выкрошились. Он кончил все-таки тем, что — намеренно или нечаянно — отравился в 901 году в Киеве, будучи ассистентом профессора Коновалова и работая с индигоидом.

В 89—90 годах это был крепкий, здоровый человек, чудаковато забавный и веселый наедине со мною, несколько ехидный в компании.

Помню, мы взяли в земской управе какую-то счетную работу, она давала нам рубль в день. И вот Николай, согнувшись над столом, поет нарочито гнусным тенорком на голос «Смотрите здесь, смотрите там»:

Сто двадцать три
И двадцать два —
Сто сорок пять,
Сто сорок пять!

Поет десять минут, полчаса, еще поет,— теноришко его звучит всё более гнусно. Наконец — прошу:

— Перестань!

Он смотрит на стенные часы и — говорит:

— У тебя очень хорошая нервная система. Не всякий выдержит спокойно такую пытку в течение сорока семи минут. Я одному знакомому медику «Аллилуйю» пел, так он на тринадцатой минуте чугунной пепельницей бросил в меня. А готовился он на психиатра.

Николай постоянно читал немецкие философские книги и собирался писать сочинение на тему «Гегель и

Сведенборг». Гегелева «Феноменология духа» воспринималась им как нечто юмористическое; лежа на диване, который мы называли «Кавказским хребтом», он хлопал книгой по животу своему, дрыгал ногами и хохотал почти до слез.

Когда я спросил его: над чем он смеется? — Николай, сожалея, ответил:

— Не могу, брат, не сумею объяснить тебе это, уж очень суемудрая штука! Ты — не поймешь! Но, знаешь ли,— забавнейшая история!

После настойчивых просьб моих он долго, с увлечением, говорил мне о «мистике разумного», я действительно ничего не понял и был весьма огорчен этим.

О своих занятиях философией он говорил:

— Это, брат, так же интересно, как семечки подсолнуха грызть, и, приблизительно, так же полезно!

Когда он приехал из Москвы на каникулы, я, конечно, обратился к нему с «детскими» вопросами и этим очень обрадовал его.

— Ага, требуется философия? Превосходно! Это я люблю. Сия духовная пища будет дана тебе в потребном количестве.

Он предложил прочесть для меня несколько лекций.

— Это будет легче и, надеюсь, приятнее для тебя, чем сосать Льюиса!

Через несколько дней, поздно вечером, я сидел в полуразрушенной беседке заглохшего сада; яблони и вишни в нем обросли лишаями, кусты малины, смородины, крыжовника густо разрослись, закрыв дорожки тысячью цепких веток, по дорожкам бродил в сером халате, покашливая и ворча, отец Николая, чиновник духовной консистории, страдавший старческим слабоумием.

Со всех сторон возвышались стены каких-то сараев, сад помещался как бы на дне квадратной черной ямы, и чем ближе подходила ночь, тем глубже становилась яма. Было душно, со двора доносился тяжкий запах помоев; хорошо нагретых за день жарким солнцем июня.

— Будем философствовать,— говорил Николай, причмокивая и смакуя слова. Он сидел в углу беседки, облокотясь на стол, врытый в землю. Огонек папиросы, вспыхивая, освещал его странное лицо, отражался в

стеклах очков. У Николая была лихорадка, он зябко кутался в старенькое пальто, шаркал ногами по земляному полу беседки, стол сердито скрипел.

Я напряженно слушал пониженный голос товарища, он интересно и понятно изложил мне систему Демокрита, рассказал о теории атомов, как она принята наукой, потом вдруг сказал: «Подожди!» — и долго молчал, куря папиросу за папиросой.

Уже ночь наступила, ночь без луны и звезд, небо над садом было черно, духота усилилась, в соседнем доме психиатра Кащенко трогательно пела виолончель, с чердака, из открытого окна, доносился старческий кашель.

— Вот что, брат,— заговорил Николай, усиленно куря и еще более понизив голос,— тебе следует относиться ко всем этим штукам с великой осторожностью! Некто,— забыл, кто именно,— весьма умно сказал, что убеждения просвещенных людей так же консервативны, как и навыки мысли неграмотной, суеверной массы народа. Это — еретическая мысль, но в ней скрыта печальная правда. И выражена она еще мягко, на мой взгляд. Ты прими эту мысль и хорошенько помни ее.

Я хорошо помню эти слова, вероятно, самого лучшего и дружески искреннего совета из всех советов, когда-либо данных мне. Слова эти как-то пошатнули меня, отозвались в душе гулко и еще более напрягли мое внимание.

— Ты — человек, каким я желаю тебе остаться до конца твоих дней. Помни то, что уже чувствуешь: свобода мысли — единственная и самая ценная свобода, доступная человеку. Ею обладает только тот, кто, ничего не принимая на веру, всё исследует, кто хорошо понял непрерывность развития жизни, ее неустанное движение, бесконечную смену явлений действительности.

Он встал, обошел вокруг стола и сел рядом со мною.

— Всё, что я сказал тебе, — вполне умещается в трех словах: живи своим умом! Вот. Я не хочу вбивать мои мнения в твой мозг; я вообще никого и ничему не могу учить, кроме математики, впрочем. Я особенно не хочу именно тебя учить, понимаешь? Я — рассказываю. А делать кого-то другого похожим на меня, это, брат, по-моему, свинство. Я особенно не хочу, чтоб ты

думал похоже на меня, это совершенно не годится тебе, потому что, брат, я думаю плохо.

Он бросил папиросу на землю, растоптав ее двумя слишком сильными ударами ноги. Но тотчас закурил другую папиросу и, нагревая на огне спички ноготь большого пальца, продолжал, усмехаясь невесело:

— Вот, например, я думаю, что человечество до конца дней своих будет описывать факты и создавать из этих описаний более или менее неудачные догадки о существе истины или же, не считаясь с фактами, творить фантазии. В стороне от этого — под, над этим — бог. Но бог — это для меня неприемлемо. Может быть, он и существует, но — я его не хочу. Видишь,— как нехорошо я думаю? Да, брат... Есть люди, которые считают идеализм и материализм совершенно равноценными заблуждениями разума. Они — в положении чертей, которым надоел грязный ад, но — не хочется и скучной гармонии рая.

Он вздохнул, прислушался к пению виолончели.

— Умные люди говорят, что мы знаем только то, что думаем по поводу видимого нами, но — не знаем, то́ ли и так ли мы думаем, как надо? А ты — и в это не верь. Ищи сам...

Я был глубоко взволнован его речью, я понял в ней столько, сколько надо было понять для того, чтоб почувствовать боль души Николая. Взяв друг друга за руки, мы с минуту стояли молча. Хорошая минута. Вероятно, одна из лучших минут счастья, испытанного мною в жизни,— эта жизнь, достаточно разнообразная, могла бы дать мне несколько больше таких минут. Впрочем — человек жаден. Это одно из его достоинств, но — по недоразумению, а вернее, по лицемерию — оно признается пороком.

Мы вышли на улицу и остановились у ворот, слушая отдаленный гром. По черным облакам скользили отблески молнии, а на востоке облака уже горели и плавились в огне утренней зари.

— Спасибо, Никола!

— Пустяки...

Я пошел.

— Слушай-ко,— весело и четко прозвучал голос

Николая,— в Москве живет нечаевец Орлов, чудесный старикан! Так он говорит: «Истина — это только мышление о ней». Ну, иди! До завтра...

Пройдя несколько шагов, я оглянулся, Николай стоял, прислонясь к столбу фонаря, и смотрел в небо, на восток. Синие струйки дыма поднимались над копной его волос. Я ушел от него в прекрасном, лирическом настроении,— вот передо мною открываются «врата великих тайн».

Но на другой день Никола развернул передо мною жуткую картину мира, как представлял его Эмпедокл. Этот странный мир, должно быть, особенно привлекал симпатии лектора: Николай рисовал мне его с увлечением, остроумно, выпукло и чаще, чем всегда, вкусно чмокал.

Так же, как накануне, был поздний вечер, а днем выпал проливной дождь. В саду было сыро, вздыхал ветер, бродили тени, по небу неслись черные клочья туч, открывая голубые пропасти и звезды, бегущие стремительно.

Я видел нечто неописуемо страшное: внутри огромной, бездонной чаши, опрокинутой набок, носятся уши, глаза, ладони рук с растопыренными пальцами, катятся головы без лиц, идут человечьи ноги, каждая отдельно от другой, прыгает нечто неуклюжее и волосатое, напоминая медведя, шевелятся корни деревьев, точно огромные пауки, а ветви и листья живут отдельно от них; летают разноцветные крылья, и немо смотрят на меня безглазые морды огромных быков, а круглые глаза их испуганно прыгают над ними; вот бежит окрыленная нога верблюда, а вслед за нею стремительно несется рогатая голова совы,— вся видимая мною внутренность чаши заполнена вихревым движением отдельных членов, частей, кусков, иногда соединенных друг с другом иронически безобразно.

В этом хаосе мрачной разобщенности, в немом вихре изорванных тел величественно движутся, противоборствуя друг другу, Ненависть и Любовь, неразличимо подобные одна другой, от них изливается призрачное, голубоватое сияние, напоминая о зимнем небе в солнечный день, и освещает всё движущееся мертвенно однотонным светом.

Я не слушал Николая, поглощенный созерцанием видения и как бы тоже медленно вращаясь в этом мире, изломанном на куски, как будто взорванном изнутри и падающем, по спирали, в бездонную пропасть голубого, холодного сияния. Я был так подавлен видимым, что, в оцепенении, не мог сразу ответить на вопросы Николая:

— Ты уснул? Не слушаешь?

— Больше не могу.

— Почему?

Я объяснил.

— У тебя, брат, слишком разнуздано воображение,— сказал он, закуривая папиросу.— Это не очень похвально. Ну что ж, пойдем гулять?

Пошли на Откос, по улице, вдоль которой блестели лужи, то являясь, то исчезая. Тени торопливо ползли по крышам домов и земле.

Николай говорил, что тряпку на бумажных фабриках нужно белить хлористым натром,— это лучше и дешевле. Потом рассказывал о работе какого-то профессора, который ищет, как удлинить древесное волокно.

А предо мною всё плавали оторванные руки, печальные чьи-то глаза.

Через день Николая вызвали телеграммой в Москву, в университет, и он уехал, посоветовав мне не заниматься философией до его возвращения.

Я остался с тревожным хаосом в голове, с возмущенной душой, а через несколько дней почувствовал, что мозг мой плавится и кипит, рождая странные мысли, фантастические видения и картины. Чувство тоски, высасывающей жизнь, охватило меня, и я стал бояться безумия. Но я был храбр, решил дойти до конца страха, и, вероятно, именно это спасло меня.

Жуткие ночи переживал я. Сидишь, бывало, на Откосе, глядя в мутную даль заволжских лугов, в небо, осыпанное золотой пылью звезд, и — вдруг начинаешь ждать, что вот сейчас, в ночной синеве небес, явится круглое черное пятно, как отверстие бездонного колодца, а из него высунется огненный палец и погрозит мне.

Или: по небу, сметая и гася звезды, проползет толстая серая змея в ледяной чешуе и навсегда оставит за

собою непроницаемую, каменную тьму и тишину. Казалось возможным, что все звезды Млечного Пути сольются в огненную реку и вот сейчас она низринется на землю.

Вдруг на месте Волги разевала серую пасть бездонная щель, и в нее отовсюду сбегались, играя, потоки детей, катились бесконечные вереницы солдат с оркестрами музыки впереди; крестным ходом текли толпы народа со множеством священников, хоругвей, икон, ехали неисчислимые обозы, шли миллионы мужиков, с палками в руках, котомками за спиной, все на одно лицо; туда же, в эту щель, всасывались облака, втягивалось небо, колесом катилась изломанная луна и вихрем сыпались звезды, точно медные снежинки.

Я ожидал, что широкая плоскость лугов начнет свертываться в свиток, точно лист бумаги, этот свиток покатится через реку, всосет воду, затем высокий берег реки тоже свернется, как береста или кусок кожи на огне, и когда всё видимое превратится в черный свиток,— чья-то снежно-белая рука возьмет его и унесет. А я останусь один, повиснув неподвижно в непоколебимой тишине.

Из горы, на которой я сидел, могли выйти большие черные люди с медными головами. Вот они, тесной толпою, идут по воздуху и наполняют мир оглушающим звоном, от него падают, как срезанные невидимою пилой, деревья, колокольни, разрушаются дома, и вот — всё на земле превратилось в столб зеленовато горящей пыли, осталась только круглая гладкая пустыня и посреди я, один на четыре вечности. Именно —на четыре, я видел эти вечности, огромные темно-серые круги тумана или дыма, они медленно вращаются в непроницаемой тьме, почти не отличаясь от нее своим призрачным цветом.

Видел я бога,— это Саваоф, совершенно такой, каким его изображают на иконах и картинах: благообразный, седобородый, с равнодушными глазами. Одиноко сидя на большом, тяжелом престоле, он шьет золотою иглой и голубой ниткой чудовищно длинную белую рубаху, она опускается до земли прозрачным облаком. Вокруг бога — пустота, и в нее невозможно смотреть без ужаса,

потому что она непрерывно и безгранично ширится, углубляется.

За рекою, на темной плоскости, вырастает, почти до небес, человечье ухо, обыкновенное ухо, с толстыми волосами в раковине, вырастает и — слушает всё, что думаю я.

Длинным, двуручным мечом средневекового палача, гибким, как бич, я убивал бесчисленное множество людей, они шли ко мне справа и слева, мужчины и женщины, все — нагие, шли молча, склонив головы, покорно вытягивая шеи. Сзади меня стояло неведомое существо, и это его волей я убивал, а оно дышало в мозг мне холодными иглами.

Ко мне подходила голая женщина на птичьих лапах вместо ступней ног, из ее грудей исходили золотые лучи, вот она вылила на голову мне пригоршни жгучего масла, и, вспыхнув, точно клок ваты, я исчезал.

Ночной сторож Ибрагим Губайдуллин несколько раз поднимал меня на верхней аллее Откоса и отводил домой, ласково уговаривая:

— Засэм гуляйшь больной? Больной — лежать дома нада...

Иногда, измученный бредовыми видениями, я бежал к реке и купался,— это несколько помогало мне.

А дома меня ожидали две мыши, прирученные мною. Они жили за деревянной обшивкой стены; в ней, на уровне стола, они прогрызли щель и вылезали прямо на стол, когда я начинал шуметь тарелками ужина, оставленного для меня квартирной хозяйкой.

И вот я видел: забавные животные превращались в маленьких серых чертенят и, сидя на коробке с табаком, болтали мохнатыми ножками, важно разглядывая меня, в то время как скучный голос, неведомо чей, шептал, напоминая тихий шум дождя:

— Общая цель всех чертей — помогать людям в поисках несчастий.

— Это — ложь! — кричал я, озлобляясь.— Никто не ищет несчастий...

Тогда являлся Никто. Я слышал, как он гремит щеколдой калитки, отворяет дверь крыльца, прихожей, и — вот он у меня в комнате. Он — круглый, как мыль-

ный пузырь, без рук, вместо лица у него — циферблат часов, а стрелки — из моркови; к ней у меня с детства идиосинкразия. Я знаю, что это муж той женщины, которую я люблю, он только переоделся, чтоб я не узнал его. Вот он превращается в реального человека, толстенького, с русой бородой, мягким взглядом добрых глаз; улыбаясь, он говорит мне всё то, злое и нелестное, что я думаю о его жене и что никому, кроме меня, не может быть известно.

— Вон! — кричу я на него.

Тогда за моей спиной раздается стук в стену,— это стучит квартирная хозяйка, милая и умная Фелицата Тихомирова. Ее стук возвращает меня в мир действительности, я обливаю голову холодной водой и через окно, чтоб не хлопать дверями, не беспокоить спящих, вылезаю в сад,— там сижу до утра.

Утром, за чаем, хозяйка говорит:

— А вы опять кричали ночью...

Мне невыразимо стыдно, я презираю себя.

...В ту пору я работал как письмоводитель у присяжного поверенного А. И. Ланина, прекрасного человека, которому я очень многим обязан. Однажды, когда я пришел к нему, он встретил меня, бешено размахивая какими-то бумагами и крича:

— Вы с ума сошли? Что это вы, батенька, написали в апелляционной жалобе? Извольте немедля переписать,— сегодня истекает срок подачи. Удивительно! Если это — шутка, то — плохая, я вам скажу!

Я взял из его рук жалобу и прочитал в тексте со четко написанное четверостишие:

Ночь бесконечно длится...
Муке моей — нет меры!
Если б умел я молиться!
Если бы знал счастье веры!

Для меня эти стихи были такой же неожиданностью, как и для патрона, я смотрел на них и почти не верил, что это написано мною.

Вечером, за работой, А. И. подошел ко мне, говоря:

— Вы извините, я накричал на вас! Но, знаете,— такой случай... Что с вами? Последнее время на вас лица нет и похудели вы ужасно...

— Бессонница,— сказал я.

— Надо полечиться.

Да, надо было что-то делать. От этих видений и ночных бесед с разными лицами, которые неизвестно как появлялись предо мною и неуловимо исчезали, едва только сознание действительности возвращалось ко мне, от этой слишком интересной жизни на границе безумия необходимо было избавиться. Я достиг уже такого состояния, что даже и днем, при свете солнца, напряженно ожидал чудесных событий.

Наверное, я не очень удивился бы, если б любой дом города вдруг перепрыгнул через меня. Ничто, на мой взгляд, не мешало лошади извозчика, встав на задние ноги, провозгласить глубоким басом:

«Анафема!»

Или — вот на скамье бульвара, у стены кремля, сидит женщина в соломенной шляпе и желтых перчатках. Если я подойду к ней и скажу: «Бога нет!» — она удивленно, обиженно воскликнет: «Как? А — я?», тотчас превратится в крылатое существо и улетит; вслед за тем вся земля немедленно порастет толстыми деревьями без листьев, с их ветвей и стволов будет капать жирная сипяя слизь, а меня, как уголовного преступника, приговорят быть двадцать три года жабой и чтоб я всё время, день и ночь, звонил в большой, гулкий колокол Вознесенской церкви.

Так как мне очень, нестерпимо хочется сказать даме, что бога — нет, но я хорошо вижу, каковы будут последствия моей искренности,— я как можно скорее, стороной, почти бегом, ухожу.

Всё — возможно. И возможно, что ничего нет, поэтому мне нужно дотрагиваться рукою до заборов, стен, деревьев. Это несколько успокаивает. Особенно — если долго бить кулаком по твердому, убеждаешься, что оно существует.

Земля — очень коварна: идешь по ней так же уверенно, как все люди, но вдруг ее плотность исчезает под ногами, земля становится такой же проницаемой, как

воздух — оставаясь темной,— и душа стремглав падает в эту тьму бесконечно долгое время, оно длится секунды.

Небо — тоже ненадежно; оно может в любой момент изменить форму купола на форму пирамиды вершиной вниз, острие вершины упрется в череп мой, и я должен буду неподвижно стоять на одной точке до поры, пока железные звезды, которыми скреплено небо, не перержавеют, тогда оно рассыплется рыжей пылью и похоронит меня.

Всё возможно. Только жить невозможно в мире таких возможностей.

Душа моя сильно болела. И если б, два года тому назад, я не убедился личным опытом, как унизительна глупость самоубийства, я наверное применил бы этот способ лечения больной души.

...Маленький, черный, горбатый психиатр, человек одинокий, умница и скептик, часа два расспрашивал, как я живу, потом, хлопнув меня по колену странно белой рукою, сказал:

— Вам, дружище, прежде всего надо забросить ко всем чертям книжки и вообще всю дребедень, которой вы живете! По комплекции вашей вы человек здоровый, и — стыдно вам так распускать себя. Вам необходим физический труд. Насчет женщин — как? Ну! это тоже не годится! Предоставьте воздержание другим, а себе заведите бабенку, которая пожаднее к любовной игре,— это будет полезно!

Он дал мне еще несколько советов, одинаково неприятных и неприемлемых для меня, написал два рецепта, затем сказал несколько фраз, очень памятных мне:

— Я кое-что слышал о вас, и — прошу извинить, если это не понравится вам! — вы кажетесь мне человеком, так сказать, первобытным. А у первобытных людей фантазия всегда преобладает над логическим мышлением. Всё, что вы читали, видели,— возбудило у вас только фантазию, а она — совершенно непримирима с действительностью, которая хотя тоже фантастична, но — на свой лад. Затем: один древний умник сказал: «Кто охотно противоречит, тот не способен научиться

ничему дельному». Сказано — хорошо! Сначала — изучать, потом — противоречить, так надо!

Провожая меня, он повторил с улыбкой веселого чёрта:

— А — бабеночка очень полезна для вас!

Через несколько дней я ушел из Нижнего в Симбирскую колонию толстовцев и, придя туда, узнал от крестьян историю ее разрушения.

О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

...Тогда же судьба, в целях воспитания моего, заставила меня пережить трагикомические волнения первой любви.

Компания знакомых собралась кататься в лодках по Оке, мне поручили пригласить на прогулку супругов К.— они недавно приехали из Франции, но я еще не был знаком с ними. Я пошел к ним вечером.

Жили они в подвале старого дома; против него, не просыхая всю весну и почти всё лето, распростерлась во всю ширину улицы грязная лужа; вороны и собаки пользовались ею как зеркалом, свиньи брали в ней ванны.

Находясь в состоянии некоторой задумчивости, я ввалился в квартиру незнакомых мне людей, подобно камню, скатившемуся с горы, и — вызвал странное смятение обитателей ее. Предо мною, заткнув дверь в следующую комнату, сумрачно встал толстенький, среднего роста человек, с русой окладистой бородой и добрым взглядом голубых глаз.

Оправляя костюм, он неласково спросил:

— Что вам угодно?

И поучительно добавил:

— Раньше, чем войти,— нужно стучать в дверь!

За его спиною, в сумраке комнаты, металось и трепетало что-то похожее на большую белую птицу, и прозвучал звонкий, веселый голос:

— Особенно,— если входите к женатым людям...

Я сердито спросил: те ли они люди, кого мне нужно? И когда человек, похожий на благополучного лавочника, ответил утвердительно,— объяснил ему, зачем я пришел.

— Вас прислал Кларк, говорите? — солидно и за-

думчиво поглаживая бороду, осведомился мужчина и в ту же минуту вздрогнул, повернулся волчком, болезненно восклицая:

— Ой, Ольга!

По судорожному движению его руки мне показалось, что его ущипнули за ту часть тела, о которой не принято говорить,— очевидно потому, что она помещается несколько ниже поясницы.

Держась за косяки, на его место встала стройная девушка, с улыбкой рассматривая меня синеватыми глазами:

— Вы — кто? Полицейский?

— Нет, это только штаны,— вежливо ответил я, а она — засмеялась.

Не обидно, ибо в глазах ее сияла именно та улыбка, которую я давно ожидал. Видимо, смех ее был вызван моим костюмом; на мне были синие шаровары городового, а вместо рубахи я носил белую куртку повара; это очень практичная вещь: она ловко играет роль пиджака и, застегиваясь на крючки до горла, не требует рубашки. Чужие охотничьи сапоги и широкая шляпа итальянского бандита великолепно завершали мой костюм.

Втащив меня за руку в комнату, толкнув к стулу, она спросила, стоя предо мной:

— Почему вы так смешно одеты?

— Почему — смешно?

— Не сердитесь,— дружески посоветовала она.

Очень странная девушка,— кто может сердиться на нее?

Бородатый мужчина, сидя на кровати, свертывал папиросу. Я спросил, указав глазами на него:

— Это — отец или брат?

— Муж! — убежденно ответил он.

— А — что? — смеясь, спросила она.

Подумав, рассматривая ее, я сказал:

— Извините!

В таком лаконическом тоне беседа продолжалась минут пять, но я чувствовал себя способным неподвижно сидеть в этом подвале пять часов, дней, лет, глядя на узкое овальное личико дамы и в ее ласковые глаза. Нижняя губа маленького рта ее была толще верх-

ней, точно припухла; густые волосы каштанового цвета коротко обрезаны и лежат на голове пышной шапкой, осыпая локонами розовые уши и нежно-румяные девичьи щеки. Очень красивы руки ее,— когда она стояла в двери, держась за косяки, я видел их голыми до плеча. Одета она как-то особенно просто, в белую кофточку с широкими рукавами в кружевах и в белую же, ловко сшитую юбку. Но самое замечательное в ней — ее синеватые глаза; они лучатся так весело, ласково, с таким дружеским любопытством. И — это несомненно! — она улыбается той самой улыбкой, которая совершенно необходима сердцу человека двадцати лет от роду,— сердцу, обиженному грубостью жизни.

— Сейчас хлынет дождь,— сообщил ее муж, окуривая бороду свою дымом папиросы.

Я взглянул в окно: на безоблачном небе разгорались звезды. Тогда я понял, что мешаю этому человеку, и ушел в настроении тихой радости, как после встречи с тем, чего давно уже и тайно от себя искал.

Всю ночь ходил по полю, бережно любуясь ласковым сиянием синеватых глаз, и на рассвете был непоколебимо убежден, что эта маленькая дама — совершенно неподходящая супруга для бородатого увальня с добрыми глазами сытого кота. Мне даже жалко стало ее — бедная! Жить с человеком, у которого в бороде прячутся хлебные крошки...

А на другой день мы катались по мутной Оке, под крутым берегом из широких пластов разноцветных мергелей. День был самый лучший от сотворения мира, изумительно сверкало солнце в празднично ярком небе, над рекою носился запах созревшей земляники, все люди вспомнили, что они действительно прекрасные люди, и это насытило меня веселой любовью к ним. Даже муж дамы моего сердца сказался замечательным человеком: он сел не в ту лодку, где сидела его жена и где я был гребцом, весь день он вел себя идеально умно,— сначала рассказал всем страшно много интересного о старике Гладстоне, а потом выпил крынку превосходного молока, лег под куст и вплоть до вечера спал спокойным сном ребенка.

Разумеется, наша лодка приехала первой на место

пикника, и, когда я на руках выносил мою даму с лодки, она сказала:

— Какой вы силач!

Я чувствовал себя в состоянии опрокинуть любую колокольню города и сообщил даме, что могу нести ее на руках до города — семь верст *. Она тихонько засмеялась, обласкав меня взглядом, весь день передо мною сияли ее глаза, и, конечно, я убедился, что они сияют только для меня.

Дальше всё пошло с быстротой, вполне естественной для женщины, которая впервые встретила невиданного ею, интересного зверя, и для здорового юноши, которому необходима ласка женщины.

Вскоре я узнал, что она, несмотря на свою внешность девушки, старше меня на десять лет, воспитывалась в белостокском институте «благородных девиц», была невестой коменданта Зимнего дворца, жила в Париже, училась живописи и выучилась акушерству. Далее оказалось, что ее мать тоже акушерка и принимала меня в час моего рождения,— в этом факте я усмотрел некое предопределение и страшно обрадовался.

Знакомство с богемой и эмигрантами, связь с одним из них, затем полукочевая, полуголодная жизнь в подвалах и на чердаках Парижа, Петербурга, Вены — всё это сделало институтку человеком забавно спутанным, на редкость интересным. Легкая, бойкая, точно синица, она смотрела на жизнь и людей с острым любопытством умного подростка, задорно распевала французские песенки, красиво курила папиросы, искусно рисовала, недурно играла на сцене, умела ловко шить платья, делать шляпы. Акушерством она не занималась.

— У меня было четыре случая практики, но — они дали семьдесят пять процентов смертности,— говорила она.

Это оттолкнуло ее навсегда от косвенной помощи делу умножения людей, о ее прямом участии в этом почтенном деле свидетельствовала дочь ее — милый и красивый ребенок лет четырех. О себе она рассказывала тем тоном, каким говорят о человеке, когда его хорошо

---

* Вероятно — не донес бы.

знают и он уже достаточно надоел. Но иногда она как будто удивлялась, говоря о себе, ее глаза красиво темнели и светились, в них мелькала — легкая улыбка смущения; так улыбаются сконфуженные дети.

Я хорошо чувствовал ее острый, цепкий ум, понимал, что она культурно выше меня, видел ее добросердечно-снисходительное отношение к людям; она была несравненно интереснее всех знакомых барышень и дам, небрежный тон ее рассказов удивлял меня, и мне казалось: этот человек, зная всё, что знают мои революционно настроенные знакомые, знает что-то сверх этого, что-то более ценное, но — она смотрит на всё издали, со стороны, наблюдая, с улыбкой взрослого, пережитые им милые, хотя порою опасные, забавы детей.

Подвал, в котором она жила, делился на две комнаты: маленькую кухню, она же служила и прихожей, и большую комнату в три окна на улицу, два — на сорный, грязный двор. Это было удобное помещение для мастерской сапожника, но не для изящной женщины, которая жила в Париже, в священном городе Великой революции, в городе Мольера, Бомарше, Гюго и других ярких людей. Было еще много несоответствий картины с рамой, все они жестоко раздражали меня, вызывая — кроме прочих чувств — сострадание к женщине. Но сама она как бы не замечала ничего, что, на мой взгляд, должно было оскорблять ее.

С утра до вечера она работала, утром — за кухарку и горничную, потом садилась за большой стол под окнами, весь день рисовала карандашом, с фотографии, портреты обывателей, чертила карты, раскрашивала картограммы, помогала составлять мужу земские сборники по статистике. Из открытого окна на голову ей и на стол сыпалась пыль улицы, по бумагам скользили толстые тени ног прохожих. Работая, она пела, а утомясь сидеть — вальсировала со стулом или играла с девочкой и, несмотря на обилие грязной работы, всегда была чистоплотна, точно кошка.

Ее супруг был благодушен и ленив. Он любил читать, лежа в постели, переводные романы, особенно — Дюма-отца. «Это освежает клетки мозга»,— говорил он. Ему нравилось рассматривать жизнь «с точки зрения

строго научной». Обед он называл «приемом пищи», а пообедав, говорил:

— Подвоз пищевой кашицы из желудка клеткам организма требует абсолютного покоя.

И, забыв вытряхнуть крошки хлеба из бороды, ложился в постель, несколько минут углубленно читал Дюма или Ксавье де Монтепена, а потом, часа два, лирически посвистывал носом, светлые мягкие усы его тихо шевелились, как будто в них ползало нечто невидимое. Проснувшись, он долго и задумчиво смотрел на трещины потолка и — вдруг вспоминал:

— А ведь Кузьма неправильно истолковал вчера мысль Парнеля!

И шел уличать Кузьму, говоря жене:

— Ты, пожалуйста, докончи за меня подсчет безлошадных Майданской волости. Я — скоро!

Возвращался он около полуночи, иногда — позднее, очень довольный.

— Ну, знаешь, доконал я сегодня Кузьму! У него, шельмеца, память на цитаты очень развита, но я ему и в этом не уступлю. Между прочим,— он совершенно не понимает восточной политики Гладстона, чудак!

Он постоянно говорил о Бине, Рише и гигиене мозга, а в дурную погоду, оставаясь дома, занимался воспитанием девочки его жены — ребенка, случайно родившегося где-то на пути между двумя романами.

— Леля, когда ты кушаешь, нужно тщательно жевать, это облегчает пищеварение, помогая желудку быстрее претворить пищевую кашицу в удобоусвояемый конгломерат химических веществ.

После же обеда, приведя себя «в состояние абсолютного покоя», укладывал ребенка на постель и рассказывал ему:

— Итак,— когда кровожадный честолюбец Бонапарте узурпировал власть...

Жена его судорожно, до слез хохотала, слушая эти лекции, но он не сердился на нее, не имея для этого времени, ибо скоро засыпал. Девочка, поиграв его шелковой бородою, тоже засыпала, свернувшись комочком. Я очень подружился с нею, она слушала мои рассказы с бóльшим интересом, чем лекции Болеслава о кровожад-

ном узурпаторе и печальной любви к нему Жозефины Богарнэ; это возбудило у Болеслава забавное чувство ревности.

— Я — протестую, Пешков! Сначала ребенку необходимо внушить основные принципы отношения к действительности, а потом уже знакомить с нею. Если б вы знали английский язык и могли прочитать «Гигиену души ребенка»...

Он знал по-английски, кажется, только два слова: гуд бай[1].

Он был вдвое старше меня, но обладал любопытством юного пуделя, любил посплетничать и показать себя человеком, которому хорошо известны все тайны не только русских, но и зарубежных революционных кружков. Впрочем, возможно, что он и на самом деле был осведомлен, к нему нередко приезжали таинственные люди, они все держались, как актеры-трагики, которым случайно пришлось играть роли простаков. У него я видел нелегального Сабунаева в рыжем, неумело надетом парике, в пестром костюме, который был смешно узок и короток ему.

А однажды, придя к Болеславу, я увидел у него юркого человечка с маленькой головкой, очень похожего на парикмахера, он был одет в клетчатые брючки, серенький пиджачок и скрипучие ботинки. Вытеснив меня в кухню, Болеслав шёпотом сказал:

— Это — человек из Парижа, с важным поручением, ему необходимо видеть Короленко, так вы идите, устройте это...

Я пошел,— но оказалось, что Короленко показали приезжего на улице, и В. Г. проницательно заявил:

— Нет, пожалуйста, не знакомьте меня с этим хлыщом!

Болеслав обиделся за парижанина и «дело революции», два дня сочинял письмо Короленко, испробовал все стили, от гневного и сурового до ласково укоряющего, и потом сжег образцы эпистолярной литературы своей на шестке печи. Вскоре начались аресты в Москве, Нижнем, Владимире, и оказалось, что человек

[1] До свидания.

в клетчатых брючках — знаменитый впоследствии Ландезен-Гартинг, первый — по порядку — провокатор, которого я видел.

А за всем этим муж возлюбленной моей был добрый малый, несколько сентиментальный и комически обремененный «научным багажом». Он так и говорил:

— Смысл жизни интеллигента — непрерывное накопление научного багажа в целях бескорыстного распределения его в толщах народной массы...

Моя любовь, углубляясь, превращалась в страдание. Сидел я в подвале, глядя, как, согнувшись над столом, работает дама моего сердца, и мрачно пьянел от желания взять ее на руки, унести куда-то из проклятого подвала, загроможденного широкой двуспальной кроватью, старинным тяжелым диваном, где спала девочка, столами, на которых лежали груды пыльных книг и бумаг. Мимо окон нелепо мелькают чьи-то ноги, иногда в окно заглядывала морда бездомной собаки; душно, с улицы льется запах грязи, нагретой солнцем. Маленькая девичья фигурка, тихонько напевая, скрипит карандашом или пером, мне ласково улыбаются милые васильковые глаза. Я люблю эту женщину до бреда, до безумия и жалею ее до злобной тоски.

— Расскажите еще что-нибудь про себя,— предлагает она.

Рассказываю, но через несколько минут она говорит:

— Это вы не про себя говорите!

Я и сам понимаю, что всё, о чем я говорил, еще — не я, а нечто, в чем я слепо заплутался. Мне нужно найти себя в пестрой путанице впечатлений и приключений, пережитых мною, но я не умел и боялся сделать это. Кто и что — я? Меня очень смущал этот вопрос. Я был зол на жизнь,— она уже внушила мне унизительную глупость попытки самоубийства. Я не понимал людей, их жизнь казалась мне неоправданной, глупой, грязной. Во мне бродило изощренное любопытство человека, которому зачем-то необходимо заглянуть во все темные уголки бытия, в глубину всех тайн жизни, и порою я чувствовал себя способным на преступление из любопыт-

ства,— готов был убить только для того, чтобы знать: что же будет со мною потом?

Мне казалось, что если я найду себя,— пред женщиной сердца моего встанет человек отвратительный, запутанный густой крепкой сетью каких-то странных чувств и мыслей; бредовой, кошмарный человек, он испугает ее и оттолкнет. Мне нужно было что-то сделать с собою. Я был уверен, что именно эта женщина способна помочь мне не только почувствовать настоящего себя, но она может сделать нечто волшебное, после чего я тотчас освобожусь из плена темных впечатлений бытия, что-то навсегда выброшу из своей души, и она вспыхнет огнем великой силы, великой радости.

И небрежный тон, которым она говорила о себе, и ее снисходительное отношение к людям внушило мне уверенность, что этот человек знает необыкновенное. У нее есть свой ключ ко всем загадкам жизни, от этого она всегда веселая, всегда уверена в себе. Может быть, я любил ее всего больше за то, чего не понимал в ней, но я любил ее со всей силой и страстью юности. Мучительно трудно было мне сдерживать эту страсть,— она уже физически сжигала и обессиливала меня. Для меня было бы лучше, будь я проще, грубее, но — я верил, что отношения к женщине не ограничиваются тем актом физиологического слияния, который я знал в его нищенски грубой, животно простой форме,— этот акт внушал мне почти отвращение, несмотря на то, что я был сильный, довольно чувственный юноша и обладал легко возбудимым воображением.

Не понимаю, как могла сложиться и жить во мне эта романтическая мечта, но я был непоколебимо уверен, что за тем, что известно мне, есть нечто неведомое и в нем скрыт высокий, тайный смысл общения с женщиной, что-то великое, радостное и даже страшное таится за первым объятием,— испытав эту радость, человек совершенно перерождается.

Мне кажется, я вынес эти фантазии не из романов, прочитанных мной, но воспитал и развил их из чувства противоречия действительности, ибо:

«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться».

Кроме этого, у меня было странное смутное воспоми-

нание: где-то, за пределами действительного и когда-то в раннем детстве, я испытал некий сильный взрыв души, сладостный трепет ощущения, вернее — предчувствия гармонии, пережил радость, светлейшую солнца на утре, на восходе его. Может быть, это было еще в те дни, когда я жил во чреве матери, и это счастливый взрыв ее нервной энергии передался мне жарким толчком, который создал душу мою и впервые зажег ее к жизни, может быть, это потрясающий момент счастья матери моей отразился во мне на всю мою жизнь трепетным ожиданьем необыкновенного от женщины.

Когда не знаешь — выдумываешь. И самое умное, чего достиг человек,— это уменье любить женщину, поклоняться ее красоте; от любви к женщине родилось всё прекрасное на земле.

Однажды, купаясь, я прыгнул с кормы баржи в воду, ударился грудью о наякорник, зацепился ногою за канат, повис в воде вниз головой и захлебнулся. Ломовой извозчик вытащил меня, откачали, изорвав мне всю кожу, у меня пошла кровь горлом, и я должен был лечь в постель, глотая лед.

Ко мне пришла моя дама, села на койку и, расспрашивая, как всё это случилось со мною, стала гладить мне голову легкой милой рукой, а глаза ее, потемнев, смотрели тревожно.

Я спросил: видит ли она, что я люблю ее?

— Да,— сказала она, улыбаясь осторожно,— вижу, и это очень плохо, хотя я тоже полюбила вас.

Разумеется, после ее слов вся земля вздрогнула, и деревья в саду закружились веселым хороводом. Я онемел от неожиданности, изумления и восторга, ткнулся головою в колени ей, и если бы не обнял ее крепко, то наверное вылетел бы в окно, как мыльный пузырь.

— Не двигайтесь, это вредно вам! — строго заметила она, пытаясь переложить мою голову на подушку.— И — не волнуйтесь, а то — я уйду! Вы вообще очень безумный господин, я не думала, что такие бывают. О наших чувствах и отношениях мы поговорим, когда вы встанете на ноги.

Всё это она говорила очень спокойно и невыразимо ласково улыбалась потемневшими глазами. Она скоро ушла, оставив меня в радужном огне надежд, в счастливой уверенности, что теперь, с ее доброй помощью, я окрыленно вознесусь в сферу иных чувств и мыслей.

Через несколько дней я сидел в поле на краю оврага, внизу, в кустарнике, шелестел ветер. Серое небо грозило дождем. Деловито, серыми словами, женщина говорила о разнице наших лет, о том, что мне нужно учиться и что преждевременно для меня вешать на шею себе жену с ребенком. Всё это было угнетающе верно, говорилось тоном матери и еще более возбуждало любовь, уважение к милой женщине. Мне было грустно и сладко слушать ее голос, нежные ее слова,— впервые со мною говорили так.

Я смотрел в пасть оврага, где кусты, колеблемые ветром, текли зеленой рекой, и клятвенно обещал себе заплатить этому человеку за ласку его всеми силами моей души.

— Прежде чем решить что-либо, нам нужно хорошо подумать,— слышал я тихий голос. Она стегала себя по колену сорванной веткой орешника, глядя в сторону города, спрятанного в зеленых холмах садов.

— И, конечно, я должна поговорить с Болеславом, он уже кое-что чувствует и ведет себя очень нервозно. А я не люблю драм.

Всё было очень грустно и очень хорошо, но — оказалось необходимым нечто пошленькое и смешное.

Шаровары мои были широки в поясе, и я скалывал пояс большой медной булавкой, дюйма в три длиною,— теперь нет таких булавок, к счастью влюбленных бедняков. Острый кончик проклятой булавки всё время деликатно царапал кожу мне,— неосторожное движение — и вся булавка впилась в мой бок. Я сумел незаметно вытащить ее и — с ужасом почувствовал, что из глубокой царапины обильно потекла кровь, смачивая шаровары. Нижнего белья у меня не было, а курточка повара — коротенькая, по пояс. Как я встану и пойду в мокрых шароварах, приклеенных к телу?

Понимая комизм случая, глубоко возмущенный его обидной формой, я, в диком возбуждении, начал го-

ворить что-то неестественным голосом актера, который забыл свою роль.

Послушав несколько минут мою речь, сначала — внимательно, потом — с явным недоумением, она сказала:

— Какие пышные слова! Вы вдруг стали не похожи на себя.

Это окончательно поразило меня, и я замолчал, как удавленный.

— Пора идти, собирается дождь!

— Я — останусь здесь.

— Почему?

Что я мог ответить ей?

— Вы — рассердились на меня? — ласково заглянув в лицо мое, спросила она.

— О нет! На себя.

— И на себя не надо сердиться,— посоветовала женщина, встав на ноги.

А я — не мог встать, сидя в теплой луже, мне казалось, что кровь моя, вытекая из бока, журчит ручьем, в следующую секунду женщина услышит этот звук и спросит:

«Что это?»

«Уйди!» — мысленно молил я ее.

Она милостиво подарила мне еще несколько ласковых слов и пошла вдоль оврага, по краю его, мило покачиваясь на стройных ножках. Я следил, как ее гибкая фигурка, удаляясь, уменьшается, и потом лег на землю, опрокинутый ударом сознания, что моя первая любовь будет несчастлива.

Конечно, так и случилось: ее супруг пролил широкий поток слез, сентиментальных слюней, жалких слов, и она не решилась переплыть на мою сторону через этот липкий поток.

— Он такой беспомощный, а вы — сильный! — со слезами на глазах сказала она.— Он говорит: «Если ты уйдешь от меня — я погибну, как цветок без солнца...»

Я расхохотался, вспомнив коротенькие ножки, женские бедра, круглый, арбузиком, живот цветка. В бороде его жили мухи,— там всегда была пища для них.

Она, улыбаясь, заметила:

— Да, это смешно сказано,— а все-таки ему очень больно!

— Мне — тоже.

— О, вы молодой, вы сильный...

Тут, кажется, впервые, я почувствовал себя врагом слабых людей. Впоследствии, в более серьезных случаях, мне весьма часто приходилось наблюдать, как трагически беспомощны сильные в окружении слабых, как много тратится ценнейшей энергии сердца и ума для того, чтоб поддержать бесплодное существование осужденных на гибель.

Вскоре, полубольной, в состоянии, близком безумию, я ушел из города и почти два года шатался по дорогам России, как перекати-поле. Обошел Поволжье, Дон, Украину, Крым, Кавказ, пережил неисчислимо много различных впечатлений, приключений, огрубел, обозлился еще более и все-таки сохранил нетленно в душе милый образ этой женщины, хотя видел лучших и умнейших ее.

А когда, через два с лишним года, осенью, в Тифлисе, мне сказали, что она приехала из Парижа и, узнав, что я живу в одном городе с нею,— обрадовалась, я, двадцатитрехлетний крепкий юноша, первый раз в жизни упал в обморок.

Я не решился пойти к ней, но вскоре она сама, через знакомых, пригласила меня.

Мне показалось, что она еще красивей и милее, всё та же фигура девушки, тот же нежный румянец щек и ласковое сияние васильковых глаз. Муж ее остался во Франции, с нею была только дочь, бойкая и грациозная, точно козленок.

Когда я пришел к ней,— над городом с громом и молниями понеслась буря, загудел ливень, по улице, с горы Св. Давида, стремительно катилась мощная река, выворачивая камни улицы. Вой ветра, сердитый плеск воды, грохот каких-то разрушений сотрясал дом, дребезжали стекла в окнах, комната наливалась синим огнем, и как будто всё кругом падало в бездонную мокрую пропасть.

Испуганная девочка зарылась в постель, а мы стояли

у окна, ослепляемые взрывами неба, и говорили — почему-то шёпотом.

— Впервые вижу такую грозу,— шелестели рядом со мною слова любимой женщины.

И вдруг она спросила:

— Ну, что же,— вылечились вы от любви ко мне?

— Нет.

Она, видимо, удивилась и всё так же шёпотом сказала:

— Боже мой, как изменились вы! Совершенно другой человек.

Медленно опустилась в кресло у окна, вздрогнула — зажмурилась, ослепленная жутким блеском молнии, и шепчет:

— О вас много говорят здесь. Зачем вы пришли сюда? Расскажите мне — как вам жилось?

Господи, какая она маленькая и хорошая вся!

Я рассказывал ей до полуночи, как бы исповедуясь. Грозные явления природы всегда действуют на меня возбуждающе, насыщая буйным весельем. Должно быть, я рассказывал хорошо — в этом убеждало меня ее внимание и напряженный взгляд широко раскрытых глаз. Лишь иногда она шептала:

— Это ужасно.

Уходя, я заметил, что она простилась со мною без той покровительственной улыбки старшего, которая — в прошлом — всегда немножко обижала меня. Шел я по мокрым улицам, глядя, как острый серп луны режет изорванные облака, и у меня кружилась голова от радости. На другой день я послал ей почтой стихи,— она впоследствии часто декламировала их, и они укрепились в памяти моей:

Сударыня!
За ласку, за нежный взгляд
Отдается в рабство ловкий фокусник,
Которому тонко известно
Забавное искусство
Создавать маленькие радости
Из пустяков, из ничего!
Возьмите веселого раба!

Может быть, из маленьких радостей
Он создаст большое счастье,—
Разве кто-то не создал весь мир
Из ничтожных пылинок материи?

О да! Мир создан невесело:
Скупы и жалки радости его!
Но все-таки в нем есть немало забавного,
Например: Ваш покорный слуга.
И — есть в нем нечто прекрасное,—
Это я говорю о Вас!

Вы!
Но — молчание!
Что значат тупые гвозди слов
В сравнении с вашим сердцем,
Лучшим из всех цветов
Бедной цветами земли?

Конечно, это едва ли стихи, но это было сделано с веселой искренностью.

Вот я снова сижу против человека, который кажется мне лучшим в мире и поэтому — необходимым для меня. На ней голубое платье; не скрывая изящных очертаний ее фигуры, оно окутало ее мягким душистым облаком. Играя кистями пояса, она говорит мне необыкновенные слова, я слежу за движением ее маленьких пальцев с розовыми ногтями и чувствую себя скрипкой, которую любовно настраивает искусный музыкант. Мне хочется умереть, хочется как-то вдохнуть в душу себе эту женщину, чтоб навсегда осталась там. Тело мое поет в томительном напряжении, сильном до боли, и мне кажется, что у меня сейчас взорвется сердце.

Я прочитал ей мой первый рассказ, только что напечатанный, но не помню, как она оценила его,— кажется, она удивилась:

— Вот как, вы начали писать прозу!

Как сквозь сон, откуда-то издали, я слышу:

— Много думала я о вас эти годы. Неужели это из-за меня пришлось вам испытать так много тяжелого?

Я говорю ей что-то о том, что в мире, где живет она,— нет ничего тяжелого и страшного.

— Какой вы милый...

Мне до безумия хочется обнять ее, но у меня идиотски длинные, нелепо тяжелые руки, я не смею коснуться тела ее, боюсь сделать ей больно, стою пред нею и, качаясь под буйными толчками сердца, бормочу:

— Живите со мной! Пожалуйста, живите со мной!

Она смеется тихонько и — смущенно? Ослепительно светятся ее милые глаза. Она уходит в угол комнаты и говорит оттуда:

— Сделаем так: вы уезжайте в Нижний, а я останусь здесь, подумаю и напишу вам...

Почтительно кланяюсь ей, как это сделал герой какого-то романа, прочитанного мною, и ухожу. По воздуху.

Зимою она, с дочерью, приехала ко мне в Нижний. «Бедному жениться и — ночь коротка» — насмешливо-печально говорит мудрость народа. Я проверил личным опытом глубокую правду этой пословицы.

Мы сняли, за два рубля в месяц, особняк — старую баню в саду попа. Я поселился в предбаннике, а супруга в самой бане, которая служила и гостиной. Особнячок был не совсем пригоден для семейной жизни, он промерзал в углах и по пазам. Ночами, работая, я окутывался всей одеждой, какая была у меня, а сверх ее — ковром и все-таки приобрел серьезнейший ревматизм. Это было почти сверхъестественно при моем здоровье и выносливости, которыми я в ту пору обладал и хвастался.

В бане было теплее, но, когда я топил печь, всё наше жилище наполнялось удушливым запахом гнили, мыла и пареных веников. Девочка, изящная фарфоровая куколка с чудесными глазами, нервничала, у нее болела голова.

А весной баню начали во множестве посещать пауки и мокрицы,— мать и дочь до судорог боялись их, и я должен был убивать насекомых резиновой галошей. Маленькие окна густо заросли кустами бузины и одичавшей малины, в комнате всегда было сумрачно, а пьяный капризный поп не позволял мне выкорчевать или хотя бы подрезать кусты.

Разумеется, можно бы найти более удобное жилище,

но мы задолжали попу, и я очень нравился ему, он не выпускал нас.

— Привыкнете! — говорил он.— А то заплатите должишки и поезжайте, хоша бы к англичанинам.

Он не любил англичан, утверждая:

— Это нация ленивая, она ничего не выдумала, кроме пасьянсов, и не умеет воевать.

Был он человечище огромный, с круглым красным лицом в широкой рыжей бороде, пьянствовал так, что уже не мог служить в церкви, и — до слез страдал от любви к маленькой остроносой и черной швейке, похожей на галку.

Рассказывая мне о коварствах ее, он смахивал ладонью слезы с бороды и говорил:

— Понимаю,— негодяйка она, но напоминает мне великомученицу Фимиаму, и за то — люблю!

Я внимательно просмотрел святцы,— святой такого имени не было в них.

Возмущаясь моим неверием, он сотрясал душу мою такими доводами в пользу веры:

— Вы, сынок, взгляните на это практически: неверов — десятки, верующих же — миллионы! А — почему? Потому что как рыба сия не может существовать без воды, так ровно и душа не живет вне церкви. Доказательно? Посему — выпьем!

— Я не пью, у меня ревматизм.

Вонзив вилку в кусок селедки, он угрожающе поднимал ее вверх и говорил:

— И это — от неверия!

Мне было мучительно, до бессонницы стыдно пред женщиной за эту баню, за частую невозможность купить мяса на обед, игрушку девочке, за всю эту проклятую, ироническую нищету. Нищета — порок, который меня лично не смущал и не терзал, но для маленькой изящной институтки и особенно для дочери ее эта жизнь была унизительна, убийственна.

По ночам, сидя в своем углу за столом, переписывая прошения, апелляционные и кассационные жалобы, сочиняя рассказы, я скрипел зубами и проклинал себя, людей, судьбу, любовь.

Женщина держалась великодушно, точно мать, когда

она не хочет, чтоб сын видел, как трудно ей. Ни одной жалобы не сорвалось с ее губ на эту подлую жизнь; чем труднее слагались условия, тем бодрей звучал ее голос, веселее — смех. С утра до вечера она рисовала портреты попов, их усопших жен, чертила карты уездов,— за эти карты земство получило на какой-то выставке золотую медаль. А когда иссякли заказы на портреты, она делала из лоскутков разных материй, соломы и проволоки самые модные парижские шляпы для девиц и дам нашей улицы. Я ничего не понимал в женских шляпах, но, очевидно, в них скрывалось что-то уморительно комическое,— мастерица, примеряя перед зеркалом сделанный ею фантастический головной убор, задыхалась в судорожном смехе. Но я заметил, что эти шляпы странно влияют на заказчиц: украсив головы свои пестрыми гнездами для кур, они ходили по улице, как-то особенно гордо выпячивая животы.

Я работал у адвоката и писал рассказы для местной газеты по две копейки за строку. Вечерами, за чаем, если у нас не было гостей, моя супруга интересно рассказывала мне о том, как царь Александр II посещал белостокский институт, оделял благородных девиц конфектами, от них некоторые девицы чудесным образом беременели, и нередко та или иная красивая девушка исчезала, уезжая на охоту с царем в Беловежскую пущу, а потом выходила замуж в Петербурге.

Моя дама увлекательно рассказывала мне о Париже; я уже знал его по книгам, особенно по солидному труду Максима дю Кан, она изучала Париж по кабачкам Монмартра и суматошной жизни Латинского квартала. Эти рассказы возбуждали меня сильнее вина, и я сочинял какие-то гимны женщине, чувствуя, что именно силою любви к ней сотворена вся красота жизни.

Больше всего нравились мне и увлекали меня рассказы о романах, пережитых ею самой; она говорила об этом удивительно интересно, с откровенностью, которая порою сильно смущала меня. Посмеиваясь, легкими словами, точно штрихи тонко заостренного карандаша, она вычерчивала комическую фигуру генерала, ее жениха, который, выстрелив в зубра прежде царя, закричал вслед раненому быку:

— Простите, ваше императорское величество!

Рассказывала она о русских эмигрантах, и всегда в словах ее я чувствовал скрытую улыбку снисхождения к людям. Порою искренность ее нисходила до наивного цинизма, она вкусно облизывала губы острым розовым языком кошки, а глаза ее блестели как-то особенно. Иногда мне казалось, что в них сверкает огонек брезгливости, но чаще я видел ее девочкой, самозабвенно играющей с куклами.

Однажды она сказала:

— Влюбленный русский всегда несколько многословен и тяжел, а нередко — противен красноречием. Красиво любить умеют только французы, для них любовь — почти религия.

После этого я невольно стал относиться к ней сдержаннее и бережливей.

О женщинах Франции она говорила:

— У них не всегда найдешь страстную нежность сердца, но они прекрасно заменяют ее веселой, тонко разработанной чувственностью,— любовь для них искусство.

Всё это она говорила очень серьезно, поучающим тоном. Это были не совсем те знания, в которых я нуждался, но — все-таки это были знания, и я слушал ее с жадностью.

— Между русскими и француженками, вероятно, такая же разница, как между фруктами и фруктовыми конфектами,— сказала она однажды, лунной ночью, сидя в беседке сада.

Сама она была конфектой. Ее страшно удивило, когда, в первые дни нашей супружеской жизни, я, разумеется, вдохновенно, изложил ей мои взгляды романтика на отношения мужчины и женщины.

— Это вы — серьезно? Вы действительно так думаете? — спросила она, лежа на руках у меня, в голубоватом свете луны.

Розовое тело ее казалось прозрачным, от него исходил хмельной, горьковатый запах миндаля. Ее тоненькие пальчики задумчиво играли гривой моих волос, она смотрела в лицо мне широко, тревожно раскрытыми глазами и улыбалась недоверчиво.

— А, боже мой! — воскликнула она, спрыгнув на пол, и стала задумчиво шагать по комнате из света в тень, сияя в луче луны атласом кожи, бесшумно касаясь пола босыми ногами. И, снова подойдя ко мне, гладя ладонями щеки мои, сказала тоном матери:

— Вам нужно было начать жизнь с девушкой,— да, да! А не со мною...

Когда же я взял ее на руки, она заплакала, тихонько говоря:

— Вы чувствуете, как я люблю вас, да? Мне никогда не удавалось испытать столько радости, сколько я испытываю с вами,— это правда, поверьте! Никогда я не любила так нежно и ласково, с таким легким сердцем. Мне удивительно хорошо с вами, но все-таки — я говорю: мы ошиблись,— я не то, что нужно вам, не то! Это я ошиблась.

Не понимая ее, я был испуган ее словами и торопливо погасил ее настроение радостью ласк. Но все-таки эти странные слова остались в памяти моей. А спустя несколько дней она, в слезах восторга, снова тоскливо повторила эти слова:

— Ах, если б я была девушкой!..

Помню, в эту ночь по саду металась вьюга, в стекла окон стучали ветви бузины, в трубе волком выл ветер, в комнате у нас было темно, холодно и шелестели отклеившиеся обои.

Заработав несколько рублей, мы приглашали знакомых и устраивали великолепные ужины: ели мясо, пили водку и пиво, ели пирожное и вообще — наслаждались. Моя парижанка, обладая прекрасным аппетитом, любила русскую кухню: «сычуг» — коровий желудок, начиненный гречневой кашей и гусиным салом, пироги с рыбьими жирами и соминой, картофельный суп с бараниной.

Она организовала орден «Жадненьких животиков»— десяток людей, которые, любя сытно поесть и хорошо выпить, эстетически тонко знали и красноречиво, неутомимо говорили о вкусных тайнах кухни, а я интересовался тайнами иного характера, ел мало, и процесс

насыщения не увлекал меня, оставаясь вне моих эстетических потребностей.

— Это — пустые люди! — говорил я о «жадненьких животиках».

— Как всякий, если его хорошенько встряхнуть,— отвечала она.— Гейне сказал: «Все мы ходим голыми под нашим платьем!»

Цитат скептического тона она знала много, но, мне казалось, не всегда она удачно и уместно пользовалась ими.

Ей очень нравилось «встряхивать» ближних мужского пола, и она делала это весьма легко. Неугомонно веселая, остроумная, гибкая, как змея, она, быстро зажигая вокруг себя шумное оживление, возбуждала эмоции не очень высокого качества. Достаточно было человеку побеседовать с нею несколько минут, и у него краснели уши, потом они становились лиловыми, глаза, томно увлажняясь, смотрели на нее взглядом козла на капусту.

— Магнитная женщина! — восхищался некий заместитель нотариуса, неудачник-дворянин, с бородавками Дмитрия Самозванца и животом объема церковной главы.

Белобрысый ярославский лицеист сочинял ей стихи,— всегда дактилем. Мне они казались отвратительными, она — хохотала над ними до слез.

— Зачем ты возбуждаешь их? — спрашивал я.

— Это так же интересно, как удить окуней. Это называется — кокетство. Нет ни одной женщины, уважающей себя, которая не любила бы кокетничать.

Иногда она спрашивала, улыбаясь, заглядывая в глаза мне:

— Ревнуешь?

Нет, я не ревновал, но всё это немножко мешало мне жить, я не любил пошлых людей. Я был веселым человеком и знал, что смех — прекраснейшее свойство людей. Я считал клоунов цирка, юмористов открытых сцен и комиков театра бездарными людьми, уверенно чувствуя, что сам я мог бы смешить лучше их. И нередко мне удавалось заставлять наших гостей смеяться до боли в боках.

— Боже мой! — восхищалась она.— Каким удивительным комиком мог бы ты быть! Иди на сцену, иди!

Сама она с успехом играла в любительских спектаклях, ее приглашали на сцену серьезные антрепренеры.

— Я люблю сцену, но — боюсь кулис,— говорила она.

Она была правдива в желаниях, мыслях и словах.

— Ты — слишком много философствуешь,— поучала она меня.— Жизнь, в сущности, проста и груба; не нужно осложнять ее поисками какого-то особенного смысла в ней, нужно только научиться смягчать ее грубость. Больше этого — не достигнешь ничего.

В ее философии я чувствовал избыток гинекологии, и мне казалось, что евангелием ей служит «Курс акушерства». Она сама рассказывала мне, как ошеломила ее какая-то научная книга, первая, которую прочитала она после института.

— Наивная девчонка, я почувствовала удар кирпичом по голове; мне показалось, что меня сбросили с облаков в грязь, я плакала от жалости к тому, во что уже не могла верить, но скоро ощутила под собою хотя жестокую, а — твердую почву. Всего более жалко было бога, я так хорошо, близко чувствовала его, и вдруг он рассеялся, точно дым папиросы, и вместе с ним исчезла мечта о небесном блаженстве любви. А все мы, в институте, так много думали, так хорошо говорили о любви!

Плохо действовал на меня ее институтско-парижский нигилизм. Бывало, ночью, встав из-за стола, я шел смотреть на нее, в постели она казалась еще меньше, изящнее, красивее,— смотрел и с великой горечью думал о ее надломленной душе, о запутанной жизни. И жалость к ней усиливала мою любовь.

Литературные вкусы наши непримиримо расходились: я с восторгом читал Бальзака, Флобера, ей больше нравились Поль Феваль, Октав Фейлье, Поль де Кок и особенно — «Девица Жиро, моя супруга»,— эту книгу она считала самой остроумной, мне же она казалась скучной, как «Уложение о наказаниях». Несмотря на всё это, наши отношения сложились очень хорошо, мы не теряли интереса друг к другу, и не гасла страсть. Но на третий год совместной жизни я стал

замечать, в душе у меня что-то зловеще поскрипывает и — всё звучнее, заметней. Я непрерывно, жадно учился, читал и начал серьезно увлекаться литературной работой; мне всё более мешали гости, люди малоинтересные, они количественно разрастались, ибо я и жена стали зарабатывать больше и могли чаще устраивать обеды и ужины.

Ей жизнь казалась чем-то вроде паноптикума, а так как на мужчинах не было предостерегающей надписи: «Просят руками не трогать», то иногда она подходила к ним слишком неосторожно, а они оценивали ее любопытство чересчур выгодно для себя, и на этой почве возникали недоразумения, которые я принужден был разрешать. Я делал это порою недостаточно сдержанно и, вероятно, всегда очень неумело; человек, которому я натрепал уши, жаловался на меня:

— Ну, хорошо, сознаюсь, я виноват! Но — драть меня за уши,— да что я,— мальчишка, что ли? Я почти вдвое старше этого дикаря, а он меня — за уши треплет! Ну, ударил бы, все-таки это приличнее!

Очевидно, я не обладал искусством наказывать ближнего в меру его самоуважения.

К моим рассказам жена относилась довольно равнодушно, но это нисколько не задевало меня до некоторой поры: я сам тогда еще не верил, что могу быть серьезным литератором, и смотрел на мою работу в газете только как на средство к жизни, хотя уже нередко испытывал приливы горячей волны какого-то странного самозабвения. Но однажды утром, когда я читал ей в ночь написанный рассказ «Старуха Изергиль», она крепко уснула. В первую минуту это не обидело меня, я только перестал читать и задумался, глядя на нее.

Склонив на спинку дряхлого дивана маленькую, милую мне голову, приоткрыв рот, она дышала ровно и спокойно, как ребенок. Сквозь ветви бузины в окно смотрело утреннее солнце, золотые пятна, точно какие-то воздушные цветы, лежали на груди и коленях женщины.

Я встал и тихонько вышел в сад, испытывая боль глубокого укола обиды, угнетенный сомнением в моих силах.

За все дни, прожитые мною, я видел женщин только

в тяжелом, рабском труде, в грязи, в разврате, в нищете или в полумертвой, самодовольной, пошлой сытости. Было у меня только одно прекрасное впечатление детства — Королева Марго, но от него отделял меня целый горный хребет иных впечатлений. Мне думалось, что история жизни Изергиль должна нравиться женщинам, способна возбудить в них жажду свободы, красоты. И — вот, самая близкая мне не тронута моим рассказом,— спит!

Почему? Недостаточно звучен колокол, отлитый жизнью в моей груди?

Эта женщина была принята сердцем моим вместо матери. Я ожидал и верил, что она способна напоить меня пьяным медом, возбуждающим творческие силы, ждал, что ее влияние смягчит грубость, привитую мне на путях жизни.

Это было тридцать лет тому назад, и я вспоминаю об этом с улыбкою в душе. Но в ту пору неоспоримое право человека спать, когда ему хочется,— очень огорчило меня.

Я верил: если говорить о грустном весело, печаль исчезнет.

И я подозревал, что в мире хитроумно действует некто, кому приятно любоваться страданиями людей; мне казалось, что существует некий дух, творец житейских драм, и ловко портит жизнь; я считал невидимого драматурга личным моим врагом и старался не поддаваться его уловкам.

Помню — когда я прочитал в книге Ольденбурга «Будда, его жизнь, учение и община»: «Всякое существование суть страдание» — это глубоко возмутило меня, я не очень много испытал радостей жизни, но горькие муки ее казались мне случайностью, а не законом. Внимательно прочитав солидный труд архиепископа Хрисанфа «Религия Востока», я еще более возмущенно почувствовал, что учения о мире, основанные на страхе, унынье, страдании,— совершенно неприемлемы для меня. И, тяжело пережив настроение религиозного экстаза, я был оскорблен бесплодностью этого настроения. Отвращение к страданию вызывало у меня органическую

ненависть ко всяким драмам, и я не плохо научился превращать их в смешные водевили.

Конечно — можно бы не говорить всё это для того только, чтобы сказать: между мною и женщиной назревала «семейная драма», но оба мы дружно сопротивлялись развитию ее. Я немножко пофилософствовал потому, что мне захотелось упомянуть о забавных извилинах пути, которым я шел на поиски самого себя.

Моя женщина, по веселой природе своей, тоже была неспособна к драматической игре дома,— к игре, которой так любят увлекаться чрезмерно «психологические» русские люди обоего пола.

Но — унылые дактили белобрысого лицеиста все-таки действовали на нее, как осенний дождь. Круглым, красивым почерком он тщательно исписывал листики почтовой бумаги и тайно совал их всюду — в книги, в шляпу, в сахарницу. Находя эти аккуратно сложенные листочки, я подавал их жене, говоря:

— Примите сию очередную попытку уязвить сердце ваше!

Вначале бумажные стрелы Купидона не действовали на нее, она читала мне длинные стихи, и мы единодушно хохотали, встречая памятные строки:

Днями, ночами — я с вами вдвоем,
Всё отражается в сердце моем:
Ручки движенье, кивок головы.
Горлинкой нежной воркуете вы,
Ястребом — мысленно — вьюсь я над вами.

Но однажды, прочитав такой доклад лицеиста, она задумчиво сказала:

— А мне его жалко!

Помню — я пожалел не его, а она с этой минуты перестала читать дактили вслух.

Поэт, коренастый парень, старше меня года на четыре, был молчалив, очень пристрастен к спиртным напиткам и замечательно усидчив. Придя в праздник к обеду, в два часа дня, он мог, неподвижно и немо, сидеть до двух часов ночи. Он был, как и я, письмоводителем адвоката, весьма изумлял своего добродушного патрона

рассеянностью, к работе относился небрежно и часто говорил сиповатым басом:

— Вообще — всё это ерунда!

— А что же не ерунда?

— Как вам сказать? — спрашивал он задумчиво, поднимая к потолку серые скучные глаза, и — не говорил ничего больше.

Он был как-то особенно тяжело и словно напоказ — скучен, это более всего раздражало меня. Напивался он медленно; пьяный, иронически фыркал носом, кроме этого, я ничего особенного не замечал в нем, ибо — существует закон, по силе которого, с точки зрения мужа, человек, ухаживающий за его женой, всегда плохой человек.

Откуда-то с Украины богатый родственник присылал лицеисту по пятьдесят рублей в месяц — большие деньги в то время. По праздникам лицеист приносил жене моей конфекты, а в день ее именин подарил ей часы-будильник — бронзовый пень, а на нем сова терзает ужа.

Эта отвратительная машина всегда будила меня на час и семь минут раньше, чем следовало.

Жена, перестав кокетничать с лицеистом, начала относиться к нему с нежностью женщины, которая чувствует себя виновной в нарушении душевного равновесия мужчины. Я спросил, чем, по ее мнению, должна окончиться эта грустная история?

— Не знаю,— ответила она.— У меня нет определенного чувства к нему, но — мне хочется встряхнуть его. В нем заснуло что-то, и, кажется, я могла бы его разбудить.

Я знал, что она говорит правду,— ей всех и каждого хотелось разбудить, в этом она очень легко достигала успеха: разбудит ближнего, и в нем проснется скот. Я напоминал ей о Цирцее, но это не укрощало ее стремления «встряхивать» мужчин, и я видел, как вкруг меня постепенно разрастается стадо баранов, быков и свиней.

Знакомые великодушно рассказывали мне потрясающие мрачные легенды о семейном быте моем, а я был прямодушен, груб и предупреждал творцов легенд:

— Я буду бить вас!

Некоторые — лживо оправдывались; обижались — немногие и не очень. А женщина говорила мне:

— Поверь,— грубостью ничего не достигнешь, только еще хуже станут говорить! Ведь ты — не ревнуешь?

Да, я был слишком молод и уверен в себе для того, чтобы ревновать. Но — есть чувства, мысли и догадки, о которых говоришь только любимой женщине и не скажешь никому больше. Есть такой час общения с женщиной, когда становишься чужим самому себе и открываешь себя пред нею, как верующий пред богом своим Когда я представлял себе, что всё это — очень и только мое — она, в интимную минуту, может рассказать кому-то другому, мне становилось тяжело, я чувствовал возможность чего-то, очень похожего на предательство. Может быть, это опасение и является корнем ревности?

Я чувствовал, что такая жизнь может вывихнуть меня с пути, которым я иду. Я уже начинал думать, что иного места в жизни, кроме литературы, — нет для меня. В этих условиях невозможно было работать.

От крупных скандалов меня удерживало то, что на ходу жизни я выучился относиться к людям терпимо, не теряя, однако, ни душевного интереса, ни уважения к ним. Я уже и тогда видел, что все люди более или менее грешны перед неведомым богом совершенной правды, а перед человеком особенно грешат признанные праведники. Праведники — ублюдки от соития порока с добродетелью, и соитие это не является насилием порока над добродетелью или наоборот, но естественный результат их законного брака, в котором ироническая необходимость играет роль попа. Брак же есть таинство, силою которого две яркие противоположности, соединяясь, рождают почти всегда — унылую посредственность. В ту пору мне нравились парадоксы, как мороженое мальчику, острота их возбуждала меня, как хорошее вино, и парадоксальность слов всегда сглаживала грубые, обидные парадоксы фактов.

— Мне кажется, будет лучше, если я уеду,— сказал я жене.

Подумав, она согласилась:

— Да, ты прав! Эта жизнь — не по тебе, я понимаю!

Мы оба немножко и молча погрустили, крепко обняв друг друга, и я уехал из города, а вскоре уехала и она, поступив на сцену. Так кончилась история моей первой любви,— хорошая история, несмотря на ее плохой конец.

Недавно моя первая женщина умерла.

В похвалу ей скажу: это была настоящая женщина! Она умела жить тем, что есть, но каждый день для нее был кануном праздника, она всегда ждала, что завтра на земле расцветут новые, необыкновенные цветы, откуда-то придут необычно интересные люди, разыграются удивительные события.

Относясь к невзгодам жизни насмешливо, полупрезрительно, она отмахивалась от них, точно от комаров, и всегда в душе ее трепетала готовность радостно удивиться. Но — это уже не наивное восхищение институтки, а здоровая радость человека, которому нравится пестрая суета жизни, трагикомически запутанные связи людей, поток маленьких событий, которые мелькают, как пылинки в луче солнца.

Не скажу, чтоб она любила ближних, нет, но ей нравилось рассматривать их. Иногда она ускоряла или осложняла развитие будничных драм между супругами или влюбленными, искусно возбуждая ревность одних, способствуя сближению других,— эта небезопасная игра очень увлекала ее.

— «Любовь и голод правят миром», а философия — несчастие его,— говорила она.— Живут — для любви, это самое главное дело жизни.

Среди наших знакомых был чиновник государственного банка; длинный, тощий, он ходил медленной и важной походкой журавля, тщательно одевался и, заботливо осматривая себя, щелчками сухих, желтых пальцев сбивал, никому, кроме его, не видимые, пылинки со своего костюма. Оригинальная мысль, яркое слово были враждебны ему, как будто брезговали его языком, тяжелым и точным. Говорил он солидно, внушительно и, раньше чем сказать что-либо, всегда неоспоримое, расправлял холодными пальцами рыжеватые редкие усы.

— С течением времени наука химии приобретает

всё большее значение в промышленности, обрабатывающей сырье. О женщинах совершенно справедливо сказано, что они — капризны. Между женой и любовницей нет физиологической разницы, а только юридическая.

Я серьезно спрашивал жену:

— В силах ли ты утверждать, что все нотариусы — крылаты?

Она отвечала виновато и печально:

— О нет, у меня не хватит сил на это, но — я утверждаю: смешно кормить слонов яйцами всмятку!

Наш друг, послушав минуты две такой диалог, проницательно заявлял:

— Мне кажется, что вы говорите всё это совершенно несерьезно.

Однажды, больно ударив колено о ножку стола, он сморщился и сказал с полным убеждением:

— Плотность — неоспоримое свойство материи...

Бывало, проводив его, приятно возбужденная, горячая и легкая, жена говорила, полулежа на коленях у меня:

— Ты посмотри, как совершенно, как законченно он глуп. Глуп во всем, даже походка, жесты — всё глупо. Он мне нравится как нечто образцовое. Погладь мои щеки!

Она любила, когда я, едва касаясь пальцами кожи лица, разглаживал чуть заметные морщинки под милыми глазами ее. И, зажмурясь, поеживаясь, точно кошка, она мурлыкала:

— Как удивительно интересны люди! Даже когда человек неинтересен для всех,— он возбуждает меня. Мне хочется заглянуть в него, как в коробочку,— вдруг там хранится что-то никому не заметное, никогда не показанное, только я одна, и я первая, увижу это.

В ее поисках «никому не заметного» не было напряжения, она искала с удовольствием и любопытством ребенка, который впервые пришел к комнату, не знакомую ему. И порою она действительно зажигала в тусклых глазах безнадежно скучного человека острый блеск напряженной мысли, но — более часто вызывала упрямое желание обладать ею.

Она любила тело свое и, нагая, стоя перед зеркалом, восхищалась:

— Как это славно сделано,— женщина! Как всё в ней гармонично!

Она говорила:

— Когда я хорошо одета, я чувствую себя более здоровой, сильной и умной!

Так и было: нарядная, она становилась веселей, остроумней, ее глаза сияли победоносно. Она умела красиво шить для себя платья из ситца, носила их, как шёлк и бархат, и, одетая всегда очень просто, казалась мне одетой великолепно. Женщины восхищались ее нарядами, конечно,— не всегда искренно, но всегда очень громко, они завидовали ей, и, помню, одна из них печально сказала:

— Мое платье втрое дороже вашего и в десять раз хуже,— мне даже больно и обидно смотреть на вас!

Конечно, женщины не любили ее, разумеется, сочиняли сплетни о нас. Знакомая фельдшерица, очень красивая, но еще более — неумная, великодушно предупреждала меня:

— Эта женщина высосет из вас всю кровь!

Многому научился я около моей первой дамы. Но все-таки меня больно жгло отчаяние непримиримого различия между мной и ею.

Для меня жизнь была серьезной задачей, я слишком много видел, думал, я жил в непрерывной тревоге. В душе моей нестройным хором кричали вопросы, чуждые духу этой славной женщины.

Однажды, на базаре, полицейский избил благообразного старика, одноглазого еврея, за то, что еврей будто бы украл у торговца пучок хрена. Я встретил старика на улице; вывалянный в пыли, он шел медленно, с какой-то картинной торжественностью, его большой черный глаз строго смотрел в пустое знойное небо, а из разбитого рта по белой длинной бороде тонкими струйками текла кровь, окрашивая серебро волос в яркий пурпур.

Тридцать лет тому назад было это, и я вот сейчас вижу перед собою этот взгляд, устремленный в небо с безмолвным упреком, вижу, как дрожат на лице старика

серебряные иглы бровей. Не забываются оскорбления, нанесенные человеку, и — да не забудутся!

Я пришел домой совершенно подавленный, искаженный тоской и злобой. Такие впечатления вышвыривали меня из жизни, я становился чуждым человеком в ней, человеком, которому намеренно — для пытки его — показывают всё грязное, глупое, страшное, что есть на земле, всё, что может оскорбить душу. И вот в эти часы, в эти дни особенно ясно видел я, как далек от меня самый близкий мне человек.

Когда я рассказал ей о избитом еврее, она очень удивилась.

— И — поэтому ты сходишь с ума? О, какие у тебя плохие нервы!

Потом спросила:

— Ты говоришь — красивый старик? Но — как же красивый, если он — кривой?

Всякое страдание было враждебно ей, она не любила слушать рассказы о несчастиях, лирические стихи почти не трогали ее, сострадание редко вспыхивало в маленьком, веселом сердце. Ее любимыми поэтами были Беранже и Гейне, человек, который мучился — смеясь.

В ее отношении к жизни было нечто сродное вере ребенка в безграничную ловкость фокусника: все показанные фокусы интересны, но самый интересный еще впереди. Его покажут в следующий час, может быть — завтра, но — его покажут!

Я думаю, что и в минуту смерти своей она всё еще надеялась увидать этот последний, совершенно непонятный, удивительно ловкий фокус.

В. Г. КОРОЛЕНКО

Когда я вернулся в Нижний из Тифлиса, В. Г. Короленко был в Петербурге.

Не имея работы, я написал несколько маленьких рассказов и послал их в «Волжский вестник» Рейнгардта, самую влиятельную газету Поволжья благодаря постоянному сотрудничеству в ней В. Г.

Рассказы были подписаны М. Г. или Г—ий, их быстро напечатали, Рейнгардт прислал мне довольно лестное письмо и кучу денег, около тридцати рублей. Из каких-то побуждений, теперь забытых мною, я ревниво скрывал свое авторство даже от людей, очень близких мне, от Н. З. Васильева и А. И. Ланина; не придавая серьезного значения этим рассказам, я не думал, что они решат мою судьбу. Но Рейнгардт сообщил Короленко мою фамилию, и, когда В. Г. вернулся из Петербурга, мне сказали, что он хочет видеть меня.

Он жил всё в том же деревянном доме архитектора Лемке на краю города. Я застал его за чайным столом в маленькой комнатке окнами на улицу, с цветами на подоконниках и по углам, с массой книг и газет повсюду.

Жена и дети, кончив пить чай, собирались гулять. Он показался мне еще более прочным, уверенным и кудрявым.

— А мы только что читали ваш рассказ «О чиже» — ну, вот вы и начали печататься, поздравляю! Оказывается, вы — упрямый, всё аллегории пишете. Что же, и аллегория хороша, если остроумна, и упрямство — не дурное качество.

Он сказал еще несколько ласковых слов, глядя

на меня прищуренными глазами. Лоб и шея у него густо покрыты летним загаром, борода — выцвела. В сарпинковой рубахе синего цвета, подпоясанной кожаным ремнем, в черных брюках, заправленных в сапоги, он, казалось, только что пришел откуда-то издалека и сейчас снова уйдет. Его спокойные умные глаза сияли бодро и весело.

Я сказал, что у меня есть еще несколько рассказов и один напечатан в газете «Кавказ».

— Вы ничего не принесли с собой? Жаль. Пишете вы очень своеобразно. Не слажено всё у вас, шероховато, но — любопытно. Говорят — вы много ходили пешком? Я тоже, почти всё лето, гулял за Волгой, по Керженцу, по Ветлуге. А вы где были?

Когда я кратко очертил ему путь мой, он одобрительно воскликнул:

— Ого? Хорошая путина! Вот почему вы так возмужали за эти — три года почти? И силищи накопили, должно быть, много?

Я только что прочитал его рассказ «Река играет», он очень понравился мне и красотой и содержанием. У меня было чувство благодарности к автору, и я стал восторженно говорить о рассказе.

В лице перевозчика Тюлина Короленко дал, на мой взгляд, изумительно верно понятый и великолепно изображенный тип крестьянина «героя на час». Такой человек может самозабвенно и просто совершить подвиг великодушия, а вслед за тем изувечить до полусмерти жену, разбить колом голову соседа. Он может очаровать вас добродушными улыбками, сотней сердечных слов, ярких, как цветы, и вдруг, без причины, наступить на лицо вам ногою в грязном сапоге. Как Козьма Минин, он способен организовать народное движение, а потом — «спиться с круга», «скормить себя вшам».

В. Г. выслушал мою путаную речь, не прерывая, внимательно, присматриваясь ко мне,— это очень смущало меня. Порою он, закрыв глаза, пристукивал ладонью по столу, а потом встал со стула, прислонился спиной к стене и сказал, усмехаясь, добродушно:

— Вы преувеличили. Скажем проще: рассказ удачный. Этого достаточно. Не утаю — мне самому нравится

он. Ну, а таков ли мужик вообще, каков Тюлин,— этого я не знаю! А вот вы хорошо говорите, выпукло, ярко, крепким языком,— нате вам в отплату за вашу похвалу! И чувствуется, что видели вы много, подумали немало. С этим я вас от души поздравляю. От души!

Он протянул мне руку с мозолями на ладони, должно быть, от весел или топора, он любил колоть дрова и вообще физический труд.

— Ну, расскажите, что видели?

Рассказывая, я коснулся моих встреч с различными искателями правды,— они сотнями шагают из города в город, из монастыря в монастырь по запутанным дорогам России.

Глядя в окно, на улицу, Короленко сказал:

— Чаще всего они — бездельники. Неудавшиеся герои, противно влюбленные в себя. Вы заметили, что почти все они злые люди? Большинство их ищет вовсе не «святую правду», а легкий кусок хлеба и — кому бы на шею сесть.

Слова эти, сказанные спокойно, поразили меня, сразу открыв предо мною правду, которую я смутно чувствовал.

— Хорошие рассказчики есть среди них,— продолжал Короленко.— Богатого языка люди. Иной говорит, как шелками вышивает.

«Искатели правды», «взыскующие града» — это были любимые герои житийной народнической литературы, а вот Короленко именует их бездельниками, да еще и злыми! Это звучало почти кощунством, но в устах В. Г. продуманно и решенно. И слова его усилили мое ощущение душевной независимости этого человека.

— На Волыни и в Подолье — не были? Там — красиво!

Сказал я ему о моей насильственной беседе с Иоанном Кронштадтским,— он живо воскликнул:

— Как же вы думаете о нем? Что это за человек?

— Человек искренно верующий, как веруют иные, немудрые, сельские попики хорошего, честного сердца. Мне кажется, он испуган своей популярностью, тяжела она ему, не по плечу. Чувствуется в нем что-то случайное, и как будто он действует не по своей воле. Всё

время спрашивает бога своего: так ли, господи? и всегда боится: не так!

— Странно слышать это,— задумчиво сказал В. Г.

Потом он сам начал рассказывать о своих беседах с мужиками Лукоянова, сектантами Керженца, великолепно, с тонким, цепким юмором подчеркивая в речах собеседников забавное сочетание невежества и хитрости, ловко отмечая здравый смысл мужика и его осторожное недоверие к чужому человеку.

— Я иногда думаю, что нигде в мире нет такой разнообразной духовной жизни, как у нас на Руси. Но если это и не так, то во всяком случае характеры думающих и верующих людей бесконечно и несоединимо разнообразны у нас.

Он веско заговорил о необходимости внимательного изучения духовной жизни деревни.

— Этого не исчерпает этнография, нужно подойти как-то иначе, ближе, глубже. Деревня — почва, на которой мы все растем, и много чертополоха, много бесполезных сорных трав. Сеять «разумное, доброе, вечное» на этой почве надо так же осторожно, как и энергично. Вот я летом беседовал с молодым человеком, весьма неглупым, но — он серьезно убеждал меня, что деревенское кулачество — прогрессивное явление, потому что, видите ли, кулаки накопляют капитал, а Россия обязана стать капиталистической страной. Если такой пропагандист попадет в деревню...

Он засмеялся.

Провожая меня, он снова пожелал мне успеха.

— Так вы думаете — я могу писать? — спросил я.

— Конечно! — воскликнул он, несколько удивленный.— Ведь вы уже пишете, печатаетесь — чего же? Захотите посоветоваться — несите рукописи, потолкуем...

Я вышел от него в бодром настроении человека, который после жаркого дня и великой усталости выкупался в прохладной воде лесной речки.

В. Г. Короленко вызвал у меня крепкое чувство уважения, но почему-то я не ощутил к писателю симпатии, и это огорчило меня. Вероятно, это случилось потому, что в ту пору учителя и наставники уже несколько

тяготили меня, мне очень хотелось отдохнуть от них, поговорить с хорошим человеком дружески, просто, о том, что беспощадно волновало меня. А когда я приносил материал моих впечатлений учителям, они кроили и сшивали его сообразно моде и традициям тех политико-философских фирм, закройщиками и портными которых они являлись. Я чувствовал, что они совершенно искренно не могут шить и кроить иначе, но я видел, что они портят мой материал.

Недели через две я принес Короленко рукописи сказки «О рыбаке и фее» и рассказа «Старуха Изергиль», только что написанного мною. В. Г. не было дома, я оставил рукописи и на другой же день получил от него записку: «Приходите вечером поговорить. Вл. Кор.».

Он встретил меня на лестнице с топором в руке.

— Не думайте, что это мое орудие критики,— сказал он, потрясая топором,— нет, это я полки в чулане устраивал. Но — некоторое усекновение главы ожидает вас...

Лицо его добродушно сияло, глаза весело смеялись, и, как от хорошей, здоровой русской бабы, от него пахло свежевыпеченным хлебом.

— Всю ночь — писал, а после обеда уснул; проснулся — чувствую: надо повозиться!

Он был не похож на человека, которого я видел две недели тому назад; я совершенно не чувствовал в нем наставника и учителя; передо мной был хороший человек, дружески внимательно настроенный ко всему миру.

— Ну-с,— начал он, взяв со стола мои рукописи и хлопая ими по колену своему,— прочитал я вашу сказку. Если бы это написала барышня, слишком много прочитавшая стихов Мюссе да еще в переводе нашей милой старушки Мысовской,— я бы сказал барышне: «Недурно, а все-таки выходите замуж!» Но для такого свирепого верзилы, как вы, писать нежные стишки — это почти гнусно, во всяком случае преступно. Когда это вы разразились?

— Еще в Тифлисе...

— То-то! У вас тут сквозит пессимизмом. Имейте в виду: пессимистическое отношение к любви — болезнь

возраста, это теория, наиболее противоречивая практике, чем все иные теории. Знаем мы вас, пессимистов, слышали о вас кое-что.

Он лукаво подмигнул мне, засмеялся и продолжал серьезно:

— Из этой панихиды можно напечатать только стихи, они оригинальны, это я вам напечатаю. «Старуха» написана лучше, серьезнее, но — все-таки и снова — аллегория. Не доведут они вас до добра! Вы в тюрьме сидели? Ну, и еще сядете!

Он задумался, перелистывая рукопись:

— Странная какая-то вещь. Это — романтизм, а он — давно скончался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин воскресенья. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист вы, а не романтик, реалист! В частности, там есть одно место о поляке, оно показалось мне очень личным — нет, не так?

— Возможно.

— Ага, вот видите! Я же — говорю: мы кое-что знаем о вас. Но — это недопустимо, личное — изгоняйте! Разумею — узко личное.

Он говорил охотно, весело, у него чудесно сияли глаза,— я смотрел на него всё с бóльшим удивлением, как на человека, которого впервые вижу. Бросив рукопись на стол, он подвинулся ко мне, положил руку на мое колено.

— Слушайте,— можно говорить с вами запросто? Знаю я вас — мало, слышу о вас — много, и кое-что вижу сам. Плохо вы живете. Не туда попали. По-моему, вам надо уехать отсюда или жениться на хорошей, неглупой девушке.

— Но я женат.

— Вот это и плохо!

Я сказал, что не могу говорить на эту тему.

— Ну, извините.

Он начал шутить, потом вдруг озабоченно спросил:

— Да! Вы слышали, что Ромась арестован? Давно? Вот как. Я только вчера узнал. Где? В Смоленске? Что же он делал там?

На квартире Ромася была арестована типография «народоправцев», организованная им.

— Неугомонный человек,— задумчиво сказал В. Г.— Теперь — снова сошлют его куда-нибудь. Что он — здоров? Здоровеннейший мужик был...

Он вздохнул, повел широкими плечами.

— Нет, всё это — не то! Этим путем ничего не достигнешь. Астыревское дело — хороший урок, он говорит нам: беритесь за черную, легальную работу, за будничное культурное дело. Самодержавие — больной, но крепкий зуб, корень его ветвист и врос глубоко, нашему поколению этот зуб не вырвать,— мы должны сначала раскачать его, а на это требуется не один десяток лет легальной работы.

Он долго говорил на эту тему, и чувствовалось, что говорит он о своей живой вере.

Пришла Авдотья Семеновна, зашумели дети, я простился и ушел с хорошим сердцем.

Известно, что в провинции живешь, как под стеклянным колпаком,— всё знают о тебе, знают, о чем ты думал в среду около двух часов и в субботу перед всенощной; знают тайные намерения твои и очень сердятся, если ты не оправдываешь пророческих догадок и предвидений людей.

Конечно, весь город узнал, что Короленко благосклонен ко мне, и я принужден был выслушать немало советов такого рода:

— Берегитесь, собьет вас с толка эта компания поумневших!

Подразумевался популярный в то время рассказ П. Д. Боборыкина «Поумнел»— о революционере, который взял легальную работу в земстве, после чего он потерял дождевой зонтик и его бросила жена.

— Вы — демократ, вам нечему учиться у генералов, вы — сын народа! — внушали мне.

Но я уже давно чувствовал себя пасынком народа, это чувство от времени усиливалось, и, как я уже говорил, сами народопоклонники казались мне такими же пасынками, как я. Когда я указывал на это, мне кричали:

— Вот видите,— вы уже заразились!

Группа студентов ярославского лицея пригласила меня на пирушку, я что-то читал им, они подливали в

мой стакан пива — водку, стараясь делать это незаметно для меня. Я видел их маленькие хитрости, понимал, что они хотят «вдребезги» напоить меня, но не мог понять — зачем это нужно им? Один из них, самовлюбленный и чахоточный, убеждал меня:

— Главное — пошлите ко всем чертям идеи, идеалы и всю эту дребедень! Пишите — просто! Долой идеи...

Невыносимо надоедали мне все эти советы.

В. Г. Короленко, как всякий заметный человек, подвергался разнообразному воздействию обывателей. Одни, искренно ценя его внимательное отношение к человеку, пытались вовлечь писателя в свои личные, мелкие дрязги, другие избрали его объектом для испытания легкой клеветой. Моим знакомым не очень нравились его рассказы.

— Этот ваш Короленко, кажется, даже в бога верует,— говорили мне.

Почему-то особенно не понравился рассказ «За иконой», находили, что это — «этнография», не более.

— Так писал еще Павел Якушкин.

Утверждали, что характер героя-сапожника — взят из «Нравы Растеряевой улицы» Г. Успенского. В общем критики напоминали мне одного воронежского иеромонаха, который, выслушав подробный рассказ о путешествии Миклухи-Маклая, недоуменно и сердито спросил:

— Позвольте! Вы сказали: он привез в Россию папуаса. Но — зачем же именно папуаса? И — почему только одного?

Рано утром я возвращался с поля, где гулял ночь, и встретил В. Г. у крыльца его квартиры.

— Откуда? — удивленно спросил он.— А я иду гулять, отличное утро! Пройдемтесь?

Он, видимо, тоже не спал ночь: глаза красны и сухи, смотрят утомленно, борода сбита в клочья, одет небрежно.

— Прочитал я в «Волгаре» вашего «Деда Архипа»,— это недурная вещь, ее можно бы напечатать в журнале,

Почему вы не показали мне этот рассказ, прежде чем печатать его? И почему вы не заходите ко мне?

Я сказал, что меня оттолкнул от него жест, которым он дал мне три рубля взаймы,— он протянул мне деньги молча, стоя спиной ко мне. Меня это обидело. Занимать деньги в долг так трудно, я прибегал к этому только в случаях действительно крайней необходимости.

Он задумался, нахмурясь:

— Не помню! Во всяком случае это было, если вы говорите, что было. Но вы должны извинить мне эту небрежность. Вероятно, я был не в духе, это часто бывает со мною последнее время. Вдруг задумаюсь, точно в колодец свалился. Ничего не вижу, не слышу, но что-то слушаю и очень напряженно.

Взяв меня под руку, он заглянул в глаза мне.

— Вы забудьте это. Обижаться вам не на что, у меня хорошее чувство к вам, но что вы обиделись, это вообще — не плохо. Мы не очень обидчивы, вот это плохо! Ну, забудем. Вот что я хочу сказать вам: пишете вы много, торопливо, нередко в рассказах ваших видишь недоработанность, неясность. В «Архипе»,— там, где описан дождь,— не то стихи, не то ритмическая проза. Это — нехорошо.

Он много и подробно говорил и о других рассказах, было ясно, что он читает всё, что я печатаю, с большим вниманием. Разумеется, это очень тронуло меня.

— Надо помогать друг другу,— сказал он в ответ на мою благодарность.— Нас — немного! И всем нам— трудно.

Понизив голос, он спросил:

— А вы не слышали — правда, что в деле Ромася и других запуталась некая девица Истомина?

Я знал эту девицу, познакомился с ней, вытащив ее из Волги, куда она бросилась вниз головою с кормы дощаника. Вытащить ее было легко, она пробовала утопиться на очень мелком месте. Это было бесцветное, неумное существо с наклонностью к истерии и болезненной любовью ко лжи. Потом она была, кажется, гувернанткой у Столыпина в Саратове и убита, в числе других, бомбой максималистов при взрыве дачи министра на Аптекарском острове.

Выслушав мой рассказ, В. Г. почти гневно сказал:

— Преступно вовлекать таких детей в рискованное дело. Года четыре тому назад или больше я встречал эту девушку. Мне она не казалась такой, как вы ее нарисовали. Просто — милая девчурка, смущенная явной неправдой жизни, из нее могла бы выработаться хорошая сельская учительница. Говорят — она болтала на допросах? Но что же она могла знать? Нет, я не могу оправдать приношение детей в жертву Ваалу политики...

Он пошел быстрее, а у меня болели ноги, я спотыкался и отставал.

— Что это вы?

— Ревматизм.

— Рановато! О девочке вы говорили совсем неверно, на мой взгляд. А вообще вы хорошо рассказываете. Вот что — попробуйте вы написать что-либо покрупнее, для журнала. Это пора сделать. Напечатают вас в журнале, и, надеюсь, вы станете относиться к себе более серьезно.

Не помню, чтоб он еще когда-нибудь говорил со мною так обаятельно, как в это славное утро, после двух дней непрерывного дождя, среди освеженного поля.

Мы долго сидели на краю оврага у еврейского кладбища, любуясь изумрудами росы на листьях деревьев и травах, он рассказывал о трагикомической жизни евреев «черты оседлости», а под глазами его всё росли тени усталости.

Было уже часов девять утра, когда мы воротились в город. Прощаясь со мною, он напомнил:

— Значит — пробуете написать большой рассказ, решено?

Я пришел домой и тотчас же сел писать «Челкаша», рассказ одесского босяка, моего соседа по койке в больнице города Николаева; написал в два дня и послал черновик рукописи В. Г.

Через несколько дней он привел к моему патрону обиженных кем-то мужиков и сердечно, как только он умел делать, поздравил меня.

— Вы написали недурную вещь. Даже прямо-таки хороший рассказ! Из целого куска сделано...

Я был очень смущен его похвалой.

Вечером, сидя верхом на стуле в своем кабинетике, он оживленно говорил:

— Совсем неплохо! Вы можете создавать характеры, люди говорят и действуют у вас от себя, от своей сущности, вы умеете не вмешиваться в течение их мысли, игру чувств, это не каждому дается! А самое хорошее в этом то, что вы цените человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, что вы реалист!

Но, подумав и усмехаясь, он добавил:

— Но в то же время — романтик! И вот что, вы сидите здесь не более четверти часа, а курите уже четвертую папиросу.

— Очень волнуюсь...

— Напрасно. Вы и всегда какой-то взволнованный, поэтому, видимо, о вас и говорят, что вы много пьете. Костей у вас — много, мяса — нет, курите — ненужно, без удовольствия,— что это с вами?

— Не знаю.

— А — пьете много,— есть слух?

— Врут.

— И какие-то оргии у вас там...

Посмеиваясь, пытливо поглядывая на меня, он рассказал несколько неплохо сделанных сплетен обо мне.

Потом памятно сказал:

— Когда кто-нибудь немножко высовывается вперед, его — на всякий случай — бьют по голове; это изречение одного студента-петровца. Ну, так пустяки — в сторону, как бы они ни были любезны вам. «Челкаша» напечатаем в «Русском богатстве», да еще на первом месте, это некоторая отличка и честь. В рукописи у вас есть несколько столкновений с грамматикой, очень невыгодных для нее, я это поправил. Больше ничего не трогал,— хотите взглянуть?

Я отказался, конечно.

Расхаживая по тесной комнате, потирая руки, он сказал:

— Радует меня удача ваша.

Я чувствовал обаятельную искренность этой радости и любовался человеком, который говорит о литературе, точно о женщине, любимой им спокойной, креп-

кой любовью — навсегда. Незабвенно хорошо было мне в этот час, с этим лоцманом, я молча следил за его глазами — в них сияло так много милой радости о человеке.

Радость о человеке — ее так редко испытывают люди, а ведь это величайшая радость на земле.

Короленко остановился против меня, положил тяжелые руки свои на плечи мне.

— Слушайте — не уехать ли вам отсюда? Например, в Самару. Там у меня есть знакомый в «Самарской газете». Хотите, я напишу ему, чтоб он дал вам работу? Писать?

— Разве я кому-то мешаю здесь?

— Вам мешают.

Было ясно, что он верит рассказам о моем пьянстве, «оргиях в бане» и вообще о «порочной» жизни моей,— главнейшим пороком ее была нищета. Настойчивые советы В. Г. мне уехать из города несколько обижали, но в то же время его желание извлечь меня из «недр порока» трогало за сердце.

Взволнованный, я рассказал ему, как живу, он молча выслушал, нахмурился, пожал плечами.

— Но ведь вы сами должны видеть, что всё это совершенно невозможно и — чужой вы во всей этой фантастике! Нет, вы послушайте меня. Вам необходимо уехать, переменить жизнь...

Он уговорил меня сделать это.

Потом, когда я писал в «Самарской газете» плохие ежедневные фельетоны, подписывая их хорошим псевдонимом «Иегудиил Хламида», Короленко посылал мне письма, критикуя окаянную работу мою насмешливо, внушительно, строго, но — всегда дружески.

Особенно хорошо помню я такой случай:

Мне до отвращения надоел поэт, носивший роковую для него фамилию — Скукин. Он присылал в редакцию стихи свои саженями, они были неизлечимо малограмотны и чрезвычайно пошлы, их нельзя было печатать. Жажда славы внушила этому человеку оригинальную

мысль: он напечатал стихи свои на отдельных листах розовой бумаги и роздал их по гастрономическим магазинам города, приказчики завертывали в эту бумагу пакеты чая, коробки конфект, консервы, колбасы, и таким образом обыватель получал, в виде премии к покупке своей, пол-аршина стихов, в них торжественно воспевались городские власти, предводитель дворянства, губернатор, архиерей.

Каждый на свой лад, все эти люди были примечательны и вполне заслуживали внимания, но — архиерей являлся особенно выдающейся фигурой: он насильно окрестил девушку татарку, чем едва не вызвал бунт среди татар целой волости, он устроил совершенно идиотский процесс хлыстов, по этому процессу были осуждены люди, ни в чем не повинные, это я хорошо знал. Наиболее славен был такой подвиг его: во время поездки по епархии, в непогожий день, у него сломалась карета около какой-то маленькой, заброшенной деревеньки, и он должен был зайти в избу крестьянина. Там, на полке, около божницы, он увидал гипсовую голову Зевса, разумеется, это поразило его. Из расспросов и осмотра других изб оказалось, что изображение владыки олимпийцев, а также и статуэтка богини Венеры есть и еще у нескольких крестьян, но никто из них не хотел сказать — откуда они взяли идолов.

Этого оказалось достаточно, чтоб возбудить уголовное дело о секте самарских язычников, которые поклонялись богам древнего Рима. Идолопоклонников посадили в тюрьму, где они и пробыли до поры, пока следствие не установило, что ими убит и ограблен некий торговец гипсовыми изделиями Солдатской слободы в Вятке; убив торговца, эти люди дружески разделили между собой его товар и — только.

Одним словом: я был недоволен губернатором, архиереем, городом, миром, самим собою и еще многим. Поэтому, в состоянии запальчивости и раздражения, я обругал поэта, воспевшего ненавистное мне, приставив к его фамилии — Скукин — слово сын.

В. Г. тотчас прислал мне длинное и внушительное письмо на тему: даже и за дело ругая людей, следует

соблюдать чувство меры. Это было хорошее письмо, но его при обыске отобрали у меня жандармы, и оно пропало вместе с другими письмами Короленко.

Кстати — о жандармах.

Ранней весной 97 года меня арестовали в Нижнем и, не очень вежливо, отвезли в Тифлис. Там, в Метехском замке, ротмистр Конисский, впоследствии начальник петербургского жандармского управления, допрашивая меня, уныло говорил:

— Какие хорошие письма пишет вам Короленко, а ведь он теперь лучший писатель России!

Странный человек был этот ротмистр: маленький, движения мягкие, осторожные, как будто неуверенные, уродливо большой нос грустно опущен, а бойкие глаза — точно чужие на его лице, и зрачки их забавно прячутся куда-то в переносицу.

— Я — земляк Короленко, тоже волынец, потомок того епископа Конисского, который — помните? —произнес знаменитую речь Екатерине Второй: «Оставим солнце» и т. д. Горжусь этим!

Я вежливо осведомился, кто больше возбуждает гордость его — предок или земляк?

— И тот и другой, конечно, и тот и другой!

Он загнал зрачки в переносицу, но тотчас громко шмыгнул носом, и зрачки выскочили на свое место. Будучи болен и потому — сердит, я заметил, что плохо понимаю гордость человеком, которому чрезмерно любезное внимание жандармов так много мешало и мешает жить, Конисский благочестиво ответил:

— Каждый из нас — творит волю пославшего, каждый и все! Пойдемте далее. Итак, вы утверждаете... А между тем нам известно...

Мы сидели в маленькой комнатке под входными воротами замка. Окно ее помещалось очень высоко, под потолком, через него на стол, загруженный бумагами, падал луч жаркого солнца и, между прочим, на позор мой, освещал клочок бумаги, на котором мною было четко написано:

«Не упрекайте лососину за то, что гложет лось осину».

Я смотрел на эту проклятую бумажку и думал:

«Что я отвечу ротмистру, если он спросит меня о смысле этого изречения?»

Шесть лет — с 95 по 901 год — я не встречал Владимира Галактионовича, лишь изредка обмениваясь письмами с ним.

В 901 году я впервые приехал в Петербург, город прямых линий и неопределенных людей. Я был «в моде», меня одолевала «слава», основательно мешая мне жить. Популярность моя проникала глубоко: помню, шел я ночью по Аничкову мосту, меня обогнали двое людей, видимо, парикмахеры, и один из них, заглянув в лицо мое, испуганно, вполголоса сказал товарищу:

— Гляди — Горький!

Тот остановился, внимательно осмотрел меня с ног до головы и, пропустив мимо себя, сказал с восторгом:

— Эх, дьявол,— в резинковых калошах ходит!

В числе множества удовольствий я снялся у фотографа с группой членов редакции журнала «Начало»,— среди них был провокатор и агент охранного отделения М. Гурович.

Разумеется, мне было крайне приятно видеть благосклонные улыбки женщин, почти обожающие взгляды девиц, и, вероятно,— как все молодые люди, только что ошарашенные славой,— я напоминал индейского петуха.

Но, бывало, ночами, наедине с собою, вдруг почувствуешь себя в положении непойманного уголовного преступника: его окружают шпионы, следователи, прокуроры, все они ведут себя так, как будто считают преступление несчастием, печальной «ошибкой молодости», и — только сознайся! — они великодушно простят тебя. Но — в глубине души каждому из них непобедимо хочется уличить преступника, крикнуть в лицо ему торжествующе:

«Ага-а!»

Нередко приходилось стоять в положении ученика, вызванного на публичный экзамен по всем отраслям знания.

— Како веруешь? — пытали меня начетчики сект и жрецы храмов.

Будучи любезным человеком, я сдавал экзамены, обнаруживая терпение, силе которого сам удивлялся, но после пытки словами у меня возникало желание проткнуть Исаакиевский собор адмиралтейской иглою или совершить что-либо иное, не менее скандальное.

Где-то позади добродушия, почти всегда несколько наигранного, россияне скрывают нечто, напоминающее хамоватость. Это качество — а может быть, это метод исследования? — выражается очень разнообразно, главным же образом — в стремлении посетить душу ближнего, как ярмарочный балаган, взглянуть, какие в ней показываются фокусы, пошвырять, натоптать, насорить пустяков в чужой душе, а иногда — опрокинуть что-нибудь. И, по примеру Фомы, тыкать в раны пальцами, очевидно, думая, что скептицизм апостола равноценен любопытству обезьян.

В. Г. Короленко и в каменном Петербурге нашел для себя старенький деревянный дом, провинциально уютный, с крашеным полом в комнатах, с ласковым запахом старости.

В. Г. поседел за эти годы, кольца седых волос на висках были почти белые, под глазами легли морщины, взгляд — рассеянный, усталый. Я тотчас почувствовал, что его спокойствие, раньше так приятное мне, заменилось нервозностью человека, который живет в крайнем напряжении всех сил души. Видимо, не дешево стоило ему Мультанское дело и всё, что он, как медведь, ворочал в эти трудные годы.

— Бессонница у меня, отчаянно надоедает. А вы, не считаясь с туберкулезом, всё так же много курите? Как у вас легкие? Собираюсь в Черноморье,— едем вместе?

Сел за стол против меня и, выглядывая из-за самовара, заговорил о моей работе.

— Такие вещи, как «Варенька Олесова», удаются вам лучше, чем «Фома Гордеев». Этот роман — трудно читать, материала в нем много, порядка, стройности — нет.

Он выпрямил спину так, что хрустнули позвонки, и спросил:

— Что же вы — стали марксистом?

Когда я сказал, что — близок к этому, он невесело улыбнулся, заметив:

— Неясно мне это. Социализм без идеализма для меня — непонятен! И не думаю, чтобы на сознании общности материальных интересов можно было построить этику, а без этики — мы не обойдемся.

И, прихлебывая чай, спросил:

— Ну, а как вам нравится Петербург?

— Город — интереснее людей.

— Люди здесь...

Он приподнял брови и крепко потер пальцами усталые глаза.

— Люди здесь более европейцы, чем москвичи и наши волжане. Говорят: Москва своеобразнее,— не знаю. На мой взгляд, ее своеобразие — какой-то неуклюжий, туповатый консерватизм. Там славянофилы, Катков и прочее в этом духе, здесь — декабристы, петрашевцы, Чернышевский...

— Победоносцев,— вставил я.

— Марксисты,— добавил В. Г., усмехаясь.— И всякое иное заострение прогрессивной, то есть революционной мысли. А Победоносцев-то талантлив, как хотите! Вы читали его «Московский сборник»? Заметьте — московский все-таки!

Он сразу нервозно оживился и стал юмористически рассказывать о борьбе литературных кружков, о споре народников с марксистами.

Я уже кое-что знал об этом, на другой же день по приезде в Петербург я был вовлечен в «историю», о которой я даже теперь вспоминаю с неприятным чувством; я пришел к В. Г. для того, чтобы, между прочим, поговорить с ним по этому поводу.

Суть дела такова:

Редактор журнала «Жизнь» В. А. Поссе организовал литературный вечер в честь и память Н. Г. Чернышевского, пригласив участвовать В. Г. Короленко, Н. К. Михайловского, П. Ф. Мельшина, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского и еще несколько маркси-

стов и народников. Литераторы дали свое согласие, полиция — разрешение.

На другой день по приезде моем в Петербург ко мне пришли два щеголя студента с кокетливой барышней и заявили, что они не могут допустить участия Поссе в чествовании Чернышевского, ибо: «Поссе — человек, неприемлемый для учащейся молодежи, он эксплуатирует издателей журнала „Жизнь“». Я уже более года знал Поссе, и хотя считал его человеком оригинальным, талантливым, однако — не в такой степени, чтобы он мог и умел эксплуатировать издателей. Знал я, что его отношения с ними были товарищеские, он работал, как ломовая лошадь, и, получая ничтожное вознаграждение, жил, с большою семьей, впроголодь. Когда я сообщил всё это юношам, они заговорили о неопределенной политической позиции Поссе между народниками и марксистами, но — он сам понимал эту неопределенность и статьи свои подписывал псевдонимом Вильде. Блюстители нравственности и правоверия рассердились на меня и ушли, заявив, что они пойдут ко всем участникам вечера и уговорят их отказаться от выступлений.

В дальнейшем оказалось, что «инцидент в его сущности» нужно рассматривать не как выпад лично против Поссе, а «как один из актов борьбы двух направлений политической мысли»,— молодые марксисты находят, что представителям их школы неуместно выступать пред публикой с представителями народничества, «изношенного, издыхающего». Вся эта премудрость была изложена в письме, обширном, как доклад, и написанном таким языком, что, читая письмо, я почувствовал себя иностранцем. Вслед за письмом от людей, мне неведомых, я получил записку П. Б. Струве,— он извещал меня, что отказывается выступить на вечере, а через несколько часов другой запиской сообщил, что берет свой отказ назад. Но — на другой день отказался М. И. Туган-Барановский, а Струве прислал третью записку, на сей раз с решительным отказом и, как в первых двух, без мотивации оного.

В. Г., посмеиваясь, выслушал мой рассказ о этой капители и юмористически грустно сказал:

— Вот,— пригласят читать, а выйдешь на эстраду — схватят, снимут с тебя штаны и — выпорют!

Расхаживая по комнате, заложив руки за спину, он продолжал вдумчиво и негромко:

— Тяжелое время! Растет что-то странное, разлагающее людей. Настроение молодежи я плохо понимаю, мне кажется, что среди нее возрождается нигилизм и явились какие-то карьеристы-социалисты. Губит Россию самодержавие, а сил, которые могли бы сменить его,— не видно!

Впервые я наблюдал Короленко настроенным так озабоченно и таким усталым. Было очень грустно.

К нему пришли какие-то земцы из провинции, и я ушел. Через два-три дня он уехал куда-то отдыхать, и я не помню, встречался ли с ним после этого свидания.

Встречи мои с ним были редки, я не наблюдал его непрерывно, изо дня в день, хотя бы на протяжении краткого времени.

Но каждая беседа с ним укрепляла мое представление о В. Г. Короленко как о великом гуманисте. Среди русских культурных людей я не встречал человека с такой неутомимой жаждою «правды-справедливости», человека, который так проникновенно чувствовал бы необходимость воплощения этой правды в жизнь.

После смерти Л. Н. Толстого он писал мне:

«Толстой, как никто до него, увеличил количество думающих и верующих людей. Мне кажется, Вы ошибаетесь, утверждая, что это увеличено за счет делающих или способных к делу. Человеческая мысль всегда действенна, только разбудите ее, и стремление ее будет направлено к истине, справедливости».

Я уверен, что культурная работа В. Г. разбудила дремавшее правосознание огромного количества русских людей. Он отдавал себя делу справедливости с тем редким, целостным напряжением, в котором чувство и разум, гармонически сочетаясь, возвышаются до глубокой, религиозной страсти. Он как бы видел и ощущал справедливость, как все лучшие мечты наши, она — призрак, созданный духом человека, ищущий воплотиться в осязаемые формы.

В ущерб таланту художника он отдал энергию свою

непрерывной, неустанной борьбе против стоглавого чудовища, откормленного фантастической русской жизнью.

Суровые формы революционной мысли, революционного дела тревожили и мучили его сердце,— сердце человека, который страстно любил красоту-справедливость, искал слияния их во единое целое. Но он крепко верил в близкий расцвет творческих сил страны и предчувствовал, что чудо воскресения народа из мертвых будет страшным чудом.

В 908 году он писал:

«Всё, что делают сейчас, через несколько лет отзовется вулканическим взрывом, страшные это будут дни. Но он будет, если жива душа народа, а душа его жива».

В 87 году он закончил свой рассказ «На затмении» стихами Н. Берга:

На святой Руси петухи поют,
Скоро будет день на святой Руси.

Всю жизнь, трудным путем героя, он шел встречу дню, и неисчислимо всё, что сделано В. Г. Короленко для того, чтоб ускорить рассвет этого дня.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Эта книжка составилась из отрывочных заметок, которые я писал, живя в Олензе, когда Лев Николаевич жил в Гаспре, сначала — тяжко больной, потом — одолев болезнь. Я считал эти заметки, небрежно написанные на разных клочках бумаги, потерянными, но недавно нашел часть их. Затем сюда входит неоконченное письмо, которое я писал под впечатлением «ухода» Льва Николаевича из Ясной Поляны и смерти его. Печатаю письмо, не исправляя в нем ни слова, таким, как оно было написано тогда. И не доканчиваю его, этого почему-то нельзя сделать.

М. Горький

ЗАМЕТКИ

I

Мысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце,— мысль о боге. Иногда кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Он говорит об этом меньше, чем хотел бы, но думает — всегда. Едва ли это признак старости, предчувствие смерти, нет, я думаю, это у него от прекрасной человеческой гордости. И — немножко от обиды, потому что, будучи Львом Толстым, оскорбительно подчинить свою волю какому-то стрептококку. Если бы он был естествоиспытателем, он, конечно, создал бы гениальные гипотезы, совершил бы великие открытия.

II

У него удивительные руки — некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать всё. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа или олимпийца, а на этакого русского бога, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой», и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов.

III

К Сулержицкому он относится с нежностью женщины. Чехова любит отечески, в этой любви чувствуется гордость создателя, а Сулер вызывает у него именно нежность, постоянный интерес и восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна. Пожалуй, в этом чувстве есть нечто немножко смешное, как любовь старой девы к попугаю, моське, коту. Сулер — какая-то восхитительно вольная птица чужой, неведомой страны. Сотня таких людей, как он, могли бы изменить и лицо и душу какого-нибудь провинциального города. Лицо его они разобьют, а душу наполнят страстью к буйному, талантливому озорству. Любить Сулера легко и весело, и когда я вижу, как небрежно относятся к нему женщины, они удивляют и злят меня. Впрочем, за этой небрежностью, может быть, ловко скрывается осторожность. Сулер — ненадежен. Что он сделает завтра? Может быть, бросит бомбу, а может — уйдет в хор трактирных песенников. Энергии в нем — на три века. Огня жизни так много, что он, кажется, и потеет искрами, как перегретое железо.

Но однажды он крепко рассердился на Сулера,— склонный к анархизму Леопольд часто и горячо рассу-

ждал о свободе личности, а Л. Н. всегда в этих случаях подтрунивал над ним.

Помню, Сулержицкий достал откуда-то тощенькую брошюрку князя Кропоткина, воспламенился ею и целый день рассказывал всем о мудрости анархизма, сокрушительно философствуя.

— Ах, Левушка, перестань, надоел,— с досадой сказал Л. Н.— Твердишь, как попугай, одно слово — свобода, свобода, а где, в чем его смысл? Ведь если ты достигнешь свободы в твоем смысле, как ты воображаешь,— что будет? В философском смысле — бездонная пустота, а в жизни, в практике — станешь ты лентяем, побирохой. Что тебя, свободного в твоем-то смысле, свяжет с жизнью, с людьми? Вот — птицы свободны, а все-таки гнезда вьют. Ты же и гнезда вить не станешь, удовлетворяя половое чувство твое где попало, как кобель. Подумай серьезно и увидишь — почувствуешь, что в конечном смысле свобода — пустота, безграничие.

Сердито нахмурился, помолчал минуту и добавил потише:

— Христос был свободен, Будда — тоже, и оба приняли на себя грехи мира, добровольно пошли в плен земной жизни. И дальше этого — никто не ушел, никто. А ты, а мы — ну, что там! Мы все ищем свободы от обязанностей к ближнему, тогда как чувствование именно этих обязанностей сделало нас людьми, и не будь этих чувствований — жили бы мы, как звери...

Усмехнулся:

— А теперь мы все-таки рассуждаем, как надо жить лучше. Толку от этого не много, но уже и не мало. Ты вот споришь со мной и сердишься до того, что нос у тебя сипеет, а не бьешь меня, даже не ругаешь. Если же ты действительно чувствовал бы себя свободным, так укокошил бы меня — только и всего.

И, снова помолчав, добавил:

— Свобода — это когда всё и все согласны со мной, но тогда я не существую, потому, что все мы ощущаем себя только в столкновениях, противоречиях.

IV

Гольденвейзер играл Шопена, что вызывало у Льва Николаевича такие мысли:

— Какой-то маленький немецкий царек сказал: «Там, где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять музыки». Это — верная мысль, верное наблюдение,— музыка притупляет ум. Лучше всех это понимают католики,— наши попы, конечно, не помирятся с Мендельсоном в церкви. Один тульский поп уверял меня, что даже Христос не был евреем, хотя он сын еврейского бога и мать у него еврейка; это он признавал, а все-таки говорит: «Не могло этого быть». Я спрашиваю: «Но как же тогда?» Пожал плечами и сказал: «Сие для меня тайна!»

V

«Интеллигент — это галицкий князь Владимирко; он еще в XII веке говорил „предерзко“: „В наше время чудес не бывает“. С той поры прошло шестьсот лет, и все интеллигенты долбят друг другу: „Нет чудес, нет чудес“. А весь народ верит в чудеса так же, как верил в XII веке».

VI

«Меньшинство нуждается в боге потому, что всё остальное у него есть, а большинство потому — что ничего не имеет».

Я бы сказал иначе: большинство верит в бога по малодушию, и только немногие — от полноты души *.

— Вы любите сказки Андерсена? — спросил он задумчиво.— Я не понимал их, когда они были напечатаны в переводах Марко Вовчка, а лет десять спустя взял

---

* Во избежание кривотолков должен сказать, что религиозное творчество я рассматриваю как художественное; жизнь Будды, Христа, Магомета — как фантастические романы.

книжку, прочитал и вдруг с такой ясностью почувствовал, что Андерсен был очень одинок. Очень. Я не знаю его жизни; кажется, он жил беспутно, много путешествовал, но это только подтверждает мое чувство,— он был одинок. Именно потому он обращался к детям, хотя это ошибочно, будто дети жалеют человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют, они не умеют жалеть.

VII

Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо — ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления, и хотя— иногда — любуется им, но — едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню — его девки засмеют.

VIII

Сегодня там был великий князь Николай Михайлович, человек, видимо, умный. Держится очень скромно, малоречив. У него симпатичные глаза и красивая фигура. Спокойные жесты. Л. Н. ласково улыбался ему и говорил то по-французски, то по-английски. По-русски сказал:

— Карамзин писал для царя, Соловьев — длинно и скучно, а Ключевский для своего развлечения. Хитрый: читаешь — будто хвалит, а вникнешь — обругал.

Кто-то напомнил о Забелине.

— Очень милый. Подьячий такой. Старьевщик-любитель, собирает всё, что нужно и не нужно. Еду описывает так, точно сам никогда не ел досыта. Но — очень, очень забавный.

V.

«Интеллигент — это галицкий князь Владимирко; он еще в XII веке говорил «предерзко»: «В наше время чудес не бывает». С той поры прошло шестьсот лет, и все интеллигенты долбят друг другу: «Нет чудес, нет чудес». А весь народ верит в чудеса так же, как верил в XII веке».

VI.

«Меньшинство нуждается в боге, потому что все остальное у него есть, а большинство потому — что ничего не имеет».

Я бы сказал иначе: большинство верит в бога по малодушию, и только немногие — от полноты души.

— Вы любите сказки Андерсена? — спросил он задумчиво. — Я не понимал их, когда они были напечатаны в переводах Марко Вовчка, а лет десять спустя взял книжку, прочитал, и вдруг с такой ясностью почувствовал, что Андерсен был очень одинок. Очень. Я не знаю его жизни; кажется, он жил беспутно, много путешествовал, но это только подтверждает мое чувство, — он был одинок. Именно потому он обращался к детям, хотя это ошибочно, будто дети жалеют человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют, они не умеют жалеть.

VII.

Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме

Примечание к стр. 288

Во избежание кривотолков должен ска-
зать, что религиозное творчество я
рассматриваю как художественное,
наряду Будды, Христа, Магомета, как
фантастические романы.

«ЛЕВ ТОЛСТОЙ».

Примечание к странице печатного текста, автограф.

IX

Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса бесприютные и чужие всем и всему. Мир — не для них, бог — тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди — пеньки, корни, камни по дороге,— о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним.

X

«Фридрих Прусский очень хорошо сказал: „Каждый должен спасаться à sa façon“[1] . Он же говорил: „Рассуждайте, как хотите, только слушайтесь“. Но, умирая, сознался: „Я устал управлять рабами“. Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы. Это им прощается вместе со всякой другой глупостью. Хотя противоречие — не глупость: дурак — упрям, но противоречить не умеет. Да — Фридрих странный был человек: заслужил славу лучшего государя у немцев, а терпеть не мог их, даже Гёте и Виланда не любил...»

XI

— Романтизм — это от страха взглянуть правде в глаза,— сказал он вчера вечером по поводу стихов Бальмонта. Сулер не согласился с ним и, шепелявя от возбуждения, очень патетически прочел еще стихи.

— Это, Левушка, не стихи, а шарлатанство, а «ерундистика», как говорили в средине века,— бес-

---

[1] по-своему (*франц.*).

смысленное плетение слов. Поэзия — безыскусственна; когда Фет писал:

...не знаю сам, что буду
Петь, но только песня зреет,—

этим он выразил настоящее, народное чувство поэзии. Мужик тоже не знает, что он поет — ох, да-ой, да-эй — а выходит настоящая песня, прямо из души, как у птицы. Эти ваши новые всё выдумывают. Есть такие глупости французские «артикль де Пари», так вот это они самые у твоих стихоплетов. Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишонки.

— А Беранже? — спросил Сулер.

— Беранже — это другое! Что же общего между нами и французами? Они — чувственники; жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего — женщина. Они — изношенный, истрепанный народ. Доктора говорят, что все чахоточные — чувственники.

Сулер начал спорить с прямотой, свойственной ему, неразборчиво выбрасывая множество слов. Л. Н. поглядел на него и сказал, улыбаясь широко:

— Ты сегодня капризничаешь, как барышня, которой пора замуж, а жениха нет...

XII

Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачней, жизнеприемлемее. Глаза — еще острей, взгляд— пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неведомого еще. В Ясной он казался мне человеком, которому всё известно и больше нечего знать,— человеком решенных вопросов.

XIII

Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно — в пресные воды рек. Здесь вокруг него ютится,

шмыгает какая-то плотва; то, что он говорит, не интересно, не нужно ей, и молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чуется, что молчит еще больше. Иного — никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится.

XIV

Кто-то прислал ему превосходный вариант сказки о Христовом крестнике. Он с наслаждением читал сказку Сулеру, Чехову,— читал изумительно! Особенно забавлялся тем, как черти мучают помещиков, и в этом что-то не понравилось мне. Он не может быть неискренним, но если это искренно, тогда — еще хуже.

Потом он сказал:

— Вот как хорошо сочиняют мужики. Всё просто, слов мало, а чувства — много. Настоящая мудрость немногословна, как — господи помилуй.

А сказочка — свирепая.

XV

Его интерес ко мне — этнографический интерес. Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему, и — только.

XVI

Читал ему свой рассказ «Бык»; он очень смеялся и хвалил за то, что знаю «фокусы языка».

— Но распоряжаетесь вы словами неумело,— все мужики говорят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несуразно,— не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это делается нарочно,— под глупостью слов у них всегда спрятано желание дать выговориться другому. Хороший мужик никогда сразу не покажет своего ума, это ему невыгодно. Он знает, что к человеку глупому подходят просто, бесхитростно, а ему того и надо! Вы перед ним стоите открыто, он тотчас и видит все

ваши слабые места. Он недоверчив, он и жене боится сказать заветную мысль. А у вас — всё нараспашку, и в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников. И все афоризмами говорят, это тоже неверно,— афоризм русскому языку не сроден.

— А пословицы, поговорки?

— Это — другое. Это не сегодня сделано.

— Однако вы сами часто говорите афоризмами.

— Никогда! Потом вы прикрашиваете всё: и людей и природу, особенно — людей! Так делал Лесков, писатель вычурный, вздорный, его уже давно не читают. Не поддавайтесь никому, никого не бойтесь,— тогда будет хорошо...

XVII

В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: «Бог есть мое желание».

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его — что это?

— Незаконченная мысль,— сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами.— Должно быть, я хотел сказать: бог есть мое желание познать его... Нет, не то...— Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге».

XVIII

О науке.

«Наука — слиток золота, приготовленный шарлатаном-алхимиком. Вы хотите упростить ее, сделать понятной всему народу,— значит: начеканить множество фальшивой монеты. Когда народу станет понятна истинная ценность этой монеты — не поблагодарит он нас».

XIX

Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под

прямым углом, обнажив слоновые ноги, потряхивая десятифунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее.

— Вот такими кариатидами и поддерживалось всё это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими вот лошадями, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и ее тоже немного растворяла. Это полезно.

XX

О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, которая — раньше — неприятно подавляла меня. Сегодня в Миндальной роще он спросил Чехова:

— Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:

— Я был неутомимый...

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о «Вареньке Олесовой», «Двадцать шесть и одна». С обычной точки зрения речь его была цепью «неприличных» слов. Я был смущен этим и даже обижен; мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо.

XXI

Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищурив острые глазки, и, по-детски — трубой — сложив губы, насвистывал неумело.

— Как ярится пичужка! Наяривает. Это — какая?

Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерном для этой птицы.

— На всю жизнь одна песня, а — ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность — справедливо ли это? — задумчиво и как бы сам себя спросил он. — Есть такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того, что ей следует знать о нем. Он сказал — и забыл, а она помнит. Может быть, ревность — от страха унизить душу, от боязни быть униженным и смешным? Не та баба опасна, которая держит за..., а которая — за душу.

Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с «Крейцеровой сонатой», он распустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил:

— Я не зяблик.

Вечером, гуляя, он неожиданно произнес:

— Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет — трагедия спальни.

Говоря это, он улыбался торжественно,— у него является иногда такая широкая, спокойная улыбка человека, который преодолел нечто крайне трудное или которого давно грызла острая боль, и вдруг — нет ее. Каждая мысль впивается в душу его, точно клещ; он или сразу отрывает ее, или же дает ей напиться крови вдоволь, и, назрев, она незаметно отпадает сама.

Увлекательно рассказывая о стоицизме, он вдруг нахмурился, почмокал губами и строго сказал:

— Стеганое, а не стежаное; есть глаголы стегать и стяжать, а глагола стежать нет...

Эта фраза явно не имела никакого отношения к философии стоиков. Заметив, что я недоумеваю, он торопливо произнес, кивнув головой на дверь соседней комнаты:

— Они там говорят: стежаное одеяло!

И продолжал:

— А слащавый болтун Ренан...

Нередко он говорил мне:

— Вы хорошо рассказываете — своими словами, крепко, не книжно.

Но почти всегда замечал небрежности речи и говорил вполголоса, как бы для себя:

— Подобно, а рядом — абсолютно, когда можно сказать — совершенно!

Иногда же укорял:

— Хлибкий субъект — разве можно ставить рядом такие несхожие по духу слова? Нехорошо...

Его чуткость к формам речи казалась мне — порою — болезненно острой; однажды он сказал:

— У какого-то писателя я встретил в одной фразе кошку и кишку — отвратительно! Меня едва не стошнило.

Иногда он рассуждал:

— Подождем и под дождем — какая связь?

А однажды, придя из парка, сказал:

— Сейчас садовник говорит: насилу столковался. Не правда ли — странно? Куются якоря, а не столы. Как же связаны эти глаголы — ковать и толковать? Не люблю филологов — они схоласты, но пред ними важная работа по языку. Мы говорим словами, которых не понимаем. Вот, например, как образовались глаголы просить и бросить?

Чаще всего он говорил о языке Достоевского:

— Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво,— я уверен, что нарочно, из кокетства. Он форсил; в «Идиоте» у него написано: «В наглом приставании и афишевании знакомства». Я думаю, он нарочно исказил слово афишировать, потому что оно чужое, западное. Но у него можно найти и непростительные промахи: идиот говорит: «Осел — добрый и полезный человек», но никто не смеется, хотя эти слова неизбежно должны

вызвать смех или какое-нибудь замечание. Он говорит это при трех сестрах, а они любили высмеивать его. Особенно Аглая. Эту книгу считают плохой, но главное, что в ней плохо, это то, что князь Мышкин — эпилептик. Будь он здоров — его сердечная наивность, его чистота очень трогали бы нас. Но для того, чтоб написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости. Да и не любил он здоровых людей. Он был уверен, что если сам он болен — весь мир болен...

Читал Сулеру и мне вариант сцены падения «Отца Сергия» — безжалостная сцена. Сулер надул губы и взволнованно заерзал.

— Ты что? Не нравится? — спросил Л. Н.

— Уж очень жестоко, точно у Достоевского. Эта гнилая девица, и груди у нее, как блины, и всё. Почему он не согрешил с женщиной красивой, здоровой?

— Это был бы грех без оправдания, а так — можно оправдаться жалостью к девице — кто ее захочет, такую?

— Не понимаю я этого...

— Ты многого не понимаешь, Левушка, ты не хитрый...

Пришла жена Андрея Львовича, разговор оборвался, а когда она и Сулер ушли во флигель, Л. Н. сказал мне:

— Леопольд — самый чистый человек, какого я знаю. Он тоже так: если сделает дурное, то — из жалости к кому-нибудь.

XXII

Больше всего он говорит о боге, о мужике и о женщине. О литературе — редко и скудно, как будто литература чужое ему дело. К женщине он, на мой взгляд, относится непримиримо враждебно и любит наказывать ее,— если она не Кити и не Наташа Ростова, то есть существо недостаточно ограниченное. Это — враж-

да мужчины, который не успел исчерпать столько счастья, сколько мог, или вражда духа против «унизительных порывов плоти»? Но это — вражда, и — холодная, как в «Анне Карениной». Об «унизительных порывах плоти» он хорошо говорил в воскресенье, беседуя с Чеховым и Елпатьевским по поводу «Исповеди» Руссо. Сулер записал его слова, а потом, приготовляя кофе, сжег записку на спиртовке. А прошлый раз он спалил суждение Л. Н. об Ибсене и потерял записку о символизме свадебных обрядов, а Л. Н. говорил о них очень языческие вещи, совпадая кое в чем с В. В. Розановым.

XXIII

Утром были штундисты из Феодосии, и сегодня целый день он с восторгом говорит о мужиках.

За завтраком:

— Пришли они,— оба такие крепкие, плотные; один говорит: «Вот, пришли незваны», а другой — «Бог даст — уйдем не драны».— И залился детским смехом, так и трепещет весь.

После завтрака, на террасе:

— Скоро мы совсем перестанем понимать язык народа; мы вот говорим: «теория прогресса», «роль личности в истории», «эволюция науки», «дизентерия», а мужик скажет: «Шила в мешке не утаишь», и все теории, истории, эволюции становятся жалкими, смешными, потому что не понятны и не нужны народу. Но мужик сильнее нас, он живучее, и с нами может случиться, пожалуй, то же, что случилось с племенем атцуров, о котором какому-то ученому сказали: «Все атцуры перемерли, но тут есть попугай, который знает несколько слов их языка».

XXIV

«Телом женщина искреннее мужчины, а мысли у нее — лживые. Но когда она лжет — она не верит себе, а Руссо лгал — и верил».

XXV

«Достоевский написал об одном из своих сумасшедших персонажей, что он живет, мстя себе и другим за то, что послужил тому, во что не верил. Это он сам про себя написал, то есть это же он мог бы сказать про самого себя».

XXVI

— Некоторые церковные слова удивительно темны — какой, например, смысл в словах: «господня земля и исполнения ее». Это — не от священного писания, а какой-то популярно-научный материализм.

— У вас где-то истолкованы эти слова,— сказал Сулер.

— Мало что у меня истолковано... «Толк-от есть, да не втолкан весь».

И улыбнулся хитренько.

XXVII

Он любит ставить трудные и коварные вопросы:

— Что вы думаете о себе?

— Вы любите вашу жену?

— Как, по-вашему, сын мой Лев — талантливый?

— Вам нравится Софья Андреевна?

Лгать перед ним — нельзя.

Однажды он спросил:

— Вы любите меня, А. М.?

Это — озорство богатыря: такие игры играл в юности своей Васька Буслаев, новгородский озорник. «Испытует» он, всё пробует что-то, точно драться собирается. Это интересно, однако — не очень по душе мне. Он — чёрт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня.

XXVIII

Может быть, мужик для него просто — дурной запах, он всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем.

Вчера вечером я рассказал ему о моей битве с генеральшей Корнэ, он хохотал до слез, до боли в груди, охал и всё покрикивал тоненько:

— Лопатой! По... Лопатой, а? По самой, по... И — широкая лопата?

Потом, отдохнув, сказал серьезно:

— Вы еще великодушно ударили, другой бы — по голове стукнул за это. Очень великодушно. Вы понимали, что она хотела вас?

— Не помню; не думаю, чтобы понимал...

— Ну, как же! Это ясно. Конечно, так.

— Не тем жил тогда...

— Чем ни живи — всё равно! Вы не очень бабник, как видно. Другой бы сделал на этом карьеру, стал домовладельцем и спился с круга вместе с нею.

Помолчав:

— Смешной вы. Не обижайтесь,— очень смешной! И очень странно, что вы все-таки добрый, имея право быть злым. Да, вы могли бы быть злым. Вы крепкий, это хорошо...

И, еще помолчав, добавил задумчиво:

— Ума вашего я не понимаю — очень запутанный ум, а вот сердце у вас умное... да, сердце умное!

Примечание. Живя в Казани, я поступил дворником и садовником к генеральше Корнэ. Это была француженка, вдова генерала, молодая женщина, толстая, на крошечных ножках девочки-подростка; у нее были удивительно красивые глаза, беспокойные, всегда жадно открытые. Я думаю, что до замужества она была торговкой или кухаркой, быть может, даже «девочкой для радости». С утра она напивалась и выходила на двор или в сад в одной рубашке, в оранжевом халате поверх ее, в красных татарских туфлях из сафьяна,

а на голове грива густых волос. Небрежно причесанные, они падали ей на румяные щеки и плечи. Молодая ведьма. Она ходила по саду, напевая французские песенки, смотрела, как я работаю, и время от времени, подходя к окошку кухни, просила:

— Полин, давайте мне что-нибудь...

«Что-нибудь» всегда было одним и тем же — стаканом вина со льдом.

В нижнем этаже ее дома жили сиротами три барышни, княжны Д.-Г., их отец, интендант-генерал, куда-то уехал, мать умерла. Генеральша Корнэ невзлюбила барышень и старалась сжить их с квартиры, делая им различные пакости. По-русски она говорила плохо, но ругалась отлично, как хороший ломовой извозчик. Мне очень не нравилось ее отношение к безобидным барышням,— они были такие грустные, испуганные чем-то, беззащитные. Однажды около полудня две из них гуляли в саду, вдруг пришла генеральша, пьяная, как всегда, и начала кричать на них, выгоняя из сада. Они молча пошли, но генеральша встала в калитке, заткнув ее собой, как пробкой, и начала говорить им те серьезные русские слова, от которых даже лошади вздрагивают. Я попросил ее перестать ругаться и пропустить барышень, она закричала:

— Я снай тибе! Ти — им лязит окно, когда ночь...

Я рассердился, взял ее за плечи и отвел от калитки, но она вырвалась, повернулась ко мне лицом и, быстро распахнув халат, подняв рубаху, заорала:

— Я луччи эти крис!

Тогда я окончательно рассердился, повернул ее затылком к себе и ударил лопатой пониже спины, так что она выскочила в калитку и побежала по двору, сказав трижды, с великим изумлением:

— О! О! О!

После этого, взяв паспорт у ее наперсницы Полины, бабы тоже пьяной, но весьма лукавой, — взял под мышку узел имущества моего и пошел со двора, а генеральша, стоя у окна с красным платком в руке, кричала мне:

— Я не звать полис — нитшего — слюший! Иди еще назади... Не надо боясь...

XXIX

Я спросил его:

— Вы согласны с Познышевым, когда он говорит, что доктора губили и губят тысячи и сотни тысяч людей?

— А вам очень интересно знать это?

— Очень.

— Так я не скажу!

И усмехнулся, играя большими пальцами своих рук.

Помнится,— в одном из его рассказов есть такое сравнение деревенского коновала с доктором медицины:

«Слова „гильчак“, „почечуй“, „спущать кровь“ разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и так далее?»

Это сказано после Дженнера, Беринга, Пастера. Вот озорник!

XXX

Как странно, что он любит играть в карты. Играет серьезно, горячась. И руки у него становятся такие нервные, когда он берет карты, точно он живых птиц держит в пальцах, а не мертвые куски картона.

XXXI

— Диккенс очень умно сказал: «Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты». Вообще же это был писатель сентиментальный, болтливый и не очень умный. Впрочем, он умел построить роман, как никто, и уж, конечно, лучше Бальзака. Кто-то сказал: «Многие одержимы страстью писать книги, но редкие стыдятся их потом». Бальзак не стыдился, и Диккенс тоже, а оба написали не мало плохого. А все-таки Бальзак — гений, то есть то самое, что нельзя назвать иначе,— гений...

Кто-то принес книжку Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером»,— Лев Николаевич взял ее со стола и сказал, помахивая книжкой в воздухе:

— Тут всё хорошо сказано о политических убийствах, о том, что эта система борьбы не имеет в себе

ясной идеи. Такой идеей, говорит образумевший убийца, может быть только анархическое всевластие личности и презрение к обществу, человечеству. Это — правильная мысль, но анархическое всевластие — описка, надо было сказать — монархическое. Хорошая, правильная идея, на ней споткнутся все террористы, я говорю о честных. Кто по натуре своей любит убивать — он не споткнется. Ему — не на чем споткнуться. Но он просто убийца, а в террористы попал случайно...

XXXII

Иногда он бывает самодоволен и нетерпим, как заволжский сектант-начетчик, и это ужасно в нем, столь звучном колоколе мира сего. Вчера он сказал мне:

— Я больше вас мужик и лучше чувствую по-мужицки.

О господи! Не надо ему хвастать этим, не надо!

XXXIII

Прочитал ему сцены из пьесы «На дне»; он выслушал внимательно, потом спросил:

— Зачем вы пишете это?

Я объяснил как умел.

— Везде у вас заметен петушиный наскок на всё. И еще — вы всё хотите закрасить все пазы и трещины своей краской. Помните, у Андерсена сказано: «Позолота-то сотрется, свиная кожа останется», а у нас мужики говорят: «Всё минется, одна правда останется». Лучше не замазывать, а то после вам же худо будет. Потом — язык очень бойкий, с фокусами, это не годится. Надо писать проще, народ говорит просто, даже как будто — бессвязно, а — хорошо. Мужик не спросит: «Почему треть больше четверти, если всегда четыре больше трех», как спрашивала одна ученая барышня. Фокусов — не надо.

Он говорил недовольно, видимо, ему очень не понравилось прочитанное мною. Помолчав, глядя мимо меня, хмуро сказал:

— Старик у вас — несимпатичный, в доброту его — не веришь. Актер — ничего, хорош. Вы «Плоды просвещения» знаете? У меня там повар похож на вашего актера. Пьесы писать трудно. Проститутка тоже удалась, такие должны быть. Вы видели таких?

— Видел.

— Да, это заметно. Правда даст себя знать везде. Вы очень много говорите от себя, потому — у вас нет характеров, и все люди — на одно лицо. Женщин вы, должно быть, не понимаете, они у вас не удаются, ни одна. Не помнишь их...

Пришла жена А. Л. и пригласила к чаю; он встал и пошел так быстро, как будто обрадовался кончить беседу.

XXXIV

— Какой самый страшный сон видели вы?

Я редко вижу и плохо помню сны, но два сновидения остались в памяти, вероятно, на всю жизнь.

Однажды я видел какое-то золотушное, гниленькое небо, зеленовато-желтого цвета, звезды в нем были круглые, плоские, без лучей, без блеска, подобные болячкам на коже худосочного. Между ними по гнилому небу скользила не спеша красноватая молния, очень похожая на змею, и когда она касалась звезды — звезда, тотчас набухая, становилась шаром и лопалась беззвучно, оставляя на своем месте темненькое пятно — точно дымок,— оно быстро исчезало в гнойном, жидком небе. Так, одна за другою, полопались, погибли все звезды, небо стало темней, страшней, потом — всклубилось, закипело и, разрываясь в клочья, стало падать на голову мне жидким студнем, а в прорывах между клочьями являлась глянцевитая чернота кровельного железа. Л. Н. сказал:

— Ну, это у вас от ученой книжки, прочитали что-нибудь из астрономии, вот и кошмар. А другой сон?

Другой сон: снежная равнина, гладкая, как лист бумаги, нигде ни холма, ни дерева, ни куста, только, чуть видны, высовываются из-под снега редкие розги.

По снегу мертвой пустыни от горизонта к горизонту стелется желтой полоской едва намеченная дорога, а по дороге медленно шагают серые валяные сапоги — пустые.

Он поднял мохнатые брови лешего, внимательно посмотрел на меня, подумал.

— Это — страшно! Вы в самом деле видели это, не выдумали? Тут тоже есть что-то книжное.

И вдруг как будто рассердился, заговорил недовольно, строго, постукивая пальцем по колену.

— Ведь вы непьющий? И не похоже, чтоб вы пили много когда-нибудь. А в этих снах все-таки есть что-то пьяное. Был немецкий писатель Гофман, у него ломберные столы по улицам бегали, и всё в этом роде, так он был пьяница,— «калаголик», как говорят грамотные кучера. Пустые сапоги идут — это вправду страшно! Даже если вы и придумали,— очень хорошо! Страшно!

Неожиданно улыбнулся во всю бороду, так, что даже скулы засияли.

— А ведь представьте-ка: вдруг по Тверской бежит ломберный стол, эдакий — с выгнутыми ножками, доски у него прихлопывают и мелом пылят, даже еще цифры на зеленом сукне видать,— это на нем акцизные чиновники трое суток напролет в винт играли, он не вытерпел больше и сбежал.

Посмеялся и, должно быть, заметил, что я несколько огорчен его недоверием ко мне:

— Вы обижаетесь, что сны ваши показались мне книжными? Не обижайтесь, я знаю, что иной раз такое незаметно выдумаешь, что нельзя принять, никак нельзя, и кажется, что во сне видел, а вовсе не сам выдумал. Один старик-помещик рассказывает, что он во сне шел лесом, вышел в степь и видит: в степи два холма, и вдруг они превратились в женские титьки, а между ними приподнимается черное лицо, вместо глаз на нем две луны, как бельма, сам он стоит уже между ног женщины, а перед ним — глубокий черный овраг и — всасывает его. Он после этого седеть начал, руки стали трястись, и уехал за границу к доктору Кнейпу лечиться водой. Этот должен был видеть что-нибудь такое — он был распутник.

Похлопал меня по плечу.

— А вы не пьяница и не распутник — как же это у вас такие сны?

— Не знаю.

— Ничего мы о себе не знаем!

Он вздохнул, прищурился, подумал и добавил потише:

— Ничего не знаем!

Сегодня вечером, на прогулке, он взял меня под руку, говоря:

— Сапоги-то идут — жутко, а? Совсем пустые — тёп, тёп,— а снежок поскрипывает! Да, хорошо! А все-таки вы очень книжный, очень! Не сердитесь, только это плохо и будет мешать вам.

Едва ли я книжник больше его, а вот он показался мне на этот раз жестоким рационалистом, несмотря на все его оговорочки.

XXXV

Иногда кажется: он только что пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже — не так двигаются и другим языком говорят. Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли, и внимательно смотрит на всех глазами чужого и немого.

Вчера, пред обедом, он явился в гостиную именно таким, далеко ушедшим, сел на диван и, помолчав минуту, вдруг сказал, покачиваясь, потирая колени ладонями, сморщив лицо:

— Это еще не всё, нет — не всё.

Некто, всегда глупый и спокойный, точно утюг, спросил его:

— Это вы о чем?

Он пристально взглянул на него, наклонился ниже, заглядывая на террасу, где сидели доктор Никитин, Елпатьевский, я, и спросил:

— Вы о чем говорите?

— О Плеве.

— О Плеве... Плеве...— задумчиво, с паузой по-

вторил он, как будто впервые слыша это имя, потом встряхнулся, как птица, и сказал, слабо усмехаясь:

— У меня сегодня с утра в голове глупость; кто-то сказал мне, что он прочитал на кладбище такую надпись:

Под камнем сим Иван Егорьев опочил,
Кожевник ремеслом, он кожи всё мочил,
Трудился праведно, был сердцем добр, но вот
Скончался, отказав жене своей завод.
Он был еще не стар и мог бы много смочь,
Но бог его прибрал для райской жизни в ночь
С пятницы на субботу страстной недели...

и еще что-то такое же...

Замолчал, потом, покачивая головою, слабо улыбаясь, добавил:

— В человеческой глупости — когда она не злая — есть очень трогательное, даже милое... Всегда есть...

Позвали обедать.

XXXVI

«Я не люблю пьяных, но знаю людей, которые, выпив, становятся интересными, приобретают несвойственное им, трезвым, остроумие, красоту мысли, ловкость и богатство слов. Тогда я готов благословлять вино».

Сулер рассказывал: он шел со Львом Николаевичем по Тверской, Толстой издали заметил двух кирасир. Сияя на солнце медью доспехов, звеня шпорами, они шли в ногу, точно срослись оба, лица их тоже сияли самодовольством силы и молодости.

Толстой начал порицать их:

— Какая величественная глупость! Совершенно животные, которых дрессировали палкой...

Но когда кирасиры поравнялись с ним, он остановился и, провожая их ласковым взглядом, с восхищением сказал:

— До чего красивы! Римляне древние, а, Левушка? Силища, красота,— ах, боже мой. Как это хорошо, когда человек красив, как хорошо!

XXXVII

В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге; он ехал верхом в направлении к Ливадии; под ним была маленькая татарская спокойная лошадка. Серый, лохматый, в легонькой белой войлочной шляпе грибом, он был похож на гнома.

Придержав лошадь, он заговорил со мною; я пошел рядом, у стремени, и, между прочим, сказал, что получил письмо от В. Г. Короленко. Толстой сердито тряхнул бородою:

— Он в бога верует?

— Не знаю.

— Главного не знаете. Он — верит, только стыдится сознаться в этом пред атеистами.

Говорил ворчливо, капризно, сердито прищурив глаза. Было ясно, что я мешаю ему, но, когда я хотел уйти, он остановил меня:

— Куда же вы? Я еду тихо.

И снова заворчал:

— Андреев ваш — тоже атеистов стыдится, а тоже в бога верит, и бог ему — страшен.

У границы имения великого князя А. М. Романова, стоя тесно друг ко другу, на дороге беседовали трое Романовых: хозяин Ай-Тодора, Георгий и еще один,— кажется, Петр Николаевич из Дюльбера,— все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он уставился на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они, еще раньше, отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого.

Проехав минуты две молча, он сказал:

— Узнали, дураки.

И еще через минуту:

— Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому.

XXXVIII

«Берегите себя прежде всего — для себя, тогда и людям много останется».

XXXIX

«Что значит — знать? Вот я знаю, что я — Толстой, писатель, у меня — жена, дети, седые волосы, некрасивое лицо, борода,— всё это пишут в паспортах. А о душе в паспортах не пишут, о душе я знаю одно: душа хочет близости к богу. А что такое — бог? То, частица чего есть моя душа. Вот и всё. Кто научился размышлять, тому трудно веровать, а жить в боге можно только верой. Тертулиан сказал: „Мысль есть зло“».

XL

Несмотря на однообразие проповеди своей,— безгранично разнообразен этот сказочный человек.

Сегодня, в парке, беседуя с муллой Гаспры, он держал себя, как доверчивый простец-мужичок, для которого пришел час подумать о конце дней. Маленький и как будто нарочно еще более съежившийся, он, рядом с крепким, солидным татарином, казался старичком, душа которого впервые задумалась над смыслом бытия и — боится ее вопросов, возникших в ней. Удивленно поднимал мохнатые брови и, пугливо мигая остренькими глазками, погасил их нестерпимый, проницательный огонек. Его читающий взгляд недвижно впился в широкое лицо муллы, и зрачки лишились остроты, смущающей людей. Он ставил мулле «детские» вопросы о смысле жизни, душе и боге, с необыкновенной ловкостью подменяя стихи Корана стихами Евангелия и пророков. В сущности — он играл, делая это с изумительным искусством, доступным только великому артисту и мудрецу.

А несколько дней тому назад, говоря с Танеевым и

Сулером о музыке, он восхищался ее красотой, точно ребенок, и было видно, что ему нравится свое восхищение,— точнее: своя способность восхищаться. Говорил, что о музыке всех лучше и глубже писал Шопенгауэр, рассказал, попутно, смешной анекдот о Фете и назвал музыку «немой молитвой души».

— Как же — немая? — спросил Сулер.

— Потому что — без слов. В звуке больше души, чем в мысли. Мысль — это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не загажен, внутренно чист.

С явным наслаждением он говорил милыми, ребячьими словами, вдруг вспомнив лучшие, нежнейшие из них. И, неожиданно, усмехаясь в бороду, сказал мягко, как ласку:

— Все музыканты — глупые люди, а чем талантливее музыкант, тем ограниченнее. Странно, что почти все они религиозны.

XLI

Чехову, по телефону:

— Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтоб и вам было радостно. Особенно — вам! Вы очень хороший, очень!

XLII

Он не слушает и — не верит, когда говорят не то, что нужно. В сущности — он не спрашивает, а — допрашивает. Как собиратель редкостей, он берет только то, что не может нарушить гармонию его коллекции.

XLIII

Разбирая почту:

— Шумят, пишут, а — умру, и — через год — будут спрашивать: Толстой? Ах, это граф, который пробовал тачать сапоги и с ним что-то случилось,— да, этот?

XLIV

Несколько раз я видел на его лице, в его взгляде, хитренькую и довольную усмешку человека, который, неожиданно для себя, нашел нечто спрятанное им. Он спрятал что-то и — забыл: где спрятал? Долгие дни жил в тайной тревоге, всё думая: куда же засунул я это, необходимое мне? И — боялся, что люди заметят его тревогу, его утрату, заметят и — сделают ему что-нибудь неприятное, нехорошее. Вдруг — вспомнил, нашел. Весь исполнился радостью и, уже не заботясь скрыть ее, смотрит на всех хитренько, как бы говоря:

«Ничего вы со мною не сделаете».

Но о том — что нашел и где — молчит.

Удивляться ему — никогда не устаешь, но все-таки трудно видеть его часто, и я бы не мог жить с ним в одном доме, не говорю уже — в одной комнате. Это — как в пустыне, где всё сожжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной темной ночью.

ПИСЬМО

Только что отправил письмо Вам — пришли телеграммы о «бегстве Толстого». И вот,— еще не разъединенный мысленно с Вами,— вновь пишу.

Вероятно, всё, что мне хочется сказать по поводу этой новости, скажется запутанно, может быть, даже резко и зло,— уж вы извините меня,— я чувствую себя так, как будто меня взяли за горло и душат.

Он много раз и подолгу беседовал со мною; когда жил в Крыму, в Гаспре, я часто бывал у него, он тоже охотно посещал меня, я внимательно и любовно читал его книги,— мне кажется, я имею право говорить о нем то, что думаю, пусть это будет дерзко и далеко разойдется с общим отношением к нему. Не хуже других известно мне, что нет человека более достойного имени гения, более сложного, противоречивого и во всем прекрасного, да, да, во всем. Прекрасного в каком-то особом смысле, широком, неуловимом словами; в нем

есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек живет на земле! Ибо он, так сказать, всеобъемлюще и прежде всего человек,— человек человечества.

Но меня всегда отталкивало от него это упорное, деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого в «житие иже во святых отца нашего блаженного болярина Льва». Вы знаете — он давно уже собирался «пострадать»; он высказывал Евгению Соловьеву, Сулеру сожаление о том, что это не удалось ему,— но он хотел пострадать не просто, не из естественного желания проверить упругость своей воли, а с явным и — повторю — деспотическим намерением усилить тяжесть своего учения, сделать проповедь свою неотразимой, освятить ее в глазах людей страданием своим и заставить их принять ее, вы понимаете — заставить! Ибо он знает, что проповедь эта недостаточно убедительна; в его дневнике Вы — со временем — прочитаете хорошие образцы скептицизма, обращенного им на свою проповедь и личность. Он знает, что «мученики и страдальцы редко не бывают деспотами и насильниками»,— он всё знает! И все-таки говорит: «Пострадай я за свои мысли, они производили бы другое впечатление». Это всегда отбрасывало меня в сторону от него, ибо я не могу не чувствовать здесь попытки насилия надо мной, желания овладеть моей совестью, ослепить ее блеском праведной крови, надеть мне на шею ярмо догмата.

Он всегда весьма расхваливал бессмертие по ту сторону жизни, но больше оно нравится ему — по эту сторону. Писатель национальный в самом истинном значении этого понятия, он воплотил в огромной душе своей все недостатки нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей; его туманная проповедь «неделания», «непротивления злу» — проповедь пассивизма,— всё это нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фанатизмом и, так сказать, химически враждебной Западу с его неустанной творческой работой. То, что называют «анархизмом Толстого», в существе и корне своем выражает нашу славянскую антигосударственность, черту опять-

таки истинно национальную, издревле данное нам в плоть стремление «разбрестись розно». Мы и по сей день отдаемся стремлению этому страстно, как вы знаете и все знают. Знают — но расползаются, и всегда по линиям наименьшего сопротивления, видят, что это пагубно, и ползут еще дальше друг от друга; эти печальные тараканьи путешествия и называются: «История России», государства, построенного едва ли не случайно, чисто механически, к удивлению большинства его честно мыслящих граждан, силами варягов, татар, остзейских немцев и околоточных надзирателей. К удивлению, ибо мы всё «разбредались», и только, когда дошли до мест, хуже которых — не найдешь, дальше идти — некуда, ну — остановились оседло жить: такова, стало быть, доля наша, такова судьба, чтобы сидеть нам в снегах и на болотах, в соседстве с дикой Эрзей, Чудью, Мерей, Весью и Муромой. Но явились люди, учуявшие, что свет нам не с Востока, а с Запада, и вот он, завершитель старой истории нашей, желает — сознательно и бессознательно — лечь высокой горою на пути нации к Европе, к жизни активной, строго требующей от человека величайшего напряжения всех духовных сил. Его отношение к опытному знанию тоже, конечно, глубоко национально, в нем превосходно отражается деревенский, старорусский скептицизм невежества. В нем — всё национально, и вся проповедь его — реакция прошлого, атавизм, который мы уже начали было изживать, одолевать.

Вспомните его письмо «Интеллигенция, государство, народ», написанное в 905 году,— какая это обидная и злорадная вещь! В ней так и звучит сектантское: «Ага, не послушали меня!» Я написал ему тогда ответ, основанный на его же словах мне, что он «давно утратил право говорить о русском народе и от его лица», ибо я свидетель того, как он не желал слушать и понять народ, приходивший к нему беседовать по душе. Письмо мое было резко, и я не послал его.

Вот он теперь делает свой, вероятно, последний прыжок, чтоб придать своим мыслям наиболее высокое значение. Как Василий Буслаев, он вообще любил прыгать, но всегда — в сторону утверждения святости своей и

поисков нимба. Это — инквизиторское, хотя учение его и оправдано старой историей России и личными муками гения. Святость достигается путем любования грехами, путем порабощения воли к жизни. Люди хотят жить, а он убеждает их: это — пустяки, земная наша жизнь! Российского человека очень просто убедить в этом: он — лентяй и ничего так не любит, как отдохнуть от безделья. В общем он, конечно, не Платон Каратаев и не Аким, не Безухий и не Неклюдов,— все эти люди созданы историей и природой не вполне по Толстому, он только исправил их для вящего подкрепления проповеди своей. Но — несомненно и неопровержимо, что в целом Русь — Тюлин внизу, а наверху — Обломов. Что Тюлин, об этом свидетельствует 905 год, а что Обломов — смотрите у гр. А. Н. Толстого, у И. Бунина и всюду вокруг себя. Зверей и жуликов — оставим в стороне, хотя зверь у нас тоже чрезвычайно национален,— взгляните, как он пакостно труслив при всей его жестокости. Жулики, конечно, интернациональны.

Во Льве Николаевиче есть много такого, что порою вызывало у меня чувство, близкое ненависти к нему, и опрокидывалось на душу угнетающей тяжестью. Его непомерно разросшаяся личность — явление чудовищное, почти уродливое, есть в нем что-то от Святогора-богатыря, которого земля не держит. Да, он велик! Я глубоко уверен, что помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит,—даже и в дневнике своем,— молчит и, вероятно, никогда никому не скажет. Это «нечто» лишь порою и намеками проскальзывало в его беседах, намеками же оно встречается в двух тетрадках дневника, которые он давал читать мне и Л. А. Сулержицкому; мне оно кажется чем-то вроде «отрицания всех утверждений» — глубочайшим и злейшим нигилизмом, который вырос на почве бесконечного, ничем не устранимого отчаяния и одиночества, вероятно, никем до этого человека не испытанного с такой страшной ясностью. Он часто казался мне человеком непоколебимо — в глубине души своей — равнодушным к людям, он есть настолько выше, мощнее их, что они все кажутся ему подобными мошкам, а суета их — смешной и жалкой. Он слишком далеко ушел от них в некую пустыню

и там, с величайшим напряжением всех сил духа своего, одиноко всматривается в «самое главное» — в смерть.

Всю жизнь он боялся и ненавидел ее, всю жизнь около его души трепетал «арзамасский ужас», ему ли, Толстому, умирать? Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки — отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити, его душа — для всех и — навсегда! Почему бы природе не сделать исключения из закона своего и не дать одному из людей физическое бессмертие,—почему? Он, конечно, слишком рассудочен и умен для того, чтоб верить в чудо, но, с другой стороны,— он озорник, испытатель и, как молодой рекрут, бешено буйствует со страха и отчаяния пред неведомой казармой. Помню — в Гаспре, после выздоровления, прочитав книжку Льва Шестова «Добро и зло в учении Ницше и графа Толстого», он сказал в ответ на замечание А. П. Чехова, что «книга эта не нравится ему»:

— А мне показалась забавной. Форсисто написано, а — ничего, интересно. Я ведь люблю циников, если они искренние. Вот он говорит: «Истина — не нужна», и верно: на что ему истина? Все равно — умрет.

И, видимо, заметив, что слова его не поняты, добавил, остро усмехаясь:

— Если человек научился думать,— про что бы он ни думал,— он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А — какие же истины, если будет смерть?

Далее он начал говорить, что истина едина для всех— любовь к богу, но на эту тему говорил холодно и устало. А после завтрака, на террасе, снова взял книгу и, найдя место, где автор пишет: «Толстой, Достоевский, Ницше не могли жить без ответа на свои вопросы, и для них всякий ответ был лучше, чем ничего»,— засмеялся и сказал:

— Вот какой смелый парикмахер, так прямо и пишет, что я обманул себя, значит — и других обманул. Ведь это ясно выходит...

Сулер спросил:

— А почему — парикмахер?

— Так,—задумчиво ответил он,— пришло в голову,

модный он, шикарный — и вспомнился парикмахер из Москвы на свадьбе у дяди-мужика в деревне. Самые лучшие манеры, и лянсье пляшет, отчего и презирает всех.

Этот разговор я воспроизвожу почти дословно, он очень памятен мне и даже был записан мною, как многое другое, поражавшее меня. Я и Сулержицкий записывали много, но Сулер потерял свои записи по дороге ко мне в Арзамас,— он вообще был небрежен и хотя по-женски любил Льва Николаевича, но относился к нему как-то странно, точно свысока немножко. Я тоже засунул куда-то мои записки и не могу найти, они у кого-то в России. Я очень внимательно присматривался к Толстому, потому что искал, до сей поры ищу и по смерть буду искать человека живой, действительной веры. И еще потому, что однажды А. П. Чехов, говоря о некультурности нашей, пожаловался:

— Вот за Гёте каждое слово записывалось, а мысли Толстого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпимо по-русски. После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и — наврут.

Но — далее, по поводу Шестова:

— Нельзя, говорит, жить, глядя на страшные призраки, он-то откуда знает, льзя или пельзя? Ведь если бы он знал, видел бы призраки,— пустяков не писал бы, а занялся бы серьезным, чем всю жизнь занимался Будда.

Заметили, что Шестов — еврей.

— Ну, едва ли,— недоверчиво сказал Л. Н.— Нет, он не похож на еврея; неверующих евреев — не бывает, назовите хоть одного... нет.

Иногда казалось, что старый этот колдун играет со смертью, кокетничает с ней и старается как-то обмануть ее: я тебя не боюсь, я тебя люблю, я жду тебя. А сам остренькими глазками заглядывает: а какая ты? А что за тобою, там, дальше? Совсем ты уничтожишь меня, или что-то останется жить?

Странное впечатление производили его слова: «Мне хорошо, мне ужасно хорошо, мне слишком хорошо». И — вслед за этим тотчас же: «Пострадать бы». Пострадать — это тоже его правда; ни на секунду не сомне-

ваюсь, что он, полубольной еще, был бы искренно рад попасть в тюрьму, в ссылку, вообще — принять венец мученический. Мученичество, вероятно, может несколько оправдать, что ли, смерть, сделать ее более понятной, приемлемой,— с внешней, с формальной стороны. Но — никогда ему не было хорошо, никогда и нигде, я уверен: ни «в книгах премудрости», ни «на хребте коня», ни «на груди женщины» он не испытывал полностью наслаждений «земного рая». Он слишком рассудочен для этого и слишком знает жизнь, людей. Вот еще его слова:

«Халиф Абдурахман имел в жизни четырнадцать счастливых дней, а я, наверное, не имел столько. И всё оттого, что никогда не жил — не умею жить — для себя, для души, а живу напоказ, для людей».

А. П. Чехов сказал мне, уходя от него: «Не верю я, что он не был счастлив». А я — верю. Не был. Но — неправда, что он жил «напоказ». Да, он отдавал людям, как нищим, лишнее свое; ему нравилось заставлять их, вообще — «заставлять» читать, гулять, есть только овощи, любить мужика и верить в непогрешимость рассудочно-религиозных домыслов Льва Толстого. Надо сунуть людям что-нибудь, что или удовлетворит, или займет их,— и ушли бы они прочь! Оставили бы человека в привычном, мучительном, а иногда и уютном одиночестве пред бездонным омутом вопроса о «главном».

Все русские проповедники, за исключением Аввакума и, может быть, Тихона Задонского,— люди холодные, ибо верою живой и действенной не обладали. Когда я писал Луку в «На дне», я хотел изобразить вот именно этакого старичка: его интересуют «всякие ответы», но не люди; неизбежно сталкиваясь с ними, он их утешает, но только для того, чтоб они не мешали ему жить. И вся философия, вся проповедь таких людей — милостыня, подаваемая ими со скрытой брезгливостью, и звучат под этой проповедью слова тоже нищие, жалобные:

«Отстаньте! Любите бога или ближнего и отстаньте! Проклинайте бога, любите дальнего и — отстаньте! Оставьте меня, ибо я человек и вот — обречен смерти!»

Увы, это так, надолго — так! И не могло и не может

быть иначе, ибо — замаялись люди, измучены, разъединены страшно и все окованы одиночеством, которое высасывает душу. Если б Л. Н. примирился с церковью — это не удивило бы меня нимало. Здесь была бы своя логика: все люди — одинаково ничтожны, даже если они и епископы. Собственно — примирения тут и не было бы, для него лично этот акт только логический шаг: «Прощаю ненавидящих мя». Христианский поступок, а под ним скрыта легонькая, острая усмешечка, ее можно понять как возмездие умного человека—глупцам.

Я всё не то пишу, не так, не о том. У меня в душе собака воет, и мне мерещится какая-то беда. Вот — пришли газеты, и уже ясно: у вас там начинают «творить легенду»,— жили-были лентяи да бездельники, а нажили — святого. Вы подумайте, как это вредно для страны именно теперь, когда головы разочарованных людей опущены долу, души большинства — пусты, а души лучших — полны скорби. Просятся голодные, истерзанные на легенду. Так хочется утолить боли, успокоить муки! И будут создавать как раз то, что он хотел, но чего не нужно,— житие блаженного и святого, он же тем велик и свят, что — человек он,—безумно и мучительно красивый человек, человек всего человечества. Я тут противоречу себе в чем-то, но — это неважно. Он — человек, взыскующий бога не для себя, а для людей, дабы он его, человека, оставил в покое пустыни, избранной им. Он дал нам евангелие, а чтоб мы забыли о противоречиях во Христе,— упростил образ его, сгладил в нем воинствующее начало и выдвинул покорное «воле пославшего». Несомненно, что евангелие Толстого легче приемлемо, ибо оно более «по недугу» русского народа. Надо же было дать что-нибудь этому народу, ибо он жалуется, стоном сотрясает землю и отвлекает от «главного». А «Война и мир» и всё прочее этой линии — не умиротворит скорбь и отчаяние серой русской земли.

О «В. и М.» он сам говорил: «Без ложной скромности — это как Илиада». М. И. Чайковский слышал из его уст точно такую же оценку «Детства», «Отрочества».

Сейчас были журналисты из Неаполя,— один из них уже примчался из Рима. Просят сказать им, что

я думаю о «бегстве» Толстого,— так и говорят — «бегство». Я отказался беседовать с ними. Вы понимаете, конечно, что душа моя в тревоге яростной,— я не хочу видеть Толстого святым; да пребудет грешником, близким сердцу насквозь грешного мира, навсегда близким сердцу каждого из нас. Пушкин и он — нет ничего величественнее и дороже нам...

Умер Лев Толстой.

Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими словами сказано — скончался.

Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски, и вот теперь, в полоумном каком-то состоянии, представляю его себе, как знал, видел,— мучительно хочется говорить о нем. Представляю его в гробу,— лежит, точно гладкий камень на дне ручья, и, наверное, в бороде седой тихо спрятана его — всем чужая — обманчивая улыбочка. И руки наконец спокойно сложены — отработали урок свой каторжный.

Вспоминаю его острые глаза,— они видели всё насквозь,— и движения пальцев, всегда будто лепивших что-то из воздуха, его беседы, шутки, мужицкие любимые слова и какой-то неопределенный голос его. И вижу, как много жизни обнял этот человек, какой он, не по-человечьи, умный и — жуткий.

Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел: шел к нему в Гаспру берегом моря и под именем Юсупова, на самом берегу, среди камней, заметил его маленькую угловатую фигурку, в сером помятом тряпье и скомканной шляпе. Сидит, подперев скулы руками,— между пальцев веют серебряные волосы бороды, и смотрит вдаль, в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластятся зеленоватые волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну. День был пестрый, по камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни — огромные, в трещинах, и окиданы пахучими водорослями,— накануне был сильный прибой. И он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том— когда и каков будет конец камней

и трав земных, воды морской и человека и всего мира, от камня до солнца. А море — часть его души, и всё вокруг — от него, из него. В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто вещее, чародейское, углубленное во тьму под ним, пытливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над землей, как будто это он —его сосредоточенная воля — призывает и отталкивает волны, управляет движением облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будят их. И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что — возможно! — встанет он, взмахнет рукой, и море застынет, остеклеет, а камни пошевелятся и закричат, и всё вокруг оживет, зашумит, заговорит на разные голоса о себе, о нем, против него. Не изобразить словом, что почувствовал я тогда; было на душе и восторженно и жутко, а потом всё слилось в счастливую мысль:

«Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!»

Тогда я осторожно, чтоб галька под ногами не скрипела, ушел назад, не желая мешать его думам. А вот теперь — чувствую себя сиротой, пишу и плачу,— никогда в жизни не случалось плакать так безутешно, и отчаянно, и горько. Я не знаю — любил ли его, да разве это важно — любовь к нему или ненависть? Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и волнения огромные, фантастические; даже неприятное и враждебное, вызванное им, принимало формы, которые не подавляли, а, как бы взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой. Хорош он был, когда, шаркая подошвами, как бы властно сглаживая неровность пути, вдруг являлся откуда-то из двери, из угла, шел к вам мелким, легким и скорым шагом человека, привыкшего много ходить по земле, и, засунув большие пальцы рук за пояс, на секунду останавливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, который сразу замечал всё новое и тотчас высасывал смысл всего.

— Здравствуйте!

Я всегда переводил это слово так: «Здравствуйте — удовольствия для меня, а для вас толку не много в этом, но все-таки — здравствуйте!»

Выйдет он — маленький. И все сразу станут меньше

его. Мужицкая борода, грубые, но необыкновенные руки, простенькая одежда и весь этот внешний, удобный демократизм обманывал многих, и часто приходилось видеть, как россияне, привыкшие встречать человека «по платью» — древняя, холопья привычка! — начинали струить то пахучее «прямодушие», которое точнее именуется амикошонством.

«Ах, родный ты наш! Вот какой ты! Наконец-то сподобился я лицезреть величайшего сына земли родной моей. Здравствуй вовеки и прими поклон мой!»

Это — московско-русское, простое и задушевное, а вот еще русское, «свободомысленное»:

«Лев Николаевич! Будучи не согласен с вашими религиозно-философскими взглядами, но глубоко почитая в лице вашем великого художника...»

И вдруг из-под мужицкой бороды, из-под демократической, мятой блузы поднимается старый русский барин, великолепный аристократ,— тогда у людей прямодушных, образованных и прочих сразу синеют носы от нестерпимого холода. Приятно было видеть это существо чистых кровей, приятно наблюдать благородство и грацию жеста, гордую сдержанность речи, слышать изящную меткость убийственного слова. Барина в нем было как раз столько, сколько нужно для холопов. И когда они вызывали в Толстом барина, он являлся легко, свободно и давил их так, что они только ежились да попискивали.

Пришлось мне с одним из «прямодушных» русских людей — москвичом — возвращаться из Ясной Поляны в Москву,— так он долго отдышаться не мог, всё улыбался жалобно и растерянно твердил:

— Н-ну,— баня. Вот строг... фу!

И, между прочим, воскликнул с явным сожалением:

— А ведь я думал—он и в самом деле анархист. Все твердят — анархист, анархист, я и поверил...

Этот человек был богатый, крупный фабрикант, он обладал большим животом, жирным лицом мясного цвета,— зачем ему понадобилось, чтоб Толстой был анархистом? Одна из «глубоких тайн» русской души.

Если Л. Н. хотел нравиться, он достигал этого легче женщины, умной и красивой. Сидят у него разные люди:

великий князь Николай Михайлович, маляр Илья, социал-демократ из Ялты, штундист Пацук, какой-то музыкант, немец, управляющий графини Клейнмихель, поэт Булгаков, и все смотрят на него одинаково влюбленными глазами. Он излагает им учение Лао-тце, а мне кажется, что он какой-то необыкновенный человек-оркестр, обладающий способностью играть сразу на нескольких инструментах — на медной трубе, на барабане, гармонике и флейте. Я смотрел на него, как все. А вот хотел бы посмотреть еще раз и — не увижу больше никогда.

Приходили журналисты, утверждают, что в Риме получена телеграмма, «опровергающая слух о смерти Льва Толстого». Суетились, болтали, многословно выражая сочувствие России. Русские газеты не оставляют места для сомнений.

Солгать пред ним невозможно было даже из жалости, он и опасно больной не возбуждал ее. Это пошлость — жалеть людей таких, как он. Их следует беречь, лелеять, а не осыпать словесной пылью каких-то затертых, бездушных слов.

Он спрашивал:

— Не нравлюсь я вам?

Надо было говорить: «Да, не нравитесь».

— Не любите вы меня? — «Да, сегодня я вас не люблю».

В вопросах он был беспощаден, в ответах — сдержан, как и надлежит мудрому.

Изумительно красиво рассказывал о прошлом и лучше всего о Тургеневе. О Фете — с добродушной усмешкой и всегда что-нибудь смешное; о Некрасове — холодно, скептически, н обо всех писателях так, словно это были дети его, а он, отец, знаст все недостатки их и — нате! — подчеркивает плохое прежде хорошего. И каждый раз, когда он говорил о ком-либо дурно, мне казалось, что это он слушателям милостыню подает па бедность их; слушать суждения его было неловко, под

остренькой улыбочкой невольно опускались глаза — и ничего не оставалось в памяти.

Однажды он ожесточенно доказывал, что Г. И. Успенский писал на тульском языке и никакого таланта у него не было. И он же при мне говорил А. П. Чехову:

— Вот — писатель! Он силой искренности своей Достоевского напоминает, только Достоевский политиканствовал и кокетничал, а этот — проще, искреннее. Если б он в бога верил, из него вышел бы сектант какой-нибудь.

— А как же вы говорили — тульский писатель и — таланта нет?

Спрятал глаза под мохнатыми бровями и ответил:

— Он писал плохо. Что у него за язык? Больше знаков препинания, чем слов. Талант — это любовь. Кто любит, тот и талантлив. Смотрите на влюбленных,— все талантливы!

О Достоевском он говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая.

— Ему бы познакомиться с учением Конфуция или буддистов, это успокоило бы его. Это — главное, что нужно знать всем и всякому. Он был человек буйной плоти. Рассердится — на лысине у него шишки вскакивают и ушами двигает. Чувствовал многое, а думал — плохо, он у этих, у фурьеристов, учился думать, у Буташевича и других. Потом — ненавидел их всю жизнь. В крови у него было что-то еврейское. Мнителен был, самолюбив, тяжел и несчастен. Странно, что его так много читают, не понимаю — почему! Ведь тяжело и бесполезно, потому что все эти Идиоты, Подростки, Раскольниковы и всё — не так было, всё проще, попятнее. А вот Лескова напрасно не читают, настоящий писатель, — вы читали его?

— Да. Очень люблю, особенно — язык.

— Язык он знал чудесно, до фокусов. Странно, что вы его любите, вы какой-то не русский, у вас не русские мысли,— ничего, не обидно, что я так говорю? Я — старик и, может, теперешнюю литературу уже не могу понять, но мне всё кажется, что она — не русская. Стали писать какие-то особенные стихи,— я не знаю,

почему это стихи и для кого. Надо учиться стихам у Пушкина, Тютчева, Шеншина. Вот вы,— он обратился к Чехову,— вы русский! Да, очень, очень русский.

И, ласково улыбаясь, обнял А. П. за плечо, а тот сконфузился и начал баском говорить что-то о своей даче, о татарах.

Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А. П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды А. П. шел по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:

— Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто — чудесный!

Как-то вечером, в сумерках, жмурясь, двигая бровями, он читал вариант той сцены из «Отца Сергия», где рассказано, как женщина идет соблазнять отшельника, прочитал до конца, приподнял голову и, закрыв глаза, четко выговорил:

— Хорошо написал старик, хорошо!

Вышло у него это изумительно просто, восхищение красотой было так искренно, что я вовек не забуду восторга, испытанного мною тогда,— восторга, который я не мог, не умел выразить, но и подавить его мне стоило огромного усилия. Даже сердце остановилось, а потом всё вокруг стало живительно свежо и ново.

Надо было видеть, как он говорит, чтоб понять особенную, невыразимую красоту его речи, как будто неправильной, изобильной повторениями одних и тех же слов, насыщенной деревенской простотой. Сила слов его была не только в интонации, не в трепете лица, а в игре и блеске глаз, самых красноречивых, какие я видел когда-либо. У Л. Н. была тысяча глаз в одной паре.

Сулер, Чехов, Сергей Львович и еще кто-то, сидя в парке, говорили о женщинах, он долго слушал безмолвно и вдруг сказал:

— А я про баб скажу правду, когда одной ногой в могиле буду,— скажу, прыгну в гроб, крышкой прикроюсь — возьми-ка меня тогда! — И его взгляд

вспыхнул так озорно-жутко, что все замолчали на минуту.

В нем, как я думаю, жило дерзкое и пытливое озорство Васьки Буслаева и часть упрямой души протопопа Аввакума, а где-то наверху или сбоку таился чаадаевский скептицизм. Проповедовало и терзало душу художника Аввакумово начало, низвергал Шекспира и Данте — озорник новгородский, а чаадаевское усмехалось над этими забавами души да — кстати — и над муками ее.

А науку и государственность поражал древний русский человек, доведенный до пассивного анархизма бесплодностью множества усилий своих построить жизнь более человечно.

Это — удивительно! Но черту Буслаева постиг в Толстом силою какой-то таинственной интуиции Олаф Гульбрансон, карикатурист «Симплициссимуса»; всмотритесь в его рисунок, сколько в нем меткого сходства с действительным Львом Толстым и сколько на этом лице со скрытыми, спрятанными глазами дерзкого ума, для которого нет святынь неприкосновенных и который не верит «ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай».

Стоит предо мной этот старый кудесник, всем чужой, одиноко изъездивший все пустыни мысли в поисках всеобъемлющей правды и не нашедший ее для себя, смотрю я на него, и — хоть велика скорбь утраты, но гордость тем, что я видел этого человека, облегчает боль и горе.

Странно было видеть Л. Н. среди «толстовцев»; стоит величественная колокольня, и колокол ее неустанно гудит на весь мир, а вокруг бегают маленькие осторожные собачки, визжат под колокол и недоверчиво косятся друг на друга — кто лучше подвыл? Мне всегда казалось, что и яснополянский дом и дворец графини Паниной эти люди насквозь пропитывали духом лицемерия, трусости, мелкого торгашества и ожидания наследства. В «толстовцах» есть что-то общее с теми странниками, которые, расхаживая по глухим углам России, носят с собой собачьи кости, выдавая их за частицы мощей, да торгуют «египетской тьмой» и «слезками» богородицы. Помню, как один из таких апо-

столов в Ясной Поляне отказывался есть яйца, чтобы не обидеть кур, а на станции Тула аппетитно кушал мясо и говорил:

— Преувеличивает старичок!

Почти все они любят вздыхать, целоваться, у всех потные руки без костей и фальшивые глаза. В то же время это практичные люди, они весьма ловко устраивают свои земные дела.

Л. Н., конечно, хорошо понимал истинную цену «толстовцев», понимал это и Сулержицкий, которого он нежно любил и о ком говорил всегда с юношеским жаром, с восхищением. Как-то в Ясной некто красноречиво рассказывал о том, как ему хорошо жить и как стала чиста душа его, прияв учение Толстого. Л. Н. наклонился ко мне и сказал тихонько:

— Всё врет, шельмец, но это он для того, чтобы сделать мне приятное...

Многие старались делать ему приятное, но я не наблюдал, чтоб это делали хорошо и умело. Он почти никогда не говорил со мною на обычные свои темы — о всепрощении, любви к ближнему, о Евангелии и буддизме, очевидно, сразу поняв, что всё это было бы «не в коня корм». Я глубоко ценил это.

Когда он хотел, то становился как-то особенно красиво деликатен, чуток и мягок, речь его была обаятельно проста, изящна, а иногда слушать его было тяжко и неприятно. Мне всегда не нравились его суждения о женщинах,— в этом он был чрезмерно «простонароден», и что-то деланное звучало в его словах, что-то неискреннее, а в то же время — очень личное. Словно его однажды оскорбили и он не может ни забыть, ни простить. В вечер первого моего знакомства с ним он увел меня к себе в кабинет,— это было в Хамовниках,— усадил против себя и стал говорить о «Вареньке Олесовой», о «Двадцать шесть и одна». Я был подавлен его тоном, даже растерялся — так обнаженно и резко говорил он, доказывая, что здоровой девушке не свойственна стыдливость.

— Если девице минуло пятнадцать лет и она здорова, ей хочется, чтобы ее обнимали, щупали. Разум ее боится еще неизвестного, непонятного ему — это и па-

зывают: целомудрие, стыдливость. Но плоть ее уже знает, что непонятное — неизбежно, законно и требует исполнения закона, вопреки разуму. У вас же эта Варенька Олесова написана здоровой, а чувствует худосочно,— это неправда!

Потом он начал говорить о девушке из «Двадцати шести», произнося одно за другим «неприличные» слова с простотою, которая мне показалась цинизмом и даже несколько обидела меня. Впоследствии я понял, что он употреблял «отреченные» слова только потому, что находил их более точными и меткими, но тогда мне было неприятно слушать его речь. Я не возражал ему; вдруг он стал внимателен, ласков и начал выспрашивать меня, как я жил, учился, что читал.

— Говорят, вы очень начитанный,— правда? Что, Короленко — музыкант?

— Кажется, нет. Не знаю.

— Не знаете? Вам нравятся его рассказы?

— Да, очень.

— Это — по контрасту. Он — лирик, а у вас нет этого. Вы читали Вельтмана?

— Да.

— Не правда ли — хороший писатель, бойкий, точный, без преувеличений. Он иногда лучше Гоголя. Он знал Бальзака. А Гоголь подражал Марлинскому.

Когда я сказал, что Гоголь, вероятно, подчинялся влиянию Гофмана, Стерна и, может быть, Диккенса,— он, взглянув на меня, спросил:

— Вы это прочитали где-нибудь? Нет? Это неверно. Гоголь едва ли знал Диккенса. А вы действительно много читали,— смотрите, это вредно! Кольцов погубил себя этим.

Провожая, он обнял меня, поцеловал и сказал:

— Вы — настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо — ничего! Умные люди поймут.

Эта первая встреча вызвала у меня впечатление двойственное: я был и рад и гордился тем, что видел Толстого, но его беседа со мной несколько напоминала экзамен, и как будто я видел не автора «Казаков»,

«Холстомера», «Войны», а барина, который, снисходя ко мне, счел нужным говорить со мной в каком-то «народном стиле», языком площади и улицы, а это опрокидывало мое представление о нем,— представление, с которым я сжился и оно было дорого мне.

Второй раз я видел его в Ясной. Был осенний хмурый день, моросил дождь, а он, надев тяжелое драповое пальто и высокие кожаные ботики — настоящие мокроступы,— повел меня гулять в березовую рощу. Молодо прыгает через канавы, лужи, отряхает капли дождя с веток на голову себе и превосходно рассказывает, как Шеншин объяснял ему Шопенгауэра в этой роще. И ласковой рукою любовно гладит сыроватые атласные стволы берез.

— Недавно прочитал где-то стихи:

Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной...

— очень хорошо, очень верно!

Вдруг под ноги нам подкатился заяц. Л. Н. подскочил, заершился весь, лицо вспыхнуло румянцем и, этаким старым зверобоем, как гикнет. А потом — взглянул на меня с невыразимой улыбочкой и засмеялся умным, человечьим смешком. Удивительно хорош был в эту минуту!

В другой раз там же, в парке, он смотрел на коршуна,— коршун реял над скотным двором, сделает круг и остановится в воздухе, чуть покачиваясь на крыльях, не решаясь: бить, али еще рано? Л. Н. вытянулся весь, прикрыл глаза ладонью и трепетно шепчет:

— Злодей на кур целит наших. Вот — вот... вот сейчас... ох, боится! Кучер там, что ли? Надо позвать кучера...

И — позвал. Когда он крикнул, коршун испугался, взмыл, метнулся в сторону,— исчез. Л. Н. вздохнул и сказал с явным укором себе:

— Не надо бы кричать, он бы и так ударил...

Однажды, рассказывая ему о Тифлисе, я упомянул имя В. В. Флеровского-Берви.

— Вы знали его? — оживленно спросил Л. Н.— Расскажите, какой он.

Я стал рассказывать о том, как Флеровский — высокий, длиннобородый, худой, с огромными глазами,— надев длинный парусиновый хитон, привязав к поясу узелок риса, варенного в красном вине, вооруженный огромным холщовым зонтом, бродил со мной по горным тропинкам Закавказья, как однажды на узкой тропе встретился нам буйвол и мы благоразумно ретировались от него, угрожая недоброму животному раскрытым зонтом, пятясь задом и рискуя свалиться в пропасть. Вдруг я заметил на глазах Л. Н. слезы, это смутило меня, я замолчал.

— Это ничего, говорите, говорите! Это у меня от радости слушать о хорошем человеке. Какой интересный! Мне он так и представлялся, особенным. Среди писателей-радикалов он — самый зрелый, самый умный, у него в «Азбуке» очень хорошо доказано, что вся наша цивилизация — варварская, а культура — дело мирных племен, дело слабых, а не сильных, и борьба за существование — лживая выдумка, которой хотят оправдать зло. Вы, конечно, не согласны с этим? А вот Додэ — согласен, помните, каков у него Поль Астье?

— А как же согласовать с теорией Флеровского хотя бы роль норманнов в истории Европы?

— Норманны — это другое!

Если он не хотел отвечать, то всегда говорил: «Это другое».

Мне всегда казалось — и думаю, я не ошибаюсь — Л. Н. не очень любил говорить о литературе, но живо интересовался личностью литератора. Вопросы: «знаете вы его? какой он? где родился?» — я слышал очень часто. И почти всегда его суждения приоткрывали человека с какой-то особенной стороны.

По поводу В. Г. Короленко он сказал задумчиво:

— Не великоросс, поэтому должен видеть нашу жизнь вернее и лучше, чем видим мы сами.

О Чехове, которого ласково и нежно любил:

— Ему мешает медицина, не будь он врачом,— писал бы еще лучше.

О ком-то из молодых:

— Притворяется англичанином, что всего хуже удается москвичу.

Мне он не однажды говорил:

— Вы — сочинитель. Все эти ваши Кувалды — выдуманы.

Я заметил, что Кувалда — живой человек.

— Расскажите, где вы его видели.

Его очень насмешила сцена в камере казанского мирового судьи Колонтаева, где я впервые увидел человека, описанного мною под именем Кувалды.

— Белая кость! — говорил он, смеясь и отирая слезы.— Да, да — белая кость! Но — какой милый, какой забавный! А рассказываете вы лучше, чем пишете. Нет, вы — романтик, сочинитель, уж сознайтесь!

Я сказал, что, вероятно, все писатели несколько сочиняют, изображая людей такими, какими хотели бы видеть их в жизни; сказал также, что люблю людей активных, которые желают противиться злу жизни всеми способами, даже и насилием.

— А насилие — главное зло! — воскликнул он, взяв меня под руку.— Как же вы выйдете из этого противоречия, сочинитель? Вот у вас «Мой спутник» — это не сочинено, это хорошо, потому что не выдумано. А когда выдумываете — у вас рыцари родятся, всё Амадисы и Зигфриды...

Я заметил, что доколе мы будем жить в тесном окружении человекоподобных и неизбежных «спутников» наших — всё строится нами на зыбкой почве, во враждебной среде.

Он усмехнулся и легонько толкнул меня локтем.

— Отсюда можно сделать очень, очень опасные выводы! Вы — сомнительный социалист. Вы — романтик, а романтики должны быть монархистами, такими они и были всегда.

— А Гюго?

— Это — другое, Гюго. Не люблю его — крикун.

Он нередко спрашивал меня, что́ я читаю, и всегда упрекал меня за плохой — по его мнению — выбор книг.

— Гиббон — это хуже Костомарова, надо читать Момсена,— очень надоедный, но — солидно всё.

Узнав, что первая книга, прочитанная мною,— «Братья Земганно», он даже возмутился.

— Вот видите — глупый роман. Это вас и испор-

тило. У французов три писателя: Стендаль, Бальзак, Флобер, ну еще — Мопассан, но Чехов — лучше его. А Гонкуры — сами клоуны, они только прикидывались серьезными. Изучали жизнь по книжкам, написанным такими же выдумщиками, как сами они, и думали, что это серьезное дело, а это никому не нужно.

Я не согласился с его оценкой, и это несколько раздражило Л. Н.,— он с трудом переносил противоречия, и порою его суждения принимали странный, капризный характер.

— Никакого вырождения нет,— говорил он,— это выдумал итальянец Ломброзо, а за ним, как попугай, кричит еврей Нордау. Италия — страна шарлатанов, авантюристов,— там родятся только Аретино, Казанова, Калиостро и все такие.

— А Гарибальди?

— Это — политика, это — другое!

На целый ряд фактов, взятых из истории купеческих семей в России, он ответил:

— Это неправда, это только в умных книжках пишут...

Я рассказал ему историю трех поколений знакомой мне купеческой семьи,— историю, где закон вырождения действовал особенно безжалостно; тогда он стал возбужденно дергать меня за рукав, уговаривая:

— Вот это — правда! Это я знаю, в Туле есть две таких семьи. И это надо написать. Кратко написать большой роман, понимаете? Непременно!

И глаза его сверкали жадно.

— Но ведь рыцари будут, Л. Н.!

— Оставьте! Это очень серьезно. Тот, который идет в монахи молиться за всю семью,— это чудесно! Это — настоящее: вы — грешите, а я пойду отмаливать грехи ваши. И другой — скучающий, стяжатель-строитель,— тоже правда! И что он пьет, и зверь, распутник, и любит всех, а — вдруг — убил,— ах, это хорошо! Вот это надо написать, а среди воров и нищих нельзя искать героев, не надо! Герои — ложь, выдумка, есть просто люди, люди и — больше ничего.

Он очень часто указывал мне на преувеличения, допускаемые мною в рассказах, но однажды, говоря о

второй части «Мертвых душ», сказал, улыбаясь добродушно:

— Все мы — ужас какие сочинители. Вот и я тоже, иногда пишешь, и вдруг — станет жалко кого-нибудь, возьмешь и прибавишь ему черту получше, а у другого — убавишь, чтоб те, кто рядом с ним, не очень уж черны стали.

И тотчас же суровым тоном непреклонного судьи:

— Вот поэтому я и говорю, что художество — ложь, обман и произвол и вредно людям. Пишешь не о том, что есть настоящая жизнь, как она есть, а о том, что ты думаешь о жизни, ты сам. Кому же полезно знать, как я вижу эту башню или море, татарина,— почему интересно это, зачем нужно?

Иной раз мысли и чувства его казались мне капризно и даже как бы нарочито изломанными, но чаще он поражал и опрокидывал людей именно суровой прямотою мысли, точно Иов, бесстрашный совопросник жестокого бога.

Рассказывал он:

— Иду я, как-то, в конце мая, Киевским шоссе; земля — рай, всё ликует, небо безоблачно, птицы поют, пчелы гудят, солнце такое милое, и всё кругом — празднично, человечно, великолепно. Был я умилен до слез и тоже чувствовал себя пчелой, которой даны все лучшие цветы земли, и бога чувствовал близко душе. Вдруг вижу: в стороне дороги, под кустами, лежат странник и странница, егозят друг по другу, оба серые, грязные, старенькие,— возятся, как черви, и мычат, бормочут, а солнце без жалости освещает их голые синие поги, дряблые тела. Так и ударило меня в душу. Господи, ты — творец красоты: как тебе не стыдно? Очень плохо стало мне...

— Да, вот видите, что бывает. Природа — ее богомилы считали делом дьявола — жестоко и слишком насмешливо мучает человека: силу отнимет, а желание оставит. Это — для всех людей живой души. Только человеку дано испытать весь стыд и ужас такой муки,— в плоть данной ему. Мы носим это в себе как неизбежное наказание, а — за какой грех?

Когда он рассказывал это, глаза его странно изме-

нялись — были то детски жалобны, то сухо и сурово ярки. А губы вздрагивали, и усы щетинились. Рассказав, он вынул платок из кармана блузы и крепко вытер лицо, хотя оно было сухое. Потом расправил бороду крючковатыми пальцами мужицкой сильной руки и повторил тихонько:

— Да — за какой грех?

Однажды я шел с ним нижней дорогой от Дюльбера к Ай-Тодору. Он, шагая легко, точно юноша, говорил несколько более нервно, чем всегда:

— Плоть должна быть покорным псом духа, куда пошлет ее дух, туда она и бежит, а мы — как живем? Мечется, буйствует плоть, дух же следует за ней беспомощно и жалко.

Он крепко потер грудь против сердца, приподнял брови и, вспоминая, продолжал:

— В Москве, около Сухаревой, в глухом проулке, видел я, осенью, пьяную бабу; лежала она у самой панели. Со двора тек грязный ручей, прямо под затылок и спину бабе; лежит она в этой холодной подливке, бормочет, возится, хлюпает телом по мокру, а встать не может.

Его передернуло, он зажмурил глаза, потряс головою и предложил тихонько:

— Сядемте здесь... Это — самое ужасное, самое противное — пьяная баба. Я хотел помочь ей встать и — не мог, побрезговал; вся она была такая склизкая, жидкая, дотронься до нее — месяц руки не отмоешь,— ужас! А на тумбе сидел светленький, сероглазый мальчик, по щекам у него слезы бегут, он шмыгает носом и тянет безнадежно, устало:

— Ма-ам... да ма-амка же. Встань же...

Она пошевелит руками, хрюкнет, приподнимет голову и опять — шлеп затылком в грязь.

Замолчал, потом, оглядываясь вокруг, повторил беспокойно, почти шёпотом:

— Да, да,— ужас! Вы много видели пьяных женщин? Много,— ах, боже мой! Вы — не пишите об этом, не нужно!

— Почему?

Заглянул в глаза мне и, улыбаясь, повторил:

— Почему?

Потом раздумчиво и медленно сказал:

— Не знаю. Это я — так... стыдно писать о гадостях. Ну — а почему не писать? Нет,— нужно писать всё, обо всем...

На глазах у него показались слезы. Он вытер их и — всё улыбаясь — посмотрел на платок, а слезы снова текут по морщинам.

— Плачу,— сказал он.— Я — старик, у меня к сердцу подкатывает, когда я вспоминаю что-нибудь ужасное.

И, легонько толкая меня локтем:

— Вот и вы, проживете жизнь, а всё останется, как было,— тогда и вы заплачете, да еще хуже меня — «ручьистее», говорят бабы... А писать всё надо, обо всем, иначе светленький мальчик обидится, упрекнет,— неправда, не вся правда, скажет. Он — строгий к правде!

Вдруг встряхнулся весь и добрым голосом предложил:

— Ну, расскажите что-нибудь, вы хорошо рассказываете. Что-нибудь про маленького, про себя. Не верится, что вы тоже были маленьким, такой вы — странный. Как будто и родились взрослым. В мыслях у вас много детского, незрелого, а — знаете вы о жизни довольно много; больше не надо. Ну, рассказывайте...

И удобно прилег под сосной, на ее обнаженных корнях, наблюдая, как муравьишки суетятся и возятся в серой хвое.

Среди природы юга, непривычно северянину разнообразной, среди самодовольно пышной, хвастливо разнузданной растительности, он, Лев Толстой — даже самое имя обнажает внутреннюю силу его! — маленький человек, весь связанный из каких-то очень крепких, глубоко земных корней, весь такой узловатый,— среди, я говорю, хвастливой природы Крыма он был одновременно на месте и не на месте. Некий очень древний человек и как бы хозяин всего округа,— хозяин и создатель, прибывший после столетней отлучки в свое, им созданное, хозяйство. Многое позабыто им, многое ново для него, всё — так, как надо, но — не вполне так, и нужно тотчас найти — что не так, почему не так.

Он ходит по дорогам и тропинкам скорой, спешной походкой умелого испытателя земли и острыми глазами, от которых не скроется ни один камень и ни единая мысль, смотрит, измеряет, щупает, сравнивает. И разбрасывает вокруг себя живые зерна неукротимой мысли. Он говорит Сулеру:

— Ты, Левушка, ничего не читаешь, это нехорошо, потому что самонадеянно, а вот Горький читает много, это — тоже нехорошо, это от недоверия к себе. Я — много пишу, и это нехорошо, потому что — от старческого самолюбия, от желания, чтобы все думали по-моему. Конечно,— я думаю хорошо для себя, а Горький думает, что для него нехорошо это, а ты — ничего не думаешь, просто: хлопаешь глазами, высматриваешь — во что вцепиться. И вцепишься не в свое дело,— это уже бывало с тобой. Вцепишься, подержишься, а когда оно само начнет отваливаться от тебя, ты и удерживать не станешь. У Чехова есть прекрасный рассказ «Душечка»,— ты почти похож на нее.

— Чем? — спросил Сулер, смеясь.

— Любить — любишь, а выбрать — не умеешь и уйдешь весь на пустяки.

— И все так?

— Все? — повторил Л. Н.— Нет, не все.

И неожиданно спросил меня,— точно ударил:

— Вы почему не веруете в бога?

— Веры нет, Л. Н.

— Это — неправда. Вы по натуре верующий, и без бога вам нельзя. Это вы скоро почувствуете. А не веруете вы из упрямства, от обиды: не так создан мир, как вам надо. Не веруют также по застенчивости; это бывает с юношами: боготворят женщину, а показать это не хотят, боятся — не поймет, да и храбрости нет. Для веры— как для любви — нужна храбрость, смелость. Надо сказать себе — верую,— и всё будет хорошо, всё явится таким, как вам нужно, само себя объяснит вам и привлечет вас. Вот вы многое любите, а вера — это и есть усиленная любовь, надо полюбить еще больше — тогда любовь превратится в веру. Когда любят женщину — так самую лучшую на земле,— непременно и каждый любит самую лучшую, а это уже — вера. Неверующий

не может любить. Он влюбляется сегодня в одну, через год — в другую. Душа таких людей — бродяга, она живет бесплодно, это — нехорошо. Вы родились верующим, и нечего ломать себя. Вот вы говорите — красота? А что же такое красота? Самое высшее и совершенное — бог.

Раньше он почти никогда не говорил со мной на эту тему, и ее важность, неожиданность как-то смяла, опрокинула меня. Я молчал. Он, сидя на диване, поджав под себя ноги, выпустил в бороду победоносную улыбочку и сказал, грозя пальцем:

— От этого — не отмолчитесь, нет!

А я, не верующий в бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю:

«Этот человек — богоподобен!»

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Весною 1898 г. я прочитал в московской газете «Курьер» рассказ «Бергамот и Гараська» — пасхальный рассказ обычного типа; направленный к сердцу праздничного читателя, он еще раз напоминал, что человеку доступно — иногда, при некоторых особых условиях,— чувство великодушия и что порою враги становятся друзьями, хотя и не надолго, скажем — на день.

Со времен «Шинели» Гоголя русские литераторы написали, вероятно, несколько сотен или даже тысячи таких нарочито трогательных рассказов; вокруг великолепных цветов подлинной русской литературы они являются одуванчиками, которые якобы должны украсить нищенскую жизнь больной и жесткой русской души *.

Но от этого рассказа на меня повеяло крепким дуновением таланта, который чем-то напомнил мне Помяловского, а, кроме того, в тоне рассказа чувствовалась скрытая автором умненькая улыбочка недоверия к факту,— улыбочка эта легко примиряла с неизбежным сентиментализмом «пасхальной» и «рождественской» литературы.

Я написал автору письмо по поводу рассказа и получил от Л. Андреева забавный ответ; оригинальным почерком, полупечатными буквами он писал веселые, смешные слова, и среди них особенно подчеркнуто выделился незатейливый, но скептический афоризм:

«Сытому быть великодушным столь же приятно, как пить кофе после обеда».

---

* Весьма вероятно, что в ту пору я думал не так, как изображаю теперь, но старые мои мысли — неинтересно вспоминать.

С этого началось мое заочное знакомство с Леонидом Николаевичем Андреевым. Летом я прочитал еще несколько маленьких рассказов его и фельетонов Джемса Линча, наблюдая, как быстро и смело развивается своеобразный талант нового писателя.

Осенью, проездом в Крым, в Москве, на Курском вокзале, кто-то познакомил меня с Л. Андреевым. Одетый в старенькое пальто-тулупчик, в мохнатой бараньей шапке набекрень, он напоминал молодого актера украинской труппы. Красивое лицо его показалось мне малоподвижным, но пристальный взгляд темных глаз светился той улыбкой, которая так хорошо сияла в его рассказах и фельетонах. Не помню его слов, но они были необычны, и необычен был строй возбужденной речи. Говорил он торопливо, глуховатым, бухающим голосом, простуженно кашляя, немножко захлебываясь словами и однообразно размахивая рукой,— точно дирижировал. Мне показалось, что это здоровый, неуемно веселый человек, способный жить, посмеиваясь над невзгодами бытия. Его возбуждение было приятно.

— Будемте друзьями! — говорил он, пожимая мою руку.

Я тоже был радостно возбужден.

Зимою, на пути из Крыма в Нижний, я остановился в Москве, и там наши отношения быстро приняли характер сердечной дружбы.

Я видел, что этот человек плохо знает действительность, мало интересуется ею,— тем более удивлял он меня силой своей интуиции, плодовитостью фантазии, цепкостью воображения. Достаточно было одной фразы, а иногда — только меткого слова, чтобы он, схватив ничтожное, данное ему, тотчас развил его в картину, анекдот, характер, рассказ.

— Что такое С.? — спрашивает он об одном литераторе, довольно популярном в ту пору.

— Тигр из мехового магазина.

Он смеется и, понизив голос, точно сообщая тайну, торопливо говорит:

— А — знаете — надо написать человека, который

убедил себя, что он — герой, эдакий разрушитель всего сущего и даже сам себе страшен,—вот как! Все ему верят,— так хорошо он обманул сам себя. Но где-то в своем уголке, в настоящей жизни, он — просто жалкое ничтожество, боится жены или даже кошки.

Нанизывая слово за словом на стержень гибкой мысли, он легко и весело создавал всегда что-то неожиданное, своеобразное.

Ладонь одной руки у него была пробита пулей, пальцы скрючены,— я спросил его: как это случилось?

— Экивок юношеского романтизма,— ответил он.— Вы сами знаете,— человек, который не пробовал убить себя,— дешево стоит.

Он сел на диван вплоть ко мне и прекрасно рассказал о том, как однажды, будучи подростком, бросился под товарный поезд, но, к счастью, угодил вдоль рельс, и поезд промчался над ним, только оглушив его.

В рассказе было что-то неясное, недействительное, но он украсил его изумительно ярким описанием ощущений человека, над которым с железным грохотом двигаются тысячепудовые тяжести. Это было знакомо и мне: мальчишкой лет десяти я ложился под балластный поезд, соперничая в смелости с товарищами,— один из них, сын стрелочника, делал это особенно хладнокровно. Забава эта почти безопасна, если топка локомотива достаточно высоко поднята и если поезд идет на подъем, а не под уклон; тогда сцепления вагонов туго натянуты и не могут ударить вас или, зацепив, потащить по шпалам. Несколько секунд переживаешь жуткое чувство, стараясь прильнуть к земле насколько возможно плотнее и едва побеждая напряжением всей воли страстное желание пошевелиться, поднять голову. Чувствуешь, что поток железа и дерева, проносясь над тобою, отрывает тебя от земли, хочет увлечь куда-то, а грохот и скрежет железа раздается как будто в костях у тебя. Потом, когда поезд пройдет, с минуту и более лежишь на земле, не в силах подняться, кажется, что ты плывешь вслед поезда, а тело твое как будто бесконечно вытягивается, растет, становится легким, воздушным и — вот сейчас полетишь над землей. Это очень приятно чувствовать.

— Что влекло нас к такой нелепой забаве? — спросил Л. Н.

Я сказал, что, может быть, мы испытывали силу нашей воли, противопоставляя механическому движению огромных масс сознательную неподвижность ничтожного нашего тела.

— Нет,— возразил он,— это слишком мудрено, не по-детски.

Напомнив ему, как дети «мнут зыбку» — качаются на упругом льду только что замерзшего пруда или затона реки, я сказал, что опасные забавы вообще нравятся детям.

Он помолчал, закурил папиросу и, тотчас бросив ее, посмотрел прищуренными глазами в темный угол комнаты.

— Нет, это, должно быть, не так. Почти все дети боятся темноты... Кто-то сказал:

Есть наслаждение в бою
И бездны мрачной на краю,—

но — это «красное словцо», не больше. Я думаю как-то иначе, только не могу понять — как?

И вдруг встрепенулся весь, как бы обожжен внутренним огнем.

— Следует написать рассказ о человеке, который всю жизнь — безумно страдая — искал истину, и вот она явилась пред ним, но он закрыл глаза, заткнул уши и сказал: «Не хочу тебя, даже если ты прекрасна, потому что жизнь моя, муки мои — зажгли в душе ненависть к тебе». Как вы думаете?

Мне эта тема не понравилась; он вздохнул, говоря:

— Да, сначала нужно ответить, где истина — в человеке или вне его? По-вашему — в человеке?

И засмеялся:

— Тогда это очень плохо, очень ничтожно...

Не было почти ни одного факта, ни одного вопроса, на которые мы с Л. Н. смотрели бы одинаково, но бесчисленные разноречия не мешали нам — целые годы — относиться друг к другу с тем напряжением интереса и

внимания, которое не часто является результатом даже долголетней дружбы. Беседовали мы неутомимо, помню — однажды просидели непрерывно более двадцати часов, выпив два самовара чая,— Леонид поглощал его в неимоверном количестве.

Он был удивительно интересный собеседник, неистощимый, остроумный. Хотя его мысль и обнаруживала всегда упрямое стремление заглядывать в наиболее темные углы души, но — легкая, капризно своеобычная, она свободно отливалась в формы юмора и гротеска. В товарищеской беседе он умел пользоваться юмором гибко и красиво, но в рассказах терял — к сожалению — эту способность, редкую для русского.

Обладая фантазией живой и чуткой, он был ленив; гораздо больше любил говорить о литературе, чем делать ее. Ему было почти недоступно наслаждение ночной подвижнической работы в тишине и одиночестве над белым, чистым листом бумаги; он плохо ценил радость покрывать этот лист узором слов.

— Пишу я трудно,— сознавался он.— Перья кажутся мне неудобными, процесс письма — слишком медленным и даже унижающим. Мысли у меня мечутся, точно галки на пожаре, я скоро устаю ловить их и строить в необходимый порядок. И бывает так: я написал слово — паутина, вдруг почему-то вспоминается геометрия, алгебра и учитель Орловской гимназии — человек, разумеется, тупой. Он часто вспоминал слова какого-то философа: «Истинная мудрость — спокойна». Но я знаю, что лучшие люди мира мучительно беспокойны. К чёрту спокойную мудрость! А что же на ее место? Красоту? Да здравствует! Однако, хотя я не видел Венеру в оригинале,— на снимках она кажется мне довольно глупой бабой. И вообще — красивое всегда несколько глуповато, например — павлин, борзая собака, женщина.

Казалось бы, что он, равнодушный к фактам действительности, скептик в отношении к разуму и воле человека,— не должен был увлекаться дидактикой, учительством, неизбежным для того, кому действитель-

ность знакома излишне хорошо. Но первые же наши беседы ясно указывали, что этот человек, обладая всеми свойствами превосходного художника,— хочет встать в позу мыслителя и философа. Это казалось мне опасным, почти безнадежным, главным образом потому, что запас его знаний был странно беден. И всегда чувствовалось, что он как бы ощущает около себя невидимого врага,— напряженно спорит с кем-то, хочет кого-то побороть.

Читать Л. Н. не любил и, сам являясь делателем книги — творцом чуда,— относился к старым книгам недоверчиво и небрежно.

— Для тебя книга — фетиш, как для дикаря,— говорил он мне.— Это потому, что ты не протирал своих штанов на скамьях гимназии, не соприкасался науке университетской. А для меня Илиада, Пушкин и всё прочее замусолено слюною учителей, проституировано геморроидальными чиновниками. «Горе от ума» — скучно так же, как задачник Евтушевского. «Капитанская дочка» надоела, как барышня с Тверского бульвара.

Я слишком часто слышал эти обычные слова о влиянии школы на отношение к литературе, и они давно уже звучали для меня неубедительно,— в них чувствовался предрассудок, рожденный русской ленью. Гораздо более индивидуально рисовал Л. Андреев, как рецензии и критические очерки газет мнут и портят книги, говоря о них языком хроники уличных происшествий.

— Это — мельницы, они перемалывают Шекспира, Библию — всё, что хочешь,— в пыль пошлости. Однажды я читал газетную статью о Дон-Кихоте и вдруг с ужасом вижу, что Дон-Кихот — знакомый мне старичок, управляющий казенной палатой, у него был хронический насморк и любовница, девушка из кондитерской, он называл ее — Милли, а в действительности — на бульварах — ее звали Сонька Пузырь...

Но, относясь к знанию и книге беззаботно, небрежно, а иногда — враждебно, он постоянно и живо интересовался тем, что я читаю. Однажды, увидав у меня в комнате «Московской гостиницы» книгу Алексея Остроумова о Синезии, епископе Птолемаиды, спросил удивленно:

— Это зачем тебе?

Я рассказал ему о странном епископе-полуязычнике и прочитал несколько строк из его сочинения «Похвала плешивости». «Что может быть плешивее, что божественнее сферы?»

Это патетическое восклицание потомка Геркулеса вызвало у Леонида припадок бешеного смеха, но тотчас же, стирая слезы с глаз и всё еще улыбаясь, он сказал:

— Знаешь,— это превосходная тема для рассказа о неверующем, который, желая испытать глупость верующих, надевает на себя маску святости, живет подвижником, проповедует новое учение о боге — очень глупое,— добивается любви и поклонения тысяч, а потом говорит ученикам и последователям своим: «Всё это — чепуха». Но для них вера необходима, и они убивают его.

Я был поражен его словами; дело в том, что у Синезия есть такая мысль:

«Если бы мне сказали, что епископ должен разделять мнения народа, то я открыл бы пред всеми, кто я есть. Ибо что может быть общего между чернью и философией? Божественная истина должна быть скрытой, народ же имеет нужду в другом».

Но эту мысль я не сообщил Андрееву и не успел сказать ему о необычной позиции некрещеного язычника-философа в роли епископа христианской церкви. Когда же я сказал ему об этом, он, торжествуя и смеясь, воскликнул:

— Вот видишь,— не всегда надо читать для того, чтобы знать и понимать.

Леонид Николаевич был талантлив по природе своей, органически талантлив, его интуиция была изумительно чутка. Во всем, что касалось темных сторон жизни, противоречий в душе человека, брожений в области инстинктов,— он был жутко догадлив. Пример с епископом Синезием — не единичен, я могу привести десяток подобных.

Так, беседуя с ним о различных искателях незыбле-

мой веры, я рассказал ему содержание рукописной «Исповеди» священника Аполлова,— об одном из произведений безвестных мучеников мысли, произведений, которые вызваны к жизни «Исповедью» Льва Толстого. Рассказывал о моих личных наблюдениях над людьми догмата,— они часто являются добровольными пленниками слепой, жесткой веры и тем более фанатически защищают истинность ее, чем мучительнее сомневаются в ней.

Андреев задумался, медленно помешивая ложкой в стакане чая, потом сказал, усмехаясь:

— Странно мне, что ты понимаешь это,— говоришь ты, как атеист, а думаешь, как верующий. Если ты умрешь раньше меня, я напишу на камне могилы твоей: «Призывая поклоняться разуму, он тайно издевался над немощью его».

А через две-три минуты, наваливаясь на меня плечом, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками темных глаз, говорил вполголоса:

— Я напишу о попе, увидишь! Это, брат, я хорошо напишу!

И, грозя пальцем кому-то, крепко потирая висок, улыбался.

— Завтра еду домой и — начинаю! Даже первая фраза есть: «Среди людей он был одинок, ибо соприкасался великой тайне»...

На другой же день он уехал в Москву, а через неделю — не более — писал мне, что работает над попом, и работа идет легко, «как на лыжах». Так всегда он хватал на лету всё, что отвечало потребности его духа в соприкосновении к наиболее острым и мучительным тайнам жизни.

Шумный успех первой книги насытил его молодой радостью. Он приехал в Нижний ко мне веселый, в новеньком костюме табачного цвета, грудь туго накрахмаленной рубашки была украшена дьявольски пестрым галстухом, а на ногах — желтые ботинки.

— Искал палевые перчатки, но какая-то леди в магазине на Кузнецком напугала меня, что палевые уже

не в моде. Подозреваю, что она — соврала, наверное, дорожит свободой сердца своего и боялась убедиться, сколь я неотразим в палевых перчатках. Но по секрету скажу тебе, что всё это великолепие — неудобно, и рубашка гораздо лучше.

И вдруг, обняв меня за плечи, сказал:

— Знаешь — мне хочется гимн написать, еще не вижу — кому или чему, но обязательно — гимн! Что-нибудь шиллеровское, а? Эдакое густое, звучное — бомм!

Я пошутил над ним.

— Что же! — весело воскликнул он.— Ведь у Екклезиаста правильно сказано: «Даже и плохонькая жизнь лучше хорошей смерти». Хотя там что-то не так, а — о льве и собаке: «В домашнем обиходе плохая собака полезнее хорошего льва». А — как ты думаешь: Иов мог читать книгу Екклезиаста?

Упоенный вином радости, он мечтал о поездке по Волге на хорошем пароходе, о путешествии пешком по Крыму.

— И тебя потащу, а то ты окончательно замуруешь себя в этих кирпичах,— говорил он, указывая на книги.

Его радость напоминала оживленное благополучие ребенка, который слишком долго голодал, а теперь думает, что навсегда сыт.

Сидели на широком диване в маленькой комнате, пили красное вино, Андреев взял с полки тетрадь стихов:

— Можно?

И стал читать вслух:

— Медных сосен колонны,
Моря звон монотонный.

Это Крым? А вот я не умею писать стихи, да и желания нет. Я больше всего люблю баллады, вообще:

Я люблю всё то, что ново,
Романтично, бестолково,
Как поэт
Прежних лет.

Это поют в оперетке — «Зеленый остров», кажется.

И вздыхают деревья,
Как без рифмы стихи.

Это мне нравится. Но — скажи — зачем ты пишешь стихи? Это так не идет к тебе. Все-таки стихи — искусственное дело, как хочешь.

Потом сочиняли пародии на Скитальца:

Возьму я большое полено
В могучую руку мою
И всех — до седьмого колена —
Я вас перебью!
И пуще того огорошу —
Ура! Трепещите! Я рад.—
Казбеком вам в головы брошу,
Низвергну на вас Арарат!

Он хохотал, неистощимо придумывая милые, смешные глупости, но вдруг, наклонясь ко мне со стаканом вина в руке, заговорил негромко и серьезно:

— Недавно я прочитал забавный анекдот: в каком-то английском городе стоит памятник Роберту Бернсу — поэту. Надписи на памятнике — кому он поставлен — нет. У подножия его — мальчик, торгует газетами. Подошел к нему какой-то писатель и говорит: «Я куплю у тебя номер газеты, если ты скажешь — чья это статуя?» «Роберта Бернса»,— ответил мальчик. «Прекрасно! Теперь — я куплю у тебя все твои газеты, но скажи мне: за что поставили памятник Роберту Бернсу?» Мальчик ответил: «За то, что он умер». Как это нравится тебе?

Мне это не очень нравилось,— меня всегда тяжко тревожили резкие и быстрые колебания настроений Леонида.

Слава не была для него только «яркой заплатой на ветхом рубище певца»,— он хотел ее много, жадно и не скрывал этого. Он говорил:

— Еще четырнадцати лет я сказал себе, что буду знаменит, или — не стоит жить. Я не боюсь сказать,

что всё сделанное до меня не кажется мне лучше того, что я сам могу сделать. Если ты сочтешь мои слова самонадеянностью, ты — ошибешься. Нет, видишь ли, это должно быть основным убеждением каждого, кто не хочет ставить себя в безличные ряды миллионов людей. Именно убеждение в своей исключительности должно — и может — служить источником творческой силы. Сначала скажем самим себе: мы не таковы, как все другие, потом уже легко будет доказать это и всем другим.

— Одним словом,— ты ребенок, который не хочет питаться грудью кормилицы...

— Именно: я хочу молока только души моей. Человеку необходимы любовь и внимание или — страх пред ним. Это понимают даже мужики, надевая на себя личины колдунов. Счастливее всех те, кого любят со страхом, как любили Наполеона.

— Ты читал его «Записки»?

— Нет. Это — не нужно мне.

Он подмигнул, усмехаясь:

— Я тоже веду дневник и знаю, как это делается. Записки, исповеди и всё подобное — испражнения души, отравленной плохою пищей.

Он любил такие изречения и, когда они удавались ему, искренно радовался. Несмотря на его тяготение к пессимизму, в нем жило нечто неискоренимо детское,— например, ребячливо-наивное хвастовство словесной ловкостью, которой он пользовался гораздо лучше в беседе, чем на бумаге.

Однажды я рассказывал ему о женщине, которая до такой степени гордилась своей «честной» жизнью, так была озабочена убедить всех и каждого в своей неприступности, что все окружающие ее, издыхая от тоски, или стремглав бежали прочь от сего образца добродетели, или же ненавидели ее до судорог.

Андреев слушал, смеялся и вдруг сказал:

— Я — женщина честная, мне не к чему ногти чистить — так?

Этими словами он почти совершенно точно определил характер и даже привычки человека, о котором я говорил,— женщина была небрежна к себе. Я сказал ему

это, он очень обрадовался и детски искренно стал хвастаться:

— Я, брат, иногда сам удивляюсь, до чего ловко и метко умею двумя, тремя словами поймать самое существо факта или характера.

И произнес длинную речь в похвалу себе. Но — умница — понял, что это немножко смешно, и кончил свою тираду юмористическим шаржем.

— Со временем я так разовью мои гениальные способности, что буду одним словом определять смысл целой жизни человека, нации, эпохи...

Но все-таки критическое отношение к самому себе у него было развито не особенно сильно, это порою весьма портило и его работу и жизнь.

Леонид Николаевич странно и мучительно-резко для себя раскалывался надвое: на одной и той же неделе он мог петь миру — «Осанна!» и провозглашать ему— «Анафема!»

Это не было внешним противоречием между основами характера и навыками или требованиями профессии,— нет, в обоих случаях он чувствовал одинаково искренно. И чем более громко он возглашал «Осанна!»— тем более сильным эхом раздавалась «Анафема!»

Он говорил:

— Ненавижу субъектов, которые не ходят по солнечной стороне улицы из боязни, что у них загорит лицо или выцветет пиджак,— ненавижу всех, кто из побуждений догматических препятствует свободной, капризной игре своего внутреннего «я».

Однажды он написал довольно едкий фельетон о людях теневой стороны, а вслед за этим — по поводу смерти Эмиля Золя от угара —хорошо полемизировал с интеллигентски-варварским аскетизмом, довольно обычным в ту пору. Но, беседуя со мною по поводу этой полемики, неожиданно заявил:

— А все-таки, знаешь, собеседник-то мой более последователен, чем я: писатель должен жить, как бездомный бродяга. Яхта Мопассана — нелепость!

Он — не шутил. Мы поспорили, я утверждал: чем разнообразнее потребности человека, чем более жаден он к радостям жизни, хотя бы и маленьким,— тем быстрей развивается культура тела и духа. Он возражал: нет, прав Толстой, культура — мусор, она только искажает свободный рост души.

— «Привязанность к вещам»,— говорил он,— это фетишизм дикарей, идолопоклонство. Не сотвори себе кумира, иначе ты погас,— вот истина! Сегодня сделай книгу, завтра — машину, вчера ты сделал сапог и уже забыл о нем. Нам нужно учиться забывать.

А я говорил: необходимо помнить, что каждая вещь — воплощение духа человеческого, и часто внутренняя ценность вещи значительнее человека.

— Это поклонение мертвой материи,— кричал он.

— В ней воплощена бессмертная мысль.

— Что такое мысль? Она двулична и отвратительна своим бессилием...

Спорили мы всё чаще, всё напряженнее. Наиболее острым пунктом наших разногласий было отношение к мысли.

Я чувствую себя живущим в атмосфере мысли и, видя, как много создано ею великого и величественного,— верю, что ее бессилие — временно. Может быть, я романтизирую и преувеличиваю творческую силу мысли, но это так естественно в России, где нет духовного синтеза, в стране язычески чувственной.

Леонид воспринимал мысль, как «злую шутку дьявола над человеком»; она казалась ему лживой и враждебной. Увлекая человека к пропастям необъяснимых тайн, она обманывает его, оставляя в мучительном и бессильном одиночестве пред тайнами, а сама — гаснет.

Столь же непримиримо расходились мы во взгляде на человека, источник мысли, горнило ее. Для меня человек всегда победитель, даже и смертельно раненный, умирающий. Прекрасно его стремление к самопознанию и познанию природы, и хотя жизнь его мучительна,— он всё более расширяет пределы ее, создавая мыслью своей мудрую науку, чудесное искусство. Я чувствовал, что искренно и действительно люблю человека — и того, который сейчас живет и действует рядом со

мною, и того, умного, доброго, сильного, который явится когда-то в будущем. Андрееву человек представлялся духовно нищим; сплетенный из непримиримых противоречий инстинкта и интеллекта, он навсегда лишен возможности достичь какой-либо внутренней гармонии. Все дела его — «суета сует», тлен и самообман. А главное, он — раб смерти и всю жизнь ходит на цепи ее.

Очень трудно говорить о человеке, которого хорошо чувствуешь.

Это звучит, как парадокс, но — это правда: когда таинственный трепет горения чужого «я» ощущается тобою, волнует тебя,— боишься дотронуться кривым, тяжелым словом твоим до невидимых лучей дорогой тебе души, боишься сказать не то, не так: не хочешь исказить чувствуемое и почти неуловимое словом, не решаешься заключить чужое, хотя и общезначимое, человечески ценное в твою тесную речь.

Гораздо легче и проще рассказывать о том, что чувствуешь недостаточно ясно,— в этих случаях многое и даже всё, что ты хочешь,— можно добавить от себя.

Я думаю, что хорошо чувствовал Л. Андреева: точнее говоря — я видел, как он ходит по той тропинке, которая повисла над обрывом в трясину безумия, над пропастью, куда заглядывая, зрение разума угасает.

Велика была сила его фантазии, но — несмотря на непрерывно и туго напряженное внимание к оскорбительной тайне смерти, он ничего не мог представить себе по ту сторону ее, ничего величественного или утешительного,— он был все-таки слишком реалист для того, чтобы выдумать утешение себе, хотя и желал его.

Это его хождение по тропе над пустотой и разъединяло нас всего более. Я пережил настроение Леонида давно уже,— и, по естественной гордости человечьей, мне стало органически противно и оскорбительно мыслить о смерти.

Однажды я рассказал Леониду о том, как мне довелось пережить тяжелое время «мечтаний узника о бытии за пределами его тюрьмы», о «каменной тьме» и «неподвижности, уравновешенной навеки»,— он вско-

чил с дивана и, бегая по комнате, дирижируя искалеченной ладонью, торопливо, возмущенно, задыхаясь, говорил:

— Это, брат, трусость,— закрыть книгу, не дочитав ее до конца! Ведь в книге — твой обвинительный акт, в ней ты отрицаешься — понимаешь? Тебя отрицают со всем, что в тебе есть,— с гуманизмом, социализмом, эстетикой, любовью,— всё это — чепуха по книге? Это смешно и жалко: тебя приговорили к смертной казни — за что? А ты, притворяясь, что не знаешь этого, не оскорблен этим,— цветочками любуешься, обманывая себя и других,— глупенькие цветочки!..

Я указывал ему на некоторую бесполезность протестов против землетрясения, убеждал, что протесты никак не могут повлиять на судороги земной коры,— всё это только сердило его.

Мы беседовали в Петербурге, осенью, в пустой, скучной комнате пятого этажа. Город был облечен густым туманом, в серой массе тумана недвижимо висели радужные, призрачные шары фонарей, напоминая огромные мыльные пузыри. Сквозь жидкую вату тумана к нам поднимались со дна улицы нелепые звуки,— особенно надоедливо чмокали по торцам мостовой копыта лошадей.

Там, внизу, со звоном промчалась пожарная команда, Леонид подошел ко мне, свалился на диван и предложил:

— Едем смотреть пожар?

— В Петербурге пожары не интересны.

Он согласился:

— Верно. А вот в провинции, где-нибудь в Орле, когда горят деревянные улицы и мечутся, как моль, мещане,— хорошо! И голуби над тучей дыма — видел ты?

Обняв меня за плечи, он сказал, усмехаясь:

— Ты — всё видел, чёрт тебя возьми! И — «каменную пустоту» — это очень хорошо — каменная тьма и пустота!

И — бодая меня головою в бок:

— Иногда я тебя за это ненавижу.

Я сказал, что чувствую это.

— Да,— подтвердил он, укладывая голову на колени мне.— Знаешь — почему? Хочется, чтоб ты болел моей болью,— тогда мы были бы ближе друг другу,— ты ведь знаешь, как я одинок!

Да, он был очень одинок, но порою мне казалось, что он ревниво оберегает одиночество свое, оно дорого ему, как источник его фантастических вдохновений и плодотворная почва оригинальности его.

— Ты — врешь, что тебя удовлетворяет научная мысль,— говорил он, глядя в потолок угрюмо темным взглядом испуганных глаз.— Наука, брат, тоже мистика фактов: никто ничего не знает — вот истина. А вопросы —как я думаю и зачем я думаю, источник главнейшей муки людей,— это самая страшная истина! Едем куда-нибудь, пожалуйста...

Когда он касался вопроса о механизме мышления — это всего более волновало его. И — пугало.

Оделись, спустились в туман и часа два плавали в нем по Невскому, как сомы по дну илистой реки. Потом сидели в какой-то кофейне, к нам неотвязно пристали три девушки, одна из них, стройная эстонка, назвала себя «Эльфридой». Лицо у нее было каменное, она смотрела на Андреева большими серыми, без блеска, глазами с жуткой серьезностью и кофейной чашкой пила какой-то зеленый, ядовитый ликер. От него исходил запах жженой кожи.

Леонид пил коньяк, быстро захмелел, стал буйно остроумен, смешил девиц неожиданно забавными и замысловатыми шутками и, наконец, решил ехать на квартиру к девицам,— они очень настаивали на этом. Отпускать Леонида одного было невозможно,— когда он начинал пить, в нем просыпалось нечто жуткое, мстительная потребность разрушения, какая-то ненависть «плененного зверя».

Я отправился с ним, купили вина, фрукт, конфект, и где-то на Разъезжей улице, в углу грязного двора, заваленного бочками и дровами, во втором этаже деревянного флигеля, в двух маленьких комнатах, среди стен, убого и жалобно украшенных открытками,— стали пить.

Перед тем как напиться до потери сознания, Леонид

опасно и удивительно возбуждался, его мозг буйно вскипал, фантазия разгоралась, речь становилась почти нестерпимо яркой.

Одна из девушек, круглая, мягкая и ловкая, как мышь, почти с восхищением рассказала нам, как товарищ прокурора укусил ей ногу выше колена, —она, видимо, считала поступок юриста самым значительным событием своей жизни, показывала шрам от укуса и, захлебываясь волнением, радостно блестя стеклянными глазками, говорила:

— Он так любил меня,— даже вспомнить страшно! Укусил, знаете, а у него зуб вставлен был,— и остался в коже у меня!

Эта девушка, быстро опьянев, свалилась в углу на кушетку и заснула, всхрапывая. Пышнотелая, густоволосая шатенка с глазами овцы и уродливо длинными руками играла на гитаре, а Эльфрида составила на пол бутылки и тарелки, вскочила на стол и плясала, молча, по-змеиному изгибаясь, не сводя глаз с Леонида. Потом она запела неприятно густым голосом, сердито расширив глаза, порой, точно переломленная, наклонялась к Андрееву; он выкрикивал подхваченные им слова чужой песни, странного языка, и толкал меня локтем, говоря:

— Она что-то понимает, смотри на нее, видишь? Понимает!

Моментами возбужденные глаза Леонида как будто слепли; становясь еще темнее, они как бы углублялись, пытаясь заглянуть внутрь мозга.

Утомясь, эстонка спрыгнула со стола на постель, вытянулась, открыв рот и гладя ладонями маленькие груди, острые, как у козы.

Леонид говорил:

— Высшее и глубочайшее ощущение в жизни, доступное нам,— судорога полового акта,— да, да! И, может быть, земля, как вот эта сука, мечется в пустыне вселенной, ожидая, чтоб я оплодотворил ее пониманием цели бытия, а сам я, со всем чудесным во мне,— только сперматозоид.

Я предложил ему идти домой.

— Иди, я останусь здесь...

Он был уже сильно пьян, и с ним было много денег.

Он сел на кровать, поглаживая стройные ноги девушки, и забавно стал говорить, что любит ее, а она неотрывно смотрела в лицо ему, закинув руки за голову.

— Когда баран отведает редьки, у него вырастают крылья,— говорил Леонид.

— Нет. Это неправда,— серьезно сказала девушка.

— Я тебе говорю, что она понимает что-то!— закричал Леонид в пьяной радости. Через несколько минут он вышел из комнаты,— я дал девице денег и попросил ее уговорить Леонида ехать кататься. Она сразу согласилась:

— Я боюсь его. Такие стреляют из пистолетов,— бормотала она.

Девица, игравшая на гитаре, уснула, сидя на полу около кушетки, где, всхрапывая, спала ее подруга.

Эстонка была уже одета, когда возвратился Леонид; он начал бунтовать, крича:

— Не хочу! Да будет пир плоти!

И попытался раздеть девушку: отбиваясь, она так упрямо смотрела в глаза ему, что взгляд ее укротил Леонида, он согласился:

— Едем!

Но захотел одеть дамскую шляпу à la Рембрандт и уже сорвал с нее все перья.

— Это вы заплатите за шляпу? — деловито спросила девица.

Леонид поднял брови и захохотал, крича:

— Дело — в шляпе! Ура!

На улице мы наняли извозчика и поехали сквозь туман. Было еще не поздно, едва за полночь. Невский, в огромных бусах фонарей, казался дорогой куда-то вниз, в глубину, вокруг фонарей мелькали мокрые пылинки, в серой сырости плавали черные рыбы, стоя на хвостах; полушария зонтиков, казалось, поднимают людей вверх,— всё было очень призрачно, странно и грустно.

На воздухе Андреев совершенно опьянел, задремал, покачиваясь, девица шепнула мне:

— Я слезу, да?

И, спрыгнув с колен моих в жидкую грязь улицы, исчезла.

В конце Каменноостровского проспекта Леонид спросил, испуганно открыв глаза:

— Едем? Я хочу в кабак. Ты прогнал эту?

— Ушла.

— Врешь. Ты — хитрый, я — тоже. Я ушел из комнаты, чтобы посмотреть, что ты будешь делать, стоял за дверью и слышал, как ты уговаривал ее. Ты вел себя невинно и благородно. Ты вообще нехороший человек, пьешь много, а не пьянеешь, от этого дети твои будут алкоголиками. Мой отец тоже много пил и не пьянел, а я — алкоголик.

Потом мы сидели на «Стрелке» под дурацким пузырем тумана, курили, и когда вспыхивал огонек папирос,— видно было, как седеют наши пальто, покрываясь тусклым бисером сырости.

Леонид говорил с неограниченной откровенностью, и это не была откровенность пьяного,— его ум почти не пьянел до момента, пока яд алкоголя совершенно прекращал работу мозга.

— Если бы я остался с девками, это кончилось бы плохо для кого-то. Всё так. Но — за это я тебя и не люблю, именно за это! Ты мешаешь мне быть самим собою. Оставь меня — я буду шире. Ты, может быть, обруч на бочке, уйдешь и — бочка рассыплется, но — пускай рассыплется,— понимаешь? Ничего не надо сдерживать, пусть всё разрушается. Может быть, истинный смысл жизни именно в разрушении чего-то, чего мы не знаем; или — всего, что придумано и сделано нами.

Темные глаза его угрюмо упирались в серую массу вокруг его и над ним, иногда он их опускал к земле, мокрой, усыпанной листьями, и топал ногами, словно пробуя прочность земли.

— Я не знаю, что ты думаешь, но — то, что ты всегда говоришь, не твоей веры, не твоей молитвы слова. Ты говоришь, что все силы жизни исходят от нарушения равновесия, а сам ищешь именно равновесия, какой-то гармонии, и меня толкаешь на это, тогда как — по-твоему же — равновесие — смерть!

Я возражал: никуда я не толкаю его, не хочу толкать, но — мне дорога его жизнь, здоровье дорого, работа его.

— Тебе приятна только моя работа,— мое внешнее,— а не сам я, не то, чего я не могу воплотить в работе. Ты мешаешь мне и всем, иди в болото!

Навалился на плечо мне и, с улыбкой заглядывая в лицо, продолжал:

— Ты думаешь, я пьян и не понимаю, что говорю чепуху? Нет, я просто хочу разозлить тебя. Я, брат, декадент, выродок, больной человек. Но Достоевский был тоже больной, как все великие люди. Есть книжка,— не помню, чья,— о гении и безумии, в ней доказано, что гениальность — психическая болезнь! Эта книга — испортила меня. Если бы я не читал ее,— я был бы проще. А теперь я знаю, что почти гениален, но не уверен в том,— достаточно ли безумен? Понимаешь,— я сам себе представляюсь безумным, чтоб убедить себя в своей талантливости,— понимаешь?

Я — засмеялся. Это показалось мне плохо выдуманным и потому не правдивым.

Когда я сказал ему это, он тоже захохотал и вдруг гибким движением души, акробатически ловко перескочил в тон юмориста:

— А — где кабак, место священнодействий литературных? Талантливые русские люди обязательно должны беседовать в кабаке,— такова традиция, без этого критики не признают таланта.

Сидели в ночном трактире извозчиков, в сырой дымной духоте: по грязной комнате сердито и устало ходили сонные «человеки», «математически» ругались пьяные, визжали страшные проститутки, одна из них, обнажив левую грудь,— желтую, с огромным соском коровы,— положила ее на тарелку и поднесла нам, предлагая:

— Купите фунтик?

— Люблю бесстыдство,— говорил Леонид,— в цинизме я ощущаю печаль, почти отчаяние человека, который сознает, что он не может не быть животным, хочет не быть, а не может! Понимаешь?

Он пил крепкий, почти черный чай; зная, что так нравится ему и отрезвляет его,— я нарочно велел заварить больше чая. Прихлебывая дегтеподобную, горькую жидкость, щупая глазами вспухшие лица пьяниц, Леонид непрерывно говорил:

— С бабами — я циничен. Так — правдивее, и они это любят. Лучше быть законченным грешником, чем праведником, который не может домолиться до полной святости.

Оглянулся, помолчал и говорит:

— А здесь — скучно, как в духовной консистории!

Это рассмешило его.

— Я никогда не был в духовной консистории, в ней должно быть что-то похожее на рыбный садок...

Чай отрезвил его. Мы ушли из трактира. Туман сгустился, опаловые шары фонарей таяли, как лед.

— Мне хочется рыбы,— сказал Леонид, облокотясь на перила моста через Неву, и оживленно продолжал: — Знаешь, как бывает со мной? Вероятно, так дети думают,— наткнется на слово — рыба и подбирает созвучные ему: рыба, гроба, судьба, иго, Рига,— а вот стихи писать — не могу!

Подумав, он добавил:

— Так же думают составители букварей...

Снова сидели в трактире, угощаясь рыбной солянкой; Леонид рассказывал, что его приглашают «декаденты» сотрудничать в «Весах».

— Не пойду, не люблю их. У них за словами я не чувствую содержания, они «опьяняются» словами, как любит говорить Бальмонт. Тоже — талантлив и — больной.

В другой раз — помню — он сказал о группе «Скорпиона»:

— Они насилуют Шопенгауэра, а я люблю его и потому ненавижу их.

Но это слишком сильное слово в его устах,— ненавидеть он не умел, был слишком мягок для этого. Как-то показал мне в дневнике своем «слова ненависти», но — они оказались словами юмора, и он сам искренно смеялся над ними.

Я отвез его в гостиницу, уложил спать, но, зайдя после полудня, узнал, что он, тотчас после того как я ушел, встал, оделся и тоже исчез куда-то. Я искал его целый день, но не нашел.

Он непрерывно пил четыре дня и потом уехал в Москву.

У него была неприятная манера испытывать искренность взаимных отношений людей; он делал это так: неожиданно, между прочим, спрашивает:

— Знаешь, что Z сказал про тебя? — или сообщит:

— A S говорит о тебе...

И темным взглядом, испытуя, заглядывает в глаза.

Однажды я сказал ему:

— Смотри,— так ты можешь перессорить всех товарищей!

— Ну что же?— ответил он.— Если ссорятся из-за пустяков, значит — отношения были не искренни.

— Чего ты хочешь?

— Прочности, такой — знаешь — монументальности, красоты отношений. Надо, чтоб каждый из нас понимал, как тонко кружево души, как нежно и бережливо следует относиться к ней. Необходим некоторый романтизм отношений, в кружке Пушкина он был, и я этому завидую. Женщины чутки только к эротике, евангелие бабы — «Декамерон».

Но через полчаса он осмеял свой отзыв о женщинах, уморительно изобразив беседу эротомана с гимназисткой.

Он не выносил Арцыбашева и порою с грубой враждебностью высмеивал его именно за одностороннее изображение женщины, как начала исключительно чувственного.

Однажды он мне рассказал такую историю: когда ему было лет одиннадцать, он увидал где-то в роще или в саду, как дьякон целовался с барышней.

— Они целовались, и оба плакали,— говорил он, понизив голос и съёживаясь; когда он рассказывал что-нибудь интимное, он напряженно сжимал свою несколько рыхлую мускулатуру.

— Барышня была такая, знаешь, тоненькая, хрупкая, на соломенных ножках, дьякон — толстый, ряса на животе засалена и лоснится. Я уже знал, зачем целуются, но первый раз видел, что целуясь — плачут, и мне было смешно. Борода дьякона зацепилась за крючки расстегнутой кофты, он замотал головой, я свистнул,

чтобы испугать их, испугался сам и — убежал. Но в тот же день вечером почувствовал себя влюбленным в дочь мирового судьи, девчонку лет десяти, ощупал ее, грудей у нее не оказалось, значит целовать нечего, и она не годится для любви. Тогда я влюбился в горничную соседей, коротконогую, без бровей, с большими грудями,— кофта ее на груди была так же засалена, как ряса на животе дьякона. Я очень решительно приступил к ней, а она меня решительно оттрепала за ухо. Но это не помешало мне любить ее, она казалась мне красавицей, и чем далее, тем больше. Это было почти мучительно и очень сладко. Я видел много девиц действительно красивых и умом хорошо понимал, что возлюбленная моя — урод сравнительно с ними, а все-таки для меня она оставалась лучше всех. Мне было хорошо, потому что я знал: никто не мог бы любить так, как умею я, белобрысую толстую девку, никто — понимаешь — не сумел бы видеть ее красивее всех красавиц!

Он рассказал это превосходно, насытив слова свои милым юмором, который я не умею передать; как жаль, что, всегда хорошо владея им в беседе, он пренебрегал или боялся украшать его игрой свои рассказы,— боялся, видимо, нарушить красками юмора темные тона своих картин.

Когда я сказал: жаль, что он забыл, как хорошо удалось ему сотворить из коротконогой горничной первую красавицу мира, что он не хочет больше извлекать из грязной руды действительного золотые жилы красоты,— он комически хитро прищурился, говоря:

— Ишь ты, какой лакомый! Нет, я не намерен баловать вас, романтиков...

Невозможно было убедить его в том, что именно он — романтик.

На «Собрании сочинений», которое Леонид подарил мне в 1915 г., он написал:

«Начиная с курьерского „Бергамота“, здесь всё писалось и прошло на твоих глазах, Алексей: во многом это — история наших отношений».

Это, к сожалению, верно; к сожалению — потому, что я думаю: для Л. Андреева было бы лучше, если бы он не вводил в свои рассказы «историю наших отноше-

ний». А он делал это слишком охотно и, торопясь «опровергнуть» мои мнения, портил этим свою обедню. И как будто именно в мою личность он воплотил своего невидимого врага.

— Я написал рассказ, который наверное не понравится тебе,— сказал он однажды.— Прочитаем?

Прочитали. Рассказ очень понравился мне, за исключением некоторых деталей.

— Это — пустяки, это я исправлю,— оживленно говорил он, расхаживая по комнате, шаркая туфлями. Потом сел рядом со мною и, откинув свои волосы, заглянул в глаза мне.

— Вот,— я знаю, чувствую, ты искренно хвалишь рассказ. Но — я не понимаю, как может он нравиться тебе?

— Мало ли на свете вещей, которые не нравятся мне, однако это не портит их, как я вижу.

— Рассуждая так, нельзя быть революционером.

— Ты что же, смотришь на революционера глазами Нечаева: «революционер — не человек»?

Он обнял меня, засмеялся:

— Ты плохо понимаешь себя. Но — слушай,— ведь когда я писал «Мысль», я думал о тебе; Алексей Савелов — это ты! Там есть одна фраза: «Алексей не был талантлив» — это, может быть, нехорошо с моей стороны, но ты своим упрямством так раздражаешь меня иногда, что кажешься мне неталантливым. Это я нехорошо написал, да?

Он волновался, даже покраснел.

Я успокоил его, сказав, что не считаю себя арабским конем, а только ломовой лошадью; я знаю, что обязан успехами моими не столько природной талантливости, сколько уменью работать, любви к труду.

— Странный ты человек,— тихо сказал он, прервав мои слова, и вдруг, отрешившись от пустяков, задумчиво начал говорить о себе, о волнениях души своей. Он не имел общерусской неприятной склонности исповедоваться и каяться, но иногда ему удавалось говорить о себе с откровенностью мужественной, даже несколько жесткой, однако — не теряя самоуважения. И это было приятно в нем.

— Понимаешь,— говорил он,— каждый раз, когда я напишу что-либо особенно волнующее меня,— с души моей точно кора спадает, я вижу себя яснее и вижу, что я талантливее написанного мной. Вот — «Мысль». Я ждал, что она поразит тебя, а теперь сам вижу, что это, в сущности, полемическое произведение, да еще не попавшее в цель.

Вскочил на ноги и полушутя заявил, встряхнув волосами:

— Я боюсь тебя, злодей! Ты — сильнее меня, я не хочу поддаваться тебе.

И снова серьезно:

— Чего-то не хватает мне, брат. Чего-то очень важного,— а? Как ты думаешь?

Я думал, что он относится к таланту своему непростительно небрежно и что ему не хватает знаний.

— Надо учиться, читать, надо ехать в Европу...

Он махнул рукой.

— Не то. Надо найти себе бога и поверить в мудрость его.

Как всегда, мы заспорили. После одного из таких споров он прислал мне корректуру рассказа «Стена». А по поводу «Призраков» он сказал мне:

— Безумный, который стучит, это — я, а деятельный Егор — ты. Тебе действительно присуще чувство уверенности в силе твоей, это и есть главный пункт твоего безумия и безумия всех подобных тебе романтиков, идеализаторов разума, оторванных мечтой своей от жизни.

Скверный шум, вызванный рассказом «Бездна», расстроил его. Люди, всегда готовые услужить улице, начали писать об Андрееве различные гадости, доходя в сочинении клеветы до комизма: так один поэт напечатал в харьковской газете, что Андреев купался со своей невестой без костюмов. Леонид обиженно спрашивал:

— Что же он думает,— во фраке, что ли, надо купаться? И ведь врет, не купался я ни с невестой, ни соло, весь год не купался — негде было. Знаешь, я ре-

шил напечатать и расклеить по заборам покорнейшую просьбу к читателям,— краткую просьбу:

Будьте любезны,—
Не читайте «Бездны»!

Он был чрезмерно, почти болезненно внимателен к отзывам о его рассказах и всегда, с грустью или с раздражением, жаловался на варварскую грубость критиков и рецензентов, а однажды даже в печати жаловался на враждебное отношение критики к нему лично как человеку.

— Не надо этого делать,— советовали ему.

— Нет, нужно, а то они, стараясь исправить меня, уши мне отрежут или кипятком ошпарят...

Его жестоко мучил наследственный алкоголизм; болезнь проявлялась сравнительно редко, но почти всегда в формах очень тяжелых. Он боролся с нею, борьба стоила ему огромных усилий, но порой, впадая в отчаяние, он осмеивал эти усилия.

— Напишу рассказ о человеке, который с юности двадцать пять лет боялся выпить рюмку водки, потерял из-за этого множество прекрасных часов жизни, испортил себе карьеру и умер во цвете лет, неудачно срезав себе мозоль или занозив себе палец.

И действительно, приехав в Нижний ко мне, он привез с собою рукопись рассказа на эту тему.

В Нижнем у меня Л. Н. встретил отца Феодора Владимирского, протоиерея города Арзамаса, а впоследствии члена Второй государственной думы,— человека замечательного. Когда-нибудь я попробую написать его житие, а пока нахожу необходимым кратко очертить главный подвиг его жизни.

Город Арзамас чуть ли не со времени Ивана Грозного пил воду из прудов, где летом плавали трупы утопших крыс, кошек, кур, собак, а зимою, подо льдом, вода протухала, приобретая тошнотворный запах. И вот отец Феодор, поставив себе целью снабдить город здоровой

водой, двенадцать лет самолично исследовал почвенные воды вокруг Арзамаса. Из года в год, каждое лето, он, на восходе солнца, бродил, точно колдун, по полям и лесам, наблюдая, где земля «преет». И после долгих трудов нашел подземные ключи, проследил их течение, перекопал, направил в лесную ложбину за три версты от города и, получив на десять тысяч жителей свыше сорока тысяч ведер превосходной ключевой воды, предложил городу устроить водопровод. У города был капитал, завещанный одним купцом условно или на водопровод, или на организацию кредитного общества. Купечество и начальство, добывая воду бочками на лошадях из дальних ключей за городом, в водопроводе не нуждалось и, всячески затрудняя работу отца Феодора, стремилось употребить капитал на основание кредитного общества, а мелкие жители хлебали тухлую воду прудов, оставаясь — по привычке, издревле усвоенной ими — безучастны и бездеятельны. Итак, найдя воду, отец Феодор принужден был вести длительную и скучную борьбу с упрямым своекорыстием богатых и подленькой глупостью бедняков.

Приехав в Арзамас под надзор полиции, я застал его в конце работы по собиранию источников. Этот человек, истощенный каторжным трудом и несчастиями, был первым арзамасцем, который решился познакомиться со мной,— мудрое арзамасское начальство, строжайше запретив земским и другим служащим людям посещать меня, учредило, на страх им, полицейский пост прямо под окнами моей квартиры.

Отец Феодор пришел ко мне вечером, под проливным дождем, весь — с головы до ног — мокрый, испачканный глиной, в тяжелых мужицких сапогах, сером подряснике и выцветшей шляпе,—она до того размокла, что сделалась похожей на кусок грязи. Крепко сжав руку мою мозолистой и жесткой ладонью землекопа, он сказал угрюмым баском:

— Это вы — нераскаянный грешник, коего сунули нам исправления вашего ради? Вот мы вас исправим! Чаем угостить можете?

В седой бородке спрятано сухонькое личико аскета, из глубоких глазниц кротко сияет улыбка умных глаз.

— Прямо из леса зашел. Нет ли чего — переодеться мне?

Я уже много слышал о нем, знал, что сын его — политический эмигрант, одна дочь сидит в тюрьме «за политику», другая усиленно готовится попасть туда же; знал, что он затратил все свои средства на поиски воды, заложил дом, живет как нищий, сам копает канавы в лесу, забивая их глиной, а когда сил у него не хватало,— Христа ради просил окрестных мужиков помочь ему. Они — помогали, а городской обыватель, скептически следя за работой «чудака» попа, пальцем о палец не ударил в помощь ему.

Вот с этим человеком Л. Андреев и встретился у меня.

Октябрь, сухой, холодный день, дул ветер, по улице летели какие-то бумажки, птичьи перья, облупки лука. Пыль скреблась в стекла окон, с поля на город двигалась огромная дождевая туча. В комнату к нам неожиданно вошел отец Феодор, протирая запыленные глаза, лохматый, сердитый, ругая вора, укравшего у него саквояж и зонт, губернатора, который не хочет понять, что водопровод полезнее кредитного общества,— Леонид широко открыл глаза и шепнул мне:

— Это что?

Через час, за самоваром, он, буквально разинув рот, слушал, как протоиерей нелепого города Арзамаса, пристукивая кулаком по столу, порицал гностиков за то, что они боролись с демократизмом церкви, стремясь сделать учение о богопознании недоступным разуму народа.

— Еретики эти считали себя высшего познания искателями, аристократами духа,— а не народ ли, в лице мудрейших водителей своих, суть воплощение мудрости божией и духа его?

«Докеты», «офиты», «плерома», «Карпократ» — гудел отец Феодор, а Леонид, толкая меня локтем, шептал:

— Вот олицетворенный ужас арзамасский!

Но вскоре он уже размахивал рукою пред лицом отца Феодора, доказывая ему бессилие мысли, а священник, встряхивая бородой, возражал:

— Не мысль бессильна, а неверие.

— Оно является сущностью мысли...

— Софизмы сочиняете, господин писатель...

По стеклам окон хлещет дождь, на столе курлыкает самовар, старый и малый ворошат древнюю мудрость, а со стены вдумчиво смотрит на них Лев Толстой с палочкой в руке — великий странник мира сего. Ниспровергнув всё, что успели, мы разошлись по комнатам далеко за полночь, я уже лег в постель с книгой в руках, но в дверь постучали, и явился Леонид, встрепанный, возбужденный, с расстегнутым воротом рубахи, сел на постель ко мне и заговорил, восхищаясь:

— Вот так поп! Как он меня обнаружил, а?

И вдруг на глазах у него сверкнули слезы.

— Счастлив ты, Алексей, чёрт тебя возьми! Всегда около тебя какие-то удивительно интересные люди, а я — одинок... или же вокруг меня толкутся...

Он махнул рукою. Я стал рассказывать ему о жизни отца Феодора, о том, как он искал воду, о написанной им «Истории ветхого завета», рукопись которой у него отобрана по постановлению синода, о книге «Любовь — закон жизни», тоже запрещенной духовной цензурой. В этой книге отец Феодор доказывал цитатами из Пушкина, Гюго и других поэтов, что чувство любви человека к человеку является основой бытия и развития мира, что оно столь же могущественно, как закон всеобщего притяжения и во всем подобно ему.

— Да,— задумчиво говорил Леонид,— надо мне поучиться кое-чему, а то стыдно перед попом...

Снова постучали в дверь — вошел отец Феодор, запахивая подрясник, босый, печальный.

— Не спите? А я, того... пришел! Слышу — говорят, пойду, мол, извинюсь! Покричал я на вас резковато, молодые люди, так вы не обижайтесь. Лег, подумал про вас — хорошие человеки, ну, решил, что я напрасно горячился. Вот — пришел — простите! Иду спать...

Забрались оба на постель ко мне, и снова началась бесконечная беседа о жизни. Леонид — хохотал и умилялся:

— Нет, какова наша Россия?.. «Позвольте,— мы еще не решили вопроса о бытии бога, а вы обедать зовете!» Это же — не Белинский говорит, это — вся Русь

говорит Европе, ибо Европа, в сущности, зовет нас обедать, сытно есть,— не более того!

А отец Феодор, кутая подрясником тонкие, костяные ноги, улыбаясь, возражал:

— Однако Европа всё ж таки мать крестная нам,— не забудьте! Без Вольтеров ее и без ее ученых — мы бы с вами не состязались в знаниях философических, а безмолвно блины кушали бы и — только всего!

На рассвете отец Феодор простился и часа через два уже исчез хлопотать о водопроводе арзамасском, а Леонид, проспав до вечера, вечером говорил мне:

— Ты подумай — кому, для чего нужно, чтоб в тухлом каком-то городе жил умница поп, энергичный и интересный? И почему именно поп — умница в этом городе, а? Какая ерунда! Знаешь — жить можно только в Москве,— уезжай отсюда. Скверно тут,— дождь, грязь...— И тотчас же стал собираться домой...

На вокзале он сказал:

— А все-таки этот поп — недоразумение. Анекдот!

Он довольно часто жаловался, что почти не видит людей значительных, оригинальных.

— Ты вот умеешь находить их, а за меня всегда цепляется какой-то репейник, и таскаю я его на хвосте моем — зачем?

Я рассказывал о людях, знакомство с которыми было бы полезно ему,— людях высокой культуры или оригинальной мысли, говорил о В. В. Розанове и других. Мне казалось, что знакомство с Розановым было бы особенно полезно для Андреева. Он удивлялся:

— Не понимаю тебя!

И говорил о консерватизме Розанова, чего мог бы и не делать, ибо в существе духа своего был глубоко равнодушен к политике, лишь изредка обнаруживая приступы внешнего любопытства к ней. Его основное отношение к политическим событиям он выразил наиболее искренно в рассказе: «Так было — так будет».

Я пытался доказать ему, что учиться можно у чёрта и вора так же, как у святого отшельника, и что изучение не значит — подчинение.

— Это не совсем верно,— возражал он,— вся наука

представляет собою подчинение факту. А Розанова я не люблю.

Иногда казалось, что он избегает личных знакомств с крупными людьми потому, что боится влияния их; встретится раз, два с одним из таких людей, иногда горячо расхвалит человека, но вскоре теряет интерес к нему и уже не ищет новых встреч.

Так было с Саввой Морозовым,— после первой длительной беседы с ним Л. Андреев, восхищаясь тонким умом, широкими знаниями и энергией этого человека, называл его Ермак Тимофеевич, говорил, что Морозов будет играть огромную политическую роль:

— У него лицо татарина, но это, брат, английский лорд!

Но знакомства с ним не продолжил. И так же было с А. А. Блоком.

Я пишу, как подсказывает память, не заботясь о последовательности, о «хронологии».

В Художественном театре, когда он помещался еще в Каретном ряду, Леонид Николаевич познакомил меня со своей невестой — худенькой, хрупкой барышней с милыми, ясными глазами. Скромная, молчаливая, она показалась мне безличной, но вскоре я убедился, что это человек умного сердца.

Она прекрасно поняла необходимость материнского, бережного отношения к Андрееву, сразу и глубоко почувствовала значение его таланта и мучительные колебания его настроений. Она — из тех редких женщин, которые, умея быть страстными любовницами, не теряют способности любить любовью матери; эта двойная любовь вооружила ее тонким чутьем, и она прекрасно разбиралась в подлинных жалобах его души и звонких словах капризного настроения минуты.

Как известно, русский человек «ради красного словца не жалеет ни матери, ни отца». Л. Н. тоже весьма увлекался красным словом и порою сочинял изречения весьма сомнительного тона.

«Через год после брака жена точно хорошо разношенный башмак — его не чувствуешь»,— сказал он однажды при Александре Михайловне. Она умела не

обращать внимания на подобное словотворчество, а порою даже находила эти шалости языка остроумными и ласково смеялась. Но, обладая в высокой степени чувством уважения к себе самой, она могла — если это было нужно ей — показать себя очень настойчивой, даже непоколебимой. У нее был тонко развит вкус к музыке слова, к форме речи. Маленькая, гибкая, она была изящна, а иногда как-то забавно, по-детски, важна,— я прозвал ее «Дама Шура», это очень привилось ей.

Л. Н. ценил ее, а она жила в постоянной тревоге за него, в непрерывном напряжении всех сил своих, совершенно жертвуя личностью своей интересам мужа.

В Москве у Андреева часто собирались литераторы, было очень тесно, уютно, милые глаза «Дамы Шуры», ласково улыбаясь, несколько сдерживали «широту» русских натур. Часто бывал Ф. И. Шаляпин, восхищая всех своими рассказами.

Когда расцветал «модернизм», пытались понять его, но больше — осуждали, что гораздо проще делать. Серьезно думать о литературе было некогда, на первом плане стояла политика. Блок, Белый, Брюсов казались какими-то «уединенными пошехонцами», в лучшем мнении — чудаками, в худшем — чем-то вроде изменников «великим традициям русской общественности». Я тоже так думал и чувствовал. Время ли для «Симфонии», когда вся Русь мрачно готовится плясать трепака? События развивались в направлении катастрофы, признаки ее близости становились всё более грозными, эсеры бросали бомбы, и каждый взрыв сотрясал всю страну, вызывая напряженное ожидание коренного переворота социальной жизни. В квартире Андреева происходили заседания ЦК социал-демократов большевиков, и однажды весь Комитет вместе с хозяином квартиры был арестован и отвезен в тюрьму.

Просидев в тюрьме с месяц, Л. Н. вышел оттуда точно из купели Силоамской — бодрый, веселый.

— Это хорошо, когда тебя сожмут,— хочешь всесторонне расшириться! — говорил он.

И смеялся надо мной.

— Ну что, пессимист? А ведь Россия-то — оживает? А ты рифмовал: самодержавие — ржавея.

Он печатал рассказы «Марсельеза», «Набат», «Рассказ, который никогда не будет кончен», но уже в октябре 1905 г. прочитал мне в рукописи «Так было».

— Не преждевременно ли? — спросил я.

Он ответил:

— Хорошее всегда преждевременно...

Вскоре он уехал в Финляндию и хорошо сделал — бессмысленная жестокость декабрьских событий раздавила бы его. В Финляндии он вел себя политически активно, выступал на митинге, печатал в газетах Гельсингфорса резкие отзывы о политике монархистов, но настроение у него было подавленное, взгляд на будущее — безнадежен. В Петербурге я получил письмо от него; он писал между прочим:

«У каждой лошади есть свои врожденные особенности, у наций — тоже. Есть лошади, которые со всех дорог сворачивают в кабак,— наша родина свернула к точке, наиболее любезной ей, и снова долго будет жить распивочно и на вынос».

Через несколько месяцев мы встретились в Швейцарии, в Монтрэ. Леонид издевался над жизнью швейцарцев.

— Нам, людям широких плоскостей, не место в этих тараканьих щелях,— говорил он.

Мне показалось, что он несколько поблек, потускнел, в глазах его остеклело выражение усталости и тревожной печали. О Швейцарии он говорил так же плоско, поверхностно и то же самое, что издавна привыкли говорить об этой стране свободолюбивые люди из Чухломы, Конотопа и Тетюш. Один из них определил русское понятие свободы глубоко и метко такими словами:

«Мы в нашем городе живем, как в бане,— без поправок, без стеснения».

О России Л. Н. говорил скучно и нехотя и однажды, сидя у камина, вспомнил несколько строк горестного стихотворения Якубовича «Родине»:

За что любить тебя, какая ты нам мать?..

— Написал я пьесу,— прочитаем?

И вечером он прочитал «Савву».

Еще в России, слушая рассказы о юноше Уфимцеве и товарищах его, которые пытались взорвать икону Курской богоматери,— Андреев решил обработать это событие в повесть и тогда же, сразу, очень интересно создал план повести, выпукло очертил характеры. Его особенно увлекал Уфимцев, поэт в области научной техники, юноша, обладавший несомненным талантом изобретателя. Сосланный в Семиреченскую область, кажется в Каркаралы, живя там под строгим надзором людей невежественных и суеверных, не имея необходимых инструментов и материалов, он изобрел оригинальный двигатель внутреннего сгорания, усовершенствовал циклостиль, работал над новой системой драги, придумал какой-то «вечный патрон» для охотничьих ружей. Чертежи его двигателя я показывал инженерам в Москве, и они говорили мне, что изобретение Уфимцева очень практично, остроумно и талантливо. Не знаю, какова судьба всех этих изобретений,— уехав за границу, я потерял Уфимцева из виду.

Но я знал, что это юноша из ряда тех прекрасных мечтателей, которые,— очарованы своей верой и любовью,— идут разными путями к одной и той же цели — к возбуждению в народе своем разумной энергии, творящей добро и красоту.

Мне было грустно и досадно видеть, что Андреев исказил этот характер, еще не тронутый русской литературой, мне казалось, что в повести, как она была задумана, характер этот найдет и оценку и краски, достойные его. Мы поспорили, и, может быть, я несколько резко говорил о необходимости точного изображения некоторых — наиболее редких и положительных — явлений действительности.

Как все люди определенно очерченного «я», острого ощущения своей «самости», Л. Н. не любил противоречия, он обиделся на меня, и мы расстались холодно.

Кажется, в 907 или 8-м году Андреев приехал на Капри, похоронив «Даму Шуру» в Берлине,— она умерла от послеродовой горячки. Смерть умного и доброго друга очень тяжело отразилась на психике Лео-

нида. Все его мысли и речи сосредоточенно вращались вокруг воспоминаний о бессмысленной гибели «Дамы Шуры».

— Понимаешь,— говорил он, странно расширяя зрачки,— лежит она еще живая, а дышит уже трупным запахом. Это очень иронический запах.

Одетый в какую-то бархатную черную куртку, он даже и внешне казался измятым, раздавленным. Его мысли и речи были жутко сосредоточены на вопросе о смерти. Случилось так, что он поселился на вилле Карачиолло, принадлежавшей вдове художника, потомка маркиза Карачиолло, сторонника французской партии, казненного Фердинандом Бомбой. В темных комнатах этой виллы было сыро и мрачно, на стенах висели незаконченные грязноватые картины, напоминая о пятнах плесени. В одной из комнат был большой закопченный камин, а перед окнами ее, затеняя их, густо разросся кустарник; в стекла со стен дома заглядывал плющ. В этой комнате Леонид устроил столовую.

Как-то под вечер, придя к нему, я застал его в кресле пред камином. Одетый в черное, весь в багровых отсветах тлеющего угля, он держал на коленях сына своего, Вадима, и вполголоса, всхлипывая, говорил ему что-то. Я вошел тихо; мне показалось, что ребенок засыпает, я сел в кресло у двери и слышу: Леонид рассказывает ребенку о том, как смерть ходит по земле и душит маленьких детей.

— Я боюсь,— сказал Вадим.

— Не хочешь слушать?

— Я боюсь,— повторил мальчик.

— Ну, иди спать...

Но ребенок прижался к ногам отца и заплакал. Долго не удавалось нам успокоить его, Леонид был настроен истерически, его слова раздражали мальчика, он топал ногами и кричал:

— Не хочу спать! Не хочу умирать!

Когда бабушка увела его, я заметил, что едва ли следует пугать ребенка такими сказками, какова сказка о смерти, непобедимом великане.

— А если я не могу говорить о другом? — резко сказал он.— Теперь я понимаю, насколько равнодушна

«прекрасная природа», и мне одного хочется — вырвать мой портрет из этой пошло красивенькой рамки.

Говорить с ним было трудно, почти невозможно, он нервничал, сердился и, казалось, нарочито растравлял свою боль.

— Меня преследует мысль о самоубийстве, мне кажется, что тень моя, ползая за мной, шепчет мне: уйди, умри!

Это очень возбуждало тревогу друзей его, но иногда он давал понять, что вызывает опасения за себя сознательно и нарочито, как бы желая слышать еще раз, что скажут ему в оправдание и защиту жизни.

Но веселая природа острова, ласковая красота моря и милое отношение каприйцев к русским довольно быстро рассеяли мрачное настроение Леонида. Месяца через два его точно вихрем охватило страстное желание работать.

Помню — лунной ночью, сидя на камнях у моря, он встряхнул головой и сказал:

— Баста! Завтра с утра начинаю писать.

— Лучше этого тебе ничего не сделать.

— Вот именно.

И весело,— как он давно уже не говорил,— он начал рассказывать о планах своих работ.

— Прежде всего, брат, я напишу рассказ на тему о деспотизме дружбы,— уж расплачусь же я с тобой, злодей!

И тотчас,— легко и быстро,— сплел юмористический рассказ о двух друзьях, мечтателе и математике,— один из них всю жизнь рвется в небеса, а другой заботливо подсчитывает издержки воображаемых путешествий и этим решительно убивает мечты друга.

Но вслед за этим он сказал:

— Я хочу писать об Иуде,— еще в России я прочитал стихотворение о нем — не помню чье *,— очень умное. Что ты думаешь об Иуде?

У меня в то время лежал чей-то перевод тетралогии Юлиуса Векселля «Иуда и Христос», перевод рассказа Тора Гедберга и поэма Голованова,— я предложил ему прочитать эти вещи.

---

* А. Рославлева.

— Не хочу, у меня есть своя идея, а это меня может запутать. Расскажи мне лучше — что они писали? Нет, не надо, не рассказывай.

Как всегда в моменты творческого возбуждения, он вскочил на ноги,— ему необходимо было двигаться.

— Идем!

Дорогой он рассказал содержание «Иуды», а через три дня принес рукопись. Этим рассказом он начал один из наиболее плодотворных периодов своего творчества. На Капри он затеял пьесу «Черные маски», написал злую юмореску «Любовь к ближнему», рассказ «Тьма», создал план «Сашки Жегулева», сделал наброски пьесы «Океан» и написал несколько глав — две или три — повести «Мои записки», — всё это в течение полугода. Эти серьезные работы и начинания не мешали Л. Н. принимать живое участие в сочинении пьесы «Увы», пьесы в классически-народническом духе, в стихах и прозе, с пением, плясками и всевозможным угнетением несчастных русских землепашцев. Содержание пьесы достаточно ясно характеризует перечень действовавших в ней лиц:

«Угнетон — безжалостный помещик.

Свирепея — таковая же супруга его.

Филистерий — Угнетонов брат, литераторишко прозаический.

Декадентий — неудачное чадо Угнетоново.

Терпим — землепашец, весьма несчастен, но не всегда пьян.

Скорбела — любимая супруга Терпимова; преисполнена кротости и здравого смысла, хоша беременна постоянно.

Страдала — прекрасная дочь Терпимова.

Лупоморда — ужаснейший становой пристав. Купается в мундире и при орденах.

Раскатай — несомненный урядник, а на самом деле— благородный граф Эдмон де Птие.

Мотря Колокольчик — тайная супруга графова, а в действительности испанская маркиза донна Кармен Нестерпима и Несносна, притворившаяся гитаной.

Тень русского критика Скабического.

Тень Каблица-Юзова.

Афанасий Щапов, в совершенно трезвом виде.

„Мы говорили“,— группа личностей без речей и действий.

Место происшествия — „Голубые Грязи“, поместье Угнетоново, дважды заложенное в Дворянском банке и однажды еще где-то».

Был написан целый акт этой пьесы, густо насыщенный веселыми нелепостями. Прозаический диалог уморительно писал Андреев и сам хохотал, как дитя, над выдумками своими.

Никогда, ни ранее, ни после, я не видал его настроенным до такой высокой степени активно, таким необычно трудоспособным. Он как будто отрешился от своей неприязни к процессу писания и мог сидеть за столом день и ночь, полуодетый, растрепанный, веселый. Его фантазия разгорелась удивительно ярко и плодотворно,— почти каждый день он сообщал план новой повести или рассказа.

— Вот когда наконец я взял себя в руки! — говорил он, торжествуя.

И расспрашивал о знаменитом пирате Барбароссе, о Томазо Аниелло, о контрабандистах, карбонариях, о жизни калабрийских пастухов.

— Какая масса сюжетов, какое разнообразие жизни! — восхищался он.— Да, эти люди накопили кое-чего для потомства. А у нас: взял я как-то «Жизнь русских царей», читаю — едят! Стал читать «Историю русского народа» — страдают! Бросил,— обидно и скучно.

Но, рассказывая о затеях своих выпукло и красочно, писал он небрежно. В первой редакции рассказа «Иуда» у него оказалось несколько ошибок, которые указывали, что он не позаботился прочитать даже Евангелие. Когда ему говорили, что «герцог Спадаро» для итальянца звучит так же нелепо, как для русского звучало бы «князь Башмачников», а сенбернарских собак в XII веке еще не было,— он сердился:

— Это пустяки.

— Нельзя сказать: «Они пьют вино, как верблюды», не прибавив — воду!

— Ерунда!

Он относился к своему таланту, как плохой ездок к

прекрасному коню,— безжалостно скакал на нем, но не любил, не холил. Рука его не успевала рисовать сложные узоры буйной фантазии, он не заботился о том, чтоб развить силу и ловкость руки. Иногда он и сам понимал, что это является великою помехой нормальному росту его таланта.

— Язык у меня костенеет, я чувствую, что мне всё трудней находить нужные слова...

Он старался гипнотизировать читателя однотонностью фразы, но фраза его теряла убедительность красоты. Окутывая мысль ватой однообразно-темных слов, он добивался того, что слишком обнажал ее, и казалось, что он пишет популярные диалоги на темы философии.

Изредка, чувствуя это, он огорчался:

— Паутина,— липко, но не прочно! Да, нужно читать Флобера; ты, кажется, прав: он действительно потомок одного из тех гениальных каменщиков, которые строили неразрушимые храмы средневековья!

На Капри Леониду сообщили эпизод, которым он воспользовался для рассказа «Тьма». Героем эпизода этого был мой знакомый, эсер. В действительности эпизод был очень прост: девица «дома терпимости», чутьем угадав в своем «госте» затравленного сыщиками, насильно загнанного к ней революционера, отнеслась к нему с нежной заботливостью матери и тактом женщины, которой вполне доступно чувство уважения к герою. А герой, человек душевно неуклюжий, книжный, ответил на движение сердца женщины проповедью морали, напомнив ей о том, что она хотела забыть в этот час. Оскорбленная этим, она ударила его по щеке,— пощечина вполне заслуженная, на мой взгляд. Тогда, поняв всю грубость своей ошибки, он извинился пред нею и поцеловал руку ее,— мне кажется, последнего он мог бы и не делать. Вот и всё.

Иногда, к сожалению, очень редко, действительность бывает правдивее и краше даже очень талантливого рассказа о ней.

Так было и в этом случае, но Леонид неузнаваемо исказил и смысл и форму события. В действительном

публичном доме не было ни мучительного и грязного издевательства над человеком и ни одной из тех жутких деталей, которыми Андреев обильно уснастил свой рассказ.

На меня это искажение подействовало очень тяжко: Леонид как будто отменил, уничтожил праздник, которого я долго и жадно ожидал. Я слишком хорошо знаю людей, для того чтоб не ценить — очень высоко — малейшее проявление доброго, честного чувства. Конечно, я не мог не указать Андрееву на смысл его поступка, который для меня был равносилен убийству из каприза — злого каприза. Он напомнил мне о свободе художника, но это не изменило моего отношения,— я и до сего дня еще не убежден в том, что столь редкие проявления идеально человеческих чувств могут произвольно искажаться художником в угоду догмы, излюбленной им.

Мы долго беседовали на эту тему, и хотя беседа носила вполне миролюбивый, дружеский характер, но всё же с этого момента между мною и Андреевым что-то порвалось.

Конец этой беседы очень памятен мне.

— Чего ты хочешь? — спросил я Леонида.

— Не знаю,— ответил он, пожав плечами, и закрыл глаза.

— Но ведь есть же у тебя какое-то желание,— оно или всегда впереди других, или возникает более часто, чем все другие?

— Не знаю,— повторил он.— Кажется, нет ничего подобного. Впрочем, иногда я чувствую, что для меня необходима слава,— много славы, столько, сколько может дать весь мир. Тогда я концентрирую ее в себе, сжимаю до возможных пределов, и когда она получит силу взрывчатого вещества,— я взрываюсь, освещая мир каким-то новым светом. И после того люди начнут жить новым разумом. Видишь ли — необходим новый разум, не этот лживый мошенник! Он берет у меня всё лучшее плоти моей, все мои чувства и, обещая отдать с процентами, не отдает ничего, говоря: завтра! Эволюция,— говорит он. А когда терпение мое истощается, жажда жизни душит меня,— революция,— говорит он.

И обманывает грязно. И я умираю, ничего не получив.

— Тебе нужна вера, а не разум.

— Может быть. Но если так, то прежде всего — вера в себя.

Он возбужденно бегал по комнате, потом, присев на стол, размахивая рукою пред лицом моим, продолжал:

— Я знаю, что бог и дьявол только символы, но мне кажется, что вся жизнь людей, весь ее смысл в том, чтобы бесконечно, беспредельно расширять эти символы, питая их кровью и плотью мира. А вложив все до конца силы свои в эти две противоположности, человечество исчезнет, они же станут плотскими реальностями и останутся жить в пустоте вселенной глаз на глаз друг с другом, непобедимые, бессмертные. В этом нет смысла? Но его нигде, ни в чем нет.

Он побледнел, у него дрожали губы, в глазах сухо блестел ужас.

Потом он добавил вполголоса, бессильно:

— Представим себе дьявола—женщиной, бога—мужчиной, и они родят новое существо,— такое же, конечно, двойственное, как мы с тобой. Такое же...

Уехал он с Капри неожиданно; еще за день перед отъездом говорил о том, что скоро сядет за стол и месяца три будет писать, но в тот же день вечером сказал мне:

— А знаешь, я решил уехать отсюда. Надо все-таки жить в России, а то здесь одолевает какое-то оперное легкомыслие. Водевили писать хочется, водевили с пением. В сущности — здесь не настоящая жизнь, а — опера, здесь гораздо больше поют, чем думают. Ромео, Отелло и прочих в этом роде изобрел Шекспир,— итальянцы не способны к трагедии. Здесь не мог бы родиться ни Байрон, ни Поэ.

— А Леопарди?

— Ну, Леопарди... кто знает его? Это из тех, о ком говорят, но кого не читают.

Уезжая, он говорил мне:

— Это, Алексеюшко, тоже Арзамас,— веселенький Арзамас, не более того.

— А помнишь, как ты восхищался?

— До брака мы все восхищаемся. Ты скоро уедешь отсюда? Уезжай, пора. Ты становишься похожим на монаха...

Живя в Италии, я настроился очень тревожно по отношению к России. Начиная с 11-го года вокруг меня уверенно говорили о неизбежности общеевропейской войны и о том, что эта война, наверное, будет роковой для русских. Тревожное настроение мое особенно усугублялось фактами, которые определенно указывали, что в духовном мире великого русского народа есть что-то болезненно-темное. Читая изданную Вольно-Экономическим обществом книгу об аграрных беспорядках великорусских губерний, я видел, что эти беспорядки носили особенно жестокий и бессмысленный характер. Изучая по отчетам московской судебной палаты характер преступлений населения московского судебного округа, я был поражен направлением преступной воли, выразившимся в обилии преступлений против личности, а также в насилии над женщинами и растлении малолетних. А раньше этого меня неприятно поразил тот факт, что во Второй государственной думе было очень значительное количество священников — людей наиболее чистой русской крови, но эти люди не дали ни одного таланта, ни одного крупного государственного деятеля. И было еще много такого, что утверждало мое тревожно-скептическое отношение к судьбе великорусского племени.

По приезде в Финляндию я встретился с Андреевым и, беседуя с ним, рассказал ему мои невеселые думы. Он горячо и даже как будто с обидою возражал мне, но возражения его показались мне неубедительными — фактов у него не было.

Но вдруг он, понизив голос, прищурив глаза, как бы напряженно всматриваясь в будущее, заговорил о русском народе словами необычными для него — отрывисто, бессвязно и с великой, несомненно искренней, убежденностью.

Я не могу,— да если б и мог, не хотел бы воспроизвести его речь; сила ее заключалась не в логике, не в красоте, а в чувстве мучительного сострадания к народу,

в чувстве, на которое — в такой силе, в таких формах его — я не считал Л. Н. способным.

Он весь дрожал в первном напряжении и, всхлипывая, как женщина, почти рыдая, кричал мне:

— Ты называешь русскую литературу — областной, потому что большинство крупных русских писателей — люди московской области? Хорошо, пусть будет так, но все-таки это — мировая литература, это самое серьезное и могучее творчество Европы. Достаточно гения одного Достоевского, чтоб оправдать даже и бессмысленную, даже насквозь преступную жизнь миллионов людей. И пусть народ духовно болен — будем лечить его и вспомним, что — как сказано кем-то: «Лишь в больной раковине растет жемчужина».

— А красота зверя? — спросил я.

— А красота терпения человеческого, кротости и любви? — возразил он. И продолжал говорить о народе, о литературе всё более пламенно и страстно.

Впервые говорил он так страстно, так лирически, раньше я слышал столь сильные выражения его любви только к талантам, родственным ему по духу,— к Эдгару Поэ чаще других.

Вскоре после нашей беседы разразилась эта гнусная война,— отношение к ней еще более разъединило меня с Андреевым.

Лишь в 15-м году, когда из армии хлынула гнуснейшая волна антисемитизма и Леонид, вместе с другими писателями, стал бороться против распространения этой заразы, мы однажды поговорили. Усталый, настроенный дурно, он ходил по комнате, засунув одну руку за пояс брюк, другою размахивая в воздухе. Темные его глаза были угрюмы. Он спросил:

— Можешь ты сказать откровенно,— что заставляет тебя тратить время на бесплодную борьбу с юдофобами?

Я ответил, что еврей вообще симпатичен мне, а симпатия — явление «биохимическое» и объяснению не поддается.

— А все-таки?

— Еврей — суть человек верующий, вера его, по преимуществу, качество, я люблю верующих, люблю фанатиков всюду — в науке, искусстве, политике. Хотя

знаю: фанатизм — нечто паркотическое, но наркотики— не действуют на меня. Прибавь к этому стыд русского за то, что в его доме — на родине его — непрерывно творится позорное и гнусное в отношении к еврею.

Леонид тяжело привалился на диван, говоря:

— Ты человек крайностей, и они тоже,— вот в чем дело! Кто-то сказал: «Хороший еврей — Христос, плохой — Иуда». Но я не люблю Христа,— Достоевский прав: Христос был великий путаник...

— Достоевский не утверждал этого, это — Ницше...

— Ну, Ницше. Хотя должен был утверждать именно Достоевский. Мне кто-то доказывал, что Достоевский тайно ненавидел Христа. Я тоже не люблю Христа и христианство, оптимизм — противная, насквозь фальшивая выдумка...

— Разве христианство кажется тебе оптимистичным?

— Конечно,— царствие небесное и прочая чепуха. Я думаю, что Иуда был не еврей,— грек, эллин. Он, брат, умный и дерзкий человек, Иуда. Ты когда-нибудь думал о разнообразии мотивов предательства? Они — бесконечно разнообразны. У Азефа была своя философия,— глупо думать, что он предавал только ради заработка. Знаешь,— если б Иуда был убежден, что в лице Христа пред ним сам Иегова,— он все-таки предал бы его. Убить бога, унизить его позорной смертью — это, брат, не пустячок!

Он долго говорил на Геростратову тему и,— как всегда, когда он сталкивался с такими мыслями,— говорил интересно, возбужденно, подхлестывая фантазию свою острейшими парадоксами. В такие минуты его грубовато красивое, но холодное лицо становится тоньше, одухотворенней, и темные глаза, в которых у него нескрываемо блестит страх пред чем-то,— в такие минуты горят дерзко, красиво и гордо.

Потом он вернулся к началу беседы:

— Но все-таки о евреях ты что-то выдумываешь, тут у тебя — литература! Я — не люблю их, они меня стесняют. Я чувствую себя обязанным говорить им комплименты, относиться к ним с осторожностью. Это возбуждает у меня охоту рассказывать им веселые еврейские анекдоты, в которых всегда лестно и хвастливо подчерк-

нуто остроумие евреев. Но — я не умею рассказывать анекдоты, и мне всегда трудно с евреями. Они считают и меня виновным в несчастиях их жизни,— как же я могу чувствовать себя равным еврею, если я для него— преступник, гонитель, погромщик?

— Тогда ты напрасно вступил в это общество,— зачем же насиловать себя?

— А — стыд? Ты же сам говоришь — стыд. И — наконец — русский писатель обязан быть либералом, социалистом, революционером — чёрт знает чем еще! И — всего меньше — самим собою.

Усмехаясь, он добавил:

— По этому пути шел мой хороший приятель Горький, и — от него осталось почтенное, но — пустое место. Не сердись.

— Продолжай.

Он налил себе крепкого чая и — с явной целью задеть меня — стал грубо отрицать превосходный, суровый талант Ивана Бунина,— не любит он его. Но вдруг, скучным голосом сказал:

— А женился я на еврейке!

В 16-м году, когда привез мне книги свои, оба снова и глубоко почувствовали, как много было пережито нами и какие мы старые товарищи. Но мы могли, не споря, говорить только о прошлом, настоящее же воздвигало между нами высокую стену непримиримых разноречий.

Я не нарушу правды, если скажу, что для меня стена эта была прозрачна и проницаема — я видел за нею человека крупного, своеобразного, очень близкого мне в течение десяти лет, единственного друга в среде литераторов.

Разногласия умозрений не должны бы влиять на симпатии, я никогда не давал теориям и мнениям решающей роли в моих отношениях к людям.

Л. Н. Андреев чувствовал иначе. Но не я поставлю это в вину ему, ибо он был таков, каким хотел и умел быть — человеком редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно мужественным в своих поисках истины.

О С. А. ТОЛСТОЙ

Прочитав книжку «Уход Толстого», сочиненную господином Чертковым, я подумал: вероятно, найдется человек, который укажет в печати, что прямая и единственная цель этого сочинения — опорочить умершую Софью Андреевну Толстую.

Рецензий, которые обнажили бы эту благочестивую цель, я до сей поры не встретил. Теперь слышу, что скоро выйдет в свет еще одна книжка, написанная с тем же похвальным намерением: убедить грамотных людей мира, что жена Льва Толстого была его злым демоном, а подлинное имя ее — Ксантиппа. Очевидно: утверждение этой «правды» считается крайне важным и совершенно необходимым для людей, особенно же — я думаю — для тех, которые духовно и телесно питаются скандалами.

Нижегородский портной Гамиров говаривал:

— Можно сшить костюм для украшения человека, можно и для искажения.

Правду, украшающую человека, создают художники, все же остальные жильцы земли наскоро, хотя и ловко, шьют «правды» для искажения друг друга. И, кажется, мы так неутомимо «пеняем» друг на друга потому, что человек человеку — зеркало.

Меня никогда не прельщало исследование ценности тех «правд», которые, по древнему русскому обычаю, пишутся дегтем на воротах, но мне хочется сказать несколько слов о единственной подруге великого Льва Толстого, как я вижу и чувствую ее.

Человек, конечно, не становится лучше оттого, что он умер; это ясно хотя бы потому, что о мертвых мы го-

ворим так же скверно и несправедливо, как о живых. О крупных людях, которые, посвятив нам всю жизнь, все силы чудеса творящего духа своего, легли наконец в могилу, искусно замученные нашей пошлостью,— об этих людях мы говорим и пишем, кажется, всегда только для того, чтоб убедить самих себя: люди эти были такими же несчастными грешниками, каковы мы сами.

Преступление честного человека, хотя бы случайное и ничтожное, радует нас гораздо больше, чем бескорыстный и даже героический поступок подлеца, ибо: первый случай нам удобно и приятно рассматривать как необходимый закон, второй же тревожно волнует нас, как чудо, опасно нарушающее наше привычное отношение к человеку.

И всегда в первом случае мы скрываем радость под лицемерным сожалением, во втором же, лицемерно радуясь, тайно боимся: а вдруг подлецы, чёрт их возьми, сделаются честными людьми,— что же тогда с нами будет?

Ведь, как справедливо сказано, в большинстве своем люди «к добру и злу постыдно равнодушны», они и хотят пребыть таковыми до конца своей жизни; поэтому и добро и зло, в сущности, одинаково враждебно тревожит нас, и чем они ярче, тем более тревожат.

Эта прискорбная тревога нищих духом наблюдается и в нашем отношении к женщине. В литературе, в жизни мы хвастливо кричим:

«Русская женщина — вот лучшая женщина мира!»

Крик этот напоминает мне голос уличного торговца раками:

«Вот — р-раки! Живые р-раки! Крупные р-раки!»

Раков опускают живыми в кипяток и, добавив туда соли, перца, лаврового листа, варят раков до поры, пока они не покраснеют. В этом процессе есть сходство по существу с нашим отношением к «лучшей» женщине Европы.

Признав русскую женщину «лучшей», мы как будто испугались: а что, если она, в самом деле, окажется лучше нас? И при всяком удобном случае мы купаем наших женщин в кипятке жирной пошлости, не забывая, впрочем, сдобрить бульон двумя, тремя листиками

лавра. Заметно, что чем более значительна женщина, тем более настойчиво хочется нам заставить ее покраснеть.

Черти в аду мучительно завидуют, наблюдая иезуитскую ловкость, с которой люди умеют порочить друг друга.

Человек не становится ни хуже, ни лучше даже и после смерти своей, но — он перестает мешать нам жить, и, не чуждые — в этом случае — чувства благодарности, мы награждаем умершего немедленным забвением о нем, бесспорно — приятным ему. Я думаю, что вообще и всегда забвение — самое лучшее, что мы можем дать живому и мертвому из ряда тех людей, которые совершенно напрасно беспокоят нас своим стремлением сделать людей — лучше, жизнь — гуманнее.

Но и этот хороший обычай забвения умерших нередко нарушается нашей мелкой злобой, нищенской жаждой мести и лицемерием нашей морали, как о том свидетельствует, например, отношение к покойной Софье Андреевне Толстой.

Полагаю, что я могу говорить о ней совершенно беспристрастно, потому что она мне очень не нравилась, а я не пользовался ее симпатиями, чего она, человек прямодушный, не скрывала от меня. Ее отношение ко мне нередко принимало характер даже обидный, но — не обижало, ибо я хорошо видел, что она рассматривает большинство людей, окружавших ее великомученика мужа, как мух, комаров, вообще — как паразитов.

Возможно, что ревность ее к чужим людям иногда огорчала Льва Толстого. Здесь для остроумных людей является удобный случай вспомнить басню «Пустынник и Медведь». Но будет еще более уместно и умно, если они представят себе, как велика и густа была туча мух, окружавших великого писателя, и как надоедливы были некоторые из паразитов, кормившихся от духа его. Каждая муха стремилась оставить след свой в жизни и в памяти Толстого, и среди них были столь назойливые, что вызвали бы ненависть даже в любвеобильном Франциске Ассизском. Тем более естественно было враж-

дебное отношение к ним Софьи Андреевны, человека страстного. Сам же Лев Толстой, как все великие художники, относился к людям очень снисходительно; у него были свои, оригинальные оценки, часто совершенно не совпадавшие с установленной моралью; в «Дневнике» 52 г. он записал об одном знакомом своем:

«Если б у него не было страсти к собакам, он был бы отъявленный мерзавец».

Уже в конце 80-х годов его жена могла убедиться, что близость ко Льву Толстому некоторых из стада поклонников и «учеников» приносит ему только неприятности и огорчения. Ей, разумеется, известны были скандальные и тяжелые драмы в «толстовских» колониях, такие, как, например, драма Симбирской колонии Архангельского, кончившаяся самоубийством крестьянской девицы и вскоре после того изображенная в нашумевшем рассказе Каронина «Борская колония».

Она знала скверненькие публичные «обличения лицемерия графа Толстого», авторами которых являлись такие раскаявшиеся «толстовцы», как, например, Ильин, сочинитель истерически злой книжки «Дневник толстовца», она читала статьи бывшего ученика Льва Толстого и организатора колонии Новоселова,— он печатал статьи эти в «Православном обозрении», журнале «воинствующей церкви», ортодоксальном, как полицейский участок.

Ей, наверное, известна была лекция о Толстом профессора Казанской духовной академии Гусева, одного из наиболее назойливых обличителей «ереси самовлюбленного графа»; в лекции этой профессор, между прочим, заявил, что он пользовался сведениями о домашней жизни «яснополянского лжемудреца» от людей, увлекавшихся его сумбурной ересью.

Среди таких «увлеченных» проповедью мужа ее она видела Меньшикова, который, насытив свою книгу «О любви» идеями Толстого, быстро превратился в мрачного изувера и начал сотрудничать в «Новом времени» как один из наиболее видных человеконенавистников, шумно и талантливо работавших в этой распутной газете.

Много видела она таких людей и в их числе самородка-поэта Булгакова, обласканного ее мужем; Лев Толстой печатал его бездарные стихи в «Русской мысли», а малограмотный, больной и болезненно самолюбивый стихотворец, в благодарность за это, сочинил грязную статейку «У Толстого. Открытое письмо ему». Статейка была написана так грубо, лживо и малограмотно, что, кажется, нигде не решились напечатать ее; даже в редакции «Московских ведомостей» написали на рукописи: «Не будет напечатано вследствие крайней грубости». Эту рукопись вместе с надписью Булгаков послал Толстому — и при письме, в котором требовал, чтоб Толстой опубликовал «правду о себе».

Вероятно, не дешево стоила Софье Андреевне история известного «толстовца» Буланже, и, конечно, всем этим не исчерпывается всё то грубое, лицемерное, своекорыстное, что видела она от людей, якобы «единомыслящих» со Львом Толстым.

Отсюда вполне понятно ее острое недоверие к поклонникам и ученикам мужа, этими фактами вполне оправдывается ее стремление отпугнуть паразитов от человека, величие творчества, напряженность духовной жизни которого она прекрасно видела и понимала. И несомненно, что благодаря ей Лев Толстой не испытал многих ударов ослиных копыт, много грязи и бешеной слюны не коснулось его.

Напомню, что в 80-х годах почти каждый грамотный бездельник считал делом чести своей обличение религиозных, философских, социальных и прочих заблуждений мирового гения. Эти обличения доходили — по-видимому — и до людей «простого сердца»,— бессмертна милая старушка, которая подкладывала хворост в костер Яна Гуса.

Я, как сейчас, вижу казанского кондитера Маломеркова у котла, в котором варился сироп для карамели, и слышу задумчивые слова делателя конфект и пирожных:

«Вот бы ехидну Толстого прокипятить, еретика...»

Царицынский парикмахер написал сочинение, озаглавленное — если не ошибаюсь — «Граф Толстой и

святые пророки». Один из местных священников размашисто начертал на первом листе рукописи ярко-лиловыми чернилами:

«Всемерно одобряю сей труд, кроме грубости выражений гнева, впрочем справедливого».

Мой товарищ, телеграфист Юрин, умный горбун, выпросил у автора рукопись, мы читали ее, и я был ошеломлен дикой злобой цирюльника против автора «Поликушки», «Казаков», «В чем моя вера» и, кажется, «Сказки о трех братьях» — произведений, незадолго перед этим впервые прочитанных мною.

По донским станицам, по станциям Грязе-Царицынской и Волго-Донской дорог ходил хромой старик, казак из Лога, он рассказывал, что «под Москвой граф Толстой бунт против веры и царя поднимает», отнял землю у каких-то крестьян и отдал ее «почтальонам из господ, родственникам своим».

Отзвуки этой темной сумятицы чувств и умов, вызванной громким голосом мятежной совести гения, наверное, достигали Ясной Поляны, и, конечно, восьмидесятые годы были не только поэтому наиболее трудными в жизни Софии Андреевны. Ее роль в ту пору я вижу героической ролью. Она должна была иметь много душевной силы и зоркости для того, чтоб скрыть от Льва Толстого много злого и пошлого, многое, что ему — да и никому — не нужно знать и что могло повлиять на его отношение к людям.

Клевету и зло всего проще убить — молчанием.

Если мы беспристрастно посмотрим на жизнь учителей, мы увидим, что не только они — как принято думать — портят учеников, но и ученики искажают характер учителя, один — своей тупостью, другие — озорством, третьи — карикатурным усвоением учения. Лев Толстой не всегда вполне равнодушно относился к оценкам его жизни и работы.

Наконец — жена его, вероятно, не забывала, что Толстой живет в стране, где всё возможно и где правительство без суда сажает людей в тюрьмы и держит их там по двадцать лет. «Еретик» священник Золотницкий даже тридцать лет просидел в тюрьме Суз-

дальского монастыря, его выпустили на волю лишь тогда, когда разум его совершенно угас.

Художник не ищет истины, он создает ее.

Не думаю, чтобы Льва Толстого удовлетворяла та истина, которую он проповедовал людям. В нем противоречиво и, должно быть, очень мучительно совмещались два основных типа разума: созидающий разум творца и скептический разум исследователя. Автор «Войны и мира» придумал и предлагал людям свое вероучение, может быть, только для того, чтоб они не мешали его напряженной и требовательной работе художника. Весьма допустимо, что гениальный художник Толстой смотрел на упрямого проповедника Толстого, снисходительно улыбаясь, насмешливо покачивая головою. В «Дневнике юности» Толстого есть прямые указания на его резко враждебное отношение к мысли аналитической; так, например, в 52 г. III, 22, он записал:

«Мыслей особенно много может вмещаться в одно и то же время, особенно в пустой голове».

Видимо, уже тогда «мысли» мешали основной потребности его сердца и духа — потребности художественного творчества. Лишь тем, что он мучительно испытывал мятеж «мыслей» против его бессознательного тяготения к искусству,— только этим борением двух начал в духе его можно объяснить, почему он сказал:

«...сознание есть величайшее зло, которое только может постичь человека».

В одном из писем к Арсеньевой он сказал:

«Ум, слишком большой, противен».

Но «мысли» одолели его, принудив собирать и связывать их в некое подобие философской системы. Он тридцать лет пытался сделать это, и мы видели, как великий художник дошел до отрицания искусства, неоспоримо основного стержня своей души.

В последние дни своей жизни он писал, что:

«Живо почувствовал грех и соблазн писательства,— почувствовал его на других и перенес основательно на себя».

В истории человечества нет другого, столь печального случая; по крайней мере я не помню ни одного из великих художников мира, который пришел бы к убеждению, что искусство,— самое прекрасное из всего, достигнутого человеком,— есть грех.

Кратко говоря: Лев Толстой был самым сложным человеком среди всех крупнейших людей XIX столетия. Роль единственного интимного друга, жены, матери многочисленных детей и хозяйки дома Льва Толстого,— роль неоспоримо очень тяжелая и ответственная. Возможно ли отрицать, что София Толстая лучше и глубже, чем кто-либо иной, видела и чувствовала, как душно, тесно гению жить в атмосфере обыденного, сталкиваться с пустыми людями? Но в то же время она видела и понимала, что великий художник поистине велик, когда тайно и чудесно творит дело духа своего, а играя в преферанс и проигрывая, он сердится, как обыкновенный смертный, и даже порою неосновательно сердится, приписывая свои ошибки другому, как это делают простые люди и как, вероятно, делала сама она.

Не одна только София Толстая плохо понимала, зачем гениальному романисту необходимо пахать землю, класть печи, тачать сапоги,— этого не понимали многие, весьма крупные современники Толстого. Но они только удивлялись необычному, тогда как Софья Толстая должна была испытывать иные чувства. Вероятно, она вспоминала, что один из русских теоретиков «нигилизма»,— между прочим, автор интересного исследования о Аполлонии Тианском,— провозгласил:

«Сапоги — выше Шекспира».

Конечно, София Толстая неизмеримо более, чем кто-либо иной, была огорчена неожиданной солидарностью автора «Войны и мира» с идеями «нигилизма».

Жить с писателем, который по семи раз читает корректуру своей книги и каждый раз почти наново пишет ее, мучительно волнуясь и волнуя; жить с творцом, который создает огромный мир, не существовав-

ший до него,— можем ли мы понять и оценить все тревоги столь исключительной жизни?

Нам неведомо, что и как говорила жена Льва Толстого в те часы, когда он, глаз на глаз с нею, ей первой читал только что написанные главы книги. Не забывая о чудовищной проницательности гения, я всё же думаю, что некоторые черты в образах женщин его грандиозного романа знакомы только женщине и ею подсказаны романисту.

Очевидно, для того, чтоб как можно более усложнить путаницу жизни, мы все рождаемся учителями друг друга. Я не встречал человека, которому было бы совершенно чуждо назойливое желание учить ближних. И хотя мне говорили, что порок этот необходим для целей социальной эволюции, я все-таки остаюсь при убеждении, что социальная эволюция значительно выиграла бы в быстроте и гуманности, а люди стали бы более оригинальны, если б они меньше учили и больше учились.

Головные «мысли», насилуя великое сердце художника Льва Толстого, принудили его в конце концов взять на себя тяжкую и неблагодарную роль «учителя жизни». Неоднократно указывалось, что «учительство» искажало работу художника. Я думаю, что в грандиозном историческом романе Толстого было бы больше «философии» и меньше гармонии, если б в нем не чувствовалось влияния женщины. И, может быть, именно по настоянию женщины философическая часть «Войны и мира» выделена и отодвинута в конец книги, где она ничему и никому не мешает.

К числу заслуг женщины пред нами следует отнести и тот факт, что она не любит философии, хотя и рожает философов. Было бы еще лучше, если б женщины рожали только художников. В искусстве вполне достаточно философии. Художник, умея одевать нагие мысли в прекрасные образы, чудесно скрывает печальное бессилие философии пред лицом темных загадок жизни. Горькие пилюли детям всегда дают в красивых коробочках,— это очень умно и очень милостиво.

Саваоф создал мир так скверно, потому что был холост. Это не только шутка атеиста, в этих словах выражена непоколебимая уверенность в значении женщины как возбудителя творчества и гармонизатора жизни. Избитая легенда о «грехопадении» Адама никогда не потеряет своего глубокого смысла: мир обязан всем счастьем своим жадному любопытству женщины. Несчастиями мир обязан коллективной глупости всех людей, в том числе и глупости женщин.

«Любовь и голод правят миром» — это самый правдивый и уместный эпиграф к бесконечной истории страданий человека. Но там, где правит любовь, мы, недавние звери, имеем культуру,— искусство и всё великое, чем справедливо гордимся. Там же, где возбудителем деяний наших является голод, мы получаем цивилизацию и все несчастия, сопряженные с нею, все тяготы и ограничения, впрочем — необходимые недавним зверям. Самый страшный вид тупоумия — жадность, свойство зоологическое. Будь люди менее жадны, они были бы более сыты, более умны. Это не парадокс; ведь ясно: если б мы научились делиться излишками, которые только отягощают нашу жизнь,— мир был бы счастливее, люди — благообразней. Но только одни люди искусства и науки отдают миру все сокровища своего духа, и, как все, питая, после смерти, червей, они еще при жизни служат пищей критиков и моралистов, которые растут на коже их, как паразитивные лишаи на коре плодовых деревьев.

Роль змея в раю играл Эрос, неукротимая сила, которой Лев Толстой подчинялся охотно и служил усердно. Я не забыл, кем написана «Крейцерова соната», но я помню, как нижегородский купец А. П. Большаков, семидесяти двух лет от роду, наблюдая из окна дома своего гимназисток, идущих по улице, сказал, вздохнув:

— Эх, зря состарился рано я! Вот — барышни, а мне они не нужны, только злость и зависть будят.

Я уверен, что не потемню яркий образ великого писателя, сказав: в «Крейцеровой сонате» чувствуется вот эта, вполне естественная и законная большаковская злость. Да и сам Лев Толстой жаловался на

бесстыдную иронию природы, которая, истощив силу, оставляет желание.

Говоря о жене его, следовало бы помнить, что при всей страстности натуры художника София Андреевна была единственной его женщиной на протяжении почти полувека. Она была его интимным, верным и, кажется, единственным другом. Хотя, по щедрости богатого духом, Лев Толстой называл друзьями многих людей, но ведь это были только единомышленники его. И, согласитесь, трудно представить человека, который поистине годился бы в друзья Толстому.

Уже один этот факт неизменности и длительности единения с Толстым дает Софии Андреевне право на уважение всех истинных и ложных почитателей работы и памяти гения; уже только поэтому господа исследователи «семейной драмы» Толстого должны бы сдержать свое злоязычие, узко личные чувства обиды и мести, их «психологические розыски», несколько напоминающие грязненькую работу полицейских сыщиков, их бесцеремонное и даже циническое стремление приобщиться хоть кожей пальцев к жизни величайшего писателя.

Вспоминая о счастливых днях и великой чести моего знакомства со Львом Толстым, я нарочито умолчал о Софии Андреевне. Она не нравилась мне. Я подметил в ней ревнивое, всегда туго и, пожалуй, болезненно натянутое желание подчеркнуть свою неоспоримо огромную роль в жизни мужа. Она несколько напоминала мне человека, который, показывая в ярмарочном балагане старого льва, сначала стращает публику силою зверя, а потом демонстрирует, что именно он, укротитель,— тот самый, единственный на земле человек, которого лев слушается и любит. На мой взгляд, такие демонстрации были совершенно излишни для Софьи Толстой, порою — комичны и даже несколько унижали ее. Ей не следовало подчеркивать себя еще и потому, что около Толстого не было в те дни никого, кто был бы способен померяться с его женою умом и энергией. Ныне, видя и зная отношение к ней со стороны различных Чертковых, я нахо-

жу, что и мотивы ревности к чужим людям, и явное стремление встать впереди мужа, и еще кое-что неприятное в ней — всё это вызвано и оправдано отношением к жене Толстого и при жизни и после смерти его.

Я наблюдал Софию Андреевну в течение нескольких месяцев в Гаспре, в Крыму, когда Толстой был настолько опасно болен, что, ожидая его смерти, правительство уже прислало из Симферополя прокурора, и чиновник сидел в Ялте, готовясь, как говорили, конфисковать бумаги писателя. Имение графини С. Паниной, где жили Толстые, было окружено шпионами, они шлялись по парку, и Леопольд Сулержицкий выгонял их, как свиней из огорода. Часть рукописей Толстого Сулержицкий уже тайно перевез в Ялту и спрятал там.

Если не ошибаюсь, в Гаспре собралась вся семья Толстого: дети, зятья, снохи; мое впечатление: там было очень много беспомощных и больных людей. Я мог хорошо видеть, в каком вихре ядовитейших «мелочей жизни» кружилась Толстая-мать, пытаясь охранить покой больного, его рукописи, устроить удобнее детей, отстранить шумную назойливость «искренно сочувствующих» посетителей, профессиональных зрителей и всех накормить, напоить. Нужно было также примирять взаимную ревность врачей,— каждый из них был уверен, что именно ему одному принадлежит великая заслуга исцеления больного.

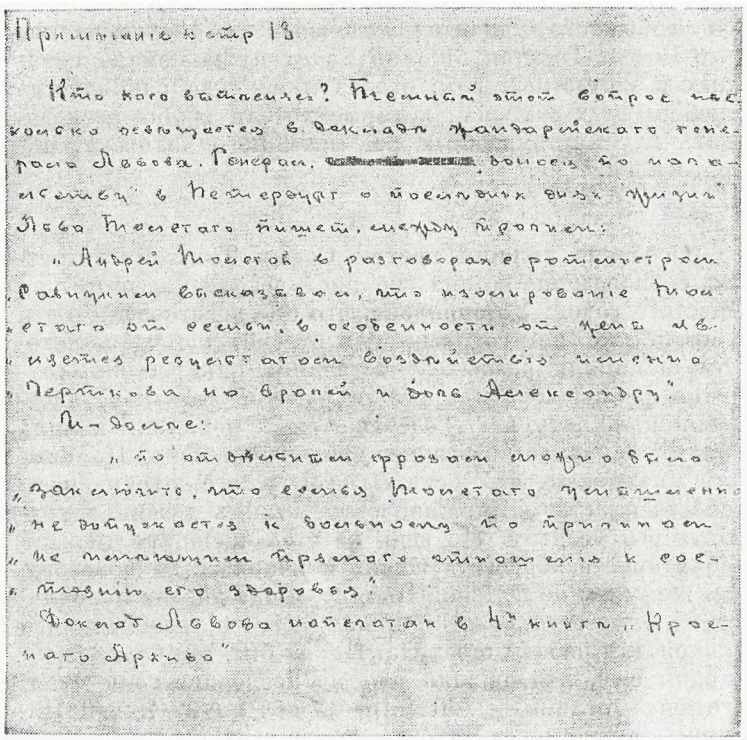
Не преувеличивая, можно сказать, что в эти тяжелые дни,— как, впрочем, всегда во дни несчастий,— ветер злой пошлости намел в дом огромное количество всякого сора: мелких неприятностей, тревожных пустяков. Лев Толстой не был так богат, как об этом принято думать, он был литератор, живший на литературный заработок свой с кучей детей, хотя и очень взрослых, но не умевших работать. В этом вихре ослепляющей житейской пыли Софья Андреевна носилась с утра до вечера, нервно оскалив зубы, зорко прищурив умные глаза, изумляя своей неутомимостью, уменьем всюду поспеть вовремя, всех успокоить, прекратить комариное нытье маленьких людей, взаимно недовольных друг другом.

Испуганно ходила анемичная жена Андрея Толстого: беременная, она оступилась, ожидали выкидыша. Задыхался и хрипел муж Татьяны Толстой,— у него было больное сердце. Уныло и безуспешно искал партнеров для преферанса Сергей Толстой, человек лет сорока, скромный и бесцветный. Он, впрочем, пробовал сочинять музыку и однажды играл у меня пианисту А. Гольденвейзеру романс на слова Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?» Не помню, как оценил эту музыку Гольденвейзер, но доктор А. Н. Алексин, человек музыкально образованный, нашел в творчестве Сергея Толстого несомненное влияние французских шансонеток.

У меня, повторяю, сложилось странное, хотя, может быть, неверное впечатление: все члены огромной семьи Толстого были нездоровы, все они были мало приятны друг другу, и всем было скучно. Впрочем, кажется, Александра Толстая заболела дизентерией уже тогда, когда отец ее выздоравливал. Все требовали внимания и забот Софьи Толстой, многое могло неприятно и опасно встревожить великого художника, который спокойно собирался отломиться от жизни.

Помню, как С. Толстая заботилась, чтоб в руки мужа ее не попал номер «Нового времени», в котором был напечатан рассказ Льва Толстого-сына или критический фельетон о нем В. П. Буренина. Это легко смешать; дело в том, что Толстой-сын печатал некоторые рассказы свои в той же газете, где злой фельетонист Буренин грубо высмеивал его, именуя «Тигр Тигрович Соскин-Младенцев», и даже указывал адрес неудачливого писателя: «У Спаса на Болвановке, Желтый дом».

Лев Толстой-сын был весьма озабочен тем, чтоб его не заподозрили в подражании великому отцу, и, видимо, с этой целью напечатал в неряшливом журнале Ясинского «Ежемесячные сочинения» «антитолстовский» роман о пользе висмута и вреде мышьяка. Это — не шутка, таково было задание романа. И в этом же журнале Ясинский поместил неприличную рецензию на «Воскресение» Толстого-отца, причем рецензент разрешил себе говорить и о тех главах романа, кото-



«О С. А. ТОЛСТОЙ».
Примечание к машинописному тексту, автограф.

рые не были пропущены цензурой в русском издании и явились только в берлинском, появившемся ранее русского. Софья Андреевна справедливо оценивала эту рецензию как донос.

Я говорю обо всем этом не очень охотно и лишь потому, что нахожу нужным еще раз указать, насколько исключительно сложны были условия, среди которых жила Софья Толстая, как много ума и такта требовали они. Как все великие люди, Лев Толстой жил на большой дороге, и каждый, проходящий мимо, считал законным правом своим так или иначе коснуть-

ся необычного, удивительного человека. Нет сомнения, что Софья Толстая оттолкнула от мужа немало грязных и корыстных рук, отвела множество равнодушно любопытных пальцев, которые хотели грубо исследовать глубину душевных ран мятежного человека, дорогого ей.

Особенно тяжким грехом Софии Толстой считается ее поведение во дни аграрной революции пятого — шестого годов. Установлено, что она действовала в эти дни так же, как сотни других русских помещиц, которые нанимали разных воинственных дикарей для «охраны разрушаемой дикарями русской сельскохозяйственной культуры». Толстая тоже, кажется, наняла каких-то кавказских горцев для защиты Ясной Поляны.

Указывают, что жена Льва Толстого, отрицавшего собственность, не должна была мешать мужикам грабить его усадьбу. Но ведь на этой женщине лежала обязанность оберегать жизнь и покой Льва Толстого, он жил именно в Ясной Поляне, и она давала наибольшее количество условий привычного и необходимого покоя для работы его духа. Покой был тем более необходим ему, что он жил уже на последние силы свои, готовый отломиться от мира. Ушел он из Ясной Поляны только через пять лет после этих дней.

Проницательные люди могут вообразить, что здесь скрыт грубый намек: Лев Толстой, революционер, анархист, должен был уйти или лучше бы сделал, если б ушел из усадьбы именно тогда, во время революции. Разумеется, такого намека здесь нет, то, что я хочу сказать, я говорю открыто.

По моему мнению, Льву Николаевичу Толстому вообще и никогда не следовало уходить, а те люди, которые помогали ему в этом, поступили бы более разумно, если б помешали этому. «Уход» Толстого сократил его жизнь, ценную до последней ее минуты,— вот неоспоримый факт.

Пишут, что Толстой был выжит, вытеснен из дома его психически ненормальной женою. Для меня неясно, кто именно из людей, окружавших Льва Толстого

в эти дни, был вполне нормален психически*. И я не понимаю: почему, признав его жену душевно ненормальной, нормальные люди не догадались обратить должное внимание на нее и не могли изолировать ее.

Органически ненавидевший собственность, анархист по натуре, а не по выучке, честнейший Леопольд Сулержицкий не любил Софью Андреевну Толстую. Но — вот как он рисовал себе ее поведение в девятьсот пятом — шестом годах:

«Вероятно, семья Толстого не очень весело смотрела, как мужики растаскивают понемногу имущество Ясной Поляны и рубят березовую рощу, посаженную его руками. Я думаю, что и сам он жалел рощу. Эта общая, может быть и бессловесная, безгласная грусть и жалость вынудила, спровоцировала Софью на поступок, за который — она знала — ей влетит. Не знать, не учесть этого — она не могла, она умная женщина. Но — все грустят, а никто не смеет защищаться. Тогда — рискнула она. Я ее за это уважаю. На днях поеду в Ясную Поляну и скажу ей: уважаю! Хотя и думаю все-таки, что ее молча принудили сделать этот шаг. Но — всё это неважно, был бы цел сам Толстой».

Немножко зная людей, я думаю, что догадка Сулержицкого верна. Никто не посмеет сказать, что Лев Толстой был неискренен, отрицая собственность, но я тоже уверен, что рощу-то ему все-таки было жалко. Она — дело его рук, его личного труда. Тут уж возникает маленькое противоречие древнего инстинкта с разумом, хотя бы искренно враждебным ему.

---

* Кто кого вытеснял? Темный этот вопрос несколько освещается в докладе жандармского генерала Львова. Генерал, «донося по начальству» в Петербург о последних днях жизни Льва Толстого, пишет между прочим: «Андрей Толстой в разговорах с ротмистром Савицким высказывал, что изолирование Толстого от семьи, в особенности от жены, является результатом воздействия именно Черткова на врачей и дочь Александру».

И — далее: «По отдельным фразам можно было заключить, что семья Толстого умышленно не допускается к больному по причинам, не имеющим прямого отношения к состоянию его здоровья».

Доклад Львова напечатан в 4-й книге «Красного архива».

Прибавлю: мы живем в годы широко и смело поставленного опыта уничтожения частной собственности на землю и орудия труда и вот видим, как темный, проклятый инстинкт этот иронически разрастается, крепнет, искажая честных людей, создавая из них преступников.

Лев Толстой — великий человек, и нимало не темнит яркий образ его тот факт, что «человеческое» не было чуждо ему. Но это отнюдь не уравнивает его с нами. Психологически было бы вполне естественно, чтоб великие художники и во грехах своих являлись крупнее обыкновенных грешников. В некоторых случаях мы видим, что так оно и есть.

В конце концов — что же случилось?

Только то, что женщина, прожив пятьдесят трудных лет с великим художником, крайне своеобразным и мятежным человеком, женщина, которая была единственным другом на всем его жизненном пути и деятельной помощницей в работе,— страшно устала, что вполне понятно.

В то же время она, старуха, видя, что колоссальный человек, муж ее, отламывается от мира, почувствовала себя одинокой, никому не нужной, и это возмутило ее.

В состоянии возмущения тем, что чужие люди отталкивают ее прочь с места, которое она полвека занимала, София Толстая, говорят, повела себя недостаточно лойяльно по отношению к частоколу морали, который возведен для ограничения человека людями, плохо выдумавшими себя.

Затем возмущение приняло у нее характер почти безумия.

А затем она, покинутая всеми, одиноко умерла, и после смерти о ней вспомнили для того, чтоб с наслаждением клеветать на нее.

Вот и всё.

II

МИША

Миша был мальчик-непоседа, ему всегда хотелось что-нибудь делать, и, если его не отпускали гулять, он целый день вертелся, как волчок, под ногами взрослых.

Каждому мальчику и девочке хорошо известно, что взрослые — народ, всегда занятый какими-то скучными делами, поэтому они ужасно часто говорят маленьким:

«Не мешайте!»

Мише особенно часто приходилось слышать это слово и от мамы, которая вечно была занята делами, и от папы, который целые дни сидел у себя в кабинете, сочиняя разные книжки, очень большие и, должно быть, скучные,— Мише не давали читать эти книжки.

Мама была очень хорошая, точно куколка, и папа тоже, но он был похож не на куклу, а на индейца.

Вот однажды перед весной, когда погода испортилась, каждый день шел дождь и снег, гулять было нельзя и Миша особенно усердно мешал папе с мамой заниматься делами, папа спросил его:

— Слушай, Миша, тебе очень скучно?

— Как арифметика! — сказал Миша.

— Ну, возьми вот эту тетрадку и записывай в нее всё интересное, что с тобой случится, понимаешь? Это называется: «дневник». Ты будешь вести дневник!

Миша взял тетрадку и спросил:

— А что случится интересное?

— Я же не знаю! — сказал папа, закуривая папироску.

— А почему не знаешь?

— Потому что когда я был маленький, то плохо учился и ко всем приставал с глупыми вопросами, а сам ни о чем не думал,— понял? Ну, иди!

Миша понял, что папа намекает на него и не желает говорить с ним; он хотел обидеться, Миша, да уж очень хорошие глаза были у папы. Он только спросил:

— А кто будет делать интересное?

— Ты сам,— ответил папа.— Уходи, пожалуйста, не мешай!

Миша ушел в свою комнату, разложил тетрадку на столе и, подумав, написал на первой странице:

«Ето дневник.

Папа дал мне хоршую тетрадку. Если я буду писать в нее что хочу, так будет интересное».

Написал, посидел немножко, осмотрел комнату,— всё в ней такое знакомое.

Он встал и отправился к папе. Папа встретил его нелюбезно.

— Ты, брат, опять явился?

— Смотри,— сказал Миша, подавая тетрадку,— вот я уж написал. Так надо?

— Так, так,— торопливо сказал папа.— Только «это» пишется через э, и не «хоршую», а хорошую,—иди!

— А что надо еще писать? — спросил Миша, подумав.

— Всё, что хочешь! Выдумай что-нибудь и пиши... стихи пиши!

— Которые стихи?

— Не которые, а сам сочини! Отстань, приставала!

Папа взял его за руку, вывел за дверь и плотно закрыл ее. Это уж было невежливо, и теперь Миша обиделся. Придя к себе, он снова сел за стол, развернул тетрадь и стал думать: «И чего бы еще написать?» Было скучно. Мама считает белье в столовой; в кухню, где всегда интересно, не велят ходить, а на улице — дождь и туман.

Было утро, четверть десятого, Миша посмотрел на часы и вдруг тихонько усмехнулся, а потом написал:

На стене висят часы,
У них стрелки, как усы.

Он очень обрадовался, что у него вышли стихи; вскочил и побежал в столовую, крича:

— Мам, мам, я стихи сочинил, смотри-ка!

— Девять,— сказала мама, перекладывая салфетки.— Не мешай. Десять, одиннадцать...

Миша обнял ее одной рукой за шею, а другой поднес тетрадку прямо к носу ей.

— Да мама же! Ты посмотри...

— Двенадцать,— о, господи! Ты меня свалишь на пол...

Она все-таки взяла тетрадку, прочитала стихи и огорчила Мишу, сказав:

— Ну, это, наверное, папа тебе подсказал, а во-вторых, «на стене» пишется через ять в обоих случаях.

— И в стихах через ять? — печально спросил Миша.

— Да, да, в стихах,— не мешай мне, пожалуйста; иди, занимайся!

— Чем?

— Ах! Ну, пиши стихи дальше...

— А как надобно дальше?

— Придумай сам. Ну, висят часы, они тикают звучно... и еще что-нибудь, вот и будут стихи.

— Хорошо,— сказал Миша и покорно ушел к себе. Там он написал о часах мамины слова:

Часы тикают звучно,

но дальше ничего не мог придумать, а уж как старался, даже подбородок себе выпачкал чернилами, не только пальцы.

И вдруг,— как будто кто-то подсказал ему,— он придумал четвертую строку:

А мне все-таки скучно!

Это правда: Мише было очень скучно, но когда он написал четвертую строку, то ему от радости даже жарко стало.

Он вскочил и стремглав помчался к папе, но папа — хитрый человек! — запер дверь кабинета. Миша постучал.

— Кто там? — спросил папа из-за двери.

— Открой скорее,— горячо сказал Миша,— это я. Я стихи написал, очень ловко.

— Поздравляю, продолжай,— пробормотал папа.

— Так я хочу прочитать тебе!

— После прочитаешь...

— Я сейчас хочу!

— Мишка, отстань!

Миша наклонился к скважине дверного замка и прочитал стихи, но вышло так, как будто он в колодец кричал,— папа не ответил ему.

Это окончательно обидело Мишу, он снова тихонько ушел в свою комнату, минуту постоял у окна, прижав лоб к холодному стеклу, а потом сел за стол и начал писать то, что думал.

«Папа обманул меня, что если писать дневник, так будет интересно,— ничего не будет. Это он, чтобы я ему не мешал. Уж я знаю. Когда мама сердится, он называет маму злая курица, а сам тоже. Вчера я играл в кегли его серебряным портсигаром, так он рассердился получше мамы. А сам говорит. Они оба такие. Когда Нина Петровна, которая поет, разбила чашку, так они сказали: это ничего и пустяки, а когда я чего-нибудь разбиваю, так они говорят сто слов».

Вспомнив, как несправедливо обращаются с ним папа и мама, Миша едва не заплакал, так жалко ему стало и себя и папу с мамой; оба они такие хорошие, а с ним не умеют хорошо вести себя.

Он встал и снова подошел к окну: на карнизе сидел, ощипываясь, мокрый воробей. Миша долго смотрел, как он прихорашивается, разглаживая желтым носом русые свои перья, около носа они заершились у него, точно усы у папы.

Потом Миша подумал стихами:

Ножки у птички
Тонкие, как спички.
Глазки — точно бусинки,
Русенькие усики.

Дальше стихами не думалось, но и этого было достаточно. Миша почувствовал гордость собою, подбежал к столу, записал стихи и приписал еще:

«Стихи писать очень просто, нужно только посмотреть на что-нибудь, вот и всё, а они уж сами сложатся. Пускай папа не форсит, я тоже захочу, так буду писать книжки, да еще стихами. Научусь ставить знаки препинания и ять где надо, вот и буду. Рама, мама, упряма, дама. Из этого тоже можно сделать стихи, а я не хочу. Я не буду писать стихи и дневник тоже. Если вам не интересно, так и мне тоже, и не надо заставлять меня писать. И, пожалуйста, не приставайте ко мне».

Мише стало так грустно, что он чуть-чуть не заплакал, но в это время пришла учительница Ксения Ивановна, маленькая, румяная, с жемчужными капельками тумана на бровях.

— Здравствуй,—сказала она.— Отчего ты такой надутый?

Миша важно нахмурил брови:

— Не мешайте мне! — проговорил он папиным голосом и написал в тетрадке:

«Папа называет учительницу курносенькой девчушкой и что ей еще надо в куклы играть».

— Что с тобой? — удивилась учительница, растирая кукольными лапками свои розовые щеки.— Что ты пишешь?

— Нельзя сказать,— ответил Миша. — Это папа велел написать дневник и всё интересное, о чем я думаю. Обо всем.

— Что же ты придумал интересного? — спросила учительница, заглянув в тетрадку.

— Еще ничего нет, только стихи,— сказал Миша.

— Ошибок-то, ошибок! — воскликнула учительница.— Стихи, да. Ну, это, конечно, папа сочинил, а не ты...

Миша снова обиделся: что такое? Никто не верит ему! И сказал учительнице:

— Если так, тогда я не буду заниматься!

— Это почему?

— Потому, что не буду!

Тут учительница прочитала то, что Миша написал о ней, покраснела, взглянула в зеркало и тоже обиделась:

— Ах ты, и про меня написал, вот как! Это правда, что папа говорит?

— Вы думаете, он вас боится? — спросил Миша.

Учительница подумала, еще раз взглянула в зеркало и сказала:

— Так не хочешь заниматься?

— Нет.

— Хорошо. Пойду спрошу, как посмотрит на это мама.

Она ушла.

Миша посмотрел вслед ей и стал писать:

«Я накапризничал Ксении Ивановне, как мама папе, пусть она не пристает и не мешает. Если меня никто не любит, то всё равно. Потом я извинюсь перед учительницей и тоже запишу в тетрадку. И буду писать целый день, как папа, и никто меня не увидит. И обедать не буду никогда, даже когда на сладкое печеные яблоки. Не буду ночью спать, всё пишу-пишу, и пусть мама утром говорит мне, как папе, что я изведусь и у меня будут нервы. И плачет. А мне всё равно. Если меня никто не любит, так уж всё равно».

Он едва успел дописать, как в комнату вошла мама с Ксенией Ивановной; мама молча взяла у него тетрадку, и ее милые глаза, улыбаясь, стали читать Мишины мысли.

— Господи,— тихонько воскликнула она.— Ах, какой... Нет, это нужно показать отцу!

Она ушла с тетрадкой в руках.

«Накажут!»— подумал Миша и спросил учительницу:

— Наябедничали?

— Но если ты не слушаешься...

— Я не лошадь, чтобы слушаться...

— Миша! — вскричала учительница, но Миша сердито продолжал:

— Я не могу учиться и думать обо всем и всё записывать...

Он мог бы сказать еще многое, но вошла горничная и сказала, что его зовет папа.

— Слушай-ка, брат! — заговорил папа, придерживая ладонью усы, чтобы они не шевелились, а в другой руке зажав Мишину тетрадку,— поди-ка сюда!

Папины серые глаза светились весело, а мама лежала на диване, уткнув голову в кучу маленьких подушек, и плечи ее дрожали, как будто она смеялась.

«Не накажут»,— догадался Миша.

Папа поставил его перед собой, сжал коленями и, приподняв пальцем Мишин подбородок, спросил:

— Ты капризничаешь, да?

— Да, капризничаю,— сознался Миша.

— А зачем это?

— Так.

— Ну, все-таки зачем?

— Да я не знаю,— сказал Миша, подумав.— Ты не обращаешь на меня внимания, мама тоже не обращает, и учительница тоже... нет, она не тоже,— она пристает!

— Ты обиделся? — тихонько спросил папа.

— Ну да, обиделся, конечно...

— А ты не обижайся! — дружески посоветовал папа.— Это не я тебя обижаю и не мама,— видишь, она хохочет тихонько, валяясь на диване? И мне тоже смешно, да я уж потом похохочу...

— А почему смешно? — спросил Миша.

— Я тебе скажу почему, только после.

— Нет, почему? — настаивал Миша.

— Да, видишь ли, ты у нас очень смешной!

— Ну-у,— недоверчиво сказал Миша.

Папа посадил его на колени себе и сказал, пощекотав за ухом:

— Давай говорить серьезно, ладно?

— Ладно,— согласился Миша и нахмурил брови.

— Никто тебя не обижал, это плохая погода обижает тебя, понял? Была бы хорошая погода, солнце, весна, ты бы гулял, и всё было бы хорошо! А в дневнике ты чепуху написал...

— Сам велел,— сказал Миша, пожимая плечами.

— Ну, брат, чепуху писать я тебя не просил!

— Может, не просил,— согласился Миша.— Я уж не помню. А у меня чепуха вышла?

— Вышла, брат! — сказал папа, качая головой.

— А у тебя, когда ты пишешь, тоже чепуха выходит? — спросил Миша.

Мама вскочила с дивана и убежала, точно у нее

кофе перекипел, она даже зафыркала, как фыркает кипящий кофейник. Миша понял, что это она смеется, но только не хочет показать, что ей смешно.

Эти взрослые — тоже порядочные притворяшки.

Папе тоже хотелось смеяться, он надул щеки докрасна, ощетинил усы и фыркал носом.

— У меня, — сказал он,— тоже иногда чепуха выходит. Это очень трудно — писать, чтобы всё было хорошо и правдиво. Стишки ты придумал неплохо, а всё остальное не годится.

— Почему? — спросил Миша.

— Сердито очень. Ты у меня — критик, а я не знал этого,— ты всех критикуешь. Это нужно начинать с себя самого, ты сначала себя хорошенько раскритикуй. А то и этого не надо, давай лучше бросим писать дневник.

Раскрашивая красным и синим карандашом папину бумагу, Миша сказал:

— Давай бросим, а то это тоже скучно, как учиться. Только ты сам ведь выдумал это,— ты сказал: «Пиши, будет интересно». Я и стал писать, а ничего не случилось. Слушай-ка, можно сегодня не учиться?

— Почему? — спросил папа.

— Я лучше почитаю с Ксенией Ивановной.

— Можно не учиться,— весело согласился папа.— Только нам с тобой надобно извиниться перед учительницей, а то мы наговорили и написали про нее не... ладно!

Папа встал и, ведя Мишу за руку в его комнату, тихонько сказал:

— Конечно, это правда, что она немножко курносенькая, но лучше не напоминать ей об этом. Этого, брат, не исправишь словами, и нос на всю жизнь дается тот или иной. Вот у тебя веснушки на носу и по всей рожице,— ладно ли будет, если я тебя стану звать пестреньким?

— Неладно,— согласился Миша.

На этом и кончается благополучная история о том, как Миша писал дневник.

НА УЛИЦЕ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Согрелась и растаяла Русь — широкими потоками спокойно течет рабочая сила огромного города по улицам, на площади,— внушительно спокойствие человеческих масс, но в движении их не чувствуется праздничной радости, а только что-то деловитое, муравьиное.

Как будто люди еще не уверены в своей свободе, в своем праве ходить толпами и петь запретные песни,— не уверены в этом и все вышли на улицы для того, чтоб найти, создать уверенность.

Песни звучат нестройно, негромко — может быть, потому, что они уже не могут исчерпать новое настроение. Нужен бодрый, торжественный марш, нужен гимн победы,— крики мести и угроз не сливаются с радостным трепетом красных знамен, с крепкой верой людей в свою силу. Сильные не угрожают, не мстят, они просто осуществляют свои желания. Очевидно, что без участия искусства не создать торжества, и поэтому люди чувствуют себя накануне праздника.

Вереницами идут дети, — маленькие, бедно одетые, серые фигурки кажутся еще меньше и бедней под яркими знаменами свободы. Но дети — самое значительное явление дня, это завтрашние хозяева жизни и творцы ее. Забавно слышать, когда они поют:

Мы жертвою пали в борьбе роковой,

но когда из детских уст льются слова:

Отречемся от старого мира,

— эта детская клятва волнует до слез.

Да, они, наверно, найдут в себе силы отречься от старого мира, очистить души свои от его ядовитых

влияний! Будем верить, что они иначе почувствуют жизнь, выше оценят человека.

И хочется бросить под ноги им сердце свое,— из всех красных цветов человеческое сердце — лучший цветок.

Обыватель трепещет, по обыкновению своему. Он жмется к стенам домов и, присматриваясь привычно пугливым взглядом к течению волн новой жизни, ожидает — когда же начнется ужасное?

Но ничего ужасного нет, а есть что-то удивительно не похожее на вчерашний рабский день, на обычную, подавленную русскую жизнь.

Тогда человек сам создает ужасы,— неловко, неудобно ему жить без боязни. Его особенно пугают резкие слова, острые идеи, тогда как — уж если нужно бояться — следует бояться тупых чувств, звериных инстинктов, прочно укоренившихся в сердце неисправимого раба.

Боязнь идеи — это боязнь свободной работы разума. На этой боязни обывателя и держалось гнилое здание монархии, едва не погубившей страну.

Свобода слова, свобода мысли — достаточно сильные орудия самозащиты для тех, кого пугают мысль и слово.

Но если природа русского обывателя победительно требует, чтобы он тревожился,— я могу указать ему достаточно солидное основание для тревоги: есть люди, для которых идеи еще не существуют как организующие начала.

Первого мая я заметил немало таких людей, и особенно жуткое впечатление вызвал у меня один из них, маленький, с длинными руками и мохнатым лицом обезьяны.

Он стоял в подъезде под воротами, мимо его шла толпа детей-беженцев, с флагом, на котором было написано:

«Возвратите нас на родину!»

Получеловек смотрел на них остренькими глаз-

ками хищника, губы его шевелились, точно он мысленно сосал что-то.

Было ясно, что в нем кипит темное и мрачное чувство. Он так переступал с ноги на ногу, точно собирался броситься на детей. И казалось, что он сейчас оскалит зубы, завоет в тоске звериной.

Вот такие существа действительно опасны, ибо в них живет инстинкт разрушения, а основа его — слепая жестокость.

У нас, на Руси, очень много садистов. Старая власть усиленно воспитывала садизм, она сама была слепожестокой.

Высокий седой человек в очках удивленно рассуждает:

— Я спрашиваю себя, вас: неужели это мы, русские? Как могла безумная анархия, среди которой мы долго и покорно жили, родить этот порядок, эту разумность?

На лету ловлю слова степенной женщины:

— До этой поры я ничего не любила, ничто не нравилось мне, бывало, только и думаешь: скоро ли можно будет уехать за границу? А теперь вдруг почувствовала себя своим человеком в России. И, вероятно, многие впервые чувствуют себя своими людьми на родине своей.

Молодой остроносый человек радостно говорит солдату, идя под руку с ним:

— Теперь начну учиться, чёрт побери! С азов начну, брат...

Но, в общем, радости мало, она, видимо, глубоко скрыта. А может быть, люди еще не чувствуют радость свободы, счастье единения. Заметно, что многие удивлены необычным зрелищем и всё как-то оглядываются, точно ищут тех чудовищ старой власти, которые оказались огородными чучелами, на страх воробьям...

А радоваться есть чему: Россия сделала фантастический шаг вперед и сразу обогнала Европу, отпраздновав день Первого мая так, как его никогда еще не праздновали в странах старой культуры.

Это — счастье, и скоро все должны понять, почувствовать его силу, только — побольше уважения к человеку и не надо пугать его!

КОШМАР

ИЗ ДНЕВНИКА

Маленькая, стройная, элегантно одетая, она пришла ко мне утром, когда в окно моей комнаты смотрело солнце; пришла и села так, что солнечный луч обнял ее шею, плечи, озолотил белокурые волосы. Очень юная, она, судя по манерам, хорошо воспитана.

Ее карие глаза улыбались нервной улыбкой ребенка, который чем-то смущен и немножко сердится на то, что не может победить смущения.

Стягивая перчатку с тонкой руки, глядя на меня исподлобья, она начала вполголоса:

— Я знаю — мое вторжение дерзко, вы так заняты, ведь вы очень заняты?

— Да.

— Конечно,— сказала она, кивнув головой, сдвигая красивые брови.— Теперь все точно на новую квартиру собираются переезжать...

Вздохнула и, глядя на свою ножку, обутую в дорогой ботинок, продолжала:

— Я не задержу вас, мне нужно всего пять минут. Я хочу, чтоб вы спасли меня.

Улыбаясь, я сказал:

— Если человек думает, что его можно спасти в пять минут, он, на мой взгляд, очень далек от гибели...

Но эта женщина, взглянув ясными глазами прямо в лицо мне, деловито выговорила:

— Видите ли, я была агентом охранного отделения... Ой, как вы... Какие у вас глаза...

Я молчал, глупо улыбаясь, не веря ей, и старался одолеть какое-то темное, судорожное желание. Я был уверен, что она принесла стих, рассказ.

— Это — гадко, да? — тихонько спросила она.

— Вы шутите.

— Нет, я не шучу. Это очень гадко?

Подавленный, я пробормотал:

— Вы уже сами оценили.

— Да, конечно,— я знаю,— сказала она, вздохнув, и села в кресло поудобнее. На лице ее явилась гримаса разочарования. Маленькие пальцы изящной руки медленно играли цепочкой медальона. Солнечный луч окрасил ее ухо в цвет коралла. Вся она была такая весенняя, праздничная. Торопливо, сбивчиво и небрежно, как будто рассказывая о шалости, она заговорила:

— Это случилось три года назад... немножко меньше. У меня был роман, я любила офицера, он потом сделался жандармским адъютантом, и вот тогда... я только что кончила институт и поступила на курсы. Дома у меня собирались разные серьезные люди, политики... Я не люблю политики, не понимаю. Он меня выспрашивал. Ради любви — всё можно,— вы согласны? Нужно всё допустить, если любишь. Я очень любила его. А эти люди такие неприятные, всё критикуют. Подруги по курсам тоже не нравились мне. Кроме одной.

Ее ребячий лепет всё более убеждал меня, что она не понимает своей вины, что преступления для нее— только шалость, о которой неприятно вспоминать.

Я спросил:

— Вам платили?

— О нет. Впрочем...

Она подумала несколько секунд, рассматривая кольцо на своей руке.

— Он дарил мне разные вещи,— вот это кольцо и медальон, и еще... Может быть — это плата, да?

На ее глазах явились слезинки.

— Он — нечестный человек,— я знаю. Послушайте,— тихонько вскричала она,— если мое имя опубликуют,— что же я стану делать? Вы должны спасти меня, я молода, я так люблю жизнь, людей, книги...

Я смотрел на эту женщину, и весеннее солнце ка-

залось мне лишним для нее, для меня. Хмурый день, туман за окнами, слякоть и грязь на улицах, молчаливые, пришибленные люди — это было бы в большей гармонии с ее рассказом, чем весенний блеск неба и добрые голоса людей.

Что можно сказать такому человеку? Я не находил ничего, что дошло бы до сердца и ума женщины в светлой кофточке с глубоким вырезом на груди. Золотое кольцо с кровавым рубином туго обтягивает ее палец, она любуется игрой солнца в гранях камня и небрежно нанизывает слово за словом на капризную нить своих ощущений.

— Из-за любви часто совершается дурное,— звучит ее голосок, как бы повторяя пошлые реплики с экрана синематографа. Потом она наклоняется ко мне, ее глаза смотрят так странно.

— Я ничем не могу помочь вам.

— Да? — тихо спрашивает она.

— Я вполне уверен, что не могу.

— Но — может быть.

Она ласково говорит слова о доброте человека, о его чутком сердце, о том, что Христос и еще кто-то учили прощать грешных людей,— всё удивительно неуместные и противные слова.

В разрезе кофточки я вижу ее груди и невольно закрываю глаза; подлец, развративший это существо, торгаш честными людьми, ласкал эти груди, испытывая такой же восторг, какой испытывает честный человек, лаская любимую женщину. Глупо, но хочется спросить кого-то — разве это справедливо?

— Посмотрите, какая я молодая, но последние дни я чувствую себя старухой. Всем весело, все радуются, а я не могу. За что же?

Ее вопрос звучит искренно. Она сжимается, упираясь руками в колена, закусив губы, ее лицо бледнеет и блеск глаз слинял. Она точно цветок, раздавленный чьей-то тяжелой подошвой.

— Вы многих предали?

— Я не считала, конечно. Но я рассказывала ему только о тех, которые особенно не нравились мне.

— Вам известно, как поступали с ними жандармы?

— Нет, это не интересовало меня. Конечно, я слышала, что некоторых сажали в тюрьму, высылали куда-то, но политика не занимала меня...

Она говорит об этом равнодушно, как о далеком, неинтересном прошлом. Она — спокойна; ни одного истерического выкрика, ни вопля измученной совести, ничего, что говорило бы о страдании. Вероятно, после легкой ссоры со своим возлюбленным она чувствовала себя гораздо хуже, более взволнованной.

Поговорив еще две-три минуты, она встает, милостиво кивнув мне головою, и легкой походкой женщины, любящей танцы, идет к двери, бросая на ходу:

— Как жестоки люди, если подумать.

Мне хочется сказать ей:

«Вы несколько опоздали подумать об этом».

Но я молчу, огромным напряжением воли скрывая тоскливое бешенство.

Остановясь в двери, красиво повернув шею, она говорит через плечо:

— Но что же будет с моими родными, близкими, когда мое имя опубликуют? Вы подумайте!

— Почему же вы сами не подумали об этом?

— Но кто же мог предполагать, что случится революция? — восклицает она.— Итак, у вас ничего нет для меня?

Я говорю негромко:

— Для вас — ничего.

Ушла.

Я знал Гуровича, Азефа, Серебрякову и еще множество предателей: из списков их, опубликованных недавно, более десятка были моими знакомыми, они звали меня «товарищ», я верил им, разумеется. Когда одно за другим вскрывались их имена, я чувствовал, как кто-то безжалостно-злой иронически плюет в сердце мне. Это — одна из самых гнусных насмешек над моей верой в человека.

Но самое страшное преступление — преступление ребенка.

Когда эта женщина ушла, я подумал с тупым спокойствием отчаяния:

«А не пора ли мне застрелиться?»

Через два или три дня она снова явилась, одетая в черное, еще более элегантно. В траурном она взрослее, ее милое, свежее лицо — солиднее, строже. Она, видимо, любит цветные камни, ее кофточка заколота брошью из алмандинов, на шее, на золотой цепочке, висит крупный плавленый рубин.

— Я понимаю, что противна вам,— говорит она,— но мне не с кем посоветоваться, кроме вас. Я привыкла верить вам, мне казалось, что вы любите людей даже грешных, но вы — такой сухой, черствый... странно!

— Да, странно,— повторяю я и смеюсь, думая о том, как бесстыдно жизнь насилует людей. И чувствую себя виноватым в чем-то пред этой женщиной. В чем? Не понимаю.

Она рассказывает, что есть человек, готовый обвенчаться с нею.

— Он — пожилой, пожалуй, даже старик, но — что же делать? Ведь если я переменю фамилию, меня уже не будет.

И улыбаясь, почти весело, она повторяет:

— Меня не будет такой, какова я сейчас, да?

Хочется сказать:

«Сударыня! Даже если земля начнет разрушаться, пылью разлетаясь в пространстве, и все люди обезумеют от ужаса, я полагаю, что вы все-таки останетесь такой, какова есть. И если на землю чудом воли нашей снизойдут мир, любовь, не изведанное нами счастье,— я думаю, вы тоже останетесь сама собою».

Но говорить с нею — бесполезно,— она слишком крепко уверена в том, что красивой женщине всё прощается.

Я говорю:

— Если вы думаете, что это поможет вам...

— Ах, я не знаю, что мне думать. Я просто — боюсь.

Она говорит капризно, всё тем же тоном ребенка, который нашалил и хочет, чтоб о его шалости забыли.

Я молчу.

Тогда она говорит:

— Вы можете быть посажёным отцом на моей свадьбе? У меня нет отца, то есть он разошелся с мамочкой. Я его не люблю, не вижу. Будьте, пожалуйста!

Я отрицательно качаю головой. Тогда она становится на колени и говорит:

— Но послушайте же, послушайте!

В ее жестах есть нечто театральное, и она явно стремится напомнить о себе как о женщине, хочет, чтобы я почувствовал себя мужчиной. Красиво закинув голову, выгнув грудь, она — точно ядовитый цветок, ее красивенькая головка подобна пестику в черных лепестках кружев кофты.

— Хотите, я буду вашей любовницей, вашей девушкой для радостей? — спрашивает она почему-то на французском языке.

Я отхожу от нее. Гибко встав на ноги, она говорит:

— Ваши речи о любви, о сострадании — ложь. Всё — ложь. Всё! Вы так писали о женщинах... они у вас всегда правы — это тоже — ложь! Прощайте!

Потом, уходя, она говорит уверенно и зло:

— Вы погубили меня.

Исчезла, приклеив к душе моей черную тень. Может быть, это неуместные, красивенькие слова, но — она бросила меня в колючий терновник мучительных дум о ней, о себе. Я не умею сказать иначе того, что чувствую. К душе моей пристала тяжелая черная тень. Вероятно, это — глупые слова. Как все слова.

Разве не я отвечаю за всю ту мерзость жизни, которая кипит вокруг меня, не я отвечаю за эту жизнь, на рассвете подло испачканную грязью предательства?

На улице шумит освобожденная народная стихия, сквозь стекла окон доносится пчелиное жужжание сотен голосов. Город, как улей весной, когда проснулись пчелы; мне кажется, что я слышу свежий, острый запах новых слов, чувствую, как всюду творится мед и воск новых мыслей.

Меня это радует, да.

Но я чувствую себя пригвожденным к какой-то гнилой стене, распятым на ней острыми мыслями о изнасилованном человеке, которому я не могу, не могу помочь, ничем, никогда...

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Интересно умирал один мой знакомый, человек лет под шестьдесят, благовоспитанный и симпатичный, один из тех людей, которые всю жизнь ищут применения своим недюжинным силам и умирают, не успев израсходовать себя.

Он любил естественные науки и хорошие сигары, записывал стенографическими знаками в черную книжку какие-то наблюдения и мысли и охотно философствовал, поучая меня:

— Всего бесполезнее человеку — философия!

Умирал он в тесной, грязненькой кухне; его койка была выдвинута на средину пола, и прямо пред глазами у него — закопченное жирным дымом чело печи, на шестке — грязная посуда и, конечно, тараканы. За его изголовьем пара маленьких окон, сквозь радужные стекла виден грязный двор, полуразрушенный сарай и помойная яма рядом с ним. На подоконниках стояли два цветочных горшка, в них торчат луковицы, выпустив острые зеленые перья.

И прежде не однажды я видел, как смерть играет свою темную игру, но никогда еще не чувствовал столь острой обиды, наблюдая ее подлую игру.

Умирать нужно так же красиво и чисто, как следует жить,— а тут всюду грязь, копоть, тараканы на стенах и эти жалкие луковицы.

Я сидел в ногах старика, прикладывая к сухим холодным подошвам его бутылки с горячей водою; он задыхался, хрипел и почти непрерывно говорил, спокойный, как будто наблюдающий за собою откуда-то со стороны.

— Горячая вода, очень? — спрашивал он с клокотаньем в горле.

— Очень.

— А ноги уже не чувствуют. Не чувствуют — баста!

За окном по двору ходит золотистый петух, самодовольно взмахивая ярко-красным гребнем, в жирных лужах блестят лучи солнца, встречу солнцу нагло разинула зловонную пасть помойная яма.

Я спрашиваю умирающего:

— А вообще как вы себя чувствуете?

— Вероятно, так же, как огарок свечи, догорая. Это, конечно, ничего не говорит вам. И мне тоже. Никто не знает ощущений догорающей свечи...

Его лицо, обсосанное болезнью, спокойно, несмотря на лихорадочный блеск красивых и умных глаз. Сухие волосы седой бороды торчат, как иглы ежа, и кажутся ломкими, на голове они тоже сухи, но спутаны. Вздымается острый кадык, натягивая темно-пепельную кожу, на висках, на лбу выступил липкий, пахучий пот, мелкими, точно просо, зернами. Дышит старик отрывисто и шумно, жадными глотками хватая скверный воздух кухни.

— Отчего у вас такое унылое лицо? — спрашивает он, пощипывая тонкими пальцами одеяло.

— Не вижу причин веселиться.

— Я вас расстраиваю?

— Но, боже мой...

— Полноте, батенька. Старики должны умирать,— это законно.

С той поры, как я встретил его, я не помню, чтоб он волновался по тому или иному поводу. О себе он говорил немного и всегда как о человеке хорошо знакомом, но — мало интересном ему, обо всех явлениях жизни — как о деле, чужом для него.

Невидимая, таинственная сила медленно уничтожает жизнь в тесной клетке, наполненной грязью.

— Понимаете,— говорит он, с трудом выталкивая слова из пересмякших губ и касаясь моей руки горячим пальцем.— Я все-таки думал, что меня несколько испугает это умирание. Но — не чувствую страха. Пока. И вообще — не чувствую ничего мистического. Даже — не обидно. Хотя — устал. А сверх всего, это

любопытно — умирать. Я думал — будет хуже, тяжелее. Но тяжело — физически... Внутренно, духовно...

Он прикрыл глаза, как бы вслушиваясь в свое духовное, и потом сказал:

— Ничего... не страшно...

Я верил ему и думал:

«Вспомнит он о боге, скажет о нем что-нибудь?»

Разъедая сердце — росло чувство горечи; человек умирал так хорошо, без жалоб и стонов, так просто и мужественно, а вокруг эта унизительная грязь нищеты, дурацки важный петух за окном и до губ набитая грязью помойная яма. Если б я мог положить его в светлую комнату, одеть в чистое белье, украсить цветами! И нужно, чтоб тихо играла виолончель. Я думаю об этом и знаю, что это глупо, смешно. Я вижу, что, может быть, через несколько минут этот человек замолчит, погаснет, но — так трудно поверить в это! Потом я думаю, что когда-нибудь люди победят смерть. У меня нет иных оснований верить в победу над смертью, у меня только одно основание — вот, умирает человек, и это так просто, так ненужно.

А он, как будто уловив мои думы о боге и смерти, говорит, закатив глаза, бредовым голосом:

— Чудес — нет... Сказки — по эту сторону. По ту — ничего нет... очевидно. Я ожидал чего-то. Я спрашиваю сам себя... До рождения — не было и по смерти — нет. Я — жалею?

И, задыхаясь, он отвечает:

— Жалеть можно только то, что было. Н-не нужно выдумывать лишнего. Нет... Я не виню себя... но — ох, поднимите меня повыше... задыхаюсь!

Обняв иссохшее, легкое тело, я поднимаю его, а старик шепчет:

— Мне хочется что-то сказать вам... но я теряю память. Досадно!

А мне снова хочется ругать гадость нищеты. И хочется о многом спросить отходящего с земли, но я не умею или не решаюсь построить ни одного вопроса. В груди и голове у меня горит, я — точно печь, полная раскаленными углями мыслей; быстро прогорая, они обращаются в холодный пепел невыносимой тоски.

— Окончательно,— слышу я всхрапывающий голос,— задыхаюсь...

Сидя на койке, я держу в своих руках его маленькую руку; он только вчера аккуратно обрезал ногти, я помню, как тщательно он делал это, слушая чтение книги Карлейля «Sartor Resartus».

— Превосходный ум,— говорил он, полируя ногти косточкой.— Англичанин— это, прежде всего, умный человек. И вследствие этого он то, что называется— джентльмен. Быть джентльменом — это равносильно понятию быть разумным человеком.

И, покашляв, добавил с усмешкой:

— Но — есть условия, при наличии которых честнее быть бездельником... есть такие мудрые условия!

Я не понял этих слов, я тогда был молод.

Вот этот человек уже не в силах произнести связную фразу, да и голоса у него нет, он шипит, точно головня, облитая водой.

— Юноша... юношей я думал, я дал... клятву себе... понимаете ли... у большинства женщин нет половой совести... впрочем, я тоже... мы все... ох, подождите...

Смерть душила его лениво, не торопясь. Я чувствую, как холодеет, умирая в моих руках, его рука и застывают пальцы, теряя живую гибкость, вытягиваясь. Отваливается подбородок, открывая темную впадину рта, и в ней свалившийся направо серый язык. Дрожат ресницы, мерцая на солнце, точно металлические.

— Да — да,— невнятно шепчет он, дергая костями плеч и захлебываясь, — вы помните?..

В горле у него влажно хлюпает, глаза расширяются, как у человека, которого душат, но он, быстро и упрямо глотая воздух, всё еще силится договорить что-то и бормочет:

— Не много... нужно ума...

Это были последние его слова, он вздрогнул тихонько и замолчал, выпрямляясь.

Я знаю, что он хотел еще раз напомнить мне свою любимую поговорку:

«Не много нужно ума для того, чтобы тебя считали умным, большинство признанных умников — только осторожные люди; но необходимо быть мудрецом, чтоб хорошо притвориться глупеньким...»

«В ГЛУБИНЕ РОССИИ»

За последние дни мне удалось выслушать немало рассказов о жизни «во глубине России», и вот я передаю эти рассказы читателю так, как слышал их, будучи уверен, что читатель сам сделает необходимые выводы.

— Как живем? Да — так себе, ничего, начинаем привыкать,— говорит житель небойкого губернского города, человек, который стыдится признать себя кадетом, а социализма органически не приемлет.

— Кто помоложе,— суетится, лотошит, пытаясь вводить «новый порядок», но это не очень удается,— все говорят, а работать никто не умеет. Город загрязнен, изношен, утопает в снегу, на улицах — ни прохода, ни проезда. Конечно, воровство, грабежи, пьяные погромчики,— совсем как у вас, в Петрограде. Люди зрелых лет, видимо, убедились, что ничего хорошего нельзя ожидать, и продолжают жить старым порядком, заботясь о том, как бы посытней покушать, поинтересней сыграть в карты, злее посплетничать. Это, пожалуй, самое горестное, что вот люди начали привыкать, ни во что не верят, ничего не ждут, ничего не делают, а только — «привыкают».

— Недели две тому назад шел я от знакомых часов в одиннадцать ночи; слышу — где-то впереди меня стреляют, остановился, подумал: обходить опасное место далеко и лень, решил идти прямо; авось, думаю, бог помилует! Иду; вижу — на крыльце человек сидит, видимо, меня дожидается! Револьвер у меня есть, да без патрон, однако я его вынул из кармана и хочу обойти сидящего сторонкой, по сугробам, вдруг он меня вежливо спрашивает: «Гражданин! Вы куда идете?» —

«Домой». — «А на какую улицу?» Я сказал. «Мне,— говорит,— тоже в ту сторону, только я не могу идти, сейчас здесь стреляли и в ногу мне попало,— не поможете ли вы мне, не доведете ли?»

«Врет?» — думаю. Уж очень он спокойно изъяснялся! Но оказалось, что действительно нога у него ранена, идти он совершенно не может.

«Подождите,— говорю,— я поищу извозчика или позову на помощь, одному мне не справиться с вами!» — «Спасибо,— говорит,— только, пожалуйста, поскорее, а то очень много крови я потерял и холодно. Да тут еще кто-то шел впереди меня и тоже упал — вы посмотрите за углом!»

— Завернул я за угол улицы и вижу: прижимаясь к стенам и заборам, двигается человек, то на животе ползет, то на четвереньках бежит. Спрашиваю его: «Вы ранены?» А он сел на снег и, перекрестясь, отвечает: «Слава богу — нет, не ранен, но очень испугался и теперь иду домой!»

— Он так просто и радостно сказал это: «иду домой», точно всю свою жизнь ползал на животе да бегал на четвереньках. Н-да, привыкаем...

— А может быть, отвыкнуть не успели?

— Не знаю. Может быть.

Крестьянин, комиссар одного из уездов Орловской губернии, участник событий 1905—1906 годов, человек много испытавший, талантливый и зоркий, говорит:

— В деревнях тоже «наши с нашими» воюют. У нас, в уезде, образовалось нечто вроде маленькой пугачевской шайки: едет по дорогам сотня подвод, окруженная пятью-шестьюстами мужиков, впереди у них конные разъезды гарцуют, сзади тоже кавалерийская охрана трясется,— всё честь честью! Едут и громят усадьбы, оставляя сзади себя сор и пепел. Нужно было употребить немало солидных усилий, чтобы эта «работа» прекратилась. Говоришь им: «Что вы, черти, делаете? Ведь вы разоряете Россию, уничтожаете национальное имущество, ведь всё это создано трудом ваших предков, это — основа будущего благополучия вашего!» А они отвечают: «Боязно нам! Ежели не

сожгем усадьбы — опять всё обойдется, как после пятого года, воротятся помещики и снова будем волынку тянуть! Надо так сделать, чтобы некуда было воротиться им!»

— Громят не по злобе, не из хулиганства, но именно из опасения, как бы не возвратилось прошлое. Были случаи, когда бабы, растаскивая из усадеб награбленное добро, плакали, взывая: «Господи! Что нам за это будет?»

Страшные уроки 5—6 годов не забыты деревней; об этом свидетельствует хотя бы такой факт:

Калединские дни совпали с каторжной работой на полях и непогодой, несмотря на это, в Мало-Архангельск прискакали на измученных лошадях свыше пятисот мужиков со всего уезда — уполномоченные различных крестьянских организаций. Все эти люди единодушно, как один, заявили о своей полной готовности к защите революции.

— Возврата старому порядку не бывать! Пусть всех нас перебьют, а не уступим!

В 5-м году такого единодушия не было и не было сознания опасности контрреволюции, а теперь каждому разумному мужику это сознание доступно. Когда комиссар предложил этим уполномоченным дать хлеба столицам,— они начали давать хлеб бесплатно, говоря: «Мы понимаем, что в Питере за всех нас бьются — страдают, за всю Русь! Мы это понимаем, не бойся!»

— А каково влияние большевизма на деревню?

— Идейных большевиков, чистых социалистов, деревня не знает. Большевик для нее — тыловой солдат. Этот тыловой солдатский большевик и хулиганствует, главным образом. Человек зоологический, сумбурный, он называет себя «большевиком» потому, что убежден: подобных ему — всего больше. Он же является и зачинщиком погромов. Но это — дрянь народ, арестованные и заключенные в тюрьму, эти люди плачут, каются, и вообще — противны. На некоторых из них, однако, деревня влияет по-своему; вот, например, как сказывается ее влияние:

— Приехал в деревню солдат, парень энергичный и неглупый, с месяц времени крутил и мутил «по-боль-

шевистски», а перед выборами в Учредительное говорит жене своей: «Хоть я и большевик, а ты все-таки подавай голос за крестьянскую партию, за эсеров!» Жена смеется: «Ты бы вот эдак-то всем мужикам сказал, то-то бы хорошо!» А он: «Думаешь — побоюсь, не скажу?»

— И действительно: пришел на сход и объявил мужикам: «Я, как большевик, за эсеров не могу голосовать, а вам всем по совести советую: подавайте голоса за эсеров, это ваша партия!»

Отрицательных явлений в деревне сколько угодно! И воровство, и хулиганство, и пьянство, и всякий блуд — всё есть! А весной будет еще хуже, еще страшней; возможно, что деревня на деревню боем пойдет, и это будет настоящий бой, у мужиков есть винтовки, патроны, гранаты — солдатишки натаскали домой немало этого добра. Весной особенно свирепо разгорятся инстинкты собственников, начнут пахать и передерутся мужики. А тут еще при дележах земли фронтовые солдатки и жены военнопленных во многих местах обделены,— воротятся их мужья с фронта, из плена и начнется такая зверская склока! Это почти неизбежно.

А за всем этим — непоколебимо верю, что всё устроится по-хорошему,— будет хорошо на Руси, будет! Вот только бы школы наладить да широко поставить культурную работу! Это настолько необходимо, что даже сами мужики,— те, что рвут книги, жгут библиотеки барских усадеб,— даже они воют:

— Учить нас надо, слепые мы, ничего не понимаем!

Стремление учиться, желание уметь разбираться в делах жизни своим умом — это стремление всё растет. Даже сейчас деревня начинает создавать «новых людей», именно новых, не тронутых ужасами и разочарованиями пятого года. Эти «новые» не только сами не ходят громить, но умеют заставить и других воздерживаться от страсти к разрушению того фундамента, на котором должна строиться сельскохозяйственная культура.

Много можно сказать о деревне хорошего, в тысячу

раз больше плохого, но, в конце концов, всё будет хорошо, мы одолеем!

Строителем нового государства явится крестьянская Русь — больше некому. Где иные силы? Если рабочий класс, малочисленный и слабо организованный, не исчезнет в гражданской войне,— он будет окончательно разбит и обессилен этой бойней. Буржуазия? Пролетариат не даст ей возможности сорганизоваться для борьбы с деревней, да и какие силы сможет она противопоставить десяткам миллионов крестьян, включающим в себе и солдат? Все условия за то, что победит деревенская, мужицкая Русь...

А вот два факта, которые рисуют «правосознание» деревни.

Молодой человек из Москвы рассказал мне:

— Приходит ко мне добродушный деревенский человек и спрашивает: «Вы тут — по должности?»—«Да».— «Товарищ?» — «Да».— «Так вот, товарищ, заарестовали мы у себя, в Клинском уезде, докторшу,— куда ее девать?» — «А за что арестовали?» — «Читай бумагу, в ней сказано, это — протокол!»

На грязном, изрядно помятом клочке бумаги кратко изображено:

«Па падазренью что голос совала за кадетов арестованна. Петя Тихий. Николай».

«Выпустить ее надо».— «Да ну?» — «Обязательно».— «Тогда за что ж мы ее четверты сутки в подвале на хлебе-воде морили, а?» — «Это вы себя спросите».— «Ах ты, господи! Зря, значит, арестовали?» — «Зря».— «Вот и разберись в этих делах! А ведь и женщина-то она ничего, хорошая до нас...»

— Ушел очень удрученный.

— А то пришел мужик с бабой и повествует:

«Деревня наша вся целиком за большевика голос подала, только двое опозорили нас — за кадетов подали! Одного мы уже нашли, избили, а другого никак не можем найти! Не дадите ли вы нам какого-нибудь умного человека, чтобы он отыскал нам голосователя этого подлого? Мы б его поблагодарили...»

Повторяю,— я не делаю выводов из этой сумятицы фактов и мнений, но хотелось бы, чтобы читатель задумался над этим.

КАК Я УЧИЛСЯ

РАССКАЗ

Когда мне было лет шесть-семь, мой дед начал учить меня грамоте. Было это так: однажды вечером он достал откуда-то тоненькую книжку, хлопнул ею себя по ладони, меня по голове и весело сказал:

— Ну, скула калмыцкая, садись учить азбуку! Видишь фигуру? Это — аз. Говори: аз! Это — буки, это — веди. Понял?

— Понял.

— Врешь.

Он ткнул пальцем во вторую букву.

— Это — что?

— Буки.

— Это?

— Веди.

— А это?— Он указал на пятую букву.

— Не знаю.

— Добро. Ну — это какая?

— Аз.

— Попал! Говори — глаголь, добро, есть, живете!

Он обнял меня за шею крепкой горячей рукой и тыкал пальцами в буквы азбуки, лежавшей под носом у меня, и кричал, всё повышая голос:

— Земля! Люди!

Мне было занятно видеть, что знакомые слова — добро, есть, живете, земля, люди — изображаются на бумаге незатейливыми маленькими знаками, и я легко запоминал их фигуры. Часа два дед гонял меня по азбуке, и в конце урока я без ошибки называл более десяти букв, совершенно не понимая, зачем это нужно и как можно читать, зная названия буквенных знаков азбуки.

Насколько легче учиться грамоте теперь, по звуковому способу, когда *а* так и произносится — а, а не аз, *в* — так и есть в, а не веди. Великую благодарность заслужили ученые люди, придумавшие звуковой прием обучения азбуке,— сколько детских сил сохраняется благодаря этому и насколько быстрее идет усвоение грамоты! Так — повсюду наука стремится облегчить труд человека и сберечь его силы от излишней траты.

Я запомнил всю азбуку дня в три, и вот наступило время учить слога́,— составлять из букв слова. Теперь, по звуковому способу, это делается просто, человек произносит звуки: о, к, н, о и сразу же слышит, что он сказал определенное, знакомое ему слово — окно.

Я учился иначе: для того чтоб сказать слово — окно, я должен был проговорить длинную бессмыслицу: он-како-ок, наш-он-но = окно. Еще труднее и непонятнее складывались многосложные слова, например: чтобы сложить слово половица, нужно было выговорить покой-он-по=по, люди-он-ло=поло, веди-иже-ви=ви=полови, цы-аз-ца=ца=половица! Или червяк: червь-есть=че, рцы-веди-яз-вя=рвя=червя, како-ер=червякъ!

Эта путаница бессмысленных слогов страшно утомляла меня, мозг быстро уставал, соображение не работало, я говорил смешную чепуху и сам хохотал над нею, а дед бил меня за это по затылку или порол розгами. Но нельзя было не хохотать, говоря такую чепуху, как например: мыслете-он-мо=мо, рцы-добро-веди-иже-наш = рдвин=мордвин; или: буки-аз-ба=ба, ша-како-иже=шки=башки, рцы-ер=башкиръ! Понятно, что вместо мордвин, я говорил — мордин, вместо башкир — шибир, однажды сказал вместо богоподобен — болтоподобен, а вместо епископ — скопидом. За эти ошибки дед жестоко порол меня розгами или трепал за волосы до головной боли.

А ошибки были неизбежны, потому что в таком чтении слова трудно понять, приходилось догадываться о смысле их и говорить не то слово, которое прочитал, да не понял, а похожее на него по звукам. Читаешь «рукоделье», а говоришь — «мукосей», читаешь «кружева», говоришь — «жевать».

Долго — с месяц и больше — маялся я на изучении слогов, но стало еще трудней, когда дед заставил меня читать Псалтырь, написанный на церковнославянском языке. Дед хорошо и бойко читал на этом языке, но он сам плохо понимал его различие от гражданской азбуки. Для меня явились новые буквы пса, кси, дед не мог объяснить, откуда они, бил меня кулаками по голове и приговаривал:

— Не покой, дьяволенок, а пса, пса, пса!

Это была пытка, она продолжалась месяца четыре, в конце концов я научился читать и «по-граждански» и «по-церковному», но получил решительное отвращение и вражду к чтению и книгам.

Осенью меня отдали в школу, но через несколько недель я заболел оспой и учение прервалось, к немалой радости моей. Но через год меня снова сунули в школу — уже другую.

Я пришел туда в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах «навыпуск», всё это сразу было осмеяно, за желтую рубаху я получил прозвище «бубнового туза». С мальчиками я скоро поладил, но учитель и поп невзлюбили меня.

Учитель был желтый, лысый, у него постоянно текла кровь из носа, он являлся в класс, заткнув ноздри ватой, садился за стол, гнусаво спрашивал уроки и вдруг, замолчав на полуслове, вытаскивал вату из ноздрей, разглядывал ее, качая головою. Лицо у него было плоское, медное, окисшее, в морщинах лежала какая-то прозелень, особенно уродовали это лицо совершенно лишние на нем оловянные глаза, так неприятно прилипавшие к моему лицу, что всегда хотелось вытереть щеки ладонью.

Несколько дней я сидел в первом отделении, на передней парте, почти вплоть к столу учителя,— это было нестерпимо, казалось, он никого не видит, кроме меня, он гнусил всё время:

— Песко-ов, перемени рубаху-у! Песко-ов, не вози ногами! Песков, опять у тебя с обуви луза натекла-а!

Я платил ему за это диким озорством: однажды достал половину арбуза, выдолбил ее и привязал на нитке

к блоку двери в полутемных сенях. Когда дверь открылась — арбуз взъехал вверх, а когда учитель притворил дверь — арбуз шапкой сел ему прямо на лысину. Сторож отвел меня с запиской учителя домой, и я расплатился за эту шалость своей шкурой.

Другой раз я насыпал в ящик его стола нюхательного табаку, он так расчихался, что ушел из класса, прислав вместо себя зятя своего — офицера, который заставил весь класс петь «Боже царя храни» и «Ах ты, воля, моя воля». Тех, кто пел неверно, он щелкал линейкой по головам как-то особенно звучно и смешно, но не больно.

Законоучитель, красивый и молодой, пышноволосый поп, невзлюбил меня за то, что у меня не было «Священной истории ветхого и нового завета» и за то, что я передразнивал его манеру говорить.

Являясь в класс, он первым делом спрашивал меня:

— Пешков, книгу принес или нет? Да. Книгу?

Я отвечал:

— Нет. Не принес. Да.

— Что — да?

— Нет.

— Ну, и — ступай домой! Да. Домой. Ибо тебя учить я не намерен. Да. Не намерен.

Это меня не очень огорчало, я уходил и до конца уроков шатался по грязным улицам слободы, присматривался к ее шумной жизни.

Несмотря на то, что я учился сносно, мне скоро было сказано, что меня выгонят из школы за недостойное поведение. Я приуныл — это грозило мне великими неприятностями.

Но явилась помощь — в школу неожиданно приехал епископ Хрисанф.

Когда он, маленький, в широкой черной одежде, сел за стол, высвободил руки из рукавов и сказал:

«Ну, давайте беседовать, дети мои!» — в классе сразу стало тепло, весело, повеяло незнакомо приятным.

Вызвав, после многих, и меня к столу, он спросил серьезно:

— Тебе — который год? Только-о? Какой ты, брат, длинный, а? Под дождями часто стоял, а?

Положив на стол сухонькую руку, с большими острыми ногтями, забрав в пальцы непышную бородку — он уставился в лицо мне добрыми глазами, предложив:

— Ну-ко, расскажи мне из священной истории, что тебе нравится?

Когда я сказал, что у меня нет книги и я не учу священную историю, он поправил клобук и спросил:

— Как же это? Ведь это надобно учить! А может, что-нибудь знаешь, слыхал? Псалтырь знаешь? Это хорошо! И молитвы? Ну, вот видишь! Да еще и жития? Стихами? Да ты у меня знающий.

Явился наш поп, красный, запыхавшийся, епископ благословил его, но когда поп стал говорить про меня, он поднял руку, сказав:

— Позвольте минутку... Ну-ко, расскажи про Алексея человека божия?..

— Прехорошие стихи, брат, а? — сказал он, когда я приостановился, забыв какой-то стих.— А еще что-нибудь?.. Про царя Давида? Очень послушаю!

Я видел, что он действительно слушает и ему нравятся стихи; он спрашивал меня долго, потом вдруг остановил, осведомляясь быстро:

— По Псалтырю учился? Кто учил? Добрый дедушка-то? Злой? Неужто? А ты очень озорничаешь?

Я замялся, но сказал — да! Учитель с попом многословно подтвердили мое сознание, он слушал их, опустив глаза, потом сказал, вздохнув:

— Вот что про тебя говорят — слыхал? Ну-ко, подойди!

Положив на голову мне руку, от которой исходил запах кипарисового дерева, он спросил:

— Чего же это ты озорничаешь?

— Скушно очень учиться.

— Скучно? Это, брат, неверно что-то. Было бы тебе скучно учиться — учился бы ты плохо, а вот учителя свидетельствуют, что хорошо ты учишься. Значит, есть что-то другое.

Вынув маленькую книжку из-за пазухи, он написал:

— Пешков, Алексей. Так. А ты все-таки сдерживался бы, брат, не озорничал бы много-то! Немножко—

можно, а уж много-то — досадно людям бывает! Так ли я говорю, дети?

Множество голосов весело ответили:

— Так.

— Вы сами-то ведь немного озорничаете?

Мальчишки, ухмыляясь, заговорили:

— Нет. Тоже много! Много!

Епископ отклонился на спинку стула, прижал меня к себе и удивленно сказал, так, что все — даже учитель с попом — засмеялись:

— Экое дело, братцы мои, ведь и я тоже в ваши годы-то великим озорником был! Отчего бы это, братцы?

Дети смеялись, он расспрашивал их, ловко путая всех, заставляя возражать друг другу, и всё усугублял веселость. Наконец встал и сказал:

— Хорошо с вами, озорники, да пора ехать мне!

Поднял руку, смахнул рукав к плечу и, крестя всех широкими взмахами, благословил:

— Во имя отца и сына и святого духа, благословляю вас на добрые труды! Прощайте.

Все закричали:

— Прощайте, владыко! Опять приезжайте.

Кивая клобуком, он говорил:

— Я — приеду, приеду! Я вам книжек привезу!

И сказал учителю, выплывая из класса:

— Отпустите-ка их домой!

Он вывел меня за руку в сени и там сказал тихонько, наклоняясь ко мне:

— Так ты — сдерживайся, ладно? Я ведь понимаю, зачем ты озорничаешь! Ну, прощай, брат!

Я был очень взволнован, какое-то особенное чувство кипело в груди, и даже когда учитель, распустив класс, оставил меня и стал говорить, что теперь я должен держаться тише воды, ниже травы,— я выслушал его внимательно, охотно.

Поп, надевая шубу, ласково гудел:

— Отныне ты на моих уроках должен присутствовать! Да. Должен. Но — сиди смиренно! Да. Смирно.

Поправились дела мои в школе — дома разыгралась скверная история: я украл у матери рубль. Однажды вечером мать ушла куда-то, оставив меня домовничать

с ребенком; скучая, я развернул одну из книг вотчима — «Записки врача» Дюма-отца — и между страниц увидал два билета — в десять рублей и в рубль. Книга была непонятна, я закрыл ее и вдруг сообразил, что за рубль можно купить не только «Священную историю», но, наверное, и книгу о Робинзоне. Что такая книга существует, я узнал незадолго перед этим в школе: в морозный день, во время перемены, я рассказывал мальчикам сказку, вдруг один из них презрительно заметил:

— Сказки — чушь, а вот Робинзон — это настоящая история!

Нашлось еще несколько мальчиков, читавших Робинзона, все хвалили эту книгу, я был обижен, что бабушкина сказка не понравилась, и тогда же решил прочитать Робинзона, чтобы тоже сказать о нем — это чушь!

На другой день я принес в школу «Священную историю» и два растрепанных томика сказок Андерсена, три фунта белого хлеба и фунт колбасы. В темной, маленькой лавочке у ограды Владимирской церкви был и Робинзон, тощая книжонка в желтой обложке, и на первом листе изображен бородатый человек в меховом колпаке, в звериной шкуре на плечах,— это мне не понравилось, а сказки даже и по внешности были милые, несмотря на то, что растрепаны.

Во время большой перемены я разделил с мальчиками хлеб и колбасу, и мы начали читать удивительную сказку «Соловей» — она сразу взяла всех за сердце.

«В Китае все жители — китайцы и сам император — китаец»,— помню, как приятно удивила меня эта фраза своей простой, весело улыбающейся музыкой и еще чем-то удивительно хорошим.

Мне не удалось дочитать «Соловья» в школе — не хватило времени, а когда я пришел домой, мать, стоявшая у шестка со сковородником в руках, поджаривая яичницу, спросила меня странным, погашенным голосом:

— Ты взял рубль?

— Взял; вот — книги...

Сковородником она меня и побила весьма усердно, а книги Андерсена отняла и навсегда спрятала куда-то, что было горше побоев.

В школе я проучился почти всю зиму, а летом

умерла моя мать, и дед тотчас же отдал меня «в люди»— в ученики к чертежнику. Хотя я и прочитал несколько интересных книг, но все-таки особенного желания читать у меня не было, да и времени на это не хватало. Но скоро это желание явилось и сразу же стало сладкой мукой моей — об этом я подробно рассказал в книжке моей «В людях».

Сознательно читать я научился, когда мне было лет четырнадцать. В эти годы меня увлекала уже не одна фабула книги,— более или менее интересное развитие изображаемых событий,— но я начинал понимать красоту описаний, задумываться над характерами действующих лиц, смутно догадывался о целях автора книги и тревожно чувствовал различие между тем, о чем говорила книга, и тем, что внушала жизнь.

Жилось мне в ту пору трудно,— моими хозяевами были закоренелые мещане, люди, главным наслаждением которых являлась обильная еда, а единственным развлечением — церковь, куда они ходили, пышно наряжаясь, как наряжаются, идя в театр или на публичное гулянье. Работал я много, почти до отупения, будни и праздники были одинаково загромождены мелким, бессмысленным, безрезультатным трудом.

Дом, в котором жили мои хозяева, принадлежал «подрядчику землекопных и мостовых работ», маленькому коренастому мужику с Клязьмы. Остробородый, сероглазый, он был зол, груб и как-то особенно спокойно жесток. У него было человек тридцать рабочих, все — владимирские мужики; жили они в темном подвале с цементным полом и маленькими окнами ниже уровня земли. Вечерами, измученные работой, поужинав щами из квашеной вонючей капусты с требухою или солониной, от которой пахло селитрой, они выползали на грязный двор и валялись на нем,— в сыром подвале было душно и угарно от огромной печи. Подрядчик являлся в окне своей комнаты и орал:

— Эй вы, дьяволы, опять на двор вылезли? Развалились, свиньи! У меня в дому хорошие люди живут — али им приятно глядеть на вас?

Рабочие покорно уходили в подвал. Всё это были люди печальные, они редко смеялись, почти никогда не

пели песен, говорили кратко, неохотно и, всегда выпачканные землей, казались мне покойниками, которых воскресили против их воли для того, чтобы мучить еще целую жизнь.

«Хорошие люди» — офицеры, картежники и пьяницы, они били денщиков до крови, били любовниц, пестро одетых женщин, куривших папиросы. Женщины тоже напивались и хлестали денщиков по щекам. Пили и денщики, пили помногу, насмерть.

В воскресные дни подрядчик выходил на крыльцо и садился на ступени, с длинной узкой книжкой в одной руке, с обломком карандаша в другой; к нему гуськом, один за другим, подходили землекопы, точно нищие. Они говорили пониженными голосами, кланяясь и почесываясь, а подрядчик орал на весь двор:

— Ладно, будет! Бери целковый! Чего? А в морду — хочешь? Хватит с вас! Иди прочь... Но!

Я знал, что среди землекопов есть немало однодеревенцев подрядчика, есть родственники его, но он со всеми был одинаково жесток и груб. И землекопы были тоже жестоки и грубы в отношении друг к другу, а особенно — к денщикам. Почти каждое воскресенье на дворе разгорались кровавые драки, гудела трехэтажная грязная ругань. Землекопы дрались беззлобно, как бы выполняя надоевшую им обязанность; избитый до крови отходил или отползал в сторону и там молча осматривал свои царапины, раны, ковырял грязными пальцами расшатанные зубы. Разбитое лицо, затекшие от ударов глаза никогда не вызывали сострадания товарищей, но если была разорвана рубаха — все сожалели об этом, а избитый хозяин рубахи угрюмо злился, иногда плакал.

Эти сцены вызывали у меня неописуемо тяжелое чувство. Мне было жалко людей, но я жалел их холодной жалостью, у меня никогда не возникало желания сказать кому-нибудь из них ласковое слово, чем-либо помочь избитым — хотя бы воды подать, чтобы они смыли отвратительно густую кровь, смешанную с грязью и пылью. В сущности, я не любил их, немножко боялся и — произносил слово «мужик» так же, как мои хозяева, офицеры, полковой священник, сосед-повар

и даже денщики,— все эти люди говорили о мужиках с презрением.

Жалеть людей — это тяжело, всегда хочется радостно любить кого-нибудь, а любить было некого. Тем горячее я полюбил книги.

Было и еще много грязного, жестокого, вызывавшего острое чувство отвращения,— я не буду говорить об этом, вы сами знаете эту адову жизнь, это сплошное издевательство человека над человеком, эту болезненную страсть мучить друг друга — наслаждение рабов. И вот в такой проклятой обстановке я впервые стал читать хорошие, серьезные книги иностранных литераторов.

Я, вероятно, не сумею передать достаточно ярко и убедительно, как велико было мое изумление, когда я почувствовал, что почти каждая книга как бы открывает предо мною окно в новый, неведомый мир, рассказывая мне о людях, чувствах, мыслях и отношениях, которых я не знал, не видел. Мне казалось даже, что жизнь, окружающая меня, всё то суровое, грязное и жестокое, что ежедневно развертывалось предо мною, всё это — не настоящее, ненужное; настоящее и нужное только в книгах, где всё более разумно, красиво и человечно. В книгах говорилось тоже о грубости, о глупости людей, о их страданиях, изображались злые и подлые, но рядом с ними были другие люди, каких я не видал, о которых даже не слышал,— люди честные, сильные духом, правдивые, всегда готовые хоть на смерть ради торжества правды, ради красивого подвига.

Первое время, опьяненный новизною и духовной значительностью мира, открытого для меня книгами, я стал считать их лучше, интереснее, ближе людей и — как будто — немного ослеп, глядя на действительную жизнь сквозь книги. Но суровая умница-жизнь позаботилась вылечить меня от этой приятной слепоты.

По воскресеньям, когда хозяева уходили в гости или гулять, я вылезал из окна душной, пропахшей жиром кухни на крышу и там читал. По двору плавали, как сомы, полупьяные или сонные землекопы, визжали горничные, прачки и кухарки от жестоких нежностей денщиков, я — посматривал с высоты на двор и вели-

чественно презирал эту грязненькую, пьяную, распутную жизнь.

Один из землекопов был десятник, или «нарядчик», как они звали его, угловатый, неладно сделанный из тонких костей и синих жил старичок Степан Лёшин, человек с глазами голодного кота и седенькой, смешно рассеянной бородкой на коричневом лице, на жилистой шее и в ушах. Оборванный, грязный, хуже всех землекопов, он был самый общительный среди них, но они заметно боялись его, и даже сам подрядчик говорил с ним, понижая свой крикливый, всегда раздраженный голос. Я не раз слышал, как рабочие ругали Лёшина за глаза:

— Скупой чёрт! Иуда! Холуй!

Старичок Лёшин был очень подвижен, но не суетлив, он как-то тихонько, незаметно являлся то в одном углу двора, то в другом, везде, где собиралось двое-трое людей; подойдет, улыбнется кошачьими глазами и, шмыгнув широким носом, спрашивает:

— Ну, что, а?

Мне казалось, что он всегда чего-то ищет, ждет какого-то слова.

Однажды, когда я сидел на крыше сарая, Лёшин, покрякивая, влез ко мне по лестнице, сел рядом и, понюхав воздух, сказал:

— Сенцом пахнет... Это ты хорошо место нашел — и чисто и от людей в стороне... Чего читаешь?

Он смотрел на меня ласково, и я охотно рассказал ему о том, что читал.

— Так,— сказал он, покачивая головой.— Так — так!

Потом долго молчал, ковыряя черным пальцем руки разбитый ноготь на левой ноге, и вдруг, скосив глаза на меня, заговорил, негромко и певуче, точно рассказывая:

— Был во Владимире ученый барин Сабанеев, большой человек, а у него — сын Петруша. Тоже всё книжки читал и других к тому приохочивал, так его — заарестовали.

— За что? — спросил я.

— За это самое! Не читай, а коли читаешь — помалкивай!

Он усмехнулся, подмигнул мне и сказал:

— Гляжу я на тебя — сурьезный ты, не озоруешь. Ну, ничего, живи...

И, посидев на крыше еще немножко, он спустился на двор. После этого я заметил, что Лёшин присматривается ко мне, следит за мной. Он всё чаще подходил ко мне со своим вопросом:

— Ну, что, а?

Однажды я рассказал ему какую-то очень взволновавшую меня историю о победе доброго и разумного начала над злым, он выслушал меня очень внимательно и, качнув головою, сказал:

— Бывает.

— Бывает? — радостно спросил я.

— Да ведь — а как же? Всё бывает! — утвердил старик.— Вот я те поведаю...

И «поведал» мне тоже хорошую историю о живых, не книжных людях, а в заключение сказал, памятно:

— Конешно, ты эти дела вполне понять не можешь, однако — разумей главное: пустяков много, в пустяках запутался народ, ходу нет ему — к богу ходу нет, значит! Великое стеснение от пустяков, понимаешь?

Эти слова толкнули меня в сердце оживляющим толчком, я как будто прозрел после них. А ведь в самом деле, эта жизнь вокруг меня — пустяковая жизнь, со всеми ее драками, распутством, мелким воровством и матерщиной, которая, может быть, потому так обильна, что человеку не хватает хороших, чистых слов.

Старик прожил на земле впятеро больше меня, он много знает, и если он говорит, что хорошее в жизни действительно «бывает»,— надобно верить ему. Верить — хотелось, ибо книги уже внушили мне веру в человека. Я догадывался, что они изображают все-таки настоящую жизнь, что их, так сказать, списывают с действительности, значит — думал я — и в действительности должны быть хорошие люди, отличные от дикого подрядчика, моих хозяев, пьяных офицеров и вообще всех людей, известных мне.

Это открытие было для меня огромною радостью, я

стал веселее смотреть на всё и как-то лучше, внимательнее относиться к людям и, прочитав что-нибудь хорошее, праздничное, старался рассказать об этом землекопам, денщикам. Они не очень охотно слушали меня и, кажется, не верили мне, но Степан Лёшин всегда говорил:

— Бывает. Всё бывает, браток!

Удивительно сильное значение имело для меня это краткое, мудрое слово! Чем чаще я слышал его, тем более оно будило во мне чувство бодрости и упрямства, острое желание «поставить на своем». Ведь если «всё бывает», значит, будет и то, чего мне хочется? Я замечал, что во дни наибольших обид и огорчений, наносимых мне жизнью, в тяжелые дни, которых слишком много испытал я, именно в такие дни чувство бодрости и упрямства в достижении цели особенно повышается у меня, в эти дни меня с наибольшею силою охватывало юное Геркулесово желание чистить авгиевы конюшни жизни. Это осталось со мною и теперь, когда мне пятьдесят лет, останется до смерти, и этим свойством я обязан священному писанию человеческого духа — книгам, отражающим великие мучения и пытки растущей души человека, науке — поэзии разума, искусству — поэзии чувств.

Книги продолжали открывать предо мною новое; особенно много давали мне два иллюстрированных журнала: «Всемирная иллюстрация» и «Живописное обозрение». Их картинки, изображавшие города, людей и события иностранной жизни, всё более и более расширяли предо мною мир, и я чувствовал, как он растет, огромный, интересный, наполненный великими деяниями.

Храмы и дворцы, непохожие на наши церкви и дома, иначе одетые люди, иначе украшенная человеком земля, чудесные машины, изумительные изделия — всё это внушало мне чувство какой-то непонятной бодрости и вызывало желание тоже что-то сделать, построить.

Всё было различно, непохоже, но, однако, я смутно сознавал, что всё насыщено одной и той же силой — творческой силою человека. И мое чувство внимания к людям, уважение к ним росло.

Я был совершенно потрясен, когда увидел в каком-то

журнале портрет знаменитого ученого Фарадея, прочитал непонятную мне статью о нем и узнал из нее, что Фарадей — был простым рабочим. Это крепко ударило меня в мозг, показалось мне сказкой.

«Как же это?— недоверчиво думал я.— Значит — который-нибудь из землекопов тоже может сделаться ученым? И я — могу?»

Не верилось. Я стал доискиваться — нет ли еще каких-нибудь знаменитых людей, которые были бы сначала рабочими? В журналах никого не нашел; знакомый гимназист сказал мне, что очень многие известные люди были сначала рабочими, и назвал мне несколько имен, между прочими — Стефенсона, но я не поверил гимназисту.

Чем больше я читал, тем более книги роднили меня с миром, тем ярче, значительнее становилась для меня жизнь. Я видел, что есть люди, которые живут хуже, труднее меня, и это меня несколько утешало, не примиряя с оскорбительной действительностью; я видел также, что есть люди, умеющие жить интересно и празднично, как не умеет жить никто вокруг меня. И почти в каждой книге тихим звоном звучало что-то тревожное, увлекающее к неведомому, задевавшее за сердце. Все люди так или иначе страдали, все были недовольны жизнью, искали чего-то лучшего, и все они становились более близкими, понятными. Книги окутывали всю землю, весь мир печалью о лучшем, и каждая из них была как бы душой, запечатленной на бумаге знаками и словами, которые оживали, как только мои глаза, мой разум соприкасались с ними.

Нередко я плакал, читая,— так хорошо рассказывалось о людях, так милы и близки становились они. И, мальчишка, задерганный дурацкой работой, обижаемый дурацкой руганью, я давал сам себе торжественные обещания помочь людям, честно послужить им, когда вырасту.

Точно какие-то дивные птицы сказок, книги пели о том, как многообразна и богата жизнь, как дерзок человек в своем стремлении к добру и красоте. И чем дальше, тем более здоровым и бодрым духом наполнялось сердце. Я стал спокойнее, увереннее в себе, более тол-

ково работал и обращал всё меньше внимания на бесчисленные обиды жизни.

Каждая книга была маленькой ступенью, поднимаясь на которую, я восходил от животного к человеку, к представлению о лучшей жизни и жажде этой жизни. А перегруженный прочитанным, чувствуя себя сосудом, до краев полным оживляющей влаги, я шел к денщикам, к землекопам и рассказывал им, изображал перед ними в лицах разные истории.

Это их забавляло.

— Ну, шельма,— говорили они.— Настоящий комедиант! Тебе в балаган, на ярманку надо!

Конечно, я ждал не этого, а чего-то другого, но — был доволен и этим.

Однако мне удавалось иногда,— не часто, разумеется,— заставить владимирских мужиков слушать меня с напряженным вниманием, а не раз доводить некоторых до восторга и даже до слез — эти эффекты еще более убеждали меня в живой возбудительной силе книги.

Василий Рыбаков, угрюмый парень, силач, любивший молча толкать людей плечом так, что они отлетали от него мячиками,— этот молчаливый озорник отвел меня однажды в угол за конюшню и предложил мне:

— Лексей — научи меня книгу читать, я тебе полтину дам, а не научишь — бить буду, со света сживу, ей-богу, вот — крещусь!

И — размашисто перекрестился.

Я побаивался его угрюмого озорства и начал учить парня со страхом, но дело сразу пошло хорошо, Рыбаков оказался упрям в непривычном труде и очень понятлив. Недель через пять, возвращаясь с работы, он таинственно позвал меня к себе и, вытащив из фуражки клочок измятой бумаги, забормотал, волнуясь:

— Гляй! Это я с забора сорвал, что тут сказано, а? Погоди — «продается дом» — верно? Ну — продается?

— Верно.

Рыбаков страшно вытаращил глаза, лоб его покрылся потом, помолчав, он схватил меня за плечо и, раскачивая, тихонько говорил:

— Понимаешь — гляжу на забор, а мне будто шепчет кто: «продается дом»! Господи помилуй... Прямо

как шепчет, ей-богу! Слушай, Лексей, неужто я выучился — ну?

— А читай-ка дальше!

Он уткнул нос в бумагу и зашептал:

— «Двух — верно? — етажный, на камен-ном...»

Рожа его расплылась широчайшей улыбкой, он мотнул головой, выругался матерно и, посмеиваясь, стал аккуратно свертывать бумажку.

— Это я оставлю на память — как она первая... Ах ты, господи... Понимаешь? Как будто — шепчет, а? Диковина, брат. Ах ты...

Я хохотал безумно, видя его густую, тяжелую радость, его детское милое недоумение перед тайной, вскрывшейся перед ним, тайной усвоения посредством маленьких черных знаков чужой мысли и речи, чужой души.

Я мог бы много рассказать о том, как чтение книг — этот привычный нам, обыденный, но в существе своем таинственный процесс духовного слияния человека с великими умами всех времен и народов — как этот процесс чтения иногда вдруг освещает человеку смысл жизни и место человека в ней, я знаю множество таких чудесных явлений, исполненных почти сказочной красоты.

Не могу не рассказать об одном из таких случаев.

Я жил в Арзамасе, под надзором полиции, мой сосед, земский начальник Хотяинцев, особенно невзлюбил меня — до того, что даже запретил своей прислуге беседовать по вечерам у ворот с моей кухаркой. Полицейского поставили прямо под окно мне, и он с наивной бесцеремонностью заглядывал в комнаты, когда находил это нужным. Всё это очень напугало горожан, и долгое время никто из них не решался зайти ко мне.

Но однажды, в праздник, явился кривой человек в поддевке, с узлом под мышкой, и предложил мне купить у него сапоги. Я сказал, что мне не нужно сапог. Тогда кривой, подозрительно заглянув в дверь соседней комнаты, тихонько заговорил:

— Сапоги — это для прикрытия настоящей причины, господин писатель, а пришел я попросить — нет ли хорошей книжечки почитать?

Его умный глаз не возбуждал сомнения в искрен-

ности желания и окончательно убедил меня в ней, когда на мой вопрос — какую бы хотел он получить книгу, кривой обдуманно сказал робким голосом и всё оглядываясь:

— Насчет законов жизни что-нибудь, то есть — законов мира. Не понимаю законов этих — как жить и — вообще. Тут недалеко казанский профессор-математик на даче живет, так я у него, за починку обуви и за садовые работы,— я тоже и садовник,— уроки математики беру, только она мне не отвечает, а сам он — молчаливый...

Я дал ему плохонькую книжку Дрейфуса «Мировая и социальная эволюция» — единственное, что нашлось у меня по вопросу.

— Чувствительно благодарен! — сказал кривой, бережно засунув книгу за голенище сапога.— Позвольте прийти к вам для беседы, когда прочитаю... Только я на этот раз приду садовником, будто малину в саду подрезать, а то, знаете, полиция — очень окружает вас, и вообще — неудобно мне...

Он пришел дней через пять, в белом фартуке с садовыми ножницами, пучком мочала в руках, и удивил меня своим радостным видом. Его глаз сверкал весело, голос звучал громко и твердо. Почти с первых же слов он ударил ладонью по книжке Дрейфуса и заговорил торопливо:

— Могу я сделать отсюдова такое умозаключение, что бога — нет?

Я не поклонник таких поспешных «умозаключений» и потому начал осторожно допрашивать его — чем привлекает его именно это «умозаключение».

— Для меня это — главнейшее! — горячо и тихо заговорил он.— Я так рассуждаю, как все подобные: ежели существует господь бог и всё в его воле, стало быть, я должен тихо жить, покорствуя высшим предначертаниям божиим. Весьма много прочитал божественного — Библию, Тихона Задонского сочинения, Златоуста, Ефрема Сирина и всё прочее. Однако — я желаю знать: отвечаю я за себя и за всю жизнь или нет? По писанию выходит — нет, живи, как предуказано, и все науки — ни к чему. Также и астрономия — фальшь

одна, выдумка. И математика тоже и всё вообще. Вы, конечно, с этим не согласны, чтобы покорствовать?

— Нет,— сказал я.

— А почему же я должен быть согласен? Вот вас за несогласность под надзор полиции выслали сюда, значит — вы решаетесь восставать против священного писания, потому что я так понимаю: всякое несогласие— обязательно против священного писания. Из него все законы подчинения, а законы свободы — от науки, то есть от человеческого разума. Теперича — дальше: ежели бог, то мне делать нечего, а без него — я должен отвечать за всё, за всю жизнь и всех людей! Я желаю отвечать, по примеру святых отцов, только иначе — не подчинением, а сопротивлением злу жизни!

И, снова ударив ладонью по книге, он добавил с убеждением, явно непоколебимым:

— Всякое подчинение — зло, потому что оно укрепляет зло! И вы меня извините — я этой книжке верю! Она для меня, как тропа в дремучем лесу. Я уж так решил для себя — отвечаю за всё!

Мы дружески беседовали до поздней ночи, и я убедился, что неважная маленькая книжка была последним ударом, оформившим мятежные поиски человеческой души в твердое религиозное верование, в радостное преклонение пред красотою и силою мирового разума.

Этот милый, умный человек действительно честно сопротивлялся злу жизни и спокойно погиб в 907-м году.

Вот так же, как угрюмому озорнику Рыбакову, книги шептали мне о другой жизни, более человеческой, чем та, которую я знал; вот так же, как кривому сапожнику, они указывали мне мое место в жизни. Окрыляя ум и сердце, книги помогли мне подняться над гнилым болотом, где я утонул бы без них, захлебнувшись глупостью и пошлостью. Всё более расширяя предо мною пределы мира, книги говорили мне о том, как велик и прекрасен человек в стремлении к лучшему, как много сделал он на земле и каких невероятных страданий стоило это ему.

И в душе моей росло внимание к человеку — ко всякому, кто бы он ни был, скоплялось уважение к его труду, любовь к его беспокойному духу. Жить станови-

лось легче, радостнее — жизнь наполнялась великим смыслом.

Так же, как в кривом сапожнике, книги воспитали во мне чувство личной ответственности за всё зло жизни и вызвали у меня религиозное преклонение пред творческой силой разума человеческого.

И с глубокой верою в истину моего убеждения я говорю всем: любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку.

Пусть она будет враждебна вашим верованиям, но если она написана честно, по любви к людям, из желания добра им — тогда это прекрасная книга!

Всякое знание — полезно, полезно и знание заблуждений ума, ошибок чувства.

Любите книгу — источник знания, только знание спасительно, только оно может сделать нас духовно сильными, честными, разумными людьми, которые способны искренно любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться прекрасными плодами его непрерывного великого труда.

Во всем, что сделано и делается человеком, в каждой вещи — заключена его душа, всего больше этой чистой и благородной души в науке, в искусстве, всего красноречивее и понятнее говорит она — в книгах.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. Г. КОРОЛЕНКО

С именем В. Г. Короленко у меня связано немало добрых воспоминаний, и, разумеется, я не могу сказать здесь всего, что хотелось бы.

Первая моя встреча с ним относится к 88 или 89 году. Приехав в Нижний Новгород, не помню откуда, я узнал, что в городе этом живет писатель Короленко, недавно отбывший политическую ссылку в Сибири. Я уже читал рассказы, подписанные этим именем, и помню — они вызвали у меня впечатление новое, несогласное с тем, что я воспринял от литературы «народников», изучение которой в ту пору считалось обязательным для каждого юноши, задетого интересом к общественной жизни.

Публицистическая литература «народников» откровенно внушала: «Смотри вот так, думай — так», и это очень нравилось многим, кто привык чувствовать себя руководимым. А для всякого мало-мальски внимательного читателя было ясно, что рассказы Короленко чужды стремлению насиловать ум и чувство.

Я вращался тогда в кругу «радикалов», как именовали себя остатки народников, и в этом кругу творчество Короленко не пользовалось симпатиями. Читали «Сон Макара», но к другим рассказам относились скептически, ставя их рядом с маленькими жемчужинами Антона Чехова, которые уже совершенно не возбуждали серьезного отношения радикалов.

Находились люди, которым казалось, что новый подход к изображению народа в рассказах «За иконой», «Река играет» изобличает в авторе вреднейший скептицизм, а рассказ «Ночью» вызывал у многих резко враждебные суждения, раздражая рационалистов.

С радикалами спорили и враждовали «культуртрегеры» — люди, начинавшие трудную работу переоценки старых верований; радикалы называли культуртрегеров «никудышниками». «Никудышники» относились к творчеству В. Г. с подстерегающим вниманием, чутко оценивая его прекрасный лиризм и зоркий взгляд на жизнь.

В сущности — спорили люди доброго сердца с людьми пытливого ума, и сейчас этот спор, вызванный предрассудками людей просвещенных, является сплошным недоразумением, ибо В. Г. давал одинаково щедро и много как людям сердца, так и людям ума. Но всё же для многих в ту пору поправки, вносимые новым писателем в привычные, устоявшиеся суждения и мнения о русском народе, казались чуждыми, неприятными и враждебными любимому идолу святой традиции.

Раздражал Тюлин, герой рассказа «На реке», человек, несомненно, всем хорошо знакомый в жизни, но совершенно непохожий на обычного литературного мужичка, на Поликушку, дядю Миная и других излюбленных интеллигентом идеалистов, страстотерпцев, мучеников и правдолюбов, которыми литература густо населила нищие и грязные деревни. Не похож был лентяй-ветлужанин на литературного мужичка и, в то же время, убийственно похож вообще на русского человека— героя на час,— в котором активное отношение к жизни пробуждается только в моменты крайней опасности и на краткий срок.

Очень помню горячие споры о Тюлине — настоящий это мужик или выдумка сочинителя? «Культуртрегеры» утверждали — настоящий, действительный мужик, неспособный к строительству новых форм жизни, не имеющий склонности к расширению своего интеллекта.

— С таким субъектом не скоро доживешь до европейских форм государственности,— говорили они.— Тюлин — это Обломов в лаптях.

А «радикалы» кричали, что Тюлин — выдумка, европейская же культура нам не указ — Поликушка с дядей Минаем создадут культуру оригинальнее западной.

Эти жаркие споры, острые разногласия вызвали у меня напряженный интерес к человеку, обладающему

силой возбуждать умы и сердца, и, написав нечто вроде поэмы в прозе, озаглавив ее, кажется, «Песнь старого дуба», я понес рукопись В. Г.

Меня очень удивил его внешний облик — В. Г. не отвечал моему представлению о писателе и политическом ссыльном. Писателя я представлял себе человеком тощим, нервным, красноречивым — не знаю, почему именно таким,— В. Г. был коренаст, удивительно спокоен, у него здоровое лицо, в густой курчавой бороде, и ясные, зоркие глаза.

Он не был похож и на политиков, которых я знал уже довольно много: они казались мне людьми, всегда немножко озлобленными и чуть-чуть рисующимися пережитым.

В. Г. был спокоен и удивительно прост. Перелистывая мою рукопись на коленях у себя, он с поразительной ясностью, образно и кратко говорил мне о том, как плохо и почему плохо написал я мою поэму. Мне крепко запомнились его слова:

— В юности мы все немножко пессимисты — не знаю, право, почему. Но кажется — потому, что хотим многого, а достигаем — мало...

Меня изумило тонкое понимание настроения, побудившего меня написать «Песнь старого дуба», и, помню, мне было очень стыдно, неловко пред этим человеком за то, что я отнял у него время на чтение и критику моей поэмы. Впервые показал я свою работу писателю и сразу имел редкое счастье услышать четкую, уничтожающую критику.

Повторяю — меня особенно удивила простота и ясность речи В. Г.: люди, среди которых я жил, говорили туманным и тяжелым языком журнальных статей.

Вскоре, после этой первой встречи с В. Г., я ушел из Нижнего и воротился туда года через три, обойдя центральную Русь, Украину, побывав и пожив в Бессарабии, в Крыму, на Кавказе. Много видел, пережил и, изнемогая от пестроты и тяжести впечатлений бытия, чувствовал себя богачом, который не знает, куда девать нажитое, и бестолково тратит сокровища, разбрасывая всё, что имел, всем, кто желал поднять брошенное.

Я не столько рассказывал о своих впечатлениях,

сколько спрашивал — что они значат, какова их ценность?

В этом приподнятом настроении я снова встретился с В. Г. Сидел у него в маленькой тесной столовой и говорил о том, что особенно тревожило меня,— о правдоискателях, о беспризорной бродячей Руси, о тяжкой жизни грязных и жадных деревень.

В. Г. слушал, задумчиво улыбался умными и ясными глазами и вдруг спросил:

— А заметили вы, что все эти правдоискатели больших дорог — великие самолюбцы?

Конечно, я этого не замечал и был удивлен вопросом.

А В. Г. добавил:

— И лентяи порядочные, правду сказать...

Он говорил не осуждая, добродушно, и от этого его слова приобретали особый вес, особое значение. Во всей его фигуре, в каждом жесте чувствовалась спокойная сила, а внимание, с которым он слушал, обязывало к точности и краткости. Его хорошие глаза, вдумчивый их взгляд взвешивали внутреннюю ценность ваших слов, и вы невольно требовали от себя слов значительных, точно рисующих мысль и чувство. Уйдя от него, я почувствовал, чем отличаются его рассказы о человеке от рассказов других людей. Как многим, мне казалось, что беспристрастный голос правдивого художника — голос безразличного человека.

Но чуткие замечания В. Г. о мужиках, монахах, правдоискателях обличали в нем человека, который не считает себя судьею людей, а любит их с открытыми глазами, той любовью, которая дает мало наслаждений и слишком много страданий.

В этом году я начал печатать маленькие рассказы в газетах и однажды, под влиянием смерти крупного культурного деятеля, нижегородца А. С. Гацисского, написал какой-то фантазерский рассказ о том, как над могилой интеллигента мужики благодарно оценивают его жизнь.

Встретив меня на улице, В. Г. сказал, добродушно усмехаясь:

— Ну, это вы плохо сочинили. Такие штуки не надо писать!

Видимо, он следил за моей работой, бывал я у него не часто, но почти при каждой встрече он что-нибудь говорил мне о моих рассказах.

— «Архипа и Леньку» напрасно напечатали в «Волгаре» — это можно бы поместить в журнал,— говорил он.

— Вы чересчур увлекаетесь словами, нужно быть более скупым и точным.

— Не прикрашивайте людей...

Его советы и указания всегда были кратки, просты, но это были как раз те указания, в которых я нуждался. Я много получил от Короленко добрых советов, много внимания, и если в силу разных неустранимых причин не сумел воспользоваться его помощью,— в том моя вина и печаль.

Известно, что в большую журнальную литературу я вошел при его помощи.

О многом я умолчу из опасения быть бестактным в похвалах и благодарности моей этому человеку.

Скажу в заключение, что за 25 лет литературной моей работы я видел и знал почти всех больших писателей, имел высокую честь знать и колоссального Л. Н. Толстого.

В. Г. Короленко стоит для меня где-то в стороне от всех, в своей особой позиции, значение которой до сего дня недостаточно оценено. Мне лично этот большой и красивый писатель сказал о русском народе многое, что до него никто не умел сказать. Он сказал это тихим голосом мудреца, который прекрасно знает, что всякая мудрость относительна и вечной правды — нет. Но правда, сказанная образом Тюлина,— огромная правда, ибо в этой фигуре нам дан исторически верный тип великоруса — того человека, который ныне сорвался с крепких цепей мертвой старины и получил возможность строить жизнь по своей воле.

Верю, что он построит ее так, как найдет удобным для себя, и знаю, что в этой великой работе строения новой России найдет должную оценку и прекрасный труд честнейшего русского писателя В. Г. Короленко, человека с большим и сильным сердцем.

ПЕСНЯ

Окно моей комнаты смотрит в парк,— это один из лучших парков южного берега Крыма — более тридцати десятин земли любовно украшено великолепными образцами растительного царства, их собрали со всего земного шара. Мощные веллингтонии из Австралии возвышаются над гигантскими листьями банановых пальм, альпийская сосна бросает тень на нежное кружево японской мимозы, на фоне голубых елей тяжело качаются ослепительно белые восковые цветы магнолии. Акации, лавры, пирамидальные тополя и элегические кипарисы отражаются в темных зеркалах прудов, по бархатной воде плавают лебеди, поставив крылья парусами. Всё удивительно мощно, богато красками, щедро насыщено солнцем юга, источает хмельной запах, всюду с земли поднимаются к солнцу розы, лилии, канны и множество других цветов.

Парк спускается с горы к морю, сквозь тихий шорох разнообразной листвы слышно, как ласково ворчат волны, выплескиваясь на камень берега, а над парком повисла голубовато-серая гора, гребень ее покрыт щетиной леса. Всё — царственно красиво, растительность поражает своею энергией, человек должен был затратить множество воли и ума для того, чтоб разбить среди обломков осыпавшейся горы этот райский сад. Владелец парка так и называет его: «Райский сад».

В шесть часов утра где-то, на окраине парка, начинает звонить колокол. Не торопясь, один за другим, в тишину падают назойливые удары — десять, тридцать; однажды я насчитал девяносто два удара, другой раз —

семьдесят восемь. В колокол бьет сутулый волосатый старик с вывернутыми ногами, похожий на гнома, одетый в рубище. Смешно видеть, когда он, вечером, обходит парк с дрянным ружьем в руках, едва передвигая ноги, глядя в землю. С последним ударом колокола на дорожках парка являются девицы и бабы,— все из Орловской губернии, малорослые, скуластые, с маленькими глазами, очень похожие одна на другую. С лопатами, граблями и садовыми ножницами в красных лапах, они расходятся по парку группами, по три, по пяти, и начинают работать.

Милая тишина утра особенно целомудренна в этом дивном саду, где так умело собраны лучшие, наиболее красивые создания земли. Солнце юга, еще не жаркое, ласково блестит на глянцевитой листве латаний, любовно освещает цветы и пестрый гравий дорожек. Шумит море, точно орган вздыхает. Хочется услышать песню, какой-то торжественный гимн утру, солнцу, жизни. И вот, из-за маленькой рощи пальм, раздается возглас контральто — неожиданно чужой всему, что видишь:

Ой вы, хлопцы-молодцы,
Вы, девицы-кралечки!

Три голоса стройно и дружно поют:

Не ходи —
Лучше будет, лучше будет!
Не люби —
Лучше будет, лучше будет!

В мохнатых ветвях кедра порхают птицы, вспугнутые пением. Чавкают ножницы, обкусывая ветки роз, скрипят лопаты по гравию, шипит вода, вырываясь из шланга толстой серебряной струей. В атласе зелени, среди ярких цветов, под ветвями редчайших растений копошатся серые фигуры женщин, девиц и плачет, всхлипывает странная панихидная песня:

Добежала до ворот —
Схватилася за живот...

Хор внушительно отпевает:

Лучше было б, лучше было б
Не знавать,

Чем теперь, чем теперь
Забывать!..

В голубой пустыне небесной парит коршун, ниже его мелькают ласточки; золотые цветы акации окружены пчелами, осами, гудят ласковые струны, природа творит и ликует. Удивительно празднично всё вокруг, торжественное веселье наполняет парк,— это прекрасно чувствуют птицы, но это, видимо, недоступно женщинам, работающим в райском саду. Согнувшись у корней деревьев, расхаживая на четвереньках, как обезьяны, они точно заколдованы своей жалобной песней:

Лучше было б, лучше было б
Не ходить,
Лучше было б, лучше было б
Не любить!

Высоко над парком, по дороге в Ялту, ревет автомобиль, въезжая в тоннель,— горное эхо треплет этот рев о скалы, бросает его вниз, в парк, к морю. Насыщая воздух соленым йодистым запахом, море равномерно бьет волны о камни, шуршит галькой; слышны крики чаек, звенят ласточки, поют зяблики, зорянки, пеночки,— чем ярче расцветает день, тем богаче звуки жизни.

А среди редчайших растений, под тенью деревьев, собранных со всех концов света, в аромате цветов — медленно возятся женщины в стареньких, выгоревших на солнце юбках и кофтах; изогнувшись в три погибели, они выпалывают с куртин сорные травы, их лица налиты кровью, глаза отупели, отирая рукавами пот со щек и шеи, они похоронно тянут:

Не люби —
Лучше будет, лучше будет!

Самой старшей из них — лет тридцать, и она наиболее живая — голос у нее веселый, и кажется, только одна она знает, что надо любить. А остальные все — девушки от пятнадцати лет, и так странно, тоскливо слушать их песни:

Не люби —
Лучше будет...

ПРО ИВАНУШКУ-ДУРАЧКА

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

Жил-был Иванушка-дурачок, собою красавец, а что ни сделает, всё у него смешно выходит, не так, как у людей.

Нанял его в работники один мужик, а сам с женой собрался в город; жена и говорит Иванушке:

— Останешься ты с детьми, гляди за ними, накорми их!

— А чем? — спрашивает Иванушка.

— Возьми воды, муки, картошки, покроши да свари — будет похлебка.

Мужик приказывает:

— Дверь стереги, чтобы дети в лес не убежали!

Уехал мужик с женой; Иванушка влез на полати, разбудил детей, стащил их на пол, сам сел сзади их и говорит:

— Ну вот, я гляжу за вами!

Посидели дети некоторое время на полу,— запросили есть; Иванушка втащил в избу кадку воды, насыпал в нее полмешка муки, меру картошки, разболтал всё коромыслом и думает вслух:

— А кого крошить надо?

Услыхали дети — испугались:

— Он, пожалуй, нас искрошит!

И тихонько убежали вон из избы.

Иванушка посмотрел вслед им, почесал затылок,— соображает:

— Как же я теперь глядеть за ними буду? Да еще дверь надо стеречь, чтобы она не убежала!

Заглянул в кадушку и говорит:

— Варись, похлебка, а я пойду за детьми глядеть!

Снял дверь с петель, взвалил ее на плечи себе и

пошел в лес; вдруг навстречу ему медведь шагает — удивился, рычит:

— Эй ты, зачем дерево в лес несешь?

Рассказал ему Иванушка, что с ним случилось,— медведь сел на задние лапы и хохочет:

— Экой ты дурачок! Вот я тебя съем за это!

А Иванушка говорит:

— Ты лучше детей съешь, чтоб они в другой раз отца-матери слушались, в лес не бегали!

Медведь еще сильней смеется, так и катается по земле со смеху!

— Никогда такого глупого не видал! Пойдем, я тебя жене своей покажу!

Повел его к себе в берлогу. Иванушка идет, дверью за сосны задевает.

— Да брось ты ее! — говорит медведь.

— Нет, я своему слову верен: обещал стеречь, так уж устерегу.

Пришли в берлогу. Медведь говорит жене:

— Гляди, Маша, какого я тебе дурачка привел! Смехота!

А Иванушка спрашивает медведицу:

— Тетя, не видала ребятишек?

— Мои — дома, спят.

— Ну-ка, покажи, не мои ли это?

Показала ему медведица трех медвежат; он говорит:

— Не эти, у меня двое было.

Тут и медведица видит, что он глупенький, тоже смеется:

— Да ведь у тебя человечьи дети были!

— Ну да,— сказал Иванушка,— разберешь их, маленьких-то, какие чьи!

— Вот забавный! — удивилась медведица и говорит мужу:

— Михайло Потапыч, не станем его есть, пусть он у нас в работниках живет!

— Ладно,— согласился медведь,— он хоть и человек, да уж больно безобидный!

Дала медведица Иванушке лукошко, приказывает:

— Поди-ка набери малины лесной,— детишки проснутся, я их вкусненьким угощу!

— Ладно, это я могу!— сказал Иванушка.— А вы дверь постерегите!

Пошел Иванушка в лесной малинник, набрал малины полное лукошко, сам досыта наелся, идет назад к медведям и поет во всё горло:

Эх, как неловки
Божии коровки!
То ли дело — муравьи
Или ящерицы!

Пришел в берлогу, кричит:

— Вот она, малина!

Медвежата подбежали к лукошку, рычат, толкают друг друга, кувыркаются,— очень рады!

А Иванушка, глядя на них, говорит:

— Эхма, жаль, что я не медведь, а то и у меня дети были бы.

Медведь с женой хохочут.

— Ой, батюшки мои! — рычит медведь,— да с ним жить нельзя, со смеху помрешь!

— Вот что,— говорит Иванушка,— вы тут постерегите дверь, а я пойду ребятишек искать, не то хозяин задаст мне!

А медведица просит мужа:

— Миша, ты бы помог ему!

— Надо помочь,— согласился медведь,— уж очень он смешной!

Пошел медведь с Иванушкой лесными тропами, идут — разговаривают по-приятельски:

— Ну и глупый же ты! — удивляется медведь, а Иванушка спрашивает его:

— А ты — умный?

— Я-то?

— Ну — да!

— Не знаю.

— И я не знаю. Ты — злой?

— Нет. Зачем?

— А по-моему — кто зол, тот и глуп. Я вот тоже не злой. Стало быть, оба мы с тобой не дураки будем.

— Ишь ты, как вывел! — удивился медведь.

Вдруг — видят: сидят под кустом двое детей, уснули.

Медведь спрашивает:

— Это твои, что ли?

— Не знаю,— говорит Иванушка,— надо их спросить. Мои — есть хотели.

Разбудили детей, спрашивают:

— Хотите есть?

Те кричат:

— Давно хотим!

— Ну,— сказал Иванушка,— значит, это и есть мои! Теперь я поведу их в деревню, а ты, дядя, принеси, пожалуйста, дверь, а то самому мне некогда, мне еще надобно похлебку варить!

— Уж ладно!— сказал медведь.— Принесу!

Идет Иванушка сзади детей, смотрит за ними, как ему приказано, а сам поет:

Эх, вот так чудеса!
Жуки ловят зайца.
Под кустом сидит лиса,
Очень удивляется!

Пришел в избу, а уж хозяева из города воротились, видят: посреди избы кадушка стоит, доверху водой налита, картошкой насыпана да мукой, детей нет, дверь тоже пропала,— сели они на лавку и плачут горько.

— О чем плачете? — спросил Иванушка.

Тут увидали они детей, обрадовались, обнимают их, а Иванушку спрашивают, показывая на его стряпню в кадке:

— Это чего ты наделал?

— Похлебку!

— Да разве так надо?

— А я почему знаю — как?

— А дверь куда девалась?

— Сейчас ее принесут,— вот она!

Выглянули хозяева в окно, а по улице идет медведь, дверь тащит, народ от него во все стороны бежит, на крыши лезут, на деревья; собаки испугались — завязли, со страху, в плетнях, под воротами; только один рыжий петух храбро стоит среди улицы и кричит на медведя:

— Кину в реку-у!..

В БОЛЬНОМ ГОРОДЕ

1

В глухом узком переулке на панели, изрытой дождями, под щелявым забором сидят мальчик, лет пяти, и девочка постарше его. Оба — худенькие, в темных лохмотьях; на ногах девочки рыжие растоптанные башмаки взрослой, на одной ноге мальчика полосатый чулок, на другой — серый.

С белесого неба на них искоса смотрит тепленькое солнце — далекое и, по-зимнему, бледное; против детей — буро-каменная стена, с огромными, наглухо запертыми воротами. Девочка дремлет, полуоткрыв рот, синие глаза мальчика, не мигая, смотрят в стену, он тихонько поднимает голову выше, но, взглянув на солнце, сердито хмурится и громко, уверенно тянет:

— И-и-есь хочу...

— Мало ли что,— сонно бормочет девочка; подгибая тонкие ноги, кутает их юбкой и, снова зажмурясь, опирается затылком о забор,— солнце смотрит теперь прямо в ее бескровное лицо.

В переулке пустынно, тихо. Издали доносится хрип и стон больного города. Лучи жестяного солнца насыщают воздух кислыми испарениями отравленной земли.

— Коска,— говорит мальчик, улыбаясь, толкнув колено девочки грязной рукой.

Кошка тихо идет вдоль каменной стены, почти вплоть прижимаясь к ней, она едва приподнимает от земли шерстяные лапы и ставит их куда попало, без обычной брезгливости. Голова ее низко опущена, шерсть на спине стоит щетиной, на боках ясно видны ребра, а живот висит пустым кошелем — болтается. Солнце освещает

ее сзади, и тень делает голову кошки уродливо длинной. Остановясь на секунду, она смотрит в сторону детей тусклыми глазами, беззвучно открывает рот и снова идет куда-то, качаясь на ногах, готовая упасть.

Девочка, почесывая голову, говорит:

— Издыхать пошла. Видишь — какая дохлая...

А мальчик, всосав вытянутыми губами много воздуха, громко и сердито выдыхает его, вместе со словами:

— И-есь хочу!

Глядя вслед кошке, девочка повторяет свои слова:

— Мало ли что...

2

Лошадь, истощенная трудом и голодом, упала на кучу торца; острые углы дерева впиваются ей в бок, переломленная оглобля колет вздутый живот. Лошадь — плачет, вялые веки судорожно выжимают из ее мутных глаз большие грязноватые слезы.

Ее окружает толпа угрюмых людей, которым, видимо, некуда спешить; они говорят о том, что лошадь стара, воз нагружен не по силам ей; извозчик, присев на тумбу, рассказывает о дороговизне корма и пророчит:

— Скоро все поумирают от бескормицы. И люди — тоже.

Кто-то из толпы сказал:

— Крысы уже начали.

Бегают дети, таская откуда-то пучки травы, выдранной из земли с корнями, в траве желтеют наивные звезды одуванчиков. Приседая на корточки перед вытянутой мордой лошади, они суют траву и цветы в тряпичные губы, боязливо отдергивая маленькие ручонки от широких серых зубов.

Это так же трогательно, как если бы человеку, умирающему в тяжких муках, читали нежные лирические стихи.

Лошадь механически жует, делая бессильные, безуспешные попытки сдвинуть бок с острых торцов.

— Ишь как бьется,— басом говорит один из внимательных зрителей мучений животного.

По небу плывут тяжелые обрывки серых облаков, между ними сквозит синева небес, чисто выметенная зимними вьюгами, вымытая дождями.

Подошел высокий глянцевитый негр в смешном клетчатом пальто, в огромных желтых ботинках, с трубкою в зубах; он взглянул через головы зрителей белками маслянистых глаз, спрятал трубку в карман и легко раздвинул людей чугунными руками, говоря:

— Пардон... пардон...

Присел на корточки, ловкими движениями атлета выровнял торцы под боком лошади, выпрямился и, скорчив гримасу, вращая черными зрачками, сказал, ударив себя ладонью по боку:

— Бол. Нэт караш!

Потом указал на лошадь черным толстым пальцем, добавляя:

— Малэнки мэнче бол!

Прикоснулся пальцем к измятой шляпе на курчавой голове и, широко улыбаясь губами цвета темной вишни, пошел прочь, сунув трубку в свои белые плотные зубы.

— Ишь какой! — сказал вслед ему угрюмый бас. А еще кто-то равнодушно заметил:

— Он сам тоже вроде жеребца.

3

В улице застыл мелкий дождь, что-то среднее между изморосью и туманом,— на болотах эту мокрую кисею, почти неподвижно висящую в воздухе, зовут пáморха.

— Вечерние газеты! — взывает тоненькая барышня, прижавшись к сырой стене пятиэтажного дома.

Прохожие озабоченно шагают мимо нее, нахлобучив шляпы, держа руки в карманах. Прогрохал грузовик, разбрызгивая жидкую грязь, несколько капель попало на юбку продавщицы газет, она встряхнула юбку, показав высокие ботинки на искривленных каблуках. Руки у нее тоненькие, бледное лицо освещают большие серьезные глаза, над ними напряженно дрожат брови. Не спеша, к ней подходит солидно одетый человек, по-

хожий на губернатора в отставке или на повара из богатого клуба.

— Вечерние газеты! — говорит ему барышня.

Приостановясь, молодцевато выпрямив большое тело, человек улыбнулся ей улыбкой сытого по горло, что-то сказал и пошел дальше. Барышня опустила голову, спрятав лицо. Потом, прижав пачку газет одной рукою к груди, другой она быстро провела по шее за ухом и, отдернув руку, стала с отвращением отряхать пальцы, оглядываясь осторожно, ярко покраснев. Вот она спрятала лицо в пачку газет, ее узкие плечи судорожно вздрагивают, а вокруг нее, в сырой слякоти бесшумно мелькают не то люди, не то призраки.

4

Молодая женщина рассказала мне:

— Я засиделась у больной сестры и пошла домой уже после двенадцати, огни были погашены. Жутко стало теперь на улицах, темно, пустынно, и эти зловещие фигуры людей, прижавшихся под воротами,— сторожа или воры? Иду и вдруг — слышу за собою такие твердые, ровные, неумолимые шаги, оглянулась,— меня догоняет человек в военной форме, высокий, серый и, конечно, страшный.

— Извозчиков нет, улица глухая, а он не отстает, как судьба. «Боже мой,— думаю,— ограбит или обидит!» Сунула руку в карман, чтобы достать кошелек, сняла браслет,— хоть бы этот человек не касался меня!.. А он уже настиг, и я слышу тихий, но приказывающий голос: «Сударыня...»

— Я почти бегу, но до моей квартиры еще два квартала, а он говорит почти в ухо мне: «Вы боитесь меня... да?» — «Идите прочь»,— отвечаю, чуть не падая.

— Он засмеялся, таким ужасным, надорванным голосом, и говорит: «Да поймите,— я же хочу милостыни просить у вас, я два дня не ел... Я офицер, порядочный человек... но, ей-богу, готов на всё... Помогите же мне, чёрт возьми!»

— Я взглянула в лицо ему и — никогда не забуду

его страшных глаз и оскаленные голодные зубы под темными усами! Прислонясь к стене и давая ему деньги, я говорю ему: «Но где же вы найдете покушать, всё заперто? Лучше идемте ко мне». Он отказался. «Нет,— говорит,— не пойду... не хочу, чтобы еще хоть один человек знал о...» Он поклонился и отступил на шаг. «Но,— как же завтра?» — спросила я.— «Благодарю вас... Извините... Да,— завтра? Ну, что ж...»

— Он медленно пошел назад, что-то говоря сам себе, и было так страшно слышать в пустой мертвой улице его невнятные слова.

5

За церковной оградой, на нежной молодой траве, под рыжеватой весенней листвою деревьев шумно играют дети; к воротам большого дома против церкви прижался старик-еврей и смотрит на ребятишек, чуть-чуть улыбаясь в серебряную бороду.

Еврей — особенный, нездешний, на нем длинный до пят сюртук, бархатный картуз с высокой тульей, на желтоватых щеках висят черные локоны, сильно украшенные сединой, а брови — сплошь черные, точно у молодого. Его худое лицо очень красиво. Особенно примечательны темные печальные глаза — их печаль еще более оттенена мягкой, полускрытой улыбкой. Высокий и тонкий, он напоминает изысканные рисунки Лилиена.

Невольно думается, что он мучительно одинок в этом городе и что где-то далеко у него остались внуки, вот такие же буяны, как эти, за церковной оградой.

Опустив руку в карман сюртука, старый еврей вынимает горсть конфет в ярких цветных бумажках, а другой рукою гладит бороду. Брови его сдвигаются, на лицо легла хмурая тень. Он снова опускает руку в карман и шевелит там ею. Ясно, что он хотел бы дать конфеты детям, но — боится. За оградою церкви, на лавочках, плотно сидят женщины — кто может сказать, как они примут ласку одного из тех людей, о которых глупость говорит так много злых пошлостей? А может

быть, и дети уже отравлены ядом, который выработала дурная кровь взрослых?

И, не угашая улыбки красивых глаз, благообразный старик снова прячет конфеты в карман.

С неба на церковь, детей и еврея конфузливо смотрит солнце.

Этот еврей напомнил мне о другом и о товарище моего детства Сергейке Семашко.

Мне было лет девять, Сергейка — на год моложе меня, но гораздо бойчее; это был мальчик худенький, лохматый, ощетиненный, как ерш, порывистый и неугомонный. Его быстрые глаза обладали чудесной способностью открывать в мире разные удивительно интересные «штуки», на редкость уродливых или забавных людей, смешных букашек и жуков, птичьи гнезда, странно красивые травы и цветы. У него было чутье талантливого исследователя явлений жизни, а жизнь, любя тех, кто любит ее, милостиво и щедро открывала пред ним маленькие тайны, доступные сердцу и уму ребенка.

Однажды он многозначительно сказал мне:

— Вот так штуку я видел!

Я стал расспрашивать — какую, заранее уверенный, что Сергейка видел необыкновенное. Поломавшись, пококетничав своей тайной, помучив меня сколько следовало для того, чтобы разжечь мое любопытство, Сергейка важно спросил меня:

— Ты видал, как еврей молится?

Я не видал этого.

— Идем — покажу! Только сначала надо залезть в попов сад, потом — на крышу, на сарай, а с крыши видно в окошко — ух, как он здорово молится!

Мы тотчас же отправились в овраг, куда спускался забор попова сада, перебрались в сад, влезли на крышу сарая со всеми осторожностями, какие необходимы были для сохранения в целости ушей наших — мы уже знали, что попов дворник очень умело и больно треплет уши путешественников по чужим садам.

С крыши было видно окошко старенького деревянного дома, похожего на баню, а за окном, в полутемной комнатке стоял, качаясь, маленький горбатый ев-

рей, окутанный в широкую полосатую одежду, на лбу у него была прикреплена какая-то черная коробочка, рука обмотана ремнем. Раскачиваясь, точно стебель на ветре, он бормотал и напевал что-то удивительно грустное.

Послушав минуту, я почувствовал, что это скучно, и спросил Сергейку:

— Отчего он такой?

— Оттого, что грешник!— уверенно сказал Сергейка.— Они все — грешники, а мы — праведные!

Мне положительно не нравилась открытая Сергейкой «штука»,— заупывные выкрики грешника наводили тоску. Желая «подкузьмить» товарища, я поставил ему ехидный вопрос:

— А ты — праведный?

Он спокойно ответил:

— Конечно.

— А зачем яблоки у попа воруешь? — спросил я, еще более ехидно, но Сергейка, взглянув на меня с явным удивлением, сказал:

— Так ведь и ты воруешь!

И утешительно добавил:

— Яблоки — это ничего! В садах воровать можно, сад — не дом потому что. Вот из домов — нельзя!

— Отчего? — спросил я, видя, что мне не одолеть товарища, не смутить его.

— Ну, как же — отчего? Оттого... дом — крышей покрыт, а сад — не покрыт. Двери в домах... Уж если что покрыто крышей, так нельзя трогать... Молчи!

Еврей стал качаться быстрее, запел громче и еще более жалобно. Он казался птицей, которая бьется в темной клетке.

Сергейка нахмурился и шепнул:

— Мучается!

Мне не хотелось молчать, я спросил товарища, недовольный им и его «штукой»:

— Зачем ты поповым садом шел? Ведь можно бы пустырем пройти сюда.

Он ответил:

— Так — страшнее! Дворник бы увидал — побежал бы за нами...

И, оживленно толкнув меня в бок, он зашептал громко и торопливо:

— Знаешь — я пойду нарву у попа яблок и положу ему на подоконник, пускай ест — ладно?

Я возразил:

— Да у него, наверное, зубов нет.

— Ничего, испечет и съест... Он — бедный.

Маленький и ловкий, как мышонок, он скатился с крыши в сад попа, и через минуту я услышал, как шумят ветки яблонь, стукаются о сухую землю яблоки, подточенные червем.

Вот Сергейка снова на крыше, пазуха его сильно оттопырилась, он встряхивает ее обеими руками и говорит:

— Десятка два, половина ему — ладно? Лезем на ту сторону!

Мы слезли в узкий, заросший бурьяном проход между поповым сараем и выпученной стеной домика; Сергейка осторожно подкрался под окно и стал быстро выкладывать яблоки на подоконник, но вдруг отскочил, как обожженный, и шепнул мне:

— Бежим, увидал!

Забежав за угол дома, Сергейка остановил меня, прислушался и сказал:

— Ничего, он не гонится. Он меня испугался!

— А чего же ты побежал?

— И я испугался. Как он взглянул на меня, так я... я боюсь горбатых!

Я вышел из-за угла — в окне стоял еврей, седенький, с лицом в кулачок и черными глазами; он держал на темной детской ладони светло-зеленое яблоко, смотрел на него и улыбался удивительно ясной улыбкой, от нее все морщины лица его дрожали и как будто светились на жарком солнце июля.

ЯШКА

СКАЗКА

Жил-был мальчик Яшка, били его много, кормили плохо, потерпел он до десяти лет, видит — лучше не жить ему, захворал да и помер.

Помер,— и хоть были у него кое-какие грешки, однако очутился Яшка в раю.

Смотрит Яшка — невиданно хорошо в раю: посреди зеленого луга, на золотом стуле, сидит господь Саваоф, седую бороду поглаживает, озирается всевидящим оком, райские цветы нюхает, райское пение слушает; везде — во цветах, на деревьях — херувимы с серафимами осанну поют, а по светлому лугу, по веселым цветам святые угодники хороводом ходят и мучениями своими хвастаются.

— Господи,— говорят,— ты гляди-ко, батюшка, как мы измучены, как изувечены, а всё — имени твоего ради! Кожица у нас ободрана, тельце наше истрепано, ручки-ножки изломаны, ребрушки наружу торчат, а всё — славы твоея ради!

Слушает господь — немножко морщится.

— Да уж ладно! — говорит.— Уж слыхал я это, ведь вы почти две тысячи лет одно и то же поете. Ну — пострадали, помучились, покорно вас благодарю за это, только — спели бы вы хоть разок веселое что-нибудь, а?

А святые угодники опять свое:

— Господи,— кричат,— миленький ты наш, погляди-ко: ножки у нас переломаны, ручки вывихнуты, ведь как мы страдали! И жгли нас, и давили, и голодом морили, и чего только с нами не делали, а всё тебя, господи, ради!

Вздыхает господь, соглашается:

— Верно, братцы! Прославили вы меня мученьем, да обошли весельем!

А святые угодники опять свое тянут.

Смотрит на них Яшка из-за райской яблони,— тощие они все, темненькие, кои прихрамывают, кои на карачках ползут, у одних — глаза выколоты, у других — головы отрублены,— угодники божии под мышками держат их, как арбузы. В сторонке шестнадцать тысяч святых девственниц лежат, сохнут, в поленницы сложены. Варвара Великомученица пред Пантелеймоном Целителем кровавыми ранами хвастает, Екатерина Иоанну Воину о своих муках сказывает, а серафимы с херувимами всё осанну поют, и некоторые, от усталости, фальшивят.

Слышит Яшка — говорит господь тихонько апостолу Петру:

— Много у меня, Петр, праведников, а — скушновато мне с ними! Напускал ты их в рай — чрезмерно...

Отвечает апостол Петр:

— Ты сам, господи, знаешь, я готов изменить, да — ведь как теперь изменишь? Это — Павлово дело, он, лысый, интернационал этот устроил...

— Эх, Павел, Павел! — вздыхает господь.— И сыну моему он евангелие испортил, и мне от него житья нет...

Смотрит Яшка, слушает, не всё ему понятно, а что скушно в раю, это он прекрасно чувствует: ни есть, ни пить не хочется, играть тоже неохота, и на душе смутно, как будто он клюквенным киселем объелся.

«Чего они побоями-то хвастают? — думает Яшка, глядя на святых.— Меня не меньше били, да я вот молчу! У нас, на земле, друг друга как бьют, кости в крошечки дробят, а — ничего!»

И стало Яшке жалко бога,— какая у него жизнь? Все вокруг ноют, никто побоев не стыдится, а еще в честь и заслугу терпение свое ставят себе.

И вот, когда ангелы сняли солнце с неба, спрятали его под престол господень, и наступила ночь, и праведники спать улеглись,— вышел Яшка из-за яблони, подошел к престолу и говорит:

— Господи, а господи!

Поглядел на него господь, спрашивает:

— Ты откуда?

— Из Петербурга.

— Чего рано помер?

— Да-а,— сказал Яшка,— рано! Другой бы на моем месте еще раньше подох...

— Али трудно жилось? — ласково спросил господь.

Екнуло сердце Яшкино, хотел он рассказать богу о своей тяжелой жизни, да вспомнил, как святые угодники жаловались, и — сдержался, только крякнул. И вместо того деловито сказал:

— Слушай-ко, господи, вернул бы ты меня на землю!

— Зачем? — спросил господь.

— Да что мне тут делать? Скушно здесь. Вот и сам ты апостолу говорил, что скушно...

— Чудак! — усмехнулся господь.— Да ведь тебя там опять колотить будут!

— Ничего! — сказал Яшка.— Поколотят за дело — не пожалуюсь, а зря будут бить — не дамся!

— Храбрый ты! — усмехнулся господь.

— Слушай-ко,— деловито сказал Яшка,—ты вот что сделай, ты меня верни назад на землю, а я там выучусь на балалайке играть, и когда второй раз помру, так буду тебе веселые песни петь с балалайкой,— ладно? И тебе веселее будет, и я недаром стану в раю торчать.

Поглядел на него господь из-под густых бровей, погладил бороду седую и тихонько спросил:

— Али тебе, Яшка, жалко стало меня?

— Жалко! — сказал Яшка.— Надоедные больно угодники-то твои!

Тогда Саваоф дотронулся до головы его легкой рукой и сказал:

— Ну, спасибо тебе, друг мой милый,— за все века ты первый пожалел меня! И — верно ты надумал,— с твоим сердцем в раю делать нечего; иди, милый, на землю, в ее скорби и радости, иди — жалей всех людей земных, служи им верою, как богу, помогай им в трудах, утешай в горе, весели в печалях — тут тебе и награда будет! Иди, дружок, живи во славу людям!

И повелел господь Петру-апостолу открыть двери рая, а херувимам снести Яшку на землю.

— Прощай! — сказал Яшка, кивнув головой господу.— Не скучай, я скоро вернусь!

‹ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ 1918 ГОДА›

SCHWEBENDER SCHWUR

Ewige Liebe schwöre ich dir...
beim Felsen, darauf mein Haus sich erhebt,
beim grünenden Nussbaum vor dem Haus,
dessen Holz jetzt mit den Konturen meines Sarges
ringt...
und bei diesem Meere unter dem Felsen,
über welches die ununterbrochene Kette
meines warmen Hauches nach Westen zieht...

Schwöre ich dir ewige Liebe,
deren Schatten einmal
an den Zinnen meines Hauses dahinflog:
Verschleierte Seele... Mensch...

SUMMA SUMMARUM

Schritt für Schritt
Stieg ich die Treppen ab
Eines uralten, tiefen Kellers.

Der Keller war meine Seele.
Tief unten
Glänzte ein Tümpel Wein.

Er glänzte rötlich,
Ich trank davon
Und träumte von Sonnenschein.

TRAGOEDIAE FINIS

Es hang
Ein graues Spinngewebe
Ich sah es bang.

In der Mitte
Zuckten die Glieder
Einer grüngoldenen Fliege.

Regungslos hockte an ihr
Die graue Spinne stumm
Und aus Körper in Körper drank Blut.

Aus der erlegten Fliege Leben
Fort strömte in mich alles Blut...

Aber an ihrer Leiche
Verblieb die grüngoldene Glut.

SCHWINDSUCHT

Im nassen Frühling
Holte ich mir irgendwo einen Schnupfen.
Aus Langeweile
Begann ich an meinen schweren Decken zu zupfen.
Ich glaube, am ersten April.

Später im heissen Sommer dann,
Da ich bereits zu röcheln begann,
Irgendein Arzt verordnete mir
Schwarze Tinte und weisses Papier.

Im Monate Oktober
Las irgendein Pfarrer
Ueber meiner Leiche
Irgendwelchen Textus
Aus einem meiner
Zahlreichen Bücher.

SELBSTBEKENNTNIS

Alles
Was ich lese und sehe
Strömt in mich.

Alles
Was ich schreibe und male
Fliesst fort — in dich,
Kommende Zeit.

Tief ist der Fluss nicht —
Aber breit.

ПЕРЕВОДЫ [1]

ЛЕТЯЩАЯ КЛЯТВА

В вечной любви клянусь я тебе...
у скалы, на которой стоит мой дом,
у зеленеющего перед домом орехового дерева,
ствол которого напоминает очертания моего
гроба...
у этого моря под скалой,
над которым тянется к западу
непрерывная нить моего теплого дыхания...

Я клянусь тебе в вечной любви,
тень которой однажды
пролетела над крышей моего дома:
Загадочная душа... Человек...

[1] С немецкого перевела Э. Мирова-Флорин (ГДР).

SUMMA SUMMARUM [1]

Шаг за шагом
Спускался я по лестницам
Старинного глубокого погреба.

Погреб — была моя душа.
Глубоко внизу
Блестела лужица вина.

Она красновато блестела,
Я пил из нее
И мечтал о солнечном свете.

КОНЕЦ ТРАГЕДИИ

Где-то висела
Серая паутина.
Со страхом глядел я на нее.

В середине
Трепетала зелено-золотая муха.

Неподвижно и безмолвно
Восседал на ней серый паук,
И из тела в тело переливалась кровь.

Из убитой мухи
Устремлялась в меня вся кровь...

Но на ее трупе
Оставался зелено-золотой блеск.

---

[1] Итог (*лат.*).

ЧАХОТКА

В сырую весеннюю погоду
Подхватил я где-то насморк.
От скуки
Стал я перебирать края моих тяжелых одеял.
Кажется, это было первого апреля.

Позже, жарким летом,
Когда я уже начал задыхаться,
Какой-то врач прописал мне
Черные чернила и белую бумагу.

В октябре
Какой-то поп читал
Над моим трупом
Какой-то текст
Какой-то из моих
Многочисленных книг.

ПРИЗНАНИЕ САМОМУ СЕБЕ

Всё,
Что я читаю и вижу,
Входит в меня.

Всё,
Что я пишу и рисую,
Уходит — в тебя,
Будущее.

Поток неглубок,
Но широк.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
<ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ>

...Сидя в чайной, я услышал сердитый возглас:

— Всех прогнали, всех! Говорю тебе — Иван Кронштадтский едет к ним.

Кричал тощий старичок в темных очках на лиловом носу пьяницы, босый, в сером ветхом подряснике,— один из маленьких актеров, которые играют легкие и выгодные роли строгих судей мира сего.

Я подсел к нему и узнал, что проездом откуда-то Иоанн Кронштадтский остановится на несколько дней в Рыжове,— в монастыре верст за тридцать от Харькова.

Маленькие стенные часы с подковой, привешенной к одной из гирь, показывали около семи, было утро; к вечеру, не торопясь, я пришел в Рыжово.

У ворот монастыря толпились странники, обыватели, шагал длинный студент без фуражки,— его череп, обритый, как у татарина, был покрыт красными рубцами и язвами. В тени стены и деревьев стояла богатая карета — люди осторожно обходили ее, как будто боясь, что карету разорвет. Высокий старик с большой седой бородой прислонился спиной к стене и, сердито нахмурив густые брови, разглядывал людей серыми глазами.

На дороге, в пыли, стояла на коленях маленькая женщина в черном платье, голова ее была туго повязана белым платком, а волосы, видимо, были густы и обильны,— голова казалась уродливо распухшей. Стояла эта женщина неподвижно, точно вросла в землю по колени. Я хотел взглянуть в лицо ей и не мог,— голова была наклонена слишком угнетенно и низко.

Толстый полицейский в новенькой форме и белых перчатках искоса, вдумчиво смотрел на нее, курил и громко плевал под ноги себе.

Люди говорили вполголоса, точно у постели тяжело больного. В воздухе колебался осторожный гул, чувствовалось нервное напряжение. Бесшумно и быстро, как мыши, суетились серые фигуры странниц. Было жарко, душно, в красноватых лучах солнца играли пылинки, листва деревьев монастырского сада тоже покраснела, точно осенью.

Ворота монастыря заперты. В нише, на лавочке, большой чернобородый привратник, в окошечке калитки, точно в раме, вставлено мохнатое лицо монаха; дремотно закрыв глаза, он что-то напевал тихим тенорком.

— Куда прешь, оглобля? — спросил привратник, когда я подошел к нему.

«Большинство брюнетов — добрые люди»,— где-то сказал Диккенс, один из наиболее любимых мною писателей; я несколько раз проверял его слова и почти всегда оказывалось,— Диккенс — прав.

— Куда ты, остолоп? — несколько испуганно воскликнул привратник, видя, что я сажусь рядом с ним. Но — подвинулся, глядя на меня темными и, действительно, добрыми глазами,— они сияли мягко, дружественно.

— Ты дай ему пинка, брат Илья,— нехотя посоветовал монах из окошка, протяжно зевнул и — скрылся.

Я сказал привратнику, что мне совершенно необходимо побеседовать с отцом Иоанном.

— Все этого хотят — видишь? А пускать к нему — не велено...

— Но — если я хочу покаяться в большом грехе?

— Тогда — в полицию иди, дурачок,— сказал монах, с любопытством заглядывая в лицо мое.

— Что — беглый солдат?

Я обещал рассказать первому ему все мои грехи и преступления, если он поможет мне увидеть И. Кронштадтского.

Он — заволновался, привстал, тихо крикнул в окошко:

— Ермий?! Ушел.

И, задумчиво вытаращив на меня добрые глаза, он посоветовал:

— Ты — отойди, а я что-нибудь придумаю...

Было ясно, что он принадлежит к числу тех добряков, которые во всем — до воровства и убийства включительно — готовы помочь настойчивому человеку. Но — люди этого типа могут только помогать, сами же ничего не в силах сделать. Монах ничего и не придумал, но согласился пустить меня ночевать к садовнику монастыря.

Должно быть, народная мудрость справедливо отметила, что «кривых да хромых — нет во святых»,— садовник оказался злым старичком; одноглазый, желтый, с черными зубами, он бормотал, захлебываясь раздражением:

— Да, да — как же! Угодник божий приехал к нам, ряса — шёлковая, сапоги со скрипом, апельсины ест,— сейчас ему в сад третий апельсин понесли. Да, да,— в саду сидит, пожелал уединения, как же — о господи. Не велел никого пускать к себе, устал, дескать!..

Он бормотал скрипучей скороговоркой и суетливо метался по сараю, загроможденному тачками, лопатами, горшками.

Очень трудно было уговорить его, чтоб он пустил меня в сад, но наконец он согласился: ему очень хотелось причинить гостю маленькую неприятность.

— Ступай, только ежели он заскандалит — я ничего не знаю и никогда тебя не видал! Ты скажи, что через ограду перелез,— давеча один такой перелез.

Старик усмехнулся и добавил:

— Попало ему!

Он выпустил меня в сад, осторожно приотворив широкую дверь сарая, и — вот я иду по дорожке густого душистого сада, ярко светит луна, в глубине дорожки — небольшая полукруглая площадка и там, на скамье, сидит темная фигура.

— Кто это опять?

Убедительно, как только мог, я сказал, что имею непобедимое желание беседовать с ним и для того перелез стену сада...

Он сидел, согнув спину, опираясь ладонями рук о скамью, в коленях его,— в складках рясы,— лежала коробка фиников, и я видел на скамье косточки их, разложенные правильным кругом. У ног священника разбросаны корки апельсина,— в лучах луны они казались цветами.

— Ну, что же... о чем же?..

Он смотрел на меня, не поднимая головы, но высоко подняв брови и заведя глаза ко лбу. На лице его лежала густая тень шляпы. Я скорее чувствовал, чем видел, что глаза его смотрят на меня неприязненно.

— Ну, говори...

Я спросил его о происхождении зла,— древний вопрос этот был для меня в то время нов и мучителен.

— Что-о? — удивленно протянул Иоанн, взмахнув головой так сильно, что шляпа съехала на затылок, открыв сухое, серое, очень знакомое лицо сельского попика. Мне показалось, что в остром взгляде его сердитых глаз дрожит испуг.

— Ты кто? Солдат?

— Не всё ли вам равно?

Поправив шляпу, он вполголоса строго, почти гневно и очень быстро заговорил:

— Кто тебя научил этому? Тебя подослали ко мне,— искушать меня? Ты — переодетый студент?

Он вдруг подскочил, коробка фиников упала на землю, откуда-то выкатился апельсин и побежал по площадке; толкая меня в грудь пальцем, священник как-то оглушительно зашептал:

— Встань на колени,— молись! Кайся мне,— где ты слышал это, от кого? А, еретик,— тебе ли, собака, лаять слова, смысл коих неведом, недоступен таким, как ты! Молись...

Я рассердился. Меня влекло к нему не простое любопытство и не желание состязаться с ним в силе ума,— меня крутил по земле вихрь сомнений, от которых сердце мое разрывалось на куски и леденел мозг, я ходил среди людей полуслепой, не понимая смысла их жизни, их страданий, почти до безумия изумленный их глупостью и жестокостью, измятый своим бессилием,

не находя нигде ответов на острые вопросы, а они резали душу мне.

Всё это я сказал ему, а потом спросил:

— Какое право имеете вы относиться ко мне презрительно и грубо?

— Сядь, овца заблудшая,— тихо сказал он, сняв шляпу, пригладив волосы и шаркая о землю подошвами обуви. Сказанное мною, должно быть, несколько пошатнуло его в мою сторону.

В глубине сада, там, откуда я пришел, двигалась черная фигура,— Иоанн долго смотрел туда из-под ладони, потом, положив легкую руку свою на плечо мне, заговорил сердито:

— Вопросы эти решает церковь, и она решила их,— не твое дело касаться мудрых вопросов, не твое! Ты не понимаешь, что мудрость их внешняя, показная,— сей мудростью диавол, отец зла, скрывает сам себя, в ней прячет он свое диавольское дело разрушения. Церковь говорит тебе: зло — от диавола, и ты или веришь этому — благо тебе, или не веришь — тогда погиб. Кто ты есть? Кто бы ты ни был, ты есть раб господа, но никак не совопросник ему. Раб!

Рука его дрожала на плече моем, и это было неприятно мне. Луна всходила всё выше, светлей становилось в саду,— я видел, что волосы негустой бородки священника шевелятся на скулах и губы его тоже дрожат.

— Я знаю,— говорил он,— ты возмутитель жизни, ты ходишь, возмущая людей, ты ведь семинарист, я вижу! Ты должен знать, что говорит церковь: «Раб ли призван был еси, да не нерадиши, но аще не можеши свободен быти, больше поработи себе». И еще: «Раби, послушайте господий своих по плоти со страхом и трепетом».

Он резко отодвинулся от меня. На вопрос мой: если бог всемогущ, зачем же он допускает козни дьявола? — Иоанн ответил почему-то шёпотом:

— Еще говорю: не твое дело, отверженик, ставить вопросы сии! Разумей это и — оставь меня...

Мне показалось, что глаза его налиты страхом, темные их зрачки странно трепещут. Я попросил его

извинить меня за беспокойство и хотел идти, огорченный бесплодной беседой, но — он остановил меня:

— Погоди! Что ты еще можешь сказать?

Я молчал. Всё, сказанное им, я уже неоднократно слышал. Мне вспомнились бесстыдные глаза и бесстрашные мысли воронежского циника иеромонаха Паисия, и я думал — насколько этот беспутный человек, одиноко живущий в пустыне неверия,— насколько он крупнее, человечнее и всячески значительнее Кронштадтского и всех, подобных ему!

— Ты книги, что ли, читал, какие церковные книги читал ты? — спросил Иоанн, глядя на меня исподлобья.

Я назвал несколько книг,— в их числе Юстина-философа.

— Вот,— грозя пальцем, торжественно сказал Иоанн Сергиев,— видишь? Юстин-то еретик был!

Когда я напомнил ему, что это другой Юстин, мученик, признанный святым,— он сердито и ворчливо сказал:

— Врешь ты, путаешь что-то...

Но тотчас же добавил:

— Впрочем — церковь празднует память Юстина-мученика первого июня,— этот? Вот видишь,— значит ты семинарист. Выгнанный? На каком языке читаешь?

Он, видимо, не знал, что Иустин, а также Ириней Лионский переведены на русский язык, и это снова раздражило его. Коротко отвечая на его нервные вопросы, я ловил взгляд странных глаз, они бегали, мигали. Чем, какою силой этот человек ведет людей за собой?

— Макария — читал? Всё это не нужно тебе. Зачем это? В монастырь метишь, на легкий хлеб, бездельничать?

Он часто, нервозно застучал ладонью по скамье и заговорил торопливо, глотая слова:

— Богу — вера нужна, а не суета мирских дел! Видел я таких, людям помогать хотите, а себе помочь не можете! Шляетесь, спрашиваете, обременяя совесть чужую, смутьяны, а — совесть пастыря отвечает за вас пред господом! Бог наш — чистоты и ясности душев-

ной требует, а вы засоряете души ближних хитростями словосплетений дьявольских...

Я с трудом ловил его слова и, наверное, не понял, не запомнил бы их, если б не слышал из других, более спокойных уст, от более уравновешенных или равнодушных людей.

Странная, должно быть, картина была, если посмотреть со стороны: на полукружии, среди серебристо освещенных деревьев судорожно трясется тощий, небольшой попик в темной рясе, отливающей в изгибах золотом, а перед ним длинная фигура бродяги в солдатской шинели, с грязной котомкой за спиной, с широким «брилем» в руке — хохлацкой шляпой из пшеничной соломы.

— Давно известно всё это, от древних еретиков идет эта болтовня — да-да-да! Я — знаю!— Он вскочил на ноги и высоким голосом, почти истерически, закричал:

— Кто послал тебя изливать яд этот в души людей? Дьявол, да-да-да!

Сзади меня тяжело затопали по земле четыре ноги — точно бык шел.

Иоанн Сергиев, кажется, хотел толкнуть меня или схватить за шиворот — он протянул ко мне трясущиеся руки, но, взглянув за плечо мое, болезненно вскричал:

— Кто это? Что надо? Ах, боже...

— Мы думали...— сказал кто-то густым басом.

— Ничего мне не надо, не надо...

Замахав руками, он опустился на скамью, но тотчас же снова вскочил, торопливо говоря:

— Погодите,— вот — человек этот... проводите его! За ворота проводите... да, да — он не здешний...

И судорожно перекрестил меня.

— Иди, бог благословит... иди с богом!

— Пожалуйте! — сочным басом сказал широкоплечий монах, становясь рядом со мною, и видя, что я не трогаюсь с места, повторил, легонько толкнув меня плечом:

— Пожалуйте?

Я пошел как во сне, внутренно оцепенев.

— Побеседовал? — спросил монах, упирая на о, а другой, идя за спиною моей, фыркнул и закашлялся.

Я посмотрел назад: там, на площадке, одиноко стоял маленький черный человечек. Кажется — он крестился, глядя в небо.

Подвели меня к воротам, привратник открыл их и весело спросил:

— Вытурили все-таки?

Ночь я просидел с ним на лавочке; он дремал, прижавшись в уголок ниши, сладостно чмокал губами, вздрагивал, просыпался и, широко открыв глаза, пугливо крестил грудь:

— О господи... ох ты, боже...

Негодуя, плевал на землю и жаловался:

— Задремлю, а меня пес лижет... большущий пес, и прямо в губы... К чему это?

Ночь была удивительно ясная, теплая, со станции Люботин доносились свистки паровозов и, смягченный расстоянием, грохот поездов.

Задолго до того, как ударил колокол, призывая к ранней обедне, явился бритый студент, а с ним другой — маленький, длинноволосый, с черными глазами на бледном лице. Медленно, как слепой, подошел старик и встал к стене, там же, где стоял вчера, не идя во храм, куда уже почти непрерывной вереницей шли разные люди.

Кто-то сказал:

— Проповедовать будет...

Я искал в толпе вчерашнюю маленькую женщину, не нашел ее, и мне стало боязно: что с ней?

Когда я решил идти во храм — туда уже нельзя было пробраться, так много втиснулось народа в него. Я остался на паперти и видел, как после конца обедни из дверей храма излилась и закрутилась темным вихрем толпа возбужденных людей, стекая со ступеней паперти во двор и снова возвращаясь на ступени, вытягивая шеи. Сопровождаемый тремя монахами, стиснутый толпой, медленно двигался Иоанн Кронштадтский,— голова его была высоко вздернута, рот полуоткрыт и на потном лице дрожали, сверкая, полубезумные глаза,— именно дрожали, устремленные в одну точку.

Огни свеч отражались в них,— золотисто-желтые

белки словно кипели и таяли, изливая влажное сияние. У него тряслась челюсть, двигалась борода,— лицо сурово ощетинилось.

— Скажи нам... Скажи!..— гудели голоса. Он хрипло, отрывисто говорил:

— Молитесь... кайтесь...

Толпа бурно влеклась за ним, хватала его рясу, руки, необыкновенные лица с раскрытыми ртами заглядывали в его покрасневшее потное лицо, а он неуклонно смотрел через них и бросал краткие слова,— они утопали в шарканье ног по плитам церкви, в гуле просьб и жалоб.

— Вера — прибежище наше...

Я следил за его взглядом, и снова мне показалось, что глаза его налиты страхом,— это он жжет и плавит их. Шатаясь под толчками людей, человек этот взмахивал пред лицом своим правой рукою, как будто отталкивая от себя кого-то невидимого мне, сгибал плечи и спину, словно подавленный непосильной тяжестью, готовый упасть, и дрожащими глазами всё смотрел вперед, как бы видя пред собою чей-то строгий, ослепляющий взгляд. И бормотал:

— Единое на потребу... О Марфе помните... Не пещитеся о многом.

— По-озвольте! — мощно гудел большой монах, добродушно улыбаясь и раздвигая людей плечом, локтем, коленом, освобождая путь.

Отца Иоанна сильно бросило вперед и снесло с паперти,— больше я не видал необыкновенного взгляда его испуганных глаз.

IM SEGELBOOT ÜBER DAS KASPISCHE MEER

Also wieder nach Nishnij.

Nachdem ich mit der Eisenbahn bis Baku gefahren war, hatte ich dort das Glück, mit einem mir bekannten Artel von Fischern des «Gottesgewerbes» zusammenzutreffen und setzte mich zu ihnen in das alte zweimastige Segelboot.

Meine Reisegefährten waren meistens Bauern und Bauernweiber von Nishnij-Nowgorod, aus Ssergatsch, von den waldigen Ufern des launisch gewundenen Flusses Pjanaja. Viele von ihnen hatten von Jugend auf im Kaspischen Meer gearbeitet, ihr ganzes Leben lang, jahraus jahrein, wie schon ihre Väter und Großväter.

Das Oberhaupt des Artel, der «Wataman», der hünenhafte, sechzigjährige Kornej Wawiloff, ein Lüstling und Zotenredner, aber klug und den Leuten gegenüber gerecht und streng, sagte mit Stolz: «Wir Wawiloffs fischen schon seit Zarin Katharinas Zeiten in diesem Meer!»

Es waren alles kraftvolle und bärtige Männer, die Haut an Gesicht, Hals und Händen rotbraun, gut gegerbt von dem salzigen Wind und dem unsichtbaren heißen Sandstaub: ihn bringt der Ostwind, und er reizt die Augen bis zum Schmerz, die Nerven bis zur Wut.

Der Wind war günstig und stark genug, aber trotzdem trieb sich unser Segler vier ganze Tage lang auf dem langweiligen Meere mit seinem ermüdend einförmigen und unberechenbaren Wellenschlag herum.

Die Leute waren von der sieben Monate langen schweren und gefährlichen Arbeit müde geworden und von den ersten Ruhetagen schon ohne Wein wie berauscht.

Sie führten aber auch ein Fäßchen Rotwein mit sich «für die Weiber» und einige Eimer Schnaps.

Man fing mit dem Trinken an, sobald man vom Lande abgestoßen war, und trank ununterbrochen den ganzen Tag. Dazu wurde gedörrtes Hammelfleisch, Preßkaviar und geräucherter Stör gegessen.

Die Weiber tranken der Reihe nach aus einer und derselben blau emaillierten Kasserolle,— sie faßte etwas weniger als eine Flasche. Sie tranken ohne eigentlich trunken zu werden, wurden nur geschwätziger und lustiger; ihnen wurde heiß, sie machten die oberen Knöpfe ihrer Jacken auf und setzten die Brüste dem kalten unfreundlichen Oktoberwind aus. Eine stattliche, übermütige Dicke tat spaßeshalber so, als wäre sie seekrank. Sie lief zum Schiffsbord und beugte sich über ihn. In diesem Augenblick schlug eine starke Welle an den entgegengesetzten Bord, das Boot legte sich stark auf die Seite und im nächsten Augenblick blitzten ihre blanken Beine in der Luft.

Man warf ihr sofort ein langes, dünnes Tau zu, und es gelang ihr, es zu erfassen, bevor noch ihre Röcke völlig durchnäßt waren und sie zu den Fischen hinuntergezogen hatten.

Als man sie unter Lachen, Kreischen und Schreien wieder an Deck gezogen hatte, schob Wawiloff mit starkem Arm wie mit einem Hebel den Haufen ihrer Freundinnen auseinander, holte aus und gab ihr mit seiner eisernen, rot-braunen Faust einen Schlag auf den dicken Hals.

«Wofür denn, Väterchen?» fragte sie ärgerlich, während sie ihre nassen Haare auswand.

«Dafür: Geh bis zum Rand, aber fall nicht hinein! — Treib Scherz»,— hier fügte er voller Gleichmut drei gesalzene Wörtchen aus dem russischen Volkslexikon hinzu, «aber stör nicht die andern!»

Ein dröhnendes Gelächter aus achtzig Kehlen stieg zum Himmel. Wawiloff aber, der unter seiner breiten Handfläche hervor bereits ins Meer hinaussah, schrie schon jemandem zu:

«Weiter meerwärts, du Teufel! Heh!»

Er betrug sich so, als sei er der Eigentümer des Bootes oder ein Räuber, der es gekapert hatte, kommandierte dem Steuermann, schalt die persischen Matrosen,

stieß sie mit den Fäusten in Seiten und Rücken, und sie zeigten ihm nur schweigend ihre weißen dicht gedrängten Zähne.

Der wirkliche Besitzer des Seglers, ein einäugiger, rothaariger Mann, saß betrunken im Kreise der Weiber und lehrte sie mit seiner Kamelstimme singen:

Da kommt sie nun heran,
Sie wackelt mit den Brüsten —
Laß dich's nur nicht gelüsten...

Dabei nickte er nach allen Seiten mit dem Kopfe, der zottig war, wie der eines Waldteufels, stippte mit den Fingern den Fischerinnen an die Brüste und brüllte heiser:

Aber mich — ficht's nicht an
Und ich tippe doch daran! —

Die Weiber kreischten, lachten und schlugen ihn auf die mit braunen Haaren wie mit Rost dicht bedeckten Hände.

Am nächsten Tage fiel ein lahmer, stark angetrunkener Zimmermann aus Rjäsan über Bord; es gelang aber nicht, ihn zu retten, und Wawiloff stand, die Hände auf dem Rücken, und schimpfte finster:

«Jetzt kann unsereins für den Dummkopf, Gott verzeih mirs, aufkommen! — Na, Ihr da, Teufel!» — wieder ein kräftiges russisches Schimpfwort,— «Mützen ab! Betet für das Seelenheil des Gottesknechtes — wie hieß er denn?»

«Mischka!»

«Mitjka!»

«Gut, daß er nicht zu uns gehörte»,— sagte Wawiloff etwas gutmütiger; und er entblößte seinen kahlen Schädel und kommandierte: «Singt das Totenlied!»

Achtzig ganz oder halb betrunkene Stimmen begannen nun das «Ewige Gedächtnis» abzusingen. Sie sangen wirr durcheinander, nicht im Takt, aber so laut, daß sie die Schläge und das Plätschern der Wellen übertönten.

Alle blickten dabei in das Meer hinaus, an dessen

sägeartig gezacktem Rande die große rote Sonnenkugel strahlenlos im Erlöschen stand.

«Pawel hat er geheißen»,— sagte halblaut eine der Frauen.

«Du weißt alles, du Hure!» — schrie Wawiloff sie an, sah dann zum Himmel auf und sagte eindringlich: «Herr Gott, sei deinen Knechten gnädig und bewahre uns vor einem unbußfertigen Tode! Herr, erbarme dich unser!»

Die Frau, die tags zuvor ins Meer gefallen war, heulte plötzlich laut auf.

«Was hast du, Närrin?»

Mit zitternder und oftmals abbrechender Stimme brachte sie unter großer Anstrengung hervor:

«Ich — ich — wäre — wäre ja auch so ertrunken, wenn ihr mich nicht herausgezogen hättet!»

Einer der Anwesenden — ob es ironisch oder ernst gemeint war, konnte ich nicht verstehen — äußerte verwundert: «Das hat sie wahrhaftig begriffen!»

Dann wurde Schnaps getrunken für das Seelenheil des rjäsanischen Zimmermanns, und zwei der ältesten unter den Fischern suchten sich zu erinnern, wieviel Menschen schon vor ihren Augen im Kaspischen Meere ertrunken waren.

«Ich zähle siebzehn ungefähr...»

«Viel, viel mehr! Ich könnte wohl an die dreißig herzählen, aber ich kann mich nicht mehr genau entsinnen».

Die Stimmung, die mich beherrschte, brachte eine verwunderte, in naiver Form irgendwo hingeworfene Bemerkung zum Ausdruck: «Ein Mensch ist zugrunde gegangen, was macht's aus? Nicht mehr, als wenn man einem Bettler einen Groschen gegeben hätte!»

Eine kalte Oktobernacht senkte sich auf das Meer herab, und in den dunklen Löchern zwischen den Wellen blitzte der Widerschein der Sterne auf. Über dem Meere scheint der Himmel höher, die Sterne scheinen ferner zu sein.

Von Osten her flogen stoßweise die warmen Seufzer der Steppe herüber und rissen den Schaum von den Kämmen der Wellen. Über den Steuerbord schlug die Welle und überschüttete das Deck mit zahlreichen Spritzern.

«Heh! Du da am Steuer, halt die Augen offen!» — hörte man irgendwo Wawiloff schreien.

Unter dem Mastbaum sangen drei hübsche Stimmen ein getragenes Lied, und gleichzeitig stieg schwankend das gelbe Licht einer Laterne am Mast in die Höhe.

In meiner nächsten Nähe, auf den Bündeln geräucherter Fische, unterhielten sich halblaut unsichtbare Leute:

«Ich machte mich so — und so — an sie heran — sagte ihr dies und das — aber wo denkst du hin, Bruder, sie wendet die Fratze weg und damit basta!»

«Ein Frauenzimmer mit Charakter also! Gott bewahre mich vor einem Weibsbild, das Charakter hat».

Zu den Singenden gesellten sich nun auch Frauenstimmen, und in die Dunkelheit hinein ergoß sich ein rührseliges, wortloses russisches Lied.

«Morgen Mittag sind wir an dem „Neunten Fuß"»,— sagte schläfrig eine heitere Baßstimme.

Der Mond ging auf und warf über das schwarze Wasser einen goldglänzenden Läufer. Irgendwo in der Nähe sagte eine hohe Stimme laut und deutlich:

«Gut ist unser Artel, eine große Kraft! Dafür werden wir auch besonders geehrt und die Preise sind höher...»

Ich lag in mein Segeltuch eingewickelt, hörte auf die Stimmen, dachte daran, wie mitleidslos diese Leute zueinander sind und fragte mich: «Kann man dieses Verhalten für ein Zeichen von Kraftüberschuß ansehen? Was für ein gewaltiges, an Kräften reiches Volk...»

Aber hier erstanden in meinem Gedächtnis andere Menschen und andere Szenen an verschiedenen Punkten des weiten Stückes Erde, das ich mit meinen Füßen durchmessen habe; ich erinnerte mich, verglich, wägte ab. Und in meiner Seele wurde es dunkel und unruhig wie auf dem Meere...

In Astrachan wurden die guten Tiere auf den Dampfer der Gesellschaft Merkur «Oleg Weschtschij» verladen und verloren hier sofort ihre Farbe.

Ihre Stimmen klangen weniger laut, die Worte wurden vorsichtiger, in ihren Bewegungen machte sich eine gewisse Unsicherheit bemerkbar, aber trotzdem schrie Wawiloff besorgt: «Ruhig, Ihr da, Teufel! Habt Ihr noch nicht genug gelärmt? Schnattert ihr da?»

Die Matrosen des Dampfers brüllten die Ankömmlinge an, wie Sieger ihre Gefangenen und stießen beim Waschen des Decks absichtlich mit den nassen Schiffsbesen nach ihren Füßen.

Aber sie ertrugen alles ohne Protest; augenscheinlich stellten sie die Matrosen des Merkurdampfers höher als sich selbst.

Die übermütigen Weiber gingen sittsam mit züchtig geschlossenen Lippen über das Deck und auf ihren geröteten Gesichtern erschien ein Ausdruck von Bescheidenheit und Rechtschaffenheit, der nicht recht zu ihnen paßte. Und wenn die Matrosen mit ihnen anbändelten, so nahmen sie das wie wohlwollende und sogar schmeichelhafte Scherze von Vorgesetzten hin.

ПЕРЕВОД

НА ШХУНЕ ПО КАСПИЙСКОМУ МОРЮ

Итак, снова в Нижний.

Доехав до Баку по железной дороге, я встретился со знакомой рыболовецкой артелью с «Божьего промысла» и сел к ним на старую шхуну о двух мачтах.

Спутники мои были большей частью нижегородские мужики и бабы из Сергача, с лесистых берегов капризно извивающейся речки Пьяной. Многие из них работали на Каспии с юности, всю жизнь, из года в год, как их деды и прадеды.

Староста артели, «атаман», шестидесятилетний богатырь Корней Вавилов, распутник и сквернослов, но умница, и справедливый и строгий к людям, с гордостью говорил: «Мы, Вавиловы, рыбачим на этом море еще от времен царицы Екатерины!»

Всё это сильные бородатые люди: лицо, шея и руки у них красновато-коричневого цвета, сильно обожжены соленым ветром и невидимой горячей песчаной пылью: ее несет восточный ветер, она до боли раздражает глаза и приводит людей в ярость.

Ветер был попутный и довольно сильный, но, несмотря на это, наша шхуна целых четыре дня тащилась по скучному морю с его томительно однообразным, бесконечным плеском волн.

Люди устали от тяжелой работы в течение семи месяцев и в первые дни отдыха как будто опьянели без вина.

Но они везли с собой бочонок красного вина «для баб» и несколько ведер водки.

Пить начали, как только отчалили от берега, и пили непрерывно весь день. Закусывали вяленой бараниной, паюсной икрой и копченым осетром.

Женщины пили по очереди из голубой эмалированной кружки, вмещавшей не менее бутылки. Пили они, не пьянея, а становились только болтливее и веселее; им стало жарко, они расстегнули свои кофты, подставляя груди холодному, суровому октябрьскому ветру. Статная бойкая толстуха, озорничая, притворялась, что у нее морская болезнь. Она подбежала к борту корабля и перегнулась через борт. В это мгновение сильная волна ударилась о противоположный борт, судно сильно накренилось, и в следующее мгновение ее белые ноги сверкнули в воздухе.

Ей сразу бросили длинный тонкий канат, и ей удалось схватить его раньше, чем намокшие юбки потащили ее к рыбам.

Когда ее, под смех, визг и крики, вытащили на палубу, Вавилов сильной рукой раздвинул толпу ее подруг, размахнулся и ударил ее по толстой шее своим железным коричнево-красным кулаком.

— За что, батюшка? — спросила она угрюмо, выжимая мокрые волосы.

— За то: подходи к краю, да не падай! Шути,— здесь он спокойно вставил три соленых словца,— да другим не мешай!

Раздался оглушительный хохот восьмидесяти глоток. Но Вавилов, глядя в море и приложив ко лбу огромную ладонь, уже кричал кому-то:

— Дальше в море, чёрт! Эй!

Он держался, как хозяин судна или разбойник, который захватил его, отдавал команду рулевому, ругал персов-матросов, толкал их кулаками в бок и в спину, а они только молча скалили на него свои белые частые зубы.

Настоящий хозяин шхуны, одноглазый красноголовый человек, сидел пьяный в кругу женщин и верблюжьим голосом учил их петь:

Вот она подходит,
Она трясет грудями,
Ты ее не тронь...

Он тряс лохматой, как у лешего, головой, хватал рыбачек за груди и хрипло орал:

А мне — какое дело,
А я их хватаю!

Женщины визжали, смеялись и били его по рукам, густо, как ржавчиной, покрытым коричневыми волосами.

На следующий день за борт упал хромой, сильно выпивший плотник из Рязани; спасти его не удалось, и Вавилов стоял, заложив руки за спину, и мрачно ругался:

— Теперь еще придется отвечать за дурака, прости господи!

— Эй вы, черти! — опять крепкое словцо.— Шапки долой! Молись за упокой души раба божия — как его звали?

— Мишка!

— Митька!

— Хорошо, что он не наш,— сказал Вавилов немного мягче; он обнажил свой лысый череп и скомандовал:— «Заупокойную»!

Восемьдесят пьяных и полупьяных голосов затянули «Вечную память». Они пели нестройно, но так громко, что пение заглушало удары и плеск волн.

Все смотрели в море, на зазубренном, как у пилы, краю которого стоял большой красный шар заходящего солнца.

— Павлом его звали,— сказала вполголоса одна из женщин.

— Всё-то ты знаешь, шлюха! — прикрикнул на нее Вавилов, потом посмотрел на небо и проникновенно сказал: — Господи, буди милостив к рабу твоему и избави нас от смерти без покаяния. Господи, помилуй нас!..

Женщина, которая накануне упала в море, вдруг громко заголосила.

— Ты что, дура?

Дрожащим, прерывающимся голосом она, запинаясь, сказала:

— И я... и я... вот эдак — потонула бы, кабы вы меня не вытащили!

Кто-то удивленно сказал — я не понял, всерьез или с иронией: «Ишь, поняла!»

Потом пили водку за упокой души рязанского плотника, и двое старых ловцов пытались вспомнить, сколько народу на их глазах потонуло в Каспийском море.

— Я насчитал человек семнадцать...

— Куда, куда больше! Я, пожалуй, человек тридцать насчитал бы, да всех не упомнишь.

Настроение, которое охватило меня, выразил кто-то, спросив с наивным удивлением: «Пропал человек, ну и что из того? Точно нищему грош подали!»

На море спустилась холодная октябрьская ночь, и в темных ямах между волнами блестят отражения звезд. Небо над морем кажется выше, звезды — дальше.

С востока порывами доносится теплое дыхание степи и срывает пену с гребней волн. Одна волна перекатилась через борт и окропила палубу многочисленными брызгами.

— Эй ты, там, у руля, смотри в оба! — послышался откуда-то голос Вавилова.

Под мачтой три красивых голоса затянули знакомую песню, и в то же время колеблющийся желтый свет фонаря скользнул вверх по мачте.

Рядом со мной, на связке копченой рыбы, вполголоса беседуют двое невидимых людей:

— Я к ней и так и эдак — говорю ей и то и другое, и что ж ты, брат, думаешь, воротит рожу да и только!

— Значит, баба с характером. Упаси меня бог от бабы с характером!

Теперь к поющим присоединились и женские голоса, и в темноту льется жалобная русская песня без слов.

— Завтра в полдень будем у «Девяти фут»,— сонно сказал кто-то веселым басом.

Месяц взошел и бросил на черную воду золотистую дорожку. Где-то близко высокий голос громко и отчетливо сказал:

— Хорошая у нас артель, большая сила! Зато нам и честь особая и плата больше...

Я лежал, завернувшись в парус, слушал и думал о том, как безжалостны эти люди друг к другу, и спрашивал себя: «Можно ли считать такое поведение признаком большой силы? Какой крепкий, богатый силами народ...»

Но здесь в памяти моей встали другие люди и другие сцены в различных местах большого пространства земли, которое я исходил пешком; я вспоминал, сравнивал, взвешивал. И в душе у меня стало темно и неспокойно, как на море...

В Астрахани это доброе зверье погрузилось на пароход «Вещий Олег» общества «Меркурий» и сразу потеряло здесь свою красочность.

Голоса их звучали не так громко, речи стали осторожнее, в их движениях стала замечаться какая-то неуверенность, но все-таки Вавилов озабоченно кричал: «Тише вы, черти! Мало вы пошумели? Чего трещите?»

Матросы парохода орали на прибывших, как завоеватели на пленников, и, мóя палубу, нарочно задевали их по ногам мокрой шваброй.

Но они сносили всё, не протестуя; очевидно, они считали матросов парохода общества «Меркурий» выше себя.

Озорные бабы ходили по палубе степенно, со стыдливо поджатыми губами, и на их загорелых лицах появилось выражение скромности и благопристойности, которое не очень шло к ним. И когда матросы затрагивали их, они принимали это как благожелательную и даже лестную шутку со стороны начальства.

III

НЕ ПУБЛИКОВАВШЕЕСЯ АВТОРОМ

ПИСЬМА К ЧИТАТЕЛЯМ
<Л. А. СУЛЕРЖИЦКИЙ>

Растут города, и постепенно утолщается слой «чернорабочих культуры» — вольнонаемных, ремесленных и других людей, всячески «служащих» благоустройству, уюту и украшению буржуазной жизни. Это — довольно мощный экономически, пестрый, совершенно неорганизованный слой, бессильный создать какую-либо свою идеологию, это — сотни тысяч людей, чья энергия поглощается социальными условиями современности наименее продуктивно.

Но всё чаще на этой почве рождаются какие-то удивительно талантливые люди, свидетельствуя о ее силе и духовном здоровье.

Вот, например, недавно умер режиссер Московского художественного театра Леопольд Антонович Сулержицкий, человек исключительно одаренный, человек, родившийся «праздновать бытие». О нем необходимо рассказать, ибо его жизнь — яркое горение силы недюжинной, его история способна утвердить веру в творческую мощь городской демократии, мощь, которой так трудно развиваться и которая, развиваясь, обогащает среду, социально чуждую.

Леопольд Сулержицкий, или Сулер, как прозвал его Л. Н. Толстой,— сын киевского переплетчика; он родился в подвале, воспитывался на улице.

— Улица — это лучшая академия из всех существующих,— рассказывал он с веселым юмором, одним из его ценных качеств, которые помогали ему легко

преодолевать «огни, воды и медные трубы».— Много дает улица, если умеешь брать. Бесстрашию пред жизнью меня учили воробьи...

Он заразительно смеялся, коренастый, сильный, с прекрасными живыми глазами на овальном лице в рамке темной окладистой бородки.

— Хорошо орлу ширять в пустоте небес,— там никого нет, кроме орлов. Нет, а ты поживи, попрыгай воробьем по мостовой улицы, где вокруг тебя двигаются чудовища,— лошадь, которая в десять тысяч раз больше тебя, человек, одна ступня которого может раздавить пяток подобных тебе. И гром, и шум, и собаки, и кошки — вся жизнь огромна, подавляет. Я всегда с удивлением смотрел на этих крошечных храбрецов,— как они весело живут в страшном хаосе жизни! И я уверен, что именно от них воспринято мною упрямство в борьбе за себя, за то, что я любил...

Сам Сулер менее всего походил на воробья, он напоминал какую-то другую, свободолюбивую птицу хорошего лёта,— такой подвижный, независимый, окрыленный страстью к жизни.

— Конечно, меня били, переплетчик я был скверный. Но кого из нашего брата не бьют? Это ничему не мешает, ничему и не учит. Спасибо, что, не изувечив, внушили отвращение к насилию.

Двенадцати лет Сулер начал рисовать, ему особенно удавались птицы, впоследствии он рисовал их, как японец. Окончив с трудом городское училище, он поступил в Московскую школу живописи и ваяния или в училище графа Строганова — не помню. Жил, конечно, впроголодь, писал вывески, давал репортерские заметки в «Московский листок» Пастухова; на Пасхе, на святках и масленой пел в хорах балаганов Девичьего поля. А через шесть лет он работает с В. Васнецовым и Врубелем по росписи собора в Киеве. Кажется, в это время он встретил известного «толстовца» Евгения Попова, одного из наиболее искренних великомучеников идеи «непротивления злу»,— с него писал Касаткин свою картину «Осужденный». Анархизм Толстого сразу увлекает Сулера,— кстати, мне кажется, что анархизм наиболее легко приемлется именно де-

мократами вышеназванного слоя, «чернорабочими культуры», которым пока еще чужда стройная идеология рабочего класса; анархизм наиболее отвечает неопределенности экономической позиции этих групп, слишком разобщенных для того, чтобы выработать более устойчивое и действенное отношение к социальной драме современности.

Но Сулер был прежде всего человеком дела, он тотчас же бросает работу живописца, едет в одну из деревень Каневского уезда и там, занимаясь огородничеством, открыто пропагандирует среди крестьян учение Толстого, сотнями распространяя его запрещенные сочинения. Когда каневский исправник ловит его, Сулер скрывается в соседний уезд, а когда каневские власти, успокоенные исчезновением крамольника, забудут о нем, он снова возвращается к своим овощам и циклостилю. У него была лодка, и он возил овощи по Днепру в Киев, где на вырученные деньги запасался бумагой для фабрикации гектографированных брошюр, которые он печатал отлично.

Призванный к исполнению воинской повинности, Сулер отказался взять ружье, за это его треплют по тюрьмам, объявляют душевнобольным, полгода он сидит в Крутицких казармах и там,— «от скуки, от безделья», как он говорит,— обучает своих стражей грамоте. Наконец его ссылают в Кушку, на границу Афганистана.

— Мне с тобой делать нечего, а расстрелять тебя жалко,— сказал Сулеру комендант Кушки и отправил его в Серакс, военный пост, заброшенный в долине Кошана, среди редких аулов тюркмен-сарыков и эрсарипцев. По дороге туда Сулер «влез в историю».

— Ехали верхом по едва заметной дороге в песчаных холмах, я и конвойный солдат, с берданкой за спиною. Въезжаем в маленький аул,— толпа тюркмен, всё больше подростки, привязав к дереву за лапы какого-то тигроподобного красавца-зверя, так что он казался распятым, пускают в него, с криками и смехом, стрелы, бьют комьями сухой глины. В животе и груди зверя уже торчит несколько стрел, по его морде течет-пенится кровь, он бьется в судорогах, воет и рычит.

Его прекрасные глаза изумительно сверкали, и так жалобно вздрагивали золотые брови. Я ударил лошадь и поскакал в толпу, но туркмены живо ссадили меня, и, если бы не помог конвойный, на этом месте я и кончил бы жизнь. Но — нас только поколотили немного, мы ускакали. Потом конвойный говорит мне: «Видишь, какой ты отчаянный, а в солдатах служить не хочешь,— как же это?» Я ему объяснил, как это выходит у меня, и мы стали друзьями.

Комендант Серакса оказался добродушным человеком, хотя он тоже заявил Сулеру, что таких неуемных людей следует вешать.

— Но, на твое счастье, здесь русский человек дорог; кстати, моим детям нужен учитель.

Сулера зачислили в нестроевую команду, он учил грамоте детей коменданта, работал в хлебопекарне и швальне, резал из корня саксаула игрушки детям и трубки для солдат и скоро стал всеобщим баловнем населения Серакса. Он всюду становился любимцем людей — это являлось его естественной позицией.

Неистощимо веселый и остроумный, физически выносливый и ловкий, не гнушавшийся никаким трудом, он вносил жгучее и быстро заражавшее людей ощущение радости бытия. Он, как рыба икрою, был наполнен зародышами разнообразных талантов,— это дар среды, которая родила его. В совершенстве обладая способностью наблюдения, он прекрасно рассказывает жанровые сценки, умело и умеренно пользуясь юмором и фантазией, он ловко рисовал смешные карикатуры, чудесно пел украинские песни, постоянно выдумывал забавные шутки, игры.

И, заброшенный в знойные пески Азии, в крошечную кучку русских мужиков, одетых солдатами, отодвинутых на десяток тысяч верст от родины, Сулер, естественно, явился для этих людей источником радости, огнем, весело освещавшим бедную волнениями жизнь темных душ. Много лет спустя он показывал письмо от солдат Серакса; мне особенно памятны несколько веских слов этого письма,— они метко характеризуют роль Сулера в Сераксе и, я думаю, вообще в жизни:

«Был ты когда с нами, и было всё родное, а без тебя опять чужая сторона, брат».

Но все-таки непоседе стало скучно, и однажды Сулер сделал попытку бежать из Серакса, захватив с собою — вовсе некстати — женщину, жену одного из чиновников поста. Покинутый муж догнал беглецов ночью в степи и сначала пытался зарезать обоих.

— Но,— рассказывал Сулер,— я уговаривал его не делать ерунды. Парень он был славный, я его очень любил, он меня — тоже, а жена его замешалась тут вовсе зря,— скучно было ей, ребятишек нет, она и предложила мне: «Увезите меня!» «Отчего же, говорю, не увезти? Пожалуйста». И увез. Но когда муж ее догнал нас, я понял, что это свинство с моей стороны — бросить человека в азиатской пустыне одного! Я сам стал убеждать даму возвратиться к пенатам. Она — устала, изморилась, оба мы были голодны, и дело кончилось тем, что мы все трое возвратились в Серакс, откуда меня вскоре снова перевели на Кушку.

Не помню, в силу каких событий Сулеру позволили возвратиться в Россию, но он возвратился и некоторое время жил в Крыму у известной последовательницы Л. Н. Толстого М. Шульц, работая как дворник, огородник, водовоз и распространяя среди штунды Крыма запрещенные брошюры яснополянского анархиста.

Кажется, после этого он плавал матросом на торговом судне.

В конце 90-х годов Сулер живет под Москвою, на Лосином острове, в чьей-то пустой даче; там он снова занимается размножением толстовской литературы на гектографе и циклостиле,— в это время он уже лично знаком с Л. Н. Толстым.

Урядник, заинтересованный отшельником, который выдавал себя за живописца, иногда посещает его. Сулер угощает урядника чаем, играет с ним в шашки, поет ему романсы, аккомпанируя себе на гитаре, а в соседней комнате на всех стульях и столах сушатся свежеотпечатанные листы крамольной литературы.

Я думаю, что если бы урядник и открыл, чем занимается этот веселый человек, он не донес бы на него — такова была сила личного обаяния Сулера...

Вскоре Лев Николаевич предложил Сулеру организовать переселение кавказских духоборов в Канаду,— эта эпопея интересно описана Сулером в его книге «С духоборами в Канаду», изданной толстовской фирмой «Посредник». Книга написана несколько хаотично, и в ней опущено множество интересных моментов, изображавших личные приключения Сулера. Читая рукопись этой книги, я очень настаивал на том, чтобы Сулер дополнил ее, но он не захотел сделать этого.

— При чем тут я? — спорил он.— Речь идет о духоборах, а я — постороннее лицо в этом неестественном сцеплении религии с политикой...

Мы решили, что, напечатав эту книгу, Сулер начнет работать над другой, которую предположено было озаглавить «Записки непоседливого человека», и Сулер, живя у меня в Арзамасе, горячо принялся было за работу, но его живой характер убил эту затею в начале ее. У него не было любви к настойчивому, регулярному труду, как это часто замечается у людей, обильно насыщенных талантами, но несомненно, что Сулер имел способность к литературе, о чем свидетельствуют его очерки, напечатанные в одном из сборников «Знания».

В 904 году Сулер служит санитаром в Маньчжурии, в 5-м и 6-м он, конечно, принимает пламенное участие в общественной трагедии; он работает во всех партиях, смелый, вездесущий, не причисляя себя ни к одной из них; он и толстовцем был очень сомнительным,— Лев Николаевич однажды сказал о нем:

— Ну, какой он толстовец? Он просто — «Три мушкетера», не один из трех, а все трое!

Это сказано совершенно верно и как нельзя более точно очерчивает яркую индивидуальность Сулера, с его любовью к делу, к работе, с наклонностью к донкихотским приключениям и романтической страстью ко всему, что красиво.

Кажется, с 6-го года Сулержицкий начал работать в Московском Художественном театре, а года через два он уже ставит в Париже, в театре Режан, «Синюю птицу». Его работа в Студии Художественного театра

известна по «Сверчку» Диккенса и другим его постановкам, ее оценили как работу недюжинного художника.

Когда я встретил Сулержицкого, я испытал незабвенное чувство радости, я понял, что мне не хватало встречи с человеком именно таким, каков этот, именно его я должен был встретить, чтобы глубже понять красоту свободной личности и плодотворную мощь той почвы, которая создала эту личность.

Мы подружились с ним быстро, как дружатся дети. Он всегда являлся неожиданно, точно солнце зимою, и всегда откуда-то издалека — с Кавказа, из Вологды, из Бутырской тюрьмы, полный новых впечатлений, смешных рассказов и новой радости. В коротенькой драповой куртке, одной и той же зимою и летом, в синей фуфайке английского матроса и американском кепи, шумный, сверкающий, он во всяком обществе сразу становился ярко заметным и привлекал к себе общее внимание.

Правдивый, порою даже резко выражавший свои мнения, он был удивительно культурен, ибо обладал терпимостью к чужому мнению, умел уважать чужие мысли, даже когда они были враждебны ему. Но эта терпимость никогда не мешала ему крепко стоять на своем.

— В мире всё обосновано,— говорил он,— ни одна мысль не является капризом, у каждой есть корни в прошлом. Это очень печально и вредно для нас, но мы живем с покойниками и во многом по их воле. С мертвой мыслью необходимо бороться, но живого человека нужно уважать. Отсюда не следует, что с ним бесполезно спорить, нет,— спорить нужно!

— «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться»?

— Вот именно! Каждый из нас — создание прошлого, и все, кто понял это, должны преодолевать прошлое в интересах настоящего и будущего.

Однажды он поспорил с Л. Н. Толстым о духоборах, доказывая ему, что анархизм духоборчества не устоит против соблазнов американской жизни. Лев Николаевич горячо возражал ему, приводя примеры

религиозных брожений в самой Америке, опираясь на мормонов, на секту Мери Беккер Эдди и другие.

— А все-таки вы не уверены в том, что защищаете,— вдруг сказал Сулер, улыбаясь.

Лев Николаевич взглянул на него острым взглядом и, засмеявшись, погрозил пальцем, но не сказал ни слова.

Он любил Леопольда, как сына, и любовался им, точно женщиной.

— Ведь вот,— говорил он, наблюдая за Сулером всевидящими глазками,— у другого это вышло бы грубо или смешно, а у него — хорошо! У него всё по-своему, всё — правда, во всем закон души. Ах, какой редкий, какой удивительный!..

Глядя, как Сулер, Александра Львовна и другие играют в городки по въезде в парк Гаспры, Толстой сказал, улыбаясь своей прекрасной и всегда какой-то тонко отточенной улыбкой:

— «Будьте как дети», я понимал это головой, но никогда не чувствовал — как может быть ребенком взрослый, много испытавший человек? А вот смотрю на Сулера и — чувствую: может! Сколько радости вносит он во всё, сколько в нем детского! А ведь он — страдал. Как это редко — человек, который забыл о своих страданиях, не хвалится ими, не сует их в глаза ближнего...

В Арзамасе человек иных воззрений и чувствований, культурный подвижник города, отец Феодор Владимирский, впоследствии один из депутатов Второй думы, говорил о Сулере теми же словами Толстого:

— Поистине, человек этот — чистое дитя божие!

Так же любовно и ласково, как Л. Толстой, относился к Сулеру А. П. Чехов.

— Вот, батенька, талант,— говорил он, мягко хмурясь.— Сделайте его архиереем, водопроводчиком, издателем,— он всюду внесет что-то особенное, свое. И в самом запутанном положении останется честным.

Уморительно беседовали они, Сулер и Чехов, сочиняя события, одно другого невероятнее, например, рассказывая друг другу впечатления таракана, который случайно попал из нищей мужицкой избы в квартиру

действительного статского советника, где и скончался от голода. Оба они в совершенстве обладали искусством сопоставлять реальное с фантастическим, и эти сопоставления, всегда неожиданные, поражали своим юмором и знанием жизни. Сулер чувствовал себя равным всякому человеку, рядом с которым ставила его судьба, ему было незнакомо то, что испытывает негр среди белых и что нередко заставляет очень даровитых людей совершенно терять себя в среде, чуждой им.

Со Львом Николаевичем Сулер становился философом и смело возражал гениальному «учителю жизни», хотя Толстой и не любил возражений; с А. П. Чеховым Сулер был литератором, с Ф. Шаляпиным он великолепно пел трогательную украинскую песню: «Ой, там, за Дунаем». С последним у него было особенно много общих свойств, что и понятно в людях, воспитанных одной и той же средой. И, как это ни странно, однако Сулер, при наличии резко выраженной любви к деянию, был, в сущности своей, человек аполитический.

Обладая тенором, очень высоким и гибким, Сулер любил петь и часто выступал в концертах для рабочих; крайний индивидуалист, он восторженно любил толпу, чувствовал себя в ней как рыба в воде и никогда не упускал возможности тесного общения с нею.

Как все люди, прошедшие тяжелую школу жизни, люди, тонко чувствующие, он был сплетен из множества противоречий, которые объединялись трогательной верой в победу добрых начал, тем настроением социального идеализма, которое так характерно для многих — почти для всех — наших «самородков».

Вспоминаю такой случай: в 901-м году, когда Л. Н. Толстой хворал, живя в Гаспре, имении графини С. В. Паниной, наступил жуткий день: болезнь приняла опасный оборот, близкие Л. Н. были страшно взволнованы, а тут еще распространился слух, что в Ялту из Симферополя явился прокурор для описи и ареста бумаг великого писателя. Слух этот как будто подтверждался тем, что в парк Гаспры явились некие внимательные люди, которым очень хотелось, чтобы их приняли за беззаботных туристов. Они живо

интересовались всем, кроме состояния здоровья Толстого. Ко мне, в Олеиз, прискакала верхом Александра Львовна, предлагая мне и Сулеру, жившему у меня, спрятать какие-то документы. Я тотчас бросился наверх, в Гаспру, а Сулер — к рабочим соседнего с Гаспрой имения, нашим добрым знакомым. В результате его свидания с рабочими все беззаботные фланеры исчезли из Гаспры, как зайцы от борзых. Затем Сулер набил свои шаровары и пазуху массой бумаг и верхом на хорошем коне ускакал с ними. Всё это было сделано им быстро, как в сказке.

И вообще это был сказочный человек,— воспоминание о нем будит в душе радость и окрашивает жизнь в яркие краски.

Да, он не развил до конца ни одного из своих талантов, он сеял цветы своей души наскоро и повсюду, быть может, чаще на камни, чем на плодотворную почву, но «лучеиспускание в пустоту» является участью многих талантливых людей, и это не их вина. Легко растворить себя в жизни, но трудно добиться желанного успеха в такой разреженной социальной среде, какова среда нашей демократии, духовно не организованная и всё еще не привыкшая любить своих людей и любоваться ими. Возможно, что, прочитав эти воспоминания, некоторые скажут о жизни Леопольда Сулержицкого: «Бесполезно растраченная жизнь».

Нет, бурное житие таких людей более чем полезно, и в нем скрыт глубокий, важный социально-воспитательный смысл,— существование таких людей показывает, как мощна и плодотворна почва, которая создает их. Они расходуют свои силы недостаточно продуктивно, не дают всего, что могут дать, в формах более ценных и завершенных, но это потому, что они родятся и воспитываются в среде, социально не сплоченной, идеологически не организованной и не изжившей индивидуализма, который, разъедая и разобщая ее, наиболее глубоко воспринимается ее даровитыми людьми.

Но история научит людей жить более сплоченно, и, когда демократия отвоюет себе всё то, что ей органически необходимо, она создаст в своей среде людей еще более богато и разнообразно одаренных, чем все

те крупные люди, которых она уже создала до сего дня.

Мрачный день мы переживаем, и единственное, что может помочь нам мужественно пережить отвратительный хаос событий, оскорбляющих душу, это твердая уверенность в творческие силы демократии.

В дурную погоду не только приятно, но и полезно вспомнить о солнечных днях. И не мешает помнить умные слова Сулера:

«Хорошо орлу ширять в пустоте небес,— там никого нет, кроме орлов...»

Нет, вы поживите «в пустыне — увы! — не безлюдной»,— в страшной сумятице будней, насыщенных драмами, которые стали так обычны, что, к несчастью нашему, уже не волнуют, не возмущают нас.

Поживите действенно в буре ежедневности, не теряя мужества, развивая способность сопротивления всему, что враждебно честной душе...

<СТИХИ. НАБРОСКИ>

* * *

Сгорел еще один день жизни краткой,
И вновь огнем зари горит восток.
И снова я живу надеждой сладкой
Увидеть Вас, мой голубой цветок.

В деревьях сада — предрассветный шорох,
Но еще властно сон царит кругом.
Всю ночь провел я в бесполезных спорах
С самим собою, злым моим врагом.

В степи небес звезда горит алмазом.
Я — странно крепко сердцем связан с ней.
Недостижима! — убеждает разум.
А сердце рвется к милой всё сильней.

Звезды последней наблюдая трепет,
Луч солнца я — зачем-то — жадно жду.
А между тем воображенье лепит
Из красок неба Вас, мою звезду.

День ярко вспыхнул, празднично веселый,
И облил сонный сад огня поток.
Мечты мои, как золотые пчелы,
Стремятся к Вам, мой голубой цветок!

* * *

Опираясь острыми локтями о перила моста, стоит высокий тощий старик. В его седых баках прячется большой хрящеватый нос с горбинкой на переносье и красным нажимом от пенсне. У него вид и поза человека,

отдыхающего от прогулки, которая утомила его, но, когда я поравнялся с ним, он сказал громко, солидным басом:

— Вы можете дать мне на пропитание?

Он не был похож на нищего, и, очень смущенный его просьбой, я быстро протянул ему какую-то бумажку.

— Мерси,— сказал он, не торопясь протянув длинную руку, и взял бумажку двумя пальцами, как брезгливые баре берут сдачу у извозчика.

Я шагал по мосту, желая скорее забыть о нем, но он крикнул мне:

— Эй, послушайте!

Остановясь, я молча посмотрел на него.

— Вы не ошиблись? — спросил он, показывая мне бумажку и всё так же держа ее кончиками пальцев.

— Нет.

— А... благодарю..,

* * *

Пестрый день, по небу плывут серые клочья облаков, по крышам домов и мостовой — их тени.

Медленно идет высокая женщина в темном костюме, костюм хорошо сшит, но очень изношен, потерт. В руках женщины — небольшой окрашенный охрой гроб, она обнимает его, точно охапку дров, ее тонкие пальцы покраснели от усилия удержать гроб на груди, стан ее запрокинут назад, голова высоко поднята и худое, желтое лицо смотрит остановившимися глазами в небо, через головы встречных. Ей — тяжело; пройдя шагов двадцать, она упирается коленом в стену или ставит ногу на выступ крыльца, опускает на колено гроб и, отдыхая, гладит его желтую крышку утомленными пальцами холеной руки. Ее обгоняют различно одетые, но одинаково равнодушные люди, иные смотрят на нее апатичным взглядом животных, которые ко всему притерпелись, измятые лица других вздрагивают в легкой судороге бессильного сожаления. Большинство людей смотрит в землю, под ноги себе, точно ожидая встретить через несколько шагов на пути своем глубокую яму.

Отдохнув, женщина снова прижимает гроб ко груди и тащит его дальше по скучно-прямой улице. Ее губы плотно сжаты, неподвижные глаза устремлены в небо, испачканное серыми клочьями облаков.

Ей — тяжело, она пошатывается. Никто из так называемых людей не хочет или не догадывается помочь ей.

* * *

Приехал я из Нижнего впервые в странный, чужой мне Петербург, иду ночью по Аничкову мосту — ночная барышня, толкнув меня игриво локотком, говорит:

— Провинциальный, дай папироску!

— Почему вы узнали, что я провинциал?

— Стыдливо глядите...

* * *

Иду в Самаре берегом Волги поздно ночью — вдруг слышу:

— Спасите, батюшки!

Темно, небо в тучах, на реке стоят огромные баржи. Между берегом и бортом одной из них в черной воде кто-то плещется.

Влез я в воду, достиг утопающего, взял его за волосы и выволок на землю. А он меня — за шиворот.

— Ты,— говорит,— какое право имеешь за волосья людей драть?

Удивился я.

— Да ведь ты тонул,— говорю,— ведь ты кричал: спасите!

— Чёртова голова! Где же я тонул, ежели всего по плечи в воде стоял да еще за канат держался? Слеп ты, что ли?

— Но ты кричал — спасите!

— Мало ли как я могу кричать? Я закричу, что ты дурак, поверишь ты мне? Давай рупь, а то в полицию сведу! Ну, давай...

Поспорил я с ним несколько — вижу: прав человек по-своему. Дал ему, что было у меня,— тридцать пять копеек — и пошел домой умнее, чем был.

О МИХАЙЛОВСКОМ

Пошел к Н. К. Михайловскому,— он встретил меня ласково и весело:

— Вот вы какой! А кто-то говорил мне, что вы похожи на Степана Разина, и, кажется, Тан написал вам письмо стихами, предлагая Стенькину участь,— написал?

— Написал.

— Он хороший человек, много лучше его стихов. Вы не хотите, вероятно, чтоб вас четвертовали? Но — кажется, уже начали растягивать по партиям? Марксист?

Я сказал:

— Нет, не марксист, но, по натуре моей, склоняюсь в ту сторону, где чувствую больше активного отношения к жизни.

— Гм? А у народников вы не чувствуете этой активности?

До этой встречи я знал Николая Константиновича только по портретам. Теперь он показался мне непохожим и на портреты и вообще на русского человека. В его небольшом, ладном теле, в нервных, но мягких и красивых движениях чувствовалась нерусская живость духа и гармоничность его. Он измерял меня ласковым взглядом немножко насмешливых глаз, как боец, его манера говорить выдавала в нем человека, привычного к словесным дуэлям. Иногда его взгляд как бы ослеплял блеском какой-то острой, невеселой мысли. От него веяло нервной силой, возбуждавшей меня.

Я начал рассказывать ему о вечере, Поссе, о всей этой неясной, опечалившей меня борьбе. Он, слушая внимательно, часто восклицал:

— Да? Так. Ого?

Говорил я о том, что среди интеллигенции, куда я поднялся не без тяжелых усилий, я ожидал встретить иные нравы, иное отношение друг ко другу, больше внутренней сплоченности, больше взаимного уважения, дружбы и сердечности.

— Всё слова, вышедшие из употребления, старинные слова,— усмехаясь, вставил Михайловский в мою возбужденную речь.

Говорил я о том, как огромна и тяжела деревня, как она слепа и недоверчива ко всему, что творится вне узкого круга ее прямых интересов, что интеллигенции в стране отчаянно мало и за пределами крупных городов ее влияния не чувствуется, значение ее — непонятно.

Он, видимо, был тронут, мне показалось, что его глаза влажны, когда он заговорил с ласковой насмешкой:

— Эге, батенька, да вы — идеалист и едва ли не романтик! И совсем не такой грубиян, как говорят о вас! Вас, очевидно, встречают по одежке ваших мыслей,— а вы одеваете их не модно, торопливо, да и грубовато немножко...

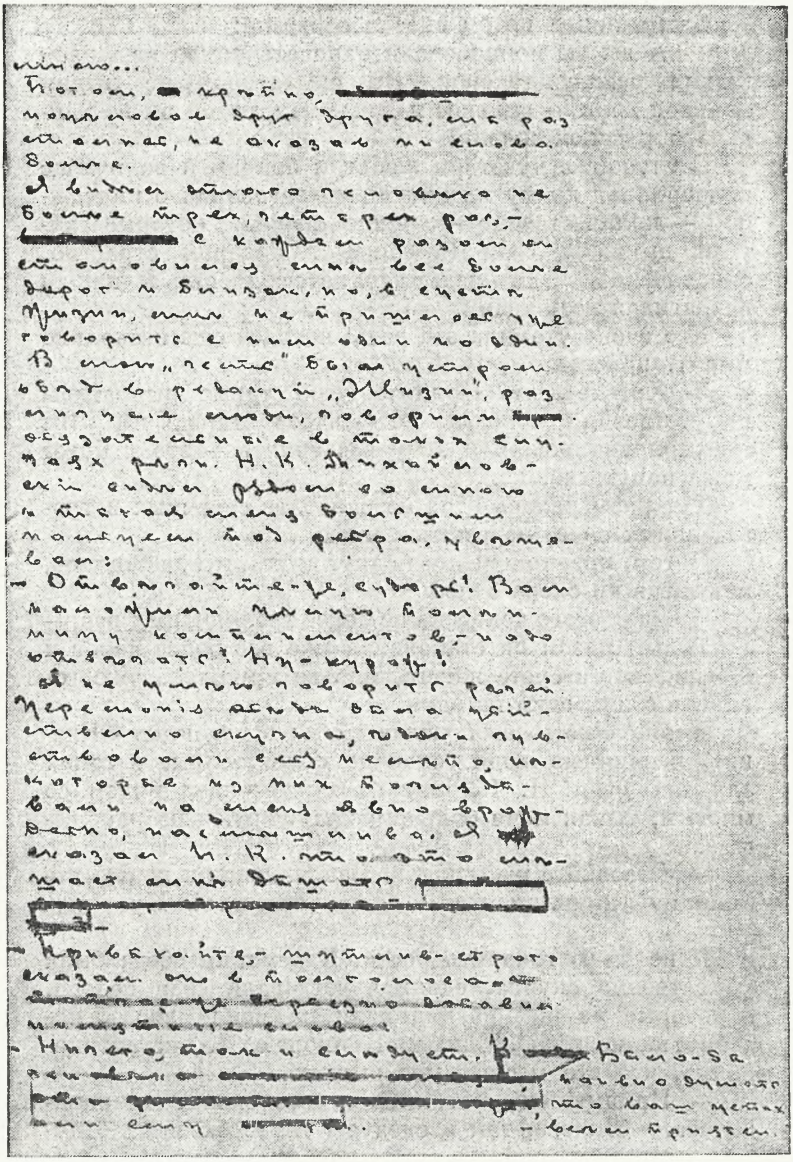
Потом решительно заявил, что откажется от участия на вечере, если Поссе устранят, и спросил: что я намерен писать?

Я рассказал ему план книги «Мужик» — полуфантастическую историю карьеры архитектора из крестьян.

— Час от часу не легче! — воскликнул он, удивленно разведя руками.— Про него говорят — марксист, а он собирается писать какую-то апологию буржуя! Среду-то эту, купечество, вы хорошо знаете?

Тип героя-«мужика» лепился у меня довольно ясно и прочно из моего знакомства с культурной работой Милютина, череповецкого головы, и моих наблюдений над жизнью поволжских городов.

— Может быть, это будет интересно,— Н<иколай> К<онстантинович> недоверчиво пожал плечами,— во всяком случае — оригинально. Буржуй как положительный тип — вы это будете печатать в марксистской «Жизни»? Тоже оригинально!



«О МИХАЙЛОВСКОМ».
Страница автографа.

Засмеялся и потом сказал серьезно:

— А вы бы попробовали написать роман из жизни наших революционеров. Вы симпатизируете людям сильной воли,— сильнее и ярче этих людей вы не найдете в русской жизни!

С глубоким чувством любви к бойцам и волнующе подчеркивая драму их жизни, он заговорил о ничтожной — количественно — группе людей, которые хотели взорвать трон Романовых. Говорил страстно, образно, как поэт, задыхаясь от волнения и как-то вздрагивая всем телом.

Его очень утомила эта речь; посидев еще несколько минут, я встал.

— Хотите идти? Принято, чтоб старые литераторы напутствовали молодых. Я — вдвое старше вас. Вы мне понравились, и я хочу вас обнять,— это и будет моим напутствием...

Тут разыгралась одна из наиболее странных и трогательных сцен, пережитых мною...

Потом, крепко поцеловав друг друга, мы расстались, не сказав ни слова более.

Я видел этого человека не более трех-четырех раз,— с каждым разом он становился мне всё более дорог и близок, но, в суете жизни, мне не пришлось уже говорить с ним один на один.

В мою «честь» был устроен обед в редакции «Жизни», различные люди говорили обязательные в таких случаях речи. Н. К. Михайловский сидел рядом со мною и, тыкая меня большим пальцем под ребра, увещевал:

— Отвечайте же, сударь! Вам наложили целую поленницу комплиментов,— надо отвечать! Ну — кураж!

Я не умею говорить речей. Церемония обеда была убийственно скучна, едоки чувствовали себя нелепо, некоторые из них поглядывали на меня явно враждебно, насмешливо. Я сказал Н<иколаю> К<онстантиновичу>, что это мешает мне дышать.

— Привыкайте,— шутливо-строго сказал он вполголоса.— Ничего, так и следует. Было бы наивно думать, что ваш успех — всем приятен.

Потом я был у него на именинах или в день рождения,— не помню. Великолепно настроенный, Н<иколай> К<онстантинович> остроумно шутил, отвечал сразу на десяток вопросов, обращенных к нему, удивляя меня юношеской живостью.

Но — рядом со мною сидел П. Ф. Мельшин-Якубович и портил мне жизнь.

— Вы читаете «Искру»? — спрашивал он.— Читаете. Так. А я — жгу, когда она попадает в руки мне. Жгу.

Я впервые видел его и думал — вот фанатик! Потом оказалось, что это обыкновенный русский человек, добродушный и мягкий, несмотря на то, что жизнь ковала его тяжким молотом. Но в этот <раз> он был почему-то крайне свирепо настроен против Маркса, марксистов, Струве и всё дудел в ухо мне жестокие слова, не позволяя слушать, что говорил Михайловский. А он говорил что-то интересное, возражая Н. Карееву и Н. Ф. Анненскому.

— Нет,— слышал я отрывки его горячей речи,— надобно опуститься как-то ниже философии культуры к философии быта,— к самому обыкновенному содержанию текущего дня, и тогда, может быть, обнаружится...

Мельшин, дергая меня за рукав, спрашивал — знаю ли я его переводы стихов Бодлера?

Я — знал. И, судя по этим переводам, заключил, что Бодлер был весьма неуклюжий стихотворец.

— Странно,— сказал Мельшин.— По-моему — Бодлер должен бы нравиться вам...

А Михайловский говорил кому-то весело и громко:

— Я нажил сердце, которое обеспечивает мне быструю и безболезненную смерть...

В суете праздника я так и не нашел удобной минуты спросить Н<иколая> К<онстантиновича> — что именно должно «обнаружиться»?

Вскоре я уехал. А в следующий приезд помогал нести гроб Михайловского на Волково кладбище.

‹ПАВЕЛ РОЗАНОВ›

В 19-м году, весенней лунной ночью, на одной из улиц Петроградской стороны стояла телега; левое заднее колесо ее рассыпалось, она сильно накренилась, и груз ее, труп человека, свесил к земле голые ноги, как бы собираясь встать. Большой мохнатоногий битюг дремал, стоя точно врытый в камни мостовой, правый глаз его жутко светился, отражая зеленоватый блеск луны. Уродливая тень коня лежала на светлых камнях чугунной массой и двигала черными ушами.

Маленький милиционер с винтовкой за спиною, обнажив лысоватую голову, прилаживал к фуражке оторванный козырек; на панели, прислонясь к столбу фонаря, сидел кто-то серый, вытянув ноги, и звучно чавкал.

Милиционер словоохотливо рассказал мне, что в телеге лежит вор и налетчик, хорошо известный уголовному розыску, его нашли утром, где-то ‹на› пустыре.

— Видать — свои обработали. Били не торопясь.

Приподняв грязную рогожу, я посмотрел — что остается от человека, когда его бьют «не торопясь»? Луна осветила прекрасно сложенное тело, крепкое, желтое, как масло, в темных пятнах на широкой груди, едва прикрытой обрывками фуфайки. На месте головы — безлицый, бесформенный ком грязно-серых шишек и черной шерсти. Стройные ноги напряженно вытянуты, а пальцы их судорожно растопырены. А руки скручены за спиною веревкой, она охватывала шею петлей, и размочаленный конец ее торчал из-под мышки, точно девичья косичка.

— Спичек — нет? — хрипло спросили из-под фонаря.

Оттуда мутным взглядом слепого на меня смотрел человек в грязном халате санитара, с обнаженной головою, лысый, длиннобородый. В коленях у него лежал какой-то колпак, а в колпаке корка хлеба и луковица. Он взял у меня коробок спичек, начал зажигать их, сломал несколько и сердито зарычал:

— Эт — чепуха...

— Розанов, это вы?

Человек мотнул головой и, как будто обиженный вопросом, ответил:

— Конечно, я.

— Не узнаете?

— Чего?

Я назвал свое имя.

— Кого? Громче, я глухой. Ага-а, помню! Где живете? Здесь? Окаянный город. Дышать нечем.

Он почти кричал. Захлебывался дымом, кашлял, совал луковицу куда-то за пазуху, потом переложил ее в карман, встряхнул колпак и, напялив его на голову, с трудом поднялся с земли.

— Выше ростом стали,— сказал он, оглянув меня.— Хворали? Болезнь вытягивает человека. Покойник всегда длиннее живого. А я вот хвораю. Глохнуть стал, слепну. Не по годам будто. Ну — наслушался, насмотрелся...

Он шепелявил, у него не было зубов.

— Как жил? Не прижился нигде, нет. Был кучером на почте в Москве, в Воронеже жил у аптекаря, потом — у ветеринара. Дурак был ветеринар, пьяница. Со многими я жил. Начали войну эту, пошел народ на смерть, ну, думаю, и я пойду. Не брали сначала. Упросил. На войне землю подо мной взорвало, я и оглох. Теперь вот тоже около покойников. Хвораю. Трудно. Есть нечего.

Стоял он, держась за столб фонаря, шарил левой рукою на груди у себя, смотрел в лицо мне мокрыми глазами, но, должно быть, не видел меня.

Откуда-то явился коротконогий ломовой извозчик с толстой жердью на плече и стал молча подвязывать ее к задней оси телеги. Потом поднял обод колеса и положил его на грудь и голову трупа.

Розанов, почесывая пальцем подбородок, бессвязно бормотал:

— Наслушался, нагляделся. Всё видел.

— Едем,— сказал извозчик.

Розанов, не простясь, полез на телегу, но извозчик истерически заорал:

— Ку-уда? Шагай на своих...

И, крепко выругавшись, хлестнул лошадь вожжой.

Гулко ударилась подкова о камень. Ноги трупа задрожали, показалось, что растопыренные пальцы их шевелятся. Розанов схватился рукою за телегу и пошел, сильно прихрамывая, притаптывая тень свою.

Лет тридцать тому назад Павел Розанов был почтальоном в Нижнем Новгороде. Тогда он честно и упрямо пытался сделать себя оригинальным человеком.

Начал он с того, что поставил себе целью разносить письма быстрее своих товарищей. Выработал какую-то подпрыгивающую походку, носился по улицам, как будто гонимый невидимыми собаками, судорожно дергал ручки звонков, молча совал письма, путая их, и, красный, потный, вытаращив глаза, мчался дальше.

— Очень много отнимают времени заказные письма! — жаловался он.— И к чему заказные? Есть тут обидное недоверие ко мне.

Открытые письма тоже обижали его:

— Читаешь их и видишь: какую чепуху пишут люди! И, главное, женщины пишут открытки. Из кокетства, конечно. А я — бегай, разнося этот хлам в дождь и зной, в снег и мороз.

Скоро он был уличен в том, что стал уничтожать открытые письма, рвал их и бросал в помойную яму на дворе почтамта. Его прогнали со службы; тогда он поступил в хор трактирных певцов, но в первый же раз, когда ему пришлось выступить запевалой и надо было петь «Во субботу, день ненастный», он запел:

В воскресенье, день субботний...

Публика расхохоталась, певцы озлились, и Розанов принужден был уйти из хора.

— Как же это ты ошибся?— спрашивали его.

Он сердито объяснял:

— Ничего подобного, вовсе я не ошибся, так и надо петь. Сказано: «Помни день субботний, еже святити его...» Воскресенье и есть субботний день.

Он совершенно серьезно доказывал:

— Песня — это голосовой узор, слова в ней не важны, слова я могу свои, какие хочу, в любую песню вставить, лишь бы узор голоса, напев не портить. Поют:

Не шуми, мати, зеленая дубровушка,
Не мешай мне, добру молодцу,
Думу думати...

Так это — чепуха; лесной шум думать не мешает. И я желаю петь:

Не мешай ты мне, зеленый лес,
Почитать моих родителей!

Он был один у матери, рыхлой и очень глупой вдовы брандмейстера; мать влюбленно говорила о сыне:

— Не юноша, а — тюльпан!

Уйдя из хора, Розанов поступил в пожарную команду. В это время ему было лет двадцать пять; среднего роста, стройный, крепкий, он, в медном шлеме борца против огня, напоминал изображение римского легионера с раскрашенной картинки на обложке житий великомучеников. Его детски ясные глаза смотрели упрямо, под горбатым носом курчавились светлые усики, не скрывая тонкой полоски ярко-красных, капризно надутых губ.

В команде его назначили «трубником», но тут он обнаружил странное пристрастие бить стекла, направляя струю воды в окна домов, соседних с горящим, что не всегда требовалось обстоятельствами. Это обогатило его ценным наблюдением:

— Если на стекло в окне давить водой не сразу, так оно гнется.

У Розанова отняли шланги и перевели его в «топорники». Но и здесь он не замедлил проявить своеобразие натуры: во время пожара залез на крышу горящего дома и начал разбирать трубу, швыряя кирпичи вниз.

Ему удалось разбить плечо кому-то из пожарных, а потом, задохнувшись дымом, он свалился с крыши, сломав себе ногу и два ребра.

Лежа в больнице, он рассказывал доктору, приятелю моему:

— Пожары надо гасить не водой, а — брезентами. Сделать колпаки из брезентов и накрыть пожар колпаком, тогда огонь задохнется в собственном дыму. Колпаки надо, конечно, поливать водой, чтобы не загорались.

Он вышел из больницы, прихрамывая на левую ногу и еще более плотно сжав губы. Вскоре его мамаша померла, отравившись грибами, тогда он продал дом, мебель, уехал в Москву и занялся там изобретением стенобитной машины для разрушения горящих домов.

— Багры, топоры — это чепуха! — говорил он.— Когда дом горит безнадежно, с ним нечего церемониться: подвез машину и — раз, два! — рассыпал дом, тут уж можно его и баграми растаскать...

Истратив все свои деньги на работу с машиной, он сидел несколько месяцев в тюрьме за долги, а потом устроился коридорным в «Большой московской гостинице». Приезжая в Москву, я жил в этой гостинице, и вечерами, в свободные минуты, Розанов забегал ко мне.

— Позвольте поделиться негодованием,— говорил он и делился:

— Ох, до чего надоели мне люди! Не вижу в них ничего особенного, чему я мог бы удивиться. Разве одно: едят много; так едят, как будто больше никогда уж не дадут им есть. И суетятся — словно завтра всем приказано переехать в другой город. Возятся с бабами, как с собачками или с лошадями. Никто не принадлежит сам себе, а всегда какому-нибудь делу. Что значит— дело? Простая перестановка разных предметов и вещей. Я — от вас к себе тащу, вы — от меня волочете. Тут некоторые обнадеживают, что скоро наступит социализм и все имущества будут разделены поровну; сомневаюсь, чтобы удалось! А если и удастся, так, конечно, еще скучнее будет, и даже последнее разнообразие уничтожим. Теперь все-таки хоть в одежде различие, каждый старается одеться почудней, в отличку от других.

А при социализме всех оденут в синюю материю, крашенную кубовой краской. Так от этого — глаза выворотит наизнанку.

И, почесывая пальцем туповатый подбородок, он говорил сердито:

— Не знаю, право, что мне делать. Такая чепуха, такая теснота душе...

— Жениться не думаете?

Он отрицательно мотал головою.

— Нет, женитьба — не развлечение для меня. Я не люблю бабенок, баба мне, как птице — рыба, не товарищ. У меня в голове сотни колес вертятся, а у женщин головы пустые. Женщина кожей дышит, кожей чувствует. Они мне тут во всех углах на шею вешаются. У меня даже было начинание романа любви с одной,— приказчица, на гитаре играет. Ну, я вовремя догадался спросить ее: «Хорошо, вообразим, что мы женились, а что же будет дальше?» «Обыкновенно,— говорит,— дальше — дети родятся». Ну, знаете, дети и у тараканов бывают. «Ежели,— говорю,— вы можете обещать, что дети наши французами родятся или, вообще, необыкновенными, тогда — пожалуйте!» Она, дурочка, обиделась, должно быть, вообразила, что я насмехаюсь над ней. Тут роман и раскололся.

Помолчал, глядя в окно, и повторил:

— Ей-богу— не знаю, что делать. Просто—дышать нечем.

И, усмехаясь, добавил:

— Еще хорошо, что я небогат, а то бы — совсем беда мне...

Через несколько месяцев, приехав в Москву, я узнал, что Павел Розанов ушел в монастырь.

В 905 году он явился ко мне, одетый в подрясник, в широкой изломанной шляпе на курчавых, сильно поредевших волосах; высокий лоб его вспахан морщинами и украшен глубоким шрамом в форме треугольника. Он отрастил густую светлую бородку и стал похож на актера, играющего роль дьячка. Заложив нога па ногу, надев шляпу на колено, он угрюмо смотрел в пол и спрашивал меня:

— В какой партии баб меньше всего?

Я не мог ответить ему с достаточной точностью, но сказал, что, по моему мнению, всего меньше женщин должно быть в партии монархистов.

— Я так и думал,— согласился он.— Вы, конечно, против монархистов? Это и прежде было заметно у вас...

— В монастыре живете?

— Жил. Почти пятнадцать месяцев жил. Послушником, в пекарне тесто месил. Это — тоже одно уныние, монастырь. Чепуха. Монахи — вроде летучих мышей. Бабьи головы. Ходят около бога, как слепые над оврагом, поют: «Господи помилуй!» А у самих милости нет ни к себе, ни к людям. Притворяются, будто знают что-то, но знают они не больше, сколько мыши. Теперь я — из деревни, два года почти в деревне жил плотником при театральном деле, там помещик замечательный театр для мужиков устроил. Играли свои же, деревенские парни, девки. Удивительно было. Глядишь и глазам не веришь. Конечно — это баловство. Вообще, мужиков очень балуют, как малых ребят. Между тем — жизнь наша вовсе не забава, а — вопрос. Театр? Гм. Развалили они этот театр, а помещику — уезжай, говорят, пока цел. Уехал он, конечно. Спорил я с ними, а они меня — бить. Вот — башку расшибли.

Погладив лоб, он задумчиво проговорил:

— Так что я могу сказать совершенно точно: мужики действительно осатанели, бунтуют. Они и в трезвом виде — как пьяные, им рай на земле грезится.

Говорил он с хрипотой в горле, часто и глухо кашляя. Светлые глаза его уже сильно помутнели, побледнели губы, одна бровь была приподнята складкой шрама, другая — сердито нахмурена.

— Да, да... Лезут мужики во все стороны, как перекисшее тесто. Не знаю, что из этого будет, не знаю. Ну, только сейчас в деревне дышать нечем.

Закурив папиросу, он долго и озабоченно молчал, сбивая пепел в ладонь, сложенную горстью. И вдруг посетовал мне, усмехаясь натужно:

— Когда меня избили, прокрался я в лес, заполз там в овраг, лежу. К ночи, слышу, тихий шумок, человечий шаг; это, думаю, идет кто-нибудь из деревни

прикончить жизнь мою. Оказалось — сам помещик Виктор Петрович. С тросточкой. Очень я удивился, спрашиваю: «Зачем это вернулись вы?» — «Хочу,— говорит,— ночью пройти в дом, взять там письма, дорогие мне». Помыл он в ручье голову свою, лег под кустиком, будто заснул. Ночь — ясная, холодная. Сыро. Вдруг — слышу — вздохнул он шумно и, будто бредит, бормочет: «Страшно на земле, Люба, страшно».

Закрыв глаза, Розанов помолчал, подумал и — договорил:

— Не могу я передать вам, как он это сказал, только у меня от его слов... Да, стало мне стыдно и так, знаете, нехорошо, что, когда он уходил, я притворился, будто сплю крепко. Не мог уже говорить с ним. Хотя я пред ним ни в чем не виноват, а все-таки как человек должен отвечать за безобразие жизни.

Розанов встал, озабоченно простился и ушел. Я видел из окна, как он спорым шагом бродяги шел площадью мимо манежа к стене Кремля, шел, засунув руки глубоко в карманы своего балахона, опустив голову, точно намереваясь ударить лбом в стену.

Через несколько дней Леопольд Сулержицкий, склонный к анархизму друг мой, оживленно рассказывал:

— Познакомился я за Москва-рекой в трактире «Союза русского народа» с любопытным черносотенцем; он бывший монах, говорит, что земляк твой и знает тебя. Кажется немножко полуумным, но очень забавен и не глуп. Социалистов называет «овечьи цирульники», они, говорит, стригут мужиков, как баранов. Богат меткими словечками: «Человек,— говорит,— нуждается только в единственной свободе — в свободе искать самого себя».— Неплохо? Вообще у него есть неглупые мысли, например: «Народ — тогда большой народ, когда из больших людей сложен». Себя ценит высоко: «Вот,— говорит,— я умнее тысяч, а места в людях не нашел себе, не уставился среди них». Органически монархичен...

САВВА МОРОЗОВ

В 96 году, в Нижнем, на заседании одной из секций Всероссийского торгово-промышленного съезда обсуждались вопросы таможенной политики. Встал, возражая кому-то, Дмитрий Иванович Менделеев и, тряхнув львиной головою, раздраженно заявил, что с его взглядами был солидарен сам Александр III. Слова знаменитого химика вызвали смущенное молчание. Но вот из рядов лысин и седин вынырнула круглая, гладко остриженная голова, выпрямился коренастый человек с лицом татарина и, поблескивая острыми глазками, звонко, отчетливо, с ядовитой вежливостью сказал, что выводы ученого, подкрепляемые именем царя, не только теряют свою убедительность, но и вообще компрометируют науку.

В то время это были слова дерзкие. Человек произнес их, сел, и от него во все стороны зала разлилась, одобрительно и протестующе, волна негромких ворчливых возгласов.

Я спросил:

— Кто это?

— Савва Морозов.

...Через несколько дней в ярмарочном комитете всероссийское купечество разговаривало об отказе Витте в ходатайстве комитета о расширении срока кредитов Государственного банка. Ходатайство было вызвано тем, что в этот год Нижегородская ярмарка была открыта вместе с выставкой, на два месяца раньше обычного. Представители промышленности говорили жалобно и вяло, смущенные отказом.

— Беру слово! — заявил Савва Морозов, привстав и опираясь руками о стол. Выпрямился и звонко загово-

рил, рисуя широкими мазками ловко подобранных слов значение русской промышленности для России и Европы. В памяти моей осталось несколько фраз, сильно подчеркнутых оратором.

— У нас много заботятся о хлебе, но мало о железе, а теперь государство надо строить на железных балках... Наше соломенное царство не живуче... Когда чиновники говорят о положении фабрично-заводского дела, о положении рабочих,— вы все знаете, что это — «положение во гроб»...

В конце речи он предложил возобновить ходатайство о кредитах и четко продиктовал текст новой телеграммы Витте,— слова ее показались мне резкими, задорными. Купечество оживленно, с улыбочками и хихикая, постановило: телеграмму отправить. На другой день Витте ответил, что ходатайство комитета удовлетворено.

Дважды мелькнув предо мною, татарское лицо Морозова вызвало у меня противоречивое впечатление: черты лица казались мягкими, намекали на добродушие, но в звонком голосе и остром взгляде проницательных глаз чувствовалось пренебрежение к людям и привычка властно командовать ими.

Года через четыре я встретил Савву Морозова за кулисами Художественного театра,— театр спешно готовился открыть сезон в новом помещении, в Камергерском переулке.

Стоя на сцене с рулеткой в руках, в сюртуке, выпачканном известью, Морозов, пиная ногой какую-то раму, досадно говорил столярам:

— Разве это работа?

Меня познакомили с ним, и я обратился к нему с просьбой дать мне ситцу на тысячу детей,— я устраивал в Нижегородском манеже елку для ребятишек окраин города.

— Сделаем! — охотно отозвался Савва.— Четыре тысячи аршин — довольно? А — сластей надо? Можно и сластей дать. Обедали? Я — с утра ничего не ел. Хотите со мною? Через десять минут.

Глаза его блестели весело, ласково, крепкое тело перекатывалось по сцене легко, непрерывно звучал командующий голос, не теряясь в гулкой суете работы,

в хаосе стука топоров, в криках рабочих. Быстрота четких движений этого человека говорила о его энергии, о здоровье.

По дороге в ресторан, быстро шагая, щурясь от огня фонарей, он восхищался Станиславским:

— Гениальнейший ребенок.

— Ребенок?

— Да, да! Присмотритесь к нему и увидите, что всего меньше он — актер, а именно ребенок. Он явился в мир, чтобы играть, и гениально играет людями для радости людей. Существо необыкновенное.

В зале ресторана, небрежно кивая татарской головою в ответ на почтительные поклоны гостей и лакеев, он прошел в темный уголок, заказал два обеда, бутылку красного вина и тотчас заговорил:

— Я — поклонник ваш. Привлекает меня ваша актуальность. Для нас, русских, особенно важно волевое начало и всё, что возбуждает его.

Мне показалось, что он несколько спешит с комплиментами. В те годы считалось обязательным говорить мне лестные слова, это было привычкой многих. Некоторое время я думал, что «кашу маслом не испортишь», но однажды мальчик, которому я подарил игрушку, сказал мне:

— Хорошая! Я ее изломаю.

— Зачем же?

— Я люблю ломать, которое мне нравится,— ответил мудрый мальчик, и мне показалось, что он — читатель, которому я нравлюсь.

Поблескивая острыми глазами, Морозов негромко говорил:

— «Мыслю, значит — существую», это неверно! Или — этого мало. Мышление — процесс, замкнутый в себе самом, он может и не перейти вовне, в мир, оставаясь бесплодным и неведомым для людей. Мы не знаем, что такое мышление в таинственной сущности своей, не знаем — где его границы? Может быть, и тарелки мыслят, мыслит растение. Я говорю: работаю, значит — существую. Для меня вполне очевидно, что только работа обогащает, расширяет, организует мир и мое сознание...

Слушая эти «марксистские» мысли, я думал: торопится этот человек развернуть предо мною свою «культурность», или же он долго молчал о том, что волнует его, устал молчать и рад случаю поговорить? Говорил он легко, гладко, но за словами чувствовалась сила нервного напряжения. Ел мало и небрежно; часто быстрым движением потирал стриженую голову, изредка улыбался,— улыбка гасила суховатый блеск глаз и делала лицо моложе.

Заметно было, что многие из публики наблюдают Морозова насмешливо и враждебно; сквозь шум голосов, стук ножей и вилок я расслышал хриплый вопрос:

— С кем это он?

А он, прихлебывая вино, разбавленное водою, увлеченно говорил, что учение Маркса привлекает его именно своей активностью.

— У нас для многих выгодно подчеркивать кажущийся детерминизм этой теории, но очень немногие понимают Маркса как великолепного воспитателя и организатора воли.

Было несколько странно слышать такие заявления из уст крупного промышленника, но я помнил, что в России «белые вороны», «изменники интересам своего класса» — явление столь же частое, как и в других странах. У нас потомок Рюриковичей — анархист, граф — «из принципа» — пашет землю и тоже проповедует пассивный анархизм; наиболее ярыми атеистами становятся богословы, а литература «кающихся дворян» усердно обнажала нищету своей сословной идеологии. К тому же я знал, что богатый пермский пароходовладелец Н. Мешков активно помогает делу революции, и вспомнил умные слова из письма Н. Лескова:

«Если на святой Руси человек начнет удивляться, так он остолбенеет в удивлении да так, вплоть до смерти, столбом и простоит».

Недели через две Морозов приехал в Нижний, зашел ко мне, и, как это полагается на Руси, мы просидели с ним, беседуя на разные темы, далеко за полночь. Меня поразила широта интересов этого человека, и я

очень позавидовал обилию его знаний. Кто-то сказал мне, что он учился за границей, избрав специальностью своей химию, писал большую работу о красящих веществах, мечтал о профессуре. Я спросил его: так ли это?

— Да,— с грустью и досадой ответил он.— Если б это удалось мне, я устроил бы исследовательский институт химии. Химия — это область чудес, в ней скрыто счастье человечества, величайшие завоевания разума будут сделаны именно в этой области.

Он увлеченно познакомил меня с теорией диссоциации материи, от него я впервые услыхал об опытах Ле-Бона, Резерфорда, о интромолекулярной энергии,— всё это тогда было новинкой не для меня одного.

Я был тронут его восторженной оценкой Пушкина, он знал на память множество его стихов и говорил о нем с гордостью.

— Пушкин — мировой гений, я не знаю поэта, равного ему по широте и разнообразию творчества. Он, точно волшебник, сразу сделал русскую литературу европейской, воздвиг ее, как сказочный дворец. Достоевский, Толстой — чисто русские гении и едва ли когда-нибудь будут поняты за пределами России. Они утверждают мнение Европы о своеобразии русской «души»,— дорого стоит нам и еще дороже будет стоить это «своеобразие»! Знай Европа гений Пушкина, мы показались бы ей не такими мечтателями и дикарями, как она привыкла видеть нас.

Мы сидели на диване в маленькой комнате; вспыхивала и гасла электрическая лампочка. В окно торкалась вьюга, в белых вихрях ее тревожно махали черные ветви сада, отбиваясь от полетов метели. Взвизгивал ветер, что-то скрипело и шаркало о стену,— коренастый человек увлеченно говорил о новых течениях русской поэзии, цитировал стихи Бальмонта, Брюсова и снова восхищался мудрой ясностью стихов Пушкина, декламируя целые главы из «Онегина».

И неожиданно спросил, прищурясь:

— Видели вы человека, похожего на Маякина?

Выслушав мой ответ, он стал гладить свой круглый череп, говоря:

— Да, политиканствующий купец нарождается у

нас. Я думаю, что он будет так же плохо делать политику, как плохо работает. Промышленника, который ясно понимал бы непрочность своего положения в крестьянской стране, я — не видал. Наш промышленник — слепой человек, его ослепляет неисчислимое богатство страны сырьем и рабочими руками. Он надеется на тупость безграмотного крестьянства, на малочисленность и неорганизованность рабочих и уверен, что это останется для него надолго, на сотню лет. Не спеша и не очень умело он ворочает рычагами своих миллионов и ждет, что изгнившая власть Романовых свалится в руки ему, как перезревшая девка...

Другим тоном, веселее, с острым блеском в глазах, он добавил:

— Богатый русский — глупее, чем вообще богатый человек...

Потом, прихлебывая чай и нахмурясь, он пророчески продолжал:

— Наверное, будет так, что, когда у нас вспыхнет революция, она застанет всех неподготовленными к ней и примет характер анархии. А буржуазия не найдет в себе сил для сопротивления, и ее сметут, как мусор.

— Вы так думаете?

— Да, так. Не вижу основания думать иначе, я знаю свою среду.

— Вы считаете революцию неизбежной?

— Конечно. Только этим путем и достижима европеизация России, пробуждение ее сил. Необходимо всей стране перешагнуть из будничных драм к трагедии. Это нас сделает другими людями.

Спрыгнув с дивана, расхаживая из угла в угол тесной комнаты, сопровождая речь однообразным взмахом руки, он угрюмо, с болью, которую не мог или не хотел скрыть, говорил:

— Вы, наверное, сочтете это сентиментальным или неискренним — ваше дело! — но я люблю народ. Допустите, что я люблю его, как любят деньги...

Усмехаясь, отрицательно покачав головой, он вставил:

— Лично я — не люблю денег! Народ люблю, не так, как об этом пишете вы, литераторы, а простой, физиологической любовью, как иногда любят людей своей

семьи: сестер, братьев. Талантлив наш народ, эта удивительная талантливость всегда выручала, выручает и выручит нас. Вижу, что он — ленив, вымирает от пьянства, сифилиса, а главным образом оттого, что ему нечего делать на своей богатой земле,— его не учили и не учат работать. А талантлив он — изумительно! Я знаю кое-что. Очень мало нужно русскому для того, чтоб он поумнел.

Он интересно рассказал несколько фактов анекдотически быстрого развития сознания среди молодых рабочих своей фабрики,— а я вспомнил, что у него есть несколько стипендиатов-рабочих, двое учились за границей.

Верным признаком его искренности было то, что он рассказывал, не пытаясь убеждать. Русская искренность — это беседа с самим собою в присутствии другого; иногда — беспощадно откровенная беседа о себе и о своем, чаще — хитроумный диспут прокурора с адвокатом, объединенных в одном лице, причем защитник — всегда оказывается умнее обвинителя. Не думаю, чтоб так обнаженно могли говорить люди иных стран. И не очень восхищаюсь этим подобием объективизма — в таком объективизме чувствуется отсутствие уважения человека к самому себе.

Но в словах Саввы Морозова не прикрыто ничем взвизгивала та жгучая боль предчувствия неизбежной катастрофы, которую резко ощущали почти все честные люди накануне кровавых событий японской войны и 905 года. Эта боль и тревога были знакомы мне; естественно, что они возбуждали у меня симпатию к Морозову.

Но все-таки я ждал, когда он спросит: «Вы удивляетесь, что я рассуждаю так революционно?»

Он не спросил.

— Легко в России богатеть, а жить — трудно! — тихо сказал он, глядя в окно на мятеж снежной бури. И снова заговорил о революции: только она может освободить личность из тяжелой позиции между властью и народом, между капиталом и трудом.

Между прочим, сказал:

— Я не Дон-Кихот и, конечно, не способен зани-

маться пропагандой социализма у себя на фабрике, но я понимаю, что только социалистически организованный рабочий может противостоять анархизму крестьянства...

Просидев до полуночи, он на другой день уехал, но с той поры каждый раз, бывая в Москве, я встречался с ним, и скоро мы стали друзьями, даже на «ты».

Внешний вид его дома на Спиридоновке напоминал мне скучный и огромный мавзолей, зачем-то построенный не на кладбище, а в улице. Дверь отворял большой усатый человек в костюме черкеса, с кинжалом у пояса; он казался совершенно лишним или случайным среди тяжелой московской роскоши и обширного вестибюля.

Прямо из вестибюля в кабинет хозяина вела лестница с перилами по рисунку, кажется, Врубеля,— вереница женщин в широких белых одеждах, танцуя, легко взлетала вверх. В кабинете Саввы — всё скромно и просто, только на книжном шкафе стояла бронзовая голова Ивана Грозного, работа Антокольского. За кабинетом — спальня; обе комнаты своей неуютностью вызывали впечатление жилища холостяка.

А внизу — гостиная чудесно расписана Врубелем, холодный и пустынный зал с колоннами розоватого мрамора, огромная столовая, с буфетом, мрачным, как модель крематориума, и во всех комнатах — множество богатых вещей разнообразного характера и одинакового назначения: мешать человеку свободно двигаться.

В спальне хозяйки — устрашающее количество севрского фарфора: фарфором украшена широкая кровать, из фарфора рамы зеркал, фарфоровые вазы и фигурки на туалетном столе и по стенам, на кронштейнах. Это немножко напоминало магазин посуды. Владелица обширного собрания легко бьющихся предметов, m-me Морозова, кажется, бывшая шпульница на фабрике Викулы Морозова, с напряжением, которое ей не всегда удавалось скрыть, играла роль элегантной дамы и покровительницы искусств. Она писала своим по-

клонникам и людям, которые ей, видимо, нравились, письма на голубоватой бумаге, рассказывая, что во сне она видит красные цветы,— в ту пору многие дамы говорили о красных цветах, их развел кто-то из поэтов, кажется — Бальмонт; под цветами подразумевалось нечто совершенно иное. В гостиной хозяйки висела васнецовская «Птица-Гамаюн», превосходные вышивки Поленовой—Якунчиковой, и всё было «как в лучших домах».

Савва Морозов не любил бывать внизу. Я не однажды замечал, что он смотрит на пеструю роскошь комнат, иронически прищурив умные свои глаза. А порою казалось, что он ходит по жилищу своему, как во сне, и это — не очень приятный сон. Личные его потребности были весьма скромны, можно даже сказать, что по отношению к себе он был скуп, дома ходил в стоптанных туфлях, на улице я видел его в заплатанных ботинках.

Он внимательно следил за литературой и не смотрел на книгу, как на источник тем для «умного разговора». Его суждения о литературе не отличались оригинальностью, но в них всегда было что-то верное. По поводу «Скучной истории» А. П. Чехова он спрашивал:

— Почему для русского ученого характерно настроение Бутлерова или Вагнера, а не Сеченова, Менделеева, Мечникова?

Находил, что в «Мужиках» автор недостаточно объективен:

— Несправедливо писать о подгородних мужиках, как о типичных русских крестьянах. Мне кажется, что и Чехов пишет о мужиках, подчиняясь Бальзаку.

Он вообще не любил А. П. Чехова.

— Пишет он брезгливо, старчески, от его рассказов садится в мозг пыль и плесень.

И упрямо доказывал, что пьесы Чехова надо играть, как комедии, а не как лирические драмы.

Прочитав «Антоновские яблоки» Бунина, он один из первых оценил крепкий талант автора, с восторгом говоря:

— Этот будет классиком! Он сильнее всех вас, знаниевцев...

В ту пору он увлекался Художественным театром, был одним из директоров его, но говорил:

— Ясно, что этот театр сыграет решающую роль в развитии сценического искусства, он уже делает это. Но вот странность: у нас лучший в мире балет и самые скверные школы. У нас легко найти денег на театр, а наука — в загоне.

Он восторженно рассказывал о молодом физике П. Лебедеве, примирившем своими опытами со светом спор Максуэля и Кельвина.

— Вероятно, он будет такой же силой в нашей науке, каковы Менделеев и физиолог Павлов...

Лебедев, принужденный уйти из университета по мотивам «неблагонадежности» политической, скоро погиб, работая в тяжелых условиях, где-то в подвале.

Не знаю, были ли у Морозова друзья из людей его круга,— я его встречал только в компании студентов, серьезно занимавшихся наукой или вопросами революционного движения. Но раза два, три, наблюдая его среди купечества, я видел, что он относится к людям неприязненно, иронически, говорит с ними командующим тоном, а они, видимо, тоже не очень любили его и как будто немножко побаивались. Но слушали — внимательно.

Он как-то очень быстро и легко втянулся в дела помощи социал-демократической партии и начал давать деньги на издание «Искры».

Кто-то писал в газетах, что Савва Морозов «тратил на революцию миллионы»,— разумеется, это преувеличено до размеров верблюда. Миллионов лично у Саввы не было, его годовой доход — по его словам — не достигал ста тысяч. Он давал на издание «Искры», кажется, двадцать четыре тысячи в год. Вообще же он был щедр, много давал денег политическому «Красному кресту», на устройство побегов из ссылки, на литературу для местных организаций и в помощь разным лицам, причастным к партийной работе с⟨оциал⟩-д⟨емократов⟩ большевиков.

Не избегал он и личного риска. Помню,— московская полиция выследила Баумана, он был, кажется, нелегальный; шпионы ходили за ним по пятам, изму-

ченный травлей человек терял силы, уже дважды ему пришлось ночевать на улице. Наконец решено было спрятать его у Морозова.

И вот, дня через два, идя по Садовой, я вижу: в легких санках, запряженных рысаком, мчится Савва, ловко правя лошадью, а рядом с ним, закутанный в шубу,— Бауман. Вечером я сказал Морозову:

— Рискованно было возить Баумана днем, по улицам...

Он весело усмехнулся.

— А у меня даже явилось мальчишеское желание провезти его по Тверской, по Кузнецкому и угостить обедом у Тестова. Предлагал ему, а он, видимо, подумал, что я шучу,— засмеялся.

Прищурив глаза, погладив татарский череп, Савва задумчиво сказал:

— Говорят — евреи трусливы. Чепуха! Хороший малый — этот Бауман. Он у меня наверху, на биллиарде спал, а внизу — Рейнбот гудит. Забавно. Две ночи напролет беседовал я с ним. Настоящий, крепко верующий человек. Я рад, что пришлось помочь такому...

Помолчав, он предложил:

— В этих случаях надо иметь в виду меня. Мне — легко!

Он спрятал Баумана в своем имении «Горках», где теперь, летом, живет В. И. Ленин.

В одном случае,— я хорошо знаю это,— Морозову довелось отвезти на фабрику к себе чемодан нелегальной литературы; взявшись за это, он предупредил:

— Условие: никто из рабочих не должен знать, что это я привез! Я не охоч до дешевой популярности.

В другой раз он отвез шрифт для тайной типографии в Иваново-Вознесенск.

После раскола партии он определенно встал на сторону большевиков, объясняя это так:

— Ленинское течение — волевое и вполне отвечает объективному положению дел. Видишь ли: русский активный человек, в какой бы области он ни работал, обязательно будет максималистом, человеком крайности. Я не знаю, что это: органическое свойство нации или что другое, но в этом есть логика, я ее чувствую.

Очень вероятно, что, когда революция придет, Ленина и его группу вздуют, истребят, но — это уж дело второстепенное.

И снова пророчески добавил:

— Для меня несомненно, что это течение сыграет огромную роль.

Он вообще очень верно оценивал людей; после свидания с одним из большевиков он сказал:

— Это корабль большого плавания. Жаль будет, если он размотается по тюрьмам и ссылкам.

Впоследствии, устроив этого человека у себя на фабрике, он познакомился с ним ближе и, шутливо хвастаясь проницательностью своей, добавил:

— Не ошибся я,— человек отличных способностей. Такого куда хочешь сунь, он везде будет на своем месте.

Человек, о котором он говорил, ныне является одним из крупнейших политических деятелей России.

Савва внимательно следил за работой Ленина, читал его статьи и однажды забавно сказал о нем:

— Все его писания можно озаглавить: «Курс политического мордобоя» или «Философия и техника драки». Не знаешь — в шахматы играет он?

— Не знаю.

— Мыслит, как шахматист. В путанице социальных отношений разбирается так легко, как будто сам и создал ее.

Вспоминая его предвидения событий и оценки людей, я убеждаюсь в дальнозоркости его ума. Помню, в 903 году у Леонида Андреева беседовали на тему о неизбежности уступок со стороны монархии.

— Мы — накануне конституции,— убежденно доказывал кто-то. В то время это было убеждение весьма распространенное, даже я, не политик, держал пари с шестью лицами по гривеннику, что через три года мы будем жить в конституционном государстве.

Морозов, скромно сидевший в углу, сказал спокойно и негромко:

— Я не считаю правительство настолько разумным, чтоб оно поняло выгоду конституции для него. Если же обстоятельства понудят его дать эту реформу,— оно даст ее наверняка в самой уродливой форме, какую

только можно выдумать. В этой форме конституция поможет организоваться контрреволюционным группам и раздробит и революционную интеллигенцию и, конечно, рабочих.

Вспыхнул ожесточенный спор; выслушав многословные и обильные возражения, Савва иронически улыбнулся:

— Если мы пойдем вслед Европе даже церемониальным маршем во главе с парламентом,— всё равно нам ее не догнать. Но мы ее наверное догоним, сделав революционный прыжок.

Кто-то крикнул:

— Это будет сальто-мортале, смертельный прыжок!

— Может быть,— спокойно ответил Савва.

Его революционные симпатии и речи все-таки казались загадочными, но они стали более попятны мне после одной беседы о Ницше. Рассказывая, как А. П. Чехов жил у него в пермском имении, Савва, между прочим, сказал:

— Начал Антон Павлов читать Ницше, но скоро бросил книгу: «Он, говорит, оглушает меня, как двадцать барабанщиков».

Я спросил Савву,— а как он думает о превосходном немецком пиротехнике?

— Это вполне понятное явление после Шопенгауэра и Гартмана. Ницше так же полезен для прусской политики, как был полезен для нее Бисмарк. Кто-то уже указал на их сродство. А вне отношения к немцам, Ницше — для меня — жуткий признак духовного оскудения Европы. Это — крик больного о его желании быть здоровым. Изработалась эта великолепная машина и скрипит во всех частях. Она требует радикального ремонта, но министры ее — плохие слесаря. Только в области экспериментальных наук и техники она продолжает свою работу энергично, но совершенно обессилела в творчестве социальном. Ницше пробовал создать новую идеологию, но в существе своем идеология эта уже дана в философских драмах Ренана. Книги Ницше нечто вроде экстракта Броун-Секара, даже не тот «допинг», который дают лошадям на бегах, чтоб увеличить их резвость. Я читал эти книги с некоторым

отвращением и, пожалуй, злорадством. Европа относится к нам свински, и, понимаешь, немножко приятно слышать, когда она голосом Ницше да подобных ему кричит от боли, от страха, предчувствуя тяжелые дни. Славянофильство, народничество и все другие виды сентиментального идиотизма — чужды мне. Но я вижу Россию как огромное скопление потенциальной энергии, которой пора превратиться в кинетическую. Пора. Мы — талантливы. Мне кажется, что наша энергия могла бы оживить Европу, излечить ее от усталости и дряхлости. Поэтому я и говорю: во что бы то ни стало нам нужна революция, способная поднять на ноги всю массу народа.

Мы пришли с похорон А. П. Чехова и сидели в саду Морозова, настроенные угнетенно. Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом писателя шагало человек сто, не более; мне очень памятны два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках. Идя сзади их, я слышал, что один говорит об уме собак, другой расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

— Ах, он был удивительно милый и так остроумен...

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околодочный на толстой белой лошади. Всё это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

Проводив гроб до какого-то бульвара, Савва предложил мне ехать к нему пить кофе, и вот, сидя в саду, мы грустно заговорили об умершем, а потом отправились на кладбище. Мы приехали туда раньше, чем

пришла похоронная процессия, и долго бродили среди могил. Савва философствовал:

— Все-таки — не очень остроумно, что жизнь заканчивается процессом гниения. Нечистоплотно. Хотя гниение суть тоже горение, но я предпочел бы взорваться, как динамитный патрон. Мысль о смерти не возбуждает у меня страха, а только брезгливое чувство,— момент погружения в смерть я представляю как падение в компостную яму. Последние минуты жизни должны быть наполнены ощущением засасывания тела какой-то липкой, едкой и удушливо-пахучей средой.

— Но ведь ты веришь в бога?

Он тихо ответил:

— Я говорю о теле, оно не верит ни во что, кроме себя, и ничего кроме не хочет знать.

В ограду кладбища втиснулась толпа людей, священники начали церемонию погребения, потом резкий, неприятный бас угрожающе возгласил:

— Вечная память!

Мне казалось, что к женщинам Морозов относится необычно, почти враждебно, как будто общение с женщиной являлось для него необходимостью тяжелой и неприятной. «Девка» — было наиболее частым словом в его характеристиках женщин, он произносил это слово с брезгливостью сектанта. А однажды сказал:

— Чаще всего бабы любят по мотивам жалости и страха. Вообще же любовь — литература, нечто словесное, выдуманное.

Но он говорил на эту тему редко, всегда неохотно и грубо.

Я замечал, что иногда он подчиняется настроению угрюмой неприязни к людям.

— Девяносто девять человек живут только затем, чтоб убедить сотого: жизнь бессмысленна! — говорил он в такие дни.

Он упорно искал людей, которые стремились так или иначе осмыслить жизнь, но, встречаясь и беседуя с ними, Савва не находил слов, чтоб понятно рассказать

себя, и люди уходили от него, унося впечатление темной спутанности.

Как-то осенью, дождливым днем, он сидел у меня в комнате гостиницы «Княжий двор», молча пил крепкий чай и назойливо стучал пальцами по столу. Дождь хлестал в окно, по стеклам текли потоки воды, было очень скучно, казалось, что вот стекла размоет, вода хлынет в комнату и потопит нас.

— Что с тобой? — спросил я.

— Сплю плохо,— неохотно ответил Савва, сморщив лицо.— Вижу дурацкие сны. Недавно видел, что меня схватили на улице какие-то люди и бросили в подвал, а там — тысячи крыс, крысиный парламент какой-то. Сидят крысы на кадках, ящиках, на полках и человечески разговаривают. Но так, знаешь, что каждое отдельное слово растягивается минут на пять, и эта медленность — невыносима, мучительна. Как будто все крысы знают страшную тайну и должны сказать ее, но — не могут, боятся. Отчаянно глупый сон, а проснулся я в дикой тревоге, весь в поту.

И вдруг, вскочив, он забегал по комнате, нервно взвизгивая и скаля зубы:

— Нет, подумай! Эта бесшабашная сволочь, эти анархисты в мундирах сановников,— вот! — затеяли войну. Японцы бьют нас, как мальчишек, а они — шутки шутят, шуточки! Макаки, кое-каки и прочее... Бессмысленно, преступно...

Сразу оборвав свои крики,— точно оступился и упал,— он остановился среди комнаты, спрашивая:

— Неужели и это пройдет безнаказанно для них?

И снова сел к столу, жадно глотая остывший чай. Потом заговорил несвязно и отрывисто:

— Совершенно невероятно наше отношение к интересам России, к судьбе народа!

Говорил о том, что в Европе промышленники обладают более или менее ясным сознанием своих задач. Да, они хищники, но их работа более культурна, чем работа русских, ибо она более плодотворна технически. В России влияние промышленности на власть — это чисто физическое давление тяжести, массы, нечто слепое, неосмысленное.

— В мире творчески работают три силы: наука, техника, труд; мы же технически — нищие, наука у нас под сомнением в ее пользе, труд поставлен в каторжные условия,— невозможно жить. Немецкая фабрика — научное учреждение. Возьми все новые англосаксонские организации — Австралию, Соединенные Штаты, Гвинею,— всё это создано энергией людей небольшого государства. А что делаем мы, стомиллионная масса людей? У нас превосходные работники, духоборы, убежали в Америку...

Он говорил всё более сбивчиво, было ясно, что мысли его кипят, но он не в силах привести их в порядок. И незаметно для меня, как-то вдруг начал говорить о своей личной жизни.

— Мы вообще не умеем жить. Вот — я живу плохо, трудно. Это даже со стороны видят. Старик-ткач, приятель моего отца, недавно сказал мне: «Брось фабрику, Савва, брось да уйди куда-нибудь. Не в твоем характере купечествовать. Не удал ты хозяин». Это — верно! Но куда же я уйду? Хотя — есть люди, очень заинтересованные в том, чтоб я ушел или издох...

Он болезненно засмеялся.

Мне рассказывали, что, когда Савва приезжал на фабрику, мальчишки били камнями стекла в окнах комнат, где он жил, и было установлено, что мальчишкам платят за это по двугривенному. Слышал я также, что Савва получает анонимные письма с угрозами убить его.

— Правда это?

— Ну да,— ответил он.— Меня, видишь ли, хотят перевоспитать и немножко пугают. Я, конечно, хорошо знаю, откуда это идет. Не думай, что от революционно настроенных рабочих, но мне хотят внушить, что именно от них. Тут действуют хулиганы, способные за трешницу и не на такие пустяки. У меня письма с покаяниями таких ребят,— за покаяние, конечно, просят уплатить. Один кающийся — его я велел рассчитать — даже назвал человека, подкупившего его избить меня. В комнатах у меня делают обыски, недавно украли «Искру» и литографированный доклад фабричного инспектора, с моими пометками...

Закрыв глаза, он вздохнул:

— Одинок я очень, нет у меня никого! И есть еще одно, что меня смущает: боюсь сойти с ума. Это — знают, и этим тоже пытаются застращать меня. Семья у нас — не очень нормальна. Сумасшествия я действительно боюсь. Это — хуже смерти...

Я попробовал разубедить его, но он сказал, махнув рукою:

— Брось. Я грамотен. Знаю.

Заговорил о Леониде Андрееве:

— Он тоже боится безумия, но хочет других свести с ума. Я скромнее его. У нас и в Соединенных Штатах одно и то же: третье поколение крупных промышленников дает огромный процент нервно и психически больных, дегенератов. Ты знаешь это?

Видимо, он внимательно следил за этим явлением: перечислил мне длинный ряд русских и американских семей, отмечая с точностью и в терминах психиатра признаки и факты дегенерации.

За окном потемнело и всё хлестал, гудел дождь, взвизгивал ветер.

— Поедем куда-нибудь? — предложил Савва.

Поехали в театр, но дорогой Морозов, остановив извозчика, сказал:

— Нет, пойду домой, лягу спать... Прощай...

И, подняв воротник пальто, нахлобучив шляпу, ушел.

Незадолго до кровавых событий 9 января 905 года Морозов ездил к Витте с депутацией промышленников, пытался убедить министра в необходимости каких-то реформ и потом говорил мне:

— Этот пройдоха, видимо, затевает какую-то подлую игру. Ведет он себя, как провокатор. Говорить с ним было, конечно, бесполезно и даже глупо. Хитрый скот.

А накануне 9 января, когда уже стало известно, что рабочие пойдут к царю, Савва предупредил:

— Возможно, что завтра в городе будет распоряжаться великий князь Владимир и будет сделана попытка погрома редакций газет и журналов. Наверное, среди интеллигенции будут аресты. Надо думать, что

гапоновцы не так глупы, чтоб можно было спровоцировать их на погром, но, вероятно, полиция попытается устроить какую-нибудь пакость. Не худо было бы организовать по редакциям самооборону из рабочих, студентов, да и вообще завтра следует гулять с револьвером в кармане. У тебя есть?

У меня не было. Он вытащил из кармана браунинг, сунул его мне и поспешно ушел, но вечером явился снова, встревоженный и злой.

— Ну, брат, они решили не пускать рабочих ко дворцу, будут расстреливать. Вызвана пехота из провинции, кажется 144-й полк, вообще — решено устроить бойню.

Я тотчас же бросился в ближайшую редакцию газеты «Сын отечества» и застал там человек полтораста, обсуждающих вопрос: что делать? Молодежь кричала, что надо идти во главе рабочих, но кто-то предложил выбрать депутацию к Святополк-Мирскому, дабы подтвердить «мирный» характер намерений рабочих и указать министру на засады, устраиваемые полицией всюду в городе. Кажется — так, я не точно помню задание, возложенное на депутацию, хотя, неожиданно для себя, и был выбран в ее состав.

Я был занят беседой с рабочим Кузиным, деятельным «гапоновцем»,— кто-то, кажется Петр Рутенберг, познакомил меня с ним за несколько дней пред этим. Кузин, оказавшийся впоследствии агентом охраны, убеждал меня в необходимости для рабочих идти с красными флагами и революционными лозунгами, доказывал, что революционные организации должны взять движение в свои руки.

— Бойня всё равно будет!— говорил он, улыбаясь.— Ведь ладком да мирком — ничего не достигнем, пусть рабочие убедятся в этом...

Он был тоже выбран в члены депутации, куда вошли Н. Ф. Анненский, В. И. Семевский, Н. Кареев, А. В. Пешехонов, В. А. Мякотин, И. Гессен, Кедрин и я. Поехали на четырех извозчиках, я — в паре с Кузиным.

— Флажки надо выкинуть, флажки, а так, просто гулять — какой толк? — мечтательно и настойчиво повторял Кузин.

Был он человечек тощий, с маленькой вертлявой головкой; красненький, мокрый нос казался нарывом на его лисьем лице, глазки его мигали тревожно, губы заискивающе улыбались, и весь он — в явном разладе с назойливой революционностью своих речей.

Лениво падал мелкий снег. На Невском — необычно пустынно, хотя было не позднее десяти часов вечера; ворота домов заперты, всюду молча жмутся тяжелые туши дворников. Тяготило предчувствие неизбежной трагедии, и казалось, что фонари горят менее ярко, чем всегда.

— Полицейских-то на постах — нет,— заметил Кузин, вздохнув.

Приехали на Фонтанку к товарищу министра Рыдзевскому; он встретил нас, сунув руки в карманы, не поклонясь, не пригласив стариков депутации сесть, молча, с неподвижным лицом выслушал горячую речь взволнованного до слез Н. Ф. Анненского и холодно ответил, что правительство знает, что нужно ему делать, и не допустит вмешательства частных лиц в его распоряжения. Кажется, он добавил, что нам нужно было попытаться влиять на рабочих, дабы они не затевали демонстрации, а о каком-либо влиянии на правительство — не может быть речи.

Кто-то сказал:

— Мы — не частные лица, мы люди, уполномоченные собранием интеллигенции...

Рыдзевский, не дослушав, повернулся боком и поднял руку к лицу, как будто желая прикрыть зевок.

Не помню, почему не поехали к Святополку, кажется, он не захотел принять депутацию. Решили ехать к Витте; дорогой на Петроградскую сторону Кузин спрашивал меня: правда ли, что Рыдзевский — внук Александра II?

— Не все ли вам равно, чей он внук?

Кузин не ответил, но на Троицком мосту тихо сказал:

— Пожалуй — правда. Принял он нас по-царски. Гордо...

Витте не было дома. Часа полтора сидели в библиотеке, ожидая его, наконец он явился и любезно пригласил нас в кабинет.

Сидя за массивным столом, на котором возвышался большой фотографический портрет Александра III, Витте методически прихлебывал из большого стакана какую-то мутно-опаловую жидкость и снисходительно слушал речи Мякотина, Анненского, ощупывая бойкими глазами каждого из нас по очереди. Голова Витте показалась мне несоразмерно маленькой по сравнению с тяжелым его телом быка, лоб несоразмерно велик сравнительно с черепом, во всем облике этого человека было что-то нескладное, недоделанное. Курносое маленькое лицо освещали рысьи глазки, было что-то отталкивающее в их цепком взгляде. Он шевелил толстым пальцем, искоса любуясь блеском бриллианта в перстне.

Он заговорил тоном сожаления, пожимая плечами, приподнимая жидкие брови, улыбаясь скользящей улыбкой,— это делало его еще более неприятным. Голос звучал гнусавенько, слова сыпались обильно и легко, мне послышалось в них что-то хвастливое, и как будто он жаловался, но смысла слов я не мог уловить, и почти ничего не оставили они в моей памяти. Помню только, что, когда он внушительно сказал: «Мнение правящих сфер непримиримо расходится с вашим, господа...»,— я почувствовал в этой фразе что-то наглое, ироническое и грубо прервал его:

— Вот мы и предлагаем вам довести до сведения сфер, что, если завтра прольется кровь,— они дорого заплатят за это.

Он искоса мельком взглянул на меня и продолжал сыпать пыль слов. Потом предложил нам перейти в библиотеку на время, пока он переговорит с князем Святополком. Мы ушли, я слышал, что он говорит по телефону, но у меня осталось странное впечатление, что он звонил своему швейцару и беседовал с ним.

Не знаю, каков был ответ Святополка — или швейцара,— я не входил в кабинет на приглашение Витте и не спрашивал об этом членов депутации. Я вообще чувствовал себя не на своем месте в этой депутации. К тому же меня очень интересовал Кузин,— я увидал, что он очарованно смотрит на коллекцию орденов в витрине; согнувшись над нею, почти касаясь пуговицей

носа стекла ее, он смотрел на ордена, из рта его тянулась нить слюны и капала на стекло. Когда я окликнул его, он с трудом выпрямил спину и, улыбаясь масленой, пьяной улыбкой, сказал, вздохнув:

— Сколько... накопил, чёрт...

Шмыгнул мокрым носом и крепко вытер лицо рукавом пиджака. Всё это было неописуемо противно. Назад, в редакцию, я уже не мог ехать с Кузиным...

В редакцию мы возвратились около трех часов утра, доложили о бесполезности наших визитов, не рассказывая о их унизительности; удрученная публика начала расходиться. Мне пришло в голову, что необходимо составить отчет о нашем путешествии по министрам, я предложил это, публика согласилась со мною, и мне предложили к утру написать отчет.

Дома дверь отпер мне Савва Морозов, сердито спросив:

— Где это ты увяз?

Я наскоро рассказал ему.

— Напрасно ты путаешься в такие дела,— хмуро заметил он.

— Не мог же я отказаться, если выбрали!

— Н-ну... А я думал, тебя арестовали.

Обняв меня за талию, он сказал:

— У меня есть предчувствие, что завтра тебе и многим свернут головы. Как ты думаешь?

Я сказал, что не чувствую себя настолько остроумным, чтоб ответить на такой вопрос, и сел писать отчет, а он пошел к себе в гостиницу, предупредив меня:

— Ты завтра один не выходи на улицу, вместе пойдем. Я зайду за тобой в восемь часов...

Но в шесть за мной пришел мой добрый знакомый Леонтий Бенуа, и мы с ним отправились на Выборгскую сторону; там, среди рабочих, были товарищи, нижегородцы Антон Войткевич, большевик, и его жена Иваницкая. Насколько я знаю, первый красный флаг и первый крик «Долой самодержавие!» раздался 9 января среди толпы выборжцев на Сампсониевском мосту. С флагом шел Войткевич, этот флаг я принужден был сжечь вместе с некоторыми заметками моими во время обыска у меня в Риге.

Лозунг рабочие поддержали слабо, недружно, он даже вызвал сердитые окрики:

— Долой флаг! Убрать! Товарищи, не надо раздражать полицию! Мирно...

Длинный лысый человек, размахивая шапкой, кричал около меня:

— Не поддавайтесь на провокацию-у-у!

Эту толпу расстреляли почти в упор, у Троицкого моста. После трех залпов откуда-то со стороны Петропавловской крепости выскочили драгуны и начали рубить людей шашками. Особенно старался молодой голубоглазый драгун со светлыми усиками, ему очень хотелось достать шашкой голову красавца Бенуа; длинноволосый брюнет с тонким лицом, он несколько напоминал еврея, и, должно быть, это разжигало воинственный пыл убийцы. Бенуа поднимал с земли раненного в ногу рабочего, а драгун кружился над ним и, взвизгивая, как женщина, пронзительно, тонко, взмахивал шашкой. Но лошадь его брыкалась, не слушая узды, ее колотил толстой палкой по задним ногам рыжий рабочий,— точно дрова рубя. Драгун ударил его шашкой по лицу и наискось рассек лицо от глаза до подбородка. Помню неестественно расширенный глаз рабочего, и до сего дня режет мне память визг драгуна, прыгает предо мною лицо убийцы, красное от холода или возбуждения, с оскалом стиснутых зубов и усиками дыбом на приподнятой губе. Замахиваясь тусклой полоской стали, он взвизгивал, а ударив человека — крякал и плевал, не разжимая зубов. Утомясь, качаясь на танцующем коне, он дважды вытер шашку о его круп, как повар вытирает нож о свой передник.

Странно было видеть равнодушие солдат; серой полосою своих тел заграждая вход на мост, они, только что убив, искалечив десятки людей, качались, притопывая ногами, как будто танцуя, и, держа ружья к ноге, смотрели, как драгуны рубят, с таким же вниманием, как, вероятно, смотрели бы на ледоход или на фокусы наездников в цирке.

Потом я очутился на Полицейском мосту, тут небольшая толпа слушала истерические возгласы кудрявого студента, он стоял на перилах моста, держась

одною рукой за что-то и широко размахивая сжатым кулаком другой. Десяток драгун явился как-то незаметно, поразительно быстро раздавил, разбил людей, а один конник, подскакав к студенту, ткнул его шашкой в живот, а когда студент согнулся, ударом по голове сбросил за перила, на лед Мойки.

Выход из Гороховой на площадь был заткнут матросами гвардейского экипажа, их офицера́ собрались группой на тротуаре, матросы тоже стояли «вольно», разбивши фронт на кучки. Один из них, широкорожий, могучий, как цирковой борец, грубо крикнул нам:

— Куда лезете?

Но посторонился и пропустил нас, сказав вслед:

— Там вам...

Точно большая собака дважды тявкнула.

Мы подошли к Александровскому скверу в ту минуту, когда горнист трубил боевой сигнал, и тотчас же солдаты, преградившие выход к Зимнему дворцу, начали стрелять в густую, плотную толпу. С каждым залпом люди падали — кучами, некоторые — головой вперед, как будто в ноги кланяясь убийцам. Крепко въелись в память бессильные взмахи рук падавших людей.

У меня тоже явилось трусливое желание лечь на землю, и я едва сдерживал его, а Бенуа тащил меня за руку вперед и, точно пьяный, рыдающим голосом кричал:

— Эй, сволочь, бей, убивай...

Близко от солдат, среди неподвижных тел, полз на четвереньках какой-то подросток, рыжеусый офицер не спеша подошел к нему и ударил шашкой, подросток припал к земле, вытянулся, и от его головы растеклось красное сияние.

Толпа закружила нас и понесла на Невский. Бенуа куда-то исчез. А я попал на Певческий мост, он был совершенно забит массой людей, бежавших по левой набережной Мойки, в направлении к Марсову полю, откуда встречу густо лилась другая толпа. С Дворцовой площади по мосту стреляли, а по набережной гнал людей отряд драгун. Когда он втиснулся на мост, безоружные люди со свистом и ревом стиснули его, и один за

другим всадники, сорванные с лошадей, исчезли в черном месиве. У дома, где умер Пушкин, маленькая барышня пыталась приклеить отрубленный кусок своей щеки, он висел на полоске кожи, из щеки обильно лилась кровь, барышня, всхлипывая, шевелила красными пальцами и спрашивала бегущих мимо ее:

— Нет ли у вас чистого платка?

Чернобородый рабочий, по-видимому, металлист, темными руками приподнял ее, как ребенка, и понес, а кто-то сзади меня крикнул:

— Неси в Петропавловскую больницу, всего ближе...

Толпа была настроена неопределенно, в общем — угрюмо, но порою среди ее раздавались оживленные возгласы и даже смех. Иные шагали не спеша, рассеянно оглядываясь по сторонам, как бы не зная, куда идут, другие бежали, озабоченно толкая попутчиков; я мало слышал восклицаний злобы и гнева. Помню: обогнал меня, прихрамывая, старичок в бабьей ватной кофте, оглянулся и, подмигнув мне веселым глазом, спросил:

— Хорошо угостили?

На голове у него торчала порыжевшая трепаная шапка, а в пальцах правой руки он держал небольшой булыжник.

Дома мне отпер дверь опять-таки Савва Морозов с револьвером в руке; я спросил его:

— Что это ты вооружился?

— Прибегают какие-то люди, спрашивают: где Гапон? Чёрт их знает, кто они.

Это было страшно: я видел Гапона только издали, на собраниях рабочих, и не был знаком с ним. Квартира моя была набита ошеломленными людьми, я отказался рассказывать о том, что видел, мне нужно было дописать отчет о визите к министрам. И вместо отчета написал что-то вроде обвинительного акта, заключив его требованием предать суду Рыдзевского, Святополка-Мирского, Витте и Николая II за массовое и предумышленное убийство русских граждан.

Теперь этот документ не кажется мне актом мудрости, но в тот час я не нашел иной формы для выражения кровавых и мрачных впечатлений подлейшего из всех подлых дней царствования жалкого царя.

Только что успел дописать, как Савва, играя роль швейцара и телохранителя, сказал угрюмо:

— Гапон прибежал.

В комнату сунулся небольшой человечек с лицом цыгана, барышника бракованными лошадьми, сбросил с плеч на пол пальто, слишком широкое и длинное для его тощей фигуры, и хрипло спросил:

— Рутенберг — здесь?

И заметался по комнате, как обожженный, ноги его шагали, точно вывихнутые, волосы на голове грубо обрезаны, торчали клочьями, как неровно оборванные, лицо мертвенно-синее, и широко открытые глаза — остеклели, подобно глазам покойника. Бегая, он бормотал:

— Дайте пить! Вина. Всё погибло. Нет, нет! Сейчас я напишу им.

Потом бессвязно заговорил о Фуллоне, ругая его.

Выпив, как воду, два чайных стакана вина, он требовательно заявил:

— Меня нужно сейчас же спрятать,— куда вы меня спрячете?

Савва сердито предложил ему сначала привести себя в лучший порядок, взял ножницы со стола у меня, и, усадив попа на стул, брезгливо морщась, начал подстригать волосы и бороду Гапона более аккуратно. Он оказался плохим парикмахером, а ножницы — тупыми! Гапон дергал головою, вскрикивая:

— Осторожнее,— что вы?

— Потерпите,— нелюбезно ворчал Савва.

Явился Петр Рутенберг, учитель и друг попа, принужденный через два года удавить его, поговорил с ним и сел писать от лица Гапона воззвание к рабочим,— это воззвание начиналось словами:

«Братья, спаянные кровью».

Поп послал Н. П. Ашешова к рабочим с какой-то запиской, пришел Ф. Д. Батюшков и еще какие-то удрученные люди, они заявили, что Гапон — убит и что сейчас по Невскому полиция провезла его труп,— «труп» в это время мылся в уборной. Явился еще кто-то и сказал, что Гапон жив, его ищет полиция, обещано вознаграждение за арест попа.

Батюшков предложил отвести Гапона в Вольно-Экономическое общество, где собралась интеллигенция,— не помню мотивов этого предложения. Савва, усмехаясь, сказал:

— Да, да, пускай посмотрят...

Он был настроен раздраженно, говорил угрюмо и смотрел на Гапона с явной неприязнью. Гапон сначала отказался ехать, но его убедили; тогда он попросил загримировать ему лицо, и Морозов повез его к режиссеру Художественного театра Асафу Тихомирову, гримировать.

Тихомиров не очень понял трагизм момента, из его рук поп вышел похожим на парикмахера или приказчика модного магазина. В этом виде я и отвез его в Вольно-Экономическое общество, где заявил с хор, что Гапон — жив, вот он! И показал его публике.

В Вольно-Экономическом обществе представители рабочих разных заводов и фабрик рассказывали о событиях дня; узнав, что Гапон тут, они пожелали видеть его, но поп отказался от свидания с ними и тотчас же уехал с Батюшковым, который дня через два отправил его в Финляндию.

А я пошел домой во тьме, по улицам, густо засеянным военными патрулями, преследуемый жирным запахом крови. Город давила морозная тишина, изредка в ней сухо хлопали выстрелы, каждый такой звук, лишенный эха, напоминал о человеке, который, бессильно взмахнув руками, падает на землю.

Дома медленно ходил по комнате Савва, сунув руки в карманы, серый, похудевший, глаза у него провалились в темные ямы глазниц, круглое лицо татарина странно обострилось.

— Царь — болван,— грубо и брюзгливо говорил он.— Он позабыл, что люди, которых с его согласия расстреливали сегодня, полтора года тому назад стояли на коленях пред его дворцом и пели «Боже царя храни...».

— Не те люди...

Он упрямо тряхнул головой:

— Те же самые русские люди. Стоило ему сегодня выйти на балкон и сказать толпе несколько ласковых

слов, дать ей два, три обещания,— исполнить их не обязательно,— и эти люди снова пропели бы ему «Боже царя храни». И даже могли бы разбить куриную башку этого попа об Александровскую колонну... Это затянуло бы агонию монархии на некоторое время.

Он сел рядом со мною и, похлопывая себя по колену ладонью, сказал:

— Революция обеспечена! Года пропаганды не дали бы того, что достигнуто в один день.

— Жалко людей,— сказал я.

— Ах, вот что? — Он снова вскочил и забегал по комнате.— Конечно, конечно. Однако — это другое дело. Тогда не надо говорить им: вставайте! Тогда убеждай их — пусть они терпеливо лежат и гниют. Да, да!

Я лежал на диване; остановясь предо мною, Савва крепко сказал:

— Позволив убивать себя сегодня, люди приобрели право убивать завтра. Они, конечно, воспользуются этим правом. Я не знаю, когда жизнь перестанут строить на крови, но в наших условиях гуманность — ложь! Чепуха.

И снова присел ко мне, спрашивая:

— А куда сунули попа? Ух, противная фигура! Свиней пасти не доверил бы я этому вождю людей. Но если даже такой,— он брезгливо сморщился, проглотив какое-то слово,— может двигать тысячами людей, значит: дело Романовых и монархии — дохлое дело! Дохлое... Ну, я пойду! Прощай.

Он взял меня за руки и поднял с дивана, сердечно говоря:

— Вероятно, тебя арестуют за эту бумагу, и мы не увидимся долго. А я скоро поеду за границу, надо мне лечиться.

Мы крепко обнялись. Я сказал:

— Ночевал бы здесь. Смотри,— подстрелят...

— Потеря будет невелика,— тихо сказал он, уходя.

На другой день вечером я должен был уехать в Ригу, и там тотчас же по приезде был арестован. Савва немедля начал хлопотать о моем освобождении и добился этого, через месяц меня освободили под залог, предав суду. Но Морозов уже уехал за границу раньше,

чем я вышел из Петропавловской крепости, я больше не видал его.

За границей он убил себя, лежа в постели, выстрелом из револьвера в сердце.

За несколько дней до смерти Саввы его видел Л. Б. Красин. Возвращаясь из Лондона, с Третьего съезда партии, он заехал к Морозову в Виши; там, в маленькой санатории, Савва встретил его очень радостно и сердечно, но Красин сразу заметил, что Савва находится в состоянии болезненной тревоги.

— Рассказывайте скорее, как идут дела. Скорее, я не хочу, чтоб вас видели здесь...

— Кто?

— Вообще... Жена и вообще...

На глазах его сверкали слезы, он вызывал впечатление человека, который только что пережил что-то тяжелое, глубоко потрясен и ждет новых тревог.

Это был хороший друг, сердечно близкий мне человек, я очень любил его.

Но когда я прочитал телеграмму о его смерти и пережил час острой боли, я невольно подумал, что из угла, в который условия затискали этого человека, был только один выход — в смерть. Он был недостаточно силен для того, чтобы уйти в дело революции, но он шел путем, опасным для людей его семьи и его круга. Его пугали неизбежностью безумия, и, может быть, некоторые были искренно убеждены, что он действительно сходит с ума.

После смерти Саввы Морозова среди рабочих его фабрики возникла легенда: Савва не помер, вместо его похоронили другого, а он «отказался от богатства и тайно ходит по фабрикам, поучая рабочих уму-разуму».

Легенда эта жила долго, вплоть до революции...

‹А. Н. АЛЕКСИН›

А. Н. Алексин умер так же легко и просто, как жил.

Мне рассказали, что часа за два до смерти своей он пришел к себе в санаторию, настроенный бодро, весело, и, как всегда, начал шутить с больными, подразнивать их. Вероятно, он говорил им то же самое, что говорил мне 27 лет тому назад, в начале нашей крепкой дружбы.

Он как бы стыдился своего ума. Он часто повторял:

— Наиболее деятельным союзником болезни является уныние больного.

Он старался побороть это уныние, внушая больному бодрость грубовато-добродушным издевательством над страхом смерти, и всегда достигал желаемого: больной в своей борьбе за жизнь чувствовал в этом докторе умного и верного союзника.

В свой последний день он вышутил больных за то, что, боясь весенней свежести, сидели, закрыв дверь в парк, сам открыл дверь, сел обедать с больными, а когда ветер притворил дверь, он, выругавшись, хотел встать со стула и почувствовал, что у него отнялась нога.

— Это, кажется, кондрашка,— сказал он и лишился сознания.

Все, кто знал Александра Алексина, согласятся, что это был человек интересный и, по-русски, разнообразно талантливый. К медицине он относился несколько скептически; возможно, что именно поэтому он так удачно лечил. Это был идеальный русский земский врач, «мастер на все руки», хирург и гинеколог, окулист и «спец» по туберкулезу. Его интуиция в деле распознавания болезней была поразительна. Помню —

московская купчиха привезла в Ялту сына, девятилетнего мальчика, у него болела голова, он страдал рвотой, часто под влиянием боли кружился на одном месте, на его мучнисто-бледном личике тускло светились серые глаза с расширенными очень жутко зрачками. Три доктора — Бородулин, старик Штангеев, автор солидной книги «Лечение легочных болезней», и еще кто-то — определили менингит. Алексин не согласился с их диагнозом.

Его плотная, несколько тяжелая медвежья фигура, грубоватое лицо, прямой, пристальный взгляд умных, насмешливых глаз и малословная, резковатая речь всегда возбуждали в людях доверие к нему, женщины же особенно легко подчинялись влиянию его воли, как бы сразу чувствуя его духовное и физическое здоровье. Мать больного мальчика, узнав, что Алексин не согласился с диагнозом коллег, привела к нему мальчика, это было при мне.

— Я верю вам, лечите его.

Он угрюмо предупредил ее, что хотя и не согласен с товарищами в определении болезни, но не понимает ее. Мать плакала, кричала, пыталась даже встать на колени, у нее были совершенно безумные глаза, дрожало лицо, она щелкала зубами. Подняв ее с пола, мы положили на диван, А<лексин> дал ей вина с водой, наговорил ей, попутно, грубостей,— он часто грубил, чтоб скрыть свое волнение,— потом сказал:

— Ну, не кричите! Прошу понять: врачи не делают ни чудес, ни фокусов.

Помню, как неприятно поразило меня его дальнейшее поведение; он обращался с мальчиком так, что напомнил мне описания шаманства: громко шмыгая носом,— его привычка в затруднительных случаях, в моменты смущения,—сидя в кресле, отчаянно дыша дымом папиросы, он заставил больного бегать по столовой, потом, зажав его в коленях, начал говорить с ним о каких-то детских пустяках, пощекотал под мышками, заставив мальчугана визжать. Мать спросила о чем-то, он грубо ответил:

— Это не ваше дело.

Он увел мальчугана в кабинет к себе, вызвал там

у него обильную рвоту, и мальчуган, давясь, изрыгнул целый ком глистов.

— Гришка,— орал Алексин, испачканный, возбужденный до смешного, расталкивая стулья,— убирай!

А мальчик, извиваясь на коленях матери, стонал в приступах рвоты и всё извергал глисты,— отвратительно было видеть обилие их.

Вечером, когда мы пили вино, я спросил:

— Как ты узнал, что это глисты?

— Да я не узнал, а — попробовал,— сказал он, усмехаясь.

Был страшно обрадован и рассказал мне, что известный гинеколог Снегирев предложил ему проводить в Москву, в клиники на операцию, даму, у которой он констатировал внематочную беременность.

— Еду я с ней и, знаешь, не верю в эту беременность, а она как на смерть собралась. Я и говорю ей: «А я вот не верю в вашу болезнь». В то время я был молодой еще, практиковал всего пятый год, однако она, вижу, слушает меня с надеждой. «Дайте, говорю, осмотреть вас». Согласилась. Остановились в Курске, в гостинице, стал я осматривать ее и нечаянно прорвал нарыв на матке. Вот — испугался! «Ну, думаю, убил бабу». А она, вижу, превосходно чувствует себя. Пролежала четверо суток, поехали дальше. Привез я ее не в клинику, а к мужу, он мне — полторы тысячи гонорария отвалил. Пили, конечно, с ним дня три по всем кабакам. Снегирев обиделся: «Вы, говорит, дерзки, молодой человек, могли убить ее». Ну, конечно мог...

Таких случаев не мало было в его практике, вообще крайне удачной. Проф<ессор> Бобров, хирург, несколько раз приглашал его на консультации, и А<лексин> помогал ему даже на операциях.

— Ваш приятель — удивительно счастливый врач,— говорил мне Бобров,— у него совершенно исключительная интуиция, не знаю врача, у которого так тонко было бы развито чутье особенностей индивидуальности каждого больного.

Так же высоко оценивал талантливость Алексина дерматолог Ш., сифилидолог Тарновский.

— Пора бы вам, батенька, на кафедру, в университет, лентяй вы, да-с!

А. П. Ч<ехов> очень уважал Алексина как человека, но, должно быть, чувствуя, что этот человек не любит его, говорил:

— Ему слонов лечить, а не людей.

Видел я, как этот грубый вологодский мужик плакал от радости. В амбулаторию к нему гречанка принесла трехлетнюю девочку с огромным нарывом на шее, девочка умирала, лицо у нее было синее, глаза, синенькие и жалобные, закатывались, дыхание короткое, жадно хватающее воздух. Выхватив ребенка из рук матери, Алексин погрозил ей кулаком, крича:

— Ты бы, дура, еще подождала прийти, у-у!— И непозволительно обругал всех греков, включая древних, а потом начал орать:

— Софья — стол!

Огромная, уродливая, старая,— великолепная душа,— Софья Витютнева живо приготовила всё потребное для операции, и А<лексин> тотчас же, рыча, дико ругаясь, начал резать шею ребенка. Тут был действительно потрясающий момент: когда облитая обильным гноем и кровью грудка девочки высоко поднялась, вздохнув свободно, и мертвенная синеватость лица стала исчезать, и полузакрытые глазки ее вдруг открылись, заблестели радостью возвращения к жизни,— из дерзких, насмешливых глаз ее спасителя полились слезы, он крикнул, не скрывая восторга:

— Софья, вытри мне морду, видишь — пот!

Она, улыбаясь, вытерла глаза и щеки его рукавом халата, отвернувшись, чтоб скрыть свои слезы, а доктор, накладывая повязку, бормотал:

— Что? Мигаешь? Ага-а. То-то...

Потом, вымыв руки, одною рукой сунул гречанке три рубля, а другой дергая ее за ухо, сказал:

— Следи за ребенком, следи, блоха!

Через несколько дней я зашел к нему в больницу, он держал веселую, черноволосенькую, синеглазую девочку на коленях у себя, играя с нею; он хвастливо, с гордостью сказал:

— Вот она! Видишь — какая?

А идя со мною по набережной Ялты в сад, он говорил:

— Дать жизнь ребенку — это и дурак может, а вот вырвать человечка из лап смерти — это может только наука.

Я несколько раз присутствовал при его операциях, он делал их всегда, исключая случай с девочкой, хладнокровно и даже с некоторой щеголеватостью мастера, уверенного в своем искусстве.

— Хуже всего переносят боль греки, затем наши крестьяне, терпеливее — татары,— говорил он.

Был он добр, хорошо, по-мужицки, незатейливо умен, очень терпимо относился к людям и небрежно к себе. Любил музыку, хорошо знал и понимал ее, играл на пианино и, обладая хорошим голосом, нередко с успехом пел в «благотворительных» концертах. Книг читал мало, даже и по своей специальности, а в часы отдыха любил читать ноты; ляжет на диван, почему-то сняв один ботинок с ноги, возьмет Бетховена, Моцарта, Баха или какую русскую оперу и читает, молча или напевая с закрытым ртом. Его очень любили женщины, он щедро платил им тем же, и на протяжении двадцати с лишком лет моей с ним дружбы ни один из его романов не окончился драмой. У него была очень развита здоровая брезгливость к излишествам лирики и «психологии».

— Избыток хотя бы и драгоценных камней — уже пошлость,— говорил он.

Но в то же время он обладал тонко разработанным чутьем эстетики сексуализма и, когда говорил о любимой женщине, я всегда чувствовал, что он говорит о партнерше, с которой ему предречено спеть дуэт во славу радости жизни.

Его первой женою была очень известная в свое время концертная певица, контральто Якубовская, она умерла после родов; он говорил о ней всегда с печалью и морщась при воспоминании о той глубокой боли, которую причинила ему смерть, похитив женщину.

— Я, знаешь, решил идти на сцену, но, когда она умерла, сказал себе: нет, буду лечить людей.

Он лечил композитора Калинникова, безнадежно больного.

— Умрет, чёрт возьми,— говорил он, крепко потирая лоб.— Невыносимо досадно, а спасти — нельзя. Знал бы ты, какой это талант... Если б я встретил его месяца на три раньше, можно бы протянуть несколько лет. А теперь ткань легких расползается у него, как гнилая тряпка.

Был он сын сельского попа Вологодской губернии, в университет пошел против воли отца.

— Говорю ему: «Отец, я хочу в университет, учиться».— «Прокляну!» — «Серьезно?» — «Как бог свят — прокляну!» — «Что же — проклинай». Не проклял, хотя был мужик твердого характера.

Был у него слуга Григорий, черноволосый тамбовский мужик, очень умный и влюбленный в доктора, как нянька в ребенка. Часто вечерами он приходил в кабинет Алексина и спрашивал, стоя в дверях:

— Можно с вами поговорить?

— Иди, садись, чёрт.

Григорий садился на диван у ног Алексина и заводил философическую беседу:

— Не понимаю я, Александр Николаевич, какой у бога расчет детей морить? Экономии не вижу я в этом...

ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Андреева — «М. Ф. Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы», изд. 3. М., «Искусство», 1968.

Архив Г I–XIII — Архив А. М. Горького, т. I. История русской литературы. М., Гослитиздат, 1939; т. II. Пьесы и сценарии. 1941; т. III. Повести, воспоминания, публицистика. Статьи о литературе, 1951; т. IV. Письма к К. П. Пятницкому, 1954; т. V. Письма к Е. П. Пешковой, 1955; т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке. 1957; т. VII. Письма к писателям и И. П. Ладыжникову, 1959; т. VIII. Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами. М., Изд-во АН СССР, 1961; т. IX. Письма к Е. П. Пешковой. М., Гослитиздат, 1966; т. X. М. Горький и советская печать. М., «Наука», кн. 1, 1964; кн. 2, 1965; т. XI. Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым, 1966; т. XII. Художественные произведения. Статьи. Заметки, 1969; т. XIII. М. Горький и сын. Письма. Воспоминания, 1970.

ВС — М. Горький в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1955.

Г в Татарии — Горький в Татарии. Сборник. Казань, 1961.

Г и Короленко — М. Горький и В. Короленко. Сборник материалов. Переписка, статьи, высказывания. М., Гослитиздат, 1957.

Г, Материалы — М. Горький. Материалы и исследования, т. I. Л., Изд-во АН СССР, 1934; т. III. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1941.

Г и его время — И. А. Груздев. Горький и его время. М., Гослитиздат, 1962.

Г-30 — М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. М., Гослитиздат, 1949—1953.

Гусев — Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. М.— Л., «Academia», 1936.

Г Чтения, 1940—1966 — Горьковские чтения, 1937—1938. М., Изд-во АН СССР, 1940 — Горьковские чтения, 1964—1965. М., «Наука», 1966.

Десять лет — С. В. Короленко. Десять лет в провинции. Ижевск, 1966.

К — М. Горький. Собрание сочинений, тт. 1—21. Berlin, Verlag «Kniga», 1923—1928.

Калинин — Н. Калинин. Горький в Казани в 1884—1888 гг. Спутник по горьковским местам. Казань, 1940.

Короленко — В. Г. Короленко. Собрание сочинений в 10 томах. М., 1958.

Коцюбинский — М. М. Коцюбинский. Собрание сочинений в 4 томах. М., Гослитиздат, 1965.

ЛЖТ$_{I-IV}$ — Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. I — IV. М., Изд-во АН СССР, 1958—1960.

ЛБГ — Личная библиотека М. Горького.

Лит Насл — Горький и советские писатели. «Литературное наследство», т. 70. М., Изд-во АН СССР, 1963; М. Горький и Л. Андреев. «Литературное наследство», т. 72. М., «Наука», 1965.

Луначарский — А. В. Луначарский. Собрание сочинений в 8 томах. М., ГИХЛ, 1963—1967.

Н сборник — «Нижегородский сборник памяти Вл. Г. Короленко». Н. Новгород, 1923.

ПТ — первопечатный текст.

Рев путь Г — Революционный путь Горького. М.— Л., 1933.

Сулержицкий — Леопольд Антонович Сулержицкий. Повести и рассказы. Статьи и заметки о театре. Переписка. Воспоминания о Л. А. Сулержицком. М., 1970.

Толстой — Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. М.— Л., ГИХЛ, 1928—1958.

В шестнадцатый том вошли повесть «Мои университеты», рассказы, очерки, наброски, стихотворения, написанные Горьким в период с начала 1917 до конца 1924 года. Из этих произведений «Мои университеты», «Сторож», «Время Короленко», «О вреде философии», «О первой любви», «В. Г. Короленко», после первых публикаций на русском языке вошли в книгу: М. Горький. Мои университеты. Berlin, Verlag «Kniga», 1923; «Лев Толстой» (трижды выходивший отдельным изданием) и «Леонид Андреев» включались в книгу: М. Горький. Воспоминания. Berlin, Verlag «Kniga», 1923; «О С. А. Толстой» печаталось в издании: М. Горький. Воспоминания. Рассказы. Заметки. Berlin, Verlag «Kniga», 1925. Все эти произведения входили в собрания сочинений писателя, начиная с *К.*

«Миша», «На улице», «Кошмар», «Из воспоминаний ⟨«Интересно умирал...»⟩, «В глубине России», «Как я учился», «Из воспоминаний о В. Г. Короленко», «Песня», «Про Иванушку-дурачка», «В больном городе», ⟨«Пять стихотворений 1918 года»⟩ (в переводе на русский печатаются впервые), «Яшка», «Из воспоминаний ⟨Иоанн Кронштадтский⟩» были опубликованы автором в периодике, но в собрания сочинений не включались. Рассказ «Как я учился» и очерки «В больном городе» выходили при жизни писателя отдельными изданиями: «Как я учился». Рассказ Максима Горького, 1 и 2 изд. Пг., «Культура и Свобода», 1917; М. Горький. Как я учился. Рассказ. Берлин—Петербург—Москва, изд-во Гржебина, 1922; М. Горький. В больном городе. Пг., изд-во Нонина, 1919.

Остальные произведения, вошедшие в настоящий том, при жизни автора не публиковались.

Тексты шестнадцатого тома подготовили и примечания к ним составили: *М. М. Бондарюк* (⟨«Сгорел еще один день...»⟩, ⟨«Опираясь острыми локтями...»⟩, ⟨«Пестрый день...»⟩); *С. Я. Брод-*

ская («На шхуне по Каспийскому морю»); *Л. Г. Бухарцева* («На улице», «Кошмар», «Из воспоминаний ‹«Интересно умирал...»›», «В глубине России», «Как я учился», «Песня», «Про Иванушку-дурачка», «В больном городе», «Яшка»); *И. И. Вайнберг* («Миша»); *Г. Д. Гвенетадзе* (‹«Иду в Самаре берегом Волги...»›); *Л. Н. Смирнова* («О вреде философии», «О первой любви»); *И. И. Соколова* («Сторож»); *М. А. Соколова* («Мои университеты», «Время Короленко», «В. Г. Короленко», «Из воспоминаний о В. Г. Короленко»); *В. Ю. Троицкий* (‹«Пять стихотворений 1918 года»›, «Письма к читателям ‹Л. А. Сулержицкий›», «О Михайловском», ‹«Павел Розанов»›, «Из воспоминаний ‹Иоанн Кронштадтский›», ‹«Приехал я из Нижнего...»›, «Савва Морозов», ‹«А. Н. Алексин»›); *В. Н. Чуваков* («Леонид Андреев»); *Ю. И. Шведова* («Лев Толстой», «О С. А. Толстой»).

Творческая история произведений «Сторож», «О вреде философии», «О первой любви», а также история замысла книги «Среди интеллигенции» (вступительная часть примечаний к очерку «Время Короленко») написаны *А. И. Овчаренко;* реальный комментарий к произведениям «Мои университеты», «Сторож», «О вреде философии» и «О первой любви» составил *С. Г. Бочаров.* При составлении примечаний к произведениям «Лев Толстой» и «О С. А. Толстой», «Письма к читателям ‹Л. А. Сулержицкий›», «О Михайловском», «Савва Морозов», ‹«А. Н. Алексин»› использованы материалы, предоставленные *М. Г. Петровой.*

Тексты шестнадцатого тома рассмотрены и утверждены Текстологической комиссией под председательством *В. С. Нечаевой.*

I

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

(Стр. 7)

Впервые напечатано в журнале «Красная новь» (*ПТ*) — 1923, № 2, март — апрель, стр. 3—35; № 3, май, стр. 3—37; № 4, июнь — июль, стр. 3—30,— как четвертое произведение цикла «Автобиографические рассказы», куда также входили: «Сторож», «Время Короленко», «В. Г. Короленко», «О вреде философии», «О первой любви». До этого был опубликован отрывок «Никита Рубцов» с подзаголовком «Из автобиографических очерков», в журнале «Прожектор», 1923, № 1, 15 февраля, стр. 1—4. В «Литературном еженедельнике» (1923, № 23, 9 июня) был напечатан под заглавием «Из автобиографических рассказов» отрывок «В конце марта ∽ Незабвенный день» (стр. 84—92). Как самостоятельное произведение повесть вошла в книгу: М. Горький. Мои университеты. Berlin, Verlag «Kniga», 1923 (в это издание включены и все автобиографические рассказы, опубликованные в «Красной нови»).

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Два экземпляра авторизованной машинописи (ХПГ-38-3-1 и ХПГ-38-3-3), на которых, наряду с горьковской правкой, имеется и правка неустановленного лица, сделанная, по-видимому, в процессе сверки с оригиналом; правка в обоих экземплярах идентична, но на одном из них (ХПГ-38-3-1) рукой Горького написано красным карандашом: «Мои университеты»; очевидно, с этого экземпляра (*АМ*) набиралось отдельное издание *К*.

2. Авторизованная машинопись отрывка из повести: «Неизъяснимо хорошо плыть по Волге ∽ на Калмыцком грязном промысле Кабанкул-бай», с авторской пометкой: «Провер.» (ХПГ-38-3-2).

3. Правленная автором верстка набора, с которого печатались отдельное издание *К* и соответствующий том собрания сочинений *К* (ХПГ-38-3-4).

Верстка является более авторитетной, чем текст *К*. Правка Горького на 3-м и 4-м листах верстки, содержащая существенные исправления, не учтена в *К* (листы эти, вероятно, были утеряны при пересылке или пришли с опозданием). Поэтому за основу взята верстка, хотя она содержит ряд опечаток, не замеченных Горьким и исправленных в *К*.

Печатается по тексту верстки *К* со следующими исправлениями:

Стр. 22, строка 41: «красное» вместо «красно» (по *АМ* и *ПТ*).

Стр. 25, строка 37, и *стр. 26, строка 5:* «Дж. Ст. Милля» вместо «Адама Смита» и «Милля» вместо «Смита» (по *ПТ* и письму Горького Груздеву от 13 сентября 1926 г.— см. *Архив Г*$_{XI}$, стр. 75, 79).

Стр. 41, строка 36: «пальцы руки» вместо «руки» (по *АМ* и *ПТ*).

Стр. 44, строка 6: «но остановился» вместо «и остановился» (по тем же источникам).

Стр. 61, строка 8: «красные» вместо «красивые» (по тем же источникам).

Стр. 90, строка 25: «тоже ходил» вместо «ходил» (по тем же источникам).

Стр. 118, строка 16: «ее» вместо «его» (по *ПТ*).

Стр. 121, строка 15: «слиплась» вместо «слипалась» (по *АМ* и *ПТ*).

Стр. 128, строка 16: «смешно» вместо «слышно» (по *ПТ*).

Стр. 130, строка 1: «наклонился» вместо «поклонился» (по *ПТ*).

«Мои университеты» — третья часть автобиографической трилогии Горького.

Работа над «Моими университетами» была начата, вероятно, в феврале 1922 г. 23 февраля Горький сообщал П. П. Крючкову: «Написал о Короленко, пишу третий том автобиографии» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-11), а 28 февраля информировал М. Ф. Андрееву, что занят «работой над третьим томом» (там же, ПГ-рл-2а-1-21), назвав новое произведение условно «Юность». В письме к Г. Уэллсу от 16 апреля 1922 г. Горький описал свое пребывание в туберкулезном санатории в Санкт-Блазиене (Шварцвальд), где провел три месяца и работал над третьим томом автобиографии (*Архив Г*$_{VIII}$, стр. 72). Продолжал работу над «Моими университетами» Горький на курорте в Герингсдорфе на Балтийском побережье (май — сентябрь 1922 г.), откуда писал М. Ф. Андреевой: «Заканчиваю „Юность“ для отдельного издания и не закончив — не двинусь отсюда, даже если здесь начнутся землетрясения и потопы» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-2а-1-30). Только 7 декабря 1922 г. Горький написал Р. Роллану о том, что закончил третий том автобиографии (*ЛЖТ*$_{III}$, стр. 302—303).

Очевидно, повесть сразу же была отправлена Горьким в журнал «Красная новь», так как 14 декабря 1922 г. редактор журнала А. К. Воронский уже благодарил писателя: «Спасибо Вам, что не забываете „Новь“. Рукопись сегодня получаю от Крючкова. Напечатаю в трех ближайших номерах» (*Архив Г*$_{X}$, кн. 2, стр. 11).

Еще до появления в русской печати повесть была переведена на иностранные языки. Горький высылал ее для перевода частями — по мере написания. В письме от 23 сентября 1922 г. А. Жермен уведомлял его о получении первой половины произведения, которое отдал переводить М.-Д. де Грамону для «Les écrits nouveaux» (*ЛЖТ*$_{III}$, 294). В сентябре 1923 г. «Мои университеты» вышли в Париже отдельной книгой: «Souvenirs

de ma vie littéraire par Maxime Gorki». Traduit du russe avec l'autorisation de l'auteur par Michel Dumesnil de Gramont. Paris, 1923. 20 октября Горькому был выслан переводчиком экземпляр книги (см. *Архив* $Г_{VIII}$, стр. 396).

Оригинал, с которого переводил М.-Д. де Грамон, неизвестен. Сличение текстов показывает, что перевод делался с одной из ранних редакций повести. Книга состоит из 17 глав. Тринадцать из них составляют текст «Моих университетов» (подобного деления на главы нет ни в одном русском тексте повести). Главы 14—17 содержат (как единое целое с «Моими университетами») текст очерков «Время Короленко», «В. Г. Короленко» и отрывка, впоследствии перенесенного в рассказ «Сторож». Другие отличия французского перевода от русского текста см. в томе вариантов.

В феврале 1923 г. Горький работал над корректурой «Моих университетов» для отдельного издания *К* и сделал много исправлений и добавлений. Отдельное издание «Моих университетов» в *К* вышло в марте — апреле 1923 г.; т. 16 *К* с повестью «Мои университеты» увидел свет осенью 1923 г. (5 октября Горький уже послал 16 томов в Нижегородскую публичную библиотеку и И. П. Ладыжникову). Здесь повесть выделена из цикла «Автобиографические рассказы», дана как самостоятельное произведение.

Сам автор не был удовлетворен своим новым произведением,— см. его письмо к М. Ф. Андреевой, посланное летом 1923 г. (*Андреева*, стр. 352) и письмо к Р. Роллану от 6 ноября 1923 г. (*Архив* $Г_{VIII}$, стр. 339).

Один из первых откликов на «Мои университеты» (франц. изд.) принадлежит Р. Роллану, который писал Горькому 30 октября 1923 г.: «Каким чудесным даром обладаете Вы,— умение сохранять нетленным Ваше былое Я, Ваши прошлогодние снега 〈...〉 Короленко ошибался: Вы — больше поэт, чем бытописатель» (Архив А. М. Горького, КГ-ин-ф-5-1-25).

В советской печати отзывы о «Моих университетах» появляются с начала 1924 г. Следует иметь в виду, что авторы статей и рецензий говорят о книге «Мои университеты» в издании *К*, включавшей также автобиографические рассказы.

«...Горький-художник жив, и не только жив, но именно теперь утверждает свое право на звание писателя для вечности», — указывалось в одной из рецензий («Бюллетень литературы и жизни», 1924, № 1, стр. 52). Другой критик заметил, что в новой книге Горького «словесное мастерство местами достигает почти классического совершенства» (А. И. Богуславский. Наши писатели. Одесса, 1927, стр. 33). «„Мои университеты",— писал Ю. Соболев,— необходимое введение если не ко всему „собранию сочинений", то к значительному, а для исследователей горьковского творчества — и самому интересному циклу его ранних произведений. Читая эти очерки, видишь зерна сюжетов целого ряда рассказов 〈...〉 И не знаешь, чему дивиться: многообразию ли русской жизни или изумительной художественной

памяти Горького» («Сибирские огни», 1924, № 2, стр. 177). «В сущности, всю жизнь писал Горький только одну книгу — свою автобиографию»,—замечал А. Мельшой в статье «Печаль минувших дней». «Если в ранних рассказах на те же сюжеты,— писал далее критик,— преобладало „кипение страсти“, то в этой книге — „мудрая успокоенность“». «В своей последней книге Горький подчеркнуто правдив, трагически правдив» («Красная газета» (веч. вып.), 1924, № 196, 30 августа).

Критики отмечали глубоко своеобразный характер воспоминаний Горького, их отличие от классических образцов этого жанра. Так, А. Лежнев писал, что в «Исповеди» Руссо и «Поэзии и правде» Гёте, несмотря на всю разницу между этими двумя произведениями, «есть одно общее: они стремятся очертить весь путь внутреннего развития художника 〈...〉 Не то у Горького. Личность писателя здесь отходит на второй план, а главное место занимают характерные фигуры тех многочисленных, разнородных, своеобразных людей, с которыми писателю приходилось сталкиваться 〈...〉 Горьковские воспоминания — это книга о людях». А. Лежнев отмечал, что Горький подходит к человеку «как к единственному в своем роде явлению, как к чему-то неповторимому...» («Прожектор», 1924, № 12, стр. 24—26).

Об особенном отношении Горького к человеку писал и А. К. Воронский. По мнению критика, современным писателям следует поучиться у автора «Моих университетов» «острому вниманию ко всему человеческому». Однако тут же Воронский, строя свои выводы преимущественно на рассказе «О вреде философии», утверждал, будто бы вера в человека сочетается у Горького с «неверием в прочность мира» («Красная новь», 1926, № 4, стр. 201). Вызывал у критика возражение и подход Горького к изображению деревни. По мнению Воронского, в «Моих университетах» Горький «слишком и несправедливо пристрастен к нашему „мужику“ 〈...〉 Одну душу, жадную, собственническую, дикую, Горький видит превосходно, а к другой глух...» (там же, стр. 212).

В ответ на эту статью Горький писал Воронскому 17 апреля 1926 г.:

«Очень доволен тем, что Вы первый так резко подчеркнули мою человекоманию 〈...〉 Всё же отнюдь не думаю, что мною заслужены Ваши слишком лестные для меня оценки *художественного* дарования моего. Нет, художник я не крупный, и всё еще учусь писать.

Но — вот что: для меня величайшее и чудеснейшее художественное произведение — очень кратко и читается так:

В древности глубокой возникло от грязи земной некое бесформенное и бесплодное живое, затем оно, пересоздав себя в человека, преодолевает, постепенно и мучительно, все сопротивления всех слепых и бессмысленных сил космоса и, всё быстрей порабощая сопротивления эти, создает на своей земле, силою своей воли, свою „вторую природу“. Это художественное произведение — совершенно и чудесно. Озаглавлено оно —

„Человек". Кроме этого чуда, иных чудес на земле не было, нет, не будет, а этому чуду расти тысячи веков. Отсюда явствует, что, разумеется, я не согласен с Вашим уравнением труда деревни с трудом города, я считаю его не только ошибочным, но и — вредным, особенно вредным у нас и в наши дни. И по сути своей, и по трудностям, и по результатам эти два вида работы — несравнимы. В одном случае затрачивается энергия чисто физическая, в другом — психофизическая. Крестьянин *не создал* рожь, пшеницу, овощи и все плоды земные, он их нашел и только собирает. Но двигатель Дизеля не существовал в природе, он *создан* воображением и разумом горожанина. Свекла найдена мужиком, но не мужик догадался добывать из нее сахар. И не ему пришло в голову добыть из дегтя креозот. Его каторжный труд облегчается не его волей, а волею тех, кто выдумывает жнейки, трактора и т. д. Одно дело поймать зайца, другое — электричество. Если б крестьянин исчез с его хлебом,— горожанин научился бы добывать хлеб в лабораториях. Труд созидающий — революционен, труд собирающий — консервативен по существу своему 〈...〉 Вы не посетуете на меня за все эти указания? 〈...〉 в общем, главном, мы оба хотим одного: насквозь действенной жизни, творческого взрыва всего запаса психофизической энергии...» (*Архив Г*$_{X}$, кн. 2, стр. 31—32).

Горьким были получены отклики на немецкий перевод «Моих университетов». Так, С. Цвейг 9 марта 1925 г. писал автору: «Ваши произведения, особенно последние, дышат такой светлой человечностью, так глубоко правдивы 〈...〉 я уже долгие годы не ощущал такого сердечного жара, такой ясной и человечной искренности, какие почувствовал в Вашей книге воспоминаний 〈...〉 Сознаюсь, я завидую Вашему таланту рассказывать так просто, так восхитительно ясно: никто в Европе не обладает в такой мере этим даром, даже Толстой и тот не владел этой высшей простотой» (*Архив Г*$_{VIII}$, стр. 18).

Повесть «Мои университеты» принадлежит к тем произведениям Горького, к которым с особенным вниманием отнесся В. И. Ленин.

28 января 1924 г. Н. К. Крупская писала Горькому, рассказывая о последних днях жизни Ленина: «По вечерам я читала ему книги, которые он отбирал из пачек, приходивших из города. Он отобрал Вашу книжку „Мои университеты". Сначала он попросил прочесть ему о Короленко, а потом „Мои университеты"» («Октябрь», 1941, № 6, стр. 20).

В статье «Что нравилось Ильичу из художественной литературы» Крупская писала: «Последние месяцы жизни Ильича. По его указанию я читала ему беллетристику, к вечеру обычно. Читала Щедрина, читала „Мои университеты" Горького» (сб. «Воспоминания родных о Ленине». М., 1955, стр. 197). О том же Крупская вспоминала в статье «Ленин и Горький»: «...помню, как слушал он „Мои университеты" в последние дни своей жизни» («Комсомольская правда», 1932, № 222, 25 сентября).

Стр. 9. *...еду учиться в Казанский университет...*— По-видимому, в конце лета или осенью 1884 г. (см.: *Г и его время*, стр. 585—586).

Стр. 9. *...гимназист Н. Евреинов* — Н. В. Евреинов (1864—1934), сын мелкого чиновника, учился в 3-й казанской гимназии, с 1885 г. студент физико-математического факультета Казанского университета. Участник казанских нелегальных кружков.

Стр. 10. *...в тесной квартирке одноэтажного дома.*— По приезде в Казань А. Пешков был принят в семье Н. Евреинова, ютившейся на самом краю города (см.: *Калинин*, стр. 13), где «прожил не более двух недель» (письмо Горького Груздеву от 13 сентября 1926 г.— *Архив Г*$_{XI}$, стр. 79).

Стр. 11. *Джон Стюарт Милль ∽ говорил кое-что по этому поводу.*— В книге: Д.-С. Милль. Подчиненность женщины. СПб., 1870.

Стр. 11. *Фуко* Леон (1819—1868) — французский физик-механик.

Стр. 11. *Ларошфуко* Франсуа де (1613—1680) — французский писатель, автор знаменитых «Размышлений, или Моральных изречений и максим» (1665).

Стр. 11. *Ларошжаклен* Анри Дюверже (1772—1794) — деятель эпохи Французской буржуазной революции, глава восстания роялистов в Вандее.

Стр. 11. *Дюмурье* Шарль Франсуа (1739—1823) — французский генерал, деятель Французской буржуазной революции; перешел на сторону роялистов.

Стр. 12—13. *Брет-Гарт ∽ симпатии к этой среде.*— Фрэнсис Брет Гарт (1839—1902) — американский писатель, автор остросюжетных рассказов и романов о золотоискателях, бродягах и т. п.; создал романтические образы «отверженных», людей социального дна; демократизм и занимательность произведений Брет Гарта обеспечили ему популярность в России (его ценили Чернышевский, Г. Успенский, Щедрин).

Стр. 13. *«Граф Монте-Кристо»* — роман Александра Дюма-отца (отд. франц. изд.—1845—1846; русск. изд.— М., 1865).

Стр. 13. *Некрасива я, бедна...*— измененные слова песни И. З. Сурикова «Сиротой я росла...». У Сурикова: «Ох бедна я, бедна, / Плохо я одета — / Никто замуж меня / И не взял за это!» (И. З. Суриков и поэты суриковцы. Библиотека поэта. Большая серия. М.— Л., 1966, стр. 104).

Стр. 13. *Адмиралтейская слобода* — одна из слобод в Казани, образовавшаяся вокруг Адмиралтейства.

Стр. 14. *...через речку Казанку, в луга...*— Казань расположена на левом берегу Казанки, при впадении ее в Волгу.

Стр. 15. *...богатого села Услон.*— Верхний и Нижний Услоны — большие села под Казанью, на берегу Волги.

Стр. 16. *Плетнев* Г. А. (1864—1922) — сын банковского служащего; гимназист, позже студент медицинского факультета Казанского университета, откуда был исключен в январе 1888 г. за участие в студенческих волнениях.

Стр. 16. *И вот я живу в странной, веселой трущобе — «Марусовке»...*— См. *Калинин*, стр. 18—19. В «Марусовке» Горький жил с октября 1884 по май 1885 г. (см.: М. Елизарова. Горький в Казани. Казань, 1954, стр. 6).

Стр. 17. *Плетнев работал ∽ ночным корректором газеты...*— Газета — «Волжский вестник».

Стр. 22. *Ты взойди-ко, взойди, солнце красное...*— Старинная русская народная песня (см.: М. Д. Чулков. Собрание разных песен. СПб., 1913, стр. 611).

Стр. 23. *...были арестованы однорукий офицер Смирнов и солдат Муратов ∽ участники Ахал-Текинской экспедиции Скобелева...*— Об отставном поручике, народовольце Г. П. Смирнове, участнике боев под Плевной (1877 г.) и Ахал-Текинской экспедиции под командованием генерала М. Д. Скобелева в Туркестане в 1880—1881 гг., см. в статье Н. Я. Быховского «Булочник А. М. Пешков и казанская революционная молодежь 80-х годов» («Былое», 1925, № 4). В своих примечаниях к статье Быховского Горький изложил историю неудавшегося похищения шрифта из типографии В. М. Ключникова («на углу очень людной Большой Проломной и Малой улиц») близко к тому, как об этом рассказано в «Моих университетах». Однако это событие относится к более позднему времени — к январю — февралю 1886 г., когда были арестованы Г. П. Смирнов, унтер-офицер В. Муратов, студенты Н. М. Зобнин, А. Г. Григорьев, И. Е. Овсянкин, Н. Д. Крылов и др. (документы архива Казанского университета).

Стр. 25. *...таинственным человеком.*— Имеется в виду М. Е. Березин (р. 1864), общественный деятель, в 1907 г. зам. председателя II Государственной думы; после Октября работал в кооперативном страховом союзе.

Стр. 25. *...к изучению книги Дж. Ст. Милля с примечаниями Чернышевского.*— Сочинение английского либерального философа и социолога Джона Стюарта Милля (1806—1873) «Основания политической экономии», кн. I— в переводе и с примечаниями Н. Г. Чернышевского — печаталось в журнале «Современник», 1860 (с февраля до конца года). Продолжение работы Чернышевского под названием «Очерки из политической экономии (по Миллю)» было опубликовано в «Современнике» за 1861 г. Полный перевод работы Милля, с сохранением значительной части примечаний Чернышевского, был издан А. Н. Пыпиным (СПб., 1865) — без указания имени переводчика и автора примечаний. Второе издание вышло в Женеве, в 1869 г.

Стр. 25. *Мы собирались в квартире ∽ Миловского...*— С. Н. Миловский (псевдоним — С. Елеонский; 1861—1911) — студент Духовной академии, один из руководителей казанских кружков; впоследствии — писатель (см. *Г-30*, т. 25, стр. 330—336).

Стр. 29—30. *Кто-то познакомил меня с Андреем Деренковым ∽ библиотекой запрещенных и редких книг...*— Большинство биографов Горького предполагает, что он стал вхож в лавку А. С. Деренкова (1855—1953) «вскоре же по приезде в Казань» (*Г и его время*, стр. 586).

Стр. 30. *...студенты многочисленных учебных заведений Казани...*— Кроме университета, в Казани тогда были духовная академия, учительский институт, ветеринарный институт, а также три мужские и две женские гимназии.

Стр. 30. «*Царь-Голод*» — нелегальная брошюра революционера-народовольца, впоследствии ученого-биохимика, академика А. Н. Баха (1857—1946), представлявшая собой популярное изложение экономической теории Маркса. Первоначально распространялась в гектографированном виде, затем была напечатана в тайной народовольческой типографии (см.: А. Н. Бах. Записки народовольца. М., 1931, стр. XVII).

Страницы из «Царя-Голода», переписанные рукой Горького, хранятся в Музее А. М. Горького в Казани (см.: *Г в Татарии*, стр. 28).

Стр. 30. «*Хитрая механика*» — брошюра В. Е. Варзара (1851—1940), основоположника промышленной статистики в России. Вышла под титулом: «Хитрая механика. Правдивый рассказ, откуда и куда идут мужицкие денежки» (брошюра издана в 1874 г. в Цюрихе редакцией народнического журнала «Вперед!»; неоднократно переиздавалась за границей).

Стр. 30. *Серафим Саровский* (1760—1833) — монах Саровского монастыря (пу́стыни) в Тамбовской губернии. В начале XX века канонизирован православной церковью.

Стр. 30. *...стояла девушка...*— М. С. Деренкова (1866—1930), младшая сестра Андрея Деренкова; в 1885 г. закончила Ксенинскую гимназию (где прошла дополнительный «педагогический» класс), в 1886—1888 г. училась на акушерских курсах при университете (см.: *Архив Г*$_{XI}$, стр. 262, 276).

Стр. 33. «*Афоризмы и максимы*» — Артур Шопенгауэр. Афоризмы и максимы. Т. 1—3, изд. А. С. Суворина, 1885—1886. В *ЛБГ* хранится экземпляр издания 1892—1895 гг. с пометами Горького.

Стр. 34. «*Азбука социальных наук*» — социально-экономический труд В. В. Берви (псевдоним — Н. Флеровский; 1829—1918), русского социолога и публициста. Книга эта (ч. 1—2. СПб., 1871) была популярна в кругах демократической интеллигенции. В «Беседах о ремесле» Горький вспоминал об «Азбуке социальных наук» как об одной из книг, которые помогли ему «понять организующую силу труда» (*Г-30*, т. 25, стр. 309).

Стр. 35. *Порою являлся большой, широкогрудый человек...*— М. А. Ромась (1859—1920), революционер-народник. За революционную пропаганду среди рабочих был в 1879 г. арестован, в 1880 г. выслан в Восточную Сибирь; в ссылке жил вместе с В. Г. Короленко. По возвращении из ссылки, в 1884 г. жил в Киеве, потом в Орле, в 1885 г. был выслан в Казань (см. «Былое», 1921, № 16, стр. 185).

Стр. 36. ...«*Счастье народа — прежде всего*».— Перефразированные слова из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (глава IV): «Доля народа, / Счастье его, / Свет и свобода — / Прежде всего!»

Стр. 36. *...ветеринар Лавров...*— Речь идет о студенте ветеринарного института Лаврове (Воспоминания А. Е. Чуева.— Архив А. М. Горького, МоГ-13-12-4).

Стр. 37. *...рыжеватый медик...*— П. Ф. Кудрявцев (см.: *Калинин*, стр. 47—49).

Стр. 37. *...в крендельной пекарне Василия Семенова.*— См. примечания к повести «Хозяин» (т. XIV паст. изд.).

Стр. 41. *На Булаке...*— Булак — проток, соединяющий реку Казанку с озером Кабан.

Стр. 42. *...«Несравненной Джильде»...*— Джильда — героиня оперы Дж. Верди «Риголетто».

Стр. 44. *Ты знаешь сказку о «Гадком утенке»?* — «Гадкий утенок» — сказка датского писателя Г.-Х. Андерсена, рассказывающая о превращении «гадкого утенка» в прекрасного лебедя.

Стр. 45. *Беатриче, Фиаметта, Лаура* — женские образы, созданные писателями (Данте, Боккаччо, Петраркой).

Стр. 45. *Нинон* (настоящее имя Анна) де Ланкло (1620—1705), французская красавица, хозяйка салона, который посещали многие выдающиеся люди. Нинон де Ланкло оставила интересное эпистолярное наследство.

Стр. 45. *Любовь и голод правят миром ∽ под заголовком революционной брошюры «Царь-Голод»...*— Фраза о «любви и голоде» — из стихотворения Ф. Шиллера «Мировая мудрость» (1795). Брошюра «Царь-Голод» имеет другой эпиграф:

«В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему»

(«Железная дорога» Н. А. Некрасова).

Стр. 46. *...человек — для субботы?* — Согласно евангельскому рассказу, Христос был обвинен фарисеями в кощунстве за то, что он и его ученики не соблюдали субботу — день, в который у верующих евреев запрещена всякая работа. «И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы» (Евангелие от Марка, гл. 2, стих 27).

Стр. 48. *...стихи Генриха Ибсена...*— Перевод стихотворения Ибсена «К моему другу революционному оратору» (1869).

Стр. 49. *Деренков придумал открыть булочную.*— Булочная Деренкова, находившаяся в доме Беленко на Большой Лядской улице, была организована летом 1886 г. с конспиративными целями. Доходы (кроме того, что нужно было для поддержания и расширения дела) предназначались на нужды казанских кружков и на помощь беднейшей учащейся молодежи.

Стр. 50. *Это где бунтовали?* — О столкновении рабочих крендельной Семенова с хозяином весной 1886 г. и о роли Пешкова в организации этой «стачки» см. в повести «Хозяин» (паст. изд., т. XIV).

Стр. 50. *...застрелилась ∽ дочь богатого торговца чаем.*— Имеется в виду самоубийство Д. А. Латышевой. В ее похоронах (23 января 1885 г.) участвовало около 5000 человек. Молодежь хоронила Латышеву как жертву семейного произвола и деспотизма

(см.: «Волжский вестник», 1885, 22 и 24 января). Разговоры о самоубийстве Латышевой А. Пешков мог впервые услышать не в булочной Деренкова, открытой в 1886 г., а в его бакалейной лавке (см. т. I наст. изд., стр. 584).

Стр. 51. *...подруга ее...*— Н. А. Щербатова (1870—1942) окончила в 1885 г. Ксенинскую гимназию вместе с М. С. Деренковой; в 1886—1888 гг. работала в булочной Деренкова, в 1888—1889 гг.— учительницей в деревне Ключи Казанского уезда (здесь в 1889 г. был арестован марксист Н. Е. Федосеев, в связи с чем производился обыск и у Щербатовой).

Стр. 52. *...один из профессоров академии, Гусев,— яростный враг Льва Толстого.*— А. Ф. Гусев (1842—1904), профессор Казанской духовной академии, автор статьи «Исповедь графа Л. Н. Толстого и его мнимо-новая вера» («Православное обозрение», 1886, № 1—6, 9, 10; отд. изд.— М., 1890), направленной против «Исповеди» Толстого, которая в 1882 г. была запрещена духовной цензурой, но разошлась по России в многочисленных списках, а также в гектографированном виде.

Стр. 52. *...в «Сумасшедший дом», где читал лекции психиатр Бехтерев...*— В психиатрическую лечебницу, в трех верстах от города. В. М. Бехтерев (1857—1927) работал в Казани в 1885—1893 гг.

Стр. 55. *Сам Варламий святой...*— В письме И. А. Груздеву Горький сообщал, что «От зари до зари» — «песня студентов Казанской духовной академии», и приводил ее текст (см.: *Архив Г*$_{XI}$, стр. 245, а также сб.: «Песни казанских студентов. 1840—1868». СПб., 1904, стр. 34—35).

Стр. 57. *Умерла бабушка.*— А. И. Каширина умерла 16 (28) февраля 1887 г.; похоронена на Петропавловском кладбище в Нижнем Новгороде.

Стр. 57. *...рассказ А. П. Чехова про извозчика...*— «Тоска» (1886).

Стр. 58. *«Некоторые», напечатанные на гектографе...*— Речь идет о религиозно-философских сочинениях Толстого, запрещенных духовной цензурой, но распространявшихся нелегально.

Стр. 59. *Савская царица к царю Соломону пустыней ездила...*— Легенда о приезде к царю Соломону царицы Савской содержится в Библии (Третья книга Царств, гл. 10).

Стр. 60. *...Плетнев печатает на гектографе некие листочки.*— Г. А. Плетнев был связан с народническими кружками и с марксистским кружком Н. Е. Федосеева, для которого, по свидетельству Горького и других современников, гектографировал нелегальную литературу (см.: *Г-30*, т. 25, стр. 343; *Калинин*, стр. 54).

Стр. 62. *...в тетрадь.*— В «Беседах о ремесле» Горький рассказал о тетради своих записок, которые он вел в Казани и которые ему в 1929 г. прислал его бывший казанский знакомый В. В. Рудиев. Тетрадь «сплошь наполнена выписками из разных книг, топорными попытками писать стихи и описанием — в прозе — рассвета на „Устье"...» (*Г-30*, т. 25, стр. 350). Эту тетрадь

(«двадцать три ветхих страницы...») Горький вернул Рудневу; дальнейшая судьба ее неизвестна (см.: *Архив Г*$_{XI}$, стр. 267—268).

Стр. 62. *«Почему Гарибальди не прогнал короля?»* — В 1860 г. Гарибальди с «тысячей» добровольцев, заняв Сицилию, высадился затем в южной Италии, взял Неаполь и освободил Неаполитанское королевство от власти Бурбонов, после чего уступил руководство объединительным движением пьемонтскому королю Виктору Эммануилу II, так как большинство неаполитанского населения высказалось за присоединение к Пьемонту.

Стр. 62. *В полночь Успеньева дня* — 15 августа (ст. ст.) 1887 г.

Стр. 64. *Медь звенящая...*— Слова из Нового Завета: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал бряцающий» (Первое послание апостола Павла к коринфянам, гл. 13, стих 1).

Стр. 64. *После казни Генералова, Ульянова...*— Речь идет о народовольцах, участниках неудавшегося покушения на Александра III 1 марта 1887 г. А. И. Ульянов, В. Д. Генералов, П. Я. Шевырев, В. С. Осипанов (студент Казанского университета), П. И. Андреюшкин были повешены в Шлиссельбурге 8 мая 1887 г.

Стр. 64. *Федосеев* Н. Е. (1871—1898) — один из первых русских марксистов. В момент знакомства с Пешковым был гимназистом 8-го класса Первой гимназии. Горький упоминает о существовании в Казани в пору его пребывания там кружка Федосеева (см.: *Г-30*, т. 30, стр. 430). Основная деятельность Федосеева развернулась в 1888—1889 гг., когда Пешкова уже не было в городе. Летом 1889 г. организация была разгромлена, а Федосеев — осужден на год и три месяца тюремного заключения (см.: Н. Л. Сергиевский. Федосеевский кружок 1888—1889 гг.— «Красная летопись», 1923, № 7). В октябре 1889 г., в связи со следствием по делу Федосеева, в Нижнем Новгороде был впервые арестован и А. Пешков.

Стр. 65. *Переехали в новую пекарню...*— На углу Театральной и Бассейной улиц (см.: *Калинин*, стр. 50).

Стр. 65. *...в «институт благородных девиц».*— Родионовский институт благородных девиц, основанный в начале XIX века на средства казанской помещицы А. Н. Родионовой.

Стр. 66. *...«разумное, доброе, вечное».*— Из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям» (1876).

Стр. 66. *...знакомства с рабочими фабрик Крестовникова и Алафузова...*— Мыловаренно-свечной завод Крестовникова и льнопрядильная фабрика Алафузовых — в конце XIX века крупнейшие промышленные предприятия Казани (открыты соответственно в 1855 и 1860 гг.). В 1893 г. у Крестовникова насчитывалось 1600 рабочих, у Алафузовых — 1900 (см.: Н. Ф. Калинин. Казань, 1955, стр. 116).

Стр. 67. *У нас — у Морозова на фабрике — было дело!* — В январе 1885 г. на текстильной фабрике т-ва Никольской ма-

нуфактуры Саввы Морозова в Орехово-Зуеве произошла забастовка, сыгравшая важную роль в развитии рабочего движения (см.: *Г-30*, т. 30, стр. 425—426).

Стр. 67. *...«по образу и подобию божию»...*— «И сказал бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему» (Библия, Бытие, гл. I, стих 26).

Стр. 68. *Шпигорь* — деревянный гвоздь.

Стр. 69. *...плотник необыкновенного ума ∽ речь идет о Бебеле.*— Основатель и вождь германской социал-демократии Август Бебель (1840—1913) по профессии был токарем. В словах Никиты Рубцова — «сам король на советы приглашает» — очевидно, нашла своеобразный отголосок деятельность Бебеля в качестве члена парламента (рейхстага).

Стр. 69. *...за булками для полковника Гангардта...*— Полковник Гангардт — начальник Казанского губернского жандармского управления (впоследствии, в 90-е годы, комендант Шлиссельбургской крепости — см. «Былое», 1921, № 16, стр. 178).

Стр. 71. *Гурия Плетнева арестовали и отвезли в Петербург...*— За участие в студенческих волнениях, происходивших в декабре 1887 г., Г. А. Плетнев был исключен из университета 24 января 1888 г., арестован 18 февраля 1888 г., а 13 марта выпущен на поруки. Вторично арестован в сентябре 1888 г. С сентября 1888 по сентябрь 1889 г. находился в тюрьмах — сначала в Казани, потом в Петербурге.

Стр. 72. *...блаженны нищие...*— «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное» (Евангелие от Матфея, гл. 5, стих 3).

Стр. 73. *...«ловец человеков»* — евангельское выражение (из обращения Христа к Симону и Андрею.— Евангелие от Матфея, гл. 4, стих 19).

Стр. 73. *Сергей Сомов* — С. Г. Сомов (р. 1842), участник революционного движения; был близок к народничеству (см.: *Г и его время*, стр. 229).

Стр. 74. *В городе явился «толстовец»...*— И. М. Клопский (1852—1898) — один из пропагандистов толстовства в 80—90-е годы. Был арестован в 1892 г., позднее эмигрировал в Америку.

Стр. 74. *Беседовали в квартире одного из профессоров...*— В «Беседах о ремесле» Горький писал: «Изредка и „напоказ“, в качестве „человека из народа“, меня приглашали на интеллигентские вечеринки, чаще всего — к профессору Васильеву» (*Г-30*, т. 25, стр. 339).

Стр. 74. *...книгу ∽ Дрепера — о борьбе католицизма против науки...*— Американский философ и ученый Джон Уильям Дрепер (1811—1882) известен книгами «История умственного развития Европы» (1862, русск. пер.—1866) и «История отношений между католицизмом и наукой» (1874, русск. пер.—1876). Был деистом, но тяготел к естественно-научному материализму; выступал против религиозного обскурантизма. О чтении обеих книг Дрепера Горький упоминал также в «Беседах о ремесле» (*Г-30*, т. 25, стр. 309, 312).

Стр. 75. *Вы, очевидно, придерживаетесь вульгарного мнения о фарисеях...*— Фарисеи — представители религиозно-политического течения в древней Иудее, считавшие себя хранителями чистоты ветхозаветного предания. Авторы Евангелия относятся к фарисеям отрицательно, обвиняя их в догматическом, формальном толковании Ветхого завета. От Евангелия идет, ставшее традиционным, вторичное (переносное) значение слова фарисеи— лицемеры, ханжи.

Стр. 75. *Иосиф Флавий* — иудейский военачальник и историк I века н. э.; во время Иудейской войны 66—73 годов перешел к римлянам. Автор знаменитой «Истории Иудейской войны».

Стр. 79. *Акафисты* — вид христианско-церковного хвалебного песнопения.

Стр. 80. *...в Державинский сад ∽ у памятника поэту...*— Памятник Г. Р. Державину в Казани — во дворе университета. Державин — родом из Казанской губернии (с. Сокуры Лаишевского уезда), жил в Казани с 1754 по 1762 год.

Стр. 82. *Мы не воры, мы не плуты, не разбойники...*— воровская песня (варианты ее см.: «Великорусские народные песни», изданные А. И. Соболевским, т. VI. СПб., 1900, стр. 354—356).

Стр. 83. *...больше не встречал ∽ Никиту Рубцова.*— А. Н. Серебров-Тихонов вспоминал, что Горький еще раз встретился с Н. С. Рубцовым в 1899 г. в Петербурге (см.: *ВС*, стр. 142).

Стр. 84. *В декабре я решил убить себя.*— А. Пешков стрелялся вечером 12 декабря (ст. ст.) 1887 г. на Феодоровском бугре, на высоком берегу Казанки (см. т. XIV наст. изд.).

Стр. 84. *...снова работал в булочной.*— Из больницы А. Пешков был выписан 21 декабря 1887 г.

Стр. 85. *Я живу в селе Красновидове ∽ у меня там лавка...*— М. А. Ромась на средства подпольного народнического кружка И. П. Чарушникова и Е. Ф. Печоркина открыл лавочку мелочной торговли в селе Красновидово Свияжского уезда Казанской губернии — для прикрытия пропагандистской работы среди крестьян (см.: *Г и его время*, стр. 157).

Стр. 88. *...Изот...*— Как вспоминал А. С. Деренков, фамилия красновидовского Изота — Буйров (*Калинин*, стр. 68).

Стр. 91. *...книги,— почти все ∽ Милль, Спенсер...*— *Генри Томас Бокль* (1821—1862) — английский историк-позитивист, автор «Истории цивилизации в Англии», очень популярной в кругах русской интеллигенции 60—80-х годов (русск. изд.— СПб., 1864). *Чарлз Лайель* (1797—1875) — английский геолог и археолог, автор книги «Основные начала геологии» (русск. изд.— т. 1—2. М., 1866). *Уильям Эдуард Гартполь Лекки* (1838—1903) — английский историк, автор «Истории возникновения и развития рационализма в Европе» (русск. изд.—т. I. СПб., 1871). *Джон Леббок* (1834—1913) — английский биолог; в книгах «Начало цивилизации» (русск. изд.— СПб., 1875) и «Доисторические времена» (русск. изд.— М., 1876) стремился применить методы естественных наук к изучению вопросов о происхождении и развитии человеческого общества, семьи и религии. *Эдуард Тейлор* (1832—1917) — английский историк

первобытной культуры; главный труд — «Первобытная культура», русск. изд.— т. 1—2. СПб., 1872—1873. *Милль* — см. примеч. к стр. 25. *Герберт Спенсер* (1820—1903) — английский философ и социолог-эволюционист; русск. изд. сочинений Спенсера в 7 томах.— СПб., 1866—1869.

Стр. 91. *...книгу Гоббса «Левиафан».*— Томас Гоббс (1588—1679) — английский философ и политический мыслитель; книга Гоббса о государстве — «Левиафан» (1651; русск. изд.— «Левиафан, или О сущности, форме и власти государства». СПб., 1868).

Стр. 91. *...книга оказалась «Государем» Макиавелли.*— Никколо Макиавелли (1469—1527) — итальянский писатель и политический деятель эпохи Возрождения. Русск. перевод трактата «Государь» — 1869 г.

Стр. 97. *Словно как мать над сыновней могилой...*— Первые строки поэмы Некрасова «Саша» (1855).

Стр. 108. *Турка испугался?* — В русско-турецкой войне 1877—1878 гг.

Стр. 111. *Ну, перебил он князей, так на их место расплодил мелких дворянишек.*— Для укрепления самодержавной власти Иван IV (царствовал в 1547—1584 гг.) проводил административные реформы, направленные к ограничению политической роли родовитого, княжеского боярства и выдвижению служилого дворянства. В борьбе с боярами царь прибегал к жестоким репрессиям.

Стр. 113. *...Баринов, безалаберный человек, хвастун...*— Матвей Баринов — крестьянин Сергачского уезда Нижегородской губернии. После Красновидова в течение нескольких недель — спутник А. Пешкова в его скитаниях «по Руси» (см. т. XIV наст. изд.).

Стр. 116. *К Хохлу приезжали осторожные люди...*— Из статей Горького известно, что у Ромася бывали пропагандисты Викторин Арефьев и Павел Ситников (см.: *Г-30*, т. 25, стр. 66; т. 24, стр. 437). Горький также свидетельствовал в 1921 г.: «Работали в Красновидове Надежда Щербатова, Мария Деренкова, Анатолий, я и рыбак Изот, „распропагандированный" Ромасем, чудесный мужик, умница и добряк». Анатолий — маляр и стекольщик, казанский знакомый А. Пешкова (см.: «Былое», 1921, № 16, стр. 185).

Стр. 121. *Женюсь на Маше Деренковой...*— См.: *ВС*, стр. 85; *Калинин*, стр. 32—33, а также выдержки из писем в кн.: *Г и его время*, стр. 170—172, и *Г в Татарии*, стр. 131—132).

Стр. 122. *Антоний проиграл цезарю Октавиану...*— Поражение в морской битве при мысе Акциум (31 г. до н. э.) решило исход борьбы за власть в Риме между Марком Антонием и Октавианом Августом. Египетская царица Клеопатра была возлюбленной и политическим союзником Марка Антония.

Стр. 131. *Это свидание состоялось через пятнадцать лет...*— 24 сентября (7 октября) 1902 г. Горький писал К. П. Пятницкому: «Я —ужасно обрадован сегодня! Возвратился из Якутской области хохол, тот, с которым я торговал

яблоками. Это, знаете, чудесный человек, редкой крепости машина!» (*Г-30*, т. 28, стр. 270).

Стр. 132. *Поехали.*— В отношении Казанского губернского жандармского управления от 13 октября 1889 г. сообщается, что в сентябре 1888 г. А. Пешков возвратился из Красновидова в Казань, а в конце того же месяца выехал из Казани неизвестно куда (*Рев путь Г*, стр. 21).

Стр. 133. *...ружья, с Ижевского завода...*— В Ижевске, Вятской губернии, был государственный оружейный завод, а также кустарное производство охотничьих ружей.

Стр. 137. *...доплыли до берегов Каспия...*— О пребывании Горького вместе с Бариновым на каспийских промыслах в 1888 г. см. в т. XIV наст. изд., стр. 626—627.

СТОРОЖ

(Стр. 138)

Впервые напечатано — частично — в составе воспоминаний о В. Г. Короленко в журнале «Летопись революции» (ЛР), 1923, № 1, стр. 10—13. Эта же часть произведения, несколько дополненная и измененная композиционно, вошла в издание «Моих университетов» на французском языке: «Souvenirs de ma vie littéraire par Maxime Gorki». Traduit du russe avec l'autorisation de l'auteur par Michel Dumesnil de Gramont. Paris, 1923. В окончательной редакции, как самостоятельное произведение, напечатано в книге: М. Горький. Мои университеты. Berlin, Verlag «Kniga», 1923, а также в журнале «Красная новь» (*КрН*), 1923, № 5, август — сентябрь, стр. 3—23, как пятое произведение цикла «Автобиографические рассказы», под заглавием «Сторож».

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Авторизованная машинопись с правкой — $АМ_1$ (ХПГ-46-13-1); на первой странице рукой автора написано: «Провер.»

2. Авторизованная машинопись; авторская правка перенесена рукой неустановленного лица. Горьким сделаны незначительные исправления и пометка в углу первой страницы: «II». В машинопись вложен листок с рукописной вставкой (к стр. 7) абзаца: «За окнами, в темноте ∽ в этой комнате» — $АМ_2$ (ХПГ-46-13-2).

3. Правленная автором верстка набора, с которой произведение печаталось в книге «Мои университеты» и в т. 16 *К*; типографский штамп с датами 7 и 8 февраля 1923 г. (ХПГ-38-3-4).

Печатается по тексту верстки *К* со следующими исправлениями:

Стр. 140, строка 28: «Страшно мне было» вместо «страшно мне было» (по $АМ_{1,2}$ и *КрН*).

Стр. 145, строки 5—14: «еще чего-то. За окнами, в темноте ∽ в этой комнате. Знаю я...» вместо «еще чего-то. Знаю я» (по $АМ_2$).

Стр. 153, строки 27—28: «веселый лепет вешних вод» вместо «весенний лепет вешних вод» (по *ЛР*).

Стр. 153, строки 35—36: «ближайшей станицы» вместо «ближайшей станции» (по *ЛР*).

Стр. 154, строка 21: «разбить лицо брату» вместо «разбить лицо его брату» (по *ЛР*).

Стр. 154, строка 23: «своего знакомого» вместо «моего знакомого» (по *Кр Н*).

Стр. 163, строка 5: «примет» вместо «примет» (по $АМ_{1,2}$).

Два эпизода из этого произведения — встречи со Старостиным-Максимовым и «ададуровцами» — входили в воспоминания о В. Г. Короленко и, следовательно, были написаны в начале 1922 г. (см. примеч. к «Времени Короленко»).

Осенью 1922 г., заканчивая работу над «Моими университетами», Горький вернулся к этим эпизодам, изменил композицию, дополнил их воспоминаниями о Баженове и включил в главу XIV повести «Мои университеты» для французского издания (см. выше, стр. 541). В середине сентября 1922 г. он просил М. Ф. Андрееву уведомить П. П. Крючкова, что «глава „На железной дороге“ целиком переделана» и что «переводить ее надо с нового текста» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-2а-1-28). В конце сентября 1922 г. он сообщал Крючкову из Саарова: «За сим: посылаю исправленную главу „На железной дороге“ — „Сторож“,— будьте добры, отдайте это напечатать. Пока она печатается, я, вероятно, успею исправить всю книгу 〈„Мои университеты“〉 до конца и смогу сдать ее Вам для отдельного издания...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-37). Видимо, новый текст Крючков успел переслать для перевода во Францию. 23 сентября 1922 г. А. Жермен сообщил Горькому, что получил первую часть рукописи «Моих университетов» (*ЛЖТ*$_{III}$, стр. 294). Получив от переводчика экземпляр книги, Горький отмечал, что кое-что в ней пропущено (*ЛЖТ*$_{III}$, стр. 346).

В процессе подготовки автором повести «Мои университеты» для отдельного издания *К* «Сторож», а также «Время Короленко», «О вреде философии», «О первой любви» и «В. Г. Короленко» были превращены в самостоятельные произведения. Работая над «Сторожем», Горький заново написал раздел о начальнике станции Петровском и заключительную часть произведения — о ночлежке на Сухаревке, а среднюю часть рассказа переработал.

На французском языке рассказ «Сторож» был опубликован в книге: «Un premier amour par Maxim Gorki». Traduit du russe avec l'autorisation de l'auteur par Dumesnil de Gramont. Paris, 1924.

«Сторож» отражает эпизоды из жизни писателя, относящиеся к концу 1888 — началу 1889 г. После работы на каспийских рыболовных промыслах и непродолжительного пребывания в Моздокских степях Алексей Пешков поздней осенью 1888 г. пришел в Царицын. «С Каспия не возвращался в Казань, а — в Царицын, откуда Началов, Мих〈аил〉 Яковлевич, и направил

меня сторожем на ст. Добринка, Грязе-Царицынской ж. д.»,— писал Горький Груздеву 13 апреля 1933 г. (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 318).

Стр. 139. *...Оболак-город ∽ Матерь божия новоявилась там...*— Абалак, Тобольской губернии. В 1637 г. там был основан абалацкий Знаменский монастырь, известный иконой «Знамения божией матери» («Абалацкое знамение»).

Стр. 141. *...Африкан Петровский, начальник станции...*— А. В. Сластушенский писал Горькому 5 июня 1931 г.: «Начальником станции был в то время Архангельский Павел Павлович, а я — Ваш ровесник — служил тогда телеграфистом на ст. Добринка. Жили с Вами в одном доме, против станции» (Архив А. М. Горького, КГ-рл-25-47-5; письмо Сластушенского частично опубликовано: *Г и его время*, стр. 631—632). В «Стороже» Горький вывел начальника станции под именем Африкана Петровского.

Стр. 147. *...я страдал тогда «фанатизмом знания» ∽ «фанатик знания — Сатана».*— Ср.: стихотворение Горького «Я щедро отдал людям дани» (*Архив Г*$_{VI}$, стр. 176), а также «Жизнь Клима Самгина» (*Г-30*, т. 19, стр. 289). Выражение «фанатизм знания» прокомментировано Горьким в статье 1933 г. «Ответ В. Золотухину» (*Г-30*, т. 27, стр. 20).

Стр. 148. *Деций* и *Диоклетиан* — римские императоры (III в. н. э.), гонители христианства.

Стр. 150. *...изречение Баринова...*— О Баринове см. примечания к рассказу «Весельчак» (т. XIV наст. изд., стр. 627).

Стр. 150. *...прошение, в котором — стихами — изобразил...*— Об этом стихотворном прошении Горький вспоминал в письме Груздеву от 15 августа 1926 г. (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 69).

Стр. 151. *Я познакомился с литератором Старостиным-Маненковым...*— О провинциальном литераторе В. Я. Старостине-Маненкове (ум. 1896) Горький писал также в «Беседах о ремесле» (см.: *Г-30*, т. 26, стр. 343—344).

Стр. 155. «*Не осенний, мелкий дождичек*» — популярная песня, текст А. А. Дельвига.

Стр. 155. «*Там, где тинный Булак*» — песня казанских студентов (см. наст. том, примеч. к стр. 55).

Стр. 156. «*Коперник целый век трудился...*» — студенческая песня.

Стр. 157. *...«Историю индуктивных наук» Уэвелля.*— «История индуктивных наук от древнейшего и до настоящего времени» Вильяма Уэвелля (1794—1866), английского ученого и философа, в 3 томах, пер. М. А. Антоновича и А. Н. Пыпина. СПб., 1867—1869.

Стр. 158. *...как говорил полицейский Никифорыч о жалости и толстовец о Евангелии и Дарвине.*— См. «Мои университеты», стр. 73 и 75.

Стр. 159. *В конце мая меня перевели весовщиком на станцию Крутую...*— Ошибка памяти: на станцию Крутая (в 12 верстах от Царицына) Пешков был переведен в январе 1889 г.

На ст. Крутая, по свидетельству М. З. Басаргиной-Прибытковой, Пешков прибыл 10 января 1889 г. («А. М. Горький. 1868—1936». Сталинград, 1936, стр. 49).

Стр. 159. *...от приятеля-переплетчика...*— Вероятно, речь идет о наборщике и переплетчике Т. Ф. Лахметко, входившем вместе с А. Пешковым в кружок самообразования на Крутой.

Стр. 159. *...Пешкову, Максимычу, «башке»*.— «Башкой» прозвали Пешкова в борисоглебском кружке. «В 1888—1890 гг. в Борисоглебске существовал революционный кружок, в который входил, между прочим, и А. М. Горький, служивший в товарной конторе на ст. Борисоглебск» (Я. Кирпичев. К 25-летию забастовки рабочих железнодорожных мастерских 1903 года г. Борисоглебска.— «Голос пахаря», 1928, № 13, 1 августа). В донесении Донского областного жандармского управления в департамент полиции от 6 ноября 1892 г. о Пешкове говорится: «В Борисоглебске был членом революционного кружка, состоявшего преимущественно из рабочих и служащих в эксплуатации Грязе-Царицынской ж. д.» («Красный архив», 1936, № 5, стр. 26).

Стр. 160. *В Москве...*— По свидетельству М. З. Басаргиной-Прибытковой, 14 апреля 1889 г. А. Пешков уехал с Крутой (по воспоминанию самого Горького, ушел пешком — см. «Время Короленко»); не застав Л. Толстого в Ясной Поляне, приехал в Москву, где снова пытался увидеть его (см. *Г-30*, т. 28, стр. 5); 25 апреля, в Москве, написал Толстому письмо. В этот свой приезд в Москву Пешков и был свидетелем сцены в ночлежке, о которой рассказано в «Стороже». В конце апреля он уже прибыл из Москвы в Нижний Новгород.

Стр. 160. *...ордена «Преподобной Аквавиты»...*— От aqua— вода, vita — жизнь (лат.). Шутливое обозначение водки.

ВРЕМЯ КОРОЛЕНКО

(Стр. 167)

Впервые напечатано, как единое целое с «В. Г. Короленко», под заглавием «В. Г. Короленко. Глава из воспоминаний», в журнале «Летопись революции» (*ЛТ*), 1923, № 1, стр. 9—28. Как самостоятельное произведение (первое в цикле «Автобиографические рассказы») — в журнале «Красная новь» (*КрН*), 1923, № 1, январь — февраль, стр. 3—22. С поправками вошло в т. 16 *К* и отдельное издание *К*: М. Горький. Мои университеты. Berlin, Verlag «Kniga», 1923.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Авторизованная машинопись — $АМ_1$ (ХПГ-6-2-2), без первой и последней страниц («Я никогда не болел самонадеянностью ∽ всё, что он говорил о марксизме» — стр. 168—193 наст. тома), содержащая раннюю правку, приближающую текст к тексту «Красной нови».

2. Авторизованная машинопись — $АМ_2$ (ХПГ-6-2-1), состоящая всего из 12 страниц (до слов: «беседовали со мною» — стр. 180

наст. тома); содержит, кроме небольших исправлений, частично совпадающих с исправлениями в $АМ_1$, более позднюю и существенную авторскую правку, учтенную в *К*.

3. Правленная автором верстка набора, с которого произведение печаталось в отдельном издании *К* и в т. 16 *К* (ХПГ-38-3-4, папка III).

Печатается по тексту верстки *К* со следующими исправлениями:

Стр. 167, строка 27: «черкасских» вместо «черкесских» (по *ПТ* и *КрН*).

Стр. 183, строка 29: «расплавятся» вместо «расправятся» (по *ПТ*).

Стр. 183, строки 36—37: «интеллигентская» вместо «интеллигентная» (по *ПТ*).

Стр. 189, строка 30: «изувеченной» вместо «изученной» (по *ПТ*, $АМ_1$, *КрН*).

Стр. 190, строка 14: «веселым тенором» вместо «веселыми тенорами» (по *ПТ* и *КрН*).

Через несколько дней после смерти Л. Н. Толстого Горький писал А. В. Амфитеатрову: «А еще вот что надобно: выдвигать из тени В. Г. Короленко, как единственного писателя, способного занять место во челе литературы нашей» (*Г-30*, т. 29, стр. 143). Горький, по его позднейшему признанию, всегда испытывал к Короленко «чувство непоколебимого доверия». «Он ведь для меня был и остается самым законченным человеком из сотен, мною встреченных, и он для меня идеальный образ русского писателя»,— писал он 7 октября 1925 г. Е. С. Короленко (там же, стр. 444).

Замысел произведения возник сразу же после смерти Короленко, скончавшегося в Полтаве 25 декабря 1921 г. Вместе с тем Горьким оно мыслилось как часть более обширного плана — продолжения его автобиографической трилогии. Автор предполагал назвать эту часть — «Среди интеллигенции». Фрагментами из нее, по всей вероятности, и явились произведения, позднее озаглавленные: «Сторож», «Время Короленко», «О вреде философии», «О первой любви», «В. Г. Короленко», «О Михайловском».

В письме к Горькому от 9 января 1922 г. З. И. Гржебин, сообщая о смерти Короленко, запрашивал: «Вы пишете, что у Вас имеются письма Короленки. Нельзя ли было бы напечатать их вместе с воспоминаниями Вашими о нем? Ведь это Вам так удается. Я бы немедленно это выпустил и для западного рынка и для России» (Архив А. М. Горького, КГ-п-22-1-15).

Приняв предложение Гржебина, Горький поручает своим знакомым срочно собрать письма Короленко, сданные им перед отъездом за границу на хранение. 12 января 1922 г. он пишет А. П. Пинкевичу, прося его зайти в Государственную библиотеку и взять там письма В. Г. Короленко: «...снимите с них копии, а потом пошлите их в Берлин, Гржебину. Сделайте это поскорее!» И добавляет: «Сейчас буду писать о Вл<адимире> Гал<актио-

новиче>, и, думается, напишу неплохо. У меня большой пиетет к этому человеку» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-30-41-12). В этот же день Горький отправил письмо И. П. Ладыжникову: «Очень прошу Вас о следующем: в чемодане писем, отправленном в Дрезденский банк, есть пакет писем В. Г. Короленко. Будьте добры взять этот пакет, снять с писем точные копии и передать их З. И. Гржебину» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 240). Видимо, в это же время Горький начал работу над воспоминаниями о Короленко. 13 января 1922 г. он уведомлял Ладыжникова: «...пишу о Короленко» (там же, стр. 241). Два дня спустя сообщал З. А. Пешкову: «...теперь пишу о Короленко. Работается охотно и легко» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-30-46-14).

10 февраля 1922 г. Горький известил Ладыжникова: «Работаю над книгой „Среди интеллигенции", часть ее уже готова, написал о Короленко» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 243). В письме от 16 февраля ему же снова повторил, что «сейчас кончил воспоминания о Короленко» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-22-1-186).

Пока не удалось точно выяснить, что помешало Горькому создать книгу «Среди интеллигенции» как целостное произведение. Но, несомненно, немаловажное значение имел тот факт, что к этому времени не была еще написана третья часть художественной автобиографии — «Мои университеты». Поэтому, закончив работу над воспоминаниями о Короленко (в самой ранней редакции глава объединяла то, что позже было превращено в самостоятельные произведения «Сторож», «Время Короленко», «В. Г. Короленко», «О Михайловском»), Горький вернулся к хронологически последовательному повествованию о своей жизни [1], начав в феврале 1922 г. работу над повестью «Мои университеты», а после завершения ее написал «О вреде философии» и «О первой любви». Позднее, отвечая на вопрос А. Е. Богдановича, будет ли продолжаться работа над воспоминаниями, Горький сообщал ему 4 августа 1925 г.: «Написать о этих годах я мог бы и еще много, но сознательно придушил себя, ибо питаю намерение написать нечто вроде хроники от 80-х годов до 918-го. Уже пишу [2]. Не уверен, удастся ли <...> Об А. М. Калюжном, Афанасьеве, Ланине у меня написано много, но — плохо, печатать не стану. М. б., удастся переделать» (*Г-30*, т. 29, стр. 436) [3].

Прежде чем воспоминания о Короленко увидели свет («Летопись революции»), небольшой отрывок из них был отдан Гржебиным в журнал «Новая русская книга» (Берлин), где он и появился в августе 1922 г. «Летопись революции» с произведе-

---

[1] События, описанные в произведениях «Сторож», «Время Короленко», «В. Г. Короленко», «О вреде философии», «О первой любви», относятся к периоду с конца 1888 до начала 1895 г., в «Моих университетах» — к периоду с 1884 по 1888 г.

[2] Речь идет о «Жизни Клима Самгина».

[3] Воспоминания о Калюжном, Афанасьеве, Ланине пока не найдены.

нием Горького вышла в январе 1923 г. 29 января Гржебин сообщил Горькому, что послал ему «первую книжку» журнала (Архив А. М. Горького, КГ-п-22-1-33). Но до этого они вышли в переводе на французский язык, в журнале «Les ecrits nouveaux» от 1 ноября 1922 г. (*ЛЖТ*$_{III}$, стр. 294). Одновременно готовилось отдельное издание «Моих университетов» на французском языке, куда входили и воспоминания о Короленко (см. примеч. к «Моим университетам», стр. 541).

Воспоминания о Короленко во французском издании входили составной частью в «Мои университеты», в качестве 14—17 глав. Вначале шли воспоминания о Каронине, далее страницы, посвященные Старостину-Маненкову (впоследствии вошли в очерк «Сторож») и воспоминания о Короленко. Текст «Летописи революции» композиционно близок к опубликованному во французском издании, но имеет и существенные изменения, дополнения (см. варианты). Публикация в «Летописи» завершается текстами 10 писем Короленко к Горькому.

В конце 1922 г. Горький подготовил воспоминания о Короленко и другие автобиографические произведения для публикации в журнале «Красная новь». Произведения эти начали печататься с января 1923 г. под серийным заголовком «Автобиографические рассказы». Открывалась серия воспоминаниями о Короленко, превращенными в два самостоятельных произведения: «Время Короленко» и «В. Г. Короленко» (см.: «Красная новь», 1923, № 1, январь — февраль). Под номером III в том же журнале опубликован рассказ «О вреде философии». Заглавия других произведений серии: «Мои университеты» (№№ 2—4), «Сторож» (№ 5), «О первой любви» (№ 6).

Подготавливая эти произведения для отдельного издания *К*, автор заменил серийный заголовок «Автобиографические рассказы» заголовком «Мои университеты» на обложке книги и на титульном листе ее и установил следующую окончательную последовательность произведений: «Мои университеты», «Сторож», «Время Короленко», «О вреде философии», «О первой любви», «В. Г. Короленко». В такой последовательности, соответственно авторской воле, они и печатаются в настоящем издании. Незаконченный набросок «О Михайловском» печатается во втором разделе тома.

Сразу же по выходе воспоминаний, Горький начал получать письма с откликами на них. «Слышал, что вы здорово работаете (чудесные воспоминания о В. Г. Короленко я читал) и завидую»,— сообщал Горькому С. Я. Елпатьевский 21 мая 1923 г. (Архив А. М. Горького, КГ-п-27-14-3). «Прекрасны Ваши воспоминания об Андрееве, сильнее — о Короленке...»,— писал 3 февраля 1923 г. С. С. Юшкевич (Архив А. М. Горького, КГ-п-90-18-12).

Воспоминания о Короленко многие читатели воспринимали в единстве с другими «Автобиографическими произведениями». «Ваша „автобиография“,— писала Горькому 28 апреля 1923 г. из Петрограда О. Д. Форш,— уже не литература, а большая

радость. Спасибо Вам. Жду очень, когда выйдет книжкой» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 582). «Дорогой Алексей Максимович,— откликнулся 3 ноября 1923 г. из Москвы М. М. Пришвин,— не знаю, какими словами выразить Вам свое восхищение перед последними Вашими произведениями в „Красной нови“ и в „Беседе“, просто скажу, это теперь лучше всего и у Вас лучше всего прежнего. Радуюсь» (там же, стр. 325).

В рецензии на книги «Мои университеты» и «Воспоминания» Ю. Соболев замечал, что Горький не случайно поместил очерки о Короленко не в книгу «Воспоминаний» (рядом с портретами Андреева, Толстого и др.), а в «Мои университеты», «этим как бы подчеркивая, что одним из жизненных „университетов“ было для него „время Короленки“ и дни встреч с ним в Нижнем Новгороде» («Сибирские огни», 1924, № 2, стр. 180).

Воспоминания Горького о Короленко были прочитаны Н. К. Крупской В. И. Ленину незадолго до его смерти (см. примеч. к «Моим университетам», стр. 543).

Стр. 167. *...Вышел я из Царицына в мае...*— По документам жандармского управления и воспоминаниям М. З. Басаргиной-Прибытковой, Алексей Пешков уехал со станции Крутая, Грязе-Царицынской ж. д., в апреле (или даже в марте?) 1889 г. (*Рев путь Г*, стр. 21; сб. «А. М. Горький. 1868—1936». Сталинград, 1936, стр. 52).

Стр. 167. *...зашел в Хамовники к Л. Н. Толстому ∽ в Троице-Сергиевскую лавру.*— См. *Г-30*, т. 28, стр. 5. Впоследствии Горький, вспоминая «один из тяжелых моментов» своей жизни, рассказывал:

«...в те дни я переживал наиболее сильный припадок недовольства ею, и она мстила мне за это. Мне нужно было куда-то идти, что-то делать, но — „куда пойдешь? Кому скажешь?“

Я избрал самую отдаленную, но и самую яркую точку — Льва Толстого» (*Архив Г*$_{XII}$, стр. 200).

Стр. 168. *В котомке у меня лежала тетрадь стихов...*— «В тайне даже от близкого моего друга, студента Гурия Плетнева, я писал стихи...»,— вспоминал Горький (*Г-30*, т. 24, стр. 488). Тетрадь не сохранилась.

Стр. 168. *В Нижнем жил Н. Е. Каронин...*— Алексей Пешков бывал у Каронина в мае 1889 г. См. «Н. Е. Каронин-Петропавловский» в т. XI наст. изд. Встреча в Казани относится к весне 1888 г.

Стр. 169. *...товарищу моему, стекольщику Анатолию...*— «Анатолий был маляр и стекольщик ⟨...⟩ изумительно талантливый юноша, он не вынес тяжкой жизни и застрелился в 90 г. 19-ти лет»,— вспоминал Горький («Былое», 1921, № 16, стр. 185; см. также: *Г-30*, т. 25, стр. 330—335).

Стр. 170. *...помогал устраивать колонию в Симбирской губернии ∽ в рассказе «Борская колония».*— В 80-х годах в России возникают земледельческие «толстовские» колонии. Принимал участие в организации одной из таких колоний и Каро-

нин. В 1890 г. он опубликовал в журнале «Русская мысль» (кн. 4 и 6) повесть «Борская колония», в которой изобразил крах попытки группы интеллигентов «сесть на землю».

Стр. 170. *...я видел одного из главных основоположников «толстовства» М. Новоселова ∽ затем — сотрудника «Православного обозрения» и яростного врага Л. Н. Толстого.*— М. А. Новоселов (р. 1864) — учитель, в 1880-х годах последователь Толстого; впоследствии стал его противником. «Православное обозрение» — церковный журнал, издававшийся в Москве с 1860 по 1891 г. Новоселов выступал против Толстого на страницах другого журнала православной церкви — «Миссионерское обозрение». В частности, в № 6 за 1901 г. он опубликовал «Открытое письмо графу Толстому от бывшего его единомышленника по поводу ответа на постановление святейшего синода».

Стр. 170. *...в квартире нечаевца Орлова...*— С А. И. Орловым А. Пешков встречался в апреле 1889 г. В письме к Груздеву от 27 июля 1930 г. Горький вспоминал Орлова — «переводчика „Оперетт морали“ Леопарди, стихов его „Сестре Паолине“, „Искушения св. Антония“ Флобера — перевод печатался в приложениях к „Нов⟨ому⟩ времени“ в 91—2 гг. ⟨...⟩ Обаятельнейший старик был Орлов, изумительно законченная фигура» (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 239).

Стр. 170. *«Пантеон литературы»* — историко-литературный журнал, выходивший в Петербурге в 1888—1895 гг. и помещавший на своих страницах переводы из иностранной художественной литературы.

Стр. 172. *...в Нижнем живет В. Г. Короленко...*— Вернувшись из ссылки в январе 1885 г., В. Г. Короленко поселился в Нижнем Новгороде, где прожил 11 лет — до января 1896 г.

Стр. 172. *...читал его «Сон Макара»...*— Рассказ «Сон Макара», написанный в 1883 г. во время пребывания Короленко в ссылке, был впервые напечатан в журнале «Русская мысль», 1885, кн. 3.

Стр. 172. *Меня арестовали...*— Алексея Пешкова арестовали в ночь с 12 (24) на 13 (25) октября 1889 г. по обвинению в укрывательстве «государственного преступника» С. Г. Сомова (см.: *Рев путь Г*, стр. 17—26; «Былое», 1921, № 16, стр. 180; а также примеч. к стр. 73).

Стр. 172. *Генерал Познанский* И. Н. (ум. 1897 г.) — начальник нижегородского жандармского управления (см. о нем в рассказе «Музыка», т. XV наст. изд.).

Стр. 172—173. *И. И. Сведенцов ∽ печатал мрачные повести...*— Беллетрист и публицист И. И. Сведенцов (псевдоним — Иванович; 1842—1901) был одним из тех, кого Горький впоследствии назвал «странствующими рыцарями народничества» (*Архив Г*$_{XII}$, стр. 327).

Стр. 173. *«Что ты сказала мне...»* — Стихотворение К. М. Фофанова (1862—1911) из сборника «Тени и тайны», СПб., 1892, стр. 114.

Стр. 173. *Из книги речей А. Ф. Кони я знал тяжелую драму...*— Имеется в виду нашумевший процесс по обвинению французской подданной Маргариты Жюжан в преднамеренном убийстве. 18 (30) апреля 1879 г. 16-летний ученик 1-й гимназии в Петербурге, сын начальника Санкт-Петербургского жандармского управления И. Н. Познанского, Николай, был найден мертвым. В отравлении его морфием подозревалась гувернантка. В результате судебного разбирательства под председательством А. Ф. Кони, длившегося три дня, было вынесено решение: «Нет, не виновна». Процесс освещался как в русской, так и во французской печати (см.: А. Ф. Кони. Судебные речи. СПб., 1888, стр. 495—514).

Стр. 173. *...посылал в Петербург доносы на земцев, Короленко...*— См.: Ф. Покровский. В. Г. Короленко под надзором полиции.— «Былое», 1918, № 13.

Стр. 173. *...томик Сеченова «Рефлексы головного мозга».*— Отдельное издание — СПб., 1866.

Стр. 175. *...куда уехал Сомов...*— 15 (27) октября 1889 г. Сомов был арестован в Казани. 7 (19) ноября А. Пешкова выпустили из тюрьмы.

Стр. 175. *Лет через десять ∽ я, арестованный, сидел в нижегородском жандармском управлении...*— В ночь с 16 (29) на 17 (30) апреля 1901 г. Горький был арестован по обвинению «в сочинении, печатании и распространении воззваний, имевших целью возбудить среди рабочих в апреле или мае текущего года противоправительственные волнения» (*Г-30*, т. 28, стр. 238—239).

Стр. 175. *...подошел молодой адъютант...*— Сын И. Н. Познанского, поручик М. И. Познанский.

Стр. 175. *Он умер, в Томске.*— И. Н. Познанский умер в 1897 г., в Иркутске.

Стр. 175. *...передать вам медали ∽ отдал их в нижегородский музей.*— 23 февраля ст. ст. 1902 г. на заседании Нижегородской губернской ученой архивной комиссии был заслушан доклад Ф. В. Ржиги о коллекции жетонов и медалей, жертвуемых А. М. Пешковым (см.: «Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии». Заседания LVIII — LXVIII. Н. Новгород, 1903, стр. 37—38). Коллекция Познанского в настоящее время хранится в г. Горьком, в Государственном музее имени А. М. Горького.

Стр. 175. *В солдаты меня не взяли...*— На призывной сбор Алексей Пешков являлся в декабре 1889 г.

Стр. 175. *Участник боя под Кушкой...*—18 (30) марта 1885 г., во время русско-афганской войны, у Кушки произошло сражение, окончившееся победой русских.

Стр. 175. *...в топографическую команду...*— Попытку поступить в топографическую команду для поездки на Памир Алексей Пешков предпринял в декабре 1889 г. (*ЛЖТ*$_1$, стр. 71).

Стр. 176. *...вы политически неблагонадежны...*— После освобождения из тюрьмы в октябре 1889 г. Алексей Пешков был отдан под негласный надзор полиции (*Рев путь Г*, стр. 21).

Стр. 176. *...жил на окраине города...*— В. Г. Короленко жил на Капатной улице, в доме Лемке (ныне ул. Короленко, д. 11а).

Стр. 177. *...писал мне, года два тому назад, некто Ромась...*— С М. А. Ромасем Короленко познакомился в Амгинской ссылке и поддерживал дружеские отношения почти до конца жизни.

Стр. 178. *Я ∽ хорошо чувствовал правду его замечаний.*— См. об этом в статье Горького «О том, как я учился писать» (*Г-30*, т. 24, стр. 489).

Стр. 179. *...не говоря о смешном Старостине.*— См. «Сторож».

Стр. 179. *Н. И. Дрягин* (1865—1905) — статистик нижегородского губернского земства.

Стр. 180. *...переводы Барыковой и Лихачева из Коппэ, Ришпэна, Т. Гуда...*— *А. П. Барыкова* (1839—1893) — поэтесса и переводчица. См. ее переводы из В. Гюго и Ж. Ришпэна в журнале «Красный архив», 1924, № 6, стр. 256—259. *Вл. С. Лихачев* (1849—1910) — поэт, переводчик. См. переводы из Коппе в его книге «За двадцать лет (1869—1888). Сочинения и переводы». СПб., 1889.

Стр. 180. *...солидные люди ∽ дважды в неделю беседовали со мною...*— 19 ноября 1889 г. Горький поселился в доме казанского студента В. И. Кларка, высланного в Нижний Новгород за участие в студенческих беспорядках. Квартира Кларков (Больничная, д. 8) «была буквально явочным пунктом для всей приезжающей в Нижний опальной интеллигенции» («Пролетарская революция», 1924, № 4, стр. 91).

Стр. 181. *...рассказ «Ночью»...*— «Северный вестник», 1888, № 12.

Стр. 181. *...открыто серьезное воровство в местном дворянском банке...*— В 1889 г. открылись крупные злоупотребления нижегородского уездного предводителя дворянства М. П. Андреева, растратившего около 50 тысяч казенных денег (см.: *Десять лет*, стр. 58).

Стр. 181. *...главный виновник ∽ умер в тюрьме...*— Один из директоров банка — Д. И. Панютин (см. статью Короленко «Эпилог банковой истории».— «Волжский вестник», 1891, № 113, 17 мая).

Стр. 182. *В. Г. печатал в «Волжском вестнике» статьи о делах банка...*— Короленко расследовал во всех подробностях дела о хищениях и опубликовал в 1891 г. за подписью Н. О. в «Волжском вестнике» (№№ 11—23) серию статей «Об Александровском банке» (вышла в том же году без указания автора отдельной брошюрой — «О Нижегородском Александровском дворянском банке», Казань).

Стр. 182. *А. И. Ланин горячо доказывал...*— В речи, произнесенной 6 (18) января 1896 г. на прощальном банкете, устроенном в честь Короленко нижегородцами, А. И. Ланин сказал, обращаясь к писателю: «Уже давно Вы имели возможность покинуть нас и отдаться той широкой работе, на которую дает Вам право Ваш талант. Нет, Вы не сделали этого, забывая себя,

свой личный интерес, Вы, раз начав дело, не захотели оставить его неоконченным и трудились, иной раз как простой чернорабочий, посея массу добра в нашей местной жизни» (*Н сборник*, стр. 227—228). «В Нижнем я — корреспондент и горжусь этим званием»,— сказал Короленко в ответной речи (там же, стр. 230).

Стр. 182. *...слушается дело скопцов...*— В феврале 1890 г. в нижегородском суде слушался процесс скопцов, на котором присутствовал Короленко (В. Г. Короленко. Полн. собр. соч., т. V, ГИЗ Украины, 1929, стр. 217).

Стр. 182. *...за крестным ходом...*— В 1887 г. Короленко ходил с толпой верующих провожать «чудотворную» икону в Оранский монастырь (см. его рассказ «За иконой»).

Стр. 182. *Около него крепко сплотилась значительная группа разнообразно недюжинных людей...*— См.: «Былое», 1918, № 7, стр. 9; С. Протопопов. О нижегородском периоде жизни В. Г. Короленко.— «Петербургский сборник». Пг., 1922, стр. 53.

Стр. 182. *С. Я. Елпатьевский* (1854—1933) поселился в Нижнем Новгороде после сибирской ссылки.

Стр. 182. *Ангел И. Богданович* (1860—1907) — журналист, публицист и литературный критик, член редакции журнала «Мир божий»; в Нижнем Новгороде жил с 1883 по 1890 г.

Стр. 182. *А. И. Иванчин-Писарев* (1846—1916) — народоволец, член редакции «Русского богатства»; поселился в Нижнем Новгороде, вернувшись из сибирской ссылки в 1889 г.

Стр. 182. *А. А. Савельев* (1848—1916) — нижегородский общественный деятель, с 1890 г. председатель земской управы (см.: *Десять лет*, стр. 20).

Стр. 182. *Аполлон Карелин* — А. А. Карелин (1863—1926), народоволец, экономист. После возвращения из ссылки жил в Нижнем Новгороде.

Стр. 182. *...читали интересные рефераты...*— «Первым, если я не ошибаюсь, прочитал три доклада Н. Ф. Анненский — об эволюции народничества за два минувших десятилетия 70-х и 80-х годов,— вспоминал Т. А. Богданович.— В. Г. прочитал реферат о Чернышевском и еще реферат об общественной и личной морали...» (*Н сборник*, стр. 92).

Стр. 182. *Медведский* — К. П. Медведский (р. 1867), поэт, критик и публицист.

Стр. 182. *...земские статистики Н. И. Дрягин, Кисляков, М. А. Плотников, Константинов, Шмидт...*— *П. И. Дрягин* — см. примеч. к стр. 179; *П. М. Кисляков* (р. 1861) — статистик; *М. А. Плотников* (ум. 1903) — литературный критик, один из организаторов партии «Народное право»; *Д. В. Константинов* (псевдоним — Эдуардович) — заведующий статистическим бюро нижегородского земства; *О. Е. Шмидт* — статистик.

Стр. 183. *...С. Елеонский утверждал ∽ легенда о В. Г. Короленко ∽ «интеллигентская легенда».*— Имеется в виду статья «Два слова о В. Г. Короленко (по поводу одного о нем воспоминания)», в которой С. Елеонский (Миловский) подверг кри-

тике корреспонденцию из Починок, напечатанную в «Нижегородском листке» (1903, № 160, 15 июня). В корреспонденции приводилась легенда о Короленко, услышанная якобы в лавке из разговоров мужиков: «Это от англичанки королёнок,— больше неоткуда быть. Когда белый царь воевал с ей, с англичанкой-то, его парнишкой полонили, и доставили к царю. Царь его, значит, возрастил, чтобы выкуп большой с англичанки взять...» Елеонский доказывал, что легенда «интеллигентского происхождения» и сочинена корреспондентом из Починок («Курьер», 1903, № 137, 15 июля).

Стр. 184. *А. А. Зарубин* — см. о нем: *Короленко*, т. 9, стр. 272.

Стр. 185. *Горинов* — В. А. Горинов (1850—1917), нижегородский земский деятель; в 1891—1892 годах вместе с Короленко участвовал в помощи голодающим.

Стр. 185. *Иоанн Кронштадтский* — И. И. Сергеев (1829—1908). Воспоминания Горького о нем см. в наст. томе.

Стр. 186. *В 1901 году меня посадили в тюрьму.*— См. примеч. к стр. 175.

Стр. 186. *...купца, Н. А. Бугрова...*— О Н. А. Бугрове (1837—1911), крупном нижегородском купце-хлеботорговце, см. очерк Горького «Н. А. Бугров» (т. XVII наст. изд.).

Стр. 187. *...возвратясь в Нижний...*— Горький вернулся в Нижний Новгород 6 (18) октября 1892 г. (*ЛЖТ*$_1$, стр. 94).

Стр. 187. *Его участие в борьбе с голодом...*— Имеется в виду голод 1891—1892 гг. (см.: *Десять лет*, стр. 91—108).

Стр. 187. *...оппозиция взбалмошному губернатору Баранову...*— Короленко в течение многих лет разоблачал на страницах газет деятельность нижегородского губернатора Н. М. Баранова (см. о нем в кн.: Д. Смирнов. Картинки нижегородского быта XIX века. Горький, 1948, стр. 167—172).

Стр. 187. *...вышла его книга «Голодный год».*— В. Короленко. В голодный год. СПб., 1893.

Стр. 187. *...одного нижегородца...*— Прототип Ермилова — героя романа П. Д. Боборыкина «На ущербе» (1890).

Стр. 187. «*Армия спасения*» — религиозно-филантропическая организация, созданная в 1865 г. английским священником Вильямом Бутсом.

Стр. 187. «*Красный крест*» — добровольное общество помощи раненым воинам, созданное в Петербурге при участии Н. И. Пирогова во время Крымской войны 1853—1856 гг.

Стр. 188. *...толстые тома Редкина...*— Имеется в виду: «Из лекций проф. Редкина по истории философии и права», вып. 1—7. СПб., 1889—91.

Стр. 188. *...«История социальных систем»...*— Д. Ф. Щеглов. История социальных систем от древности до наших дней, тт. 1—2. СПб., 1870—1889.

Стр. 188. «*Капитал*»...— К. Маркс. Капитал. Критика политической экономии, пер. с нем. Н. Даниельсона, т. I. СПб., 1872; тт. II — III, 1885—1896.

Стр. 188. *...книга Лохвицкого о конституциях...*—

А. В. Л о х в и ц к и й. Обзор современных конституций, ч. 1—3. СПб., 1862—1863.

С т р. 188. *...литографированные лекции В. О. Ключевского, Коркунова, Сергеевича...*— В. О. К л ю ч е в с к и й. Лекции по русской истории. Эти лекции, читанные В. О. Ключевским в 80-е годы в Московском университете, распространялись тогда в виде многочисленных литографированных изданий — В. Сысоева (1888 г.), Я. Л. Барскова (год не указан), Николаевой (год не указан) и др. Литографированные «Лекции по общей теории права» Н. М. Коркунова вышли в Петербурге в 1886 г.; «Лекции и исследования по истории русского права» В. И. Сергеевича выпущены литографским способом в Петербурге, в 1883 г.

С т р. 188. *...опирались на догматику эгоизма А. Смита...*— Здесь, как и в «Моих университетах», Горький ошибочно называет А. Смита, имея в виду «Основания политической экономии» Д. С. Милля. Перевод с примечаниями Н. Г. Чернышевского. СПб., 1860 (см.: *Архив Г*$_{XI}$, стр. 79).

С т р. 191. *...я сидел на Откосе...*— Беседа Горького с Короленко на Откосе произошла летом 1890 г.

С т р. 191. *П. Н. Скворцов ∽ читал в гостиной адвоката Щеглова статью...*— П. Н. Скворцов (ум. 1931), нижегородский статистик, «легальный марксист». О статье см. *Архив Г*XI, стр. 364.

С т р. 191. «*Критические заметки*» — П. С т р у в е. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России, вып. 1. СПб., 1894.

С т р. 191. ...«*не от мира сего*» — евангельское выражение (слова Иисуса фарисеям: «...вы от мира сего, я не от сего мира».— Евангелие от Иоанна, гл. 8, стих 23. Иисус — Пилату: «Царство мое не от мира сего».— Там же, гл. 18, стих 36).

С т р. 194. *Вольтер ∽ сделал великое дело, выступив защитником несправедливо осужденного.*— Борясь с церковной реакцией, Вольтер выступал защитником жертв церковного изуверства (Жана Каласа, Сирвена).

С т р. 195. *Я жил в двух шагах, он — версты за две.*— С 19 ноября 1889 г. А. Пешков жил в доме Малышева на Больничной улице (д. 8), недалеко от волжского Откоса. Короленко — в противоположной стороне города, на Канатной улице.

О ВРЕДЕ ФИЛОСОФИИ

(Стр. 196)

Впервые напечатано в журнале «Красная новь», 1923, № 1, январь — февраль, стр. 34—43 (в составе цикла «Автобиографические рассказы», под номером III).

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Авторизованная машинопись, 1-й экземпляр, с правкой — AM_1 (ХПГ-40-3-2). Над текстом авторская пометка красным карандашом: «Проверено».

2. Авторизованная машинопись, 2-й экземпляр, с правкой, перенесенной автором не полностью — $АМ_2$ (ХПГ-40-3-1); заголовок рукой Горького: «О вреде философии».

3. Правленая автором верстка набора, с которого произведение печаталось в книге «Мои университеты» и в т. 16 *К*; типографский штамп — с датами 6 и 7 февраля 1923 г. (ХПГ-38-3-4).

Печатается по тексту верстки *К* с исправлением «кончил все-таки тем» (*стр. 197, строки 15—16*) вместо «кончил всё тем» (по $АМ_{1,2}$ и *ПТ*).

Произведение написано в 1922 г., до того, как была закончена повесть «Мои университеты». В письме к М. Ф. Андреевой, относящемся к концу августа — началу сентября 1922 г., Горький спрашивал: «Нет ли у П. П. ⟨Крючкова⟩ главы с философским бредом, напечатанной на машинке? Если есть — пусть привезет, очень нужно. Заканчиваю „Юность“ для отдельного издания...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-2а-1-30). Подробнее см. выше примечания к «Моим университетам», «Сторожу» и «Времени Короленко».

«О вреде философии» — художественно обработанный эпизод из жизни писателя, относящийся к лету 1890 г. Один из главных героев произведения — Николай Захарович Васильев (1868—1901) учился в Нижегородском дворянском институте и в 1886—1887 годах был участником гимназического кружка (см.: «Пролетарская революция», 1923, № 14, стр. 43); затем продолжал учебу в Нежинском филологическом лицее, после окончания которого поступил в Московский университет.

Семья Васильевых жила в Нижнем Новгороде, на Мартыновской улице, в стареньком доме Громова.

Сестра Васильева О. З. Лебедева вспоминала: «В конце 80-х или начале 90-х годов, когда брат приехал на каникулы в Нижний Новгород, у нас жили: его товарищ студент Александр ⟨?⟩ Прокофьевич Уваров и Алексей Максимович. Все они жили в беседке в саду» (Архив А. М. Горького, МоГ-8-11-1).

В 1893 г. Васильев окончил Московский университет (но не сдал государственных экзаменов), после чего служил химиком на Каменской писчебумажной фабрике Кувшиновых (Тверская губ., Новоторжский уезд); здесь у Васильевых зимой 1897—1898 г. гостили Е. П. Пешкова с сыном Максимом и сам Горький.

В 1899 г. Васильев, сдав государственные экзамены, поступил химиком на фабрику братьев Крафт в Кременчуге. Летом 1900 г. Пешковы и Васильевы жили вместе в Мапуйловке Полтавской губернии. В том же году Васильев был принят ассистентом в Киевский политехнический институт и работал там у проф. М. И. Коновалова вплоть до внезапной смерти 1 (14) декабря 1901 г. (отравился ядами в лаборатории).

Стр. 196. *...книги Ляйеля и Лёббока...*— См. примеч. к «Моим университетам», стр. 551.

С т р. 196. ...*кто-то дал «Историю философии» Льюиса*...— Джордж Льюис (1817—1878) — английский философ-позитивист. Его «История философии» (СПб., 1866, 1889) была популярна среди русской интеллигенции в 70—80-е годы.

С т р. 196. ...*с иконой Нерукотворенного Спаса.*— Спас Нерукотворный — один из иконографических типов изображения Иисуса Христа. Икона Нерукотворного Спаса изображает лицо Христа на вписанном в икону куске ткани (см. также т. IV наст. изд., стр. 623).

С т р. 196. ...*как Сократ, говорит вопросами.*— С именем Сократа (ок. 469—399 до н. э.) связано открытие вопросно-ответного метода искания истины; жанр «сократического диалога» создал в литературе ученик Сократа Платон.

С т р. 197. «*Смотрите здесь, смотрите там*»... — куплеты из оперетты Р. Планкетта «Корневильские колокола».

С т р. 198. *Сведенборг* Эммануил (1688—1772) — шведский ученый-натуралист и философ-мистик.

С т р. 198. «*Феноменология духа*» — важнейший труд Гегеля (1807), в котором разработан его метод идеалистической диалектики.

С т р. 199. ...*изложил мне систему Демокрита*...— Древнегреческий философ-материалист Демокрит (ок. 460—370 до н. э.) учил, что первопричиной всего сущего в природе являются неделимые атомы.

С т р. 199. ...*в соседнем доме психиатра Кащенко*...— Психиатр П. П. Кащенко (1858—1920) в 1889—1904 гг. работал в Нижегородской психиатрической больнице.

С т р. 201. ...*нечаевец Орлов*...— См. примеч. к стр. 170.

С т р. 201. ...*жуткую картину мира, как представлял его Эмпедокл*...— Древнегреческий философ-материалист Эмпедокл (ок. 490—430 до н. э.) учил, что всё в природе находится в состоянии непрерывного возникновения и уничтожения. Натурфилософия Эмпедокла в фантастической форме предвосхищала идеи эволюционной теории. Вот, например, отрывок из поэмы Эмпедокла «О природе»:

Выросло много голов, затылка лишенных и шеи,
Голые руки блуждали, не знавшие плеч, одиноко
Очи скитались по свету без лбов, им ныне присущих

(Антология мировой философии,
т. I. М., 1969, стр. 301, 306).

С т р. 207. ...*как унизительна глупость самоубийства*...— Горький имеет в виду рассказ «Случай из жизни Макара» (т. XIV наст. изд.).

С т р. 208. ...*узнал ее историю ее разрушения.*— См. примеч. к стр. 170.

О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

(Стр. 209)

Впервые напечатано в книге: М. Горький. Мои университеты. Berlin, Verlag «Kniga», 1923 (вышла в марте — апреле), а затем в журнале «Красная новь», 1923, № 6 (октябрь — ноябрь), стр. 3—25, как шестое произведение цикла «Автобиографические рассказы».

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Второй и третий экземпляры авторизованной машинописи (одной закладки — AM_1 и AM_2) с правкой (ХПГ-40-7-1 и 2). На первом листе того и другого экземпляра — помета рукой Горького: «Проверено».

2. Правленная автором верстка набора, с которого произведение печаталось в книге «Мои университеты» и в т. 16 *К* (ХПГ-38-3-4); на верстке типографский штамп с датами 7 и 8 февраля 1923 г.

Печатается по тексту верстки *К* со следующими исправлениями по $AM_{1,2}$ и *КрН*:

Стр. 215, строка 6: «а потом уже» вместо «потом уже».

Стр. 215, строки 22—23: «юркого человечка» вместо «юркого человека».

Стр. 225, строка 10: «и — до слез страдал» вместо «— до слез страдал».

Стр. 227, строка 23: «Это были не совсем» вместо «Это не были совсем».

Стр. 229, строка 14: «зажигая вокруг себя шумное оживление, возбуждала» вместо «зажигая вокруг себя шумное оживление, возбуждая».

Стр. 237, строка 28: «И, зажмурясь» вместо «Зажмурясь».

Написано, по-видимому, в 1922 г. (см. примечания к «Моим университетам», «Сторожу» и «Времени Короленко»).

«О первой любви» — произведение автобиографическое. Главная героиня его — Ольга Юльевна Каминская, урожденная Гюнтер (Гюннер), родилась в Нижнем Новгороде, в 1859 г. Отец — врач, мать — акушерка. С трех лет жила у тетки в Белостоке, воспитывалась в Белостокском институте благородных девиц. После института окончила в Москве акушерские курсы. В Москве вышла замуж за Ф. Ф. Каминского, студента Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии. Рассталась с мужем, которого постигло душевное заболевание, и уехала с дочерью Ольгой в Тифлис, где вышла замуж за Болеслава Петровича Корсака, бывшего политического ссыльного, вернувшегося из Сибири и находившегося под надзором полиции. В 1888 г. Корсак и О. Ю. Каминская (с пятилетней дочерью) были заключены в Метехский замок в Тифлисе, а затем переведены во Владикавказскую тюрьму; в конце того же года высланы из Тифлиса, как гласит жандармская справка — «по личному распоряжению Главнокомандующего гражданской частью на Кавказе — ввиду их, Каминской и Корсак, крайней поли-

тической неблагонадежности» (*Г и его время*, стр. 395). Они поселились на родине О. Ю. Каминской в Нижнем Новгороде. В письме А. И. Лебедеву от 19 марта 1932 г. Горький указывал адрес квартиры Корсака: «...на Мартыновской улице, в полуподвальном этаже» (*Г-30*, т. 30, стр. 245). Однако в жандармском списке поднадзорных лиц значится другой адрес: Жуковская улица, дом Верязова («Горьковская коммуна», 1945, № 193, 17 августа). В списке подпадзорных за 1889 г. О. Ю. Каминская числится под № 35, А. М. Пешков в том же списке — под № 59 (см. там же).

Знакомство А. Пешкова с О. Ю. Каминской произошло в июне 1889 г. Их совместная жизнь оказалась непродолжительной. Прожив немногим больше двух лет, они разошлись навсегда. По свидетельству О. Ю. Каминской, умершей в июне 1939 г., в дальнейшем они встретились единственный раз в Москве после более чем 30-летней разлуки.

4 октября 1924 г. М. И. Будберг сообщала переводчику произведений Горького на французский язык М.-Д. де Грамону, что «Сторож» и «Первая любовь» не попали в книгу «Souvenirs de ma vie littéraire» потому, что были пересланы во Францию с некоторым опозданием (там же, ПТЛ-5-81-2).

В переводе на французский язык рассказ «О первой любви» был напечатан как самостоятельное произведение в книге: «Un premier amour par Maxime Gorki». Traduit du russe avec l'autorisation de l'auteur par Dumesnil de Gramont. Paris, 1924. Это издание интересно тем, что рассказ «О первой любви» здесь переведен с неизвестного нам, более раннего, чем AM_1 и AM_2, источника. Кроме значительного числа мелких разночтений, во французском издании есть несколько фраз, не встречающихся ни в одном русском издании. Разночтения между русскими публикациями рассказа незначительны (см. варианты).

Произведение «О первой любви» сразу же было высоко оценено читателями и критикой (см. примечания к «Моим университетам» и «Времени Короленко»). «Я люблю Ваше творчество бесконечно,— писал Горькому С. Цвейг 29 августа 1923 г. из Зальцбурга,— уже много лет меня ничто так не потрясало, как описание Вашего *первого брака* в „Воспоминаниях“. В немецкой литературе нет никого, в чьих произведениях была бы эта непосредственность правды,— я знаю, ее можно достигнуть также с помощью искусства, может быть, даже с помощью искусных приемов. Но Ваша *непосредственность* является для меня единственной: даже у Толстого не было такой естественности повествования» (*Архив Г*$_{VIII}$, стр. 11).

Особенно обрадовал автора отзыв С. В. Короленко. Разыскать этот отзыв пока не удалось, но о его содержании можно судить по ответному письму Горького. «Мне лестно знать,— писал он 7 октября 1925 г. дочери своего учителя,— что Вам понравилась „Первая любовь“. Я написал эту главу воспоминаний со страхом, боялся изобразить себя несчастненьким и обидеть женщину. Последнее особенно тревожило — кажется,

не обидел? Один француз — Ромен Роллан — назвал эту вещь „пронзительной". Роллан — друг мой, и я очень ценю его похвалу. Но в данном случае важнее суждение женщины, а не мужчины» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-20-17-1).

Стр. 209. *Супруги К.*— Б. П. Корсак и его жена О. Ю. Каминская.

Стр. 209. *...они недавно приехали из Франции...*— Здесь и дальше (стр. 212 — «жила в Париже») — ошибка памяти: О. Ю. Каминская жила за границей позже, в 1890—1892 годах.

Стр. 209. *Кларк* Василий — нижегородский знакомый Горького, исключенный из Казанского университета студент, бывший ссыльный. В доме Кларка и его гражданской жены Алкиной собиралась революционно и радикально настроенная интеллигенция.

Стр. 214. *Парнель* — Чарлз Парнелл (1846—1891), ирландский политический деятель, лидер национального движения за отделение Ирландии от Англии.

Стр. 214. *...говорил о Бине, Рише...*— *Бине* Альфред (1857—1912) — французский психолог; *Рише* Шарль (1850—1935) — французский физиолог.

Стр. 215. *...печальной любви к нему Жозефины Богарнэ...*— Наполеон развелся в 1809 г. с Жозефиной Богарне и женился на дочери австрийского императора Марии Луизе.

Стр. 215. *У него я видел нелегального Сабунаева...*— М. В. Сабунаев — народоволец; после побега из сибирской ссылки, в конце 1880-х годов, «задался целью восстановить старую народовольческую организацию и с этой целью ездил по всей России и заводил связи» («Пролетарская революция», 1923, № 14, стр. 46).

Стр. 216. *...знаменитый впоследствии Ландезен-Гартинг...*— А. М. Гартинг (наст. имя — Абрам Геккельман), провокатор, агент охранки. В Париже жил под фамилией Ландезен.

Стр. 221. *...я ушел из города...*— В начале 1890 г. Б. П. Корсак уехал за границу, а в июне того же года к нему в Париж отправилась и О. Ю. Каминская. А. Пешков ушел из Нижнего в большое странствие «по Руси» 29 апреля 1891 г.

Стр. 221. *...она приехала из Парижа...*— О. Ю. Каминская, после разрыва с Корсаком, в августе 1892 г. возвратилась в Россию, в Тифлис, где в сентябре произошла ее новая встреча с А. Пешковым.

Стр. 223. *Я прочитал ей мой первый рассказ...*— «Макар Чудра».

Стр. 224. *Зимою она, с дочерью, приехала ко мне в Нижний.*— 4(16) декабря 1892 г. помощник пристава 1 участка 2 части доносил: «Сего числа в дом Андреева по Жуковской ул. в квартиру Пешкова прибыла из города Тифлиса состоящая под негласным надзором жена кандидата сельского хозяйства Ольга Юльевна Каминская» (А. Свободов. А. М. Пешков под над-

зором полиции.— «Горьковская коммуна», 1945, № 193, 17 августа).

Стр. 226. *...писал рассказы для местной газеты...*— В газете «Волгарь» Горький начал печататься с осени 1893 г. (см. примеч. в т. I наст. изд., стр. 506).

Стр. 226. *Максим дю Кан* (1822—1894) — французский писатель, автор нескольких книг о Париже.

Стр. 229. *Гейне сказал: «Все мы ходим голыми под нашим платьем!»* — Г. Гейне. Путевые картины, часть вторая — «Северное море» (1826).

Стр. 229. *Белобрысый ярославский лицеист...*— В воспоминаниях Ф. В. Смирнова сообщается его имя: А. Г. Милославов. В то время он служил письмоводителем у мирового судьи (Архив А. М. Горького, МоГ-12-39-2).

Стр. 230. *...ей больше нравились Поль Феваль, Октав Фейлье, Поль де Кок...*— Французские романисты XIX века, общей чертой которых были ориентация на занимательность, склонность к мелодраматизму и сентиментальности.

Стр. 231. *...в ночь написанный рассказ «Старуха Изергиль»...*— Написан, по-видимому, в сентябре 1894 г. (см. примеч. в т. I наст. изд., стр. 523).

Стр. 232. *...прекрасное впечатление детства — Королева Марго...*— См. повесть «В людях», т. XV наст. изд., стр. 359—373.

Стр. 232. *...прочитал в книге Ольденбурга о «Всякое существование суть страдание»...*— Г. Ольденбург. Будда, его жизнь, учение и община. Пер. П. Николаева. 2 изд. М., 1890. «Всякое существование суть страдание» — основное положение буддизма.

Стр. 232. *...труд архиепископа Хрисанфа «Религия Востока»...*— О церковном писателе, архиепископе нижегородском Хрисанфе (В. Н. Ретивцеве) см. в повести «Детство» (т. XV наст. изд., стр. 187—190 и примеч. к стр. 187). «Религии Востока» (СПб., 1873) — т. I его трехтомного труда «Религии древнего мира в их отношении к христианству».

Стр. 234. *Цирцея* — волшебница в «Одиссее», превратившая спутников Одиссея в свиней.

Стр. 236. *...и я уехал из города, а вскоре уехала и она...*— Разрыв с О. Ю. Каминской произошел в декабре 1894 г. Горький был приглашен (при содействии Короленко) «Самарской газетой» на место постоянного фельетониста. 20 февраля 1895 г. он уехал в Самару.

Стр. 236. *Недавно моя первая женщина умерла.*— Горький ошибался. Эту ошибку он так объяснил О. Ф. Ивиной-Лошаковой, дочери О. Ю. Каминской, в письме от 14 апреля 1928 г.:

«Осенью 21-го года письмом из Вятки я был извещен, что Ольга Юльевна скончалась от воспаления легких.

Сегодня получил письмо, что обе вы живы, здоровы, но живете трудно в смысле материальном. Я очень хотел бы помочь вам, если это вы допустите, если моя помощь не обидит О. Ю. и Вас» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-17-6-2).

В. Г. КОРОЛЕНКО

(Стр. 240)

Впервые напечатано как единое целое с «Временем Короленко», под заглавием «В. Г. Короленко. Глава из воспоминаний», в журнале «Летопись революции» (*ЛР*), 1923, № 1, стр. 29—49. До этого небольшой отрывок (с начала и кончая словами «только что написанного мною» — стр. 244) — в «Новой русской книге» (Берлин). 1922, № 8, стр. 4—5.

Другой отрывок («Шесть лет ∽ не видно!», стр. 254—258) был опубликован, до появления в «Летописи революции», в газете «Время» (Берлин), 1923, № 235, 15 января.

Как самостоятельное целое вошло под номером II в цикл «Автобиографические рассказы», напечатано в журнале «Красная новь», 1923, № 1, январь — февраль, стр. 22—34 (см. выше примечания к «Моим университетам», «Сторожу» и «Времени Короленко»).

В Архиве А. М. Горького хранятся два экземпляра верстки набора, с которого произведение печаталось в книге «Мои университеты» и в т. 16 *К* (ХПГ-38-3-4). Один экземпляр с авторской правкой, другой — с редакционной правкой (и с перенесенными исправлениями Горького).

Уже после того, как набор был закончен, автор дописал последние обобщающие страницы: «Встречи мои с ним были редки ∽ ускорить рассвет этого дня» (стр. 258—259). Срочно высылая их, он писал 15 февраля 1923 г. П. П. Крючкову: «...„купцов“ из книги надо выбросить [1] и закончить ее страничкой о Короленко, которую при сем прилагаю» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-21).

Печатается по тексту верстки *К* с исправлениями:

Стр. 242, строки 11—12: «из города в город» вместо «из города» (по *ПТ*, *ЛР*, *Кр П*).

Стр. 246, строка 32: «нечему» вместо «почему» (по *ЛР*).

Стр. 240. *...я вернулся в Нижний из Тифлиса...*— Горький вернулся в Нижний Новгород 6 (18) октября 1892 г.

Стр. 240. *...написал несколько маленьких рассказов и послал их в «Волжский вестник»...*— В 1893 г. за подписью М. Г-ий в «Волжском вестнике» (Казань) были напечатаны: «Месть», «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины», «Разговор по душе». Редактировал газету Н. В. Рейнгардт.

Стр. 240. *...сотрудничеству в ней В. Г. ...*— В «Волжском вестнике» Короленко начал работу в качестве корреспондента сразу по приезде в Нижний Новгород в 1885 г. и продолжал ее до 1892 г.

---

[1] За «В. Г. Короленко» в верстке шел очерк «Два купца, Н. А. Бугров и С. Т. Морозов». См. ниже примечания к очерку «Савва Морозов».

Стр. 240. *...прислал мне довольно лестное письмо...*— Письмо не найдено.

Стр. 240. *...хочет видеть меня.*— Передавая содержание беседы с В. Г. Короленко, Горький нарушил хронологию и объединил встречи, относящиеся к разным годам.

Стр. 240. *Жена и дети...*— Жена — А. С. Короленко (урожд. Ивановская); дочери: Софья (1886—1957) и Наталья (1888—1950).

Стр. 241. *...один напечатан в газете «Кавказ».*— Рассказ «Макар Чудра» был впервые напечатан в тифлисской газете «Кавказ», 1892, № 242, 12 сентября.

Стр. 241. *...гулял за Волгой, по Керженцу, по Ветлуге.*— На Ветлуге и Керженце Короленко был в 1889 и 1890 годах, по Волге путешествовал в 1891 и 1892 годах.

Стр. 241. *...прочитал его рассказ «Река играет»...*— Впервые напечатан в 1892 г. в сборнике «Помощь голодающим».

Стр. 242. *...о моей насильственной беседе с Иоанном Кронштадтским...*— См. в наст. томе стр. 452—460.

Стр. 243. *...начал рассказывать о своих беседах с мужиками Лукоянова...*— Имеются в виду беседы во время поездки в «голодном» 1892 г.

Стр. 243. *...сектантами Керженца...*— Летом 1890 г. Короленко путешествовал на лодке по реке Керженец (см. «В пустынных местах» — *Короленко*, т. 3, а также В. Г. Короленко. Записные книжки. Гослитиздат, 1935).

Стр. 243. *Сеять «разумное, доброе, вечное»...*— См. примеч. к стр. 66.

Стр. 244. *...я принес Короленко рукописи сказки «О рыбаке и фее» и рассказа «Старуха Изергиль»...*— См. примеч. к этим произведениям в т. I наст. изд. «О рыбаке и фее» — «О маленькой фее и молодом чабане».

Стр. 244. *...в переводе нашей милой старушки Мысовской...*— А. Д. Мысовская (1840—1912), поэтесса и переводчица, была близка к «кружку» Короленко. Ее переводы стихотворений А. Мюссе печатались в журнале «Пантеон литературы», а также выходили отдельными изданиями: «Уста и чаша». СПб., 1891; «Ночи». Тамбов, 1891.

Стр. 244—245. *...пессимистическое отношение к любви — болезнь возраста...*— В письме Груздеву от 23 марта 1927 г. Горький вспоминал: «„Рыбак и фея“ очень юношеское произведение — 90—91 гг., полагаю. Было показано Короленко и забраковано им „за пессимистический взгляд на любовь“» (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 108).

Стр. 245. *...можно напечатать только стихи...*— Стихи из сказки «О маленькой фее и молодом чабане».

Стр. 245. *...я женат.*— В 1892—1894 годах Горький состоял в гражданском браке с О. Ю. Каминской (см. «О первой любви»).

Стр. 245. *...Ромась арестован?* — В 1894 г. Ромась был арестован в Смоленске с типографией «народоправцев» — чле-

нов нелегальной народнической партии «Народное право», созданной в 1893 г. В типографии предполагалось печатать журнал.

Стр. 246. *...снова сошлют его куда-нибудь.*— Ромась был сослан в Восточную Сибирь.

Стр. 246. *Астыревское дело — хороший урок...*— В 1891—1892 годах писатель и статистик Н. М. Астырев (1857—1894) предпринял неудачную попытку распространить среди крестьян голодающих губерний антиправительственную прокламацию. Выданный провокатором Серебряковой, Астырев был арестован и вскоре умер.

Стр. 246. *...компания поумневших ∽ популярный в то время рассказ П. Д. Боборыкина «Поумнел»...*— Главный герой опубликованной в 1890 г. повести Боборыкина «Поумнел» — Гаярин в молодости отдал дань фрондерству, но впоследствии подчеркивал, что не был «злоумышленником против всего социального строя» (П. Д. Боборыкин. Собрание сочинений в 12 томах, т. 10. СПб., 1897, стр. 130). В зрелые годы он становится губернским предводителем дворянства. Жена Гаярина, Антонина Сергеевна, первоначально несколько шокированная ренегатством мужа, в конце повести думает, что он, может быть, прав; она принимает решение уйти «в будничное добро» (там же, стр. 133). Горький, юмористически излагая сюжет повести Боборыкина, правильно запечатлел факт ее популярности; выражение «поумнел» употреблялось с разной эмоциональной окраской (осуждения или одобрения) для характеристики интеллигентов, отказавшихся от «идеалов отцов» и примирившихся с действительностью.

Стр. 247. *...рассказ «За иконой»...*— Напечатан впервые в «Северном вестнике», 1887, № 9. В нем описываются «проводы» в монастырь чудотворной иконы. Герой рассказа — сапожник Андрей Иванович.

Стр. 247. *Так писал еще Павел Якушкин.*— П. И. Якушкин (1820—1872), этнограф и фольклорист.

Стр. 247. *Прочитал я ∽ «Деда Архипа»...*— Рассказ «Дед Архип и Ленька» впервые был напечатан в нижегородской газете «Волгарь», 1894, февраль.

Стр. 248. *Истомина* — Н. К. Истомина, участница народнического движения; в 1890 г. была арестована по делу петербургских террористов. Предательница. В 1892—1894 годах жила в Нижнем Новгороде под гласным надзором полиции. В 1921 г. Горький писал: «В Нижнем и Казани по делу „народоправцев“ выдавала истерическая девица Истомина, убитая вместе с ее ребенком взрывом на даче Столыпина» («Былое», 1921, № 16, стр. 185).

Стр. 249. *Ваал* — древнефиникийское божество, требовавшее человеческих жертвоприношений.

Стр. 249. *...сел писать «Челкаша»...*— Рассказ написан в августе 1894 г. См. в т. II наст. изд.

Стр. 249. *...к моему патрону...*— К присяжному поверен-

нему (адвокату) А. И. Ланину; у него Горький работал письмоводителем в 1889—1893 годах.

Стр. 251. *...у меня есть знакомый в «Самарской газете».*— По-видимому, речь идет о журналисте и критике А. А. Дробыш-Дробышевском (псевдоним: Уманьский).

Стр. 251. *...необходимо уехать, переменить жизнь ∽ сделать это.*— При содействии Короленко Горький получил в декабре 1894 г. приглашение от «Самарской газеты» «занять место постоянного сотрудника-фельетониста, составителя обзоров и беллетриста» (*ЛЖТ*$_{I}$, стр. 107) и в феврале 1895 г. переехал в Самару.

Стр. 251. *...Короленко посылал мне письма...*— См. в сб.: *Г и Короленко*, стр. 26—53.

Стр. 252. *...архиерей.*— Речь идет о епископе Гурии, бывшем в Самаре архиереем.

Стр. 252. *...обругал поэта ∽ приставив к его фамилии — Скукин — слово сын...*— Имеется в виду фельетон в серии «Между прочим», опубликованный в «Самарской газете» (1895, № 161, 29 июля).

Стр. 253. *Это было хорошее письмо ∽ оно пропало...*— Копия письма Короленко от 7 (19) августа 1895 г. сохранилась в копировальной книге писателя (см.: *Г и Короленко*, стр. 49).

Стр. 253. *Ранней весной 97 года меня арестовали в Нижнем и ∽ отвезли в Тифлис.*— В ночь с 6 (18) на 7 (19) мая 1898 г. Горький был арестован в Нижнем Новгороде и отправлен под конвоем в Тифлис. Он привлекался по делу Ф. Е. Афанасьева и других участников подпольных революционных кружков, с которыми был связан в 1891—1892 гг.

Стр. 253. *Странный человек был этот ротмистр...*— М. А. Конисский (р. 1862), ротмистр отдельного корпуса жандармов. См. о нем также в письме Горького Груздеву от ноября 1925 г. (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 25).

Стр. 253. *...потомок того епископа Конисского ∽ речь Екатерине Второй...*— Архиепископ белорусский Георгий Конисский произнес 19 января 1787 г. в Мстиславле речь, обращенную к Екатерине II и начинавшуюся словами: «Пресветлейшая императрица! Оставим астрономам доказывать, что земля вокруг солнца обращается!» (Собрание сочинений Георгия Конисского, архиепископа белорусского, ч. I. СПб., 1835, стр. 278).

Стр. 253. *Каждый из нас — творит волю пославшего...*— Реминисценция из Евангелия, в котором Иисус неоднократно говорит, что он пришел «творить волю» своего отца, «пославшего» его в мир (Евангелие от Иоанна, гл. 4, стих 34; гл. 5, стих 30; гл. 6, стих 38 и т. д.).

Стр. 254. *Шесть лет — с 95 по 901 год — я не встречал Владимира Галактионовича...*— Ошибка памяти: в эти годы Горький несколько раз виделся с Короленко. 8 июня 1896 г. Короленко был в Нижнем Новгороде проездом из Мамадыша. «Здесь Короленко, сегодня я видел его,— писал Горький Е. П. Пешковой 8 июня.— ⟨...⟩ Сегодня я проводил Короленко

в Москву» (*Архив Г*$_V$, стр. 31); в письме к Чехову до 23 августа (4 сентября) 1899 г. из Нижнего Новгорода Горький сообщал: «Видел Короленко вчера...» (*Г-30*, т. 28, стр. 91). Несколько раз встречался Горький с Короленко в октябре 1899 г. в Петербурге (см. *Архив Г*$_V$, стр. 65, 66).

Стр. 254. *В 901 году я впервые приехал в Петербург...* — Горький впервые приехал в Петербург 29 сентября (11 октября) 1899 г. (*ЛЖТ*$_1$, стр. 246).

Стр. 254. *...я снялся у фотографа ∽ провокатор ∽ М. Гурович.* — История этой фотографии подробно описана в книге В. Поссе (см.: В. А. Поссе. Мой жизненный путь. М., 1928, стр. 228). Фотография находится в Музее А. М. Горького в Москве.

Стр. 255. *...по примеру Фомы, тыкать в раны пальцами...* — Согласно евангельской легенде, Фома, один из 12 апостолов, не поверил в воскресение Христа, пока не увидел его ран и не прикоснулся к ним (Евангелие от Иоанна, гл. 20, стихи 24—29).

Стр. 255. *...в каменном Петербурге нашел ∽ деревянный дом...* — Короленко переехал в Петербург в январе 1896 г. и поселился в деревянном домике на 5-й Рождественской улице.

Стр. 255. *...не дешево стоило ему Мультанское дело...* — В разгар голода, охватившего Поволжье, в отдаленном селе Старый Мултан Вятской губернии было создано «дело» по обвинению одиннадцати крестьян-удмуртов в человеческом жертвоприношении. Крестьяне были осуждены на каторгу. Короленко добился пересмотра «дела» и взял на себя защиту обвиняемых. В июне 1896 г. все они были оправданы (см. статью «Мултанское жертвоприношение».— *Короленко*, т. 9).

Стр. 255. *...«Варенька Олесова»...* — Впервые напечатано в журнале «Северный вестник», 1898, №№ 3—5, март — май.

Стр. 255. *...«Фома Гордеев».* — Печатался в журнале «Жизнь», 1899, тт. II — IV, VII — IX, февраль — апрель, июнь — сентябрь.

Стр. 256. *Вы читали его «Московский сборник»?* — Обер-прокурор святейшего синода (с 1880 по 1905 г.) К. П. Победоносцев (1827—1908) издал в 1896 г. «Московский сборник», направленный против идей освободительного движения. Победоносцев включил в сборник выдержки из западных философов, социологов и политиков (Спенсер, Карлейль, Эмерсон, Гладстон), содержащие высказывания антидемократического характера.

Стр. 256. *...я был вовлечен в «историю»...* — См. об этом также в наст. томе очерк «О Михайловском» и примеч. к нему.

Стр. 257. *Вильде* — от нем. der Wilde, дикий, первобытный.

Стр. 258. *...с такой неутомимой жаждою «правды-справедливости»...* — Понятие «правды-справедливости» было выдвинуто русским социологом и публицистом, теоретиком народничества Н. К. Михайловским (1842—1904). «В числе потребностей

человека,— писал Михайловский в работе „Борьба за индивидуальность",— есть потребности знания и умиротворения совести. Одна удовлетворяется истиной, другая — справедливостью, а различные формы этого удовлетворения образуют те бесконечные перспективы прошедшего и будущего, которые называются историей человечества» (Н. К. Михайловский. Сочинения, т. 5. СПб., 1888, стр. 244). Степень удовлетворения потребности в «правде-справедливости» Михайловский считал основным критерием прогресса.

Стр. 258. *После смерти Л. Н. Толстого он писал мне...*— Письмо не найдено.

Стр. 259. В *908 году он писал...*— Письмо не найдено.

Стр. 259. *...закончил свой рассказ «На затмении» стихами Н. Берга...*— Рассказ «На затмении» впервые был напечатан в газете «Русские ведомости», 1887, № 224, 16 августа. В газетном тексте стихов Берга не было, Короленко включил их, дорабатывая произведение в 1892 г. для второго тома «Очерков и рассказов». «Сам я, как и говорю в рассказе, действительно не помню, откуда залетело в мою память это двустишие»,— писал он 18 ноября 1904 г. Ф. Д. Батюшкову (В. Г. Короленко. Письма. Пг., изд. «Время», 1922, стр. 272).

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

(Стр. 260)

Впервые — не полностью — напечатано в газете «Жизнь искусства», 1919, №№ 241—242, 273—275, сентябрь — октябрь, под редакционным заголовком «М. Горький о Л. Толстом (По неизданным воспоминаниям)», и отдельной книжкой: М. Горький. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. Петербург, изд-во З. И. Гржебина, 1919. Под тем же заглавием с дополнениями в заметках III, VI, XXI, XXXI и в «Письме»—в изд-ве И. П. Ладыжникова, Берлин, 1921, и в изд-ве З. И. Гржебина, Берлин-Петербург-Москва, 1922 (*Гржз*). Новые заметки: XXXVII — XLIV (без нумерации) — в журнале «Беседа», 1923, № 1, май — июнь, стр. 177—182. Полный текст в книге: М. Горький. Воспоминания. Н. Е. Каронин-Петропавловский, А. П. Чехов, Лев Толстой, М. М. Коцюбинский, Леонид Андреев. Berlin, Verlag «Kniga», 1923, а также в *К*, т. 16.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Авторизованная машинопись на 4-х листах с правкой и подписью. Заглавие: «О Льве Толстом» (заметки XXXVII — XLIV).

2. Печатный текст *Гржз* со вставкой заметок из «Беседы» (стр. 177—182), правленный автором и послуживший оригиналом набора для издания: М. Горький. Воспоминания. Berlin, Verlag «Kniga», 1923 — *Пр Гржз*. Заглавие «Лев Толстой» написано рукою неустановленного лица (ХПГ-36-1-1).

3. Текст из т. XVI, ГИЗ, 1927, стр. 285—332, с авторской

правкой и рукописным «Примечанием» (фотокопия, ХПГ-36-1-2)— *ГИЗ*.

Печатается по тексту *ГИЗ* (*ЛБГ*) с исправлениями:

Стр. 304, строка 36: «он бы и так ударил» вместо «он бы и так удрал» (по *Пр Грж*$_2$).

Стр. 306, строка 22: «выдумываете» вместо «вы думаете» (по смыслу).

Летом 1919 г. одна из петроградских газет сообщила, что очередная общедоступная лекция, проводимая «Студией Всемирной литературы», состоится 19 июля «в аудитории Музея города (Проспект 25 декабря, б. Аничков дворец). М. Горький прочтет нигде не напечатанные „Воспоминания о Льве Толстом“» («Жизнь искусства», 1919, № 191, 17 июля). Присутствовавший на лекции А. Блок записал: «В 6 часов вечера Горький читает в Музее города воспоминания о Толстом.— Это было мудро, и всё вместе, с невольной паузой (от слез),— прекрасное, доброе,— увлажняет ожесточенную душу» (А. Блок. Записные книжки. М., 1965, стр. 467). Подробно о чтении Горьким его воспоминаний рассказывалось в корреспонденции «М. Горький о Л. Толстом», подписанной В. Р. «Аудитория Музея города не могла вместить всех желающих слушать Максима Горького 〈...〉 Преобладали сосредоточенно-суровые лица рабочих, встретивших писателя бурею долго не смолкавших аплодисментов и приветственных восклицаний. Горький развернул рукопись 〈...〉 „Человеком человечества“ встал Толстой, мятущийся и спокойный, суровый и нежный, старчески слабый и величественный. Горький пересказывает простые разговоры за чайным столом, рисует будничные жесты широких заскорузлых рук, в двух-трех четких замечаниях дает почувствовать и фигуру и тембр голоса. Он намеренно останавливается только на внешнем, но его репинские мазки лепят Толстого с незабываемой яркостью...» («Жизнь искусства», 1919, № 196, 23 июля).

Творческая история произведения «Лев Толстой», растянувшаяся более чем на четверть века, отличается большой сложностью. Работа была начата Горьким еще зимой 1901—1902 г., когда он жил в Олеизе, в полутора верстах от Гаспры, где с сентября 1901 г. в имении графини С. Паниной поселился Толстой. Крымские встречи обоих писателей, давшие основной материал для произведения, начались со второй половины ноября 1901 г. Горький приехал в Крым 12 (25) ноября и 14 (27) поспешил навестить Толстого. С этого дня он стал частым гостем Толстого. Толстой, в свою очередь, дважды посетил Горького: 23 и 31 декабря (ст. ст.) он приходил в Олеиз на дачу «Нюра» (*ЛЖТ*$_1$, стр. 359, 360). Их тесное общение продолжалось до конца января 1902 г., когда Толстой заболел воспалением легких. Очевидно, основная масса заметок Горького создавалась зимой 1901—1902 г. и весной 1902 г.

Однако импульс к созданию будущего портрета Толстого мог возникнуть у Горького еще после первого визита к Толстому

13 (26) января 1900 г. в Москве, в Хамовниках. К воспоминаниям об этом знаменательном дне первой встречи с Толстым Горький не раз возвращается в настоящем произведении. Тогда же оба писателя обменялись письмами. Горький писал Толстому: «За всё, что Вы сказали мне,— спасибо Вам, сердечное спасибо, Лев Николаевич! Рад я, что видел Вас, и очень горжусь этим» (*Г-30*, т. 28, стр. 116). 9 (22) февраля Толстой отвечал Горькому: «Я очень, очень рад был узнать Вас и рад, что полюбил Вас» (*Толстой*, т. 72, стр. 303). 21 или 22 января (ст. ст.) 1900 г. Горький поделился своими впечатлениями с А. П. Чеховым (см.: *Г-30*, т. 28, стр. 117—118). Уже в этом письме намечены отдельные черты литературного портрета Толстого: найден образ человека-«оркестра», схвачена тональность будущего произведения, в котором восторженное любование могуществом и красотою человеческой личности не заглушает принципиального несогласия с Толстым-философом и моралистом. Критическое отношение Горького к Толстому в огромной степени было обострено событиями первой русской революции, воспринятой обоими писателями совершенно по-разному. В открытом письме Толстому (см.: *Г-30*, т. 28, стр. 357—361), в «Заметках о мещанстве» (там же, т. 23, стр. 352—354) Горький подверг бескомпромиссной критике реакционные стороны мировоззрения Толстого.

«Уход» и смерть Толстого дали мощный толчок размышлениям Горького о личности, творчестве, философии и этике великого современника. В течение первой половины ноября Горький написал и отправил несколько писем А. В. Амфитеатрову, М. М. Коцюбинскому, Е. П. Пешковой, в которых с точностью дневниковых записей отражены его переживания и мысли этих дней (см. *Г-30*, т. 29, стр. 134—135, 137, 139—141; *Архив* $Г_{IX}$, стр. 105—107). Тогда же Горький написал и В. Г. Короленко (письмо ему, неоконченное и неотправленное, как свидетельствует Горький в своем предисловии, вошло как составная часть в произведение). В одном из ноябрьских писем к Е. П. Пешковой Горький объяснял, почему всё, что ему хотелось высказать о Толстом «не для печати, конечно, а так, вообще», «чтобы горе излить», он поведал Короленко: «Плакал и писал В〈ладимиру〉 Г〈алактионовичу〉 — единственному человеку и литератору, который способен понять — что случилось» (*Архив* $Г_{IX}$, стр. 105).

Горький и в последующие годы остро интересовался Толстым. Но к работе над произведением о нем приступил лишь после Октября.

Первоначальный этап работы был не совсем обычен. Он заключался в пересказывании Горьким своих воспоминаний о Толстом разным лицам,— при этом Горький, видимо, не только отбирал материал и искал форму, но и восстанавливал в памяти свои впечатления, ибо «заметки», сделанные им в Олеизе, нашлись несколько позже (см.: В. Шкловский. Удачи и поражения Максима Горького. Заккнига, 1926, стр. 15; его же: Художественная проза. М., 1959, стр. 531; М. Д. Беляев. Воспоминания.— Архив А. М. Горького).

М. Л. Слонимский вспоминал, что в 1919 г. Горький «нашел свои старые заметки о Толстом. Он хотел обработать их, но однажды принес их в издательство, бросил на стол и сказал:

— Ничего с ними не могу поделать. Пусть уж так и останутся» («Литературный современник», 1941, № 6, стр. 107).

Рассказ Слонимского дал повод думать, будто рукописи «Воспоминаний о Льве Николаевиче Толстом» как целостного произведения вообще не существовало. Между тем Шкловский еще при жизни Горького утверждал, что видел рукопись «Воспоминаний...»: «... в 1919 году Горький написал одну из лучших своих книг — „Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом“. Эта книга составлена из кусочков и отрывков, сделана крепко. Мне приходилось видеть рукопись, и я знаю, сколько раз переставлялись эти кусочки, чтобы стать вот так крепко» (В. Шкловский. Удачи и поражения Максима Горького, стр. 40—41). В письме к А. И. Овчаренко от 20 октября 1972 г. В. Шкловский вновь подтвердил: «Характеристика „Льва Толстого“, как вещи, которая составлена из разных клочков бумаги, потерянных и найденных, документально верна ⟨...⟩ Алексей Максимович вел своеобразный монтаж художественных воспоминаний. 1919 год — это год оформления книги».

В конце весны — начале лета 1920 г. Горький сдал в издательство Гржебина текст «Воспоминаний...» с дополнениями к четырем заметкам и заключительному разделу произведения. Все пять дополнений были даны Горьким не как самостоятельные заметки, а как вставки.

Второе, дополненное издание не исчерпало для Горького тему Толстого. В 1923 г. он напечатал в первом номере журнала «Беседа» восемь заметок под общим заглавием «О Льве Толстом» (в окончательной редакции — заметки XXXVII — XLIV).

Летом 1923 г. Горький занялся подготовкой к печати отдельной книги своих воспоминаний. В связи с этим не позднее июля 1923 г. он писал П. П. Крючкову: «Посылаю Вам просмотренную мной книжку о Толстом с добавлением к ней и добавления к Чехову, Андрееву, Каропину. Добавления эти отдайте напечатать на машинке и пришлите мне, я их вставлю, куда нужно, возвращу Вам. Очень просил бы Вас не включать ничего больше в эту книжку, пусть останется маленькой!» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-29). Кроме названных здесь произведений, подготавливаемый наборный экземпляр содержал очерк о Коцюбинском. «Книжка о Толстом», высланная Крючкову — второе, дополненное издание *Гржс*, «добавление к ней» — шесть страниц (177—182) из первого номера журнала «Беседа» с заметками о Толстом.

24 августа 1923 г. Горький уже держал корректуру книги, в которой предисловие к воспоминаниям о Толстом оказалось вынесенным в конец их. Это вызвало письмо Горького к Крючкову:

«Суббота 24 августа 23 г. Примечание к воспоминаниям о Толстом имеет характер обязательного предисловия и обязательно должно быть поставлено впереди воспоминаний, а не в конце их, как это сделано. Пожалуйста, попросите переста-

вить, это важно...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-30).

На этом творческая история произведения Горького о Толстом не закончилась. 30 марта 1927 г. заведующий Госиздатом А. Б. Халатов обратился к писателю с просьбой: «Приходится иметь в виду, что в массах еще есть не мало колеблющихся и что толстовцы и другие сектанты ведут у нас широкую пропаганду антиреволюционных идей, прикрываясь толстовским авторитетом. Поэтому необходимо, чтобы Ваши высказывания о нем не были поняты, как поддержка взглядов Толстого и его учения» (Архив А. М. Горького, КГ-п-83а-1-88). Горький ответил с достаточной категоричностью: «С Толстым — мне делать нечего, да и нет у меня под рукой этой статьи» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-48-15-54).

Однако, перечитав текст произведения о Толстом (т. XVI, *ГИЗ*), Горький внес несколько исправлений. В частности, к заметке VI — к тому месту ее, где говорится о вере в бога,— сделал сноску: «Во избежание кривотолков должен сказать, что религиозное творчество я рассматриваю как художественное: жизнь Будды, Христа, Магомета как фантастические романы».

После 1927 г. к воспоминаниям о Толстом Горький не возвращался.

Произведение Горького о Толстом общественность встретила с исключительным интересом. Одним из первых высокую оценку дал В. И. Ленин, прочитавший воспоминания Горького о Толстом в первом издании 1919 г. В очерке «В. И. Ленин» сам писатель так рассказывал об этом:

«Как-то пришел к нему и — вижу: на столе лежит том „Войны и мира".

— Да, Толстой! Захотелось прочитать сцену охоты, да вот вспомнил, что надо написать товарищу. А читать — совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник... И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

— Некого.

И, потирая руки, засмеялся, довольный» (*Г-30*, т. 17, стр. 38—39).

Б. М. Малкин, в то время работник Центропечати, вспоминал: «Когда вышли воспоминания Горького о Толстом, мы тут же послали Владимиру Ильичу эту книжку» [1], и далее сообщил,

[1] В библиотеке В. И. Ленина в Кремле есть эта книжка Горького с пометой, набранной типографски: «Экземпляр В. И. Ульянова (Ленина)».

что Владимир Ильич ночью «залпом» прочел книгу Горького о Толстом.

«— Вы знаете,— говорил он нам, делясь своими впечатлениями,— Толстой у Горького как живой получился. Пожалуй, так честно и смело о Толстом никто и не писал» («В. И. Ленин и А. М. Горький». М., 1969, стр. 426).

К. Федин, вспоминая 1919 год, свою жизнь в голодном, холодном, окруженном армиями белогвардейцев Петрограде, писал: «В то время появилась маленькая книжечка, почти брошюра,— „Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом“ М. Горького. Я начал читать ее, но это было не чтение: я пил ее маленькими глотками строку за строкой, и это было подобно действию жгучего напитка, потому что с каждым глотком я больше и больше утрачивал трезвость и всё сильнее бредил присутствием в комнате двух человек: одного — лично мне знакомого, другого — до сих пор едва известного понаслышке. Двое из этих людей, не замечая меня, вели разговор, необыкновенно разорванный, пестрый, моментами почти страшный, возмущавший душу то восторгом, то смятением, иногда заразительно веселый 〈...〉 Благодаря маленькой книжечке в бедной обложке я испытал самый ослепительный и самый волнующий бред, телеснее, нежели когда-нибудь, ощутил волшебство искусства, и если бы меня в ту минуту спросили, видел ли я в жизни Льва Толстого, я ответил бы без колебаний: „Да, видел. Он был у меня на Песках вместе с молодым Горьким...“» (Конст. Федин. Собрание сочинений в девяти томах, т. IX. М., 1962, стр. 163—164).

Первая рецензия на «Воспоминания» принадлежит Б. Эйхенбауму, заявившему, что Горьким создан «новый и совершенно цельный образ Толстого» («Жизнь искусства», 1919, № 299, 22 ноября).

В статье «Толстой и Горький» В. Боцяновский писал: «Главное в том, что здесь, если хотите, вроде борьбы двух людей, разгадывающих и старающихся понять друг друга. Зорко, мучительно, напрягая всё свое внимание, они вглядываются друг в друга и расходятся, ничего не уяснив и подчас раздраженные». Непонимание это автор статьи объяснял тем, что, хотя оба писателя и шли по «одному и тому же дну русской жизни», один «спускался туда откуда-то сверху», тогда как другой «поднимался» с этого дна, вросши в него «корнями»,— «оба они очутились на той грани, у которой для одного кончилось старое, а для другого начиналось новое» («Вестник литературы», 1919, № 11, стр. 5—6).

Оценивая воспоминания Горького о Толстом, рецензент, выступивший под инициалами «О. Э.», тоже обратил внимание на своеобразный драматизм этого произведения: «Читая книгу Горького, мы чувствуем всё время, что присутствуем при поединке двух несхожих натур, которые в самом мирном разговоре не забывают о своей противоположности» («Вестник театра», 1920, № 50, 24 января — 4 февраля, стр. 15).

Рецензент, подписавшийся инициалами Ш. А., разделял мне-

ние, что тема «драматических сценок», как он именовал «Воспоминания...», «в такой же мере Горький о Толстом, как и наоборот — Толстой о Горьком, еще правильнее: Толстой и Горький». Заявив далее, что «интерес» «Воспоминаний...» «вовсе не в их „достоверности“», рецензент отмечал, что «драматическая напряженность всего диалога» заключается в «любви Горького к „языческому“ Толстому и в его открытой вражде к Толстому — „толстовцу“» («Знамя», 1920, № 3—4, май — июнь, стр. 55). П. Кузько-Музин, выступивший на страницах журнала, издававшегося литературным отделом Наркомпроса, назвал новое произведение Горького «открыто правдивой книгой о Толстом», каких еще не было. «Но в этой книге не только правдивость,— продолжал он,— в ней есть и еще нечто, очень значительное, что можно было бы назвать „последней правдой о Толстом“ ⟨...⟩ Всей глубиной своего сердца Горький любит Толстого, одновременно почти ненавидя его за его „непоколебимое равнодушие к людям“, какое всегда выглядывало у Толстого из-за всех его мудрствований о любви и христианстве» («Художественное слово», 1920, № 1, стр. 56).

В. Тишин, считая «личные суждения Горького о Толстом» «мало интересными», вместе с тем признавал, что «непосредственные, живые наблюдения автора очень ценны своей меткостью, и рассказ его беспощадно правдив. Именно беспощадно: не жалея себя, Горький откровенно передает, что говорил Толстой о нем самом» («Книга и революция», 1920, № 2, август, стр. 56).

Как и следовало ожидать, книга Горького о Толстом вызвала недовольство в лагере «толстовцев». На страницах органа русских толстовцев — журнала «Истинная свобода», выходившего под редакцией В. Булгакова и А. Сергеенко, с рецензией, подписанной инициалами «Вал. Б.», выступил, видимо, Булгаков (в 1910 г.— секретарь Л. Н. Толстого). Он писал о произведении Горького: «Это — очень своеобразное явление, характерное для Горького как для писателя. Отрывочные заметки, из которых состоит книжка, иногда очень ярко и по-новому освещают ту или иную сторону личности Льва Николаевича, автор всё время говорит о своей любви к „старому этому колдуну“ Льву Толстому,— но, тем не менее, горьковское восприятие Толстого односторонне. М. Горький очень живо чувствует всё богатство, всё разнообразие, всю глубину и всю красоту личности Л. Толстого как великого художника, но он совершенно отказывается следить за ним, как за религиозным мыслителем ⟨...⟩ Разговоры о Христе, о религии, о самоусовершенствовании Горький несколько свысока называет „обязательными темами“ Толстого, и в его заметках мы не найдем даже объективных записей подобных разговоров Л.Н-ча».

С осуждением рецензент говорит о «неприятном; жестоком и желчном тоне», в который «нередко впадает» Горький. «Особенно достается от него „толстовцам“, которых он определенно не выносит»,— пишет Вал. Б., отгораживаясь от осмеянных Горьким представителей этой группы, и заключает свою рецен-

зию патетической репликой: «Ах, Алексей Максимович, неужели это характерно для всех „толстовцев“!» («Истинная свобода», 1920, № 1, апрель, стр. 30).

Второе, дополненное, издание книги о Толстом вызвало новые отклики критиков. «Умная, тонко-психологическая книжка эта, бесспорно, одно из лучших произведений Горького» («Книга и революция», 1922, № 9—10, стр. 59). Ю. Соболев писал: «Надо надеяться, что 〈...〉 второе издание горьковских „Воспоминаний“ встретит теперь заслуженное к себе внимание и заставит признать то глубокое и меткое, и, вместе с тем, неожиданное и почти дерзкое, что дает Горький,— несомненно правдивейшим и человечнейшим портретом Толстого» («Красная новь», 1923, № 5, август — сентябрь, стр. 395). «Любовь и восхищение к Толстому-художнику, поистине Горьким обоготворенному, сочетается в этой книге с нескрываемой ненавистью и жестокостью к Толстому-проповеднику и учителю. Учителю тех, например, „толстовцев“, по адресу которых говорит Алексей Максимович столько злых и метких слов!» (там же, стр. 398). Вместе с тем рецензент справедливо упрекает Горького за неверные обобщения относительно «славянской души», которой приписывается прирожденная «антигосударственность» (там же, стр. 397).

Три крупнейших европейских писателя, сами создавшие о Толстом книги,— Томас Манн, Ромен Роллан и Стефан Цвейг,— восхищались мастерством Горького, называя его книгу о Толстом лучшим его произведением. «Я очень восхищаюсь переведенными на французский язык статьями Вашими о Толстом, Чехове, Андрееве 〈...〉 я считаю это одними из лучших страниц, написанных Вами, Ваш портрет Толстого — в особенности гениален»,— писал Горькому Р. Роллан 25 ноября 1922 г. (Архив А. М. Горького, КГ-ин-ф-5-1-11). А в письме от 3 августа 1923 г. Р. Роллан сообщал: «Вчера мы как раз говорили о Вас с Цвейгом; оба сошлись на том, что никогда не читали в русской литературе ничего прекраснее Вашего „Детства“ и очерков о Толстом, Чехове и др. Вы еще никогда так не владели своим искусством» (*Архив Г*$_{VIII}$, стр. 336). С. Цвейг писал Горькому 10 марта 1927 г.: «Во всей современной литературе я не знаю ничего равного, например, Вашим портретам Ленина и Толстого. Это единственные достоверные портреты, единственные, которые останутся» (там же, стр. 25). Томас Манн в своей книге «Гёте и Толстой», над которой он работал в 1922 г., заметил: «После смерти Толстого Максим Горький опубликовал небольшую книгу воспоминаний о нем, лучшую свою книгу, насколько я смею судить» (Томас Манн. Собрание сочинений в 10 томах, т. IX. М., 1960, стр. 492).

Обстоятельному литературно-критическому разбору подверг воспоминания Горького о Толстом А. В. Луначарский в пятой главе работы «В зеркале Горького» («На литературном посту», 1931, № 20—21). В особую заслугу Луначарский ставил Горькому то, что его образная характеристика Толстого оказалась созвучной социологическому анализу толстовского творчества,

сделанному Лениным. «Горький в своем превосходном анализе Толстого, даваемом в виде живых воспоминаний и полных чувства отзывов, точно дает своеобразное социологическое истолкование Льва Толстого. Оно близко к указаниям Ленина» (там же, стр. 21—22).

Стр. 260. *...Лев Николаевич жил в Гаспре...*— Гаспра — имение гр. С. В. Паниной на южном берегу Крыма, близ Ялты.

Стр. 261. *Сулержицкий* — См. наст. том, стр. 471, 618—620.

Стр. 262. *...тощенькую брошюрку князя Кропоткина...*— П. А. Кропоткин. Анархия, ее философия, ее идеалы. Женева, 1898.

Стр. 263. *Гольденвейзер* А. Б. (1875—1961) — композитор и пианист.

Стр. 263. *«Интеллигент — это галицкий князь Владимирко ∽ как верил в XII веке».*— Владимир Володаревич (Владимирко) умер в 1152 г. Толстой имеет в виду «чудесную» смерть князя, постигшую его за нарушение клятвы (см.: Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. I. СПб., 1851, стр. 278; С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, т. 1—2. М., 1959, стр. 485).

Стр. 263. *...сказки Андерсена ∽ в переводах Марко Вовчка...*— Впервые вышли в издании Плотникова в 1872 г. и включались в последующие издания Андерсена в России.

Стр. 264. *...кажется, он ∽ много путешествовал...*— О жизни Андерсена и его странствиях (он ездил в Германию, Францию, Англию, Италию, Грецию и Турцию) см.: И. Муравьева. Андерсен. М., «Молодая гвардия», 1961.

Стр. 264. *...великий князь Николай Михайлович* — Н. М. Романов (1859—1918), двоюродный дядя Николая II, автор и издатель нескольких исторических сочинений. Будучи в гостях у своего брата, владельца имения Ай-Тодор, не без ведома царя трижды посещал Толстого (см.: «Красный архив», 1927, № 2, стр. 253; *Толстой*, т. 76, стр. 32).

Стр. 266. *«Фридрих Прусский очень хорошо сказал: „Каждый должен спасаться à sa façon“».* — Возможно, Толстой имеет в виду известную резолюцию Фридриха II, короля Прусского (1712—1786), на докладе духовного департамента о католических школах: «Все веры должны быть терпимы, ибо в нашем отечестве всякий имеет право спасать свою душу таким путем, какого сам пожелает» (см.: «Русский вестник», 1863, № 46, июль — август, стр. 441).

Стр. 267. *...не знаю сам...*— Из стихотворения А. А. Фета «Я пришел к тебе с приветом...» (1843).

Стр. 268. *...вариант сказки о Христовом крестнике.*— О каком варианте легенды идет речь, не выяснено. Толстой использовал легенду о Христовом крестнике в сказке, написанной им для народа («Крестник», 1866), заимствовав сюжет из книги: А. Н. Афанасьев. Народные русские легенды. М., 1859.

Стр. 268. *Читал ему свой рассказ «Бык»...* — Речь идет о ранней (не сохранившейся) редакции рассказа «Бык» (см. этот рассказ в т. XX наст. изд.).

Стр. 269. *«Бог есть мое желание».* — В тетради дневника, начатой 28 октября 1895 г. и законченной 17 декабря 1897 г., Л. Н. Толстой развивает мысли, связанные с его работой над трактатом «Изложение моей веры». 16 мая 1896 г. он записал: «Жизнь есть желание блага 〈...〉 что не желает блага, то не живет...» (*Толстой*, т. 53, стр. 87). «Сознание же желания блага есть желание блага всему существующему. Желание же блага всему существующему есть бог» (там же, стр. 89). На следующий день он вновь возвращается к той же мысли: «Нынче ночью и утром думал о том же. Новое, уяснившееся мне: то, что желание блага не есть бог, а только одно из проявлений его, одна из сторон, с к〈оторой〉 мы видим бога. Бог во мне проявляется желанием блага» (там же, стр. 69).

Стр. 269. *...в Юсуповском парке.* — Рядом с Гаспрой, где жил Толстой, находилось имение князей Юсуповых.

Стр. 272. *«В наглом приставании и афишевании знакомства» ∽ «Осел — добрый и полезный человек».* — См.: Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 10 томах, т. 6. М., 1957, стр. 66 и 397.

Стр. 273. *...вариант сцены падения «Отца Сергия»...* — Варианта сцены падения в рукописях Толстого нет. Сохранился набросок, относящийся к 1891 г., в котором, после сцены падения, отец Сергий убивает дочь купца топором (см.: *Толстой*, т. 31, стр. 209—210, а также *Г-30*, т. 28, стр. 137—138).

Стр. 274. *...штундисты из Феодосии...* — Штундисты — принятое в православии название ряда христианских сект, возникших во второй половине XIX века среди украинских и русских крестьян под влиянием протестантов, переселенцев с Запада. Штундисты не признавали православной церкви и единственный авторитет видели в Библии.

Стр. 275. *Достоевский написал об одном из своих сумасшедших персонажей...* — Возможно, что Толстой имеет в виду главного героя «Записок из подполья» (1864).

Стр. 275. *«...господня земля и исполнения ее».* — Последний возглас священника во время чиноотпевания и предания тела земле (Псалтырь, псалом 23, стих 1). «Исполнение» — всё, наполняющее вселенную.

Стр. 276. *Живя в Казани, я поступил дворником ∽ к генеральше Корнэ.* — Горький работал у генеральши Корнэ в мае — июне 1885 г. Возможно, что «генеральша Корнэ» — вдова генерал-майора М. К. фон Зигерн-Корн, в свое время возглавлявшего Окружное инженерное управление (см. «Казанский календарь на 1885 г.» Казань, 1884, стр. 157).

Стр. 277. *Интендант-генерал* — лицо неустановленное.

Стр. 278. *Вы согласны с Познышевым ∽ сотни тысяч людей?* — См. «Крейцерову сонату», гл. XV.

Стр. 278. *...в одном из его рассказов ∽ организмы и так*

далее?»— В «Поликушке» (1861—1862) (см.: *Толстой*, т. 7, стр. 10).

Стр. 278. *Диккенс очень умно сказал...*— Толстой имеет в виду слова изобретателя Дойса из романа Ч. Диккенса «Крошка Доррит»: «Человек должен бороться за свою жизнь и защищать ее, пока хватит сил. Так же и изобретатель должен бороться за свое изобретение» (см.: Чарльз Диккенс. Собрание сочинений в 30 томах, т. 20. М., 1960, стр. 248).

Стр. 278. *...книжку Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером»...*— Книга бывшего члена Исполнительного комитета партии «Народная воля» Л. А. Тихомирова (1850—1923), помилованного Александром III и превратившегося в крайнего реакционера и воинствующего монархиста, вышла в Женеве в 1888 г., второе издание — в Москве в 1895 г.

Стр. 279. *...у Андерсена сказано: «Позолота-то сотрется, свиная кожа останется»...*— См. сказку Андерсена «Старый дом» (1848).

Стр. 282. *...доктор Никитин* — Д. В. Никитин (1874—1960), домашний врач Толстых в 1902—1904 годах.

Стр. 282. *Плеве* — В. К. Плеве (1846—1904), реакционный государственный деятель, с 1902 г.— министр внутренних дел и шеф жандармов. Убит 15(28) июля 1904 г. эсером Егором Сазоновым.

Стр. 284. *Андреев ваш...*— Писатель Л. Н. Андреев.

Стр. 285. *Тертуллиан сказал: «Мысль есть зло».*— Вероятно, Толстой имел в виду поучения раннехристианского писателя Квинта Септимия Флоренса Тертуллиана (ок. 160 — ок. 220). В послании девятом «О покаянии» сказано: «Корень зла находится в духе, который первый за зло и наказан будет: он не оправдается тем, что какое-нибудь внешнее препятствие помешало содеянию зла» («Творения Тертуллиана». СПб., 1847, стр. 84; см. там же, стр. 162).

Стр. 286. *...о музыке всех лучше и глубже писал Шопенгауэр...*— Шопенгауэровская теория музыки изложена в труде «Мир как воля и представление», т. I, кн. III, § 52, и в добавлении к нему, т. II, гл. XXIX — «К метафизике музыки», см.: Артур Шопенгауэр. Полное собрание сочинений, в переводе и под редакцией Ю. Айхенвальда, т. 1—2. М., 1900—1901. Толстому, который отрицательно относился к театрализованным музыкальным зрелищам, могла понравиться мысль Шопенгауэра о том, что музыка «является самостоятельным искусством, даже более могучим, чем все остальные, и оттого достигает своих целей собственными средствами», «не нуждается в словах песни или в драматизме оперы» (т. II, стр. 461).

Стр. 288. *...высказывал Евгению Соловьеву...*— Е. А. Соловьев (литературные псевдонимы — Андреевич, Скриба; 1866—1905) — литературный критик, журналист. Интервью его о встрече с Толстым напечатано в газете «Одесские новости», 1903, №№ 6026, 6030, 6035.

Стр. 289. *...письмо «Интеллигенция, государство, народ»...*— Под этим названием в памяти Горького объединились

две статьи Толстого: «Об общественном движении в России» (1905) и «Обращение к русским людям. К правительству, революционерам, народу» (1906).

Стр. 289. *Я написал ему тогда ответ...*— См.: *Г-30*, т. 28, стр. 357—361.

Стр. 291. *...«арзамасский ужас»...*—2—3 сентября 1869 г. Толстой был проездом в Арзамасе и, почуя в гостинице, испытал беспричинные «тоску, страх, ужас», о чем писал С. А. Толстой 4 сентября 1896 г. («Письма графа Л. Н. Толстого к его жене. 1862—1910». М., 1913, стр. 167). Об «арзамасском ужасе» см. рассказ Толстого «Записки сумасшедшего». В 1931 г., отвечая на статью В. Величкина «Право на смерть», Горький писал, что в среде крупных капиталистов Европы и США возникло новое явление— «смертельная скука жизни. Ее не надо смешивать с „арзамасским ужасом", испытанным Львом Толстым, „ужасом одиночества человека в космосе" — „ужасом сознания человеком неизбежности его гибели как личности" — тем ужасом, который загнал великого художника в темный угол религиозных исканий» (*Архив Г*$_{XII}$, стр. 141).

Стр. 291. *...прочитав книжку Льва Шестова «Добро и зло в учении Ницше и графа Толстого»...*— Лев Шестов (Л. И. Шварцман; 1866—1938) — декадентский философ; проповедовал анархическое своеволие в области мысли и морали, заявляя: «только та философия может проложить себе путь, которая дерзнет быть своевольной» («Русская мысль», 1916, кн. 11, стр. 39); «человек волен так же часто менять свое „мировоззрение", как ботинки или перчатки» («Апофеоз беспочвенности». СПб., 1905, стр. 29). Книга Л. Шестова, о которой Толстой беседовал с Чеховым и Горьким, называется «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь)». СПб., 1900. Софистика Шестова направлена в конечном счете к тому, чтобы стереть грани между понятиями «добро» и «зло», «истина» и «ложь», утвердить ницшеанский аморализм.

Стр. 292. *...за Гёте каждое слово записывалось...*— Литературный секретарь Гёте И. П. Эккерман, работавший с поэтом в 1823—1832 гг., записывал его высказывания и в 1836 г. выпустил свою знаменитую книгу «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни» (два тома; в 1848 г. был выпущен третий том).

Стр. 293. *Халиф Абдурахман имел в жизни четырнадцать счастливых дней...*— Вероятно, речь идет об эмире Афганистана Абдурахмане-хане (1844—1901), чья «Автобиография» была издана в Петербурге в 1901 г. В первой части книги, повествуя о междоусобных войнах и заговорах, раздиравших его страну, в которых он участвовал, пока не пришел к власти, Абдурахман пишет: «Люди, наверное, думают, что с тех пор, как я вступил на престол в Кабуле, для меня настала пора счастия и наслаждений. Но это не так, наоборот, именно с этого времени прекратилась для меня свобода и вольность, и наступила пора затруднений, забот, тревог и возрастающего горя» (указ. изд., стр. 298). К «четырнадцати счастливым дням» Толстой, видимо, относит

упоминаемые Абдурахманом «две недели», которые он «обыкновенно проводил на охоте», живя изгнанником в Самарканде (см. указ. изд., стр. 201).

Стр. 293. *Тихон Задонский* («в мире» Тимофей Соколов; 1724—1783) — церковный писатель, епископ воронежский; уйдя «на покой», жил в Задонском монастыре.

Стр. 294. *Он дал нам евангелие...* — Имеются в виду запрещенные в России произведения Толстого: «Краткое изложение Евангелия», «Как читать Евангелие и в чем его сущность», «Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий», напечатанные в Англии издательством «Свободное слово».

Стр. 298. *...поэт Булгаков...* — Горький неправильно называет фамилию поэта. Имеется в виду В. Д. Ляпунов, крестьянин Тульской губернии. Осенью 1897 г. Ляпунов принес Толстому на отзыв свои стихи. 5 октября 1897 г. Л. Н. Толстой послал их в редакцию «Русской мысли», сопроводив письмом, в котором рекомендовал молодого крестьянского поэта. В январском номере «Русской мысли» за 1898 год было помещено это письмо вместе с большим стихотворением Ляпунова — «Пахарь». Ляпунов жил в Ясной Поляне два с половиной года, сначала помогая Толстому в переписке, затем был управляющим хозяйством.

Стр. 298. *Он излагает им учение Лао-тце...* — Толстой интересовался учением древнекитайского философа Лао-тце (правильней — Лао-цзы, VI в. до н. э.), автора сочинения «Тао те кинг», в котором утверждается существование некоей мировой силы (дао или тао), независимой от сознания человека, проповедуется пассивность и созерцательность. Толстой редактировал перевод этого сочинения, опубликованный в 1893—1894 гг. в журнале «Вопросы философии и психологии», а в 1894 г. выпущенный отдельной книгой. В понимании Толстого «сущность учения Лао-тзе есть та же, как и сущность учения христианского» («Изречения китайского мудреца Лао-тзе, избранные Л. Н. Толстым». М., 1910, стр. 10).

Стр. 299. *...у этих, у фурьеристов, учился думать, у Буташевича и других.* — В 1847 г. Достоевский примкнул к кружку М. В. Буташевича-Петрашевского; вместе с членами этого тайного кружка прогрессивно настроенной петербургской интеллигенции изучал идеи утопического социализма (в частности, Ш. Фурье), знакомился с философией Л. Фейербаха.

Стр. 300. *...вариант той сцены из «Отца Сергия», где рассказано, как женщина идет соблазнять отшельника...* — Законченного варианта сцены с Маковкиной в рукописях Толстого не найдено; имеются лишь отдельные наброски (см.: *Толстой*, т. 31, стр. 206—207 и 209).

Стр. 301. *Но черту Буслаева постиг в Толстом ∽ Олаф Гульбрансон...* — Имеется в виду рисунок Олафа Гульбрансона из серии «Галерея знаменитых современников» (дружеские шаржи) в немецком сатирическом журнале «Симплициссимус», выходившем в Мюнхене («Simplicissimus», 8 год издания, апрель 1903 — март 1904, № 25, стр. 194).

Стр. 301. *...«ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай».*— См. примеч. в т. X наст. изд., стр. 742.

Стр. 302. *Я был подавлен его тоном ∽ здоровой девушке не свойственна стыдливость.*— См. записи Толстого в «Дневнике» и «Записной книжке»— *Толстой*, т. 54, стр. 9—10, 212.

Стр. 304. *Второй раз я видел его в Ясной.*— Вторая встреча с Толстым произошла в Хамовниках 11 (24) февраля 1900 г.: Горький имеет в виду свою третью встречу с Толстым — 8 (21) октября 1900 г.

Стр. 304. *Грибы сошли, но крепко пахнет / В оврагах сыростью грибной...*— Из стихотворения И. А. Бунина «Не видно птиц. Покорно чахнет...» (1898).

Стр. 305. *...у него в «Азбуке» очень хорошо доказано...*— В книге «Азбука социальных наук» (СПб., 1871) Флеровский, прослеживая судьбы нецивилизованных народов Азии, Африки и Южной Америки, приходил к выводу о существовании двух противоположных типов народов — «хищников» и «диких мирного настроения» и опровергал мысль о том, что «натура хищника заключает в себе более залогов к цивилизации, что это тип силы, между тем как миролюбие — это признак слабости» (указ. изд., стр. 18).

Стр. 305. *Поль Астье* — персонаж романа А. Доде «Бессмертный» (1888) и пьесы «Борьба за существование» (1889).

Стр. 306. *Все эти ваши Кувалды — выдуманы.*— Кувалда — персонаж рассказа «Бывшие люди» (1897).

Стр. 306. *Амадис* — герой испанского рыцарского романа XIV в.; *Зигфрид* — герой древнегерманского эпоса «Песнь о Нибелунгах» (XII—XIII вв.).

Стр. 306. *«Братья Земганно»* — роман Эдмона Гонкура, написанный в 1879 г.

Стр. 307. *...выдумал итальянец Ломброзо ∽ кричит еврей Нордау.*— Имеются в виду книги: Ц. Ломброзо. Новейшие успехи науки о преступнике. СПб., 1892; М. Нордау. Вырождение. СПб., 1893.

Стр. 307. *Я рассказал ему историю трех поколений знакомой мне купеческой семьи...*— См. примечания к роману «Дело Артамоновых» (т. XVIII наст. изд.).

Стр. 308. *Богомилы* — христианская секта, возникшая в Болгарии в X веке; члены ее отвергали церковное учение, обрядность и т. п. По учению богомилов, материальный мир, в том числе природа,— порождение злого бога Сатанаила.

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

(Стр. 313)

Впервые напечатано — в отрывках — в газете «Жизнь искусства», 1919, № 293—294, 15—16 ноября. Полностью в сборнике: «Книга о Леониде Андрееве. Воспоминания». Петербург — Берлин, изд. З. И. Гржебина, 1922 (сборник вышел в январе).

С дополнениями — во втором издании сборника, вышедшем осенью 1922 г.

В Архиве А. М. Горького хранится экземпляр сборника (изд. 2) с авторской правкой и дополнениями (на машинке) для отдельного издания *К*: М. Горький. Воспоминания. Berlin, Verlag «Kniga», 1923 (ХПГ-36-7-1).

Печатается по тексту *К*.

Написано осенью 1919 г., после получения известия о кончине Андреева.

Впервые с воспоминаниями об Андрееве Горький выступил 26 октября 1919 г. на организованном по его инициативе издательством «Всемирная литература» вечере памяти Андреева в зале Тенишевского училища в Петрограде (см.: «Вестник литературы», 1919, № 11, стр. 2).

Для второго издания «Книги о Леониде Андрееве» Горький дополнил воспоминания тремя отрывками. При подготовке произведения для *К* он, читая корректуру, подверг весь текст основательной правке — произвел сокращения и включил новый эпизод (см. варианты).

Воспоминания Горького об Андрееве не вызвали сколько-нибудь существенного резонанса в русской критике. Публикацию отрывков в «Жизни искусства» редакция предварила вступительной заметкой, в которой утверждалось, что воспоминания эти «имеют характер легкого, внешнего очерка, в них идет речь скорее о плоти, а не о духе знаменитого писателя. Может быть, поэтому личность Андреева в изображении Горького кажется очень несложной и даже грубоватой» («Жизнь искусства», 1919, № 293—294, 15—16 ноября). Сходные мысли высказывал Б. Ирецкий на страницах «Летописи Дома литераторов» (1922, № 7, стр. 8).

Иную оценку произведению дал Р. Роллан. Он прочитал его в переводе на французский язык, напечатанном в журнале «Clarté», 1922, № 15, 15 июня. В письме к Горькому от 25 ноября 1922 г. он рекомендовал выпустить его мемуарные произведения отдельной книгой, а об очерке «Леонид Андреев» писал: «...я считаю это одними из лучших страниц, написанных Вами...» (Архив А. М. Горького, КГ-ин-ф-5-1-11).

Стр. 313. *...я прочитал в московской газете «Курьер» рассказ «Бергамот и Гараська»...*— «Курьер» (1897—1904) — газета демократического направления. Рассказ напечатан в «Курьере», 1898, № 94, 5 апреля (см.: *Лит Насл*, т. 72, стр. 566).

Стр. 313. *Я написал автору письмо по поводу рассказа и получил от Л. Андреева забавный ответ...*— Письмо Горького и ответ на него не найдены.

Стр. 314. *...еще несколько маленьких рассказов его и фельетонов Джемса Линча...*— Следующий (после «Баргамота и Гараськи») рассказ Андреева «Алеша-дурачок» опубликован в «Курьере», 1898, № 268 и 269, 29 и 30 сентября. Псевдонимом

Джемс Линч Андреев подписывал свои фельетоны под общим заглавием «Москва. Мелочи жизни». Первый фельетон из этого цикла помещен в «Курьере», 1900, № 126, 7 мая.

Стр. 314. *Осенью ∽ кто-то познакомил меня с Л. Андреевым.*— Первая встреча Горького и Андреева состоялась 12 (25) марта 1900 г. (см.: А. Измайлов. Литературный Олимп. М., 1911, стр. 249).

Стр. 314. *...я остановился в Москве...*— Горький приехал в Москву 1 (14) сентября и оставался там до 6 (19) сентября 1900 г. До конца года он еще дважды приезжал в Москву: 24—29 сентября (7—12 октября) и 9 (22) октября — 3 (16) ноября. Здесь Горький объединяет беседы, состоявшиеся во время его приездов в Москву во второй половине 1900 г.

Стр. 314. *С.*— По-видимому, Скиталец (псевдоним С. Г. Петрова; 1868—1941).

Стр. 316. *Есть наслаждение в бою...*— Неточная цитата из «Пира во время чумы» А. С. Пушкина. У Пушкина: «Есть упоенье в бою...»

Стр. 317. *...учитель Орловской гимназии...*— М. П. Булыгин. В орловской гимназии с 1887 г. преподавал математику и космографию. Андреев учился у него в последнем классе гимназии в 1890—1891 гг. (см.: Н. Н. Фатов. Молодые годы Леонида Андреева... М., 1924, стр. 55).

Стр. 318. *...задачник Евтушевского.*— В. А. Евтушевский (1836—1888) — педагог-математик и методист. Речь идет о его «Сборнике арифметических задач для приготовительного и систематического курса», ч. 1—2. СПб., 1871. До 1916 г. задачник выдержал 76 изданий.

Стр. 318. *...и вдруг с ужасом вижу, что Дон-Кихот — знакомый мне старичок, управляющий казенной палатой...*— Ср. рассказ Андреева «Памятник» (1899).

Стр. 318—319. *...книгу Алексея Остроумова ∽ потомка Геркулеса...*— Речь идет об издании: Остроумов. Синезий, епископ Птолемаидский. М., 1879. *Синезий* (ок. 370 — ок. 415) — философ-неоплатоник и поэт, автор религиозно-философских гимнов; вел свой род от Геракла (Геркулеса). В 409 г.,— по-видимому, еще до совершения над ним обряда крещения,— был избран епископом Птолемаиды (северная Африка). Его сочинение «Похвала плешивости» высменивало применявшуюся софистами систему доказательств.

Стр. 320. *...я рассказал ему содержание рукописной «Исповеди» священника Аполлова...*— А. И. Аполлов (1864—1893) — священник Ставропольского (Кавказского) края. Под влиянием учения Л. Н. Толстого отказался от сана. Его записка ставропольскому архиерею «Как жить нужно? Исповедь», посланная автором в 1892 г. Л. Н. Толстому, произвела на последнего сильное впечатление (см.: *Толстой*, т. 86, стр. 238 и т. 73, стр. 120).

Стр. 320. *«Среди людей он был одинок, ибо соприкасался великой тайне»...*— Ср. повесть Андреева «Жизнь Василия Фивейского», имеющую авторскую дату 19 ноября 1903 г. и впервые

опубликованную в «Сборнике товарищества „Знание“ за 1903 год», книга первая. СПб., 1904. В повести фраза дана в иной редакции: «Среди людей он был одинок, словно планета среди планет».

Стр. 320. *...писал мне, что работает над попом...*— Это письмо не найдено. К работе над «Жизнью Василия Фивейского» Андреев, вероятно, приступил в апреле 1902 г. (см. *Лит Насл*, т. 72, стр. 143).

Стр. 320. *Шумный успех первой книги...*— Речь идет о книге: Леонид Андреев. Рассказы. СПб., изд. «Знание», 1901 (вышла в свет 17/30 сентября 1901 г.).

Стр. 320. *Он приехал в Нижний...*— Андреев гостил у Горького в Нижнем Новгороде между 13 (26) и 17 (30) октября 1901 г. (см. *Г-30*, т. 28, стр. 186).

Стр. 321. *Ведь у Екклезиаста правильно сказано...*— «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву» (Библия, Книга Екклесиаста, гл. 9, стих 4).

Стр. 321. *...Иов мог читать книгу Екклезиаста?* — «Книга Екклесиаста», сложившаяся под влиянием греческой философии, появилась приблизительно в III веке до н. э., в эпоху эллинизма. «Книга Иова», судя по некоторым деталям изображенной в ней обстановки, по-видимому, более древнего происхождения (см.: А. П. Лопухин. Библейская история при свете новейших исследований и открытий, т. I. СПб., 1889, стр. 475—478).

Стр. 322. *«Зеленый остров»* — комическая опера Шарля Лекока, в трех действиях.

Стр. 322. *...в каком-то английском городе...*— В городе Килмарноке (Шотландия, графство Эйр).

Стр. 322. *... «яркой заплатой на ветхом рубище певца»...* — Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824).

Стр. 323. *Ты читал его записки ?* — Речь идет о книге: «История плена Наполеонова. На острове св. Елены. Сочинение графа Тристана Монтолона, бывшего генерал-адъютанта императора Наполеона и спутника его на острове св. Елены». Пер. Николая Полевого. СПб., 1846.

Стр. 323. *Я — женщина честная, мне не к чему ногти чистить — так?* — Эта фраза вошла в несколько иной редакции («Я — честная женщина, мне незачем ногти чистить!») в первую, неопубликованную пьесу Андреева «Брат и сестра» (ЦГАЛИ, ф. 11, оп. 4, ед. хр. 18—20).

Стр. 324. *Ненавижу субъектов, которые не ходят по солнечной стороне улицы...*— На эту тему Андреевым был написан фельетон («Курьер», 1901, № 360, 30 декабря); в собраниях сочинений печатался под заглавием «Люди теневой стороны».

Стр. 324. *...по поводу смерти Эмиля Золя...*— Фельетон из цикла «Москва. Мелочи жизни» («Курьер», 1902, № 269, 29 сентября); в собраниях сочинений перепечатывался под заглавием «О писателе».

Стр. 324. *Яхта Мопассана...*— В 1885 г. Мопассан купил яхту, которую назвал «Милый друг».

Стр. 325. *Не сотвори себе кумира...*— Одна из библейских заповедей (Исход, гл. 20, стих 4).

Стр. 326. ... *«суета сует»*....— Библия. Книга Екклесиаста, гл. 1, стих 2.

Стр. 328. ... *ненависть «плененного зверя»*.— Ср. стихотворение Ф. Сологуба «Мы — плененные звери» (1906) и рассказ Андреева «Проклятие зверя» (1908).

Стр. 332. *Есть книжка,— не помню, чья,— о гении и безумии...*— Вероятно, имеется в виду книга итальянского психиатра и криминалиста Чезаре Ломброзо (1835—1909) «Гениальность и помешательство. Параллель между великими людьми и помешанными», неоднократно издававшаяся в Петербурге Ф. Павленковым и товариществом «Общественная польза».

Стр. 333. *...его приглашают «декаденты» сотрудничать в «Весах»*.— «Весы» — журнал символистов. Выходил в Москве в 1904—1909 гг. Отношения Андреева с символистами были сложными (см.: *Лит Насл*, т. 72, стр. 292). В «Весах» Андреев не печатался.

Стр. 333. *...сказал о группе «Скорпиона»*...— «Скорпион» — московское книгоиздательство, объединявшее писателей-символистов. Просуществовало с 1900 по 1916 г.

Стр. 333. *...потом уехал в Москву*.— Андреев приезжал в Петербург из Москвы для встречи с Горьким в октябре — ноябре 1904 г. Вероятно, к этому времени и относятся рассказанные эпизоды.

Стр. 334. *Однажды он мне рассказал ∽ дьякон целовался с барышней*.— Эта тема использована Андреевым в рассказе «Буяниха» (1901).

Стр. 336. *...смотришь на революционера глазами Нечаева*...— С. Г. Нечаев (1847—1882), террорист и заговорщик, руководитель организации «Народная расправа».

Стр. 336. «*Мысль*» — рассказ, написан в августе 1902 г.; впервые напечатан в журнале «Мир божий», 1902, № 7.

Стр. 337. «*Стена*» — рассказ; впервые напечатан в «Курьере», 1901, № 244, 4 сентября.

Стр. 337. «*Призраки*» — рассказ, датирован 11 октября 1904 г.; опубликован в журнале «Правда», 1904, № 11.

Стр. 337. *Скверный шум, вызванный рассказом «Бездна»*... — Рассказ «Бездна» впервые был напечатан в газете «Курьер», 1902, № 10, 10 января. Вокруг этого произведения и последовавшего за ним рассказа «В тумане» развернулась полемика, принявшая особенную остроту после «Письма в редакцию» С. А. Толстой, которая осудила Андреева за то, что он сосредоточил «свое внимание на грязной точке человеческого падения» («Новое время», 1903, № 9673, 7 февраля). Горький, первоначально видевший в рассказе «Бездна» эпатирование мещан, позже, в одном из писем к К. П. Пятницкому, также выразил резко отрицательное отношение к этому рассказу (см.: *Архив* $Г_{IV}$, стр. 208).

Стр. 337. *...один поэт напечатал...* — Речь идет о статье А. Доброхотова «Талант Леонида Андреева. Письмо в редакцию» («Харьковский листок», 1902, № 835, 30 августа). Содержание передается неточно. Обиду Андреева вызвали, по-видимому, следующие слова Доброхотова: «Так вот после рассказа „Бездна“ о Л. Андрееве заговорили, как заговорили бы о человеке, дерзнувшем в костюме Адама пройтись по Невскому проспекту».

Стр. 338. *...даже в печати жаловался...* — Андреев неоднократно говорил о недоброжелательном отношении к нему критики. См., например, его импровизированное «Слово о критиках» («Новости сезона», 1909, № 1811, 17 сентября, стр. 6—8), а также интервью журналисту С. Спиро («Русское слово», 1909, № 222, 29 сентября).

Стр. 338. *...рукопись рассказа...* — Имеется в виду рассказ «Тенор», законченный Андреевым в марте 1902 г. и предназначавшийся для «Журнала для всех». По совету Горького, автор отказался от его публикации (см.: *Лит Насл*, т. 72, стр. 158). Впоследствии сюжет «Тенора» был использован Андреевым в пьесе «Gaudeamus». «Тенор» впервые (с сокращениями) напечатан в «Неделе», 1962, № 50, 9—15 декабря.

Стр. 338. *...встретил отца Феодора Владимирского...* — Ф. И. Владимирский (1843—1937), общественный деятель, член II Государственной думы от Нижегородской губернии.

Стр. 338. *Когда-нибудь я попробую написать его житие...* — См. письмо Горького к Ф. И. Владимирскому от 3 сентября 1927 г. (*Лит Насл*, т. 72, стр. 398).

Стр. 339. *Приехав в Арзамас под надзор полиции...* — В Арзамас Горький приехал 9 (22) мая 1902 г.

Стр. 340. *...сын его — политический эмигрант, одна дочь сидит в тюрьме «за политику», другая усиленно готовится попасть туда же...* — Речь идет о М. Ф. Владимирском (1874—1951), крупном деятеле Коммунистической партии, в 1930—1934 гг. наркоме здравоохранения РСФСР, и о его сестрах Елизавете и Елене — активных участниках революционного движения, членах КПСС.

Стр. 340. *«Докеты», «офиты», «плерома», «Карпократ»...* — *Докеты* — течение среди гностиков (секта в раннем христианстве); докеты считали Христа бестелесной силой, принявшей образ человека. *Офиты* — наименование разных гностических сект, провозгласивших культ змеи как символа мировой души. *Плерома* (греч., дословно — вся полнота чего-либо) — полнота духовного бытия, точнее — совокупность духовных сил, исходящих от божества. *Карпократ* — гностик-александриец (первая пол. II в.); его последователи около 160 г. основали в Риме секту, учившую, что лучшим проявлением презрения к материальному миру должно быть нарушение общепринятых норм морали.

Стр. 340. *...ужас арзамасский!* — См. примеч. к стр. 291.

Стр. 341. *«Позвольте,— мы еще не решили вопроса о бытии бога, а вы обедать зовете!»* — Ср.: «Мы не решили еще вопроса

о существовании бога,— сказал он мне однажды с горьким упреком,— а вы хотите есть!..» (И. С. Тургенев. Воспоминания о Белинском.— Полное собрание сочинений и писем в 28 томах, т. XIV. М.— Л., «Наука», 1967, стр. 29).

Стр. 342. *...в рассказе: «Так было — так будет».*— Рассказ «Так было» впервые напечатан в альманахе «Факелы», кн. I. СПб., 1906.

Стр. 343. *В Художественном театре, когда он помещался еще в Каретном ряду...*— В помещении театра «Эрмитаж» в 1898—1902 гг. С 25 октября 1902 г. представления Художественного театра начались в новом помещении в Камергерском переулке.

Стр. 343. *...познакомил меня со своей невестой...* — С А. М. Велигорской (1881—1906).

Стр. 344. *Время ли для «Симфонии»...*— Очевидно, намек на произведения Андрея Белого — «Симфония вторая драматическая» (М., 1902), «Северная симфония. Первая героическая» (М., 1903).

Стр. 344. *...весь Комитет вместе с хозяином квартиры был арестован...*— Андреев был арестован вместе с участниками нелегального совещания ЦК РСДРП у себя на квартире 9 (22) февраля 1905 г. и посажен в Таганскую тюрьму. Выпущен 25 февраля (10 марта) 1905 г. после внесенного С. Т. Морозовым залога в размере 10 000 руб.

Стр. 344. *...точно из купели Силоамской...*— По евангельской легенде, купель Силоамская — пруд Силоам в древнем Иерусалиме, где Христос исцелил слепого (Евангелие от Иоанна, гл. 9, стих 7).

Стр. 344—345. *...рассказы «Марсельеза», «Шабат», «Рассказ, который никогда не будет кончен»... и «Так было».*— Горьким объединены произведения Андреева, затрагивающие тему революции, но написанные и опубликованные в разное время (1901—1907 годы).

Стр. 345. *Вскоре он уехал в Финляндию и вел себя политически активно...*— Андреев выехал из Москвы (через Петербург) в Берлин 17 (30) ноября 1905 г.; весной 1906 г. поселился в Финляндии, присутствовал на первомайской демонстрации в Гельсингфорсе, был на нелегальном съезде представителей финской Красной гвардии и выступил с антиправительственной речью на массовом митинге в гельсингфорском парке «Гесперия» (см. в «Книге о Леониде Андрееве», изд. второе, З. И. Гржебина, 1922, стр. 169—173).

Стр. 345. *...он писал между прочим...*— Цитируемое письмо не найдено.

Стр. 345. *Монтрэ* — курортное местечко в Швейцарии. 8 (21) марта 1906 г. Горький и М. Ф. Андреева, направляясь в США, приехали из Берлина в Глион (рядом с Монтрэ) и остановились в том же отеле «Монт-Флёри», где жил Андреев.

Стр. 345. *За что любить тебя...»* — Из стихотворения П. Ф. Якубовича-Мельшина «К родине» (1890).

Стр. 345. *Написал я пьесу и прочитал «Савву».*— К ра-

боте над пьесой «Савва» Андреев приступил в Германии в начале 1906 г. Хранящийся в отделе рукописей ИРЛИ машинописный экземпляр «Саввы» имеет авторскую дату: «Мюнхен, 10/23 февраля 1906 г.» (ИРЛИ, ф. 9, оп. 1, ед. хр. 17).

Стр. 346. *Кажется, в 907 или 8-м году Андреев приехал на Капри, похоронив «Даму Шуру» в Берлине...*— А. М. Велигорская умерла в Берлине 28 ноября (11 декабря) 1906 г. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище. Андреев выехал к Горькому на Капри в декабре 1906 г.

Стр. 347. *Карачиолло* — каприйский художник-дилетант Никколо Карачиоло. *Фердинанд* II (1810—1859) — король обеих Сицилий; прозван «бомбой» за варварский обстрел Мессины в 1849 г., во время восстания сицилианцев против монархии.

Стр. 347. *...бабушка...*— А. Н. Андреева (урожд. Пацковская; 1851—1920) — мать Андреева, приехала на Капри 12 (25) января 1907 г.

Стр. 347. *...сказка о смерти, непобедимом великане.*— Рассказ Андреева «Великан» опубликован в журнале «Современный мир», 1908, № 1.

Стр. 347—348. *...равнодушна «прекрасная природа»...*— Ср. стихотворение А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

Стр. 348. *...шепчет мне: уйди, умри!* — Ср.: «Рассказ змеи о том, как у нее появились ядовитые зубы» (1911).

Стр. 348. *Я хочу писать об Иуде...*— Рассказ «Иуда Искариот» был закончен Андреевым на Капри 24 февраля (9 марта) 1907 г.; напечатан в «Сборнике товарищества „Знание“ за 1907 год», книга шестнадцатая.

Стр. 348. *...прочитал стихотворение...*— Имеется в виду стихотворение символиста А. С. Рославлева (1883—1920) «Иуде», впервые напечатанное в журнале «Образование», 1907, № 8 (Андрееву оно было известно еще до опубликования).

Стр. 348. *...перевод тетралогии Юлиуса Векселля «Иуда и Христос»...*— Ошибка памяти. У финского поэта Йосефа Юлиуса Векселля (1838—1907) такого произведения нет. Речь идет о драматической тетралогии в стихах немецкого писателя Карла Вейзера (1848—1913) «Иисус» (Лейпциг, 1906). В 1908 г. Горький занимался редактированием перевода произведения Вейзера (издание перевода не состоялось; драма Вейзера на русском языке не выходила).

Стр. 348. *...перевод рассказа Тора Гедберга...*— Повесть шведского писателя Тора Гедберга (1862—1931) «Иуда» (1886). В переводе В. Спасской вышла на русском языке в 1908 г. (изд. «Польза»).

Стр. 348. *...поэма Голованова...*— Н. Н. Голованов (1867—1938), драматург, переводчик, издатель. Имеется в виду его пьеса в стихах «Искариот» (М., 1905).

Стр. 349. *...на Капри он ∽ написал рассказ «Тьма», создал план «Сашки Жегулева»...*— Судя по черновым рукописям (ЦГАЛИ), рассказ «Тьма» был написан Андреевым в августе — сентябре 1907 г., т. е. после его отъезда с Капри. Авторская дата:

20 сентября 1907 г. Роман «Сашка Жегулев» мог быть начат Андреевым не ранее полученного им известия о гибели в мае 1909 г. в перестрелке со стражниками экспроприатора А. И. Савицкого (1886—1909) — прототипа главного героя романа. Роман был закончен 19 октября (2 ноября) 1911 г. и напечатан в альманахе «Шиповник», 1911, кн. 16.

Стр. 349. *Скабичевский А. М.* (1838—1910) — литературный критик и публицист либерального направления.

Стр. 349. *Каблиц-Юзов И. И.* (1848—1893) — публицист — народник.

Стр. 350. *Щапов А. П.* (1830—1876) — историк.

Стр. 350. *...о знаменитом пирате Барбароссе...*— Барбаросса (настоящее имя Урудж; ок. 1473—1518), корсар Средиземного моря. В 1514 г. провозгласил себя властелином Алжира. Погиб в сражении с испанцами. На Капри есть развалины замка Барбароссы.

Стр. 350. *Томазо Аниело* — См. примеч. в т. IV наст. изд., стр. 629.

Стр. 350. *...взял я как-то «Жизнь русских царей»...*— Речь идет о труде И. Е. Забелина «Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях», т. I. М., 1862; т. 2, 1869. В первом томе, озаглавленном «Домашний быт русских царей в XVI—XVIII столетиях», особая глава посвящена царскому столу.

Стр. 350. *...«герцог Спадаро»...*— Персонаж из драмы Андреева «Черные маски». Эту фамилию носили знакомые Горькому и Андрееву каприйские рыбаки Джованни и Констанцо Спадаро.

Стр. 350. *«Они пьют вино, как верблюды», не прибавив — воду!* — См. «Черные маски», д. I.

Стр. 351. *...мой знакомый, эсер.*— Речь идет о П. М. Рутенберге (1878—1942), принимавшем участие в убийстве провокатора Г. А. Гапона. Опасаясь ареста, эмигрировал. В 1907 г. приезжал на Капри к Горькому и, очевидно, тогда же познакомился с Андреевым.

Стр. 353. *Уехал он с Капри неожиданно...*— Андреев уехал с Капри в Россию 6 (19) мая 1907 г.

Стр. 354. *...книгу об аграрных беспорядках...*— Речь идет об издании: «Аграрное движение в России в 1905—1906 гг. ...», ч. 1—2. СПб., 1908.

Стр. 354. *По приезде в Финляндию я встретился с Андреевым...*— Горький приехал из Италии в Россию 31 декабря 1913 г. (13 января 1914 г.) и поселился в Финляндии в деревне Кирьявала (близ ст. Мустамяки) на даче В. А. и Е. Ф. Крит. Встреча писателей произошла летом 1914 г.

Стр. 355. *...стал бороться против распространения этой заразы...*— Имеется в виду организованное в 1914 г. Андреевым, Ф. Сологубом и Горьким «Русское общество для изучения жизни евреев», целью которого была борьба с антисемитизмом. Идея создания такого общества принадлежала Андрееву. Под редакцией Андреева, Сологуба и Горького обществом было распространено письмо — обращение к русскому обществу (см. «Бирже-

вые ведомости», 1915, № 14648, 3 февраля) и издан литературный сборник «Щит» (М., 1915).

Стр. 357. *А женился я на еврейке!* — В апреле 1908 г. Андреев женился на А. И. Денисевич (1883—1948).

О С. А. ТОЛСТОЙ

(Стр. 358)

Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1924, № 5, июнь, стр. 197—215, а затем в журнале «Русский современник», 1924, № 4. В публикации «Русского современника» отсутствуют последние абзацы — примечание: «В 4-й книге „Красного архива“ ∽ состоянию его здоровья».

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Беловой автограф, правленный Горьким (ХПГ-41-8-1);
2. Неавторизованная машинопись (ХПГ-41-8-3);
3. Авторизованная машинопись *(АМ)* на 15 листах, с правкой и подписью. Заглавие — рукой Горького. Автограф — «примечание» на отдельном листе к стр. 13 после слов: «Для меня ∽ нормален психически» (см. наст. том, стр. 372—373).
4. Корректура журнала «Русский современник», без правки и подписи. Штамп Ленинградского Гублита: «К печати разрешается», № 1770, дата: 13/XI (ХПГ-41-8-2).

Печатается по тексту *АМ*.

Произведение написано в январе 1924 г. 26 января 1924 г. Горький сообщал из Мариенбада П. П. Крючкову:

«...посылаю статью о Софии Толстой. Очень прошу Вас, отдайте ее напечатать на машинку в 3-х экземплярах и 2 пришлите мне, хорошо?..

Если можно — статью о Толстой пришлите скорее» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-41).

Один из двух полученных от Крючкова машинописных экземпляров Горький отправил Р. Роллану и в письме от 31 марта 1924 г. напоминал ему: «Жду Вашего отзыва на мою статью о С. Толстой» (*Г-30*, т. 29, стр. 422).

Поводом к написанию произведения послужила книга В. Г. Черткова «Уход Толстого» (Берлин, изд-во И. П. Ладыжникова, 1922), вызвавшая у Горького решительный протест. Чертков, видный последователь учения Л. Н. Толстого, известный своей пропагандой запрещенных в царской России произведений великого писателя, задался целью раскрыть причины ухода Толстого из Ясной Поляны. Однако причины эти Чертков свел, в общем, к «семейной драме» Толстых, в явно тенденциозных тонах изобразив роль С. А. Толстой.

В *ЛБГ* имеется экземпляр книги Черткова, испещренный пометками, свидетельствующими о несогласии Горького с автором.

С Софьей Андреевной Толстой Горький познакомился весной 1889 г. (см. в наст. томе примеч. к стр. 160), когда, оставив должность весовщика на станции Крутая, отправился к Толстому в Ясную Поляну. Вторично он встретился с Софьей Андреевной в 1900 г., уже знаменитым писателем. После нескольких посещений Толстого Горький писал Чехову: «Очень понравилась мне графиня» (подробнее см.: *Г-30*, т. 28, стр. 137, а также стр. 139).

Часто бывая у Толстого в Гаспре в конце 1901 — начало 1902 г. и ближе познакомившись с Софьей Андреевной, Горький составил себе более сложное представление о жене Толстого. Видимо, с воспоминаниями этого периода связана категорическая оценка Софьи Андреевны в письме к Е. П. Пешковой в ноябре 1910 г.: «То, что ты написала о Софье,— не трогает меня, не люблю я этого человека, слишком много плохих впечатлений дал он мне» (*Архив* $Г_{IX}$, стр. 106).

Тем показательней максимальная объективность, характерная для произведения Горького о С. А. Толстой. В *ЛГБ* сохранились книги с пометами Горького: «Письма графа Л. Н. Толстого к его жене. 1862—1910» (М., 1913), четвертая часть «Биографии Льва Николаевича Толстого» П. В. Бирюкова (М., 1923), «Воспоминания о Л. Н. Толстом» В. Лазурского (М., 1911). В «Письмах графа Л. Н. Толстого к его жене» свыше ста помет Горького. Большая часть их относится к письмам 80—90-х годов.

По-видимому, во время печатания в «Беседе» очерка «О С. А. Толстой» Горький прочитал в журнале «Красный архив», 1923, № 4, статью В. Максакова «Из материалов о Л. Н. Толстом. Последние дни Льва Толстого», состоящую из сообщений жандармских должностных лиц о пребывании больного Толстого на станции Астапово, и счел необходимым внести в произведение новый фактический материал. Так появилось набранное петитом в виде специального послесловия «примечание»: «В 4-й книге „Красного архива“...» и т. д. Несколько позже, готовя текст для французского издания, вместе с последними стилистическими исправлениями в *АМ*, Горький заново отредактировал «примечание», пометив на стр. 13 красным крестом его место в сноске (см. наст. том, стр. 373). Текст примечания в этой редакции впервые печатается в настоящем издании.

На французском языке произведение «О С. А. Толстой» напечатано в журнале «Le Revue Européenne», 1928, novembre, p. 1089—1108.

Стр. 358. *...скоро выйдет в свет еще одна книжка...*— Имеется в виду: А. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. ч. II. М., 1923.

Стр. 358. *...а подлинное имя ее — Ксантиппа.*— Ксантиппа—жена древнегреческого философа Сократа (469—399 до н. э.). Молва приписала ей дурной характер и несправедливое отношение к Сократу, но некоторые ученые относят ее «к числу лиц, несправедливо осужденных потомством» (Дж. В. Дрепер. История умственного развития Европы. Киев, 1895, стр. 115).

Стр. 359. ...*«к добру и злу постыдно равнодушны»*...— Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума» (1838).

Стр. 360. *«Пустынник и Медведь»* — басня И. А. Крылова (1807).

Стр. 361. ...*в «Дневнике» 52 г. он записал*...— Ср. запись от 21 марта 1852 г.: «Приехал Султанов; в восторге от того, что получил собак. Замечательная и оригинальная личность. Ежели бы у него не было страсти к собакам, он был бы отъявленный мерзавец» (*Толстой*, т. 46, стр. 98).

Стр. 361. ...*Ильин, сочинитель ∽ книжки «Дневник толстовца»*...— См. в т. XI наст. изд. примеч. к стр. 78.

Стр. 361. ...*статьи ∽ Новоселова*...— См. примеч. к стр. 170.

Стр. 361. ...*лекция ∽ Гусева*...— А. Ф. Гусеву, выступавшему против Толстого с позиций православной церкви, принадлежат статьи в «Православном обозрении», книги «Необходимость внешнего богопочтения. Против гр. Л. Толстого» (Казань, 1891), «Любовь к людям в учении гр. Л. Толстого и его руководителей» (Казань, 1892).

Стр. 361. ...*видела Меньшикова ∽ «О любви»*...— Журналист М. О. Меньшиков (1859—1918), начав свой литературный путь как «толстовец», впоследствии стал сотрудником реакционного «Нового времени». В книге «О любви» (СПб., 1899) Меньшиков осуждал половую любовь как кару за «грехопадение».

Стр. 362. ...*самородка-поэта Булгакова* — См. в наст. томе примеч. к стр. 298.

Стр. 362. ...*история известного «толстовца» Буланже*...— П. А. Буланже (1869—1925), инженер по образованию, познакомился с Толстым в 1886 г. За участие в агитации среди кавказских духоборов был выслан из России в 1897 г. Вернулся в 1899 г., находился под наблюдением полиции. С 1900 по 1907 г. работал в Управлении Московско-Курской железной дороги. В 1901 г. жил у Толстого в Гаспре. Автор ряда статей о Толстом. В 1907 г., совершив растрату, симулировал самоубийство и скрылся от полиции. Несколько месяцев работал рабочим на нефтяных промыслах в Грозном, затем переехал в Швейцарию. Весной 1903 г. написал Толстому письмо. Ответ Толстого см.: *Толстой*, т. 78, стр. 96—97.

Стр. 362. ...*старушка ∽ хворост в костер Яна Гуса*.— По преданию, вождь национально-религиозного движения в Чехии Ян Гус (1369—1415), увидев старуху, тащившую полено в костер, на который он всходил, воскликнул: «О, sancta simplicitas!» — «О святая простота!» — *(лат.)*.

Стр. 363. ...*против автора ∽ кажется, «Сказки о трех братьях»*...— Имеется в виду «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах» (1885).

Стр. 363. *«Еретик» священник Золотницкий*...— П. Ф. Золотницкий, священник Нижегородской епархии, был заключен в Суздальскую тюрьму за то, что, оставив свой приход, ушел к старообрядцам. Пробыл в тюрьме около 32-х лет, с 1865 по

1897 г. (см.: А. С. Пругавин. Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством. М., 1905). Горький видел Золотницкого, когда последний был выпущен из тюрьмы, и описал уже потерявшего разум «узника христолюбивой церкви» в рассказе «Пожары» (см. т. XVII наст. изд.).

Стр. 364. *В «Дневнике юности» Толстого...*— Горький имеет в виду «Дневник молодости Льва Николаевича Толстого», т. I (1847—1852). М., 1917.

Стр. 364. *«Мыслей особенно много ∽ в пустой голове».* — Не совсем точная цитата из дневниковой записи от 4 июля 1851 г. «Мыслей так много может вмещаться в одно время, особенно в пустой голове» (указ. изд., стр. 76).

Стр. 364. *«...сознание есть величайшее зло...»* — Из той же дневниковой записи (у Толстого — «величайшее моральное зло...»), стр. 74.

Стр. 364. *«Ум, слишком большой, противен»* — Из письма к В. В. Арсеньевой от 9 ноября 1856 г. (*Толстой*, т. 60, стр. 106).

Стр. 364. *«Живо почувствовал ∽ на себя».*— Дословная цитата из «Дневника» Толстого (запись от 23 марта 1908 г.) (*Толстой*, т. 56, стр. 112).

Стр. 365. *...автор интересного исследования о Аполлонии Тианском...*— Имеется в виду Д. И. Писарев и его кандидатская диссертация «Исследование о Аполлонии Тианском», написанная в 1860 г. и опубликованная в «Русском слове», 1861, кн. 6—8.

Стр. 365. *«Сапоги — выше Шекспира».*— Горький ошибочно приписывает эту фразу Д. И. Писареву. История фразы, ставшей крылатой, берет начало от Ф. М. Достоевского. В анонимной статье «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», опубликованной на страницах журнала «Эпоха», Достоевский иронически обращался к молодым писателям: «Молодое перо! Отселе вы должны себе взять за правило, что сапоги, во всяком случае, лучше Пушкина, потому что без Пушкина очень можно обойтись, без сапогов никак нельзя обойтись, а следственно Пушкин — роскошь и вздор». И далее, продолжая пародию, Достоевский писал: «Вздор и роскошь даже сам Шекспир»... («Эпоха», 1864, № 5, стр. 281). Вслед за Достоевским, критик Н. Соловьев выступил со статьей «Теория пользы и выгоды», которая заканчивалась словами: «И что же ей (цивилизации) предлагают как универсальное средство? — Пользу и выгоду, выгоду и утилитаризм; сигары вместо Шекспира...» («Эпоха», 1864, № 11, стр. 16). Окончательно фраза окристаллизовалась, по-видимому, у Н. К. Михайловского в «Записках современника»: «С задором высказываются мысли о законных пределах искусства, о служении чистой красоте и слышится старинная фраза: „Так, по-вашему, сапоги выше Шекспира?!“» (Собрание сочинений в 8 томах, т. VI, СПб., 1897, стр. 530).

Стр. 369. *...взаимную ревность врачей...*— В Гаспре Л. Н. Толстого постоянно лечил И. Н. Альтшулер, земский врач Ялтинского уезда, часто бывал второй земский врач К. В. Волков; в консилиуме 23 января (5 февраля) 1902 г. при-

нимали участие столичные консультанты: почетный лейб-медик Д. Б. Бертенсон и московский врач В. А. Шуровский (см.: «Дневники Софии Андреевны Толстой», стр. 170—171, 183). 30 марта (12 апреля) 1902 г. запись Л. Н. Толстого в календарном блокноте: «Приехал доктор Никитин жить» (*Толстой*, т. 54, стр. 303.) Д. В. Никитин — домашний врач Толстых.

Стр. 370. *...рассказ Льва Толстого-сына или критический фельетон о нем В. П. Буренина.*— По-видимому, Горький допускает неточность: с октября 1900 г. по март 1902 г. включительно, когда Горький посещал Толстого в Гаспре и Ясной Поляне, «Новое время» не публиковало ни рассказов Толстого-сына, ни фельетонов о них В. Буренина. 5 (18) ноября 1901 г. в газете было помещено объявление о продаже книг Л. Л. Толстого, среди которых, действительно, были два произведения, направленные против взглядов Л. Н. Толстого: «Против общины» (статьи), и «Прелюдия Шопена» (рассказы) (см.: Л. Л. Толстой. Прелюдия Шопена и другие рассказы. М., 1900).

Стр. 370. *Лев Толстой-сын ∽ напечатал ∽ «антитолстовский» роман...* — Роман Л. Л. Толстого «Поиски и примирение» печатался в «Ежемесячных сочинениях», 1902 г., № 1—12.

Стр. 370. *...Ясинский поместил неприличную рецензию на «Воскресенье»...*— Речь идет об анонимной рецензии «XXXIX глава „Воскресения“», помещенной в «Литературном обозрении». В крайне резкой форме автор ее обрушивался на Л. Н. Толстого за «поругание над церковной православной службой» («Ежемесячные сочинения», 1902, № 12, стр. 393).

Стр. 372. *...во дни аграрной революции пятого — шестого годов ∽ кажется, наняла каких-то кавказских горцев...*— Горький неточно указывает время, когда в усадьбе Толстых, действительно, появился «кавказский горец», Мехамед-бек Месеранхим-оглы, нанятый Софьей Андреевной для охраны принадлежащего ей леса. В дневниках Толстого и С. А. Толстой с октября 1909 г. по июнь 1910 г. он упоминается как «черкес». Запись Толстого 21 октября (3 ноября) 1909 г.: «...неприятный разговор с С. А. по случаю черкеса и попытки ограбления в Топытко⟨во⟩» (*Толстой*, т. 57, стр. 155).

Стр. 374. *...одиноко умерла...*— С. А. Толстая скончалась 1 ноября 1919 г. См.: С. Л. Толстой. Очерки былого. Тула, 1968, стр. 278—283.

II

МИША

(Стр. 377)

Впервые напечатано в газете «Русское слово», 1917, № 73, 1 апреля.

Печатается по тексту газеты.

НА УЛИЦЕ

(Стр. 385)

Впервые напечатано в газете «Новая жизнь», (Петроград), 1917, № 2, 20 апреля (3 мая).

Печатается по тексту газеты.

Написано под непосредственным впечатлением виденного Горьким празднования Дня 1 мая 1917 г. в Петрограде. «Это было общенародное торжество, торжество революции. Это был день ликования народа...» («Известия Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов», 1917, № 45, 20 апреля/3 мая).

Стр. 385. «*Мы жертвою пали в борьбе роковой*» — перефразированное начало песни «Вы жертвою пали в борьбе роковой» (см.: «Советская музыка», 1934, № 3, стр. 57; 1935, № 12, стр. 15, а также «Песни русских поэтов», сост. И. Н. Розанов. Л., 1957, стр. 435).

Стр. 385. «*Отречемся от старого мира...*» — Под названием «Новая песня» впервые напечатано в революционном народническом органе «Вперед!», выходившем в Лондоне, 1875, №12, 1 июня. Текст П. Л. Лаврова (1823—1900). С середины 80-х годов песня приобрела широкую известность; исполнялась на мотив французской «Марсельезы».

Стр. 386. *...толпа детей-беженцев...* — По всей вероятности, дети, эвакуированные в связи с войной из западных областей Украины и Белоруссии.

КОШМАР

(Стр. 388)

Впервые напечатано в газете «Новая жизнь» (Петроград), 1917, № 13, 3 (16) мая.

Печатается по тексту газеты.

Написано в марте — апреле 1917 г. Поводом к написанию произведения послужила предпринятая Комиссией по обеспечению нового строя публикация списков секретных сотрудников царской охранки. 11 марта 1917 г. газеты «Новое время» (№ 14724), «Русские ведомости» (№ 56), «Русское слово» (№ 56), «Биржевые ведомости» (№ 16130) опубликовали «Список предателей». Были названы фамилии 15 человек. На следующий день в газете «Известия Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов» (№ 13, 12 марта) появилась статья «Охранники», в которой, кроме указанных ранее 15 агентов, было названо еще три. Некоторые факты из «деятельности» разоблаченных женщин-провокаторов сходны с тем, что рассказывается в «Кошмаре».

Стр. 391. *Я знал Гуровича, Азефа, Серебрякову...— М. И. Гурович* (1859—1914) — чиновник департамента полиции, провокатор; с целью наблюдения принял участие в журнале «легальных марксистов» «Начало» (1899) (см.: *Архив* $Г_{XI}$, стр. 211). *Е. Ф. Азеф* (1869—1918) — провокатор, один из организаторов партии эсеров. С 1893 г. негласно служил в департаменте полиции. *А. Е. Серебрякова* (А. С. Резчикова) — с начала 1890-х годов в течение более четверти века была одним из крупнейших агентов царской охранки. В 1926 г. в Москве состоялся суд над Серебряковой. Она была приговорена к высшей мере наказания, но по старости расстрел был заменен лишением свободы на семь лет.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(Стр. 394)

Впервые напечатано в газете «Новая жизнь» (Петроград), 1917, № 22, 13 (26) мая.

В Архиве А. М. Горького хранится неполная (нет одной страницы) авторизованная машинопись произведения со значительной правкой для газеты «Новая жизнь» (ХПГ-33-2-1).

Печатается по тексту газеты.

Стр. 397. «*Sartor Resartus*» (*лат.*; буквально: «Заштопанный портной») — сочинение (1834) английского философа-идеалиста Томаса Карлейля (1795—1881).

«В ГЛУБИНЕ РОССИИ»

(Стр. 398)

Впервые напечатано в газете «Новая жизнь» (Петроград), 1917, № 202, 15 (28) декабря.

Печатается по тексту газеты.

Написано в декабре 1917 г.

Стр. 398. *...«во глубине России»...* — Ставшее крылатым выражение из стихотворения Н. А. Некрасова «В столицах шум, гремят витии...» (1857).

Стр. 399. *...комиссар одного из уездов Орловской губернии...* — По всей вероятности, Горький пишет об И. Е. Вольнове (1885—1931), комиссаре Временного правительства Малоархангельского уезда Орловской губернии, авторе «Повести о днях моей жизни». Член партии эсеров, активный ее деятель, Иван Вольнов после победы Советской власти долгое время не мог освободиться от ошибочных взглядов на задачи революции, на ее движущие силы (ср. в очерке, на стр. 402, рассуждения комиссара-рассказчика о том, что «победит деревенская, мужицкая Русь...»). Но последняя его повесть — «Встреча» (1927) — обвинительный акт против эсеров. В декабре 1917 г. Вольнов был командирован как член Учредительного собрания в Петроград и там, по-видимому, встретился с Горьким.

Стр. 400. *Калединские дни...* — В ноябре 1917 г. «Донское войсковое правительство», возглавлявшееся генералом А. М. Калединым (1861—1918), объявило себя высшей государственной властью в Донской области, отказалось признать Советскую власть и заявило, что намерено поддерживать свергнутое Временное правительство Керенского. В. И. Ленин писал в январе 1918 г.: «Либо победить Калединых и Рябушинских, либо сдать революцию» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 230). Калединщина была разгромлена революционными войсками в конце февраля 1918 г.

Стр. 400. *Мало-Архангельск* — уездный город в Орловской губернии, на р. Куликов-Ржавец, в 75 км от г. Орла.

Стр. 401. *...перед выборами в Учредительное ∽ подавай голос ∽ за эсеров!* — Выборы в Учредительное собрание проводились в ноябре 1917 г. (начались 12/25 ноября) по партийным спискам, составленным еще до Октябрьской революции. Выборы проходили в период, когда значительная часть народа еще не успела осмыслить значение социалистической революции, чем и воспользовались правые эсеры, собрав в отдаленных от столицы и промышленных центров районах большинство голосов. Учредительное собрание открылось 5 января 1918 г. Уклонившись от обсуждения выработанной В. И. Лениным и принятой ВЦИК «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», отказавшись признать Советскую власть и ее декреты, оно продемонстрировало перед всем народом свой буржуазный, контрреволюционный характер и 6 января декретом ВЦИК было распущено.

КАК Я УЧИЛСЯ

(Стр. 403)

Впервые, под заглавием «О книгах», напечатано одновременно в газете «Новая жизнь» (Петроград), 1918, № 102, 29 (16) мая (с указанием от редакции: «читано на митинге 28 мая»), и в га-

зете «Книга и жизнь», 1918, № 1, 29 мая (с подзаголовком «Рассказ»).

В Архиве А. М. Горького хранится авторизованная машинопись с правкой, озаглавленная «О книгах» (ХПГ-40-14-1).

Печатается по тексту отдельного издания Гржебина.

Основой рассказа послужил текст подготовленной Горьким речи «О книгах», с которой он намеревался выступить в мае 1918 г. в Петрограде на митинге, организованном культурно-просветительным обществом «Культура и свобода».

Болезнь помешала Горькому выступить. Но его речь была оглашена на митинге, участники которого отправили писателю телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления (см.: «Новая жизнь», 1918, № 103, 30 мая). Речь начиналась словами: «Я расскажу вам, граждане, о том, что дали книги моему разуму и чувству. Читать сознательно я научился, когда мне было лет четырнадцать...»

В июне 1918 г., когда обществом «Культура и свобода» готовилось отдельное издание рассказа, он получил название «Как я учился», был дополнен и подвергнут значительной правке. Новые поправки по сравнению с названным изданием (Пг., 1918) внесены Горьким (в частности, изменено начало) при подготовке рассказа для отдельного издания Гржебина (Берлин — Петербург — Москва, 1922).

В Архиве А. М. Горького сохранились отзывы читателей о произведении «Как я учился»:

«Сейчас прочитал два раза Вашу речь — о книгах,— писал Горькому 29 мая 1918 г. биолог и генетик Ю. А. Филиппченко,— и буквально не мог от нее оторваться. Так хорошо, глубоко и искренне удается высказываться редко—даже Вам» (Архив А. М. Горького, КГ-уч-12-11-7). В 1932 г. учительница А. Я. Лебедева в письме к Горькому делилась с ним размышлениями и впечатлениями: «Тернист путь народной учительницы, часто отчаяние, в связи с жизненными невзгодами, брало верх над разумом, и в эти тяжелые дни я находила поддержку и утешение в Ваших произведениях. И сейчас предо мной лежит Ваш рассказ „Как я учился“. Читаю и плачу, и живу Вашими переживаниями, и становится легче от Ваших прекрасных художественных, психологически верных рассуждений» (Архив А. М. Горького, КГ-пед-1-37-1).

Стр. 404. *...ученые люди, придумавшие звуковой прием обучения азбуке...*— Звуковой метод обучения в России был предложен К. Д. Ушинским (1824—1870). Методические указания о преподавании русского языка изложены им в статье «О первоначальном преподавании русского языка» (1864) и в «Руководстве к преподаванию по „Родному слову“» (1864). В 1875 г. Варвара Васильевна, мать Алеши Пешкова учила его по книге Ушинского «Родное слово» (см.: *Г-30*, т. 13, стр. 132, а также т. XV наст. изд., повесть «Детство» и примеч. к ней).

Стр. 405. *Осенью меня отдали в школу...*— В повести «Детство» Горький сообщает, что был отдан в Ямскую приходскую школу зимой («после святок» — см. наст. изд., т. XV, стр. 154).

Стр. 405. *Но через год меня снова сунули в школу — уже другую.*— Осенью 1877 г. А. Пешкова отдали в Нижегородское слободское Купавинское училище (см. там же, примеч. к стр. 204).

Стр. 406. «*Боже царя храни*» — государственный гимн России с 1833 до 1917 г. Музыка А. Ф. Львова, слова В. А. Жуковского.

Стр. 406. «*Ах ты, воля, моя воля*» — псевдонародная песня, посвященная «освобождению крестьян» (см.: Клавдия Лукашевич. Школьный праздник в честь трехсотлетия царствования дома Романовых. М., 1913, стр. 85).

Стр. 406. «*Священная история ветхого и нового завета*» — очевидно, учебник Дмитрия Соколова. Учебник этот выдержал в 70-е и последующие годы много изданий.

Стр. 406. *...епископ Хрисанф.*— См. в т. XV наст. изд., стр. 187—189.

Стр. 407. *...расскажи про Алексея человека божия?..*— Житие Алексея имеет обширную литературную историю. В России была особенно популярна драма «Житие Алексея божия человека» (см.: «Русские драматические произведения 1672—1725 годов», т. I. СПб., 1874, стр. 3—75). Тема эта использована и в фольклоре (см.: «Сборник русских духовных стихов», составленный В. Варенцовым. СПб., 1860, стр. 219—228).

Стр. 409. *...два растрепанных томика сказок Андерсена* со «*В Китае все жители — китайцы...*» — По-видимому, Алеша Пешков купил «Полное собрание сказок Андерсена», с 117 гравированными политипажами. Пб. (1-е изд.—1863—1864, 2-е — 1867). Сказка «Соловей» начинается словами: «В Китае, ведь ты знаешь, император — китаец, а все, кто около него, тоже китайцы» (т. 1, стр. 177).

Стр. 409. *...Робинзон, тощая книжонка в желтой обложке...*— По-видимому, «Робинзон Крузое и его интересные приключения. Правдивая повесть с иллюстрированными картинами». В двух частях. М., 1880. Книга — в желтой обложке, на которой изображен Робинзон в одежде из шкур.

Стр. 409—410. *...летом умерла моя мать, и дед тотчас же отдал меня «в люди» — в ученики к чертежнику.*— Мать А. Пешкова, Варвара Васильевна, умерла 5 (17) августа 1879 г. Дед отдал Алешу сначала «в магазин обуви Л. М. Порхунова», а затем к чертежнику В. С. Сергееву.

Стр. 413. *...ученый барин Сабанеев...*— Возможно, А. П. Сабанеев (1843—1923), ученый, химик; преподавал в Московском университете.

Стр. 415. «*Всемирная иллюстрация*» — еженедельный иллюстрированный журнал, выходивший в С.-Петербурге в 1869—1898 годах.

Стр. 415. «*Живописное обозрение*» — еженедельный журнал, выходивший в С.-Петербурге в 1872—1905 годах.

Стр. 416. *...Фарадей — был простым рабочим ∽ знакомый гимназист ∽ назвал мне ∽ Стефенсона...*— Английский физик, создатель учения об электромагнитном поле, Майкл Фарадей (1791—1867) родился в семье кузнеца. Английский изобретатель Джордж Стефенсон (1781—1848), положивший начало развитию железнодорожного транспорта, в детстве работал на шахтах.

Стр. 418. *Я жил в Арзамасе, под надзором полиции...*— Высланный в Арзамас, Горький жил там с 9 мая до начала сентября 1902 г.

Стр. 418. *...кривой человек...*— О «кривом» сапожнике, который «берет уроки математики у профессора Костерина» и «поглощает книги, как огонь», упоминает Горький в письме из Арзамаса к К. П. Пятницкому от 20—21 июня 1902 г. (*Архив* $Г_{IV}$, стр. 90). По всей вероятности, это был сапожник из села Выездного А. П. Забродин. Он выполнял обязанности связного между Горьким и революционным кружком, которым руководила М. В. Гопиус (см.: П. Плетнев. М. Горький в Арзамасе. Горький, 1933, стр. 60).

Стр. 419. *...книжку Дрейфуса «Мировая и социальная эволюция»....*— Произведение Ф. Камилла Дрейфуса (М., 1896).

Стр. 419. *Тихон Задонский* — См. в наст. томе, стр. 590.

Стр. 419. *Златоуст* Иоанн (ок. 347—407) — деятель восточно-христианской церкви, ритор, богослов. Автор множества трактатов, проповедей-бесед, комментариев на библейские тексты и т. п.

Стр. 419. *Ефрем Сирин* (ок. 306—378) — церковный деятель и писатель, автор многочисленных сочинений, среди которых первое место занимают толкования Библии.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. Г. КОРОЛЕНКО

(Стр. 422)

Впервые напечатано в сборнике: «Жизнь и литературное творчество В. Г. Короленко. Сборник статей и речей к 65-летнему юбилею». Пг., ⟨1918⟩, стр. 52—57.

В Архиве А. М. Горького хранится авторизованная машинопись с правкой, без заглавия (ХПГ-33-10-1).

Печатается по тексту названного сборника.

Воспоминания представляют собою речь, произнесенную Горьким 15 (28) июля 1918 г. в Петрограде на юбилейном заседании, посвященном 65-летию со дня рождения и 40-летию литературной деятельности Короленко. Заседание, — вспоминал В. С. Оголевец,—было организовано обществом «Культура и свобода» и проводилось в зале бывшего Тенишевского училища. «Заседание открыл Горький. После короткого доклада критика А. Г. Горнфельда Алексей Максимович при затихшем зале поделился с присутствующими интересными воспоминаниями о

Короленко, которого назвал своим учителем». Речь Горького «произвела глубокое впечатление; перед нами, как живой, возник образ Короленко» («В. Г. Короленко в воспоминаниях современников». М., 1962, стр. 340).

9 января 1921 г. Короленко писал из Полтавы Горькому: «...недавно я получил (с большим, как видите, опозданием) книжку, в которой приведены речи по поводу моего юбилея в 1918 г., в том числе и Ваша. Благодарю Вас за яркий сочувственный отзыв» (Архив А. М. Горького, КГ-п-38-1-21).

Стр. 422. *...относится к 88 или 89 году.*— К 1889 г.

Стр. 422. *...не помню откуда...*— См. примеч. к стр. 167.

Стр. 422. *...читал рассказы, подписанные этим именем...*— В 1885—1889 годах были опубликованы: «Сон Макара», «Убивец», «Соколинец», «В ночь под светлый праздник» и др.

Стр. 423. *Поликушка* — герой одноименного рассказа Л. Н. Толстого (1863).

Стр. 423. *Дядя Минай* — герой «Фантастических замыслов Миная» (1880) Н. Е. Каронина-Петропавловского.

Стр. 424. *...«Песнь старого дуба».*— См. наст. том, стр. 168.

Стр. 424. *...я ушел из Нижнего и воротился туда года через три...*— Горький ушел из Нижнего в апреле 1891 г. и вернулся в октябре 1892 г.

Стр. 425. *...я снова встретился с В. Г.*— См. «Время Короленко», стр. 191.

Стр. 425. *...фантазерский рассказ...*— «Исключительный факт»; опубликован в газете «Волгарь», 1893, № 279, 281, ноябрь (см. в наст. изд. т. I).

Стр. 426. *«Архипа и Леньку» напрасно напечатали в «Волгаре»...*— «Волгарь», 1894, № 35, 37, 39, 41, 43 — с 13 по 26 февраля.

Стр. 426. *...в большую журнальную литературу я вошел при его помощи.*— См. примеч. к рассказу «Челкаш» в наст. изд., т. II.

ПЕСНЯ

(Стр. 427)

Впервые напечатано в журнале «Альбатрос», 1918, № 1, 14 ноября, стр. 5—7.

Печатается по тексту журнала.

В рассказе отразились впечатления Горького, связанные с пребыванием в Форосе летом 1916 г.

Стр. 428. *...Ой вы, хлопцы-молодцы...*— Слова: «Лучше было б, лучше было б...» встречаются во многих украинских песнях, например: «Ішов козак за Дунай» («Українські народні пісні», Київ, 1951, стр. 38); «Ой на горі, на горі чабан вівці ганяє» («Українські народні пісні», кн. 2. Київ, 1955, стр. 106).

ПРО ИВАНУШКУ-ДУРАЧКА

(Стр. 430)

Впервые напечатано в сборнике: «Елка». Книжка для маленьких детей. Пг., 1917 (вышла в конце января 1918 г.), стр. 35—38.

Печатается по тексту названного сборника.

Сказка «Про Иванушку-дурачка» написана Горьким, по всей вероятности, в конце 1917 — начале 1918 г. Как вспоминал К. И. Чуковский, Горький ездил с ним в Финляндию к Репину, чтобы попросить рисунок для сборника «Елка». Внимание Горького привлек увиденный им у художника рисунок «Иванушка», который они и попросили для сборника. Когда возвращались от Репина, Горький в поезде рассказал сказку об Иванушке, которую слышал от бабушки; а через несколько дней сказка была им написана и передана в сборник «Елка». Рисунок Репина был помещен в качестве иллюстрации к произведению Горького (см.: К. Чуковский. Современники. М., 1967, стр. 158—159).

В БОЛЬНОМ ГОРОДЕ

(Стр. 434)

Впервые напечатано: очерки 1 и 2 в газете «Новая жизнь» (Петроград), 1918, № 111, 8 июня, и «Новая жизнь» (Москва), 1918, № 8, 9 июня; очерки 3 и 4 в газете «Новая жизнь» (Петроград), 1918, № 114, 12 июня, и «Новая жизнь» (Москва), 1918, № 11, 13 июня; очерк 5 — в газете «Новая жизнь» (Петроград), 1918, № 115, 16 июня, и «Новая жизнь» (Москва), 1918, № 13, 16 июня.

По всей вероятности, не без участия автора или с его согласия все пять очерков вышли отдельной книгой: М. Горький. В больном городе. Очерки. Пг., 1919.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Гранки очерка 5 для газеты «Новая жизнь» (М.) (ХПГ-4-2).
2. Авторизованная машинопись очерка 5 — *АМ* (ХПГ-10-1-1), оригинал набора для книги: М. Горький. Избранные произведения. М.— Л., 1936.
3. Гранки 5 очерка для не вышедшего в свет «Сборника рассказов и статей об евреях», который подготавливался к изданию в начале 30-х годов (ХПГ-42-16-5).

Очерки 1—4 печатаются по тексту газеты «Новая жизнь» *(ПГ)*, очерк 5 печатается по *АМ*.

Очерки 1—4 написаны в мае (июне) 1918 г. Очерк 5 был написан в 1915 г. и предназначался для составленного С. А. Левитиным сборника писем и рисунков детей «Интересные незнакомцы» («Дети и война»). Однако выпуск сборника задержался — он вышел, с предисловием М. Горького, лишь в 1919 г. (М., Госиздат).

К очерку 5 Горький возвращался не однажды (см. варианты).

Завершающий этап работы автора над этим очерком относится к 1936 г., когда готовилось издание: М. Горький. Избранные произведения. М.— Л., Изд-во детской литературы, 1936. В машинописи очерка для этого издания автор сделал одну поправку. В заметке от издательства написано: «Настоящее издание избранных произведений М. Горького было задумано и в значительной части подготовлено к печати еще при жизни Алексея Максимовича».

Цикл «В больном городе» несет на себе отпечаток тяжелых настроений, которым Горький поддавался в 1917 — начале 1918 г. (см. в наст. изд. т. XX, примеч. к очерку «В. И. Ленин»).

Стр. 438. *Лилиен* Эфраим Моисей (1874—1925) — немецкий художник-иллюстратор. Известны его рисунки к Библии (1908).

ЯШКА

(Стр. 442)

Впервые напечатано в журнале «Северное сияние», 1919, № 1—2, январь — февраль, стр. 9—16.

В Архиве А. М. Горького хранится автограф без заглавия, с правкой автора и его надписью «Сказка» (ХПГ-48-10-1).

Печатается по тексту журнала.

Прямых сведений о времени написания сказки «Яшка» нет. Возможно, что замысел ее относится к тому периоду, когда Горький работал над произведениями аналогичного жанра — «Самовар», «Случай с Евсейкой» (см. в XI т. наст. изд.).

Появление сказки в печати связано с созданием первого советского детского журнала. Один из его организаторов, И. Р. Белопольский, в начале 1918 г. спросил у Горького: «Не найдутся ли в Вашем архиве, среди запрещенных царской цензурой, произведения для детей»? (Архив А. М. Горького, МоГ-1-30-1). Писатель попросил зайти к нему через 2—3 недели, обещая просмотреть свой архив. Белопольский вспоминал: «Горький достал из письменного стола папку и сказал: „Вот посмотрите две сказки, одна из них — «Яшка», я уже ее просмотрел, кое-что исправил; ее-то и можно будет поместить в первом номере“. (Второй сказкой был „Случай с Евсейкой“). Горький сказал также: „В рукописи сказки «Яшка» указаны места, которые желательно иллюстрировать“» (там же).

Художник П. Бучкин подготовил для сказки иллюстрации, которые писатель одобрил.

Стр. 443. *...шестнадцать тысяч святых девственниц...*— По-видимому, Горький использовал католическую легенду о принцессе Урсуле и 11 тысячах дев (см.: Н. А. Рубакин. Среди тайн и чудес. М., Госполитиздат, 1965, стр. 211—214).

Стр. 443. *Варвара Великомученица* — христианская «святая» (см. т. XIV наст. изд., стр. 620).

С т р. 443. *Пантелеймон Целитель* — христианский «святой», якобы обладающий чудесной силой исцеления; время жизни его христианская церковь определяет концом III — началом IV века.

С т р. 443. *Екатерина* — по христианской легенде, «великомученица», одаренная красотой и мудростью. Была казнена в 307 г.

С т р. 443. *Иоанн Воин* — один из 38 восточных «святых»; жил, по преданию, в IV веке.

С т р. 443. *Апостол Петр* — один из 12 учеников Христа. Согласно христианской мифологии, Петр является хранителем ключей от райских врат.

С т р. 443. *Это — Павлово дело...*— Павел — один из мифических апостолов; ему и апостолу Петру православие приписывает роль основателей христианской церкви, причем Петр выражал тенденцию к распространению христианства только среди еврейского населения Римской империи, а Павел настаивал, чтобы в христианство были обращены все народы.

〈ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ 1918 ГОДА〉

(Стр. 445)

Впервые напечатаны — в переводе на немецкий язык и под общим заголовком «Fünf Gedichte aus dem Jahre 1918»—«Пять стихотворений 1918 года» — в «Dichtung und Welt». Praga, 1928, № 13, март (литературное приложение к газете «Prager Presse»).

Автографы данных стихотворений не обнаружены.

Печатаются по названному изданию.

На русский язык стихи переведены Э. Мировой-Флорин (ГДР).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
〈ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ〉

(Стр. 450)

Впервые напечатано в литературном приложении к газете «Накануне», 1922, № 29, 30 апреля.

В Архиве А. М. Горького хранятся вырванные из указанного приложения листы с текстом очерка, выправленным автором — *ПрПТ* (ХПГ-33-11-1).

Печатается по *Пр ПТ*.

Написано, по-видимому, в 1922 г.— в период работы Горького над очерком «В. Г. Короленко», в котором упоминается один из центральных эпизодов очерка об Иоанне Кронштадтском.

Судя по содержанию очерка, встреча автора с реакционным проповедником конца XIX — начала XX века, священником И. И. Сергеевым (1829—1908), протоиереем Андреевского собо-

ра в Кронштадте, произошла в Рыжовском (Куряжском) монастыре — либо летом 1890 г., когда Иоанн Кронштадтский пробыл 18 дней в этом монастыре, либо 24—25 июля 1891 г., когда Горький, побывав у своих знакомых Метлиных в Люботине, мог от них пройти в Песочино, узнав, что туда прибыл известный священник (см.: «Вера и разум», 1891, № 14, июль, стр. 382).

Горький относил свою встречу с И. Кронштадтским к 1891 г. Посетив в 1928 г. «Колонию беспризорных» в Куряже, он писал в цикле очерков «По Союзу Советов»: «Я был в Куряжском монастыре летом 91 года, беседовал там со знаменитым в ту пору Иоанном Кронштадтским» (*Г-30*, т. 17, стр. 160).

Стр. 453. *Я спросил его о происхождении зла...*— Позднее Горький внимательно читал книгу английского философа, профессора Лондонского университета Джемса Сёлли (1843—1923) «Пессимизм. История и критика». СПб., 1893 *(ЛБГ)*, в которой рассуждение о «происхождении зла» связывается с именем Юстина-мученика.

Стр. 454. *...«Раб ли призван ∽ поработи себе». И еще: «Раби, послушайте ∽ и трепетом».*— Первое послание к коринфянам апостола Павла, гл. 7, стих 21: «Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и сможешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся», а также его послание к колоссянам, гл. 3, стих 22: «Рабы, во всём повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь бога».

Стр. 455. *Юстин* (Иустин; II век) — один из самых ранних христианских «апологетов» — религиозных писателей, выступавших с обоснованием и защитой христианства. Причислен к лику «святых мучеников». В *ЛБГ* имеется книга: «Христомафия 〈Хрестоматия〉, или Выбранные места из святого мученика и философа Иустина, служащие полезным нравоучением...» М., 1783. В книге «Всеобщая История Георга Вебера», Горьким отмечен волнистой чертой абзац и подчеркнуты слова: «*В Юстине* церковь чтит не только мученика за веру, но и первого *апологета* ее: *апология*, написанная им, *самая древняя* из всех до нас дошедших» (т. IV, 1886, стр. 187, *ЛБГ*).

Стр. 455. *Юстин-то еретик был!* — Судя по этому заявлению Иоанна Кронштадтского, он в крайней форме выражал критическое отношение к Юстину-философу, которое было свойственно отдельным богословам. Как свидетельствует французский философ-материалист XVIII века Гольбах, Юстина критиковали за то, что он к христианству «примешал мистическую темную философию своего учителя Платона», и за то, что «ввел в христианство некоторые языческие понятия, как, например, „вечность материи“» (П. Гольбах. Галерея святых. М., 1962, стр. 133).

Стр. 455. *...церковь празднует память Юстина-мученика первого июня...*— По преданию, Юстин был казнен римскими властями 1 июня 166 г.

С т р. 455. *Ириней Лионский* — Ириней, епископ Лионский (ок. 130 — ок. 202), причисленный церковью к лику святых. В *ЛБГ* есть книга с пометами Горького: «Сочинения святого Иринея, епископа Лионского». СПб., 1900.

С т р. 455. *Макария — читал?* — Вероятно, имеются в виду сочинения митрополита московского и коломенского Макария — М. П. Булгакова (1816—1882). Перу этого богослова и церковного историка, в частности, принадлежат: «Введение в православное богословие». СПб., 1847; «Православно-догматическое богословие», т. I—II. СПб., 1849—1851; «История русской церкви», т. 1—12. СПб., 1857—1883.

С т р. 458. *Единое на потребу ∽ Не пещится о многом.*— Евангелие от Луки, гл. 10, стихи 38—42.

НА ШХУНЕ ПО КАСПИЙСКОМУ МОРЮ

(Стр. 459)

Впервые напечатано в немецком журнале «Das deutsche Buch», 1923,— специальном выпуске, посвященном России. В редакционной заметке сообщается, что это — неопубликованный отрывок из воспоминаний Горького о его юности, переведенный на немецкий язык с авторской рукописи.

На русском языке (пер. с нем. С. Я. Бродской) опубликовано в «Известиях Академии наук СССР, Отделение литературы и языка», т. XIII, вып. 5, 1954.

Печатается по тексту журнала «Das deutsche Buch». Перевод — С. Я. Бродской.

Во фрагменте изображается плавание рыболовецкой артели на шхуне, направляющейся из Баку в Астрахань. Время действия, очевидно, 1892 г.; речь идет о возвращении А. Пешкова в Нижний Новгород после хождения по югу России и жизни на Кавказе. Можно предположить, что хронологически события, описываемые во фрагменте, следовали после тифлисской встречи А. Пешкова с О. Ю. Каминской (см. «Рассказ о первой любви»).

Замечание в самом начале фрагмента: «...я встретился со знакомой рыболовецкой артелью...» указывает на то, что встрече с артелью ловцов предшествовала какая-то другая встреча с нею, связанная со скитаниями А. Пешкова «по Руси». Не исключено, что подразумевается эпизод, положенный в основу потерянного рассказа «У моря», о котором Горький подробно говорит в письме к И. А. Груздеву от 10 апреля 1933 г. (см. примеч. к рассказу «Весельчак» в т. XIV наст. изд., стр. 627).

Из сопоставления того, что известно о несохранившемся рассказе (ср. упомянутое письмо Горького И. А. Груздеву и его же рассказ «Весельчак» с фрагментом «На шхуне по Каспийскому морю»), видно, что в обоих произведениях была изображена одна и та же артель, которую писатель знавал в конце 80-х — начале 90-х годов.

Корней Вавилов, староста рыболовецкой артели из фрагмента «На шхуне по Каспийскому морю», так же гордится своим занятием, как и Кадочкин из рассказа «У моря», и говорит об этом почти теми же словами, что и Кадочкин: Вавилов: «Мы, Вавиловы, рыбачим на этом море еще от времен царицы Екатерины!» Кадочкин: «Мы, Кадочкины, ловцы здесь от годов матушки царицы Елизаветы».

Позднее Горький вернулся к этому эпизоду своей молодости, когда в 1932 г. редактировал инсценировку П. С. Сухотина «В людях», построенную на материале автобиографических произведений. При этом он написал несколько сцен дополнительно. В частности, ввел образ Миронова, старосты рыболовецкой артели, работающего на каспийских рыбных промыслах. Миронов имеет много общего с Кадочкиным, и некоторое сходство с Вавиловым из фрагмента «На шхуне по Каспийскому морю». Так, Миронов произносит почти те же слова, что и Кадочкин и Вавилов: «Наша фамилия — Мироновы — от времен царицы Лизаветы ходит сюда рыбачить»,— и дальше: «Мы, нижегородские, сергачские, старинные ловцы! От веков царицы Лизаветы...» (*Архив* $Г_{II}$, стр. 152).

Из других произведений Горького наиболее близок к публикуемому отрывку рассказ «Едут...» (1913), в котором также изображается плавание по Каспийскому морю на шхуне, идущей в Астрахань.

Стр. 467. ...*завтра в полдень будем у «Девяти фут»*.— «Девять футов» — рейд на Каспийском море, в 96 км от Астрахани.

Стр. 468. ...*общества «Меркурий»*...— Имеется в виду пароходное общество «Кавказ и Меркурий».

III

ПИСЬМА К ЧИТАТЕЛЯМ
⟨Л. А. СУЛЕРЖИЦКИЙ⟩

(Стр. 471)

Впервые напечатано в сборнике: М. Горький. Литературные портреты. М., 1959, стр. 92—101.

В Архиве А. М. Горького хранится верстка, предназначавшаяся для журнала «Летопись»; заглавие — «Письма к читателям»; исправления в тексте — рукой О. И. Сулержицкой (ХПГ-42-35-2).

Печатается по названному тексту.

Написано вскоре после смерти Л. А. Сулержицкого, последовавшей 17 (30) декабря 1916 г. Предназначалось для февральского номера журнала «Летопись»: номер был набран и сверстан, но до Февральской революции выйти в свет не успел. А после февральских событий выпускать журнал со статьями, написанными языком иносказаний и намеков и к тому же изуродованными цензурой, было нецелесообразно.

Верстку произведения автор передал вдове Сулержицкого — О. И. Сулержицкой.

15 марта 1926 г. О. И. Сулержицкая обратилась к Горькому с письмом, прося его разрешения поместить статью о Сулержицком в сборнике, который предполагалось выпустить к 10-й годовщине смерти Сулержицкого (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-10-28-1). 24 марта 1926 г. Горький ответил согласием (там же, ПГ-рл-42-17-1). Сборник, однако, не состоялся. Верстка была в 1960 г. передана Д. Л. Сулержицким в Архив А. М. Горького.

С Л. А. Сулержицким (1872—1916) Горький познакомился, по свидетельству Е. П. Пешковой, в 1900 г. (Архив А. М. Горького, МоГ-11-16-1). С тех пор и до самой смерти Сулержицкого они поддерживали дружеские отношения, переписывались (см. их переписку в журнале «Новый мир», 1961, № 6, стр. 171—195, и в сб. *Сулержицкий*, стр. 423—466).

Стр. 472. *...поступил в Московскую школу живописи...* — В 1889 г. Сулержицкий поступил в Строгановское училище живописи, ваяния и зодчества в Москве, где учился вместе с Т. Л. Толстой. Через нее познакомился с Л. Н. Толстым. В 1894 г., незадолго до выпускных экзаменов, Сулержицкий был исключен из училища за революционные речи (см.: Т. Л. Сухотина-Толстая. Друзья и гости Ясной Поляны. М., 1923, стр. 100).

Стр. 472. *«Московский листок» Пастухова* — ежедневная московская газета (1881—1916), редактором-издателем которой был Н. И. Пастухов.

Стр. 472. *...в хорах балаганов Девичьего поля.*— Среди мест традиционных гуляний москвичей, где устраивались ярмарки и балаганы, большой популярностью пользовались поля близ Ново-Девичьего монастыря; здесь, особенно в пятницу на «святой неделе», бывало всегда многолюдно (см.: Ю. Дмитриев. На старом московском гуляньи.— «Театральный альманах», кн. VI. М., 1947, стр. 345).

Стр. 472. *...работает с В. Васнецовым и Врубелем...*— Учась в художественной школе живописца Мурашко, Сулержицкий участвовал как один из помощников В. М. Васнецова в росписи киевского Владимирского собора (см.: *Сулержицкий*, стр. 23).

Стр. 472. *...встретил известного «толстовца»...*— Вероятно, имеется в виду Е. Н. Попов, один из организаторов толстовских земледельческих колоний (см.: *Сулержицкий*, стр. 29).

Стр. 472. *«Осужденный».*— Видимо, речь идет о картине Н. А. Касаткина «В коридоре окружного суда» (1897). См. Я. Д. Минченков. Воспоминания о передвижниках. Л., 1954, стр. 148.

Стр. 473. *...едет в одну из деревень Каневского уезда...*— Сулержицкий работал в селе Пекари, Каневского уезда, на Украине. «Он живет на берегу Днепра, у мужика: за полдня его работы хозяева его кормят,— писала в сентябре 1894 г. М. Л. Толстая родным,— утром он пишет картины, днём работает, вечером собираются мужики, бабы, и он им читает вслух книжки „Посредника“, по праздникам учит ребят» («Голос минувшего», 1918, № 4—6, стр. 292—293).

Стр. 473. *Циклостиль* — вид стеклографа, множительного аппарата.

Стр. 473. *...его ссылают в Кушку...*— См.: *Сулержицкий*, стр. 37, 39.

Стр. 473. *...среди редких аулов тюркмен-сарыков и эрсаринцев.*— Туркменские племена — сарыки и ерсари (см.: «Россия. Её настоящее и прошедшее...» СПб., 1900, стр. 149).

Стр. 475. *...жил в Крыму у 〈...〉 М. Шульц, работая как 〈...〉 водовоз.*— Сулержицкий жил у Е. Н. Вульф. В верстке произведения фамилия «М. Шульц» исправлена рукою О. И. Сулержицкой на «Е. Н. Вульф». Живя в Крыму, Сулержицкий работал в порту г. Ялты водовозом.

Стр. 475. *...после этого он плавал матросом...*— В 1894—1895 и 1898 годах Сулержицкий служил матросом, а затем — рулевым на кораблях дальнего плавания (см. его повесть «Дневник матроса»—*Сулержицкий*, стр. 135—167).

Стр. 475. *В конце 90-х годов Сулер живет под Москвою, на Лосином острове...*— На ст. Кучино Нижегородской ж. д. (см.: *Сулержицкий*, стр. 526).

Стр. 476. *...Лев Николаевич предложил Сулеру организовать переселение кавказских духоборов в Канаду...*— Первую

партию духоборов Сулержицкий привез в Канаду в январе 1898 г., вторую — в мае 1899 г. (см. С. Л. Толстой. Очерки былого. Тула, 1968, стр. 209, 210—215, 218; Л. А. Сулержицкий. В Америку с духоборами... М., 1905, стр. 1—2).

Стр. 476. *...в его книге «С духоборами в Канаду»...*— См.: *Сулержицкий*, стр. 426. В *ЛБГ* есть экземпляр книги с дарственной надписью Сулержицкого:

«Глубокое, сердечное спасибо тебе, дорогой Алексей, за всё. Прими сие от Сулера, 12/III, 1905. Москва».

Стр. 476. *...очерки, напечатанные в одном из сборников «Знания»*.— Имеется в виду очерк «Путь», напечатанный в «Сборнике товарищества „Знание“ за 1906 год», книга девятая.

Стр. 476. *В 904 году Сулер служит санитаром в Маньчжурии...*— Судя по очерку «Путь», Сулержицкий направился в Маньчжурию в мае 1905 г.

Стр. 476. *Кажется, с 6-го года Сулержицкий начал работать в Московском Художественном театре...*— Начало режиссерской работы Сулержицкого в МХТ относится к 1906 г. (см.: *Сулержицкий*, стр. 60 и 548).

Стр. 476—477. *Его работа со «Сверчку» Диккенса...*— С 1912 г. Сулержицкий работал в организованной К. С. Станиславским Первой студии Художественного театра.

Стр. 477. *«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться»*.— См.: «Время Короленко» — наст. том, стр. 178.

Стр. 478. *Мормоны* — члены основанной Дж. Смитом в США в 1830 г. религиозной секты. *Мери Бейккер Эдди* (1821—1910) — религиозная деятельница США.

Стр. 478. *«Будьте как дети»...*— Из Евангелия от Матфея, гл. 18, стих 3.

Стр. 478. *...отец Феодор Владимирский...*— См. примеч. к стр. 338.

Стр. 479. *«Ой, там, за Дунаем»*.— Возможно, имеется в виду песня «По-над морем Дунаем...» (см.: «Сборник украинских песен» М. Максимовича, ч. I. Киев, 1849, стр. 96) или песня «Е-ай за Дунаем, братцы, за рекой» (см.: А. Листопадов. Песни донских казаков, т. I, ч. II. М., 1949, стр. 430).

Стр. 481. *...«в пустыне — увы! — не безлюдной»...*— Ср. в стихотворении Н. Минского «Прокаженный» (1885):

Он рыдал оттого, что так тягостно жить
На земле, средь пустыни — увы — не безлюдной...

⟨СТИХИ. НАБРОСКИ⟩

«СГОРЕЛ ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ ЖИЗНИ КРАТКОЙ...»

(Стр. 482)

Впервые напечатано в книге: М. Горький. Стихотворения. М.— Л., 1963, стр. 277.

В Архиве А. М. Горького хранится беловой автограф — *БА* (ХПГ-52-9), относящийся, судя по орфографии, к 1918—1919 гг.

Печатается по *БА*.

«ОПИРАЯСЬ ОСТРЫМИ ЛОКТЯМИ...»

(Стр. 482)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, том VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке. М., 1957, стр. 59—60.

В Архиве А. М. Горького хранится черновой автограф — *ЧА* (ХПГ-49-11-1), написанный, по-видимому, в 1918 г. На обороте — фрагмент «Пестрый день, по небу плывут серые клочья облаков...».

Печатается по *ЧА*.

«ПЕСТРЫЙ ДЕНЬ...»

(Стр. 483)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке. М., 1957, стр. 60—61.

В Архиве А. М. Горького хранится черновой автограф — *ЧА* (ХПГ-49-11-1). На обороте его — набросок «Опираясь острыми локтями...» Тематически и стилистически «Пестрый день...» близок к очеркам «В больном городе» (см. выше, стр. 436—443).

Печатается по *ЧА*.

«ПРИЕХАЛ Я ИЗ НИЖНЕГО...»

(Стр. 484)

Впервые напечатано в газете «Литературная Россия», 1968, № 13, 22 марта, в статье К. И. Чуковского «Горьковские страницы в Чукоккале (1919 год)».

Печатается по тексту, приведенному в статье Чуковского.

«ИДУ В САМАРЕ БЕРЕГОМ ВОЛГИ...»

(Стр. 484)

Впервые напечатано — по автографу — в журнале «Молодая гвардия», 1938, № 6, стр. 50—51.

Вспоминая о работе с Горьким в издательстве «Всемирная литература» в 1918—1919 годах, К. И. Чуковский в статье «Из воспоминаний о Горьком» писал:

«...у нас установился великолепный обычай: после всякого заседания, если он никуда не спешил, он усаживался у камина и, сунув руки в свои высокие валенки, начинал по случайному поводу рассказывать нам какую-нибудь историю из собственной жизни 〈...〉 Когда я принес во „Всемирную литературу“ законченный том своих переводов Уитмана, он посмотрел на меня так, будто я сделал ему одолжение. Взял у меня мой альбом и вписал туда (словно в награду) несколько крохотных рассказов из собственной жизни.

Вот один из этих бесценных автографов» («Молодая гвардия», № 6, стр. 49—51).

Далее следует текст, воспроизведенный в настоящем издании по автографу (Архив К. И. Чуковского в Переделкине).

О случае, описанном в «Чукоккале», Горький и раньше рассказывал своим знакомым. По воспоминаниям грузинского литератора Г. М. Туманишвили, встречавшегося с писателем осенью 1899 г., Горький, узнав, что один из его самарских знакомых работает журналистом в Тифлисе, сообщил, что когда-то дал ему этот сюжет «для первого рассказа». В изложении самого Туманишвили, появившемся в печати в 1903 г., случай передан от лица А. Пешкова (см. «Новое обозрение», 1903, № 6553, 1 ноября). Упомянутый «первый рассказ» журналиста—видимо, юмореска «Для шутки», напечатанная в «Самарской газете», 1895, № 120, 9 июня; подпись: М—ский (возможно, Мензелинский). См. Н. Ф. Немудров. Неизвестный рассказ М. Горького («Волжская коммуна», 1964, № 126, 31 мая).

О МИХАЙЛОВСКОМ

(Стр. 485)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, том III. Повести, воспоминания, публицистика, статьи о литературе. М., 1951, стр. 157—160.

В Архиве А. М. Горького хранится черновой автограф с большой авторской правкой — *ЧА* (ХПГ-40-6-2). На втором листе, перед текстом, авторская надпись: «О Михайловском».

Печатается по *ЧА*.

Воспоминания о Н. К. Михайловском были написаны, по-видимому, в конце января или в самом начале февраля 1922 г. (см. примеч. к «Времени Короленко»).

В 1893 г. Короленко рекомендовал Михайловскому, как редактору народнического журнала «Русское богатство», первые произведения Горького, «самородка с несомненным литературным талантом, еще не совсем отыскавшим свою дорогу» (*Г и Короленко*, стр. 201). К присланным ему на отзыв стихотворениям Горького Михайловский отнесся отрицательно, а в рассказ «Челкаш» просил внести «серьезные поправки» (*Г*, *Материалы*, т. II, стр. 353—354). Рассказ был опубликован в «Русском богатстве», 1895, № 6.

После выхода в свет первого тома рассказов Горького Михайловский выступил с большой статьей «О г. Максиме Горьком и его героях» («Русское богатство», 1898, № 9, отд. II, стр. 55—75). Наряду с явным стремлением истолковать творчество писателя по-своему, преуменьшив «антинароднический» смысл ряда произведений, Михайловский высоко оценивал новый талант. Во второй статье того же года «Еще о г. Максиме Горьком и его героях» (там же, 1898, № 10, отд. II, стр. 61—93) он снова с похвалой отозвался о Горьком и заявил, что в его лице «мы

имеем дело с большой художественной силой», хотя еще более определенно выразил неудовлетворенность чуждым народничеству направлением творчества писателя.

Впервые с Михайловским Горький встретился 9 (21) октября 1899 г. в Петербурге (см.: *Архив Г*$_{V}$, стр. 65—66).

Стр. 485. *...Тан написал вам письмо стихами, предлагая Стенькину участь...*— Имеется в виду стихотворение В. Г. Богораза-Тана (1865—1938) «Максиму Горькому». В нем, в частности, говорится: «Щеголял в цветной одежде,/ Щеголял в мороз босым,/ Назывался Стенькой прежде,/ А теперь зовут Максим» (В. Г. Тан. Собр. соч., т. 10. СПб., стр. 123).

Стр. 485. *Я начал рассказывать ему о опечалившей меня борьбе.*— См. «В. Г. Короленко» (наст. том, стр. 240—259).

Стр. 486. *Я рассказал ему план книги «Мужик»...*— См. наст. изд., т. V, стр. 363—480, а также стр. 541—544.

Стр. 486. *...из моего знакомства с культурной работой Милютина, череповецкого головы...*— И. А. Милютин (1830—1907) — общественный и культурный деятель, крупный промышленник города Череповца. Родом из крестьян. В 1853 г. избран в городской магистрат Череповца. В 1855 г. стал бургомистром, а с 1861 г. до смерти — бессменный городской голова. О его культурной деятельности см.: Ф. И. Кадобнов. Краткий очерк возникновения города Череповца Новгородской губернии и его героический рост за время 50-летней деятельности городского головы И. А. Милютина. 1909. Калуга, 1910.

Стр. 486. «*Жизнь*» — литературно-художественный, научный и публицистический журнал демократического направления, выходивший в Петербурге с января 1897 по май 1901 г.; с 1899 г.— орган «легальных марксистов», возглавлявшийся В. А. Поссе. В журнале печатались произведения Горького, Чехова, Серафимовича, Вересаева, Гарина-Михайловского, Скитальца.

Стр. 488. *В мою «честь» был устроен обед в редакции «Жизни»...*— Имеется в виду банкет, организованный редакцией «Жизни» 11 (23) октября 1899 г. (см. *Архив Г*$_{V}$, стр. 65 и 66).

Стр. 489. *П. Ф. Мельшин-Якубович* (1860—1911) — литератор, один из революционеров-народовольцев, приговоренных в 1887 г. по «процессу 21» к смертной казни, замененной каторгой. По возвращении с каторги работал в редакции «Русского богатства», куда старался вовлечь Горького (см.: *ЛЖТ*$_{I}$, стр. 263). Известен своими очерками «В мире отверженных. Записки бывшего каторжника», тт. I—II. СПб., 1896—1899. О разговоре Горького с Якубовичем см. письмо Горького к В. А. Десницкому от августа 1933 г. (*Г-30*, т. 30, стр. 311—312).

Стр. 489. *...возражая Н. Карееву и П. Ф. Анненскому.*— *Н. И. Кареев* (1850—1931) — профессор, историк и публицист; в 1905 г. входил в ЦК партии кадетов и был членом I Государственной думы от Петербурга. После Октябрьской революции остался на родине и плодотворно работал. С 1928 г.— почетный академик. *Н. Ф. Анненский* (1843—1912) — видный народник-публицист, один из редакторов журнала «Русское богатство»,

Стр. 489. *...его переводы стихов Бодлера...*— Переводы П. Ф. Якубовича под псевдонимами П. Я. и М. Рамшев печатались: в «Слове», 1879, № 12, 1880, № 2—3; в «Вестнике Европы», 1882, № 3; в «Северном вестнике», 1890, № 12; позже вошли в книгу: «Стихотворения из Бодлера». М., 1895.

Стр. 489. *А в следующий приезд помогал нести гроб Михайловского...*— Похороны Михайловского состоялись 30 января (12 февраля) 1904 г. (см.: *Г-30*, т. 28, стр. 301).

〈ПАВЕЛ РОЗАНОВ〉

(Стр. 490)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, т. III. Повести, воспоминания, публицистика, статьи о литературе. М., 1951, стр. 167—176.

В Архиве А. М. Горького хранится беловой автограф с правкой — *БА* (ХПГ-41-3-1).

Печатается по *БА*.

Судя по началу произведения, оно написано после 1919 г., вероятнее всего, в 1922 или 1923 г. (см. примеч. к произведениям «О Михайловском» и «Время Короленко».

Стр. 491. *Начали войну эту...*— Речь идет о первой мировой войне (1914—1918 гг.).

Стр. 492. «*Во субботу, день ненастный*» — См.: П. В. Шейн. Великорус в своих песнях, обрядах..., т. I, вып. 1. СПб., 1898, стр. 352.

Стр. 493. «*Помни день субботний, еже святити его...*» — Одна из десяти «заповедей», записанных в Ветхом завете (Библия, Исход, гл. 20, стих 8).

Стр. 493. «*Не шуми, мати, зеленая дубровушка...*» — Одна из распространенных песен, известная с XVIII века (см.: «Великорусские народные песни», изданные А. И. Соболевским, т. VI. СПб., 1900, стр. 331—333).

Стр. 497. «*Союз русского народа*» — черносотенная организация, созданная под эгидой царского правительства в октябре 1905 г.

САВВА МОРОЗОВ

(Стр. 498)

Впервые напечатано, с небольшими сокращениями, в журнале «Октябрь», 1946, № 6, стр. 3—16.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Авторизованная машинопись без заглавия, тщательно выправленная, с припиской: «Столкновение с в. к. Сергеем по рассказу Саввы и Балясного» — $АМ_I$ (ХПГ-45-7-1).

2. Авторизованная машинопись с машинописным заглавием «С. Т. Морозов», исправленным рукой Горького (вм. «С. Т.» — «Савва»), с авторской подписью, правкой и пометой на первой странице: «Провер⟨ено⟩» — AM_2 (ХПГ-45-7-2).

3. Авторизованная машинопись с машинописным заглавием «С. Т. Морозов», исправленным рукой Горького так же, как и в AM_2, с его подписью, правкой и пометой на первой странице: «Провер⟨ено⟩» — AM_3 (ХПГ-45-7-3). Часть текста: «Гроб писателя, так „нежно любимого“ Москвою ∽ несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике» (стр. 513) — вырезана.

4. Верстка, предназначавшаяся для отдельного издания *К:* М. Горький. Мои университеты. Berlin, Verlag «Kniga», 1923 (ХПГ-45-7-4) [1].

Печатается по AM_1.

С С. Т. Морозовым (1863—1905), крупным текстильным фабрикантом, меценатом, одним из директоров и пайщиков МХТ, Горький познакомился осенью 1900 г. Замысел произведения о Савве Морозове возник у Горького, по-видимому, во время работы над воспоминаниями о Бугрове (см. т. XVII наст. изд.), т. е. в 1919 г. Воссоздавая сложную фигуру Н. А. Бугрова, Горький решил сопоставить его с С. Т. Морозовым. В январе 1923 г., когда готовилась к набору книга «Мои университеты», автор включил в нее произведение «Два купца. Н. А. Бугров и С. Т. Морозов», но в верстке изъял его. «...Морозова,— писал он 15 февраля 1923 г. П. П. Крючкову,— я вообще печатать не буду, а Бугров войдет в книгу „Русские люди“ ⟨„Заметки из дневника. Воспоминания“⟩, которую я сейчас пишу...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-20). Тогда же он писал М. Ф. Андреевой: «Ты права: о Морозове — плохо ⟨...⟩ Печатать Морозова — не буду» (*Андреева*, стр. 351).

В декабре 1926 г., работая над произведением «Леонид Красин», Горький включил в него начало очерка о Морозове: «В 96 году, в Нижнем ∽ Витте ответил, что ходатайство комитета удовлетворено» (стр. 512—513) — вошло в очерк «Леонид Красин» (см. в наст. изд. т. XX). Тогда же в письме к О. Д. Форш он отозвался о Савве Морозове: «Хороший друг мой, искренний революционер» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 593).

Стр. 499. *...я устраивал ∽ елку для ребятишек окраин города.* — Речь идет о рождественской елке для детей нижегородских бедняков, организованной по инициативе Горького в 1900 г.

Стр. 500. «*Мыслю, значит — существую*»...— Из сочинения французского философа Рене Декарта (1596—1650) «На-

---

[1] По имеющимся сведениям, в Нью-Йорке, в Архиве русской и восточноевропейской истории и культуры, хранится еще одна машинопись «Саввы Морозова» (см.: «Литературная газета», 1967, № 16, 19 апреля).

чала философии» (см. Рене Декарт. Сочинения, т. I. Казань, 1914, стр. 15).

Стр. 501. ...*потомок Рюриковичей — анархист*...— Имеется в виду князь П. А. Кропоткин (1842—1921).

Стр. 501. ...*граф ∽ пашет землю*...— Л. Н. Толстой.

Стр. 501. ...*пароходовладелец Н. Мешков*...— См.: *Г-30*. т. 24, стр. 495.

Стр. 502. ...*познакомил меня с теорией диссоциации материи*...— Диссоциация (от лат. dissociatio) — разложение молекул на части: атомы или ионы.

Стр. 502. ...*об опытах Ле-Бона, Резерфорда*...— *Ле-Бон*, Гюстав (1841—1931) — французский ученый, философ и реакционный социолог. Занимался исследованиями радиоактивности. В книгах *ЛБГ:* Густав Лебон. Эволюция сил. Опыты над дематериализацией материи. СПб., 1910; Эволюция материи, изд. 3 (б/г) — немало помет Горького. *Резерфорд*, Эрнст (1871—1937) — английский физик, доказавший своими опытами, что в процессе радиоактивного распада происходит превращение элементов.

Стр. 505. ...*бронзовая голова Ивана Грозного, работа Антокольского*.— Речь идет, видимо, об одном из фрагментов к скульптуре М. М. Антокольского (1843—1902) «Иван Грозный», ныне хранящейся в Государственном русском музее.

Стр. 506. ...*о красных цветах, их развел кто-то из поэтов, кажется — Бальмонт*...— См. стихотворение К. Д. Бальмонта «Красный цвет» в цикле «Горящие здания» (1899).

Стр. 506. «*Птица-Гамаюн*» — Имеется в виду картина В. М. Васнецова «Гамаюн — птица вещая» (1897), ныне находящаяся в Дагестанском музее в Махачкале.

Стр. 506. ...*вышивки Поленовой—Якунчиковой*...— Е. Д. Поленова (1850—1898), сестра В. Д. Поленова, и М. Ф. Якунчикова (1864—1962) — активные деятельницы в области русской кустарной промышленности; известно немало совместных работ этих художниц.

Стр. 506. ...*настроение Бутлерова или Вагнера*. — *А. М. Бутлеров* (1828—1886) — химик, профессор Казанского и Петербургского университетов, академик, один из основателей науки о строении органических соединений, создатель школы русских химиков-органиков. Увлекался спиритизмом. *Н. П. Вагнер* (1829—1907) — профессор зоологии в Казанском, позже в Петербургском университете. Кроме многочисленных научных трудов и научно-популярных статей, напечатал ряд статей по медиумизму (см.: «Материалы для суждения о спиритизме». СПб., изд. Д. Менделеева, 1876, стр. 89—90).

Стр. 506. «*Антоновские яблоки*» *Бунина*...— Рассказ И. А. Бунина «Антоновские яблоки» был опубликован в журнале «Жизнь», 1900, т. X.

Стр. 507. ...*рассказывал о молодом физике П. Лебедеве*...— Русский физик П. Н. Лебедев (1866—1912) подтвердил гипотезу Максвелла о световом давлении, «взвесил» свет. В 1901 г. вышла его работа «Опытное исследование светового давления».

Стр. 507. ...*спор Максуэля и Кельвина.*— *Максуэль* — Максвелл Джемс Клерк (1831—1879) — английский физик. Известен крупными открытиями в области магнетизма, молекулярной физики и оптики. *Кельвин* — Томсон Кельвин Уильям (1824—1907) — английский физик и изобретатель. Эти ученые придерживались разных точек зрения по вопросу о природе света.

Стр. 507. ...*политическому «Красному кресту»*...— Эта организация возникла из нелегальных кружков и групп помощи политическим заключенным и ссыльным в России. Первым оформленным звеном ее было «Общество Красный крест» «Народной воли» (1881 г).

Стр. 508. ...*угостить обедом у Тестова.*— И. И. Тестов — владелец известного в те годы ресторана.

Стр. 508. *Рейнбот* А. А. (1868—1918) — московский градоначальник.

Стр. 509. ...*устроив этого человека у себя на фабрике*...— Речь идет о Л. Б. Красине (1870—1926) (см. в т. XX очерк «Леонид Красин»).

Стр. 510. ...*А. П. Чехов жил у него в пермском имении*...— Чехов гостил у Морозова в июне 1902 г.

Стр. 510. *Гартман*, Эдуард (1842—1906) — немецкий философ-идеалист, опиравшийся на волюнтаризм Шопенгауэра. Книга Гартмана «Философия бессознательного» (1869) направлена против материализма и прогрессивных общественно-научных идей.

Стр. 510. ...*идеология эта уже дана в философских драмах Ренана.*— В драмах «Калибан» (1878), «Живая вода» (1880), «Священник из Неми» (1885) и «Жуарская настоятельница» (1886) Э. Ренан, противопоставляя господ как «высшую расу» народным массам как «низшей расе», развивает идеи элитарного индивидуализма, сходные с идеями Ницше.

Стр. 510. ...*вроде экстракта Броун-Секара*...— Вещества, выделяемые семенниками в кровь, которые согласно опытам французского физиолога Броун-Секара (1818—1894) активизируют жизненный тонус.

Стр. 511. ...*за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера*...— См. примеч. к очерку «А. П. Чехов» в т. VI наст. изд., стр. 478.

Стр. 513. ...*в комнате гостиницы «Княжий двор»*...— Имеется в виду гостиница «Боярский двор», располагавшаяся на Старой площади в доме Московского страхового общества (см.: «Всеобщий путеводитель по Москве и окрестностям». М., 1909, стр. 38).

Стр. 513. ...*затеяли войну.*— Речь идет о русско-японской войне, начавшейся в ночь с 8 на 9 февраля 1904 г.

Стр. 514. *У нас превосходные работники, духоборы, убежали в Америку*...— См. примеч. к стр. 478.

Стр. 515. ...*будет распоряжаться великий князь Владимир*...— В. А. Романов (1847—1909), командующий гвардейскими войсками в Петербурге, вдохновитель и организатор расстрела рабочих 9 января.

Стр. 516. *...в ближайшую редакцию...*— Собрание, о котором рассказывает Горький, состоялось 8 января 1905 г. в редакции либеральной газеты «Наши дни».

Стр. 516. *Святополк-Мирский*, П. Д. (1857—1914) — князь, государственный деятель, генерал-адъютант. В августе 1904 г., после убийства В. К. Плеве, был назначен министром внутренних дел, с января 1905 г.— уволен в отставку.

Стр. 516. *...был выбран в ее состав.*— О депутации и последующих событиях см. в очерке «Поп Гапон» и примеч. к нему (т. VI наст. изд.), а также в воззвании Горького «Всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств» (*Г-30*, т. 23, стр. 333—336).

Стр. 516. *...с рабочим Кузиным...*— См. примеч. к очерку «Поп Гапон» (т. VI наст. изд.).

Стр. 516. *...куда вошли Н. Ф. Анненский, В. И. Семевский, П. Кареев, А. В. Пешехонов, В. А. Мякотин, И. Гессен, Кедрин...*— *Н. Ф. Анненский, П. Кареев* — см. примеч. к стр. 491 наст. тома. *В. И. Семевский* (1848—1916) — историк, видный представитель либерального народничества. *А. В. Пешехонов* (1867—1933) — публицист-народник; позже — министр продовольствия Временного правительства. *В. А. Мякотин* (1867—1937) — историк, публицист, один из лидеров мелкобуржуазной партии «народных социалистов»; после Октябрьской революции — белоэмигрант. *Гессен И. В.* (1866—1943) — публицист, один из лидеров партии кадетов; после Октябрьской революции — враг Советской власти, белоэмигрант. *Е. И. Кедрин* — адвокат, кадет.

Стр. 517. *Не помню, почему не поехали к Святополку...*— См. воззвание «Всем русским гражданам...» (*Г-30*, т. 23, стр. 333—336).

Стр. 519. *Добрый знакомый* — Л. Л. Бенуа (ум. ок. 1912 г.), член РСДРП.

Стр. 519. *Антон Войткевич, большевик, и его жена Иваницкая.*— Члены Нижегородской, а затем Петербургской большевистской организации.

Стр. 519. *...во время обыска у меня в Риге.*— 11 (24) января 1905 г.

Стр. 522. *У дома, где умер Пушкин...*— Ныне дом-музей Пушкина в Ленинграде, Мойка, 12.

Стр. 522. *...заключив его требованием...*— Ср.: *Г-30*, т. 23, стр. 336.

Стр. 523. *...заговорил о Фуллоне...*— И. А. Фуллон — петербургский градоначальник.

Стр. 523. *Явился Петр Рутенберг...*— См. в примеч. к стр. 351.

Стр. 523. *...послал Н. П. Ашешова к рабочим ∽ пришел Ф. Д. Батюшков.*— *Н. П. Ашешов* (1866—1923) — либеральный публицист и литературный критик. *Ф. Д. Батюшков* (1857—1920) — историк литературы и критик, либерал.

Стр. 524. *...полтора года тому назад стояли на коленях пред его дворцом...*— Имеется в виду «патриотическая» манифес-

тация в Петербурге в связи с началом русско-японской войны.

Стр. 525. *На другой день вечером я должен был уехать в Ригу.*— Горький уехал из Петербурга в Ригу 10 января в 7 часов 30 минут вечера (*ЛЖТ*$_1$, стр. 505).

Стр. 526. *...возникла легенда...* — См. «Леонид Красин» (т. XX наст. изд.).

⟨А. Н. АЛЕКСИН⟩

(Стр. 527)

Впервые напечатано в журнале «Красная новь», 1941, № 6, стр. 15—17.

В Архиве А. М. Горького хранится черновой автограф — *ЧА* (ХПГ-1-1).

Печатается по *ЧА*.

Написано, вероятно, вскоре после смерти Алексина, последовавшей 16 ноября 1923 г. Косвенно это подтверждается словами: «27 лет тому назад» (стр. 529).

С А. Н. Алексиным (1863—1923) Горький познакомился в феврале 1897 г. в Алупке, куда приехал лечиться от туберкулеза легких. Алексин в то время был старшим врачом Ялтинской земской больницы. Вскоре они подружились.

Узнав о смерти Алексина, Горький писал 15 декабря 1923 г. З. А. Пешкову: «16 ноября в Москве спокойно помер доктор Алексин, милый и дорогой мне человек...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-30-46-21).

Стр. 528. *...Штангеев, автор солидной книги «Лечение легочных болезней...»* — Ф. Т. Штангеев. Лечение легочной чахотки в Ялте. СПб., 1886; Ф. Т. Штангеев. О лечении и режиме при чахотке. Ялта, 1898.

Стр. 529. *Снегирев В. Ф.* (1847—1916) — один из основоположников русской научной оперативной гинекологии.

Стр. 529. *Бобров А. А.* (1850—1904) — хирург, профессор Московского университета, автор многих медицинских работ.

Стр. 529. *Тарновский В. М.* (1837—1906) — один из основателей отечественной венерологической школы.

Стр. 530. *Витютнева* (урожд. Цвилинева) С. Ф. (ум. ок. 1910) — фельдшерица Ялтинской земской больницы; принимала участие в революционном движении. Друг семьи Пешковых.

Стр. 531. *Якубовская А. А.* (1863—1890) — артистка Большого театра.

Стр. 532. *Калинников В. С.* (1866—1900) — композитор, автор двух симфоний, ряда инструментальных пьес и романсов, а также неоконченной оперы «1812 год».

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. М. Горький. Петроград, 1915—1917 годы 4

«Мои университеты». Страница корректуры с правкой М. Горького 21

«Сторож». Рукописная вставка в текст машинописи . . 145

«Время Короленко». Машинописная страница с правкой М. Горького 171

«Лев Толстой». Примечание к странице печатного текста, автограф 265

«О С. А. Толстой». Примечание к машинописному тексту 371

«О Михайловском». Страница автографа 487

СОДЕРЖАНИЕ

	Текст	Примечания
I		
Мои университеты	7	539
Сторож	138	553
«Время Короленко»	167	556
О вреде философии	196	566
О первой любви	209	569
В. Г. Короленко	240	573
Лев Толстой	260	578
Леонид Андреев	313	591
О С. А. Толстой	358	600
II		
Миша	377	605
На улице. *Впечатления*	385	605
Кошмар. *Из дневника*	388	605
Из воспоминаний <«Интересно умирал...»>	394	606
«В глубине России»	398	606
Как я учился. *Рассказ*	403	607
Из воспоминаний о В. Г. Короленко	422	610
Песня	427	611
Про Иванушку-дурачка. *Русская народная сказка*	430	612
В больном городе	434	612
Яшка. *Сказка*	442	613
<Пять стихотворений 1918 года>	445	614
Из воспоминаний <Иоанн Кронштадтский>	450	614
Im Segelboot über das Kaspische Meer	459	616
На шхуне по Каспийскому морю	464	616
III		
Письма к читателям <Л. А. Сулержицкий>	471	618
<Стихи. Наброски>	482	620
О Михайловском	485	622
<Павел Розанов>	490	624
Савва Морозов	498	624
<А. Н. Алексин>	527	629
ПРИМЕЧАНИЯ	533—629	
Условные сокращения	535	
Вступительная заметка	537	
Список иллюстраций	630	

Печатается по решению
Президиума Академии наук СССР
и Комитета по печати
при Совете Министров СССР

*
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Л. М. ЛЕОНОВ (главный редактор),
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ, Б. А. БЯЛИК, С. С. ЗИМИНА,
Г. М. МАРКОВ, А. И. МЕТЧЕНКО, А. С. МЯСНИКОВ,
В. С. НЕЧАЕВА, В. В. НОВИКОВ,
А. И. ОВЧАРЕНКО (зам. главного редактора),
В. М. ОЗЕРОВ, Б. Л. СУЧКОВ, Е. Б. ТАГЕР,
К. А. ФЕДИН, М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА

Тексты подготовили и комментарии составили
М. М. Бондарюк, С. Г. Бочаров, С. Я. Бродская,
Л. Г. Бухарцева, И. И. Вайнберг, Г. Д. Гачечиладзе,
А. И. Овчаренко, Л. Н. Смирнова, И. И. Соколова,
М. А. Соколова, В. Ю. Троицкий, В. П. Чубаков,
Ю. И. Шведова

Ответственный секретарь издания *М. А. Семинкина*

Редактор шестнадцатого тома *Н. Н. Жегалов*

Редакторы издательства
А. И. Корчагин и *М. Б. Покровская*
Оформление художника *Н. А. Седельникова*
Технический редактор *О. М. Гуськова*
Корректоры *В. Г. Богословский* и *Т. А. Пономарева*

*

Сдано в набор 12/VI 1972 г. Подписано к печати 25/I 1973 г.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага № 1. Усл. печ. л. 33,28.
Уч.-изд. л. 33,1. Тираж 298 700 экз.
Тип. зак. № 3052
Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Наука», 103717, ГСП.
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28

Гр. 50 т.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»